

---

**Г. С. КНАБЕ**

---

**МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ  
ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ  
КУЛЬТУРЫ  
И  
КУЛЬТУРЕ  
АНТИЧНОГО РИМА**

---

**НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СТУДЕНТА**  
**ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ**

---

**Редакционная коллегия серии**

*П. А. Бельй, М. Л. Гаспаров* (председатель),  
*С. Г. Григоренко, Вяч. Вс. Иванов, Е. В. Микаэлян,*  
*Е. С. Новик* (ученый секретарь)

**Ответственный редактор серии**

*Д. П. Бак*

---

---

**Г. С. КНАБЕ**

---

---

**МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ  
ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ  
КУЛЬТУРЫ  
И  
КУЛЬТУРЕ  
АНТИЧНОГО РИМА**

---

---

 ИЗДАТЕЛЬСТВО  
**«ИНДРИК»**  
Москва 1993

**ББК 63.3(0)4  
К 53**

**Кнабе Г. С.**

**К 53** Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. — М.: Издательство «Индрик», 1994. — 528 с. (Серия «Научная библиотека студента»).  
ISBN 5-85759-005-1

В книге профессора Российского Государственного Гуманитарного университета, доктора исторических наук Г. С. Кнабе собраны статьи, написанные в 1966—1993 гг., в большинстве своем ранее опубликованные, посвященные некоторым узловым вопросам теории и истории культуры. Не являясь в прямом смысле ни учебником, ни учебным пособием по курсу теории и истории культуры, в настоящее время введенному во всех вузах России, книга окажется полезной преподавателям и студентам в трактовке и освоении многих сложных проблем курса.

**ББК 63.3(0)4**

**Издание серии «Научная библиотека студента»  
осуществляется при финансовой поддержке  
П. А. Белого**

ISBN 5-85759-005-1

© Г. С. Кнабе, 1994



# ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>От редколлегии</i> .....	7
-----------------------------	---

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	9
-------------------	---

## Раздел I

### ВВЕДЕНИЕ

#### В ОБЩУЮ ТЕОРИЮ КУЛЬТУРЫ.

#### КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Двуединство культуры .....	17
Диалектика повседневности	29
Проблема контркультуры .....	57
Знак и его свойства .....	87
Воображение знака	99
Понятие архетипа и архетип внутреннего пространства .....	113
Внутренние формы культуры	127
Энтелехия культуры	139
Общественно-историческое познание второй половины XX века и наука о культуре	157

## Раздел II

### АНТИЧНЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ

Исторические предпосылки и главные черты античного типа культуры	171
Личность и индивидуальность	181
Человек и группа в античности	199
Жизнь в Риме	221

## Раздел III

## ДРЕВНИЙ РИМ.

## КАРТИНА МИРА И КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Историческое пространство Древнего Рима . . .	253
Историческое время в Древнем Риме . . . . .	279
Римский обед . . . .	299
Семантика одежды . . . . .	323
Престижность в жизни и культуре . . . . .	343
Городская теснота как факт культуры . . . . .	365

## Раздел IV

## ДРЕВНИЙ РИМ.

## НА ВЕРШИНАХ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Проблема Цицерона . . . . .	381
Цицерон и искусство красноречия в Риме . . . . .	395
Цицерон. Эстетика идеала и высокой нормы . . . . .	409
Историческое сочинение Тита Ливия и Рим его времени . . . . .	423
Образ Рима в сочинении Тита Ливия . . . . .	444
Ливий и исторический миф . . . . .	456
Римский гражданин Корнелий Тацит . . . . .	467
Рубеж веков и «История» Тацита . . . . .	479
«Анналы» Тацита и конец античного Рима . . . . .	501

Тематический указатель . . . . .	523
Список сокращений . . . . .	525

---

---

## От редколлегии

Рождение серии «Научная библиотека студента» было отмечено изданием монографии А. Я. Гуревича «Исторический синтез и Школа „Анналов”». Ныне выходит в свет вторая книга нашей серии, задуманной в переломный для отечественного книгоиздания момент. Из многих долговременных академических издательских проектов, снискавших заслуженное одобрение читателей и специалистов, некоторые, к сожалению, безвременно сходят со сцены, редкие счастливо обретают второе дыхание (лучший пример — возрожденные «Литературные памятники»). В неодинаковом положении находятся и те издания, которые наиболее близки по исходным установкам предпринимаемой «Научной библиотеке студента», — серии, выходящие в «Издательстве Московского университета» и в «Высшей школе». Но в ситуации катастрофической нехватки классических и современных учебных пособий, научной и справочной литературы между коллегами, решающими общие, насущнейшие для отечественного высшего образования задачи, не может быть и речи о жесткой борьбе за выживание.

За последние десятилетия наша культурная жизнь страдала от многих естественных и надуманных препятствий, затрудняющих путь учебной и научной литературы в студенческие библиотеки и аудитории. Здесь и почти полное отсутствие переизданий классических трудов ученых прошлого; и запрещение, малотиражность или вынужденное издание за границей огромного массива работ современных отечественных исследователей; и давнее равнодушие к переводу хороших книг зарубежных специалистов-гуманитариев.

Все эти обстоятельства предопределили контуры будущей серии, ее предполагаемую структуру и жанровый диапазон.

Тематика «Научной библиотеки студента» охватывает все основные области гуманитарного знания. Какие именно — это указывается в подзаголовках после общего заглавия серии на титульных листах каждой вновь издаваемой книги: история, литературоведение, теория культуры, лингвистика и т. д.

*К изданию предполагаются:*

- учебники и учебные пособия для студентов, аспирантов и абитуриентов;
- спецкурсы и курсы лекций;
- хрестоматии и сборники учебных материалов;
- монографии отечественных и зарубежных ученых, внесших крупный вклад в фундаментальную науку и развитие университетского образования;
- реконструированные по сохранившимся записям лекции классиков гуманитарной науки, научные переиздания учебных монографий и пособий XIX – первой половины XX в.;
- воспроизведение этапных изданий классических источников и художественных текстов, необходимых для университетского обучения.

*Мы отдаем себе отчет в том, сколько усилий предстоит приложить для реализации хотя бы малой доли наших замыслов. Понимаем, что любое из препятствий может оказаться для новорожденной «Научной библиотеки студента» роковым. Однако, несмотря на все возможные трудности, редколлегия и издательство «Индрик» надеются вскоре выпустить в свет очередной том серии «НБС» – книгу В. Н. Топорова «„Бедная Лиза“ Николая Карамзина: опыт прочтения».*

1994 г., январь

---

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга, предлагаемая вниманию читателя, — не учебник и не учебное пособие в обычном смысле этого слова. Она представляет собой собрание статей, предназначавшихся для печати и в подавляющем большинстве опубликованных между 1970-м и 1990 годами, посвященных различным вопросам истории и теории культуры — дисциплины, курс которой автор читает, начиная с 1986 г., в различных вузах Москвы. Статьи расположены в соответствии с авторской программой данного курса и охватывают три ее раздела: общетеоретическое введение; античный тип культуры; культура Древнего Рима. Публикация книги в таком ее виде обусловлена существующим сегодня положением с преподаванием теории и истории культуры в учебных заведениях России.

Дисциплина эта введена в настоящее время в качестве обязательной во всех вузах страны и в порядке местной инициативы все чаще преподается также в средних школах, особенно в гимназиях и лицеях. Предмет этот, как показало, в частности, Всероссийское совещание педагогов, его преподающих, в июне 1991 г., прочно вошел в практику учебной работы и вызывает повышенный интерес студентов, а кафедры, им ведающие, нередко становятся центрами широкой культурной деятельности в масштабах города и области. Курсы теории и истории культуры заменили в основном былой цикл общественно-политических дисциплин с их крайней и односторонней идеологичностью, в то же время продолжив одну из лучших традиций российских университетов — сочетание специальной подготовки с широким общим образованием. Поддержка этого нововведения и его совершенствование — важная и актуальная задача.

На пути ее решения немало трудностей, и одна из главных — почти полное отсутствие учебной литературы. Между тем именно при преподавании теории и истории культуры обилие и разнообразие литературы по курсу становится одним из главных условий и приобретает особое значение, что связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, в отличие от любого другого предмета учебного плана, данная дисциплина как таковая ранее никогда и нигде не преподавалась и не имеет сколько-нибудь прочных, общепризнанных традиций, так что педагог, которому поручен данный курс, не имеет возможности опереться при подготовке лекций хотя бы даже на свои аспирантские или студенческие записи. Он всецело зависит от опубликованных материалов по

курсу, и эти материалы ему надо дать возможно скорей, не дожидаясь, пока будут написаны, обсуждены, апробированы и изданы учебники и пособия, планируемые министерствами и ведомствами. Второе обстоятельство заключается в том, что этот курс и по природе своей, и по условиям преподавания не может быть единым, не может читаться по общей для всех вузов обязательной программе и иметь стереотипную структуру. Советам вузов предоставлено право утверждать свою программу данного курса, представленную специальными кафедрами и наиболее полно соответствующую местным потребностям. В этих условиях кафедра и преподаватель должны иметь перед собой множество комплектов учебных материалов, основанных на различных концепциях предмета, с тем чтобы иметь возможность выбрать среди них наиболее подходящий. Такого множества комплектов в настоящее время не существует, и в качестве их временной замены мы предлагаем один из возможных вариантов курса и тематический материал по некоторым его разделам.

В общем курсе теории и истории мировой культуры перечисленные разделы программы и материалы, их иллюстрирующие, занимают свое вполне определенное и ограниченное место. В идеале и в принципе такой курс должен включать по крайней мере семь частных, специализированных разделов, посвященных соответственно: отечественной культуре; культуре Западной Европы; дальневосточно-азиатскому культурному кругу, включая Китай и Индию; культуре древнего Переднего Востока и сменившей ее здесь культуре исламского мира; Черной Африке; доколумбовой Америке; региональной культуре по месту расположения вуза. На практике, однако, трудно предположить существование вуза, располагающего такими универсальными преподавательскими кадрами высокой квалификации и такими резервами учебного времени, которые могли бы уже сейчас обеспечить выполнение этой схемы. В реальных условиях большинство вузов знакомит студентов с общей характеристикой культуры как категорией общественного бытия и с основными явлениями традиционной истории культуры, т. е. с социокультурными эпохами, идеями, образами, художественными стилями, сменявшими друг друга в истории Европы, и России в том числе, от античности до наших дней. Материалы предлагаемой книги покрывают, как указывалось, два или три раздела такого обычного курса: общее введение, античный тип культуры и — для тех аудиторий, которые заинтересованы в более глубоком изучении античности, — культура Древнего Рима.

В материалах, связанных с вводным разделом, развивается общая концепция, лежащая в основе курса. Говоря вкратце, она состоит в следующем. Культура как форма общественного сознания отражает

характер и структуру общества всегда состоящего из индивидов, самовоспроизводящих себя в процессе повседневной практики, и из надындивидуальных норм и представлений, основанных на обобщении этой практики и регулирующих поведение этих индивидов в процессе той же практики. Культура охватывает обе эти сферы и, соответственно, знает как бы два движения — «вверх», к отвлечению от повседневных бытовых забот и обобщению жизненной практики в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и «вниз» — к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования и деятельности — привычкам, вкусам, стереотипам поведения, отношениям в пределах социальных групп, быту и т. д.

В пределах первого из указанных типов культура воспринимает себя и воспринимается обществом как Культура «с большой буквы». Отвлеченная от эмпирии повседневного существования и бесконечности индивидуального многообразия, типизирующая и обобщающая свой материал, она тяготеет к закреплению в традиции и к официализации, к респектабельности, к профессионализации деятелей, ее создающих, к восприятию более или менее подготовленной аудиторией и в этом смысле — к элитарности. В пределах второго из указанных типов культура растворена в повседневном существовании и его эмпирии, в материально-пространственной и предметной среде, как правило, не воспринимает себя как Культуру в первом, респектабельном смысле и тяготеет к тому представлению о ней, в соответствии с которым употребляют это слово археологи, т. е. имея в виду совокупность характеристик практической, производственной и бытовой жизни данного общества в данную эпоху. В своем бытии и в своей истории культура двуедина, тяготея, с одной стороны, к духу и Культуре, с другой — к жизни, повседневности и быту.

В вводный раздел книги включены две статьи, обосновывающие и раскрывающие эту внутреннюю диалектику культуры, — «Диалектика повседневности» и «Проблема контркультуры». Другие статьи, относящиеся к «Введению», преимущественно развивают тему «второй», «низовой» культуры, культуры повседневности. Предполагается, что явления и проблемы «первой», высокой, культуры входят, скорее, в сферу истории искусства и литературы, науки и просвещения и могут быть с большим успехом освещены специалистами соответствующих кафедр, тогда как рассмотрение культуры в ее жизненных опосредованиях и контекстах есть специфическое дело культуролога.

Первый вопрос, при этом возникающий, состоит в том, на каком языке выражают повседневность и быт свои культурные смыслы: культурное содержание «Евгения Онегина» или Сикстинской мадонны понятны без специальных разъяснений, но как относятся к культуре



покрой брюк или обеденное меню, формы досуга или времяпрепровождение в дружеском кружке и относятся ли они к культуре вообще, а если да, то в чем именно их культурный смысл и на каком «языке» он выражается, — все это без специального анализа остается непонятным. Разъяснению и анализу такого рода «языков» посвящены статьи о семиотическом языке бытовых вещей, о «воображении знака», о понятии архетипа в связи с категориями внутреннего пространства дома или города. Материалом здесь в большинстве случаев служат явления повседневной действительности, знакомые студенту из собственного опыта, или произведения искусства, памятники которого широко известны и доступны каждому либо в оригинале, либо в распространенных репродукциях. Если лектор сочтет нужным познакомить студентов также с другими сторонами культуры повседневности, сказывающимися на общественном поведении личностей и масс — такими, как социально-исторические мифы, малые социальные группы, престиж и мода, — материал этот он найдет в соответствующих статьях античного и древнеримского отделов книги.

Работа над перечисленными выше культурными явлениями показывает, что бытие культуры регулируется особыми механизмами, подчас ускользающими от прямого и простого рационально-логического анализа и требующими иных подходов. Таким особым механизмам посвящены статьи о внутренних формах культуры и об энтелехии, а тем подходам к изучению культуры, которых эти механизмы требуют, — статья о путях, перспективах и проблемах современного общественно-исторического познания.

Материалы по античности и Древнему Риму исходят из того же представления о двуединстве культуры, которое было обосновано в первом разделе книги, и как бы развивают его на конкретном материале. Отсюда такие статьи, как «Римский обед», «Семантика одежды», «Городская теснота», «Жизнь в Риме в эпоху Ранней империи». В то же время в этой части сборника в плане теории и истории культуры (а не с литературоведческих или историографических позиций) подробно рассматриваются жизнь и творчество самых значительных представителей и высокой духовной культуры Древнего Рима — Цицерона, Тита Ливия и Тацита. Соединение в одной книге современной культурологии и античного Рима только на первый взгляд может показаться искусственным или случайным. Мы смотрим на прошлое сегодняшними глазами и можем задать ему лишь те вопросы, которые порождены общественным и культурным опытом, нами пережитым. Наш подход к культуре прошлого может оказаться научно актуальным и, главное, новым, только если он отражает этот взгляд и этот опыт. Поэтому разбор социокультурной ситуации конца XX века и специфического

языка культур, читать который мы в этой ситуации научились, есть естественная и необходимая предпосылка всякого содержательного анализа культуры любого исторического периода.

Статьи, вошедшие в сборник, писались в разное время и предназначались для изданий, различных по характеру и уровню. Они не перерабатывались для настоящего издания и сохраняют все особенности и все реалии времени своего создания или первой публикации. Наряду с текстами научно-популярного характера, вполне доступными студенту-первокурснику, вроде литературного портрета Корнелия Тацита, вроде того, что посвящен жизни в Риме в эпоху Ранней империи или рассказывает о современных методах исследования истории общества, в книге содержатся теоретические статьи из академических изданий; они требуют специальной подготовки и, естественно, предназначены не для студента, а для преподавателя. Напомним, что книга задумана не как учебник, а лишь как собрание тематических материалов в помощь лектору и студенту и потому предполагает выборочное их использование. С этим последним обстоятельством связано сохранение в материалах книги многочисленных повторов: используя тот или иной очерк, читатель должен получить весь объем нужных ему сведений по данной теме, и частичное повторение их в соседнем очерке вряд ли будет для него важно.

Наконец, несколько слов об одной из самых трудных методических проблем, связанных с данным курсом, — проблеме материала для анализа. Дело в том, что, как всякая наука, культурология имеет дело с определенными обобщениями, категориями, закономерностями и не может сводиться только к занимательным рассказам о жизни и художественной культуре былых эпох (хотя в отдельных случаях именно такое построение курса бывает наиболее целесообразным). Но обобщения и закономерности должны опираться на конкретный материал, возникать из фактов и образов истории искусства, науки, общества в целом. Между тем именно этот материал, эти факты и образы во многих случаях студентам известны недостаточно или даже неизвестны вовсе, и преподавателю опереться более или менее не на что. Трудность эта связана с самой природой данного учебного курса и возникает повсеместно и постоянно. На гуманитарных факультетах ее обычно обходят таким образом, что курс теории и истории культуры располагается в учебном плане после курсов гражданской истории, истории литературы и искусства. На естественно-научных факультетах и в технических вузах в основу курса теории и истории культуры нередко кладутся материалы истории естествознания, техники, дизайна, известные студенту из лекций по предметам его будущей специальности. (Заметим в скобках, что такое построение предполагает у преподава-

телей профилирующих технических и естественно-научных дисциплин хорошее знание проблем и методов истории и теории культуры, что имеет место далеко не всегда.) В других случаях кафедры становятся на упомянутый выше путь «занимательных рассказов». Все эти подходы имеют свои достоинства и свои недостатки и в зависимости от условий оказываются более или менее возможными и целесообразными. Невозможно и нецелесообразно только одно — превращение теории и истории культуры в набор мертвых и скучных абстракций, назидательных прописей. Курс может выполнить свое назначение, лишь если он учитывает личный, культурный, общественный опыт студентов, опирается на него, раскрывает культурный смысл — положительный или отрицательный — процессов реальной жизни, воспитывает убеждение в том, что культура в разных своих формах пронизывает окружающую действительность, бытовую и современную, и составляет одну из основных ее ценностей, — все дело в том, чтобы научиться слышать ее голоса и читать ее тексты. Из этого убеждения исходил автор настоящей книги.

**ВВЕДЕНИЕ**  
**В ОБЩУЮ ТЕОРИЮ КУЛЬТУРЫ.**  
**КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ**

---

## ДВУЕДИНСТВО КУЛЬТУРЫ

Культура есть характеристика человеческого общества, его людей и его истории; природа как таковая, природа без человека, лежит вне культуры и ее не знает. Как характеристика человеческого общества, культура обусловлена фундаментальным свойством этого общества — диалектическим противоречием отдельного, индивидуального, личного — словом, человека, и родового, коллективного, совокупного — словом, общественного целого. Каждый из нас — неповторимая индивидуальность, каждый живет в мире своих вкусов, симпатий и антипатий, обеспечивает условия своего существования, создает в меру сил свое материальное окружение, свою микросреду. В то же время все, что мы делаем, знаем, говорим, думаем, мы делаем и знаем, говорим и думаем как члены общества, на основе того, что дало нам оно; на языке общества, которому мы принадлежим, формулируем мы наши мысли и обмениваемся ими, в ходе взаимодействия с обществом растем и взрослеем, от него черпаем наши представления о мире, в нем реализуем себя в труде. Лишь вместе, во взаимопосредовании и взаимообусловленности, составляют оба эти начала общественную реальность, лишь вместе, в непрестанном взаимодействии составляют они жизнь человечества. В единой полифонии истории, однако, каждое из них ведет свой голос, каждое обладает своей ценностью и ни одно не может полностью заменить другое. Культура как форма общественного сознания отражает это двуединство общества — всегда состоящего из индивидов, самовоспроизводящих себя в процессе повседневной практики, и из норм и представлений, основанных на обобщении этой практики и регулирующих поведение этих индивидов в процессе той же практики. Охватывая обе эти сферы, культура знает как бы два движения — движение «вверх», к отвлечению от повседневных забот каждого, к обобщению жизненной практики людей в идеях и образах, в науке, искусстве и просвещении, в теоретическом познании, и движение «вниз» — к самой этой практике, к регуляторам повседневного существования и деятельности — привычкам, вкусам, стереотипам поведения, отношениям в пределах социальных микрогрупп, быту и т. д.

В пределах первого из указанных типов культура воспринимает себя и воспринимается обществом как Культура «с большой буквы». Отвлеченная от эмпирии повседневного существования и бесконечности индивидуального многообразия, она тяготеет к закреплению в традиции и к респектабельности. К профессионализации деятелей, ее созда-

ющих, к восприятию более или менее подготовленной аудиторией и в этом смысле к элитарности. В пределах второго из указанных типов культура растворена в повседневном существовании и его эмпирии, в материально-пространственной и предметной среде, как правило, не воспринимает себя как Культуру в первом, респектабельном, смысле и тяготеет к тому представлению о себе, в соответствии с которым употребляют слово «культура» в археологии, то есть имея в виду совокупность характеристик практической, производственной и бытовой жизни людей данного общества в данную эпоху.

Есть (или, вернее, все-таки была) очень широкая полоса исторического развития, где описанные два регистра культуры еще не разделились, и их нераздельность выражалась в определенных типах общественного поведения. Эту полосу исторического развития составляли так называемые архаические общества и, соответственно, архаические культуры, а этими типами общественного поведения были ритуалы и обряды. Суть архаического мировосприятия состоит в том, что любые существенные действия из тех, что составляют и заполняют человеческую жизнь — рождение, брак, смерть, основание города, дома или храма, освоение новой территории, запашка земли, повторяющиеся празднества, прием пищи и т. д., — обладают значением и ценностью не сами по себе, а как повторение мифологического, идеального образца, как воспроизведение некоторого прадействия, средством же такого повторения и доказательством его реальности служит ритуал. В результате между основными моментами трудового и повседневно-бытового обихода, с одной стороны, и образами коллективно-трудовой и космически-мировой жизни, с другой, то есть между двумя намеченными выше регистрами культуры, устанавливались отношения параллелизма, внутренней связи и взаимообусловленности.

В большинстве мифологий, например, существует представление об отделении богами тверди от хляби и о выделении организованного, упорядоченного пространства из первозданного хаоса как об изначальном акте творения. Поэтому овладение новой землей, будь то на основе военного ее захвата, будь то в результате открытия, становилось подлинно реальным, реальным в переживании каждого, только если с помощью точно исполненного ритуала в нем обнаруживалось повторение изначального мифологического акта творения. Так, в частности, объяснялись обряды закладки городов у древних римлян еще в эпоху Ранней империи. Проведя ночь у костра, основатели будущего города втыкали в землю шест (или копьё), следя за тем, чтобы он стоял строго вертикально, и когда шест, озаренный первым лучом восходящего солнца, отбрасывал на землю длинную тень, по ней поспешно проводили плутом борозду, определявшую направление первой главной

улицы — декумануса; к ней восстанавливался перпендикуляр, становившийся второй главной улицей — кардином, и у скреста их возникало ядро города, центр, одновременно деловой, общественный и сакральный, с сосредоточенными здесь храмами, базиликой, рынком. Происходило как бы зачатие неупорядоченной первозданной природы; на ее хаотическую пустоту, повторив первичный акт творения, оказывалась наложенной четкая геометрия порядка и воли. Точно так же в качестве повторения божественного исходного образца мыслилось изготовление вещей. В 25-й главе библейской Книги Исхода рассказывается, как Бог давал Моисею на горе Синай повеления о постройке святилища, скинии, ковчега, стола, светильника, непременно добавляя: «Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех составов ее, так и сделайте», или: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Из такой двуединой природы своего труда, в котором вполне земное, практическое личное мастерство при изготовлении данной вещи соединялось с сакральным актом воспроизводства божественного образца, исходил и средневековый ремесленник. Об этом подробно рассказал немецкий ювелир и мастер по металлу, а впоследствии монах Теофил в своем сочинении «Краткое изложение различных искусств» (конец XI — начало XII в.). Его рассуждения вполне соответствовали взглядам на тот же предмет таких знаменитых философов и богословов его эпохи, как блаженный Августин (354—430 гг.; см. его «Исповедь», кн. XI, гл. 4—5) или Фома Аквинский (1226—1274). То же, в сущности, представление, согласно которому мастер воссоздает божественный оригинал и труд его в той мере успешен, в какой зритель приобщается через созданное изображение к сакральному смыслу изображенного, лежало в средневековой Руси в основе деятельности иконописца.

Кое-что из этого строя мыслей и чувств сохраняется в подсознании культуры вплоть до наших дней, но типологически архаическое единство обоих регистров оказалось изжитым вместе с образованием классов и государства. Именно тогда происходит отделение интересов общественного целого и его идеологической санкции от интересов и быта, труда и жизни простых людей. Первые тяготеют к обособлению от повседневности, к величию и официализации, вторые ищут себе форм более непосредственно жизненных, переживаемых каждым, более соответствующих его повседневным чувствам и интересам, его духовному горизонту. Так возникает ряд характеристик культурного процесса, устойчиво сохранявшихся на всем протяжении огромной эпохи вплоть до XIX столетия.

К их числу относится, например, стремление высокой Культуры замкнуться в социально ограниченном кругу и выражать себя на особом



языке, доступном этому кругу, но непонятном остальным. Так, шумерский язык, на котором в III тысячелетии до н. э. говорило население юга Месопотамии, исчез как живое средство народного общения в первой четверти II тысячелетия, но как мертвый письменный язык культа и культуры, доступный лишь жречеству и узкому кругу специально подготовленных лиц, он прожил еще более тысячи лет в Вавилоне и некоторых других государствах этого региона. В известной мере сходную роль играл греческий язык в Древнем Риме в первые века нашей эры и французский — в русском дворянском обществе пушкинской поры. Но наиболее показательна судьба латинского языка. Перед рубежом новой эры обнаруживаются признаки углубляющегося расхождения между живым латинским языком как средством общения в среде римского населения и тем же языком, как бы остановленным в своем развитии, приуроченным к определенным литературным жанрам и обслуживавшим художественную литературу, государственную документацию, право и культа. Уже Цицерон говорил, что он пользуется одним латинским языком в суде или в сенате и совсем другим у себя дома. Дальнейшее развитие народного латинского языка привело к образованию национальных романских языков (французский, итальянский, испанский и др.), в других случаях народ продолжал пользоваться своими исконными языками, с латинским не связанными, но над всем этим пестрым многообразием местных и повседневных средств общения от Лисабона до Кракова и от Стокгольма до Сицилии царил единый и неизменный, грамматически упорядоченный, искусственно восстановленный и сохраняемый язык, ценный в глазах посетителей его — юристов и священников, врачей и философов — именно тем, что в своей отвлеченности от всего местного, частного, непосредственно жизненного он соответствовал величию и характеру Культуры. Ни для чего «слишком человеческого» здесь места не оставалось. В одном из самых значительных романов нашего времени — в «Имени розы» Умберто Эко (действие его происходит в Италии в начале XIV века), есть сцена, в которой суд инквизиции приговаривает к смерти ни в чем не повинную крестьянскую девушку. Она кричит о своей невиновности, объясняет, что случилось, но ни судьи, ни монахи не реагируют — привыкшие к своей латыни, они не воспринимают местный крестьянский говор, на котором только и может объясниться несчастная, — для них это набор звуков.

Из той же внутренней потребности Культуры замкнуться в высокой сфере всеобщего рождается ее тяготение к эталону, то есть к выработке определенных норм и форм, способных отразить бытие общественного целого, его идеалы и потому не спускающихся до всего частного, отдельного, личного и в этом смысле случайного. Великий мыслитель

античной эпохи Аристотель (384–322 гг. до н. э.) оставил теоретический трактат «Об искусстве поэзии» (иногда его называют также «Поэтика»), где в полном соответствии с убеждениями своего времени доказывал, что «поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история — о единичном». На этом основании он делил все жанры словесного искусства на высокие и низкие, противопоставляя эпос, трагедию, героическую поэму комедии, сатире, легкой поэзии, и деление это сохранилось на долгие века, вплоть до XVII–XVIII столетий. Еще одним проявлением потребности высокой Культуры в эталоне явилась выработка тогда же, в античную эпоху, той трактовки языкового материала, которая получила название риторики. Цицерон определял ее как «особый вид искусного красноречия», выражая смысл подчеркнутого нами прилагательного латинским словом, которое соединяло в себе значения «искусный» и «искусственный». И в античную эпоху, и на протяжении последующих столетий риторика означала, во-первых, расчленение и организацию мысли по пунктам, по разделам, с выделением главного, с четкой постановкой вопроса и четкими выводами, во-вторых — использование для выражения мыслей и чувств некогда уже удачно найденных, более или менее клишированных словесных блоков. В обоих случаях культурный смысл риторики — во всяком случае, один из культурных смыслов — состоит в создании текста, обеспечивающего яркость, силу и эстетическую убедительность выражения путем апелляции к логике, к исторической и образной памяти несравненно больше, чем к непосредственному индивидуальному переживанию.

В этих условиях очень многое в частной повседневной жизни людей, равно как в их верованиях, надеждах, взглядах, чувствах, не находило себе ни выражения, ни удовлетворения в сфере высокой Культуры. Такие взгляды, чувства и чаяния искали самостоятельную возможность выразить себя и порождали особый модус общественного сознания, альтернативный по отношению к высокой Culture. Он существовал на протяжении истории в двух основных формах. Одна из них характерна для развитых классовых обществ от античности до, в широком смысле слова, нашего времени. Она представлена так называемой низовой культурой народных масс и соотносена с так называемым плебейским протестом против Культуры. Другая форма своеобразного противостояния высокой Culture складывалась в несравненно более глубоких слоях исторического бытия и характерна для архаических обществ. К ней относится все связанное с принципом переживания жизни и культуры «наизнанку».

В древних преданиях многих народов центральную роль играет героический персонаж, который ценой жертв и подвигов одолевает пер-

вичный хаос, побеждает и изгоняет ранее владевших миром чудовищ и добывает для народа блага цивилизации. Таков у древних греков Прометей, доставший людям с неба огонь и страшно наказанный за это ревнивыми богами, «первокузнец» Гефест или победители чудищ Геракл и Персей, таков у германцев Тор — бог плодородия и грозы, орошающей землю, защитник богов порядка и людей, их чтущих, от великанов, что несут разрушение и хаос, и многие другие. Персонажи такого рода точно и справедливо получили в науке наименование «культурный герой». Они действительно «устраивают» мир, вносят в жизнь знания и труд, ответственность и справедливую кару, строй и порядок, то есть закладывают основы культуры. Но самое удивительное и самое примечательное состоит в том, что знания и труд, строй и порядок, воспринимаемые с самого начала как безусловное благо, тут же раскрываются как нечто одностороннее и потому уязвимое. В тех же мифах и преданиях обнаруживается потребность человека периодически освобождаться от цивилизации и культуры, от строя и порядка.

В качестве носителя этого странного, словно бы незаконного протеста рядом с культурным героем встает его диалектически отрицательная ипостась, ему враждебная и от него неотделимая. В науке такой «антигерой» получил название трикстера (англ. *trickster* — 'обманщик, ловкач', от слова народно-латинского происхождения *trick* — 'фокус, трюк, ловкий прием'). Типичным примером может служить один из богов древней, дохристианской, скандинавской мифологии по имени Локи. Локи, по некоторым версиям мифа, брат верховного бога мудрого Одина и спутник упомянутого выше Тора, изобретатель рыболовной сети, то есть он явно входит в круг культуры как двойник культурного героя. Но место его в культуре — особое; он переживает бесконечные превращения, то в сокола, то в лосося, его стихия — обман, воровство и какой-то демонический комизм, жалкий и дерзкий вместе. Кончает он скандалом: на пиру богов поносит их всех, разоблачает их трусость и распутство, как бы выворачивая наизнанку их устоявшиеся величественные образы, и претерпевает за это от них мучительное наказание. Локи не одинок; такие плуты и озорники, демонически-комические дублеры культурного героя, отмечаются в мифологии самых разных племен и народов не только Европы, но также Африки и Америки. Очевидно, потребность увидеть в культуре и организованном миропорядке не только благо, но и стеснение, принуждение каждого во имя целого и, соответственно, ощутить необходимость, привлекательность и важность противоположного, как бы самоотрицающего начала культуры — одна из универсальных характеристик общественного сознания, по крайней мере архаического. В позднейшие, уже исторические, эпохи роль трикстера берут на себя шуты, «дура-

ки», столь распространенные на Руси скоморохи и многие другие «отрицатели» того же плана. Принцип «наизнанку» продолжает жить во всей так называемой смеховой культуре, впервые подробно исследованной русским ученым М. М. Бахтиным.

Потребность дать свободу силам жизни, не получающим выхода в мироупорядочивающей и гармонизирующей Культуре, проявляется также в присущих многим народам обрядах и празднествах карнавального типа и в некоторых сторонах не менее широко распространенных мифов о «золотом веке». Суть карнавала, отчасти и кое-где проявляющаяся до сих пор, изначально состояла в том, что в определенные моменты года (обычно летом, после сбора урожая, или в декабре — январе, при открытии кладовых с новым урожаем) на несколько дней социальная структура, культурные нормы и моральные заповеди как бы переворачивались вверх дном. В древнем Вавилоне на место царя на несколько дней избирался раб, как в Средние века в Европе избирался карнавальный король шутов; в конце карнавала его судили, приговаривали к смертной казни и торжественно сжигали его чучело, но до того он оглашал завещание, в котором красноречиво разоблачал грехи «приличного общества». В античной Греции по завершении сбора урожая отмечались Кронии — праздник, аналогичный римским Сатурналиям. Последние, пожалуй, выражали «культурно-разоблачительную» сущность карнавала полнее всего. Неделя с 17 по 23 декабря посвящалась Сатурну — богу обильных урожаев и олицетворению «золотых» — доцивилизованных и докультурных — времен. В память о нем хозяева усаживали рабов за свой стол, угощали их и сами им прислуживали, женщины надевали мужскую тогу — знак гражданства, которого они в Риме были практически лишены, и которая в этих обстоятельствах становилась символом распушенности и продажности, табуировались все виды деятельности, связанные с насилием, принуждением, организацией: судопроизводство и исполнение приговоров, проведение собраний и военных наборов, установление границ земельных участков и огораживание их, подведение быков под ярмо, стрижка овец. Неделя проходила в веселых застольях, во время которых люди делали друг другу подарки. Смысл этих празднеств состоял в том, что «золотой век», олицетворенный Сатурном, воспринимался народом как «время до времени», не знавшее благ, но зато и в первую очередь не знавшее тягот общественной организации, цивилизации и культуры.

Это народное представление о «золотом веке» нашло широкое отражение в римской литературе. Овидий перечисляет его признаки с предельной четкостью: отсутствие судов и письменных законов, войн, труда, мореплавания и неотделимого от него общения с иноземцами. Важнейшей чертой этого состояния является то, что оно не меняется,

а пребывает, исключено из времени, включено в неподвижную вечность до-истории и до-культуры и именно потому так прекрасно.

*Вечно стояла весна; приятный, прохладный, дыханьем  
Ласково нежил зефир цветы, не знавшие сева...*

*Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях.*

(Овидий. Метаморфозы, I, 107—110.)

Все те же признаки «золотого века» перечислены у Тибулла и в «Георгиках» Вергилия. Сенека допускает для «золотого века» существование власти, но такой, которая заботилась лишь об общем достатке, защищала слабейших от сильных, действовала не силой, а убеждением.

Многое из этого и сходных представлений не трудно обнаружить и в карнавальных празднествах других народов, в славянской масленице, святках и др.

Иная реакция на описанные выше особенности высокой Культуры заключена в так называемом плебейском протесте против нее. Особенно ярко проявился он, например, во многих ересьх средневековья. Независимо от конкретного содержания каждой почти все они противопоставляли регламентированной вере, которую насаждала и которую жестко контролировала церковь, непосредственное общение с Богом, служение ему душой и образом жизни, а не непонятными обрядами. Поскольку же церковь ко времени развитого средневековья (то есть к XII—XIV вв.) накопила огромные богатства и в немалой доле расходовала их на украшение церквей, покровительство искусству, собирание и переписку старинных рукописей, то протест еретиков принимал форму критики именно этой деятельности церкви, выражался в требовании простоты веры и образа жизни, в апелляции к религиозному переживанию больше, чем к знанию священных текстов, в требовании братских отношений между верующими и их равенства во Христе вместо общественной иерархии, в основе которой лежало признание благополучных и прикосновенных к учености лучшими христианами, нежели «простецы», то есть нищие, неблагополучные и неученые. При этом «простецы» доказывали, что именно они самые последовательные и верные христиане, и во многих случаях до последней возможности старались сохранить послушание официальной церкви, но в конце концов обычно приходили в конфликт с нею и ее культурой, противопоставляя ей свою, где нравственное начало было важнее интеллектуального и эстетического. Одним из наиболее известных деятелей этого типа был, например, святой Франциск Ассизский (1182—1226), организовавший из своих последователей нищенствующий орден францисканцев. Отправляя их в мир для проповеди покаяния и возвращения к чистому евангельскому христианству, он настав-

лял уходящих так: «Не опасайтесь, что мы кажемся малыми и неучеными, но без опасений и попросту возвещайте покаяние. Бог, покрывший мир, да вложит вам в душу уверенность, что в вас и через вас раздается его голос».

Такое направление мыслей и чувств было характерно для большинства плебейских ересей средневековья и в Западной Европе, и на востоке ее. Ведущие их проповедники пользовались огромной популярностью в широких слоях обездоленных, так как выражали, по-видимому, общее их мироощущение. Церковь, однако, не могла упустить монополию в области веры и религиозного поведения, не могла разделить свой авторитет с кем бы то ни было, и уж меньше всего с «простецами». Как правило, ей удавалось привлечь на свою сторону определенную часть еретиков, они принимали более мягкие формы протеста, находили постепенно общий язык с официальной церковью и нередко, подобно францисканцам, превращались в один из ее орденов. Зато другая часть не соглашалась на уступки и компромиссы, и рубеж, отделявший ее от церкви, превращался в подлинную пропасть. Францисканцы проделали именно такую эволюцию. Сам Франциск до конца оставался верным сыном католической церкви и умел осуществлять свое учение в рамках, приемлемых для папы и кардиналов. После его смерти орден францисканцев сохранил многое из заповедей основателя, но и пожертвовал многим из его наследия — презрением к земным благам и той особой культурной атмосферой, которая окружала учителя, — восторженной открытостью красоте природы, нравственной чистотой и простотой человеческих отношений. Но едва ли не более тяжелой была цена, которую пришлось заплатить последователям Франциска, признавшим главным и, в сущности, единственным содержанием его учения прославление нищеты, а следовательно, добавляли они, ненависть к тем, кто накопил ценности, материальные или духовные, и требовавшим уничтожения последних «к вящей славе Господа». Под этими лозунгами, в частности, развернулось в начале XIV века в Северной Италии движение, которое возглавил некий Дольчино. Борьба принимала все более кровавые формы, ищeyки церкви свирепствовали и злодействовали, еретики-дольчининанцы тоже не оставались в долгу, и костры инквизиции отражались в реках, красных от крови жертв бушующей толпы «нищенствующих во Христе».

Такого рода плебейский протест мог быть вполне понятным в свете требований социальной справедливости и потому мог обладать определенным положительным историческим содержанием. При последовательном проведении его в жизнь, однако, культура начинала восприниматься исключительно как «дело сытых», искусство — как легкомысленная «суета сует», и та и другое становились знаком греховного

отпадения от простоты веры. Движение принимало антикультурный характер, и, как во всех антикультурных движениях, в нем — независимо от чистоты помыслов инициаторов и многих участников — обнаруживались, а потом и реализовывались разрушительные потенции. Именно такую эволюцию проделало там же в Италии в 1490-е годы движение, возглавленное доминиканским монахом Джироламо Савонаролой (1452—1498). Пример этот тем более показателен, что сам Савонарола отнюдь не был мракобесом. Он писал стихи, ценил живопись, содействовал спасению библиотеки, содержавшей множество ценных рукописей. Во всем дальнейшем сказалась не столько его личность, сколько то отношение к культуре, которое он воплощал. Савонарола был убежден, что духовность — самое прекрасное, на что способен человек, но есть лишь один вид подлинной духовности — «пост, молитва, милостыня, духовные подвиги и т. п.». Все же другие проявления культуры и особенно искусства требуют специальных познаний вне религии, сопряжены с изучением философии, увлечением поэзией и материальной красотой, с привлечением и оплатой художников и архитекторов, следовательно, с духовной утонченностью, с роскошью и пышностью, непомерными тратами, а значит, с забвением простоты, скромности, бедности — словом, с гордыней и злом. Отсюда его требование к каждому христианину «постоянно стремиться к устранению всего того, что он находит несоответственным славе горячо им любимого Господа». Деятельность Савонаролы завершилась, в частности, тем, что во время карнавала 1497 г., а затем повторно и 1498-го под его руководством было устроено «сожжение сует». В огромном костре, разложенном на площади Синьории во Флоренции, сгорели произведения искусства, сочтенные «соблазнительными» (в том числе, по некоторым сведениям, одно из полотен Леонардо), кодексы с произведениями писателей Древних Греции и Рима и даже, как рассказывает свидетель событий, портрет некоего венецианского купца, пытавшегося спасти сжигаемые произведения и предложившего за них выкуп.

Проведенный обзор позволяет сделать несколько существенных выводов, как суммирующих то, что было сказано выше, так и намечающих то, что предстоит развить в дальнейшем.

1. **Культура двуедина.** Она представляет собой систему диалектических противоречий, производных от одного, центрального — от противоречия индивида и рода. В основе ее — непрестанное взаимодействие обобщающих тенденций и форм с тенденциями и формами, направленными на самовыражение индивида в его неповторимости. Эти тенденции нераздельны и неслиянны: нельзя выразить себя, не обращаясь к обществу и не пользуясь его языком, то есть, другими словами, не отвлекаясь от себя и собственной неповторимости, как нельзя построить общество, которое



бы не состояло из индивидов, то есть не выражало бы себя через отдельных людей, и обращаясь к отдельному человеку, которое существовало бы только как целое вне образующих его личностей. Плоть культуры состоит из бесконечного многообразия и бесконечного движения конкретно-исторических проявлений этого противоречия. Открытая и разработанная великими физиками XVI—XVII веков система законов небесной механики не зависит от воли и желаний отдельного человека и представляет собой результат предельного обобщения человеческого опыта. Из этого обобщения родилось представление о том, что упорядоченная Вселенная, с ее небесными телами, движущимися по вечным, непреложным, логически постигаемым и, следовательно, разумным законам, не может не быть созданием разумной воли, то есть порождением и воплощением Бога. Бог же мог быть воспринят либо как для всех единая самая общая сущность (на чем всегда настаивала католическая церковь), либо, как в позднейшей протестантской идеологии, в виде сущности, переживаемой в душе каждого и лишь в ней реально и существующей. Все эти контroversы безусловно связаны между собой, безусловно движутся в противоположности объективно познанного и субъективно пережитого и столь же объективно образуют одно из содержаний культуры определенного общества в определенный период.

**2. Культура существует в жизни и в истории, но им не тождественна.** Она реализует себя в означенных выше противоречиях, длится, меняется и живет в них. В истории постоянно рождаются импульсы к преодолению этих противоречий силовым путем за счет уничтожения одного из полюсов. Такие импульсы бесконечно реализовывались и реализуются в истории, образуя значительную долю ее содержания, но культура здесь прекращается. Описанные выше противоречия в истолковании роли божественного начала в строении Вселенной и в духовной жизни человека, напряженные споры вокруг этих вопросов — факты культуры, но ни сожжение Джордано Бруно, ни Варфоломеевская ночь фактами культуры не являются, хотя они вполне очевидно представляют собой факты истории. Они имеют целью разрушить диалектически противоречивую структуру духовного бытия, прагматически, жизненно и материально утвердить одну цельную всеобщую и непротиворечивую истину и именно поэтому оказались вне культуры, ибо ее смысл не в разрушении жизненных противоречий и не в пассивном признании их, а в «снятии» противоречий жизни и истории в познании, в духе и слове. Культура выступает по отношению к исторической жизни как ее сущностная сублимация, то есть как величайшая ценность, залог духовной преемственности и тем самым — содержательной длительности в бесконечном развитии человечества.

**3. Культура диалогична.** Оглянемся на факты и обстоятельства, описанные выше. Идеальный образец — это не изготовленный ремесленником предмет, но он как бы моделирует последний и потому, принципиально отличаясь от него, в особой форме участвует в его изготовлении. Латинский язык противостоит национальным диалектам, но в каждом языке Европы огромный лексический массив восходит к латыни, а любой средневековый клирик, юрист или ученый жил в атмосфере реального двуязычия, пользуясь латынью в одних ситуациях и диалектом в других. Трикстер — антагонист, но и двойник культурного героя, он разоблачает богов, но не уничтожает их. Ереснархи враждуют с церковью, ибо считают, что последняя забыла и исказила христианское вероучение, которое и они, и она равно исповедуют. Культура не разрывает ткань диалога, а несет ее в себе. Диалог воплощает диалектику развития, диалектику, раскрытую в будущее и в этом смысле исторически положительную, — положительную как в объективном, философском и историческом смысле, так и в смысле субъективно-человеческом, нравственном. Первый состоит в том, что каждое из столкнувшихся начал представляет одну из возможных перспектив развития, тем самым — одну из сторон истины, и только в диалоге может совершиться переход к новому ее содержанию. Второй предполагает сознательное или подсознательное убеждение антагонистов в существовании объективной истины и в своей ответственности перед ней, что заставляет каждого в конечном счете слышать противника, участвовать в воссоздании диалектической истины целого и тем самым — в культуре.

**4. Культура существует во времени и, тем самым, в развитии,** в ходе которого разворачивается и видоизменяется все то же ее исходное противоречие. Не случайно в ходе этой лекции мы имели дело в основном с материалом архаических культур, античности и средневековья. В нем отразились в первоначальном и потому наиболее наглядном, четком виде конструктивные и в этом смысле постоянные антиномии культуры. Для понимания ее как живой, движущейся исторической материи, однако, необходимо представить себе, что с ними стало в ходе дальнейшего развития.

---

## ДИАЛЕКТИКА ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Тридцать лет назад существовало свыше 250 определений культуры<sup>1</sup>, и за истекшие годы число их, по-видимому, еще возросло<sup>2</sup>. За внешним многообразием, однако, отчетливо обнаруживаются всего две смысловые доминанты. Одни определения варьируют традиционное понимание культуры как совокупности созданных человеком в ходе его истории материальных и духовных ценностей, прежде всего его достижений в области искусства, науки и просвещения. Другие тяготеют к более широкому пониманию культуры как совокупности исторически обусловленных форм отношения человека к природе, обществу и самому себе. Первая группа определений утверждает как основу культуры создаваемые человеком *обобщенные* отражения действительности в виде знаний о ней и о методах ее изменения, в виде научных теорий и художественных образов, рассматриваемых в их исторической преемственности. Во второй группе определений главное — стремление уловить и зафиксировать *непосредственно-жизненное* взаимодействие человека с действительностью, общественно-исторически детерминированное отражение форм и способов такого взаимодействия во внутреннем мире людей, в их поведении, отношениях друг к другу, повседневном быту. Значение подобной дифференциации двух образов культуры выходит далеко за рамки споров о научных определениях. В самом существовании этих образов и сложных отношениях между ними обнаруживаются некоторые коренные социокультурные процессы второй половины XX столетия, в которые стоит взглянуть. Начнем с рассмотрения некоторых из этих процессов в их простейших проявлениях.

### I

**Предметы бытового обихода** всегда обладали знаковым содержанием и потому характеризовали социокультурную принадлежность человека, ими пользовавшегося. Тога так же представляла комплекс духовных и социально-правовых характеристик римского гражданина, как зипун — мир и положение русского крестьянина XIX века. Такая связь между предметами повседневной жизни и культурной принадлежностью была малоизбирательной и внеиндивидуальной. Благодаря зипуну два односельчанина характеризовались как крестьяне, но психологическое, человеческое свое отличие от другого ни один из них с помощью зипуна вы-

разить не мог. В последние десятилетия положение изменилось в корне. Комбинируя в произвольных сочетаниях берет, кепку или шляпу с гимнастеркой, пиджаком или свитером, с сапогами, кроссовками или мокасинами, импортные предметы одежды с отечественными, человек получил возможность выразить сколь угодно тонкие оттенки своего индивидуального культурного самоощущения и эмоционального отношения к действительности<sup>3</sup>. Состав и организация бытового интерьера, дизайн домашней звукотехники с успехом служат той же цели. Повседневная жизнь и ее инвентарь взяли на себя во второй половине XX века функцию эмоционального общественного самовыражения, которая так долго была монополией идеологии, слова, высокого искусства.

Эстетика костюма вот уже несколько десятилетий развивается в сторону преодоления противоположности бытового и официального. В предшествующую пору парадная, праздничная или деловая одежда принципиально отличалась от домашней. Надевая последнюю, человек «давал себе волю», надевая первую, отказывался от «воли» ради пусть стесняющего и неудобного, но импозантного внешнего вида, соответствовавшего официальным представлениям о приличном и красивом как противоположном повседневному. Литература XIX в. и частные письма людей этой эпохи пестрят жалобами на невозможность пойти в театр или к некоторым знакомым из-за отсутствия фрака. И. А. Бунин специально упоминал в своих мемуарах, очевидно, видя в этом совершенно индивидуальное отступление от общих нравов времени, что Чехов не знал деления одежды на домашнюю и выходную — «одет был всегда так, что хоть в незнакомый дом в гости»<sup>4</sup>. Сегодня основная масса населения — особенно мужчин — считает подлинно современной только многофункциональную одежду: свитеры, вельветовые, джинсовые или «вареные» брюки, кожаные (еще не так давно замшевые) куртки, спортивную обувь — и избегает всего напоминающего официальность, что еще два-три поколения назад считалось обязательным, — крахмальных воротничков, галстуков, однотонных костюмов и т. д.

Оппозиция «прикровенность — откровенность» характеризует тот же контраст между былой и современной системами социокультурных координат и ту же тенденцию в их соотношении. На протяжении очень долгого времени быт рассматривался как изнанка бытия, т. е. как неприглядная и непривлекательная противоположность высоким формам человеческого самовыражения — общественным, государственно-политическим, художественным, светским. В Древнем Риме дом делился на атриумную, официально-парадную половину, где принимали клиентов, представляли маски предков, держали сундук с семейными, а иногда и государственными документами, и перистильную — там играли дети, хозяйка отдавала распоряжения рабам и слугам, хозяин принимал близких дру-

зей. Этот принцип полностью сохранялся и в Новое время — сначала во дворцах, потом в особняках и, наконец, в распространенном в конце прошлого и начале нынешнего века типе квартир, — принцип, выражавшийся в том, что в главной анфиладе, окнами на улицу, располагались парадные комнаты и жила хозяйская чета, а подальше от глаз, во внутренней анфиладе, окнами во двор, либо на антресолях и в полуподвале, помещались дети с няньками и гувернантками, спали слуги. Архитектурная организация могла быть иной, принцип оставался неизменным, и если сейчас от него отказались, то вовсе не только из-за нехватки жилплощади, а прежде всего из-за изменившегося отношения к повседневности, из-за того, что отпала сама психологическая потребность в делении существования на открытую и закрытую сферы. Функциональная дифференциация жилого пространства строится на совершенно иной основе, предполагающей все то же определяющее для современной цивилизации взаимопроникновение общественно-деловой, художественно-культурной и повседневно-жизельской сфер: функциональное зонирование, «перетекание» одного помещения в другое без дверей, с помощью широких проемов и не доходящих до верха внутренних перегородок, использование кухни как места дружеских встреч и семейного общения, нередко включающего просмотр телефильмов и слушание концертов по радио или пластинок<sup>5</sup>.

С изживанием противоположности «прикровенность — откровенность» отчетливо связаны все проявления так называемой *сексуальной революции 1970-х гг.* — ослабление грани между официально оформленным браком и свободным сожительством, обсуждение в прессе и в произведениях искусства самых сокровенных сторон семейных отношений, немыслимое в прежнюю пору по своей откровенности изображение обнаженных фигур и любовных сцен в театре и кино, мини-одежда, вообще выход эротической стихии в повседневную жизнь, за пределы той интимной сферы, в которой она пребывала при прежних поколениях.

**Жизненная среда** в не меньшей мере, чем само по себе художественное произведение, становится постепенно реальной формой существования искусства<sup>6</sup>. Единицей традиционного искусства является произведение — симфония, скульптура, картина, поэма, роман, драма и т. д., то есть продуманная и рассчитанная конструкция, именно в силу своей внутренней структурности противостоящая неупорядоченной стихии повседневного самовыражения. Преодоление хаоса неорганизованной эмпирической действительности, внесение в него строя и гармонии неоднократно рассматривалось как главное дело искусства<sup>7</sup>. В XX веке вообще и в послевоенные десятилетия в частности произведение, при сохранении им, разумеется, всей его традиционной роли, все чаще ут-

рачивает автономию и либо само начинает жить как сгусток окружающей жизненной среды, либо раскрывается ей навстречу и впускает ее в себя, делает своим элементом. Процесс этот представлен особенно ясно, например, в столь популярной сегодня средовой архитектуре. Если на протяжении веков архитектор видел смысл своей деятельности в создании прекрасного сооружения, то ныне главная задача все чаще усматривается в создании не до конца организованной, текучей и изменчивой материально-пространственной среды обитания (или, точнее, пребывания), призванной породить не столько эстетическое наслаждение как таковое, сколько чувство удовлетворения от свободного и естественного включения человека в жизнь и историю<sup>8</sup>. Отдельное произведение архитектурного искусства если и воспринимается, то оценивается не по соответствию канону, а по органичности включения — но не в ансамбль, а в жизненную среду.

На молодежных рок-концертах 1960–1970-х годов, так же как в средовой архитектуре, источником эмоционально-эстетического наслаждения являлось переживание среды не в меньшей степени, чем переживание произведения. Вернее, произведение здесь неотделимо от поведения воспринимающих, искусство от жизни. В очень многих случаях публика свободно перемещается во время исполнения по залу, где почти нет сидений; люди стоят, ходят, сидят на полу, и эта раскованность индуцирует особую эмоцию, в которой переживание музыкального произведения неотделимо от радости общения, от чувства социокультурной и возрастной солидарности. Уже в 1960-х годах, писал один из исследователей рок-культуры, «молодежь больше не шла слушать музыку; она шла принять участие в некотором массовом переживании — в ритуале юности»<sup>9</sup>. Тот же принцип — раскрытие смысла художественного произведения через среду, которая его окутывает, или материально, или актуализуясь в воспринимающем сознании, — обнаруживается в основе все шире распространяющейся сегодня многофигурной сюжетной и как бы «рассказывающей» скульптуры (Д. Митлянского, например), многих видов конкретного искусства, в эстетике хепенинга, в прямом вторжении документа или других «кусков жизни» в ткань художественного произведения.

Общение с искусством в прошлом веке и в начале нынешнего в городах происходило, как правило, в специализированных учреждениях — картинных галереях, музеях, театрах, консерваториях, концертных залах. Такие формы, как домашнее музицирование и домашние любительские спектакли, были привилегией тонкого слоя интеллигенции. Для послевоенной эры, при сохранении, развитии и распространении специализированных учреждений традиционного типа, характерно неспециализированное, растворенное в повседневной жизни об-

щение с искусством, осуществляемое благодаря телевидению, радио, другим видам домашней звуко- и видеотехники, репродукциям и слайдам. Одним из следствий не-институционализированного общения с искусством является рост массовых и непрофессиональных его форм — самодеятельных вокально-инструментальных ансамблей и групп, авторской песни и песенных клубов, выставок и выставок-продаж произведений художников с неустойчивой профессиональной квалификацией. В определенном смысле сюда же примыкает театрально-студийное движение. Широкое репродуцирование произведений живописи перестало быть монополией издательств и содержанием только дорогих альбомов. В отдельные периоды (в конце 1960-х — начале 1970-х годов, например) такие произведения широко воспроизводились на предметах бытового обихода — майках, рубашках или куртках, даже на хозяйственных сумках.

Круг потребителей искусства вообще и непрофессионального искусства в частности беспримерно расширился. Первый концерт П. И. Чайковского в США в апреле 1891 г. происходил в Карнеги-холл в Нью-Йорке, где его слушали находившиеся в зале немногим более двух тысяч человек; первое в США выступление рок-группы «Битлз», происходившее в том же зале в феврале 1964 г., смотрели и слушали, благодаря телевидению, 73 миллиона <sup>10</sup>. В последнее время известны концерты, которые по спутниковой связи становятся доступны почти двум миллиардам — половине населения Земли. Непрофессиональное искусство, массовые зрелища, эстрада при этом резко повысили свой престижный статус, стали успешно конкурировать по популярности с элитарным искусством и превзошли его. Примеры здесь вряд ли стоит приводить — они известны каждому из собственного опыта, из бесчисленных газетных и журнальных публикаций. Можно, впрочем, напомнить о высшем ордене Британской империи, которым были награждены члены той же рок-группы «Битлз» (никогда и нигде музыке не учившиеся и так и не освоившие нотное письмо), или о московских гастролях начинавшего Ива Монтана, проходивших в переполненных Лужниках в присутствии членов дипкорпуса и звезд артистического мира.

Не-институциональные формы распространения знаний также приняли в послевоенном мире масштаб и характер, более ранним историческим периодам неизвестный. Чтобы стать образованным, человек в прошлом веке должен был пройти систематический курс среднего учебного заведения лицейско-гимназического типа и университета. Существовали ясная черта и ясные критерии, отделявшие образованных от необразованных, культурных от некультурных. «Для чего нужна буква „ять“?» — спросил, говорят, однажды Николай I Уварова. — «А для того, В. в., — отвечал министр просвещения, — чтобы отличать



грамотных от неграмотных». Если это и анекдот, то весьма характерный. Послевоенная действительность впервые на таком огромном материале доказала непроизводительность любого вида узкоспециализированной деятельности, лишенной широкой культурно-гуманитарной основы. На преодоление разрыва между ними были направлены школьные реформы 1950–1960-х гг., затронувшие большинство стран Европы; о путях достижения той же цели шла речь на одной из последних Пагуошских конференций; тот же процесс породил в самое последнее время повсеместное введение курса истории мировой и отечественной культуры в вузах России; он же обусловил расширение эстетического образования в производственно-заводском ученичестве.

Дело, однако, не в этих, хотя и весьма показательных, изменениях в системе образования самих по себе. Общий тираж научно-популярных журналов перевалил только в нашей стране за 10 миллионов экземпляров, а аудитория образовательных передач радио и телевидения достигла многих миллионов человек. Научные сессии, доклады, читательские конференции, лекции, проводимые музеями и библиотеками, читают ныне самые известные ученые и собирают небывало обширные аудитории, состоящие из людей разного уровня и разных профессий. Примечательно, что на таких встречах из зала нередко поступают записки, обнаруживающие начитанность слушателей в весьма специальной литературе по проблемам теории и истории культуры и искусства. За рубежом сходную роль играют летние школы и университеты особого типа, рассчитанные больше на пропаганду знаний, чем на подготовку специалистов. Насыщенность общества знаниями, самостоятельно почерпнутыми из самых разных источников, проявилась особенно ярко в массовом интересе к истории своей страны, охватившем в последние годы большинство государств и породившем бесчисленные музеи на общественных началах и движения по охране памятников. Античные амфитеатры ожили после почти двух тысяч лет безмолвия — в них проводятся театральные фестивали, исполняются древние трагедии и современные пьесы. Все эти факты, столь характерные для послевоенной реальности, по крайней мере в Европе и Америке, стали одновременно и выражением, и стимулом определенных общественных процессов, знаменуя насыщение не-институционализированным, как бы «разлитым» знанием всей жизненной среды.

## II

Что перед нами — набор случайных фактов или характеристика эпохи? Есть по крайней мере два обстоятельства, заставляющих думать, что верно последнее.

Внимание современной исторической (в самом широком смысле слова) науки в растущей мере привлекают как раз те стороны общественно-исторической жизни, которые связаны с явлениями, охарактеризованными выше: семиотика вещей и повседневности, восприятие характерной для той или иной эпохи картины мира обыденным сознанием, внеправовые и внеэкономические регуляторы общественного поведения — архетипы массового сознания и этикет, престиж и мода, реклама и имидж, такие аспекты художественной жизни, как дизайн, организация и культурный смысл материально-пространственной среды и т. д.<sup>11</sup> Все они еще несколько десятилетий назад либо вообще оставались вне научно-исторического рассмотрения, либо изучались несравненно меньше.

Но ведь каждая эпоха открывает в прошлом прежде всего то, что резонирует в тон с ее общественным и культурным опытом и потому было скрыто от прежних поколений — у них был другой опыт, и они задавали прошлому другие вопросы. Соответственно, если, как все чаще говорят, одна из горячих точек сегодняшней исторической науки связана с социально-психологическим прочтением исторического процесса, если традиционное понимание культуры как совокупности достижений в области искусства, науки и просвещения все чаще уступает место более широким определениям, вводящим в понятие культуры обыденное сознание, повседневность и быт, технические формы цивилизации, если для изучения культуры в таком широком ее виде возникает и растет фактически новая научная дисциплина — культурология, то мы, по-видимому, вправе констатировать и на аналитическом уровне положение, которое задано общественной интуицией: сближение и контрастное взаимодействие традиционных, «высоких», над- и внебытовых форм культуры и обиходной жизни потому привлекает столь широкий интерес и порождает особенно быстро развивающиеся научные направления, что такое их сближение и контрастное взаимодействие воплощают одну из коренных, глубинных тенденций цивилизации и массового сознания второй половины XX столетия.

Второе обстоятельство, убеждающее в том, что перечисленные выше явления культурной действительности второй половины XX века обладают определенным единством, состоит в следующем. Все они в той или иной форме и степени основаны на нескольких общих принципах: приобретаемости, тиражируемости, связи с техникой, создании и (или) потреблении коллективом. Общность этих принципов, во-первых, подтверждает мысль о том, что перед нами не ряд разнородных фактов, а определенная система; во-вторых, ставит эту систему в особое положение по отношению к дихотомии «культура — цивилизация». Связь приобретаемости, тиражируемости, техницизма и массовости со

сферой цивилизации вполне очевидна, столь же очевидно, однако, что связь эта далека от тождества. Многие стороны цивилизации, такие, как совершенствование производства средств производства, промышленная экспансия, сфера управления, остаются за пределами слоя существования, описанного выше. Цивилизация в нем, другими словами, представлена не во всем объеме этого понятия, а лишь в аспекте повседневности. Точно так же меняется в анализируемой системе и понятие культуры. Вряд ли может вызвать сомнение, что перечисленные в начале настоящей статьи формы жизни обладают культурным смыслом. Использование материальной среды для выражения духовного самоощущения личности и масс, насыщение жизненного пространства знаниями и искусством, распространение эстетических переживаний и научной информации среди огромных масс населения — все это, бесспорно, факты культуры, но культуры, которая именно в силу своей тиражируемости и приобретаемости, соотносительности с техникой и ориентации на коллективное — групповое или массовое — переживание отлична от высокой культуры, воплощенной в великих созданиях искусства и науки прошлого, неотделимой от тех глубоко личных озарений, которыми ознаменовано рождение этих созданий и их восприятие. Перечисленные явления современной действительности объединяются своей принадлежностью к культуре, растворенной в повседневности, и внеположенностью традиционной Культуре «с большой буквы». В этих явлениях дихотомия культуры и цивилизации, с одной стороны, как бы нейтрализуется, слагаемые ее доходят до неразличения, до тождества, а с другой — та же дихотомия приобретает форму резкой антиномии культурной традиции и повседневности.

Подтверждением сказанному являются многие выдающиеся произведения искусства послевоенной эры, отражающие характерные для нее мироощущение и проблемы. Остановимся кратко на двух. Фильм А. Тарковского «Солярис» (1973) строится на отношениях между, с одной стороны, культурой, воплощенной в науке (техническое совершенство космической станции), искусстве (сокровища литературы, живописи, скульптуры, заполняющие библиотеку станции), традиции (весь эпизод с Гибаряном), и с другой стороны — потенциями жизненного развития, воплощенными в Океане, который непрерывно создает новых и новых как бы людей — пока еще искусственных и несовершенных, но постепенно совершенствующихся, а главное — рождающихся из потребности компенсировать провалы в совести носителей культуры. Напряженный конфликт обоих начал находит себе разрешение в финале фильма, где Океан, спокойно и благодарно приняв энцефалограмму Кельвина, одного из ученых, перестает преследовать их своими порождениями, а исполненный духа традиции и культуры

дом Кельвина, на пороге которого герой преклоняет колена перед отцом и застывает в иероглифической позе рембрандтовского Блудного сына, оказывается всего лишь островком в Океане, где катятся волны пока еще бесформенной загадочной будущей жизни.

Тот же конфликт, но очерченный гораздо жестче и не находящий себе разрешения, а кончающийся полной катастрофой и всеуничтожающим пожаром, лежит в основе исторического романа У. Эко «Имя розы» (1980), который не случайно завоевал широкую международную популярность и на несколько лет стал мировым бестселлером. Место действия романа — монастырь, время действия — XIV век, но критики и читатели единодушны в том, что отразившиеся здесь проблемы принадлежат не столько прошлому, сколько самой жгучей современности<sup>12</sup>. Одна из этих проблем — проблема мертвой культуры. Сосредоточенная в монастырской библиотеке, вобравшая в себя всю мудрость Древнего мира, она навсегда спрятана в пыльных кодексах, охраняемых слепым библиотекарем и не выдаваемых почти никому: «эта библиотека возникла, чтобы спасать заключенные в ней книги, но теперь она существует лишь для того, чтобы их хранить; именно поэтому она стала очагом греха»<sup>13</sup>. Если культура в романе мертва, то жизнь, ей противостоящая, воплощенная в вечно голодных крестьянах деревни, лежащей под монастырским холмом, в погромном разгуле еретиков-дольчинанцев, нища, кровава и разрушительна. Разрыв культуры и жизни для Эко универсален, и попытки героя произведения найти пути их примирения не разрешаются ничем, кроме пронизывающей книгу универсальной иронии. Можно назвать еще ряд глубоких, важных и широко популярных произведений искусства, в специфической художественно обобщенной форме варьирующих ту же тему, — фильм Ф. Феллини «Рим» (1972), роман М. Фриша «Нотто faber» (1957) или М. Юрсенар «Философский камень» (1968) и др. Проблема взаимоотношений традиционной, высокой культуры и низкой, текущей жизни — жизни с растворенными в ней своими особыми, ею модифицированными культурными смыслами — остается кардинальной проблемой эпохи, которая, по словам одного из первых исследователей этого процесса, «оказывает безграничное влияние как на теоретическую мысль, так и на характерное для нашего времени мироощущение»; факт высокой духовной культуры ныне «выходит из своей скорлупы», «утрачивает присущую ему ауру» и «растворяется в массовом восприятии»<sup>14</sup>. На глазах одного-двух поколений рядом с Культурой «с большой буквы» создалось особое культурное состояние, альтернативное по отношению к традиционному. Сегодняшняя социокультурная ситуация может быть понята, по-видимому, лишь через взаимодействие этих двух регистров духовной жизни.

Откуда и когда возник этот альтернативный компонент культуры? Какова его генеалогия?

Если на относительно ранних стадиях общественного развития человек постоянно «выступает несамостоятельным, принадлежащим к более обширному целому»<sup>15</sup>, как бы растворен в нем, и культура общества поэтому удовлетворяет запросы личности, то по мере неуклонного усложнения общественных структур целостные формы национально-государственного бытия обособляются от существования и прямых интересов каждого, замыкаются в самостоятельную сферу, в результате чего и традиционная культура более или менее официализируется господствующими социальными слоями и властью, приобретает наджизненный, официально-императивный характер, вызывая все более страстную критику во имя возвращения культуре ее изначального смысла и подлинно человеческой духовности. Именно этот процесс, составляющий один из внутренних импульсов движения культуры вообще, в обостренном виде выступает, например, в раннехристианской критике античной культуры и еретической — прежде всего францисканской — критике ортодоксальной культуры католического средневековья. К философскому самосознанию эта коллизия, как известно, приходит в XIX веке, когда романтики и Кьеркегор, в какой-то мере поздний Шеллинг, а вслед за ними многие мыслители и писатели в противовес ширящейся конформистской культуре гимназий, чиновников и профессоров, все более окостеневавшей в своей ортодоксальной правильности, все более мертвевшей и абстрактной, выдвинули понятие Жизни как философской категории и реальной ценности, выражавшей непосредственные духовные стремления и запросы людей. На протяжении первого столетия своего существования открывая таким образом «Жизнь» выступала в философских построениях и художественной практике чаще всего как величина умозрительная, скорее как призыв и заклинание, лозунг и требование, нежели как подлинное содержание<sup>16</sup>. Воплощением ее была противостоящая филистерству и прозе окружающей действительности одинокая художественная натура, как у романтиков, а потом, например, у Гамсуна; «проклятые поэты», искавшие спасения от благонамеренной буржуазной скуки кто в парижских кабаках, кто на далеких островах Тихого океана; буйный носитель жизненной силы, которого Ницше придумал у себя в кабинете и от которого в ужасе отпрянул, столкнувшись с ним в действительности; живописно-экзотические варианты этого «носителя», которыми Джек Лондон населил Аляску, а Киплинг — страны «на восток от Суэца»; в парадоксальном родстве с этими странными персонажами оказывался и патриархальный русский крестьянин, которого Толстой и Достоевский, а вслед за ними Рильке и Барлах, бесконечно и не слишком считаясь с реальным состоянием русской деревни и эмпирическим жизненным опытом, «доводи-

ли» до нужного им идеала, воплощавшего «народ» в отличие от «публики». Сама чистота «жизни», воплощенной в таких людях и образах, была возможна потому, что рассматривалась эта «жизнь» вне конкретных реальных условий, вне настоящей повседневности, вне быта, лишь как принцип и тезис, как Жизнь «с большой буквы». Не случайно Ницше в «Сумерках божков» посвятил гневный пассаж вещам и материально-бытовому окружению, которые составляли в его глазах стихию ненавистного ему современного филистера<sup>17</sup>. Вся эта идеализация была важным слагаемым эпохи, могла порождать значительные художественные достижения, поскольку в конечном счете отражала реальные исторические тенденции, но оставалась в своей умозрительности этим тенденциям далеко не адекватной.

Культурный переворот, наступивший после второй мировой войны, состоял, в частности, в том, что обнаруженная мыслителями XIX века «Жизнь» перестала быть императивом и тезисом и воплотилась в материальной, осязаемой технико-экономической и политико-демографической реальности, в практическом повседневном существовании миллионов людей из плоти и крови. Безграничные технические возможности послевоенного мира, его способность репродуцировать и популяризировать искусство, создавать непрофессиональные и в то же время художественно значительные его формы, насыщать культурой среду обитания убеждали, казалось, в том, что в конкретной действительной повседневности заложено сильнейшее тяготение к своеобразному особому культурному состоянию, таящему в себе огромные резервы самовыражения каждого на простом языке простых вещей, резервы втягивания в свою орбиту всех, кто открыт элементарным и очевидным их духовным смыслам. Возникло впечатление, что тут-то и снималось наконец противоречие экзистенции и макроистории, переживания и знания, злобы дня и традиции, личной свободы и общественной ответственности — словом, противоречие между обоими главными действующими лицами европейской философской драмы прошлого столетия — Жизни и Культуры, что это противоречие растворялось в обновленной культуре — культуре «с маленькой буквы», т. е. человеческой и демократичной.

Во всех странах, принимавших участие во второй мировой войне, первые годы после установления мира и демобилизации отмечены небывало высокой рождаемостью. Происшедший «демографический взрыв» привел к тому, что на рубеже 1950–1960-х годов несобычно большая часть общества оказалась состоящей из подростков и молодежи тринадцати–девятнадцати лет. Множество обстоятельств способствовало превращению их в самостоятельную общественную, духовную и даже материальную силу. Их объединяло разочарование в организованно-коллективистских ценностях довоенной эры, в соответствующих им нравственных

постулатах, в возвышенных — а подчас и напыщенных — словесно-идеологических формах их выражения, объединяло стремление выразить свое разочарование и свой протест на принципиально новом языке, без скомпрометировавших себя штампов — на языке бытового поведения, вкусов, вещей, способов организации досуга и материально-пространственной среды. Фирмы быстро осознали, какой огромный рынок сбыта представляла собой эта масса, и стали всячески расширять производство и сбыт жадно потребляемых ею специфических товаров<sup>18</sup>. Умелое манипулирование рекламой, расширение экспортно-импортных связей и международная мода довершили остальное. Цивилизация на глазах стала приобретать новый облик.

Молодежный демографический взрыв 1950-х годов, однако, был всего-навсего взрывом-детонатором, обнаружившим несравненно более широкие и глубокие общественные процессы. Превращение молодежного рынка в самостоятельный социокультурный феномен стало возможным во многом благодаря открытию синтетических материалов, создавших дешевый, легко сменяемый бытовой инвентарь, способный взять на себя функцию передачи с помощью заложенных в нем знаковых смыслов самых изменчивых и тонких культурных и общественных унаследований. И химия полимеров, и создание столь же существенной для складывавшейся культурной среды звукотехники неизвестного ранее типа, совершенства и портативности были, в свою очередь, частными проявлениями общего подъема производительных сил в ходе послевоенного восстановления народного хозяйства. Впервые за свою историю Европа стала более или менее универсально сытой, что породило новое отношение к труду — он оставался, разумеется, необходимым, но для значительных масс населения (в том числе и для части молодежи) перестал быть принудительно неизбежным и постоянным. Хозяйственные изменения неотделимы от политических — в 1960-х годах в большинстве стран Европы к власти пришли социал-демократические правительства, проводившие ряд более или менее прогрессивных реформ (прежде всего в области социального обеспечения и народного образования), — и от изменений в области так сказать, культурной демографии. Описанные процессы привели прежде в таких масштабах неизвестному усилению вертикальной социальной подвижности, а распад колониальной системы — к наводнению стран старой европейской культуры выходцами из бывших колоний, отчасти усваивавших эту культуру, отчасти питавших силы протеста против нее, отчасти налагавших на нее новый специфический отпечаток. К этому надо добавить невиданное распространение всех иных видов миграций — туризма, импорта рабочей силы, интернационализации студенчества, и мы сможем представить себе ту атмосферу, в которой зарождались и складывались формы существования, отношения между культурами

и повседневностью, описанные в первой части этого очерка. Социологам, однако, давно известно, что если молодежь определяла генезис этих процессов, то она давно уже не составляет их движущую силу. Сегодня произошло размывание этого понятия, и речь идет скорее о социальной, нежели о возрастной категории. Перед нами не просто возрастное, социокультурное явление, а одна из характеристик цивилизации XX столетия.

### III

Как соотносился изначально такой массовый модус общественного бытия с традиционной Культурой «с большой буквы»? Первый ответ состоял в том, что он был, бесспорно, связан с этой культурой, образовывал этап и разновидность ее развития. Вынесем за скобки все то, что было сказано выше о генезисе альтернативного культурного состояния и что прямо указывает на такую связь: облегчение доступа к культурным ценностям самым широким слоям населения; проникновение культурных ценностей в повседневный жизненный обиход; противостояние тоталитаристским и милитаристским жизненным программам. Помимо всех этих общих признаков, знаковая выразительность бытовых вещей и среды представляет собой особый язык — язык культуры: не только потому, что здесь находит себе выражение в материальных формах духовное содержание, но и потому еще, что текст на этом языке читается лишь на основе культурно-исторических ассоциаций. Одно из господствующих сейчас в архитектуре направлений — так называемый постмодерн — строится на свободном сочетании элементов, заимствованных из архитектурных сооружений разных эпох и стилей, причем эстетический эффект извлекается именно из того, что каждый такой элемент историко-культурно узнаваем, и тем более остро выглядит их парадоксальная, нарушающая всякую историческую логику группировка. Весь ретро-стиль и все то, что на жаргоне любителей броских импортных, не лучшего вкуса носильных вещей называется «фирма», работают в той мере, в какой каждая вещь источает социокультурную ауру, внятную окружающим. Язык альтернативной цивилизации состоит из символов культуры и истории.

Свидетельством своеобразного синтеза традиционной культуры и альтернативных ей процессов являются не только разобранные выше характерные черты послевоенного быта в целом, но и многие более частные явления той же эпохи 1950–1960-х годов: музейный бум, вызванный не столько старшим поколением, сколько молодежью той поры; слияние туризма с паломничеством к «святым местам» истории и культуры — с этой точки зрения заслуживает внимания тяготение первых хиппи разбивать свои кочевья в местах, окруженных особенно



плотными и значительными историко-культурными ассоциациями: на Трафальгар-сквер в Лондоне, на площади Испании в Риме, у ансамбля Дубровник в Югославии; бесчисленные имена деятелей культуры всех времен и народов и цитаты из их произведений, которыми покрылись в майские дни 1968 г. стены Сорбонны, Нантерра, Венсенна<sup>19</sup>; старорусская культовая символика, после многолетнего запрета заполонившая полотна бородатых художников в джинсах на молодежных выставках в Москве; широкая поддержка, которую в самых разных странах получали молодежные движения со стороны: общественных групп иного возраста и иных культурных традиций; распространение в авангардистской музыке коллажа, рассчитанного на то, что аудитория, слушая ультрасовременное произведение, мгновенно узнает введенные в него цитаты из сочинений, подчас весьма изысканных и редких, старых композиторов<sup>20</sup>; произведения искусства, где синтез традиционной и альтернативной культур либо заложен объективно в самой ткани, как в песнях Б. Окуджавы, либо составляет предмет художественного изображения, как у Л. Висконти или А. Тарковского.

Наконец, альтернативная сфера породила за послевоенные годы и немалое количество произведений, которые сами по себе, по своей художественной значительности составляют звенья единой преемственной цепи культуры. Вряд ли найдется сегодня человек, чуткий к своему времени и искусству — если только он движим непосредственной художественной интуицией, а не априорными идеологическими установками или реакциями отталкивания подкоркового происхождения, — который не ощутил бы на себе воздействия музыкального совершенства некоторых рок-произведений (как «Оркестр „Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера“», например), пластического — некоторых форм современного дизайна (вроде пишущих машинок Оливетти или посуды Сарпаневы), современного монументального искусства (мозаик Л. Полищука и С. Щербининой) или литературных, как в некоторых (ранних) романах Ф. Саган.

Таков первый ответ на поставленный вопрос. Послевоенная культура воспринималась в первый период своего существования с полными объективными основаниями как амальгама традиционных, «высоких», и непрофессионально-массовых, повседневно-бытовых форм, как своего рода коррекция первых вторыми.

#### IV

Сложившись в описанном выше виде во второй половине 1950-х годов, альтернативное культурное состояние с самого начала представляло как явление в высшей степени неоднозначное. Развитие его во

времени чем дальше, тем больше опровергало найденные было и казавшиеся поначалу столь заманчивыми решения основных противоречий, характеризовавших отношения культуры и жизни, — противоречий между традицией и обновлением, между индивидом и обществом, между повседневностью как формой культуры и повседневностью как ее противоположностью.

В основе альтернативного культурного состояния лежит понятие неотчужденной духовности — повседневности, воспринятой как ценность. Соответственно, традиционная культура, оперирующая обобщенными художественными образами и научными идеями и потому всегда возвышающаяся над эмпирической действительностью, с самого начала рисковала быть воспринятой в системе альтернативной культуры как противоположность непосредственно данному повседневнореальному существованию каждого, следовательно, как часть отчужденной действительности, и в частности того общественного состояния, которое особенно интенсивно, особенно критически переживалось послевоенной Европой и которое обозначается английским, но давно уже ставшим международным словом *истеблишмент*. Понятие это носит для всего разбираемого круга явлений фундаментальный характер: альтернативное культурное состояние, по сути дела, существует лишь через свою противоположность *истеблишменту*. *Истеблишмент* не столько понятие и, уж во всяком случае, не термин, сколько эмоционально окрашенное представление о социальной среде, в котором слиты воедино жесткая государственность, послушная вписанность граждан в существующий порядок, «правильный», определяемый школьными программами образ национальной истории и культурной традиции, официальный патриотизм и государственно регламентируемая идеология, респектабельность как критерий человеческой ценности, этика преуспеяния и бодрой деловой энергии, умение жить, «как все, так и я» и «все нормально».

В сущности, экспрессивное, оценочное по своему характеру понятие *истеблишмента* в устах людей альтернативной культуры продолжает древнее представление об общественной действительности как о сфере низменного практицизма, потому бездуховной, исполненной постоянных нарушений нравственных заповедей и, следовательно, греховой. Но на протяжении долгих столетий, от раннего манихейства до позднего романтизма, альтернативой этому греховному, нечистому практицизму были либо уход от общества, либо его переустройство на более чистых, духовных и нравственных началах. Когда же во второй половине XX века в виде альтернативы выступили те формы общественного поведения, о которых у нас до сих пор шла речь, обе эти перспективы отпали. Как могло описанное выше альтернативное куль-

турное состояние предполагать реальный практический уход от общества, если все оно целиком строится на его технических достижениях, на его цивилизации, на им созданном и им обеспечиваемом высоком уровне жизни? И как могло оно внутренне и подлинно принять за смысл своего существования планомерное, целенаправленное переустройство общества, если оно все целиком строится на недоверии к организованному коллективному действию и идеологическим программам? Если содержанием альтернативы становится повседневное существование, то она начинает говорить на том же языке, что и отрицаемый ею мир практицизма. Первые христиане могли отрицать «истеблишмент» Римской империи, поскольку он реализовался в сборе налогов, военных мобилизациях, действиях префектов, располагался над повседневной трудовой реальностью «малых сил», давил и топтал ее. Кьеркегор или Толстой могли отрицать «истеблишмент» своего времени — мир «чистой публики», приличий и условных ценностей — «плодов просвещения», не имеющий ничего общего с реальной, глубокой повседневной жизнью народа. Во второй половине XX века истеблишмент заговорил на языке повседневности, пронизанной техническими достижениями, интернационализованной, расцвеченной знаковыми смыслами всего и вся, на языке цивилизации, которая уже так плохо стала отделима от культуры. И лишь тот же самый язык знает и альтернатива истеблишменту — альтернатива, сама целиком растворенная в цивилизации, амальгамировавшая культуру. Истеблишмент в этих условиях в несравненно большей мере, чем раньше, вбирает в себя повседневную жизнь, пропитывается ею, и альтернатива ему в той мере, в какой она говорит на его же языке, отрицая его, превращается в отрицание собственного содержания. Приравнивание общества к истеблишменту незаметно, мало-помалу, но неизбежно приводило людей альтернативной культуры либо, если они оставались верны своим началам, к выпадению из общества, а в тенденции и из жизни, либо, если они хотели участвовать в жизни и действовать в ее пределах, в ее материале, — к возвращению в отрицаемую действительность.

Наиболее проникательные увидели эту сторону дела очень рано. В рассказе Г. Грина «Прогулка за город» (1956) героиня-подросток бежит от мещанского, погруженного в материальные заботы существования своего отца-клерка в мир «альтернативной» молодежи, но наутро возвращается в дом, скудный уют которого создан трудом — постоянным, тихим и упорным трудом ее неприметного, растворенного в истеблишменте отца, ибо там, в мире отрицания, она не нашла ничего, кроме распада и смерти. В 1968 г. появился роман Ф. Саган «Страж сердца»; ценности альтернативной культуры и альтернативной

жизненной позиции, столь ярко и эпатажно представленные предшествующим творчеством писательницы, здесь как бы диссоциируются, обреченные колебаться между бегством от «нормального» существования и растворением в нем, между терроризмом и конформизмом, равно чуждыми героине, но внутреннюю потенциальную связь с которыми она несет в себе.

Сорбоннские события 1968 г. начинались под лозунгами<sup>21</sup>, полно и точно выражавшими исходные принципы альтернативного мироощущения: «Жить сегодня»; «Творчество. Непосредственность. Жизнь». Альтернативное мироощущение порождало альтернативное понимание культуры: «Может быть, она и не прекрасна, но как же она очаровательна — жизнь, жизнь, а не наследие»; «Забудьте все, что вы выучили. Начинайте с мечты»; «Да здравствует массовое творчество, [нет] буржуазному бескультурию»; «Искусства не существует, искусство — это вы». Отсюда рождается ненависть к истеблишменту во всей совокупности его проявлений: «Все вы в конце концов сдохнете от комфорта»; «Товары — мы их сожжем»; «Свобода — благо, которым нам не дали воспользоваться с помощью законов, правил, предрассудков, невежества и т. д.»; «Плевал я на границы и на всех привилегированных»; «У государства дълга история, залитая кровью». Через двадцать лет главный пропагандист этих лозунгов и кумир Сорбонны тех майских дней Даниель Кон-Бендит был владельцем книжного магазина в ФРГ и объяснял в интервью журналистам, почему не стал террористом, если многие люди во Франции и особенно в ФРГ, начинавшие, как он, ими стали<sup>22</sup>.

Факты такого рода могут варьироваться до бесконечности — процесс был универсален. Если нужен еще один пример, это подтверждающий, можно назвать фильм М. Формана «Взлет» (1971) — рассказ о девочке-подростке, ушедшей, подобно героине рассказа Грина, из семьи в анархистски-хиппианскую среду и в конце концов тоже вернувшейся домой, но ведя за собой найденного в этой среде жениха. Первое его свидание с родителями девочки, заурядными мелкими дельцами, — ключевая сцена фильма. Жених — антипод родителей, шокирующий их всем, — он нелепо и вызывающе одет, чуть ли не босой, объясняется невнятными звуками, которые перемежаются сленговыми словечками; главное его занятие — сочинение рок-песен. Через полчаса разговора выясняется, однако, что песни очень выгодно продаются и что жених прекрасно умеет это делать. Не связанное с традиционными устойчивыми идейными и художественными ценностями и отмечающее их как монополию ненавистного истеблишмента альтернативное сопротивление ему оказывается с ним соотносенным, ибо внутреннее безразличие к этим ценностям, как хорошо показано в фильме,

пронизывает также мироощущение и поведение людей, принадлежащих тому же истеблишменту. В лишенном глубины и тяжести поверхностном мире сиюминутных, легко и непрестанно сменяемых знаковых манифестаций противостояние становится внешней формой — имиджем.

В характеристике альтернативного культурного состояния имидж — одно из ключевых понятий, которое связано с фундаментальным свойством этого состояния — семиотическим отчуждением. Как мы неоднократно убеждались, в культуре 1950–1970-х годов ищут и находят себе выражение потребность освободиться от принудительно коллективистских императивов довоенной эры, обострившееся чувство человеческой независимости, индивидуальности. Мы видели также, что индивидуальность такого рода чужается словесно-идеологических форм самовыражения как слишком общих, отчужденных и скомпрометированных, предпочитая им знаковый язык повседневно-бытовой среды, прямо и непосредственно продолжающей человека. Как всякий язык, он характеризуется присутствием экспрессии и коммуникации, субъективно пережитого импульса к самовыражению и объективного, общественно опосредованного осмысления выраженного содержания; изреченная мысль внятна окружающим и тем самым делает мое чувство, содержание, мной в нее вложенное, принадлежащим уже не только мне, но и им. Этот естественный механизм всякого языкового общения приобретает неожиданный смысл там, где средством самовыражения становится знаковая семантика материально-пространственной повседневно-бытовой среды.

Среда эта состоит из вещей, изготавливаемых, производимых на рынок, неограниченно тиражируемых. Мой выбор индивидуален, но сами вещи индивидуальности лишены, могут быть куплены или изготовлены каждым независимо от того, пережил ли другой человек то содержание, ради которого я впервые подобрал и приобрел эти вещи. Призванные выразить личный вкус и тем самым личное мироощущение, они начинают использоваться и распространяться независимо от меня, их для себя избравшего, по законам моды, в которой по самой ее природе все личное изначально опосредовано безличным и становится безличным уже в момент возникновения. Молодежное рок-движение в Англии конца 1950-х — начала 1960-х годов родилось из чувства альтернативности, из стремления быть самими собой и не раствориться в истеблишменте: «Люди нам объясняли, что надо слиться и раствориться, но мы никогда им не верили»; «Дело становится совсем скверно, когда вы нормально развиваетесь, а они начинают загонять вас в члены общества»<sup>23</sup>. Одной из форм выражения этого умонастроения были обращающая на себя внимание «альтернативная» одежда:

«Ходить в вызывающей одежде (flash clothes) или, если нет денег, просто немного отличаться от других было частью нашего бунтарства»<sup>24</sup>. Ту же роль призвана была играть необычная прическа; музыка битлзов объясняла, по уверению газеты «Геральд трибюн» (12 февраля 1964 г.), их популярность на 5%, реклама — на 75% и прическа — на 20%. Подражать музыке трудно, подражать манерам, костюму или прическе легко, они и распространились стремительно, размножая имидж битлов по странам и континентам, став одним из элементов той «многолетней шелухи»<sup>25</sup>, которая покрыла их облик, сделала его невыносимым для них самих и от которой они стали убегать кто в индийскую философию, кто в уединенную семейную жизнь.

Подобная эволюция — удел отнюдь не только одних эстрадных звезд. Потребность во внутреннем уединении и предпочтение музыки в качестве духовной пищи словесно-идеологическим формам привели примерно в те же годы к созданию портативных и малоформатных магнитофонов. Первоначальный их смысл состоял в том, что они были средством остаться наедине с собой и с музыкой даже в гуще самой «назойливой толпы» — madding crowd. Но средство — покупаемое и потому доступное, ультрасовременное и потому престижное — вскоре сделалось важнее цели. Аппараты эти стали модой, они гремели в метро и на улицах, в поездах и на пляжах; у них появился новый, вторичный, знаковый смысл — эпатирование пожилых энтузиастов общественного порядка. Но и этот смысл реализовался не в индивидуальном, а только в групповом поведении. Ни о каком личном, моем, пережитом стремлении уединиться, освободиться от окружающей толпы и ее разговоров, замкнуться, ни о каком «наедине с музыкой» уже не могло быть и речи.

Положение это выходит далеко за рамки музыки и механических способов ее воспроизведения. Ориентация альтернативной культуры в целом на бытовую повседневность делает знак универсальным языком этой культуры, а промышленное происхождение современной бытовой среды и, следовательно, ее приобретаемость, продажность, стремительная сменяемость, ее вездесущность, обусловленная непрерывными ее отражениями на экранах телевизоров и кино, на видеокассетах и в журнальных иллюстрациях, ее способность экспортировать и импортировать все свои элементы и потому становиться независимой от местной почвы и традиции, от исторических корней культуры, делает ее знаковый язык неадекватным тому прямому, непосредственному и личному переживанию культурных ценностей, к которому стремился человек первых послевоенных десятилетий и о котором так много было уже сказано выше. В знаке отражается сегодня лишь то, что может быть воспринято в своей условности и изменчивости, то есть в

отвлечении от самости предмета, и лишь то, что обращается к прогрессивно растущей массе людей, то есть отвлечено от собственного содержания воспринимающего Я. Свое неповторимо-личное, интимно переживаемое культурное содержание Я на семиотическом языке высказать не может и вынуждено либо его постепенно утрачивать, либо хранить это содержание в невысказываемых глубинах личности, проявляясь же вовне оно обречено лишь в знаковом и потому заведомо неадекватном обозначении самого себя — в имидже.

Все это не теоретические выкладки, а самоощущение эпохи. «Каждый из нас, — признается известный и крупный советский скульптор, — пришел в этот мир, чтобы не упустить свой шанс в грандиозном спектакле жизни. Все отравлено заботой об эффекте позы. Мы не живем, а лицедействуем»<sup>26</sup>. Чем известнее человек, чем полнее включен он в альтернативное культурное состояние, тем больше вытесняется он своим имиджем и тем меньше может выказать себя таким, каков он есть. «Наш имидж — лишь ничтожная часть нас. Он был создан прессой и создан нами самими. Он по необходимости был неверным, потому что, каков ты на самом деле, обнаружить нельзя»<sup>27</sup>. Ощущением, здесь высказанным, Джон Леннон жил постоянно; «я чувствую, когда надо сменить роли, в этом, возможно, секрет моего выживания...»<sup>28</sup>; на то же указывают признания людей, ему близких<sup>29</sup>. Семнадцатилетняя советская девушка Марина Л. не имеет никакого касательства к Леннону или Маккартни, но она написала в газету поразительной силы и искренности письмо, где высказывает точно те же чувства: «„Престиж“, „модно“... Как приелись эти слова, но ничего не могу поделать»<sup>30</sup>. Ситуация существует не только на уровне личного эмпирического переживания, но и в художественном обобщении. Едва ли не главная тема упоминавшегося выше романа Умберто Эко «Имя розы» — то же семиотическое отчуждение, та же невозможность пробиться к внутренней сути явлений и действий сквозь пеструю и случайную игру их знаковых обозначений. Книга завершается ключевой латинской фразой: *stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus*. Эту многосмысленную и неясную строку из поэмы XII века, скорее всего, следует переводить все-таки так: роза по-прежнему остается [всего лишь] именем, имена — единственное, чем нам дано обладать<sup>31</sup>.

В середине прошлого века Маркс подверг научному анализу отчуждение человека в капиталистическом производстве. В начале нынешнего Фрейд попытался обнаружить и описать отчуждение человека в цивилизации. Нам, во второй половине столетия, по-видимому, суждено задуматься над отчуждением человека в знаке.

Противоречие между альтернативным культурным состоянием и традиционными ценностями преемственного культурного развития на-

ходит себе выражение не только в понятии истеблишмента и не только в феномене семиотического отчуждения, но также в постепенном распаде внутреннего единства повседневного существования и его культурной санкции.

Изначально само непосредственное содержание феномена повседневности состояло в воспроизводстве человеческой жизни — в продолжении рода, обеспечении его выживания трудом и борьбой с природой, с врагами, в создании, сохранении и совершенствовании защитной материально-пространственной среды. Но такое воспроизводство всегда коллективно, в процессе его между людьми возникают определенные отношения, а вместе с ними нормы и убеждения, принципы и идеи, вкусы и верования, которые, вполне очевидно, составляют духовную сферу, сферу культуры, и в этом смысле нетождественны изначальному непосредственному содержанию повседневного самовоспроизводства, обособлены от него, но в то же время, и столь же очевидно, от этого непосредственного содержания неотделимы и в нем растворены. Когда в былые времена крестьянин садился с семьей за трапезу, он утолял голод и совершал тем самым акт простейшего биологического самовоспроизводства, но крестное знамение, которое предвляло трапезу и было ее естественной, каждому сотрапезнику необходимой составной частью, свидетельствовало, что насыщением дело не исчерпывается, говорило о связи насыщения и поддержания жизни с духовным единением людей, включенных в коллективный труд, с традицией, их объединяющей, с верой в высший, сакральный смысл человеческого бытия.

Когда в прошлом веке бытовая повседневность в качестве самостоятельной категории исторической действительности впервые стала привлекать внимание исследователей, это единство первичных и идеализованных нравственно-культурных смыслов воспринималось как самоочевидное и постоянное ее свойство, а возможность противоречия между ними даже не обсуждалась. В истории России, писал в 1862 г. И. Е. Забелин, «домашний быт народа составляет основной узел; по крайней мере в его уставах, порядках, в его нравственных началах кроются основы всего общественного строя земли»<sup>32</sup>. Поколением позже ему вторил В. И. Вернадский: «Вдумываясь в окружающую будничную жизнь, мы можем... видеть постоянное стремление человеческой мысли покорить и поработить себе факты совершенно стихийного на вид характера. На этой будничной жизни строится и растет главным образом основная сторона человеческой мысли»<sup>33</sup>. Даже еще в годы второй мировой войны известный немецкий культуролог Эрих Ауэрбах не сомневался, что «в духовных и экономических отношениях повседневной жизни открываются силы, лежащие в основе исторических движений»<sup>34</sup>.



Сомнения в единстве утилитарной и духовной сторон существования людей стали возникать довольно рано, по мере насыщения повседневной бытовой сферы продуктами стандартизованного рыночного производства. Как угроза культуре в целом этот разрыв был осознан на рубеже прошлого и нынешнего веков, породив многочисленные попытки английских прерафаэлитов, русских художников, условно говоря, «талашкинского» направления, мастеров немецкого Баухауза вернуть бытовому инвентарю (а в связи с ним и всей атмосфере повседневной жизни) если не собственно сакральный, то по крайней мере традиционный духовно-культурный смысл. Общественно значимых результатов эти попытки не дали и дать не могли, так как диктовались утопическим стремлением обратить вспять развитие производства и истории, противоречили ходу и объективной логике этого развития.

С середины нашего века в прослеживаемом процессе обозначились решающие сдвиги. В результате послевоенной реконструкции производства и общего обновления народного хозяйства во многих районах земного шара и для многих слоев населения изменились цели и смысл труда. Из средства обеспечения главной, самой реальной и в конечном счете сакральной ценности — сохранения и воспроизводства личной и родовой человеческой жизни труд стал средством заработка, предназначенного во все большей части на обеспечение ценностей условных: комфорта, престижности и развлечений. «Мы живем в обществе, — писал в конце 1950-х годов Джордж Нельсон, крупнейший в ту эпоху практик и теоретик дизайна в США, — которое, по-видимому, увлечено погоней за тем, что лучше всего назвать «сверхкомфортом». В таком обществе все, что облегчает жизнь, немедленно встречает полное и единодушное одобрение. В сущности, само это понятие приобрело ореол святости. Эта тенденция, возникшая после второй мировой войны, распространяясь со скоростью реактивного самолета, давно уже тревожит многих... Налицо все убыстряющаяся тенденция к сверхкомфорту, тревога по поводу упадка и расслабления в обществе и одновременно молчаливое, но вполне явное одобрение этого процесса в целом»<sup>35</sup>. При этом важно, что условные ценности сегодняшнего существования во многих случаях перестают быть вторичными, дополнительными величинами, надстраиваемыми над основными, первичными потребностями и становящимися привлекательными лишь после того, как эти последние удовлетворены, а превращаются в их замену, обретая самостоятельную, как бы трансцендентную ценность. В 1960-х годах в США участники негритянских бунтов против расовой сегрегации разрушали и жгли богатые магазины, но чаще всего захватывали там не продукты питания или вещи, ежедневно и насущно необходимые, а роскошные ультрамодные свитеры, дорогую звукотехнику и подобные престижные товары. Та же жажда престижного и

комфортного, как отмечают испанские авторы, во многом толкала испанских рабочих на заработки в ФРГ, где им приходилось терпеть и дискриминацию, и лишения, хотя они вполне могли сводить концы с концами, занимаясь обычным трудом дома <sup>36</sup>.

В этих условиях абсолютизация повседневности как ценности превращается в абсолютизацию ее прагматической стороны. Духовность, присущую повседневному существованию как целому в единстве его трудовых, семейных, общественных сторон, престижно и комфортно ориентированный современный быт начинает монополизировать, уплощать, себе подчинять, начинает судить *все* явления духовной жизни по своим критериям, а те, которые втянуть и подчинить не удастся, воспринимает как неадекватные ценностям простого человеческого существования, как слишком над ним возвышающиеся или от него отклоняющиеся, а потому ненужные, «заумные», раздражающие. Постепенно раздражение начинает вызывать все несводимое к жизненной эмпирии и повседневному интересу. В ориентации на бытие как быт, на немудрящую непреложность повседневного существования как главную ценность раскрывается потенциально деструктивный и антикультурный смысл. Раздражение обращается прежде всего против самой альтернативной культуры. В советском прокате проходил в свое время фильм С. Крамера «Благослови зверей и детей», где показана реакция осуждения и насилия, которую вызвали в США в 1960-е годы самые разные, подчас вполне невинные проявления альтернативного стиля жизни. Неосторожное упоминание в одном из радиointerview Джона Леннона о том, что «рок ныне более популярен, чем Христос», привело к массовому уничтожению пластинок битлов в американской глубинке и обещаниям линчевать членов группы, если они там появятся. В 1970-х годах в Европе были страны, где подросток, оказавшийся без родителей вне места постоянного проживания, автоматически препровождался в полицию на предмет проверки. За примерами подобного рода не надо, впрочем, ехать в дальние страны. Людям, вступавшим в жизнь в конце 1950-х годов, памятливы и охота за любителями узких брюк и длинных волос, и громы и молнии против ныне знаменитых, а тогда лишь начинавших магнитофонных бардов, и обошедшее часть прессы сообщение о молодой учительнице в подмосковном поселке, которую затравили потому, что она ходила в брюках и делала по утрам зарядку с обручем хулахуп, и знаменитое постановление начала 1970-х годов, запрещавшее исполнять музыку «непрофессиональных авторов», то есть практически каждого, кто не является членом Союза композиторов.

Принято считать, что такая критика альтернативной культуры представляет собой форму признания и защиты культуры традиционной. Это иллюзия. Повседневность, сведенная к постоянной борьбе за

конкретное овладение вещами, престижем и комфортом, телесным и духовным, не всегда явно, но всегда внутренне отталкивает от себя любые подлинные ценности культуры и тогда, когда они растворены в обиходе молодежного общения, и тогда, когда они сосредоточены в консерваториях, музеях, произведениях искусства. «Стена памяти» в Киеве была залита бетоном на том основании, что ее изображения, по мнению руководства города, искажали натуру и разрушали традиции классического искусства. Но в Москве люди той же формации заливали черной краской гипсовую голову Афродиты<sup>37</sup>, по части классицизма безупречную. Гонение на рок-музыку шло параллельно с гонением на старинное церковное пение и исходило из тех же слоев. Соблазнительно либерально и столь же поверхностно сводить все это к проискам «представителей руководства культурой»<sup>38</sup>. Бюрократия может находить методы, импульсы идут из несравненно более широкой среды.

...Лектор-искусствовед, стремясь объяснить неподготовленной аудитории разницу между хорошим и плохим искусством, показывает после слайда с Моной Лизой слайд с одним из сюжетов Семирадского и говорит, что последний не выдержал испытания временем, что, несмотря на поверхностный успех в свою эпоху, серьезные ценители, специалисты, всегда относились к нему скептически; в ответ раздается: «А плевать нам на специалистов, нам это нравится»<sup>39</sup>. Лектор, постоянно выступающий перед массовой аудиторией, пишет о неприятии ею публикаций вроде «Доктора Живаго» или «Мы» *не на основании их идейной направленности или художественного качества, а априори, исходя из того, что эти книги не укладываются в стереотипы повседневного чтения, в набор привычных репутаций и имен, то есть духовно некомфортны*<sup>40</sup>. Сопротивление духовной активности — этому первичному элементу всякой культуры, принятие за норму облегченного, привычного, налаженного, рассмотрение культуры с позиций повседневно-бытового здравого смысла и материальной выгоды предшествуют формированию отношения к культуре как к содержанию, выбору того или иного из ее регистров. «Режиссеру платят большие деньги как раз за то, чтобы он нам, зрителям, все объяснил. Чтобы нам все стало понятно, а не чтобы мы сами до всего догадывались... и как же нам понимать, что режиссер имел в виду? Может, он ничего в виду и не имел, а ты за него думай... Надоело. Заумничались очень»<sup>41</sup>. Автор этого письма — десятиклассник; четыреста зрителей, от имени которых был направлен протест в ту же газету после просмотра фильма Л. Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии», — далеко не десятиклассники, но эмоциональная основа восприятия искусства у них та же. Примечательно, что основное обвинение, предъявляемое авторами протеста Бунюэлю — одному из самых яростно антибуржуазных ху-

дожников XX века, — это обвинение в буржуазности: реакция отталкивания формируется до восприятия идейного содержания и независимо от него; отталкивает сам факт духовного напряжения, перспектива погружения в сферу, не тождественную повседневному опыту.

Примеры такого рода можно приводить бесконечно. Драки в провинциальных дискотеках, террористические и сексуально извращенные пантомимы панк-маскарадов играют в них не большую и не меньшую роль, чем избиения любителей рок-музыки, требования запретить сценические парафразы произведений классиков или уничтожить искусство авангарда. Демаркационная линия между живым и мертвым отделяет не традиционную культуру от альтернативной, а культуру как духовность от не-культуры и бездуховности.

«Над жизнью нет судьи», — утверждал некогда Ницше. «Так ли? — пишет по этому поводу Томас Манн. — Ведь как-никак в человеке природа и жизнь перерастают сами себя, в нем они утрачивают «невинность» и обретают дух, а дух есть критическое суждение жизни о себе самой»<sup>42</sup>. Эти слова справедливы для оппозиции «культура» — «жизнь»; они тем более справедливы для оппозиции «культура» — «бытовая повседневность». Повседневный опыт второй половины двадцатого столетия остается капитальным фактором культуры в той мере, в какой он «перерастает сам себя» и расценивается по отношению к собственному духовному содержанию, по своим беспрецедентным возможностям распространения культуры, ее демократизации, сближения ее с жизнью, насыщения ею существования самых широких масс. Но в условиях технизированной и тиражируемой цивилизации эти культурные потенции изначально отягощены своей отрицательной противоположностью — потенциями бездуховности, имманентной такому быту, в котором главное — облегчение жизни за счет комфорта, то есть за счет снятия напряжения — физического, а затем и духовного, и в котором, соответственно открываемые каждый раз для себя, индивидуально пережитые трудные ценности культуры неприметно перерастают в условные и внеиндивидуальные ценности престижа и моды. Там, где эти потенции реализуются, повседневность переживает диалектическое обращение, становясь из особого модуса культуры ее отрицанием.

1989

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973, с. 35.

<sup>2</sup> См.: Вейнберг И. П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М., 1986, с. 8.

- <sup>3</sup> Кнабе Г. С. Язык бытовых вещей // ДИ, 1981, № 1, с. 39.
- <sup>4</sup> Бунин И. А. Из записной книжки // Чехов в воспоминаниях современников. М., 1954, с. 493.
- <sup>5</sup> Подробный, в основном до сих пор сохраняющий свое значение разбор проблемы см. в диссертации: Кондратьева К. А. Основы художественного конструирования комплексного электрооборудования кухни / Автореферат канд. дисс. М., 1973, с. 6—7.
- <sup>6</sup> Литература по этой теме необозрима. Хорошим введением в нее (в том числе и справочно-библиографическим) могут служить статьи, ей посвященные, в первую очередь см.: Рампопорт А. Стиль и среда // ДИ, 1983, № 5; Генисаретский О. Образ жизни — образ среды // ДИ, 1984, № 9; Боков А. «Средовой подход» десять лет спустя // ДИ, 1986, № 4; и особенно опубликованная там же статья: Стуруа Р. «Мне Тифлис горбатый снится», а также другие материалы этого номера, целиком посвященного проблеме «Город — среда — человек».
- <sup>7</sup> В классической форме — в статье А. Блока «О назначении поэта», см.: Блок А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. VI. М.; Л., 1962, с. 161 и след.
- <sup>8</sup> Город и среда. Город как среда // Техническая эстетика, 1980, № 6.
- <sup>9</sup> Connolly R. John Lennon. 1940—1980. A Biography. London; New York, 1981, p. 61.
- <sup>10</sup> См.: Davies H. The Beatles. The Authorized Biography. London, 1968 (reprint 1979), p. 207.
- <sup>11</sup> См. ссылки на литературу в работе автора в сб.: «Вещь в искусстве». М., 1986, с. 293—294.
- <sup>12</sup> Об этом говорят материалы книги: Saggi sull «Nome della Rosa». A cura di Renato Giovannoli. Milano, 1985, где собраны все наиболее значительные отзывы мировой прессы о романе Эко.
- <sup>13</sup> Eco U. Il Nome della Rosa. Milano, 1980, p. 399.
- <sup>14</sup> Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936) // Allegorien Kultureller Erfahrung. Leipzig, 1984, S. 413—414.
- <sup>15</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 18.
- <sup>16</sup> Неизбежность такого положения в системе классического философского мышления хорошо показана в кн.: Риккерт Г. Философия жизни. Пг., 1922, гл. IV: Форма жизни и содержание жизни.
- <sup>17</sup> См.: Nietzsche F. Götzen-Dämmerung. Werke in zwei Bänden, Bd II. Leipzig, 1930, S. 187.
- <sup>18</sup> Анализ этого процесса, произведенный его участником и свидетелем, см.: Якокка Ли. Я — Якокка: автобиография // Иностранная литература, 1988, № 12, с. 184—185.
- <sup>19</sup> См.: Les murs ont la parole... Paris, 1968, p. 21, 24, 28, 31, 34, 52, 58, 63, 68, 70, 73 etc.

- <sup>20</sup> «Примеры сознательного использования элементов „чужого“ стиля композиторами самых разных школ и направлений бесчисленны»; благодаря «коллажной волне современной музыкальной моды» разрушается «самая устойчивая условность — понятие стиля как стерильно чистого явления», говорил А. Шнитке на конгрессе Международного музыкального Совета в октябре 1971 г. В опубликованный текст («Музыка в СССР», 1968, апрель—июнь, с. 22) внесены небольшие изменения, не меняющие существа авторской мысли. См. также: *Валькова В. Б.* Тематические функции стилизованных цитат в произведениях советских композиторов // Советская музыка 70—80-х годов. Стили и стиливые диалоги. М., 1986, и другие материалы этого сборника.
- <sup>21</sup> См. примеч. 19. Приводимые ниже свидетельства представляют собой надписи на стенах университетских зданий в Париже, заимствованные из того же источника.
- <sup>22</sup> Изложение этого интервью см.: Литературная газета, 1987, 15 июля.
- <sup>23</sup> *Davies H.* The Beatles..., p. 40, 330.
- <sup>24</sup> Там же, с. 41.
- <sup>25</sup> Выражение Дж. Леннона. См.: Ровесник, 1984, № 5, с. 27.
- <sup>26</sup> *Бурганов А.* Я один среди этих бесчисленных статуй // ДИ, 1988, № 2, с. 6.
- <sup>27</sup> *Davies H.* The Beatles..., p. 196.
- <sup>28</sup> Из последнего интервью. См.: Ровесник, 1984, № 5, с. 27.
- <sup>29</sup> Пол Маккартни сказал в одном из интервью, что Леннон «перепробовал уже все возможные роли, кроме одной — быть самим собой». В ответ Леннон точно так же характеризовал своего многолетнего сотрудника и друга: «Я мог бы говорить о Поле до бесконечности, потому что знаю о нем все. Но сказать-то, собственно, нечего». См. там же, с. 27.
- <sup>30</sup> Правда, 1987, 23 ноября.
- <sup>31</sup> Предлагаемый перевод согласуется с мнением самого Эко, говорившего о «подразумеваемых номиналистских толкованиях последней фразы». См.: Эко У. Заметки на полях «Имени розы» // Иностранная литература, 1988, № 10, с. 90.
- <sup>32</sup> *Забелин И. Е.* Домашний быт русских царей в XVI—XVII столетиях. М., 1990, с. 41.
- <sup>33</sup> *Вернадский В. И.* Основую жизни — искание истины // Новый мир, 1988, № 3, с. 217.
- <sup>34</sup> *Ауэрбах Э.* Мимесис. М., 1976, с. 53.
- <sup>35</sup> *Нельсон Дж.* Проблемы дизайна. М., 1971, с. 36—37.
- <sup>36</sup> Обстоятельный разговор на эту тему ведут, например, герои нашумевшего романа Хуана Гойтисоло «Поверка». См.: *Гойтисоло Х.* Поверка. М., 1980, с. 362 и сл.

<sup>37</sup> См. Известия, 1971, 30 ноября.

<sup>38</sup> Выражение из весьма типичной статьи: Якимович А. Как быть с авангардизмом? // ДИ, 1988, № 7, с. 8.

<sup>39</sup> Загянская Г. С этим мириться нельзя // ДИ, 1987, № 4, с. 19.

<sup>40</sup> Литературная газета, 1987, 18 ноября.

<sup>41</sup> Советская культура, 1988, 16 января.

<sup>42</sup> Манн Т. Ницше в свете нашего опыта // Манн Т. Собр. соч., т. X. М., 1961, с. 371.

## ПРОБЛЕМА КОНТРАКУЛЬТУРЫ

Это было не так уж давно для тех, кто умеет помнить, и не так уж далеко для тех, кто не боится дороги.

Дж. Р. Р. Толкиен

Материалом для анализа проблемы, обозначенной в заглавии статьи, мы выберем рок-музыку — не столько феномен рок-музыки как таковой, сколько общественные, культурные, художественные процессы, с ней связанные, в их эволюции. Для такого выбора есть много оснований, главных из которых три. Во-первых, рок-музыка — одно из последних по времени и самых ярких проявлений особого модуса культуры — того, который сегодня принято называть контркультурой, а он в свою очередь порождается определенными структурными свойствами общества. Рок-музыка — контркультура — культура — общество — история представляют собой члены единого ряда, и понять первые два из них можно только на фоне двух последних (как, впрочем, и наоборот). Во-вторых, рок никогда не был только музыкой, но прежде всего стилем жизни и общественной позицией — социокультурный смысл этой позиции можно понять лишь из связи ее с остальными сторонами явления. Наконец, в-третьих и главных: до недавнего времени, в ретроспекции, и чем дальше, тем ясней культура послевоенного мира приобретала форму контрапункта: 1960-е и 1980-е годы представляли не только как два отрезка времени, а как «два голоса» — две контрастные системы ценностей, общественных, художественных, жизненных ориентаций, и рок оказывался в центре этой коллизии, которая выступала в нем в осязаемой, пластической, человеческой форме. «Мы стали голосом поколения», — сказал некогда Пол Маккартни<sup>1</sup>, и очень многих волновал вопрос о том, что стало, а главное, что станет с этим поколением и с его ценностями дальше.

В последние годы века вопрос этот предстает в новом свете. Обращает на себя внимание, что для характеристики общественно-исторических, социокультурных и художественных процессов в научной и публицистической литературе все чаще используются определения с префиксом «пост-»: постиндустриальные технологии, постколониальная эра, посткоммунистические режимы, постструктуралистская методология научного исследования, посттутенберговская эпоха в информатике, пост-панк-рок, постперестроечная Россия — и, как всеобъемлющая черта и знамение времени, как угроза или заклинание: постмодерн. В подобном словоупотреблении сказывается научно, может быть, и непроявленное, но интуитивно данное каждому чувство завершенности эры, которая выражала себя в намеченной выше дихотомии. Шести-



десятичная контркультура и восьмидесятичный традиционализм как бы погасили друг друга, система культурных координат исчерпала себя, и мы получаем возможность выяснить природу того и другого, следя за судьбой феномена рока, столь ярко и глубоко выразившего эту систему.

Перед тем как начать — два необходимых пояснения. Речь пойдет главным образом о западном роке; выводы, на нем основанные, могут иногда находить, а иногда и не находить себе подтверждение в роке советском. И еще: предметом рассмотрения явится творчество групп либо стадильно совсем ранних, вроде «Битлз», либо стадильно совсем поздних, вроде «Ю-2»; изощренный, сложный, высокопрофессиональный рок, расцветший на Западе в 1970-е годы, а в «посттрешниковскую» эру также и у нас, с нижеследующим культурологическим анализом связей почти не обнаруживает.

\* \* \*

«...Прежде року было присуще определенное моральное содержание, — говорил в сравнительно недавнем интервью один из известных на Западе рок-музыкантов. — Сегодня такое впечатление, что группы единственно, к чему стремятся, — это добиться хита. Тут все нормально, нет ничего плохого, но только этого недостаточно. Что-то исчезло, что-то неуловимое, неписанный кодекс чести, устанавливавший, что «они» противостоят «нам». Я не очень знаю ни кто такие «они», ни, по правде говоря, кто такие «мы», но я уверен, что есть «они» и есть «мы» и что я против них, кто бы они ни были»<sup>2</sup>.

Что здесь, собственно, сказано? Что музыка — не главное и, во всяком случае, не единственное содержание рока, ее самой по себе и успеха, на ней основанного, «недостаточно»; что главное в роке — нравственная позиция и тип существования, «неписанный кодекс чести»; что основой этого кодекса является противостояние: «я против них, кто бы они ни были», и чувство среды: «есть они и есть мы»; что противостояние это носит не социальный или политический, даже скорее не идеологический, а экзистенциальный характер: «я не очень знаю ни кто такие „они“, ни, по правде говоря, кто такие „мы“»; что все эти свойства рока относятся к раннему его этапу, к «прежде», ныне же он отходит от бывшего своего облика, и выражается эта эволюция главным образом в переориентации от «морального содержания» к музыке как таковой и к коммерческому успеху — «добиться хита». Здесь уловлены едва ли не самые существенные характеристики рока как многозначного, но целостного явления и его исторической эволюции.

## I

Один из законов демографии состоит в том, что после опустошительных войн и катастроф рождаемость резко повышается: человечество зализывает раны и его коллективный организм ощущает прилив новых сил. Волна послевоенной рождаемости в Европе была особенно высока, и на рубеже 1950–1960-х годов необычно большая часть общества оказалась состоящей из молодежи 13–19 лет. Множество обстоятельств способствовало превращению их в самостоятельную общественную, духовную и даже материальную силу. Их объединяло разочарование в организационно-коллективистских ценностях довоенной эры, в соответствовавших им нравственных постулатах, в возвышенных, а подчас и напыщенных словесно-идеологических формах их выражения, объединяло ожидание демократизации жизни, простоты, свободы и равенства, обещанных правительствами в ходе борьбы против гитлеровского тоталитаризма, но теперь не спешившими платить по векселям; объединяло стремление выразить свой протест, свое разочарование и свои ожидания на принципиально новом, еще не изолгавшемся языке — на языке бытового поведения, вкусов, вещей, способов организации досуга и материально-пространственной среды; объединяла потребность выпряться за пределы этики спускаемых сверху и внутренние ни на чем не основанных диктатов и запретов, за пределы культуры, монополизированной и регулируемой государством, вернуть этике и культуре прямое и простое, непосредственно человеческое содержание. Короче, их объединяла с небывалой остротой пережитая ситуация отчуждения от государства, традиционной общественной структуры и культуры и страстная потребность нащупать из этой ситуации выход.

Рок — если не касаться некоторых его пра-форм — родился в эти годы. 1954-й — песенка Билла Хейли «Rock round the clock», давшая название начинавшемуся музыкальному стилю; тот же год — первая коммерческая пластинка Элвиса Пресли; 1956–1962-й — мания рока захлестывает города Северной Англии, и прежде всего Ливерпуль; 1960-й — гамбургские гастролы «Битлз», ознаменовавшие фактическое рождение этой легендарной группы и распространение увлечения роком на континент; на протяжении 1963–1968 годов складываются почти все основные и наиболее знаменитые группы классического рок-н-ролла. Связь с эпохой своего рождения эта музыка сохранила навсегда. «Когда будущие поколения захотят уловить дух шестидесятых годов, — писал американский композитор А. Коплэнд, — единственное, что им надо будет сделать, — проиграть пластинки „Битлз“»<sup>3</sup>. Советский рок начал складываться десятилетием позже, но стадийно и по ощущению примерно в той же ситуации.

Рок родился не только в эту эпоху, но и из этой эпохи. В основе и жизненной позиции, и музыки ясно ощущалась «горчинка противостояния»<sup>4</sup>. Чему? Той только что описанной общественной ситуации, которая именно в ту пору стала называться английским, а ныне ставшим международным словом «истеблишмент». Словом этим обычно обозначаются охраняемые законом и полицией привилегии одной части общества за счет другой, респектабельный конформизм, энергия карьеры и стяжательства, престижная культура, благонамеренный шовинизм, который не столько любит свое, сколько ненавидит чужое, и официально принятые приличия, которые привычно уживаются с умением ловко обделывать свои дела или даже делишки. Истеблишмент — не политическая система и не государственный строй, не идеология. Это состояние общественной жизни, усложнившейся настолько, что официальные нормы утратили прямую, очевидную и общепринятую связь с внутренними, лично пережитыми моральными представлениями каждого, увиденное глазами людей, переживающих подобное состояние особенно остро и болезненно, — людей с развитой индивидуальностью и потребностью в демократизме — таком, который захотел бы эту индивидуальность учитывать.

«Меня зовут улитка Сольми. Это моя философия и ощущение меня в мироздании. Я хочу жить в том самом мире, который я рисую. Я рисую то, чего нету, но что очень и очень хочется. Это мой побег от коррозии, трещин на асфальте, от безликих домов. Я просто убежал, потому что я рожден не для этого мира, где надо бороться. Я не приспособлен к борьбе, ну не приспособлен, как меня ни крути. Я не хочу ничего делать, я не хочу лгать, не хочу обманывать, не хочу пробивать себе дорогу куда-то. Не хочу, потому что не вижу смысла. Я счастлив тем, что живу для себя и для своих друзей, потому что я такой же, как они»<sup>5</sup>.

Музыка в роке изначально была неотделима от всей этой стихии и была призвана выразить ее. Музыканты в большинстве своем никогда и нигде музыке не учились, а в ряде случаев не кончали даже и обычных средних школ. «Они стали символом стремлений и разочарований впервые выходивших на арену социальных сил, всех деклассированных, живших под сенью Бомбы, всех подростков, ненавидевших показуху и заботы о хлебе», — вспоминал современник и исследователь ранних рок-групп.

«Среди исполнителей и слушателей преобладали электромонтеры и разнорабочие»<sup>6</sup>. Это общественное положение было вполне осознано Участниками, подчеркивалось ими и во внешнем облике, и в манере речи, и в атмосфере концертов, и, как их непосредственное продолжение, в самой музыке, очень простой, варьировавшей мотивы город-

ского фольклора, популярных блюзов и шлягеров, а в текстах — в огрубленной редакции — извечную тему «парень — девушка». В соответствии с этой же общественной установкой в эту музыку вносились и эпатажные элементы, хотя в ту пору еще достаточно умеренные — усиленная громкость, бьющий по нервам ритм, настойчивое повторение одного и того же музыкального элемента. В эстетику такого рода исполнений входило постоянное общение с залом, раскованность поведения музыкантов и слушателей. Обаяние рок-песен тех лет основано на этом сочетании музыки и через нее воспринимаемой атмосферы молодости, ощущения крута, человеческой солидарности и простоты, ветра свободы. Кто не испытал их тогда, слушая «Don't be cruel» Элвиса Пресли, «Rock'n'roll Music» Чака Берри или «Yellow Submarine» Леннона—Маккартни?

До тех пор пока протестантство, атмосфера и музыка сохраняли свое неустойчивое равновесие, явление в целом обнаруживало центростремительные потенции, а созданная тогдашним рок-н-роллом, созданная всем шестидесятилетним протестантством альтернатива оставалась в рамках культуры, внося в художественную и общественную жизнь столь важный в тех условиях молодой, живой и острый контртон. «Да здравствует массовое творчество, нет буржуазному бескультурию!» — размахисто написал кто-то из студентов на стене Сорбонны в мае 1968 года<sup>7</sup>. Пик этого относительно равновесного состояния приходился, по-видимому, на 1967 год — знаменательный год выхода в свет таких вещей, как «Мы делали это лишь ради денег» Ф. Заппы, «Волынщика у врат рассвета» группы «Пинк Флойд» и несравненного «Сержанта Пеппера» Леннона—Маккартни; перед этим появилось «Мое поколение» группы «Ху», некоторое время спустя — эпохальный «Христос — суперзвезда» Райса и Уэббера<sup>8</sup>.

Выразившиеся таким образом свойства рок-музыки конститутивны, определяют исходный, исторический и человеческий смысл всего явления. Поэтому рок постоянно оглядывается на свои первые, уже ставшие легендарными годы; не уменьшается число обществ, культивирующих память «Битлз» и «Роллинг стоунз», и групп, им подражающих; в итоговых сводках, ежегодно составляемых журналом «Роллинг стоун», за 1987 и 1988 годы отмечается новый взлет популярности «отцов» рока — Дж. Харрисона и музыкантов его поколения, таких групп, как «Пинк Флойд» или «Дип Перпл», а героем лучшего фильма года признан даже не отец рока, а его дедушка — Чак Берри.

В сентябре 1989 г. 60 тысяч зрителей, собравшихся на стадионе в Филадельфии, были захвачены переживанием почти мистическим: перед ними стояли — как будто не было последних двадцати лет — все так же выглядящие «Роллинг стоунз», и все тот же Мик Джеттер пел

все то же «Satisfaction», впервые пронесшееся над страной в 1965 г., когда большей части нынешних зрителей еще не было на свете. «Время не властно над Музыкой, — взволнованно сообщал корреспондент советской газеты. — Америка сходит с ума. В Нью-Йорке 300 тысяч билетов (по 30 долларов каждый) на два концерта в «Ши Стэдиум» проданы за 6 часов!»<sup>9</sup> В октябре 1988 г. в день рождения Джона Леннона общенациональное телевидение США посвятило этому событию специальные программы, а радиостанции от Тихого океана до Атлантики по нескольку раз в день передавали монтаж частных нестудийных записей, отрывков музыки и разговоров «первого битла». «Ненадолго, может быть на час или два, «Сержант Пеппер» пробуждает в нас былых идеалистов, — писал в 1987 г. в связи с двадцатилетием пластинки американский музыковед, — оттаивают сердца железобетонных политиков, добреют суровые лица дельцов. «Итс геттинг беттер», — поет Пол, и мы вместе с ним надеемся, что все станет иначе, лучше»<sup>10</sup>.

Если в шестидесятые годы эти черты рока были очевидными и господствующими, то в изменившейся атмосфере непосредственно следовавших за ними лет они сохранились в глубине, вынесенными за скобки, а в реальной жизни на первый план стали выходить другие черты, не менее органичные для рока, но вступающие с первыми во все более явное противоречие. Противоречие это сказывалось особенно ясно в трактовке трех проблем, для рока основополагающих, — тиражируемой культуры, эстетики имиджа, этики протеста.

## II

Практически рок-музыка ни в одной своей форме не существует вне сложного технического воплощения, причем техника представляет собой не средство оформления вне ее созданного и вне ее существующего произведения, а внутренне необходимый компонент как бытия произведения в виде тиражируемых звукокопий, так и самого творческого процесса. Первая из этих сторон была разобрана применительно к искусству XX века в целом уже давно в замечательном исследовании Вальтера Беньямина «Произведение искусства в век его технической репродуцируемости»<sup>11</sup> и, конкретно применительно к року, в продолжающей это исследование и также очень важной статье Петера Викке «Об ауре звукового образа, создаваемого техническими средствами»<sup>12</sup>. Нам остается лишь кратко изложить и прокомментировать их основные положения.

Независимо от степени совершенства копии оригинальное произведение искусства и тиражное его воспроизведение составляют две величины разной природы и разного смысла. Суть оригинала или, как вы-

ражается В. Беньямин, его «аура» неотделима от его подлинности, которая образует самую внутреннюю и самую коренную характеристику художественного предмета: в ней навсегда запечатлена неповторимая индивидуальность творческого акта; оригинал возникает в своей подлинности в некоторый единственный момент, «сейчас», пребывает в некотором каждый раз единственном месте, «здесь», и лишь в этой своей уникальности выступает как порождение, ступок и активный свидетель времени и истории, то есть принадлежит традиции и живет в ней. При техническом репродуцировании эти свойства вполне очевидно исчезают, и тем самым исчезает аура художественного произведения — «событие весьма знаменательное, масштабы которого выходят за рамки искусства»<sup>13</sup>.

В 1930-е годы Беньямин не мог предвидеть, какие следствия принесет тиражирование к концу века и какую роль оно станет играть. Но он с поразительной интуицией почувствовал, чем этот процесс чреват и какая двусмысленность заложена в самом понятии тиражируемой культуры: «Высвобождение вещи из пелен традиции и однократности, разрушение ее ауры, знаменует тип восприятия, при котором чувство равнокачественности всего в мире развилось настолько, что с помощью репродукции можно и уникальное сделать равным всем другим»<sup>14</sup>.

Эстетическая программа рок-музыки в принципе может быть реализована без всякого обращения к технике репродуцирования; большинство ныне знаменитых групп, западных и советских, начинали в подвальных клубах и школах и создавали там вполне роковые вещи, даже не помышляя о студиях и записях. Но подлинным «входом и пропуском за порог» рок-мира тем не менее стало техническое тиражирование, что и раскрывает внутреннюю сращенность этого мира со всей стихией современной технической цивилизации и, главное, с самим принципом репродуцируемости. Бесконечная репродуцируемость, с одной стороны, делает накопленные ценности доступными самым широким слоям населения, извлекает эти ценности из сумрака и благоговейной тишины музейных хранилищ и консерваторий, вводит в быт миллионов, лишает восприятие искусства бывшего ему столь долго свойственным оттенка элитарности, а с другой — как бы размывает в повседневной фамильярности подлинность и уникальность художественного предмета. Облегчение и упрощение восприятия — не только преимущество, но и беда, поскольку индивидуальность, внутренняя подготовленность и отрадная трудность переживания культуры есть, по-видимому, неотъемлемая составная часть ее ценности.

В роке двойственность эта проникает глубже, чем в других искусствах, имеющих дело с техникой, в святая святых художественного

творчества — в сам процесс создания произведения. Пластинка не воспроизводит изначально существующий вне ее оригинал, как при репродуцировании произведений традиционного искусства, а сама является «оригиналом»: музыка на ней не может ни при каких условиях быть точно исполнена «лайв», ибо возникает лишь как результат бесчисленных записей, наложений и микширования, перемещений источников звука в пространстве студии, модификаций звукозаписывающих аппаратов. В итоге создается принципиально отличная от традиционной модель художественного творчества. «Если под введенным В. Беньямином понятием ауры художественного произведения понимать способность воплощать в образах результаты постепенного самовыявления смыслов, овеществлять субъективность и индивидуальность, то при описанном технизированном создании произведения эта неповторимая индивидуальность исчезнет»<sup>15</sup>. В качестве примера художественного творчества такого рода нередко приводится работа по созданию уже упоминавшейся пластинки группы «Битлз» «Оркестр „Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера“». Она длилась полгода, заняла 700 часов записи, в ней участвовали симфонический оркестр из 42 музыкантов и целый штат техников, не говоря уже о Джордже Мартине, звукоинженере и композиторе, относительно которого никогда так и не удается установить, в каком из этих двух своих качеств он участвовал в работе группы в большей мере.

Но при этом тот же «Сержант Пеппер», со всей машинерией технически создаваемой музыки, остается одним из самых глубоких, самых пронзительных произведений музыкального искусства нашего времени; именно по его поводу было замечено, что «дефицит души в обществе компенсируется в волшебной стране по имени „Битлз“»<sup>16</sup>. Сказанное выше об обезличивающем значении техники, очевидно, справедливо, но та же техника обеспечивает возможность сохранить и острую индивидуальность восприятия. Коллективный «средовой» характер эстетического переживания — важный элемент рок-культуры. Разговоры, хождение, гомон и грохот, царящие в зале во время концерта, неизбежны и необходимы. Разобрать в этой атмосфере текст, да и структуру музыкальной ткани практически невозможно. Люди, присутствовавшие на концертах «Битлз» в США, рассказывают, что с момента появления музыкантов на эстраде и на протяжении всех тридцати минут их там пребывания над стадионом стоял рев, заглушавший даже грохочущий аккомпанемент. И тем не менее восприятие и переживание музыки на таких концертах не только происходит, но и носит совершенно индивидуальный характер, а впечатление от них остается у каждого на всю жизнь. Дело в том, что происходящее на эстраде — в большой степени лишь подсказка, обостряющая и усили-

вающая впечатление от внутреннего, каждым для себя, проговаривания слов и эмоционального припоминания музыки и текста, которые каждый знает наизусть. Но в зале находятся отнюдь не профессиональные музыканты, и если они знают все это наизусть, то лишь благодаря той же технике: бесконечно звучащие, по большей части одни и те же магнитофонные записи — черта быта этой молодежи, атмосфера, постоянно их окружающая дома, в компании, за городом.

Эстетика рока обнаруживает такую же двойственность. Появляясь на сцене, актер всегда что-то или кого-то представляет. Но актер традиционного типа заведомо отличен от своего персонажа, действует в условной сфере искусства и изображает жизнь; мироощущение же рок-н-ролла, каким оно возникло изначально, требовало тождества с создаваемым образом, ибо вся его эстетика строилась на реальной жизненности как главной ценности. Кит Ричард из «Роллинг Стоунз» рассказывает в одном из интервью о неприглядных отношениях внутри групп — конкуренции, подсиживании, ссорах, чуть не драках и говорит, что это неизбежно, ибо таковы законы жизни, их окружающей. Но тогда какую же жизнь воспроизводит на эстраде он сам? Именно эту жизнь, по-видимому, раз отвлекаться, создавать что-то особое «ради искусства» он, как подлинный рок-артист старой формации, не может и не хочет: «Я слишком страстно отношусь к тому, что делаю»<sup>17</sup>. Но в то же время, разумеется, не эту, данную ему в непосредственном опыте жизнь воспроизводит он, ибо «у тебя есть имидж, и ты играешь его до упора, хотя в частном существовании ты вовсе не таков». Поэтому образ, создаваемый «Роллинг Стоунз», крутой, жесткий, энергичный, веселый и обаятельный, одновременно и принадлежит полностью, как должно быть в роке — или по крайней мере должно было быть, — самой доподлинной, простой, эмпирической «жизни, их окружающей», и противоречит ей. Чтобы быть жизнью как таковой, образ этот ее как таковую отрицает. Противоречие это обнаруживается в основе целого ряда специфических видов современной художественной деятельности — хотя оба слова приходится употреблять весьма условно, — таких, как хеппенинг, конкретная скульптура, конкретная музыка, дизайн хай-тек и т. д. Все они строятся на сознательном разрушении того, что составляло извечную основу старого искусства, — образа, типизирующего жизнь и потому подобного реальности, но никогда не тождественного эмпирическому жизненному факту. Здесь же типизирующий образный смысл возникает *post factum* — крайне разреженный и зыбкий, в виде некоторого обертона, который общественный опыт слушателя либо зрителя накладывает на предъявленный ему эмпирический, единичный предмет или ситуацию. В роке ту же роль играет имидж, который представляет собой форму



реального жизненного поведения и в то же время результат стилизации, коррекции самого себя по некоторому стандарту, которому ты внутренне не соответствуешь. Противоречие искусства и жизни, при котором ни искусство не остается собственно искусством, ни жизнь — собственно жизнью, оказывается перенесенным внутрь субъекта и действует на него, по всему судя, разрушительно. Как часто настоящие талантливые музыканты, едва достигнув успеха, тут же начинают чувствовать, что в них исчезает то непосредственное самоощущение, которое этот успех принесло, придало ему лирический смысл, и либо бросают все, начинают ходить на футбол или часами «глядеть на колеса» проезжающих машин, либо не выдерживают и спиваются. Рок-журналы заполнены признаниями такого рода. Совершенно необычное даже для нашего времени количество самоубийств и неожиданных ранних смертей в рок-среде тоже не посторонне этой коллизии.

Неразрешимое противоречие жизни и искусства, пронизывающее весь рок, проявляется не только в трагедии имиджа и не только в конфликте экзистенциального и художественного переживаний, но и в эстетике рок-зрелищ. Рок-концерт всегда предполагает известное отвлечение от повседневных условий существования, забвение их, погружение в особую эмоционально насыщенную атмосферу. Но первоначально эта атмосфера создавалась методами, в которых главным был эпатаж, «мы» против «них», то есть методами отчетливо социально мотивированными, постепенно же сама такая атмосфера становилась во все большей мере самодовлеющей. Этому способствовали приемы, на ранних стадиях отсутствовавшие или выраженные слабо, — предельная громкость, как бы выключающая весь внешний мир, инкантация ритма, подсветка, дым, фантастическая одежда музыкантов, их все шире распространяющийся грим. Очень долго тем не менее связь с эстетикой простой солидарности, с социальным фоном, с «горчинкой противостояния» на рок-концертах не обрывалась. Причужденность рок-зрелища вплоть до середины семидесятых годов, несмотря ни на что, чаще всего оставалась особой сублимацией раскованности и простоты. По мере же эволюции рок-мира прочь от своих исходных начал все яснее реализовалась другая потенция, на первых порах глубоко скрытая в недрах этой эстетики: связь с шестидесятинской простотой и естественностью, с верностью непосредственно переживаемой жизни истончалась, а эмоциональное возбуждение во все большей мере превращалось в самодовлеющую цель концерта, пока наконец в крайних формах «панка» или «металла» эта связь не обрывается, а концерт не превращается в радение, где социальные мотивировки и ответственности утрачены и преемственность по отношению к изначальному этосу рок-н-ролла исчезает полностью.

Описанное положение приводит нас к вопросу об этическом смысле эволюции рока. Нельзя не видеть, что исходная этическая заповедь рока — «мы» против «них» — со второй половины шестидесятых и начала семидесятых годов толкала рок-движение на борьбу с милитаризмом и реакцией и сыграла большую роль в массовом движении прогрессивной молодежи США против войны во Вьетнаме, что и в позднейшие годы рок-группы неоднократно принимали участие и принимают его до сих пор в прогрессивных и филантропических акциях. Но нельзя не видеть и того, что антибуржуазное в этих движениях внутренне, а нередко и внешне осложнено антиобщественным, а лозунг «долгой их мораль» не случайно легко оборачивается просто аморализмом. Злоупотребление наркотиками, половые излишества, пьянство — вообще любование разгулом всегда входило в своего рода «правила приличия» западной рок-среды. Сами рокеры никогда не делали секрета из этой стороны своей жизни. Другое дело, что консервативная критика усиленно и далеко не всегда с чистыми целями эксплуатировала факты такого рода, но само их существование отрицать невозможно.

С середины 1970-х годов на рок-эстраде появились молодые люди следующего поколения, к «празднику жизни» шестидесятых опоздавшие. Они вскоре приняли имя панков от английского слова *punk*, в котором соединяются значения прогнилости, продажности и злобного аморализма, ставшего доминирующей тональностью их речей, музыки и поведения на эстраде.

Первая их группа, назвавшаяся «Секс Пистолз», появилась в зале Лондонской Художественной школы Св. Мартина 6 ноября 1975 года, вызвав хаос в зале и скандал в дирекции, которая выдержала не больше десяти минут, после чего отключила в здании свет. Но не прошло и года, как в самом центре Лондона состоялся уже целый панк-фестиваль, где среди других были представлены группы, вскоре обретшие немалую известность, — те же «Секс Пистолз», «Демид», «Клэш» и некоторые другие. По фешенебельной Оксфорд-стрит очередь за билетами растянулась на несколько сот метров. Вид ее приводил прохожих в оцепенение, что явно входило в планы тех, кто в ней стоял: они были облачены в обрывки старых мундиров и дамского белья, скрепленные английскими булавками, увешаны велосипедными цепями и цепями от клозетных бачков, бритвенными лезвиями; волосы окрашены в зеленый, красный, лиловый цвета, щеки размазаны и проткнуты огромными булавками. Обещанной на фестивале «антимузыке» соответствовало «антиповедение»: подростки нападали на прохожих, блокировали движение, с удовольствием проделывая все это перед камерами сбежавшихся репортеров. Свою ярость и ненависть панки выразили в

особом имидже — нарочито устрашающем, демоническом и инфернальном, в текстах, исполненных жестокости и непристойностей, в общей атмосфере извращения и шокинга, которую они пытались установить во время своих выступлений. Примером может служить хотя бы скандальный хит «Боже, спаси королеву». Маскарад? Игра? Все та же модуляция из жизненной стихии в игровую? В какой-то мере бесспорно было и это, но главное, что почувствовали все, заключалось в другом: если непосредственный общественный контекст, в котором развивался рок-н-ролл шестидесятых годов, составляло хиппианство, то объективным фоном панка стал терроризм семидесятых.

Ярость панков была направлена не только против истеблишмента, но и против рока шестидесятых, целиком представлявшего им неким «вельветовым андерграундом», скопищем удачливых бунтарей на колених, которые добились успеха, тем самым денег, заелись и продались, смирились и вписались. Отталкивание от синдрома предшествующей эпохи и сознательная преемственность по отношению к панку окрасили многое в роке последующих лет и, в частности, у металлистов<sup>18</sup>.

Важнее уловить, однако, не только то, что противопоставляет панк классическому рок-н-роллу, а и черты, присущие, по-видимому, явлению в целом и здесь, в панке, получившие лишь гипертрофированное внешнее выражение. Панк-ориентированные группы возникали уже в шестидесятые годы и, насколько можно судить, не представлялись в той системе аномалией. Такова, например, группа «Кинкс» с ее хитами 1964 и 1966 годов «Глубокоуважаемый человек», «Тупик» и др. или деятельность в начале семидесятых Игги Попа, горячо поддерживаемая одним из корифеев рока предшествующей поры Дэвидом Боуи. Установка на шокинг в разной мере была в роке всегда. Эстетизированные в панке разгул энергии и энергия разгула могли находить или не находить себе воплощение за пределами концертов, но там, где они окрашивали личное поведение музыкантов и воздействовали на их имидж, это происходило во всех разновидностях рока и на всем протяжении его истории начиная от художеств Джона Леннона, описанных им самим<sup>19</sup>. Как бы ни отличались панки от «старого» рока, критерием качества на эстраде и для них остается сила и яркость общей коренной характеристики всякого рок-события — драйва; между тем драйв в панке достигается виртуозно, едва ли не чаще, чем в классическом рок-н-ролле, и хотя у панков он то и дело перехлестывает, создает на концерте атмосферу почти безумия (как, например, судя по записям, при исполнении знаменитой «Анархии в Соединенном Королевстве»), в основе своей это все тот же драйв, которым некогда сводил с ума типайджеров еще Элвис Пресли — разница скорее количественная, чем качественная. В принципе так же обстоит дело с

громкостью. Во всем панк- и постпанк-роке она играет огромную и принципиальную роль. Именно оглушительная, за сто децибел перева-лившая громкость сплывает нюансы, растворяет музыкальную форму и останавливает время, делает каждый момент абсолютным, а «здесь» и «сейчас» единственными формами реальности, непосредственно переходящими в вечность. Но разве не громкость поражала людей в роке с самых первых его дней? Разве эффект остановленного времени не входит в рок-переживание начиная еще со времен Чака Берри? Разница, по-видимому, не в принципе, а в беспредельно расширившихся возможностях электронного звучания. Наконец, непристойная откровенность и брутальность действительно отличают тексты панков и некоторые их мизансцены. Но такое ли уж это их открытие? Не нужно быть большим музыковедом, чтобы уловить, например, на какие ассоциации рассчитан задыхающийся ритм «All you need is love» и многих других песен этой давней поры. Здесь тоже отличие скорее количественное, чем качественное.

То обстоятельство, что доминанта рока лежит не в сфере музыки, а в сфере культурно-исторической экзистенции, делает возможным существование рок-феноменов, которые по формальным характеристикам музыки воспринимаются как роковые, тогда как по существу, по внутреннему пафосу, лежат уже за пределами культурного поля рока. Сказанным объясняется то странное, парадоксальное и требующее объяснения положение, при котором от панка или в определенном смысле сменившего его металла идут нити к эстетизации насилия, которым изначальный рок, да и рок в целом, с его ненавистью к конформному приятию зла, с его демократичностью и отвращением ко всем видам насилия, прямо противоположен.

Дело в том, что кризис культуры противостояния имеет очень глубокие корни. Само восприятие относительно налаженной жизни, погруженной в заботы о самовоспроизводстве и обогащении, подчиненной пассивно принимаемым нормам, как жизни бездуховной, терпимой ко злу и потому это зло поощряющей, а следовательно, грешной, порочной и, значит, требующей разоблачения и осуждения, — само это восприятие старо как мир; оно одушевляло еще проповедь ветхозаветных пророков. Но во всех случаях на протяжении веков этот старый строй мыслей и чувств предполагал выход за пределы отрицаемой действительности, будь то в виде удаления от мира, будь то в виде деятельности по радикальному его переустройству, будь то, наконец, в виде участия в действительности при терпеливом повседневном воздействии на нее и внесении в нее иного начала, представляющегося более высоким и духовным. Закономерное появление панка и металла из недр рок-культуры показало, что все эти формы, первоначально в

ней в той или иной мере представленные, по мере ее развития во времени оказываются с ее исходными основами несовместимыми. Рок не может всерьез считаться с перспективой ухода от общества, поскольку сам живет на эстраде и для публики, живет техническими достижениями и высоким материальным уровнем, создаваемым современной цивилизацией. И он не может ни реализовать свой духовный потенциал через участие в общепринятых формах повседневного труда в рамках отрицаемого истеблишмента, ни принять за смысл своего существования планомерное, целенаправленное переустройство общества, раз он весь целиком строится на недоверии к организованному коллективному действию и к идеологическим программам. Это особый вид нравственного протеста, в котором сам факт и процесс, сама атмосфера протеста важнее результата. Поэтому в перспективе и в тенденции такой протест либо чреват выходом за пределы нравственной и культурной общественной нормы вообще, либо кончается возвращением в лонно отрицаемой реальной общественной структуры.

Залогом такого возвращения была характерная для рока с самого начала ориентация на массовый успех. На долю панка он выпал сразу. Истеблишмент продолжал существовать и даже укрепляться, и, соответственно, продолжала существовать энергия противостояния ему. Она на первых порах и питала интерес к панкам, несравненно более узкий, чем интерес к их предшественникам в свое время, но тем не менее ясно выраженный и значительный. Успех же вводит любое явление в сферу престижа и денег, а престиж и деньги нейтрализуют и перемалывают любые формы противостояния: «Когда модельеры делают одежду а-ля панк — это, конечно, уже обыкновенные деньги»<sup>20</sup>.

Попробуем подвести предварительные итоги. После двадцати с лишним лет развития в роке обнаружилась глубокая двойственность отношений с культурной традицией и культурой в целом. С одной стороны, он органически вырос из культуры послевоенного мира, отражал потребности послевоенного общества и воплощал обретенные им принципы и ценности, которые бесспорно и очевидно лежали в общем русле развития культуры. О них было много сказано ранее, попытаемся теперь свести их воедино. Простота и демократичность; недоверие ко всякого рода этатизму, особенно принимающему тоталитарный или милитаристский уклон, ко всякого рода элитарности — образовательной, интеллектуальной, основанной на консерватизме или изысканности художественных вкусов; своеобразный индивидуалистический коллективизм, при котором каждый остро и по-своему переживает собственное несоответствие традиционным условиям «правильного», жестко организованного общества, но выход ищет только за рамками наличных коллективно-обязательных политико-идеологи-

ческих программ и объединяется с другими носителями тех же чувств в нонконформистские социально-психологические группы; предпочтение прежде всего музыки, а также знакового языка материально-пространственной среды и бытового поведения словесно-идеологическим формам самовыражения; восприятие техники как естественного слагаемого современной жизни и упразднение тем самым старинной антиномии высокой гуманитарной культуры и низменного технического практицизма.

Но на той же основе в роке, каким он стал к восьмидесятым годам, явно обнаружилось стороны, противоречившие фундаментальным ценностям культурной традиции. Высвобождение личности из-под власти социальных условностей там, где оно не уравновешено другими, более высокими формами ответственности, создает предпосылки для апологетики асоциального поведения. В тех направлениях рока, где эти предпосылки реализуются, общественный протест либо выходит за рамки культуры вообще, либо сводится к внешней эксцентричности, эпатажу и игре. В результате отрицание истеблишмента в роке — прежде всего западном — оборачивается связью с ним, принятием таких его категорий и форм, как успех, вкус к богатству, ориентация на имидж. Сам демократизм рок-движения нередко превращается в повседневной жизни в своеобразную стайность, а в искусстве — в привычку «преодолевать уникальность любого явления и иметь дело с его бесконечными воспроизведениями». Совокупность этих признаков сообщала року на всем протяжении его истории трудно характеризуемый словами, но явственно ощущаемый колорит: странно сочетаемую с трагизмом игровую облегченность (включающую и нарочитую брутальность), внеположенность субстанциальным силам истории, ограниченность космополитически-урбанистическим регистром существования. Рок выражает не просто определенную значительную фазу европейской культуры, но именно фазу кризисную.

В этих двух сторонах рока находят себе отражение некоторые общие и наиболее глубокие свойства культуры. Рок возник из сознания невыносимой отчужденности всех традиционных форм общественности, науки, религии, искусства от жизни, от повседневного существования обычного простого человека. «Проповедники и поэты все равно сами ничего не знают, храмы и статуи не покажут тебе дорогу, учителя и священники продадут тебя за милую душу», — пелось в одной эстрадной песенке, распространенной в Англии в конце шестидесятых годов (и известной нашему кинозрителю по прокатному фильму «О, счастливычик!»). Между тем протест против отчуждения культуры составляет одну из фундаментальных ее черт, сопутствующих ей на протяжении веков и тысячелетий. В античном мире рядом с классической

религией олимпийских богов Греции, рядом с Капитолийской триадой покровителей Римского государства всегда жили боги малых и плотных человеческих коллективов, а в Риме в году специально выделялись особые дни как бы свободы и отдыха от правильной общественной организации. В средние века зажатая духовной аскезой церковного христианства, Жизнь искала выход и либо порождала радикальные еретические движения, направленные против главной силы тогдашней общественной организации — церкви и ее латинизированной культуры, либо, не в силах избавиться от постоянного страха перед призраками церковной ортодоксии, придавала своему протесту странно извращенные формы. О так называемой смеховой стихии западноевропейского и русского средневековья после всего о ней за последнее время написанного можно не напоминать. Со второй половины прошлого века складывается специфическая «третья культура» — культура городских низов, народных цирков и первых «синематографов», шарманщиков и шансонье, кича и мещанского романса, частушек и негритянского джаза. Постоянное ощущение текущей рядом простой, незначительной и неорганизованной жизни, ощущение внутренней связи с ней, антагонистической и неразрывной, необходимости преодолевать свою высокую замкнутость и открываться страданиям и радостям «человека с улицы» всегда было глубинным инстинктом культуры, в той мере высокой и подлинной, в какой она осознавала свою ответственность перед жизнью в ее эмпирической простоте, естественности и непредсказуемости. Связь рока с «третьей культурой», с голосом низов, с ярмарочно-скоморошеской традицией очевидна<sup>21</sup>. Он возник как очередная попытка преодолеть отчуждение Культуры «с большой буквы», возник из всего только что описанного пласта культурного развития, и все исторически положительные его стороны объясняются отсюда.

Откуда же происходят все исторически отрицательные стороны рока? Все из той же структуры культуры, из той же диалектики культуры и жизни. Потребность в снятии нормативности престижно обязательной культуры, в преодолении ее отчужденности, в погружении ее в жизнь — не более властный, не более самоспасительный инстинкт человечества, чем обратная потребность: корректировать жизнь по высокой норме, ощущать человечность и привлекательность идеала — не только связь идеала с повседневным существованием, но и ответственность повседневного существования перед идеалом, моего личного интереса — перед общественной и в этом смысле внеличной нормой, а всего частного и эмпирического — перед интересом рода, облеченным в формы, внятные всем его членам и потому отвлеченные от отдельно-каждого и, значит, всегда в какой-то мере отчужденные, — в формы общеобязательной нравственной заповеди, закона и права, теоретиче-

ского обобщения, художественного образа. Отчуждение от неповторимости каждого, от малой прозы его повседневного существования, от неупорядоченности эмпирии — в такой же мере враг культуры, как условие ее бытия.

Дело не в том, чтобы пытаться выбрать в качестве привлекательной и близкой, «хорошей», одну из этих сторон и отбросить другую, признав ее опасной и вредной, «плохой», а в том, чтобы установить, в каких конкретных общественно-исторических, культурных или художественных формах в данных конкретных условиях обнаружатся диалектика и внутренне противоречивое единство указанных полюсов.

### III

...Десятилетия в истории, как известно, не совпадают с десятилетиями в календаре. Шестидесятые годы длились со второй половины 1950-х до примерно середины 1970-х, когда тенденции к отказу от их наследия и обоснованию иной системы воззрений и ценностей начали нарастать, чтобы к середине 1980-х определиться окончательно. Бурные миграции населения стали грозить размыванием национальных традиций и в виде реакции вызвали к жизни общественные течения, поставившие своей целью борьбу за национальную чистоту. Если свобода от традиционных норм оборачивалась «сексуальной революцией» и легкомысленным нравственным нигилизмом, то по контрасту стали расти в цене традиция, почва и корни. Академическая шкала художественных ценностей, еще недавно вызывавшая иронию, все чаще представляла как залог социальной стабильности. Индустриально-техническое развитие, обеспечивавшее невиданное распространение комфорта и потому воспринимавшееся как знак и залог избавления от нужды и материального принуждения, обернулось совсем иной своей стороной, предстало как угроза самой среде обитания и по контрасту привело к требованию погрузиться в первозданную патриархальность. С определенного момента в суммарных характеристиках шестидесятничества начали обнаруживаться как бы необходимо дополнявшие их признаки иного культурного комплекса, первому альтернативного. «Выяснилось, что в веселой атмосфере праздника забыли про национальные корни, про заветы предков... Один ренессанс сменился другим. На этот раз путь лежал не вовне государственных границ, а вглубь их, к смутным, но дорогам»<sup>22</sup>.

Резко изменившееся общественное мнение Западной Европы и США ясно показало, что ему действительно стали безразличны «национальные корни и заветы предков». В начале восьмидесятых засвидетельствован приход к власти в крупнейших странах Запада — ФРГ,



Великобритании, США — консервативных правых правительств. Наиболее выразителен был пример Соединенных Штатов, где президент Дж. Картер, выдвинувший главной целью своей политики разрядку и соблюдение прав человека, в 1980 г. потерпел провал на выборах, а победила линия республиканцев, представленная Р. Рейганом, который поставил во главу угла национальные интересы и государственную безопасность США. Были газеты и журналы, склонные придавать символический смысл тому, что приход к власти Рейгана почти совпал с гибелью Джона Леннона: смена эпох воплощалась в смене ведущих по популярности фигур. Вскоре массовую поддержку получила молниеносная война Маргарет Тэтчер против Аргентины, единственный реальный смысл которой состоял в том, чтобы напомнить о былой военной мощи «Британии — владычицы морей» и сплотить нацию вокруг этих воспоминаний.

Дело не исчерпывалось политической поверхностью жизни. Сформировались и обретали вес многообразные течения философской публицистики неоконсервативного толка, придававшие описанным настроениям характер осознанного мировоззрения и общественной ценности<sup>23</sup>. Исследованию данного аспекта неоконсерватизма посвящена важная и интересная книга М. Винера о зависимости промышленного развития современной Англии от традиций ее общественного мышления и культурного мировосприятия<sup>24</sup>, в частности от массового стремления «уберегаться от прогресса». В ФРГ (как, впрочем, и во многих других странах) объединяли эти умонастроения «две центральные идеи: подчинения индивида государству и обеспечения политической и духовной общности нации»<sup>25</sup>. Художественная литература редко вдохновлялась такими идеями прямо, но все чаще отдавала им дань, показывая тоску и смятение, овладевающие людьми, которые не могут найти свои корни, утратили чувство тождества с нацией и ее историей. Укажем в подтверждение хотя бы на такое яркое явление французской литературы 1970-х годов, как повести Патрика Модiano.

В этих условиях у альтернативной контркультуры вообще и у рок-движения в частности стала исчезать питательная среда, начал разрежаться вокруг нее воздух и размываться та основа, на которой она прожила четверть века. Реакции ее на эти сдвиги были многообразны. Нам надо в них вдуматься и их проанализировать, дабы нащупать ответ на вопрос, с точки зрения общей теории культуры наиболее существенный: возможно ли вообще и, в частности, в условиях конца XX века сколько-нибудь гармоническое сочетание Культуры и контркультуры, их синтез, или они действительно гасят друг друга, исчерпывают систему, и мы оказываемся между завершенным прошлым и неясным, из других элементов сгущающимся будущим?

Попробуем ответить на этот вопрос — но пока что не на сегодняшнем уровне, а исходя из перспективы, которая открывалась, как думали многие, в конце 80-х. Перенесемся в те годы, поставим все глаголы в настоящее время. Выживают те, кто оказался способен сохранить верность контркультуре, черпая энергию противостояния в новом, своем, на всем опыте рока основанном осмыслении высокой художественной традиции и народно-национального начала. Тех, кто сосредоточен на высокой традиции — их принято объединять термином арт-рок, — нам сейчас лучше оставить в стороне, их творчество требует слишком специального музыковедческого анализа. Заметим лишь, что здесь категории преемственности, наследия, эстафеты культуры выступают особенно отчетливо, поскольку в лучших образцах этого стиля слияние музыкальной классики с роком абсолютно органично. Сомневающиеся могут внимательно послушать «Картинки с выставки» Эмерсона, Лейка и Палмера или произведения некоторых композиторов современной Прибалтики. Нам важнее завершить весь проведенный анализ краткой характеристикой того направления, для которого подлинной сферой рока стало наследие народно-национальной культуры. Таких музыкантов (их творчество часто называют фолк-рок) <sup>26</sup> сравнительно немного, но они привлекают все больше внимания, занимают первые места в списках «лучших из лучших». В фолк-роке наиболее ясно и актуально выразилось главное противоречие, которым отмечено все исследуемое явление: с одной стороны, верность шестидесятиничеству, «неписаному кодексу чести — „мы“ против „них“»; верность нигилизму по отношению к респектабельным традициям, отталкивание от конформного коллективизма — все, без чего нет рока; и, с другой стороны, невозможность больше игнорировать изменившиеся зовы времени — потребность в серьезности и глубине, в народно-национальной традиции, в простых общественных ценностях — все, без чего сегодня нет культуры.

Диск Алана Халла из фолк-группы «Линдсефарн» называется «Пайпдрим» (1973). Слово *pipe dream* непосредственно означает как бы грезу, поднимающуюся с дымком из трубки, которую куришь; но в более узком смысле — видение курильщика опиума, и за ним сразу встают ассоциации, связанные со стилем жизни рок-среды тех бурных лет; однако в этом своем значении слово *pipe dream* принадлежит английскому языку не Англии, а лишь США, где у фолка есть база в виде сельских «комьюнити» и где американский акцент этого слова сразу настраивает восприятие на патриархально-фольклорный лад. На пластинке Халла первая песня называется «Money Game». Некто вроде бомжа, выпавший, наверное, сначала из комьюнити, а потом, наверное, и из города, попадает в деревню, и в жестком роковом ритме ду-

ша его что-то вспоминает и тает. Все это в мелодии; в сюжете — просто незатейливая, традиционная для фольклора история вроде нашего «Хасбулата удалого». Во второй песне «Жена сельского джентльмена» стилистика та же, но с подчеркнутой двусторонней иронией. Противоречивое сочетание тех же двух импульсов образует устойчивую, принципиальную характеристику фолк-рока — в поразительной «Their answer, my friend, is blowing in the wind» Боба Дилана, в его же «Positively 4th Street», в «Liege and Leaf» группы «Фэйрпорт Конвеншн» и многом другом. Во второй половине 1970-х годов фолк-рок стал было просто совокупностью приемов, отработанной техникой, лишенной элемента открытия. Но тем показательнее, что в восьмидесятые он опять наполняется жизнью и расправляет крылья. Интонации его начинают слышаться в несколько неожиданных местах — например, на дисках «Бумтаун Рэкс»; в университетах США открывается специализация по року в контексте народной культуры, народных зрелищ и развлечений; советская рок-звезда Ж. Агузарова на вопрос «Каков твой прогноз в рок-музыке?» отвечает журналистам, что «слагаемые нынешней музыкальной речи — традиции национальных культур»<sup>27</sup>; ирландский университетский оркестр привозит в Москву программу, в которой фольклор и рок становятся уже совсем неразличимы. «Последние двадцать лет, — говорит ведущий, — ирландская молодежь очень увлекается фольклорной музыкой». Тот факт, что это Ирландия, не случаен.

Первое место по популярности в мировом роке занимает ирландская группа «Ю-2», все чаще признаваемая «лучшей рок-группой своего поколения» и «великой планетарной группой 80-х годов»<sup>28</sup>. На чем ее популярность основана? О чем она говорит? «Мы прежде всего рок-н-ролл-группа, но в варианте 1985 г., — отвечает ведущий ее музыкант Боно Вокс. — Мы из плоти и крови. Мы человеческие существа, люди. Мы играем до пота. Мы не маскируемся своими прическами. На эстраде мы дома». Борьба со всей эстетикой имиджа для них играет первостепенную роль: «У „Ю-2“ нет маски. Мы ничего не изображаем. Наша цель — создавать музыку, которая бы просто отражала, что происходит в нашей жизни, отражала так верно и честно, как мы только можем»<sup>29</sup>. Поэтому «Ю-2» всячески подчеркивают, что они ирландская группа, а не английская: «У нас в Ирландии мода не является такой силой, как в Англии. Я ничего не имею против стиля, но за модой всегда стоит промышленность». Стремление выбиться из имиджа к исторической конкретности и общенациональным ценностям толкает группу к религиозности. При этом примечательным образом — неконфессиональной, к «духовному корню обоих вероисповеданий» — тому, что Боно называет spirit, «дух», и что составляет для него глав-

ный, «очистительный» смысл рок-н-ролла, — очистительный потому, что он дает возможность высказать себя до конца, минуя идеологические, интеллектуализированные формы, обращаясь «к голове, сердцу и ногам»; потому что он рождает грушу с аудиторией, из которой «исходит несказанное тепло»; потому, наконец, что в песнях «Ю-2» присутствует «пугающая красота» родных мест — северных побережий Ирландии и Шотландии, то в виде демонстрируемых на концертах слайдов, то в самой атмосфере песен. Надо сказать, что музыка группы вполне соответствует этим признаниям — не тем лишь, что заключено в словах и в мелодии, а и чем-то третьим и главным, что не просто слова и не только мелодия и что, очевидно, и есть spirit, дух рок-н-ролла сегодня. Или, может быть, также и завтра? Когда с 1990-ми годами это «завтра» наступило, выяснилось, что упования были напрасны.

Отчуждение переусложненного, раздраемого противоречиями, принявшими ныне глобальный характер, бюрократизированного, выламывающегося из природных рамок строя жизни никуда не делось. Соответственно мысли, чувства и чаяния, некогда вызвавшие к жизни рок-движение, остаются, придают ему ценность и смысл, периодически возрождают массовый интерес к исходным его формам. Поэтому в «восьмидесятнической» рокофобии так часто ощущается грубый консерватизм, идеализация застоя, стремление давить по живому. Для такой оценки есть объективные основания; она подтверждается многочисленными фактами от сожжения ку-клукс-кланом пластинок «Битлз» и изображений самих музыкантов<sup>30</sup> до скандала, вызванного осенью 1988 г. появлением книги А. Голдмэна «Жизни Джона Леннона»<sup>31</sup>, или нередкого сегодня в США любого другого «декларативного документа культурного консерватизма, рокофобия которого представляет собой чуть более элегантную вариацию на темы Голдмэна»<sup>32</sup>; от отмеченной английской прессой в конце 1970-х годов «исовой охоты» на панков, — «охоты до полного уничтожения»<sup>33</sup> до избивания любителей рок-музыки на центральной улице Воронежа в том же 1988 году<sup>34</sup> и т. д.

«Восьмидесятнический» комплекс представлений и идей был и остается в высшей степени двойственным. Послевоенные процессы — крупные перемещения населения из деревни в город, из отсталых бывших колоний в метрополию, всегда чреватые на первых порах массовой деклассацией; резкое усиление вертикальной социальной подвижности, сопровождаемое разрушением традиционной социокультурной стратификации; бурное распространение массовой и технически репродуцируемой культуры с ее тенденцией к замене неповторимого качества художественного предмета количеством его копий, а реальных

ценностей престижными и т. д. — все это было и есть, вошло в плоть и кровь современного общества, и призывы к национальной чистоте, к восстановлению традиций и исконных святынь, презрение к массовой культуре исходят от людей, несущих в себе деструктивный опыт этого общества. Как давно уже было сказано, различные проявления сегодняшнего почвенничества — это «тоска инкубаторной курицы по курятнику»<sup>35</sup>. Курицы, прибавим от себя, которая никогда курятника не видела и стремится навязать всем свое инкубаторное о нем представление<sup>36</sup>.

Типологически так же обстоит дело с шестидесятнической рок- (а вслед за ней и всей контр-) культурой.

Есть группы и есть издания, считающие, что классический рок-н-ролл сохраняет всю свою привлекательность и, следовательно, вошел в золотой фонд музыки и культуры. Это важно, ибо свидетельствует о сохранении в контрапункте времени шестидесятнической мелодии: по-видимому, просто отбросить все то, что тогда вошло в жизнь Европы, нельзя и сейчас. Но нельзя ведь и отождествлять радость элегических воспоминаний и чувство сегодняшней живой жизни, далеко и невосвратно — хорошо это или плохо — ушедшей от тех лет, мыслей и чувств.

Другой подход к проблеме состоит в демонстративно-программном сочетании рока «встык» с явлениями культуры, завоевывающими в 80-е годы новое влияние в общественном сознании. Но когда, например, группа из Лос-Анджелеса «Страйперз» насыщает рок-тексты евангельскими реминисценциями, выступая под лозунгом «Господь хочет, чтобы мы играли тяжелый металл», или когда роковая музыкальная ткань насыщается интонационными, да и мелодическими элементами то из Высоцкого, то из хора Пятницкого, а рассказ о русских богатырях оправлен в раму из хард-рока, трудно избавиться от впечатления искусственности и двустороннего неуважения.

Чаще всего объяснения той ситуации, в которой оказался рок, состоят в отделении рока как типа поведения и жизненной позиции от рок-музыки. Жизненная позиция признается целиком принадлежащей прошлому и оценивается более или менее отрицательно, а собственно музыка, очистившись от эпатажирующего любительства, от простоватости и эксцессов шестидесятнической поры, развивает сегодня достижения сложного высокопрофессионального западного рока 70-х годов, возвращается в лоно высокой художественной традиции.

Взгляд этот начал складываться давно. Уже сам Леннон в последнем своем интервью говорил, что самое сильное его желание — «освободиться от всего лишнего, от „Биглз“ в том числе»<sup>37</sup>; контекст не оставляет сомнения в том, что «лишним» для него было все, кроме чув-

ства природы и творчества. «Битл № 2», Пол Маккартни, отправляется в гастрольное турне вокруг света с целью «предложить людям хорошую музыку»<sup>38</sup>. Мысль о том, что шестидесятнический стиль жизни принадлежит забытому прошлому, а музыка, созданная ведущими рок-композиторами, — будущему, оказалась основным выводом из всей ожесточенной полемики вокруг упоминавшейся выше книги Голдмэна: «Правда — в музыке. Ты хочешь узнать правду — иди и слушай его песни»; это — из «Роллинг стоун»<sup>39</sup>. А вот рецензия на выпущенный в связи с этой же полемикой двойной альбом «„Имэджин“: Джон Леннон» в итальянском «Рок мэгэзин»<sup>40</sup>: «Бывший битл был прежде всего музыкантом и именно таковым останется в памяти поколений. Этот двойной диск представляет собой запись фонограммы фильма, который привлекателен прежде всего тем, что возвращает образ Леннона в ту сферу, которая была для него основной, — в сферу музыки и которая полнее отражает его ценность человека и художника (художника прежде всего) вопреки попыткам последнего времени перенести акцент на личность».

Такой же в принципе подход отмечается в некоторых советских изданиях. Наиболее последовательное и отчетливое выражение он получил в статье такого серьезного знатока рока, как С. Левин<sup>41</sup>. Суть ее сводится к делению истории рока на период андерграунда (1960-е годы на Западе, 1970-е в СССР) и период рок-музыки как искусства (1970-е на Западе, после 1985 г. в СССР): если первый был временем контркультуры, то во втором она превратилась «просто в новую культуру нового времени», то есть стала восприниматься «не как образ жизни, а как предмет искусства», доказав, что «на смену року 60-х пришел другой вид рока, как правило, требующий новой ступени музыкального мастерства». Статья озаглавлена «Продался ли Боб?». Заголовок этот представляет собой невежливо сформулированный вопрос, связанный с успехом и знаками официального внимания, которыми пользовался Б. Гребенщиков. Несмотря на свою некрасивую форму, вопрос очень глубок: остается ли в принципе музыкант в сфере рок-культуры, если он представляет свои новые работы в пресс-центре Министерства иностранных дел, как Б. Гребенщиков, или получает почетную степень доктора наук за «выдающийся вклад в музыкальную культуру», как Пол Маккартни, — короче, если он стал частью истеблишмента?

Рок, как мы убедились, возник из обострившейся в послевоенные годы ситуации отчуждения и потребности в ее преодолении. Его суть и вплоть до этого момента связана с устойчивыми, веками существовавшими реакциями на отчуждение от человека общественных институтов, культуры, морали, норм поведения, — реакциями, соединившимися в единое

целое и принявшими современный облик, но не изменившимися от этого по существу. В число их входят, например, маргинальность, то есть стремление уйти из зоны повышенного напряжения общественной и государственной жизни на ее периферию: древние народы долго не принимали линейного представления о времени как о постоянно стремящемся вперед потоке, который ежедневно ставит человека перед новыми испытаниями, и предпочитали оставаться в циклическом времени, вечно повторяющемся и потому как бы стоячем, то есть жить не столько в истории, сколько в природе; следуя той же потребности, римляне много раз в году табуировали все виды деятельности, связанные с трудом или войной, с силовым воздействием на окружающую природу и общество, как бы упраздняя на краткий миг общественные противоречия, суды, законы и приговоры, контрасты бедности и богатства; современный хиппи, сказавший: «я не хочу ничего делать, я не хочу лгать, не хочу пробивать себе дорогу куда-то», ничего нового не придумал. Другой традицией, унаследованной роком, является плебейский протест против официализированной культуры как дела сытых и благополучных; так относились ранние христиане к античным храмам и греко-римской философии, францисканцы-минориты, а позже Савонарола к роскоши дворцов и церквей и к произведениям искусства, их украшавшим, участники стихийных крестьянских бунтов к порядкам и ценностям помещичьего дома — нигилизм панков, как видно, возник не на голом месте.

Само отношение к музыке не столько как к самоценному искусству, сколько как к форме коллективного напряженно эмоционального опыта тоже уходит корнями очень глубоко и отнюдь не родилось с Элвисом Пресли. В высоком искусстве традиционного типа жизнь воспринимается в образной форме особо чуткими художественными натурами, принимает в их творчестве вид произведения, которое потом предьявляется зрителю, слушателю или читателю, вызывая в нем реакцию чувств, мыслей, особое эстетическое переживание. Но историн известен и другой путь, при котором исходной точкой является особое эмоциональное состояние группы, творчество носит коллективный характер, и цель его — не в создании произведения, а в определенном экзистенциальном переживании, и исполняемые при этом музыка или танец, в том числе и когда они авторские, оцениваются по своей способности обострять и усиливать это переживание. Творчество здесь не монополизировано художником, к нему приобщен весь коллектив, а эстетическое переживание растворено в жизненном и духовном. Таковы были мистерии античной поры; таковы сегодня макумбы и кандомбле индейцев и негров Вест-Индии и Латинской Америки; между одними и другими существовали многие явления, типологиче-

ски сходные. Рок стоит в том же ряду: «...от усилителей, работающих на полную мощность, дрожит все внутри. Голубоватый столб дыма поднимается к небу, у каждого в руке горит зажигалка в знак братства. Эмерсон, Лейк и Палмер в энный раз исполняют на бис песни, и ты (речь идет о В. Высоцком. — Г. К.) вдруг принимаешься петь во все горло. Наши обалдевшие соседи встают посмотреть, откуда исходит этот громохочущий голос, подхватывающий темы рока, и, заразившись твоим энтузиазмом, все начинают орать. На стадионе мы почти оглохли, и еще долго потом болела голова, зато отвели душу»<sup>42</sup>. Наконец, важнейшей частью того наследия, которым живет рок, является молодежная традиция. За ней всегда стоял не столько возраст — многим зачинателям рока, все еще активным и пользующимся широкой популярностью, сегодня под пятьдесят, — сколько положение неполной включенности в истеблишмент и свое, часто альтернативное, отношение к культуре. На этой стороне дела не стоит останавливаться — отчасти она освещена выше, отчасти дана каждому в повседневном опыте, общие же исторические основы после ряда классических работ на эту тему, зарубежных и советских, более или менее очевидны<sup>43</sup>.

В связи с разбором наследия, которым — обычно неосознанно — живет рок, на новом витке анализа мы приходим все к той же фундаментальной проблеме: культура не существует без нормы в морали, без образа в искусстве, без цивилизации в жизни, то есть без отвлечения от непосредственности, от эмпирической индивидуальности, от всей неуследимо пестрой майи повседневного существования; она не может, другими словами, не тяготеть к Культуре «с большой буквы». Но тем менее может она жить растворенной во всеобщей норме, отвлеченной от непосредственности, эмпирической индивидуальности, повседневности, жить в виде отчужденной Культуры «с большой буквы». Нет эллинизма без светлых олимпийских богов и высокой Поликлетовой классики, но она становится назидательной олеографией под взглядом человека, который не различает в нем элевсинский тон. Нет Рима без римского права, но нет его и без Сатурналий. Францисканство перестало быть таким бесконечно волнующим и бесконечно привлекательным фактом культуры, когда кардинал Уголино (будущий папа Григорий IX) превратил его в правильный церковный орден. Культура растворилась бы в оргиастических культах, в распаде государственности и права, в нищенстве Христа ради и перестала бы существовать, если бы альтернативные ее контрформы восторжествовали полностью, но без контртона иссекает сама ее мелодия. Рок, как мы убедились, входит в ряд таких контрформ, и он не может «просто превратиться в новую культуру» ценой утраты своего контркачества, «горчинки противостояния», «мы» против «них»; без них он становится



либо материалом для дискотек, либо основанием для присуждения почетных званий.

Но бытие в актуальном противоречии невыносимо и сколько-нибудь долго невозможно. Родившись в контррегистре, любое явление требует модуляции в более устойчивую тональность, оставаясь при этом в силу всего сказанного фактом подлинной культуры, лишь если (и до тех пор, пока) ему удастся сохранить живительное напряжение противостояния. Можно ли, однако, быть в одном регистре культуры, сохраняя в то же время импульсы другого, альтернативного? Возможно ли это вообще и, в частности, сегодня?

\* \* \*

Общие модели культуры в каждую эпоху создавали не столько художники и поэты, историки или философы, сколько естествоиспытатели, когда и если им удавалось проникнуть в те глубины, где противоречие природы и духа упраздняется и полюса его выявляют свое единство. Милетские натурфилософы обнаружили дихотомию единой «первоматерии» жизни и ее частных проявлений, легшую в основу той классической диалектики идеальной нормы и эмпирической действительности, в которой еще Гегель видел суть античного искусства и всего античного строя существования. Герои классицистической трагедии XVII—XVIII вв. и правители бесконечно враждующих бесчисленных герцогств и княжеств этой поры равно ведут себя наподобие «неукротимых корпускул», открытых Лейбницем, или его «монад». И разве не к Максвеллу восходит то представление о самоценности поля — не тел как таковых, а значимого, насыщенного энергией и смыслом пространства между ними, без которого не было бы ни живописи импрессионистов, ни драматургии Ибсена или Чехова? <sup>44</sup>

Противоречие культуры и контркультуры во второй половине нашего века — динамичное, подвижное, неустойчивое, как неустойчивы, каждый в себе, и оба его полюса, постоянно колеблющиеся между мертвой стабильностью целого и разрушительным хаосом атомарности, также раскрывается как одно из отражений общей модели действительности, разрабатываемой сегодняшним естествознанием.

С 1950-х годов стремительно растет число исследований в области физики, физикохимии, биофизики, математики, посвященных разным аспектам проблемы «порядок — хаос». При этом исследователи отдают себе полный отчет в том, что проблема эта одна, что в антиномии, в ней сформулированной, отражается общая модель действительности. Проблема взаимоотношений порядка и хаоса обусловлена предшествующими открытиями в естествознании, но сами эти открытия возникли

не без неосознанного воздействия общественной и культурной среды сегодняшнего мира, а потому отражают ее и выявляют ее глубинную проблематику.

Суть дела сводится к следующему. В природе отмечается ряд процессов — таких, например, как вращение Земли вокруг Солнца или колебание маятника без трения, — которые строго детерминированы, протекают в, так сказать, регулярно повторяющемся, то есть обратимом, времени и потому не знают энтропии, дезорганизации и случайности. Именно эти процессы рассматривались классической физикой от Ньютона до Эйнштейна. Сегодня наука накопила огромное число фактов, неопровержимо свидетельствующих о том, что «обратимость и жесткий детерминизм в окружающем нас мире применимы только в простых предельных случаях. Необратимость и случайность отныне рассматриваются не как исключение, а как общее правило». «Лишь искусственное может быть детерминированным и обратимым. Естественное же непременно содержит случайности и необратимости»<sup>45</sup>.

По антиномии «порядок — хаос» выстраиваются сегодня глобальные процессы в обществе и культуре: государственная организация — и массовые, в таких масштабах никогда ранее не виданные преступность, терроризм, наркомания, СПИД; отовсюду раздающаяся нравственная проповедь, обращение идеологии к твердым заповедям, к традиционным устоям — и разлитый в атмосфере массовый, бытовой аморализм. Антиномия существует не только в своих предосудительных общественных проявлениях. По всему миру идут поиски экономических моделей, которые бы позволили преодолеть противоречие стихии рынка и жесткого планирования; происходит отчетливая переориентация социального познания от изучения общества как упорядоченной системы общих категорий к проникновению в неупорядоченную конкретность повседневной жизни, общественных эмоций, социальной психологии личностей и масс. Перечень может быть легко продолжен.

Три вывода из исследования проблемы «порядок — хаос» обладают с общей точки зрения особенной актуальностью. Первый вывод состоит в том, что логическому ряду: обратимость — детерминированность — логика — закон — порядок противостоит более адекватный сегодняшней реальности ряд: необратимость — асимметрия — энтропия — хаос. Второй вывод связан с тем, что оба члена антиномии не только противостоят друг другу, но и постоянно взаимодействуют, причем таким образом, что хаотические процессы во всех сферах обнаруживают потенциальную способность к самоорганизации, к созданию как бы вторично упорядоченных «диссипативных» структур. Третий вывод дополняет второй. Подобные потенции реализуются не автоматически и не всегда, а лишь в некоторых заранее непредсказуе-

мых «точках бифуркации», вблизи которых системы начинают вести себя особенно неупорядоченно, как бы колеблются перед выбором одного из нескольких путей эволюции, после чего в силу неустановившихся причин движение начинает идти либо в сторону дальнейшего нарастания неупорядоченности, либо все поведение системы резко меняется и необратимость становится источником порядка, когерентности, организации. «Неизбежно напрашивается аналогия с социальными явлениями и даже с историей»<sup>46</sup>.

Понимание проблем рокмузыки, контркультуры, частью которой рок является, общей культурной ситуации, стоящего за этой ситуацией исторического соотношения двух эпох — шестидесятых и восьмидесятых годов, во многом определяется различными модификациями универсальной для нашей эпохи антиномии «хаос — порядок». Мы находимся в «точке бифуркации».

1989

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Green J. Facing Macca // Time Out, No. 947, oct. 12—19, 1989, p. 9.

<sup>2</sup> Trois étoiles // Rock and Folk, juillet — août, 1987, p. 47.

<sup>3</sup> Connolly R. John Lennon. 1940—1980. A Biography. London: New York, 1981, p. 16.

<sup>4</sup> Рекуан В. Кайф // Нева, 1988, № 3, с. 121.

<sup>5</sup> Взято из монолога московского «рок-художника» в документальном фильме Н. Хворовой «Тетива» (1985).

<sup>6</sup> Davies H. The Beatles. The Authorized Biography. London, 1968, p. 195.

<sup>7</sup> Les murs ont la parole. Journal mural mai 68. Sorbonne. Odéon, Nanterre etc... Citations recueillies par Julien Besançon. Paris: Tchou éditeur, 1968, p. 128.

<sup>8</sup> Подробный перечень событий, приходящихся на 1967 год и делающих его своеобразным пиком ранней рок-культуры, см.: Полина К. Не для всех и не для каждого // Сельская молодежь, 1989, № 9, с. 28—29.

<sup>9</sup> Советская культура, 30.IX.1989.

<sup>10</sup> Лодер К. Это было двадцать лет назад сегодня // Ровесник, 1988, № 3, с. 20.

<sup>11</sup> Benjamin W. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Zweite Fassung (1936) // Benjamin W. Allegorien kultureller Enführung. Ausgewählte Schriften 1920—1940. Leipzig: Reclam, 1984.

- <sup>12</sup> *Wicke P.* Von der Aura der technisch produzierten Klanggestalt. Zur Ästhetik des Pop // *Wegzeichen. Studien zur Musikwissenschaft*. Berlin: Verlag Neue Musik, 1985.
- <sup>13</sup> *Benjamin W.* Das Kunstwerk..., S. 411.
- <sup>14</sup> *Ibid.*, S. 411—413.
- <sup>15</sup> *Wicke P.* Von der Aura der technisch produzierten Klanggestalt. S. 279.
- <sup>16</sup> *Лодер К.* Это было двадцать лет назад сегодня, с. 21.
- <sup>17</sup> *Rolling Stone*, oct., 1988, p. 60.
- <sup>18</sup> Итальянский журнал «Рок мэгэзин» в ноябре 1988 г. писал о том, как музыканты популярной сегодня на Западном побережье США группы «Металлика» «вышли за пределы традиционного рока и создали новую его разновидность — по имиджу, отношению к жизни, духу, антикоммерческой направленности нечто подобное панку 70-х годов, но усиленному за счет опыта 80-х с их ясным пониманием того, что время революций кончилось... Они представляют новое поколение рока, сохраняя по-прежнему его яркость, противостояние, разоблачение». Как явствует из контекста, слова «сохраняя по-прежнему» в последней фразе естественней было бы заменить словами «всячески усиливая».
- <sup>19</sup> *Rolling Stone*, jan., 1971. Наркотики и алкоголь, половые излишества, жизнь на износ и сжигание себя к 70-м годам образовали особый этос всего рока хиппианской эпохи. Примечательно, что позже, уйдя во многом из жизни, этот этос остался и даже усилился в имидже — прежде всего у металлистов; да и самые страшные панки позже, говорят, пили уже только пиво.
- <sup>20</sup> *Karr P.* Спокойно... Спокойно... Еще спокойнее. Интервью с Элтоном Джоном // *Ровесник*, 1979, № 2, с. 30.
- <sup>21</sup> См.: *Смирнов И.* Фольклор новый и старый // *Знание — сила*, 1987, № 3.
- <sup>22</sup> *Вайль П., Генис А.* Шестидесятые. Мир советского человека // *Иностранная литература*, 1991, № 2.
- <sup>23</sup> См. обзоры философски-публицистической литературы данного направления: преимущественно в Англии — Неоконсерватизм в странах Запада, ч. 2. Социально-культурные и философские аспекты // *Реферативный сборник ИНИОН*. М., 1982; в Германии — *Френкин А. А.* Феномен неоконсерватизма // *Вопросы философии*, 1991, № 5.
- <sup>24</sup> *Wiener M. J.* English Culture and the Decline of Industrial Spirit. 1850—1980. Cambridge, 1981.
- <sup>25</sup> *Френкин А. А.* Феномен неоконсерватизма, с. 67.
- <sup>26</sup> Здесь и далее обозначение «фолк-рок» употребляется, как станет ясно из приводимых примеров, в узком, прямом и терминологичном, смысле слова. Такие нередко с ним ассоциируемые явления, как кантри-рок и ритм-блюзы, не рассматриваются и не подразумеваются, хотя и входят в общекультурный контекст фолк-рока.

- <sup>27</sup> Советская культура, 6.X.1989.
- <sup>28</sup> Rock and Folk, juillet — août, 1987, p. 11.
- <sup>29</sup> U-2. Interview by Jeff Spurrier // Spin, may, 1985, p. 21.
- <sup>30</sup> Davies H. The Beatles. The Authorized Biography, p. 221.
- <sup>31</sup> Goldman A. The Lives of John Lennon. 1988, 719 p.
- <sup>32</sup> Newsweek, 17.X.1988.
- <sup>33</sup> Мюррей Ч. Ш. Музыка с тонущего корабля // Ровесник, 1978, № 2, с. 20.
- <sup>34</sup> Правда, 21.1.1988.
- <sup>35</sup> Самойлов Д. Дневники // Огонек, 1990, № 23, с. 13.
- <sup>36</sup> См. подтверждение и развитие этой мысли: Шушарин Д. Культура посада: перед зеркалом как перед иконой // ДИ, 1989, № 4.
- <sup>37</sup> Гростарк Б. Последнее интервью // Ровесник, 1984, № 5, с. 27.
- <sup>38</sup> Московские новости, 13.X.1989.
- <sup>39</sup> Newsweek, 17.X.1988.
- <sup>40</sup> Imagine: John Lennon // Rock Magazine, 1988, No. 11.
- <sup>41</sup> См.: Левин С. Продался ли Боб? // Культурно-просветительная работа, 1989, № 5.
- <sup>42</sup> Влади М. Владимир, или Прерванный полет. М., 1989, с. 83—84.
- <sup>43</sup> Для предварительного знакомства можно рекомендовать: Mannheim K. The Diagnosis of our Time. London, 1943, p. 31—53; Чайковский Ю. В. Молодежь в разнообразном мире // Социологические исследования, 1986, № 1.
- <sup>44</sup> См. более подробно: Кнабе Г. С. Внутренние формы культуры // ДИ, 1981, № 1.
- <sup>45</sup> Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986, с. 48, 50.
- <sup>46</sup> Там же, с. 56. Ср.: Лотман Ю. М. Клио на распутье // Наше наследие, 1988, № 5.

---

## ЗНАК И ЕГО СВОЙСТВА

Связи между бытом и историей одновременно и непреложны, и сомнительны, они есть, и их как бы нет. Они, другими словами, существуют не как данность, а как проблема.

Откуда возникает эта проблема? В чем ее суть? Как она решается?

Люди сами делают свою историю. Они делают ее в повседневном труде и борьбе, создавая материальные и духовные ценности, совершенствуя общественное производство, вырабатывая формы общественной организации, культуры, искусства. Иногда, однако, забывают, что при этом они обязательно что-то едят, пьют, как-то одеваются, живут в домах, окружены вещами, руководствуются в своем поведении привычками и традициями и что это повседневное бытие не может не оказать влияния на их общественное поведение, а тем самым и на то, как именно они делают свою историю. С этой точки зрения, наверное, все-таки прав крупный немецкий филолог и историк Эрих Ауэрбах, писавший: «Именно в духовных и экономических отношениях повседневной жизни открываются силы, лежащие в основе исторических движений; эти последние, будь то война, дипломатия или внутреннее развитие государственного устройства, — лишь итог, конечный результат изменений, происходящих в глубинах повседневного».

Не менее справедливо, однако, и другое. Люди делают свою историю сами, но на основе уже существующих условий, уже действующих сил, подчиняясь определенным закономерностям — социально-экономическим, затем политическим и идеологическим. Непосредственные мотивы повседневной деятельности и ее конечный общественный смысл, бытовое поведение и историческое истощающе, а подчас и не связаны друг с другом. Так, римский император Флавий Веспасиан был скуп и в быту неприхотлив, его сын Тит, сменивший Веспасиана у власти, был щедр и любил горячие ванны. Что это дает для понимания римского принципата? Более или менее ничего — как руководители государства, воплощавшие в своей деятельности объективно заданную закономерность социально-политического развития Римской империи, они вели себя совершенно одинаково.

Любое научное познание состоит, в частности, в том, что в многообразии окружающих явлений мы обнаруживаем общее, открываем внутренние связи и формулируем законы, ими управляющие. В силу своей отвлеченности от жизненной полноты и конкретности такие за-

коны узки, приблизительны и улавливают лишь обобщенные закономерности реальной жизни. Такова цена, которую приходится платить за раскрытие неочевидных связей между явлениями, за проникновение в их сущность. Познание, однако, не стоит на месте. Вечно и упорно преодолевает оно узость и неполноту им же открытых законов, вечно и упорно стремится наполнить их все более конкретным жизненным содержанием.

Общие закономерности, управляющие познанием исторического прошлого, открытые и открываемые исторической наукой, познаются глубже, если рассматриваются, во-первых, во все более тесной связи с их реальным субъектом — живым человеком и, во-вторых, рассматриваются через его повседневную деятельность, во всем многообразии и осязаемости окружающих условий. Вне обстоятельств, плотно и неприметно окружающих исторического человека, то есть прежде всего вне традиций повседневного существования и жизненной среды, не удастся понять внутренние стимулы его общественного поведения. Исследование закономерностей исторического развития общества через повседневную жизнь личностей и масс — необходимый очередной шаг к тому, чтобы уловить в этом развитии все богатство индивидуального и отдельного.

Если в основе исторических событий — войн, революций, народных движений, переворотов в производстве и социальной структуре — лежит поведение действующих в них людей, если, далее, поведение это зависит в конечном счете от расстановки и движения социально-экономических, а затем и политических, культурно-идеологических сил, непосредственно же определяется тем, как эти силы, их требования и лозунги преломились в повседневной жизни и труде людей, в их мироощущении, психологии и эмоциях, то задача, следовательно, состоит в том, чтобы выяснить, как именно реализуются экономические и иные объективные условия в деятельности людей, как они становятся историей, найти в реалиях народного существования отражение общих исторических процессов и закономерностей и проследить эти процессы и закономерности до их проявления в повседневной жизни.

Такая тенденция обнаруживается в последнее время в исторической науке вполне очевидно, в многочисленных и разнообразных формах. Явственно растет удельный вес исследований, посвященных теории и истории культуры, причем особое внимание обращается на специфические для каждой эпохи особенности мировосприятия, формы жизни, нормы мышления и традиции поведения. Сложилась в самостоятельное направление историческая социальная психология. Широкое использование семиотических идей и методов позволило раскрыть общественно-историческое содержание в самых обычных проявлениях

ях человеческой жизни. Идет единый процесс насыщения научно-исторических построений жизненной конкретностью.

Каждая эпоха создает свои, характерные для нее вещи, и потому много лет или даже столетий спустя они могут немало рассказать о породившем их времени. Вещи — своеобразный язык, на котором время говорит о себе. Специалисты разных областей науки вычитывают из вещи каждый раз свою, особую информацию: искусствовед — характерное для каждой эпохи, стиля, направления соотношение в вещи функционального и эстетического начал; этнограф и археолог — отразившийся в ней уровень развития производительных сил, имущественную дифференциацию, ареал брачных, торговых, культурных связей, идеологические представления и художественные традиции; современный историк, поставивший перед собой очерченную выше задачу, — зашифрованную в вещи характеристику внутреннего мира и эмоционально-психического склада исторического человека. Но дабы понять, что может рассказать историку вещь — и прежде всего связанная с повседневным существованием вещь бытовая, — необходимо выяснить, как, благодаря каким свойствам она в состоянии это сделать. Таких свойств несколько.

Во-первых, у любого бытового факта, помимо его практического смысла, есть еще и другой, этим практическим смыслом не покрываемый. Когда герой шуточного стихотворения Пушкина «„Женись“ — „На ком?“ — „На Вере Чацкой“» отказывается жениться на девушке потому, что в ее семье «...орехи подают. Они в театре пиво пьют», то он полностью игнорирует прямое назначение орехов или пива быть продуктом питания, лакомством, средством утоления жажды и воспринимает их только с точки зрения, никак с этим прямым назначением не связанной, — они приняты в социальном кругу, герою постороннем и его шокирующем, несут на себе печать, по его представлениям, невоспитанности и мещанства. По своей прямой функции предмет быта относится к сфере удовлетворения жизненных потребностей; своим же непокрываемым этой функцией остатком принадлежит общественной сфере и выражает принятые в ней нормы. Такой остаток, как известно, принято называть знаком, а его общественное содержание — знаковым, смысл, который при этом приобретает вещь, — семиотическим, наука же, исследующая относящиеся сюда явления и процессы, носит название семиотики. Фрак и крахмальная манишка, гимнастерка и сапоги, джинсы и свитер — все они представляют собой разновидности одежды и предназначены укрывать человеческое тело от воздействий окружающей среды. По знаковому же своему смыслу они не имеют между собой ничего общего. Эти три комплекта одежды, сменявшие друг друга во времени, отражают эволюцию ценностных ори-



ентаций, идеологических позиций, общественного самоощущения, то есть повседневно переживаемую историю. Источником познания внутреннего мира и эмоционально-психического склада человека бытовая вещь служит для нас потому, что ей присуще знаковое содержание.

Второе семиотическое свойство бытовых вещей связано с тем, что знаковая, то есть общественно-историческая и культурная, социально-психологически переживаемая характеристика вещи располагается в иной плоскости, чем ее характеристика техническая, материальная, а иногда даже и прямо противоречит последней. Чтобы убедиться в этом, давайте вспомним известный, наверное, каждому портрет Сергея Тимофеевича Аксакова, писанный в 1878 году И. Н. Крамским по прижизненной фотографии, находящийся ныне в Третьяковской галерее и бесконечно воспроизводимый в журналах и учебниках. Все во внешности писателя — не полагавшаяся дворянам борода, куртка, сшитая как крестьянский зипун, палка вместо трости — носит отчетливо, подчеркнуто знаковый характер, призвано показать верность русскому крестьянскому корню, враждебность оформлению жизни, принятому в сановном обществе николаевской поры. Но как же сочетается с такой целью непосредственный облик воспроизведенных на изображении деталей — форма бороды, какая-то уж очень скиперская, англо-скандинавская, покрой и материал куртки, явно имеющий мало общего с реальным крестьянским зипуном?

Действительно, одежда, в которой на картине изображен С. Т. Аксаков, носила в семье название «святославки» и шилась по специальному заказу, по некоторым сведениям даже у французского портного. Но это странным образом не мешало ни современникам, ни опирающимся на них комментаторам постоянно называть ее зипуном. Так — в письме Шевырева Гоголю от 4.10.1845 г.: «Ты знаешь, что он решительно бородой и зипуном отгородил себя от общества»<sup>1</sup>; так в ответе Гоголя от 20.11 того же года: «Меня смутило также известие твое о Константине Аксакове. Борода, зипун и проч.»; так в наиболее полном исследовании всего этого эпизода — у С. А. Венгерова: «Платье же свое, вроде зипуна, С. Т. по болезненности своей продолжал носить всю жизнь»<sup>2</sup>; так в современном комментарии, опирающемся, по всему судя, на семейную традицию: «Святославка — так Аксаковы называли верхнее платье, которое было пошито по их заказу, покроем оно напоминало старинный зипун»<sup>3</sup>. Почему же это платье, если оно действительно в частностях и деталях отличалось от реальных зипунов, которые носили реальные крестьяне, все называли зипуном? Да потому, что и сами Аксаковы, и их друзья и противники исходили не из технологии костюма, а из его общественного, знакового смысла, из того образа, который он призван был создать, который — именно как

образ — ассоциировался для них всех с наиболее распространенным видом крестьянской одежды — зипуном и обозначался этим словом. Свою привязку к ней С. Т. Аксаков объяснял (в письме к сыну Ивану от 27.04.1849 г.) как «желание, потребность русского сердца носить свою родную, народную одежду».

Точно так же обстоит дело с бородой. Если положить в ряд много портретов бородатых скандинавов или англичан середины прошлого века с одной стороны и русских крестьян той же поры с другой, то борода на разбираемой картине, наверное, окажется ближе к первым. Но и царь, и начальник III отделения граф Орлов, и министр внутренних дел именно в это время настойчиво запрещали русским дворянам носить эту, казалось бы, никакого к ним отношения не имеющую англо-скандинавскую бороду. И именно имея в виду облик отца, Константин Аксаков писал, что «борода есть часть русской одежды; воспрещением бороды воспрещается и русское платье». Аксаковы протестовали против приказа министра внутренних дел на том основании, что, выполняя приказ, «вместо нечестивой западной бороды сбреем русскую, православную бороду». Почему, говоря о бороде, явно схожей по форме со скандинавской, Аксаковы называют ее «православной» и фактам вопреки отрицают ее связь с бородой западноевропейского типа? И Аксаковы, и тем более петербургские сановники, разумеется, видели во множестве шкиперские бороды заезжих европейцев, но видели их только, так сказать, физическим зрением. В русском культурном сознании эта аналогия нейтрализовалась, и актуальность сохраняла лишь противоположность бороды и народной одежды, с одной стороны, мундирной внешности и бритым лицам служителей империи, созданной Петром, — с другой. Борода Аксаковых характеризовалась не формой, а принципом — короче, была знаком. В апреле 1849 года А. Ф. Орлов так и мотивировал запрещение бород: «Бороды — знак, вывеска известного образа мыслей». То, что этим знаковым смыслом не обладало, просто зрением не воспринималось. Для культурологического анализа первостепенное значение имеет эта разница между знаком или семиотическим образом вещи — величиной духовной, фактом общественного сознания, и ее устройством — величиной материальной и фактом техническим.

Третье свойство бытовой вещи, важное для разбираемой темы, состоит в том, что знак воспринимается лишь ограниченной социокультурной группой, объединенной совместно пережитым общественным опытом. Так, русское платье московских славянофилов 1840-х годов за пределами их узкого круга, по-видимому, принималось за чудачество и было лишено своего демонстративно-принципиального, то есть знакового смысла. «К. Аксаков, — писал Герцен (воспроизводя слова

П. Я. Чаадаева), — оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина». Еще точнее и полнее высказывал ту же мысль другой современник, Б. Н. Чичерин: К. Аксаков «первый в 40-х гг. надел терлик и мурмолку и в высоких мужицких сапогах разъезжал по московским гостиным, очаровывая дам своим патристическим красноречием... Вне литературного круга на них смотрели как на чудаков, которые хотят играть маленькую роль и отличаться от других оригинальными костюмами». Перестройка в Западной Европе всей системы мужской одежды на рубеже XVIII и XIX веков началась с того, что короткие, за колено, штаны, так называемые *culottes*, бывшие на протяжении всей предшествующей эпохи неперменной частью мужского туалета у дворян, а под их влиянием, с определенными модификациями, и у третьего сословия, уступили место длинным панталонам. Но первые импульсы этого процесса родились в относительно узком и социально относительно однородном конкретном коллективе. Изначально только среди ремесленного люда революционного Парижа, носившего длинные брюки, вызывавшие насмешки аристократии, противопоставление длинных штанов коротким приобрело внятный демонстративно-вызывающий знаковый смысл. В дальнейшем этот процесс развивался уже по своей логике, каждый раз определявшейся конкретными общественно-историческими обстоятельствами, но исток и его самого, и его значения был здесь.

Вспомним также смешливое недоумение, с которым попавшие в помещичий дом крестьяне в «Плодах просвещения» Л. Н. Толстого воспринимают детали аристократического быта, и многие другие примеры. Знаковое содержание бытовой вещи рождается как средство кодирования социокультурной информации, характерной для относительно ограниченной социальной группы или социального слоя.

Наконец, четвертое свойство знака, заложенного в бытовых вещах, вытекает из только что сформулированного тезиса «знак — всегда метафора». В области быта в таком знаке всегда есть нечто, не исчерпываемое рациональной логикой, нечто, не до конца формулируемое, восприятие его предполагает оживление таких обертонов памяти, которые коренятся в социальном подсознании и самим воспринимающим далеко не всегда осознаются.

Среди современных головных уборов берет не слишком отличается по цене и по удобству от шляпы или вязаного колпачка. Что именно купит тот или иной человек? Берет стал теперь признаком либо пожилого интеллигента, либо рабочего при исполнении своих обязанностей, шляпа — человека упорно и сознательно старомодного, а колпачок — молодости и молодечества. Выбор тут свободен и зависит не только и не прямо от общего знакового содержания вещи, но в первую голо-

ву — от того образа, в котором человек видит эту вещь и себя в ней, то есть от некой суммы эмоционально окрашенных представлений об общественной структуре, о своем месте в ней, о системе ценностей — «своих» и «не своих», зависит от лирически пережитого и ставшего частью «я» общественно-культурного опыта.

«Педагогическая поэма» А. С. Макаренко и в книге, и в жизни началась с того, что, явившись в один из губнаробразов двадцатых годов, он стал добиваться от заведующего зданием и оборудования для создававшейся воспитательной колонии. Ни здания, ни оборудования у заведующего не было, и требования Макаренко показались ему чрезмерными, доказывающими неспособность работать в соответствии с велениями времени, героически и с энтузиазмом.

«Нет у вас этого самого вот... огня, знаешь, такого — революционного. Штаны у вас навыпуск. — У меня как раз не навыпуск. — Ну, у тебя не навыпуск... Интеллигенты паршивые». При чем здесь «штаны навыпуск» и что они означают, тем более в связи с «революционным огнем»? Завгубнаробразом только что демобилизовался после гражданской войны; революция, решительность, самоотвержение накрепко связались у него именно и только с вооруженной борьбой и ее главным участником — «человеком в шинели». Шинель, сапоги, солдатски заправленные в них брюки стали для него центром ассоциаций, метафорой привычного и ценного стиля поведения, и вот всю эту гамму эмоционально окрашенных воспоминаний завгубнаробразом выразил загадочными словами «штаны у вас навыпуск», столь ясными обоим собеседникам, но невнятными для всех, кто не прошел через те годы и потому не слышит здесь метафоры.

Это свойство знака особенно важно для исследования былых эпох через повседневную психологию и быт людей. Человек — атом истории, все собственно человеческое обусловлено в нем социально и культурно. И его вкусы, его подчас немотивированные выборы и поступки обусловлены той же заложенной в нем историей, тем же социокультурным опытом, но только история, социология и культура выступают здесь преломленными во внутренних, самых интимных и не всегда проявленных механизмах сознания. Потому-то вещи и могут рассказать на своем языке о всей сфере, где бытовой поступок — еще повседневное, ничем не примечательное проявление полуосознанных вкусов и привычек и в то же время уже порождение и выражение истории, могут уловить момент, когда текучая магия Жизни только-только «схватывается» и начинает застывать, становясь Историей.

Обладающие такими знаковыми свойствами явления и вещи, однако, могут послужить для реконструкции внутреннего мира и эмоционально-психического склада исторического человека лишь при одном

существенном условии: если они даны историку в составе определенного текста — так принято сейчас в науке называть любую последовательность знаков, образующую сообщение, причем, разумеется, не только словесное. Дело в том, что, взятая сама по себе, изолированно, как единичный материальный факт, вещь не несет сколько-нибудь содержательной информации о духовном мире людей, ее изготовивших, ею пользовавшихся, ее приобретавших. Она расскажет об их духовном мире нечто содержательное и важное лишь тогда, когда станет внятным их к ней отношение. Так, если современный молодой человек когда-нибудь и видел то, что называется завалинкой — низкую земляную насыпь вокруг стен крестьянской избы, — она для него один из элементов строительной техники, распространенной в старых русских деревнях и кое-где сохранившейся до наших дней. Только со слов людей старшего поколения, из произведений писателей-классиков, из рассказа, заключенного в живописи передвижников, сможет он узнать, что на завалинке очень удобно сидеть, привалясь к бревенчатой стене, что поэтому крестьяне любили собираться здесь после долгого рабочего дня поговорить и отдохнуть, а поскольку так делали и дед и отец, то завалинка становилась воплощением образа жизни, напоминанием о хороших ее минутах, о людях, здесь собиравшихся, обращалась в средоточие чувств, которые все это вызвало, в лирически окрашенную характеристику уклада существования. Восстанавливая его, историк может по такой завалинке реконструировать и эту эмоционально-психологическую сторону дела, но раскроется она не из промеров высоты и ширины подсыпки, не из изучения формы колышков, ее придерживающих, или анализа ее теплоизоляционных возможностей, как бы существенно и необходимо все это ни было, вообще не из объективных свойств единичного факта, а из лирического рассказа.

Историческое исследование на этой основе может вестись как бы с двух концов — от социально-политической истории к быту и от быта к социально-политической истории.

Правление Николая I, например, — годы крайнего правительственного консерватизма в области развития производительных сил, в политике, в официально насаждаемой идеологии. Это подтверждается бесчисленными фактами и документами, составляет историческую характеристику времени. Но в ту же характеристику входят и прорывавшиеся бунтами отчаяние солдат или крепостных, и свободная мысль Герцена или Пестрашевского, и нравственное одушевление Белинского или Грановского, равно как, на противостоявшем им полюсе, тупое гонительство левашевых и дибичей, злобное самодурство пеночкиных и негровых. Картина эпохи, включающая все это, будет полнее, ближе к жизни и потому вернее.

Но в том же направлении можно сделать и еще один важный шаг. Принцип сохранения любой ценой раз навсегда заведенного порядка не ограничивался в те годы областью политики и хозяйства, идеологии и морали. Насаждавшийся сверху консерватизм порождал недоверие ко всему растущему и новому — следовательно, к индивидуальному и своеобразному, — создавал эстетику всеобщего единообразия, проявлявшуюся повсеместно и повседневно. Первым свидетельством гражданской полноценности каждого был мундир, который полагалось носить всем: военным и чиновникам, студентам и землемерам, судьям и школьникам. Лишенный мундира человек переставал быть частью государственной структуры, становился частицей массы, заполнявшей ее поры, вызывая, по официальной мерке, недоверие, смешанное с настороженной враждебностью. Николай часто употреблял труднопереводимое выражение *«cette saignée en frac»* («эта чернь, мелюзга, людишки во фраках»). Известен случай, когда он целый вечер издевался над посетителем, явившимся на придворный прием в только-только начавшем тогда распространяться *readjacket* (пиджаке). Известно, чего стоило художнику П. А. Федотову избавиться от офицерского мундира и отдаться занятиям живописью. Та же установка отражалась и в других сферах повседневной жизни. Сейчас, в частности, трудно представить себе, насколько древнеримски выглядела вся официально организуемая материально-пространственная среда этой эпохи, особенно в столице. Победа отмечалась колонной, как при Траяне или Марке Аврелии; распространились триумфальные арки, воспроизводившие арки Тита или Септимия Севера; парковые ограды украшались эмблемами из римских мечей и шлемов; нормы типовой застройки предполагали широкое использование ордера и арки; по некоторым сведениям, излюбленным маскарадным костюмом Николая I был костюм римского воина; «все римляне, народ задорный», — характеризовал Н. П. Огарев облик столичных генералов и офицеров.

Все это не имело никакой прямой связи с социально-экономическими процессами, с политическими принципами как таковыми, подчас даже с официальной идеологией. Страна жила производительным трудом людей, не носивших мундиров; военно-политическое положение не требовало такой армии, которую создал и бесконечно пестовал царь; греко-римский классицизм, сыгравший такую роль в формировании революционной идеологии предшествующей эпохи, был неодобряем и официально гоним. В мундирах и римских фасадах вырисовывалось нечто несравненно более внешнее и в то же время нечто в своей непосредственности очень глубокое — образ времени. Разделение действительности на сферу монументальной, однообразно упорядоченной неподвижности и сферу низменной живой изменчивости было

следствием и выражением все той же социально-политической программы царского правительства, но следствием, коренившимся в подсознании эпохи, эмоционально-психологическим и повседневно-бытовым. Непосредственно люди воспринимали именно его, и именно оно порождало ряд особенностей их поведения, мышления, творчества. Официальный антично-римский архитектурно-бытовой маскарад вызывал к жизни реакцию, явственно ощущаемую в литературе и искусстве 1830—1850 годов: разоблачение Римской империи как царства бездуховности и грубой силы и защиту ранних христиан как ее жертв, причем этот ход мысли обнаруживается в сочинениях писателей, весьма далеких от религии и церкви, — Лермонтова, Белинского, Герцена.

К полноте восприятия времени, как говорилось, можно идти и противоположным путем. В начале 1830-х годов Монферран проектировал для Зимнего дворца мебельный гарнитур, выполненный П. Гамбсом и впоследствии, после пожара 1837 года, составивший часть убранства так называемой Малахитовой гостиной. В качестве декора архитектор широко использовал аппликации из золоченой бронзы с античными сюжетами, перекликавшиеся с другими античными мотивами в оформлении гостиной. Декоративные накладки такого рода были отличительной особенностью мебели Древнего Рима. В эпоху позднего классицизма и ампира они были возрождены и получили очень широкое распространение именно из-за античных ассоциаций, которые вызывали, вполне органично входивших в общую атмосферу революции 1789—1794 годов, Консульства и Империи. Но уже с начала 1810-х и эта атмосфера, и эти приемы быстро исчезают. Во всех своих вариантах вкус времени явно и быстро развивался в сторону, противоположную вкусам предшествующей эпохи.

Почему же Монферран выбрал явно устарелый декоративный прием, а главное, почему царь одобрил его? Ведь отвращение Николая к «античной» атмосфере 1800—1810 годов и ее идеям было очевидно и общеизвестно, и он всячески с ними боролся, в частности в школьном образовании. Дело, вероятно, было в том, что искоренение отдававшего республиканизмом античного духа проводилось им вполне сознательно, Монферран же очень точно угадал, что подсознательно, в безотчетных своих реакциях, Николай не выносил вообще ничего нового, соответствующего складывающимся формам жизни, ничего идущего в русле времени, вообще ничего, включенного в историческое движение, и что повседневные вкусы царя должны были отражать эту подоснову его мышления, ориентироваться на прошлое, привычное, неподвижное (чем, в частности, и объяснялся официально насаждавшийся римский маскарад). В инциденте с мебельным гарнитуром для Зимнего дворца отчетливо выявились те особенности царя и его режи-

ма, которые при одностороннем социально-экономическом и социально-политическом подходе могли бы от историка и ускользнуть.

Однако с исторической интерпретацией бытовых явлений связаны и опасности — как субъективные, так и объективные. Наиболее очевидный из субъективно обусловленных недостатков состоит в вульгарно прямолинейном отождествлении бытового факта с проявлением общеисторической закономерности: во Франции эпохи абсолютизма огромные могучие парики XVII века уступают место типичным для XVIII века малым пудренным парикам со скудной косицей. Значило ли это, что дворянство поначалу еще ощущало свою силу и боролось с абсолютной властью королей, а в конце периода попало в полную и приниженную зависимость от двора?

Сложнее обстоит дело с недостатками объективными, корнящими-ся в самом существе описанного подхода. Исследователь быта обнаруживает связь между явлениями, в жизни далеко разобщенными, и связывает исторические процессы с настроениями, вкусами, психологией, то есть вещами нематериальными, неоднозначными и трудноуловимыми. Поэтому в принципе всегда остается не до конца ясным, *раскрывает* он эту связь или *устанавливает* и что, соответственно, получается в результате — строгий, научно доказательный вывод или более или менее произвольная эффектная метафора. Устав декабристского Союза благоденствия есть документ, факт идеологии и, следовательно, истории. Возникновение его связано с другим бесспорным фактом истории — Отечественной войной 1812 года, связь их документируется и тем самым может быть объективно доказана. Но вот в те же годы в России распространяется фрак. Этот факт тоже принадлежит общественно-политической истории времени или замкнут в рамках частного быта и случаен? Если принадлежит, то чем доказывается их связь — связь общественно-политической эволюции послевоенных лет и фракка? Где гарантии того, что такое парадоксальное сближение не целиком произвольно? Ведь то, что ощущал конкретный человек, надевая фрак, прямо не документировано, и тем самым общественный смысл, обнаруживаемый нами в этом акте, строго не подтверждается.

Трудности такого рода могут быть существенно ограничены, а подчас и практически устранены за счет системного подхода к изучаемым явлениям, характерного для современной науки в целом. Фрак Пушкина или Чацкого входит в два ряда связей — в «вертикальную» систему исторических преемственностей и в «горизонтальную» систему синхронных однородных явлений. Объективно документированными фактами русской истории остаются рост дворянского свободомыслия после Отечественной войны, выход его в последующие годы за пределы узкого круга столичного офицерства, появление «витийством резким



знаменитых» людей, видевших свой долг в служении родине на гражданском поприще, как следствие — их уход из армии и, значит, смена мундира на фрак, придание последнему, таким образом, внятного знакового смысла. Но фрак входил и в иной ряд также вполне документируемых фактов — повышался престиж университетского образования, шел рост журнальной литературы, усиливался в обществе разнородный элемент, не связанный наследственно с военной службой. Вся эта штатская стихия явственно ощущалась и явственно противопоставлялась стихии мундирной, аракчеевско-никалаевской, то есть также сообщала классической штатской одежде, фракку, отчетливое знаковое содержание. Принадлежность фрака в исследуемую эпоху к двум системным рядам документируемых фактов практически исключает возможность произвольного истолкования и делает его знаковый смысл, как и смысл других бытовых явлений, которые можно подвергнуть такому анализу, своеобразной и острой, вполне объективной характеристикой исторической эпохи и ее культуры.

1986

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Речь идет о К. С. Аксакове. То, что о нем здесь сказано, полностью относится и к С. Т. Аксакову, который, как известно, носил бороду и народную одежду в подражание сыну.

<sup>2</sup> Венгеров С. А. Передовой боец славянофильства Константин Аксаков // Венгеров С. А. Собр. соч., т. III. СПб, 1912, с. 49.

<sup>3</sup> Аксаков И. С. И слово правды... Уфа, 1986, с. 313, примеч. 59.

---

## ВООБРАЖЕНИЕ ЗНАКА

Седьмого августа 1782 года на площади Сената в Петербурге в присутствии императрицы, двора, войск и несметного множества народа состоялось торжественное открытие памятника Петру Первому. К событию была выпущена медаль, изображавшая памятник при взгляде на него со стороны Адмиралтейства. Медаль должна была увековечить состоявшееся событие, но создавалась она задолго до него. Первый ее вариант изготовил еще в 1775 году художник-гравер Пиляр, после него были и другие варианты других мастеров, которые различались отдельными деталями, но в конечном счете все воспроизводили рисунок, выполненный весной 1770 года художником, впоследствии академиком живописи А. П. Лосенко — или, в распространенном произношении того времени, Лосенковым<sup>1</sup>. Сличение медали с рисунком не оставляет в этом никаких сомнений. Дело в том, что к весне 1770 года Фальконе, французский скульптор, которого русское правительство пригласило изваять статую основателя империи, завершил ее макет. На место был доставлен к тому времени из окрестностей города и огромный валун, предназначенный служить подножием памятнику. Все это позволило скульптору создать и выставить на публичное обозрение большую модель монумента; она-то и воспроизведена на интересующем нас рисунке. «Профессор академии художеств Лосенков, — говорится в старинном описании Петербурга<sup>2</sup>, — по заказу Фальконета нарисовал картину с модели. Фальконт заплатил ему за нее триста рублей и тотчас же отослал картину в Париж»<sup>3</sup>.

В этих условиях нет ничего удивительного, что изображение на медали в общем бесспорно и очевидно совпадало с рисунком, но от реального памятника в ряде деталей отличалось: изгиб змеи, образующий на медали и на рисунке как бы геометрически четкую прямую скобку, на памятнике существенно сглажен; на монументе хвост лошади на этом изгибе и оканчивается, тогда как на рисунке и на медали он слегка продлен; очертания шкуры, заменяющей императору седло, представляются на рисунке и на медали несколько более рваными, чем на памятнике. Не приходится удивляться и тому, что люди, в день открытия приобретшие медаль или получившие ее в дар, не обратили на эти действительно незначительные расхождения между изображением и натурой никакого внимания: в многочисленных отзывах современников об этой стороне дела не упоминается, кажется, ни в одном.

Но было среди таких расхождений одно, гораздо более очевидное и несравненно более значительное, общее невнимание к которому не столь естественно и требует объяснений. Речь идет о довольно большом выступе в передней верхней части скалы-постамента. Он отчетливо виден на рисунке, воспроизведен на медали, и характерная острая продольная складка, пересекающая его посередине, служит еще одним — и абсолютно очевидным — доказательством того, что исходным материалом для медали служил рисунок Лосенко. Выступ этот на завершенном монументе отсутствует; Фальконе убрал его вскоре после окончания работы над большой медалью, когда приступил к обработке постамента<sup>4</sup>. Два обстоятельства, с ним связанные, заслуживают внимания.

Первое состоит в том, что обработка скалы, изменение ее формы и размеров, а тем самым уменьшение постамента оказались сразу же после открытия памятника в центре внимания зрителей и явились основным поводом для критики. Отзывы, отражающие это положение, собраны и опубликованы<sup>5</sup>. Вот некоторые из них. Французский дипломат Корберон: «Эта огромная скала, предназначенная служить пьедесталом для Петра I, не должна была обтесываться; Фальконе, который нашел ее слишком большой для статуи, заставил ее уменьшить, и это вызвало неприятности». Шарль Массон, автор известных *Mémoires secrets sur la Russie*. I. Paris., 1800: «Это небольшая скала, раздавленная большой лошадь». Такого рода критика продолжалась и в следующем поколении. В выпущенных в 1816 году П. Свиным «Достопримечательностях Санкт-Петербурга» статуе Фальконе посвящена специальная глава, в которой, в частности, выражается сожаление, что скульптор чрезмерно уменьшил пьедестал: «в сем обвиняют самолюбие Фальконета, желавшего, чтобы все удивление зрителя обращалось единственно на статую». Читатель помнит также о том, что «произвольное уменьшение камня вызвало недовольство со стороны Ив. Ив. Бецкого»<sup>6</sup>. Тем более примечательно, что при столь общем и придирчивом внимании к уменьшению размеров постамента, при постоянных разговорах на эту тему устранение большого, сразу бросающегося в глаза выступа в верхней передней части скалы никак не было отмечено и никакого особого смысла никто в нем не усмотрел. Это связано со вторым обстоятельством, заслуживающим обсуждения.

Критика современников была вызвана почти исключительно тем, что в результате обработки камня и резкого уменьшения его размеров<sup>7</sup> памятник в целом отклонился от того образа, который все ожидали увидеть, и от того смысла, который, по общему убеждению, образ этот был призван выразить, — прежде всего, от представления о просвещенном монархе. Основанный на этом представлении замысел монумента сложился у скульптора с самого начала и не менялся на протяжении всех лет

работы. «Мой царь... — писал он, — поднимается на верх скалы, служащей ему пьедесталом, — это эмблема побежденных им трудностей... Эта скачка по крутой скале — вот сюжет, данный мне Петром Великим. Природа и люди противопоставляли ему самые отпугивающие трудности. Силой упорства своего гения он преодолел их»<sup>8</sup>. Этот замысел был одобрен Дидро и в известном смысле подсказан им. «Покажите, — обращался он в одном из писем к скульптору, — как ваш герой на горячем коне поднимается на служащую ему основанием крутую скалу и гонит перед собой варварство»<sup>9</sup>. На протяжении ряда лет Фальконе реализовывал в Петербурге задуманную статую и получал за нее плату, из чего явствует, что именно этот образ заслужил одобрение Екатерины. В тех же категориях воспринимали памятник просвещенные зрители: «Крутизна горы суть препятствия, кои Петр имел, производя в действо свои намерения; ...простой убор коня и всадника суть простые и грубые нравы и непросвещение, кои Петр нашел в народе, которые он преобразовать вознамерился»<sup>10</sup>. Смысл монумента, таким образом, на всех уровнях соответствовал культурным и эстетическим воззрениям эпохи в целом. Противопоставление просвещения и варварства в соответствии с господствующим мировоззрением воспринималось также и как часть более широкой оппозиции: цивилизации и дикой природы. Скала-постамент, как все ожидали, должна была символизировать именно последнюю.

Вот этот-то образ и оказался нарушенным изменением формы и размеров скалы, это-то расхождение между априорно ожидаемым и реально видимым породило критику, в нем раскрылся ее смысл. «Я представлял себе гораздо более крупный камень, как бы оторвавшийся от большой горы и оформленный дикой природой», — писал автор известных записок о путешествии по России Бернулли; «Мы видим гранитную глыбу, обтесанную, отполированную, наклон которой так невелик, что коню не нужно больших усилий, чтобы достичь ее вершины», — вторил ему другой современник<sup>11</sup>.

Так обнаруживается причина общего невнимания к удалению большого переднего верхнего выступа постамента: он не делал скалу ни более, ни менее «дикой», следовательно, не имел отношения к образу просвещенного монарха, а потому и не представлял никакой важности — он не был знаком определенного общественно-философского содержания, и культура времени его не видела. Запомним этот первый вывод из предшествующих рассуждений: зрение культуры отличается от физического зрения; оно видит лишь то, что представляет собой знак в указанном выше смысле этого слова, и не воспринимает того, что знаком не является.

Миновалось два поколения; отшумели события, потрясшие Россию, Европу, мир — Французская революция, наполеоновская эпопея, «гроза двенадцатого года», Венский конгресс и Священный союз, восстание на

Сенатской; в корне изменились идеи, образы, вся атмосфера литературы, искусства, философии, культуры в целом — уходил в прошлое классический канон со своими античными богами и героями, расцвел, чтобы тут же начать увядать, бунтарский романтизм, все большую роль в самосознании времени и культуры стали играть величины, которые дотоле лишь вырисовывались в глубине, — труд, народ, нация. Соответственно изменилось и представление об идее и практике самодержавного государства, об империи, созданной Петром, а значит, и о художественном и общественно-философском смысле памятника тому, «чьей волей роковой над морем город основался». Наиболее яркое и глубокое выражение это новое представление нашло себе в поэме Пушкина «Медный всадник».

Представление, о котором идет речь, сложно и многогранно. Оно включает в себя в их единстве и противоречивый образ державно-императорской государственности, созданной Петром и воплощенной в Петербурге, — великой, «строгой и стройной», «неколебимой, как Россия» и в то же время уже отчужденной от обычного человека, преследующей его «с тяжелым грохотом» и в конце концов несущей ему гибель; и тему стихии, которая должна забыть свою «тщетную злобу», но пока разбойно мстит городу и «играя» убивает маленького чиновника Евгения, его мечты и надежды; и роковые сдвиги в историческом значении родовой аристократии, исчезновение гордых носителей имени, что «под пером Карамзина в родных преданиях прозвучало», а ныне навсегда погружается в Лету — «светом и молвой оно забыто».

Необходимой составной частью этого многогранного образа, органически связанной с остальными, является мотив, выраженный в общепознанных строках поэмы:

*...А в сем коне какой огонь!  
Куда ты скачешь, гордый конь,  
И где опустишь ты копыта?  
О мощный властелин судьбы!  
Не так ли ты над самой бездной,  
На высоте, уздой железной  
Россию поднял на дыбы?*

Образ принадлежал времени. Он привлек внимание Николая, который, читая рукопись поэмы, подчеркнул четыре последних стиха, снабдив их значком NB, но не вопросительным знаком и не волнистым подчеркиванием, как он делал в местах, вызывавших у него неодобрение. Так же видел монумент Адам Мицкевич. Подробно об этом — ниже, но обратил внимание уже здесь на примечание Пушкина к приведенным строкам: «Смотри описание памятника в Мицкеви-

че...» Нельзя не учитывать и того, что в те годы, в которые обдумывалась и создавалась поэма, исподволь формировалось мировоззрение славянофилов, многие из которых, по-видимому, охотно подписались бы под такой характеристикой Петра и его дела.

Ссылка на Мицкевича не случайна. Имя его фигурирует в трех примечаниях к поэме из пяти имеющихся. Роль Мицкевича в трактовке темы, заключенной в приведенных строках и в тех реальных жизненных обстоятельствах, которые обусловили многое в форме ее выражения, неоднократно исследовалась и может считаться выясненной<sup>12</sup>. Образ коня, вздыбившегося над бездной, со всеми заключенными в нем национально-историческими и общественно-философскими ассоциациями, бесспорно пушкинский, но навесн он знаменитыми строками Мицкевича из стихотворения «Памятник Петру Великому» из третьей части «Дядя», где говорится, что конь Петра

*Одним прыжком на край скалы взлетел,  
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется.*

Далее прямо предвосхищается пушкинский образ: подобный этому коню оледеневший водопад «висит над бездной», и как неизвестно у Пушкина, где конь «опустит копыта», так же неизвестно у Мицкевича, «что станет с водопадом тирании», когда пригреет весеннее «солнце вольности».

Помимо глубинных творческих и философских мотивировок образ, о котором здесь идет речь, имеет мотивировку реально бытовую: он возник из разговора обоих поэтов (в котором участвовал также П. А. Вяземский) в то время, когда они шли по Сенатской площади<sup>13</sup>, то есть непосредственно в виду памятника. Бездна, разверзшаяся под копытами коня, была дана им очевидно и наглядно, в самой конфигурации скалы-поста-мента: они *увидели* тот обрыв камня, который существовал здесь уже полвека назад, но которого тогда не увидел никто.

Вернемся теперь к рассуждению, которым мы завершили разговор о восприятии памятника Фальконе его современниками. Зрение культуры видит лишь те формы, за которыми раскрывается духовное, общественное, историческое содержание, непосредственно, на языке идеологии в предмете не представленное, — видит, другими словами, лишь формы, обладающие знаковым смыслом, формы-знаки: зрение культуры семиотично.

Культура Просвещения XVIII века в целом не несла в себе осознанной идеи губительной и гибельной перспективы, открывающейся перед цивилизующей волей, и, соответственно, не ощущала исчезновения каменной опоры из-под ног императорского коня как знак и именно потому его не видела: «знака» или «означающего» нет там, где

нет «означаемого» или «денотата». На вторую четверть XIX столетия приходится величайшее открытие и глубочайший рубеж в духовной истории Европы. За пределами художественно организованной, риторически выраженной, на античность опирающейся, профессиональной и элитарной, респектабельной и возвышенной Культуры «с большой буквы», замкнутой в силовом поле структурированного бытия, государства, церкви или сословия, обнаружилась грандиозная сфера жизни, этой Культуре внеположенной, в тенденции посторонней, а в потенции и враждебной. В силу своей внеположенности Культуре «с большой буквы», Культуре канона и нормы, эта сфера заключала в себе и неприметные человеческие ценности повседневного существования «простых душ», и в то же время — угрозу раскрепощения сил, заложенных в этой повседневности, возвышенной Культуры действительно не знающих, организации, структуре и ответственности перед ними посторонних, но именно потому чреватых разнузданием и стихией. В сущности, диалектика этих двух начал и образует содержание «Медного всадника». С возникновением «означаемого» возникло «означающее». Отпиленные «два фута с половиною» стали знаком, за которым обнаружилась вся головокружительная глубина открывавшихся исторических перемен.

Запомним и второй вывод из всего сказанного выше: смена знаковых смыслов материально неизменных объектов — один из магистральных путей развития культуры.

Смена знаковых смыслов материально неизменных объектов наиболее очевидно предстает как форма развития культуры при сопоставлении двух разных стадий существования определенного памятника. Проведенное сопоставление фальконетовской и пушкинской стадий существования памятника Петру является достаточно убедительным примером. При таком сопоставлении, однако, выявляются зафиксированные в источниках исторические рубежи эволюции, ее последовательные, относительно завершенные этапы, и остается в стороне нечто не менее важное, а в некотором смысле и более интересное: внутреннее накопление нового качества в пределах данного знакового состояния, само движение знака под влиянием постепенных, подчас неприметных и неуловимых сдвигов в подсознании культуры, — движение, в котором эти сдвиги себя обнаруживают и становятся доступны познанию. Теоретические основы такого анализа заложены в замечательной маленькой статье Ролана Барта «Воображение знака» (1963). Перечитаем ключевой пассаж. Он, однако, несколько импрессионистичен и в то же время абстрактен, терминологически не всегда последователен, а потому требует комментариев и пояснений. Мы позволили себе ввести их прямо в текст, заключив такие свои дополнения в угловые

скобки. <Семиотическое сознание> «переживает мир как отношение формы, лежащей на поверхности <т. е. материально закрепленной, потому существующей объективно и, следовательно, относительно стабильной>, и некоей многоликой, могучей, бездонной пучины <в виде которой выступают непрерывно меняющиеся во времени и колеблющиеся по личностям и группам, текучие и зыбкие представления об общественной действительности, о ее смыслах и ценностях>. <Возникающий из их взаимного отношения двуединый> образ существует в ярко выраженной динамике, ибо благодаря течению времени (<а вернее, движению> истории) отношение между содержанием и формой <здесь> непрерывно обновляется. Инфраструктура <как переживаемое содержание исторической действительности> <непрестанно> переполняет края суперструктуры <т. е. данного знакового кода>, так что сама структура при этом остается неуловимой»<sup>14</sup>.

Основанный на этих принципах анализ знаковых величин дает возможность превращения внешнего знания истории как последовательности событий в историю становления культурных смыслов, т. е. человечески насыщенных и воспринятых в их непрерывном развитии. Оба обнаруженных выше среза темы Медного всадника, фальконетовский и пушкинский, становятся сопоставимы также как два переживания единого объективно-исторического процесса — исчерпания античного канона европейской культуры.

Отношение Фальконе к античному канону противоречиво и производит при внешнем знакомстве странное впечатление. По всему опыту работы, предшествующему его появлению в Петербурге, он узнается как скульптор либо барочный (скульпторы святых в церкви святого Роха в Париже, 1755–1762 гг.), либо сентиментально-рокайный («Амур», «Купальщица», 1757 г.). Теоретической основой его конфликта с Ив. Ив. Бецким было категорическое требование последнего жестко следовать античным образцам, и в частности статуе римского императора Марка Аврелия, — требование, упорно отклонявшееся Фальконе. В России Фальконе ассоциировался с вольным отношением к античному канону: герой «Прогулки в Академию художеств» К. Н. Батюшкова отказывается обсуждать Фальконетову скульптуру коня, «боясь, чтобы меня не подслушали некоторые упрямые любители древности»<sup>15</sup>. И в то же время Фальконе еще мыслит вполне в духе традиционного отношения к античности и готов в ряде отношений признавать ее канонический смысл. Он получил профессию за статую Милона Кротонского (гипс 1745 г., бронза 1754 г.). Он теоретически отстаивал нормативную роль греческой скульптуры: «Благодаря простоте средств были созданы совершенные творения Греции, как бы для того, чтобы вечно служить образцом для художников»<sup>16</sup>. Едва обосновавшись в Петербурге, он выписывает матери-



алы, необходимые ему для работы, — в первую очередь слепки деталей с фигуры Марка Аврелия.

Примирение этого противоречия Фальконе видел в эстетике Дидро. античность не догма, а совершенное изображение жизни; там, где она этой роли не выполняет, следовать ей нет оснований. Это гармоническое решение обрисованного выше противоречия жило в сознании времени, подсознание же культуры упорно его подтачивало, готовя «переполнение краев суперструктуры».

Монумент Фальконе, как и эстетика Дидро, знаменовал новую фазу в вековом к этому времени «споре древних и новых». «Древние» отстаивали в нем императивную ценность высокой нормы и непреложность нравственного долга, их превосходство над всегда чреватой компромиссами современностью и повседневностью, а следовательно — ту культурную традицию, которая воплощала эту норму, этот долг и это превосходство, традицию античной классики, традицию Культуры «с большой буквы». «Новые», напротив того, убежденно говорили о ценности и обаянии живой жизни, о преимуществах ее перед величественно застылым и импозантно мертвым античным прошлым. Ко времени Дидро и Фальконе позиции определились окончательно, акценты оказались расставлены, и речь шла теперь о ценности жизни как самостоятельной категории, не поверяемой каноном вообще и античным в частности<sup>17</sup>.

Жизнь начинает восприниматься как естественность, т. е. как освобождение от искусственности, следовательно — от внешней организации, следовательно — от подчинения авторитету и посторонней власти, т. е. как субстанция самостоятельности, свободы и блага. Но благо это, высвобождаясь из пут внешней организации и ответственности, тут же готово выступить как разрушение норм, а значит — пока еще глубоко потенциально, — перейти в свою противоположность и нести в себе истоки разрушения, патологии и разбоя. Норма — а тем самым и античный канон — уже начинает ощущаться как стеснение, но заложенные в протесте против этого стеснения разрушительные потенции время и культура еще могут не видеть или сознательно их игнорировать. Обуздание индивидуально своевольного, подчинение целому, восхождение к общезначимому, а тем самым к нормативному и риторическому, остаются законом настолько естественным, что он не всегда осознан. Закон этот присутствует в атмосфере времени с тенденцией, себе противоположной, смутно чувствует заложенную в ней угрозу, но пока еще над ней господствует. Фальконе не случайно был дружен с Дидро, не случайно обсуждал с ним первоначальный замысел монумента: описанная коллизия нашла себе наиболее открытое, драматичное и глубокое выражение именно у Дидро, в его диалоге «Племянник Рамо», написанном в годы наибольшей близости

философа и скульптора, когда вынашивались идея и пластический образ Медного всадника. В этой идее и в этом образе оказались заложены носившиеся в воздухе мысли и чувства, порожденные центральным противоречием времени — противоречием, для которого, однако, Фальконе нашел свое особое решение.

Гениальность Фальконе и монумента, им созданного, в том, что оба обрисованных выше начала уже осознаны и разведены, но еще образуют внутренне противоречивую и потому бесконечно живую гармонию. Перед нами император и повелитель, но державная воля, в нем воплощенная, свободна от наджизненной деспотичности. Движение, в котором находятся конь и всадник, задумано как стремление и порыв, но такие, что вполне укладывались еще в винкельмановский канон «благородной простоты и спокойного величия». Чтобы в этом убедиться, достаточно всмотреться в выражение лица императора, во всю его позу. Скульптор увидел в нем выражение энергии воли, борьбы и жизни, как бы довлеющих себе и потому не ведающих — не должныствующих ведать — ощущения черты, срыва и обрыва.

Но жить — значит принадлежать, времени прежде всего, и опасно варварские обертоны, которыми начинает окутываться в эти годы понятие жизни, высвобождающейся из еще эстетически значимых, но уже жестких и давящих скреп классической традиции, не могли не проникать, подчас вопреки замыслу, из самой атмосферы времени и в произведение Фальконе. Отсюда — отсутствие стремян: конь не до конца обуздан, и всадник не до конца устойчив; замена седла шкурой; нарочито архаически-варварская рукоять меча; рубаха, которой скульптор придавал особое значение, видя в ней прямую и принципиальную противоположность панцирю или *paludamentum* у римских императоров. Но отсюда же и нечто несравненно более важное. Если жизнь дана здесь через движение, а движение по природе своей направлено за пределы ограниченного пространства монумента, то в нем — что бы ни думал скульптор — не могло не проступать то самое, игнорируемое, ощущение черты, срыва и обрыва, не мог не таиться гул отдаленной катастрофы. «Он еще раздавался глухо, Он почти не касался слуха / И в сутробах невских тонул». Современники его не слышали.

В пушкинской поэме катастрофа уже произошла. Обрыв под копытами коня стал знаком, и автор предупреждает: «Печален будет мой рассказ»; один из героев поэмы — «безумец», другой — «истукан». Но чувство, владеющее автором и нами, читателями, растет из той же основы, из тех же объективных исторических обстоятельств, что и первые смутные предощущения Фальконе, — из того, что, несмотря на все и вопреки обстоятельствам, норма, неотделимая от античного канона и от русско-европейского классицизма, все же по-прежнему остается — должна остаться

ся — фундаментом Культуры и всего строя существования, с ней связанного. Поэма начинается с «Вступления» — гимна государственности, империи, городу Святого Петра (т. е. новому Риму), гимна воле и культуре, созданного в одической эстетике XVIII века. С этого вступления-гимна поэма начинается во всех авторских рукописях 18, не оставляя никакого сомнения в том, что исходный замысел состоял именно в прославлении победы организации и воли над природой («Где прежде финский рыболов...» и весь пассаж, продолжающий эту строку), вхождения России в европейский мир («Самой судьбой нам суждено В Европу прорубить окно...»), торжества эстетического строя существования над стихией («громады стройные», «строгий, стройный вид», «...в их стройно зыблемом строю»). Словом:

*Красуйся, град Петров, и стой  
Неколебимо, как Россия,  
Да умирится же с тобой  
И побежденная стихия.*

Поэма написана в конце 1833 года; с этого же года начинается новый, самый интенсивный, период обращения Пушкина к античности. Каждое четвертое стихотворение, возникшее в эти годы, связано с античной темой (в предыдущие пять лет, 1827—1831, — каждое сотое). В августе 1836-го он пишет поэтическое завещание, где говорит о роковом расхождении своем со временем, и предпосылает ему перевод двух строф Горация, ибо в расхождении этом время остается на одной стороне, а он, Пушкин — вместе с Горацием, на другой. За «Памятником» непосредственно следуют два антологических стихотворения в элегических дистихах и две неоконченные пьесы, связанные с переводом Ювенала. Без антично-классического канона жить нельзя. Но и с ним жить нельзя, и в «Медном всаднике» впервые осознано, сколь губительно непреложно-волевое обуздание живой, непосредственной, неприметной человеческой жизни. Сама эта жизнь, однако, еще не существует спокойно и самоценно, в-себе и для-себя, но лишь как отпадение от всеобщего, от канона и нормы, а потому и оборачивается не-нормальностью: безумием Евгения и разбоем мечущейся Невы. Евгений — не просто «безумец», как Петр — не просто «истукан»; первый *становится* безумцем, по мере того как второй вместе со своим городом и всем своим миром *становится* истуканом «с медною главой». Петр Фальконе не знает ничего о бездне, открывающейся под копытами коня; не знает о ней ничего и сам скульптор, но в его подсознание просачивается ток истории, и он облакает монумент в вещи-знаки: отпиливает кусок скалы, отказывается от античного paludamentum'a, от стремян, появляется шкура... Пушкин начинает поэму об

императоре, который стоял на берегу пустынных волн, и о его городе, призванном стоять на том же берегу неколебимо, но что-то — а точнее, гул истории и вибрирующий вокруг воздух ее — движет рассказ в другую сторону, волны становятся злы и разбойны, монумент не стоит, а скачет, бездна открывается под копытами коня, и безумие — единственное, что остается в удел человеку. «Образ существует в ярко выраженной динамике, ибо благодаря течению времени отношение между содержанием и формой непрерывно обновляется».

Оба разбираемых варианта Медного всадника дают возможность непосредственно ощутить, как «многоликая, могучая, бездонная стихия» непрестанно текущей исторической жизни меняет переживание знака, т. е. его денотат, а тем самым и смысл, позволяет предощутить в нем ход истории и уловить ее даже не *in statu*, а *ante statum nascendi*.

В монументе, созданном Фальконе, воздействие исторического подсознания на воображение знака обнаруживается во многих случаях. Основные могут быть перечислены.

— Описанное выше сокращение выступа скалы, которое сам скульптор мотивировал — и, по-видимому, вполне искренне — необходимостью устранить древнюю трещину от молнии. Но если ее можно было прекрасно заделать позднее, когда она образовалась в нижней части постамента, после того как сюда оказался перенесенным отпиленный сверху выступ, то почему нельзя было с тем же успехом заделать ее наверху? Очевидно, дело было не столько в трещине, сколько в описанных выше сдвигах в подсознании культуры.

— Придание скале, а отчасти и всему монументу, силуэта и ритма волны путем дополнения постамента двумя приставками — спереди внизу (на нее и пошел кусок скалы, отпиленный из-под копыт коня) и внизу сзади. Ни Фальконе, ни завершавший монумент Фельтен не сомневались в том, что тем сохраняется и дополняется образ «дикой горы»<sup>19</sup>. В контексте мифологии Петербурга, однако, где тема воды, потопа, водной стихии, мстящей городу и императору-насилънику, занимает центральное место, эти «приставки» и появление мотива волны, из которой вырастает статуя, вносили новую, пророческую ноту в денотат, а тем самым и в знаковый смысл образа, — пророческую потому, что тема эта возникла и стала постоянной в послепушкинскую эпоху, у В. С. Печерина, В. Ф. Одоевского, М. А. Дмитриева, в известном смысле у М. Ю. Лермонтова, — во время Фальконе она практически не существовала.

— Разнонаправленность взглядов коня и всадника. Взгляд Петра исполнен спокойствия, уверенности и обращен поверх окружающего городского пейзажа как бы к великому будущему России. Конь смотрит значительно левее и видит нечто совсем иное. Выкаченные глаза, оскаленный рот (при том, что узда не затянута — рука Петра держит

се совершенно спокойно), раздутые ноздри, чутко вставшие уши — все показывает, что там, за бездной и за водой, конь видит или чувствует что-то ужасное. Нет оснований думать, что мастер это осознавал. У Дидро контраст этот толкуется совсем по-другому. «Герой и конь в вашей статуе сливаются в прекрасного кентавра, человеческая, мыслящая часть которого составляет своим спокойствием чудесный контраст с животной, вздыбленной частью»<sup>20</sup>.

— Восприятие монумента как непостоянного, могущего в любой момент исчезнуть. Многотонная статуя, остановившаяся на вершине прижатого к земле всей своей тяжестью Гром-камня, все чаще начинает видиться как подвижная, готовая сорваться с места. Пушкинский сюжет был подготовлен ходившими на сей счет весьма многочисленными анекдотами. Могут быть упомянуты следующие. Анекдот с Потемкиным, представившим обедневшего дьячка, своего бывшего учителя, к памятнику следить, «благополучно ли он стоит на месте» и «крепко ли», и проверять это «каждое утро»; дьячок исполнял эту обязанность «до самой смерти»<sup>21</sup>. Анекдот с комендантом Зимнего дворца Бапуцким, которого Александр I в виде первоапрельской шутки отправил на Сенатскую площадь посмотреть, не делся ли куда Медный всадник<sup>22</sup>. Анекдот, рассказывающий о возникшем в 1812 году в связи с наполеоновской угрозой проекте эвакуации памятника; бронзовый Петр был настолько возмущен этим замыслом, что, дабы выразить свое возмущение, въехал к обер-прокурору синода А. Н. Голицыну (по другому варианту — в Каменноостровский дворец к государю)<sup>23</sup>. Во всех перечисленных случаях денотат движется прочь от своих «фальконетовских» значений и, вплетаясь в ткань отечественной истории, обнаруживает все новые и новые грани. «Благодаря течению времени (истории) инфраструктура как бы переполняет край суперструктуры».

Но если так, то возможен ли вообще вопрос: «В чем смысл памятника Петру I, созданного Фальконе?» или: «Какова идея поэмы Пушкина „Медный всадник“?» Если денотат течет непрерывно, если столь стремительно меняется мое прошлое, тем самым — мой культурно-исторический опыт, а тем самым и смысл знака, то можно ли, даже найдя ответы на поставленные вопросы, обосновать их истинность? И как вообще быть с истиной научного исследования, вне которой оно утрачивает смысл, а обрести которую как же, если «сама структура остается неуловимой»?

Оставим эти вопросы до другого раза и попытаемся сформулировать, хотя и чужими словами — словами все того же первоисследователя головокружительно глубокой и мучительно трудной проблемы «воображения знака», — более скромный вывод, суммирующий проведенный анализ. Человек «вслушивается в естественный голос культуры

и все время слышит в ней не столько звучание устойчивых, законченных, „истинных“ смыслов, сколько вибрацию той гигантской машины, каковую являет собой человечество, находящееся в процессе неустанного созидания смысла»<sup>24</sup>. Слушать — и слышать — неустанное созидание смысла — это, право же, совсем не так мало.

1992

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> *Каганович А. Л.* Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия. М., 1963, рис. 104; *он же.* «Медный всадник». История создания монумента. Л., 1975, с. 55, 165, 169.
- <sup>2</sup> *Пыляев М. И.* Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы, изд. 2-е. СПб, 1989, с. 277.
- <sup>3</sup> В настоящее время рисунок находится в музее города Нанси.
- <sup>4</sup> «При отделявании камня на месте Фальконет вслед от передней высоты убавить два фута с половиною. Это произвольное уменьшение камня вызвало неудовольствие со стороны Ив. Ив. Бецкого». *Пыляев М. И.* Старый Петербург..., с. 277.
- <sup>5</sup> *Каганович А. Л.* Антон Лосенко и русское искусство..., с. 126—130, 179.
- <sup>6</sup> См. примеч. 4.
- <sup>7</sup> «Доставленный на Сенатскую площадь, „гром-камень“ был уменьшен до размеров, предусмотренных моделью памятника. Прежде всего была сколото излишняя высота камня: вместо первоначальных 22 футов она была уменьшена до 17 футов; далее камень был сужен с 21 фута до 11 футов. Что же касается длины, то она оказалась недостаточной (37 футов вместо 50 по модели), в связи с чем пришлось приставить к монументу второй камень 13-футовой длины». *Аркин Д. Е.* Медный всадник. М.; Л., 1958, с. 53.
- <sup>8</sup> Письмо Д. Дидро, 1777 г. См.: Мастера искусства об искусстве, т. III. М., 1967, с. 362.
- <sup>9</sup> *Oeuvres d'Etienne Falconet, statuaire, vol. II.* Paris: Lefevre, 1781. p. 183.
- <sup>10</sup> *Радищев А. Н.* Письмо к другу, жительствующему в Tobольске, по долгу звания своего // *Радищев А. Н.* Избранные сочинения. М.; Л. 1949, с. 12—13.
- <sup>11</sup> Цит. по: *Каганович А. Л.* Антон Лосенко и русское искусство..., с. 127.
- <sup>12</sup> В последний, кажется, раз она была обстоятельно и убедительно характеризована в докладе Н. Я. Эйдельмана (в Музее Пушкина 25.10 1983 г.), а затем в его статье «Пушкин и Мицкевич», см: *Эйдельман Н. Я.* Пушкин. Из биографии и творчества. 1826—1837. М., 1987, гл. VI.

- <sup>13</sup> Прогулка эта должна быть датирована весной или летом 1828 г. См.: *Осват А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальну повесть сохранить...», изд. 2-е. М., 1987, с. 28.
- <sup>14</sup> См.: *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989, с. 251.
- <sup>15</sup> *Батюшков К.* Избранная проза. М., 1987, с. 102.
- <sup>16</sup> *Фальконе Э. М.* Размышления о скульптуре // Мастера искусства об искусстве, т. III. М., 1967, с. 346—347.
- <sup>17</sup> Общая характеристика спора древних и новых — в статье: *Бахмутский В. Я.* На рубеже двух веков // Спор о древних и новых. М., 1985.
- <sup>18</sup> Как обычно у Пушкина, произведение представлено тремя рукописями: первоначальной, очень черновой, созданной в Болдине в октябре 1833 г. (тетрадь № 845 по нумерации Пушкинского дома); так называемой «Болдинской белой» (№ 964), приближенной к ныне публикуемому тексту, но содержащей ряд мест, в окончательном варианте переработанных; и авторской белой (№ 966), переписанной рукой Пушкина для Николая I и содержащей его пометы на полях. «Вступление» открывает поэму не только в этих трех авторских текстах, но и в писарской рукописи, изготовленной по заказу поэта в августе 1836 г., которую Пушкин начал было править наново, не изменив, однако, и в этом случае первоначальную последовательность частей.
- <sup>19</sup> Выражение из докладной записки Фельтена 1784 года. См.: *Каганович А. Л.* Антон Лосенко и русское искусство..., с. 158.
- <sup>20</sup> Цит. в книге: *Аркин Д. Е.* Медный всадник, с. 42.
- <sup>21</sup> Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. М., 1990, с. 56—57.
- <sup>22</sup> Там же, с. 107.
- <sup>23</sup> См.: *Осват А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальну повесть сохранить...», с. 118—124; там же — идущие в том же направлении шуточные (с. 10), мистические (с. 13) или полусерьезно-поэтические (с. 56) замечания современников. Ср. также отзыв иностранца, сказавшего, что конь на монументе «скачет, как Россия», приведенный К. Н. Батюшковым в его «Прогулке в Академию художеств» — сочинении, оказавшем бесспорное и прямое воздействие на поэму Пушкина.
- <sup>24</sup> *Барт Р.* Структурализм как деятельность // *Барт Р.* Избранные работы..., с. 260.

# ПОНЯТИЕ АРХЕТИПА И АРХЕТИП ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА

Непосредственно история дана нам как совокупность человеческих поступков, и поэтому для понимания ее первостепенно важны стимулы этих поступков — регуляторы общественного поведения. Они могут быть двух родов; назовем их регуляторами первого и второго порядка. Регуляторы первого порядка — те, что прямо связаны с выживанием человека и действуют на него извне, как некоторые объективные силы. Таковы регуляторы экономические или правовые. Что бы человек ни думал и кем бы ни был, ему надо есть, где-то прятаться от непогоды, что-то носить на теле, и, чтобы такие свои потребности удовлетворять, он должен что-то производить, приобретать, добывать, регулируя при этом свое поведение по нормам, которые в данном обществе приняты. Точно так же обстоит дело и в государственно-правовой сфере: жизнь человека в обществе регулируется нормами и законами, и хотя в идеале гражданин, как член общества, участвует в их создании, непосредственно они даны ему как нечто внешнее, чему он должен подчиниться. Именно этим «внешним» своим характером регуляторы общественно-исторического поведения первого порядка в корне отличаются от регуляторов второго порядка. Последние основаны на интериоризации общественных процессов и выступают не столько как проявления внешнего принуждения, сколько как содержание сознания. Так, каждая эпоха представляет себе категории времени, пространства, собственности, власти, права, семьи, дружбы по-своему, в отличие от того, как представляли их себе люди других эпох, и эта особенная, лишь данному обществу присущая система представлений, или, как иногда принято ее называть, «картина мира», оказывает существенное влияние на мировосприятие, на сознание и, следовательно, на поведение людей. Время, например, издавна существовало в человеческом сознании в двух обликах — циклическом и линейном; и нам сейчас трудно себе представить, какой трагический слом в сознании и культуре, какой ужас был сопряжен с переходом от уютного, размеренно и спокойно возвращающегося ненапряженного циклического времени к времени линейному. «Циклический человек» жил в мире возвращающихся приливов и отливов; каждую весну с пробуждением природы он закладывал основы урожая, который должен был спасти его на следующий год; каждую осень собирал плоды трудов своих, каждую зиму вместе с природой как бы погружался в сон.



Цикл этот перебивался некоторыми событиями личной жизни, тоже, впрочем, обычно вписанной в нерушимый природный ход вещей. Линейное время — это время истории, которая, неуклонно развиваясь, стремясь вперед, каждый день ставит человека перед чем-то новым и неожиданным, перед необходимостью бороться, защищать свое достоинство, свое племя, идти что-то открывать, от кого-то обороняться или кого-то завоевывать и потому требует постоянного колоссального сосредоточения духовных и материальных сил. Бессознательным сопротивлением этике линейного времени объясняется низкий уровень производительных сил некоторых древних обществ, восприятие труда как тяготы, которой надо по возможности избегать. Поэтому же у древних народов столь щедро выделялись в году дни, в которые запрещалась производственная, военная, государственная деятельность, другими словами — периодически табуировалась цивилизация и обнаруживалось стремление вернуться в исходное природное бытие — в до-линейное циклическое время. Отсюда же, по-видимому, вообще возник такой институт, как праздник — форма отдыха от перенапряжения, пришедшего с линейным временем. В наши дни в качестве таких интериоризированных и потому далеко не всегда осознаваемых регуляторов общественного поведения второго порядка выступают социальная мифология, имидж лидеров, престиж, мода и, в частности, архетипы массового сознания. Попытаемся сосредоточиться на одном из них — на архетипе внутреннего пространства в его опосредованности пространством внешним.

Термин «архетип» был если не предложен, то насыщен новым содержанием швейцарским психологом и культурологом Карлом Густавом Юнгом в начале нашего века. Архетип для Юнга — это структурный элемент психики, который возник в примитивном мире первобытного человека и изначально нашел свое выражение в его мифологии. Юнг был убежден, что такого рода архетипы живут в каждом из нас до сих пор, «являются неоспоримым общим наследием всего человечества» и что основу человеческой психики, следовательно, составляют некоторые древние образы, с которыми мы знакомы по мифологемам и отчасти по сновидениям. «То, что мы называем психикой, — писал Юнг, — ни в коем случае не тождественно сознанию и его содержанию»: сознание опирается на реальный жизненный материал, тем самым принадлежит сфере так называемой дневной логики и допускает непосредственную верификацию, то есть проверку истинности каждого представления с точки зрения соответствия его опыту; архетипы же живут в глубинах коллективного подсознания и опираются на бесконечно архaisческий и примитивный, а не на актуальный общественный и культурный опыт. В качестве примера Юнг приводил так называе-

мый Mutterkomplex, то есть странные отношения человека, особенно сына, с матерью, которые пронизаны и властной потребностью стать самим собой, обрести независимость, отпочковаться от матери, и в то же время невозможностью это сделать, обусловленной какими-то смутными ощущениями непреодолимой внутренней связи. Сохранение, вопреки нормам современного цивилизованного существования, власти и влияния матери обусловлено продолжающим жить в недрах психики архетипом. Идущие от него импульсы не соответствуют нормам сознания, вступают в конфликт с ними и деформируют психику человека. Существует точка зрения, согласно которой большинство неврозов и даже психозов так или иначе связаны с неспособностью вовремя отделиться от связи с матерью.

Кроме специального значения, которое ассоциировал со словом «архетип» сам К. Г. Юнг, термин этот приобрел сегодня и более широкий историко-культурный смысл. Дело в том, что на основе примитивно-архетипических связей или в дополнение к ним (а иногда и вне прямой связи с ними) в сознании коллектива и в сознании личности образуется некоторый фонд представлений, которые опираются на генетическую память и не соответствуют актуальному эмпирическому опыту или даже прямо противоречат ему. Ограничимся двумя примерами.

В Древнем Риме в начале Империи на одного жителя приходилось 600–900 литров воды в сутки (в Москве и в Нью-Йорке сейчас около 500, в Петербурге начала века — 200), так что обеспечение ею граждан не представляло никакой проблемы. Тем не менее разрешение на проведение воды в дом было сложнейшей процедурой, всячески затрудненной: следовало обращаться к императору, император передавал просьбу отпущеннику, который ведал этим участком хозяйства, отпущенник советовался с распорядителем водопроводов, а это был сенатор, вельможа, по положению — член Совета принцепса, и тогда, учитывая все, давалось, а чаще и не давалось, разрешение. Такой характер процедуры объясняется чисто архетипическими навыками мышления. Снабжение водой исконно было условием существования самодостаточного сельского хозяйства, того, что в Риме называлось «вилла», а в городах — способности общины сохранить запасы питьевой воды в случае осады. В начале Империи семейный особняк в Риме, так называемый домус, не имел уже с виллой ничего общего, его хозяин, разумеется, не вел в городе никакой обработки земли, а о вероятности осады Рима врагами и говорить не приходилось — ближайшая граница проходила за сотни миль. Но водоснабжение мыслилось не как часть окружающей эмпирической реальности, а в категориях архаической стилизации, на основе архетипов «гражданин — всегда землевладелец», «город — всегда община, противостоящая остальному, враждебному

миру». Исходя из них и надо было беречь воду, хотя решительно никаких практических причин для этого не было.

Еще один пример из совсем другой области. Герой стихотворения Пушкина «Полководец» («У русского царя в чертогах есть палата...») Барклай-де-Толли. Он продумал гениальный план кампании 1812 года, принял все меры к его осуществлению, проявил себя как полководец, бесконечно преданный порученному делу — спасению России в борьбе с Наполеоном. Но не может, по-видимому, быть народным героем человек, которого зовут шотландским именем.

*И, в имени твоём звук чуждый не влюбля,  
Своими криками преследуя тебя,  
Народ, таинственно спасаемый тобою,  
Ругался над твоей священной сединою.*

Барклая отставили и лишили тех почестей, что заслужил он своей деятельностью полководца. Где-то в глубинах национального сознания живет очень древний архетип деления всего мира на «мы» и «они», на «своих» и «не своих», и не только по существу, но даже и во внешних формах: имя должно звучать привычно, на своем языке. В рамках рациональной логики это объяснения себе не находит, почему решение об отставке и явилось источником трагедии: Барклай, по-видимому, не мог понять, за что он отставлен; в Бородинской битве он «как рыцарь молодой» проявил чудеса храбрости, явно искал смерти (этой коллизии, в сущности, и посвящено пушкинское стихотворение) — под ним было убито пять коней. Все происшедшее получает свое объяснение лишь на уровне глубинных структур, в связи с архетипами народного сознания.

В число таких глубинных архетипов входит и образ внутреннего пространства. Если подопытное животное выпустить в новое для него закрытое помещение, оно прежде всего obeжит его по периметру, обнюхивая все, что в нем есть. Биологи называют такое поведение исследовательским инстинктом: у любого живого существа есть потребность убедиться в том, что закрытый объем, в котором оно оказалось, не таит опасности и представляет собой «спокойное» внутреннее пространство. В ряде языков существуют разные слова (а следовательно, и раздельные понятия) для обозначения дома как строения и дома как обжитого внутреннего пространства. Есть, например, английская поговорка «men make houses and women make homes», «мужчины строят дома, а женщины создают очаг». В Древнем Риме была распространена старинная формула, согласно которой магистрат должен был проводить службу *domi et militiae*. Здесь ясно противопоставлены про-

странственные представления с их характерными обертонами: *militiae* значит 'в легионах, на границах, вне Рима', то есть в сфере напряжения и опасности; *domi* — дома, 'у себя', не выезжая за пределы родной общины и за пределы священной ограды города, внутри которой гражданин находился под покровительством богов. Иногда такое различие приобретает очень тонкий характер, как, например, при противопоставлении во французском языке выражений *à la maison* и *chez soi* (или *chez lui*). *Il est à la maison* означает лишь, что он находится внутри того дома и той квартиры, в которой живет; *ici il est chez lui* — он находится у себя, то есть в некотором привычном обжитом пространстве; для французского сознания это не одно и то же.

В истории искусства внутреннее пространство нередко противопоставляется внешнему как культурно обжитое, генерирующее сложный спектр комфортных эмоций. Если в живописи Ренессанса, например, интерьер обычно не акцентирован, за широкими оконными проемами видны улицы города или фантастический пейзаж или просто голубое небо и в мышлении художника оппозиция внутреннего и внешнего вообще мало ощущается, в голландской живописи XVII века обжитой, бытовой, человеческий характер интерьера чаще всего подчеркнут, выступает как ценность и в имплицитном противостоянии внешнему миру определенным образом структурирует восприятие действительности. Можно сослаться и на более близкие по времени примеры. Зрелое творчество А. Тарковского образует как бы единую эпопею, и единство ей придает мотив дома как лирически переживаемого внутреннего культурного пространства, в которое — благотворно или разрушительно — вторгается пространство внешнее — большой, чужой и новый мир. Отсюда — пожар дома как некоторый архетип культурной катастрофы — мотив, проходящий через творчество режиссера от «Зеркала» до «Жертвоприношения», затопление дома в последних кадрах «Соляриса», двусмысленность образа дома в «Зеркале». Само воздействие фильмов Тарковского основано на том, что архетипы дома, огня, воды дремлют в подсознании зрителя и оживают в художественной ткани картины. Язык архетипов отчетливо выступает здесь как язык искусства, а тем самым и как язык культуры.

Последнее положение действительно не только для сферы художественного вымысла, но и для вполне реальных исторических ситуаций. «Наше национальное возрождение в прошлом веке началось со сбора фольклора, — говорил эстонский социолог в интервью, опубликованном в журнале «Дружба народов» (1991, № 2), — можно сказать, что наша вера — в нашем языке, и потому для эстонца защита языка — это защита святого места. Все это во многом подсознательно связано с таким понятием, как *kodu*, дом, — не „дом“ в смысле пост-

ройка, нет, это — все, чем ты живешь». — «По-русски, — задает вопрос интервьюер, — есть еще и слова: Отечество, отчизна — земля отцов, Родина — место, где родился... Они не точнее выражают смысл?» — «Нет, нет. Это больше похоже на слово „очаг“. Что-то более интимное, что не может быть от края и до края. Когда эстонские социологи в 1974 году исследовали отношение к *kodu*, мы долго не могли решить, как точнее перевести это слово для анкеты. Тут, наверное, какое-то основное различие в типе культуры. Наша культура, как и у многих северных народов, сконцентрирована вокруг домашнего очага, и мы очень болезненно переживаем все, что нарушает его целостность. Это иначе, чем у народов, живущих на больших просторах, — просторов у нас просто нет... И мы строили свой очаг внутри: в песни, в культуру, в язык».

Как понятие культурное, архетип внутреннего пространства обладает двумя коренными свойствами: он многозначен и он существует лишь через свою противоречивую и неразрывную связь с внешним пространством, причем оба эти свойства постоянно взаимодействуют между собой.

На ранних стадиях исторического развития ограниченные, этнические относительно однородные коллективы обычно воспринимают противостоящие им иные коллективы и все вообще лежащее за пределами освоенной ими территории географическое пространство как нечто неизведанное и потому опасное, как угрозу своему существованию и целостности, как царство враждебных сил. Это отразилось в греческих легендах о разного рода чудовищах, с которыми сталкивается человек, вышедший за пределы эллинской ойкумены, но особенно выразительно эта картина мира оказалась представлена у германцев.

Для древнего германца мир, им освоенный, простирается во все стороны до горизонта, а может быть, и далее горизонта на расстояние четырех-пяти дней пути и носит название «митгард» — срединное селение, срединная усадьба. За его пределами лежит внешний мир — «утгард». Он бесконечен, почти лишен света, там дует ледяной ветер и текут реки, полные яда; повсюду сидят чудища, полулюди, полузверь, глаза которых излучают противоестественный свет, а дыхание режет как ножом. Локализация утгарда двойственна. В определенном смысле он всегда «там» в противоположность «здесь», вдали, неотделим от представления о пути, о человеке, ушедшем из дому и либо сгибшем в безднах утгарда, либо вернувшемся неузнаваемо преображенным. Мифы о нисхождении в ад есть у очень многих народов, но именно у германцев они отчетливо связаны с уходом из дома, странствием, со страхом перед далью и пространством. В другом смысле, однако, утгард не предполагает никакого отдаления, ибо лежит не только вдали

от дома, но и под ним. Поэтому любая пещера, дыра в земле, глухой овраг могут быть ходом в уттард или даже им самим. Его непосредственная близость к дому становится особенно очевидной по ночам, когда чудища, в принципе живущие где-то за горизонтом, могут поджидать человека прямо у крыльца.

При такой двойственности утгарда двойственным оказывается и митгард. С одной стороны, он действительно простирается до горизонта и за него; он везде, где светит солнце и люди пашут землю. Но в той мере, в какой чудища утгарда угрожают непосредственно моему дому, именно он воспринимается как единственное защищенное от них место, а митгард сокращается до размеров моей усадьбы. Поэтому самое страшное в утгарде — не чудища, ледяной ветер и ядовитые реки, а то, что его действительность абсолютно чужда моему миру, подчинена другим, не нашим законам. Вода в реке живет, обладает волей и губит вступившего в нее человека, скала расступается, чтобы открыть проход в логово дракона, мертвые вещи при прикосновении оживают. Соответственно и в митгарде главным становится то, что все в нем свое, понятное, привычное, соответствующее обычаю и здесь заведенному порядку. По замечанию старого проницательного исследователя, «люди здесь стоят на своей земле, окруженные дружиной своих. Деревья и камни, животные, оружие, даже земля и природа существуют для них. Все, что их окружает, им известно, является тем, чем кажется, они знают, что здесь царит порядок, на который они могут положиться».

Иногда отношения между так понятыми внутренним и внешним пространством становятся противоречивыми. Утгард ужасен, однако именно в силу своей противоположности тому, что «здесь», он может выступать также как иная, блаженная форма существования; уйдя из митгарда, человек попадает во многих случаях на острова блаженных: раз нет «здесь», то нет и бед, которые так нередки дома.

Архетипы внутреннего и внешнего пространства специфичны для каждой эпохи и потому соотношение их образует ее содержательную характеристику. Уникальным, эталонным образцом воздействия диалектики внешнего и внутреннего пространства на всю систему культуры до сих пор остается Древний Рим. Суждение это основано на анализе основополагающих явлений его исторической жизни — дома, социальной микрогруппы и города-государства.

*Дом, domus*, в Риме есть пространство сакрально замкнутое, внутреннее пространство по преимуществу. Семья, здесь живущая, имеет свой культ, положение ее зависит от благосклонности домашних богов и, соответственно, от обрядов, которые выполняются в их честь. Так, в каждом доме живут пенаты. Имя их происходит от слова *penus*, кладовая — не только как помещение, но и как совокупность запасов

продовольствия в доме и тем самым как источник сытости, довольства и самостоятельности. Семья, которая живет в доме, разумеется, ячейка общества, но ячейка замкнутая, имеющая не только свои культы, своих пенатов, но и свою внутреннюю организацию. Во главе ее стоит *paterfamilias*, отец семьи, располагающий над членами ее неограниченной властью. Всевластие вышестоящего в государстве смягчено и ограничено законами, во «внутреннем пространстве» дома оно сохраняется полностью. Сохраняются, например, семейные суды — нарушения некоторых норм поведения, особенно нравственных, подлежали разбору, осуждению и наказанию в пределах семейной юрисдикции.

Дом самодостаточен, в нем есть запасы не только еды в кладовой, охраняемой пенатами, но и воды, потому что имплювий — квадратное углубление в полу атрия, в которое через отверстие в крыше собирается дождевая вода, обеспечивает возможность держаться против внешней осады достаточно долго. Никакой осады нет и быть не может, но запас воды и продовольствия дому необходим, потому что актуальна не эмпирически данная реальность, а архетип сознания: дом — модель самодостаточного замкнутого внутреннего пространства со своим управлением и нормами, своим населением, своей обжитостью.

Но дом — резиденция семьи, семья же органически входит в городскую общину, принадлежит к ней и потому живет как бы на границе закрытого и открытого пространства. С архитектурной точки зрения положение это было связано с тем, что внутренние помещения домуса выходили на перистиль и на парадный зал — атрий и почти не имели окон; между стенами этих помещений и внешними стенами дома оставалось пространство, глубина которого доходила до четырех-пяти метров; оно делилось на части, так называемые *таберны*, — самостоятельные помещения с выходом на улицу, которые уже с конца Республики сдавались под ремесленные мастерские или под склады. Ремесленник, который снял таберну, поселялся в ней чаще всего со своей семьей, использовал ее как производственное помещение, а в верхней части надстраивал деревянные антресоли, где и жил с женой и детьми. Такова же была внутренняя архитектурная организация нередко располагавшихся в табернах лупанаров (публичных домов): внизу помещения для посетителей, для еды и питья, то есть «таверна» в позднейшем смысле слова, наверху — интимные комнаты. У домуса, как правило, имелся аттик, то есть как бы второй этаж; там проходила часть жизни семьи, там находились летние столовые, использовавшиеся повседневно, тогда как пиришественный зал в первом этаже использовался только изредка для приема гостей. Эти летние столовые тоже могли быть сданы, причем вход в них в таких случаях устраивался обычно не из атрия, а из таберны или с внешнего балкона, который

продолжался и на соседний дом. Если отдельные помещения в аттике сдавались внаем и при этом еще соединялись с тавернами, от замкнутой независимости и самостоятельности и самой семьи, и ее резиденции, которая в идеализированном историко-архитектурном представлении составляла сущность римского домуса, не оставалось и следа. Попробуем вообразить себе, например, как жилось в Помпеях в доме № 18 12-го участка VII района, часть которого занимала одна семья, в тавернах расположился публичный дом, а в аттике ряд помещений принадлежали каждое отдельной семье, и члены их проходили домой по балкону, имевшему выход через соседний дом № 20. Строение, в принципе бывшее резиденцией семьи, в реальной жизни превращалось в своего рода жилой муравейник.

Принцип муравейника окончательно торжествует в I веке н. э. в так называемой инсуле. По историко-архитектурным работам мы привыкли к тому, что инсула — это многоквартирный дом, противостоящий домусу как резиденции одной семьи. Но само слово *инсула* означает 'остров'. Вторичное его значение — застроенный квартал, участок, независимо от того, чем он застроен — многоквартирными домами или домусами, самостоятельными или соединенными между собой. Поэтому в римской реальности I века инсула не просто многоквартирный дом; это, скорее, именно жилой муравейник с бесчисленными переходами, обиталище, где на каждом шагу и в любое время можно наткнуться на кого-либо из соседей. При этом теснота воспринималась не как неудобство, а как ценность. Она давала ощущение демократической сплоченности, равенства и обжитости и как бы противопоставляла хороших людей, правильную жизнь жизни в изоляции, в отдельных резиденциях. В них живут те, кому есть что прятать от соотечественников. Тиберий, «плохой» принцепс, проводит последние годы на Капри, где творит неправый суд и жестокую расправу; на Альбанской вилле прячется император Домициан — извращенное чудовище, чье времяпрепровождение описано в IV сатире Ювенала; в Тиволи живет странный, ни на кого не похожий император Адриан — как будто бы обычный римлянин и в то же время человек загадочный, грек и космополит. Отдельно живут, таким образом, люди странные или скверные, нормальный же обычный римлянин живет в тесной бесконечной путанице жилых помещений, переходов и тупиков. Теснота на улицах и жилища-улицы в описываемую эпоху были еще двумя слагаемыми единого ощущения жилой среды, воспринимавшегося императивно: быть всегда на людях, принадлежать к плотной живой массе сограждан, смешиваться со своими и растворяться в них.

Положение *paterfamilias'a*, самостоятельного и самодостаточного хозяина, все время опосредовано его же положением члена общины, и



он только тогда по-настоящему у себя дома, когда он и вне своего дома. Поэтому утро с восхода солнца примерно до двенадцати часов, до часа бани, римлянин проводит на форуме, в городе. Он делает дела, беседует, участвует в сходках, то есть в политической жизни города; он — гражданин. Но и как гражданин на форуме он полноценен лишь в той мере, в какой он самостоятельный, ни от кого не зависящий хозяин, то есть в той мере, в какой он имеет возможность вернуться к себе, в свой замкнутый самодостаточный мирок — дом. Однако и там он остается во власти той же двойственности: он уважаем и уважает себя как самостоятельный хозяин, но самостоятельность его как хозяйина полностью реализуется так, что он в то же время глава клана. Вот почему, завтракая ранним утром и днем в одиночестве, обедать он должен непременно в обществе. Обед (после половины второго зимой, после двух или половины третьего летом) никогда не проходит наедине. Обедать одному — для римлянина величайшее несчастье. Только когда человек у себя дома окружен друзьями и членами семьи, когда проводит с ними вместе время, играет в игры, слушает декламацию или музыку, беседует об общественных делах, то есть только тогда, когда «внешнее пространство» жизни проникло во внутреннее, живет через него и в постоянном с ним взаимодействии, такой человек чувствует себя полноценным римлянином.

Точно так же обстоит дело с другой разновидностью «внутреннего пространства» — с социальной микрогруппой. Социальная микрогруппа — это малый коллектив, соседская или дружеская, производственная, родственная или возрастная ячейка, в которой человек чувствует себя как бы в митгарде. Ход простой повседневной жизни замедлен и долго остается неизменным в этих ячейках общества, где осуществляются непосредственные социальные контакты микросреды. Римлянин на всех этажах общества жил так — в семье с примыкающими к ней традиционными друзьями дома, в землячествах и похоронных сообществах, в коллегиях, посвященных культам неофициальных богов, и в коллегиях ремесленников. Человек никогда не оставался один на один с государством. Он всегда сначала член внутренней структуры микрогруппы. Соседская, семейно-родовая, дружеская («ампикальная») община выражает здесь единый архетип внутреннего пространства, обжитой ячейки существования. Императоры в Риме долго не знали, как относиться к микросообществам. С одной стороны, они выражали глубинную потребность народа, исторически обусловленные формы его жизни; с другой — по мере отчуждения государства и отделения его интересов как целого от непосредственной жизнедеятельности населения такие сообщества становились подозрительны: о чем люди могут там говорить? нет ли там какого злоумышления на власть? импе-

раторы то разрешали их, то засылали туда своих соглядатаев; Нерон вдруг объявил себя патроном вообще всех микросообществ в Римской империи; к концу II века они были окончательно поделены на официально разрешенные и неразрешенные, но, в общем и целом, сообщества существовали в Риме на протяжении всей его истории, постоянно возрождая в человеке ощущение того, что он защищен и может быть спокоен, ибо живет в обжитом маленьком микропространстве.

Однако и микрогруппы в Риме, так же как домусы, были постоянно опосредованы макроструктурами и государства, и общества в целом. Цицерон в пятой главе второй книги «О законах» развивает давнее учение греческих стоиков о «двух родинах». У римлянина, разъясняет Цицерон, всегда две родины: обжитая, пережитая, основанная на дружеских связях — община, где он появился на свет, его «малая родина»; и бескрайняя республика римлян, перед которой он ответствен как гражданин, для которой должен жертвовать жизнью, служить ей как воин или как магистрат, — его «великая родина». Первая существует лишь через вторую, вторая не существует реально без первой. Постоянное взаимопроникновение непосредственно продолжающего человека контактного микромира и более или менее отчужденного большого мира государства, другими словами — взаимопроникновение внутреннего и внешнего пространства, и в этом случае остается одной из постоянных и самых разительных черт антично-римской цивилизации. Командует армией или руководит уже покоренной провинцией один из высших магистратов. Он назначается сенатом, но весь его штаб подбирается им самим — с учетом общеочевидных деловых качеств привлекаемых сотрудников, но прежде всего на основе их принадлежности к семейному окружению командующего или наместника. Первые императоры создали особый орган государственного управления, который не имел официального наименования и лишь впоследствии стал называться Советом принцепса. Он выполнял важнейшие государственные функции и в конце концов стал состояться из руководителей ключевых ведомств, но на протяжении первого столетия своего существования, пока были живы еще неконно римские традиции политической жизни, представлял собой перенесенный в государственную структуру кружок друзей и родственников императора или его семьи. Таких примеров очень много.

Наконец, на диалектике и взаимопроникновении внутреннего и внешнего пространства основано и бытие римского города-государства в окружающем мире. Исконно и изначально город-государство противопоставлено своему окружению. Рим — единственное и неповторимое место на земле, отличное от всей остальной ойкумены. Здесь Ромул кривым жреческим посохом обвел в небе священный квадрат, в этом

квадрате, как доброе предзнаменование, появились посланные богами двенадцать коршунов, и тогда Ромул спроецировал квадрат на землю, тем обнаружив единственное во вселенной место, которое должно стать Римом. Плут провел границу города, священную борозду, отвал из нее образовал первую ограду Рима, его сакральную границу — померий. Вне священной границы померия римлянин дает волю самым низменным своим инстинктам, он грабит, он жесток и кровав. Когда же возвращается в священную границу померия, он должен очиститься. Ни один народ не знает такого количества обрядов очищения и искупления, сколько их есть у римлян, в основном при возвращении во внутреннее пространство — в границы города. Храмы чужих богов, впоследствии столь в Риме распространенные, изначально располагались только по границе померия, а не внутри его. Город долго воспринимался и ценился его гражданами как неповторимо-данное и в этом смысле абсолютно замкнутое пространство.

Но то была, однако, лишь одна сторона дела. Провиденциальная миссия Рима, по убеждению тех же граждан, состояла в постепенном втягивании всего остального мира в эту уникальную сферу законности, богопочитания и цивилизации, которая была изначально сосредоточена в пределах померия. Вся история Рима есть история его экспансии. В этом процессе принято подчеркивать его военно-грабительские мотивы. Для такого взгляда есть все основания. В эпоху Республики Рим вел войны постоянно, решение об объявлении войны принималось народным собранием, и если граждане голосовали за войну, значит, они рассчитывали, что она принесет им выгоду, то есть в первую очередь их обогатит. Из покоренных стран вывозились материальные ценности и сокровища искусства, значительная часть земли конфисковывалась в пользу римлян, военнопленные обращались в рабов. Но в конечном историческом итоге главное все же оказывалось в другом. Рано или поздно (в основном уже при Империи, то есть в I—III вв. н. э.) поселения на завоеванных территориях — давние или отстроенные после покорения — получали статус римского города, а жители рано или поздно становились римскими гражданами. Организация местного управления, характер и расположение общественных зданий, формы быта и досуга копировали порядки, существовавшие в городе на Тибре, а сам Рим впитывал постепенно новшества, возникавшие за его пределами, в городах империи. «Ты сделал городом то, что прежде было миром», — писал, обращаясь к Риму, поздний античный поэт.

К середине II века н. э. Рим действительно, казалось бы, обрел идеальное равновесие между внутренним и внешним пространством; противоречие между ними было устранено и тем осуществлена мечта

всей поздней античности — их живое взаимопроникновение. В так называемый «золотой век» Антонинов (второй век христианского летоисчисления) империя достигает солнечной полноты бытия: города стали частью единой империи, но сохраняют облик автаркии, Рим правит империей, но с опорой на провинции и с учетом их интересов, греческая и римская культуры сливаются, дополняя друг друга. Но еще несколько десятилетий, и наступает 167 год, Маркоманская война — первое грандиозное столкновение с варварами, в котором Рим фактически не смог добиться решающей победы, военный кризис империи, распространяющийся на остальные сферы жизни, и в кризисе этом обнаруживается, что под покровом цивилизации, казалось бы, упразднившей древнюю противоположность «мы» и «они», неизменно живет все тот же архетип внутреннего пространства: как только сняли внешние скрепы, ослаб военно-бюрократический и правовой контроль, в провинциях — в первую очередь в Галлии, в Малой Азии — появляется исконная местная керамика, которой почти не видно было здесь триста или четыреста лет, но которая, оказывается, жила подспудно; в давно уже, казалось бы, единой космополитической армии разрешают составление завещаний на местных языках, и совершенно неожиданно появляются документы на пунийском, галльском; у императоров «золотого века» — у Адриана, у Антонина Пия, даже еще у Марка Аврелия была иллюзия, что таких языков вообще давно нет в природе, что есть единый Рим, преодолевший оппозицию внутреннего и внешнего. Оказалось не так, ибо противоречие не просто философская категория, а основа бытия и развития, трагедия — не просто литературный жанр, а выражение того, что жизнь есть столкновение, борьба и гибель начал, каждое из которых имеет свою правоту, и культура предполагает постоянное преодоление вечной противоположности своего, внутреннего, и чужого, внешнего, и постоянное возвращение к ней — ради нового ее преодоления.

## ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

*В соответствии с логикой лекционного курса теории и истории культуры после статьи об архетипах естественно должен следовать материал об общественно-исторических (социальных) мифах и их роли в культуре. Поскольку, однако, в настоящей книге общественно-исторический миф рассматривается в связи с историей Древнего Рима, статья, ему посвященная, вошла в раздел IV. В вузах, где культура Древнего Рима изучается лишь в обзорном порядке, материал «Ливий и исторический миф» должен быть изъят из раздела IV и перенесен в настоящее место.*

---

---

## ВНУТРЕННИЕ ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ

Культура существует во времени. Она меняется, развивается, и, чтобы в ней ориентироваться, мы стремимся уловить в этом развитии переломные моменты, внутренние границы. Процессы, заключенные между такими границами, и образуют то, что принято называть культурными эпохами: античность, Средние века, Возрождение, классицизм. Каждое из таких обозначений вызывает у нас круг достаточно устойчивых представлений и ассоциаций. Мы никогда не сомневаемся в том, например, что Возрождение было, что все многообразие его проявлений сводится к некоторому единству и что такое единство в принципе отлично от всякого другого — скажем, от Средних веков или барокко. И все же, как только мы пытаемся сделать следующий шаг и определить, на чем же именно основано это единство каждой эпохи, возникают большие сложности. Факты культуры так разнообразны, любая эпоха таким бесконечным числом переходов связана с предыдущей и последующей, что, как выясняется, единство ее мы улавливаем в таких величинах (например, «дух эпохи», «картина мира», «общий духовный фонд» и т. п.), которые каждому очевидны, но носят полунитивный характер и едва ли могут быть расшифрованы однозначно, на чисто логической основе, в результате простого перебора признаков.

Интитивный элемент в восприятии культуры и отдельных ее эпох, однако, должен быть обусловлен не просто особенностями или несовершенством нашего подхода и вообще зависит не только от нас, но отражает свойства самого познаваемого объекта — самой культуры. В ней, в частности, приходится предположить существование пластов, которые, не исчерпываясь своей принадлежностью к материальной области или своим прямым научным, художественным, этическим содержанием, представляют некоторую трудноуловимую субстанцию, выходящую за пределы этих сфер, хотя и проявляющуюся в каждой из них. Цель нижеследующих заметок — проверить это предположение путем конкретно-исторического анализа. Материалом нам послужит предметный мир Древнего Рима.

Самые разные категории древнеримских вещей и сооружений обнаруживают один общий конструктивный принцип.

Римские колодцы, заменившие в эпоху Ранней республики естественные источники водоснабжения, представляли собой шахту, сверху

скрытую оградой, сперва в виде прямоугольного деревянного сруба, позже — в виде каменного ящика. Но и тогда, когда с течением времени римское водоснабжение изменилось и семь грандиозных водопроводов (если упоминать только главные) стали ежедневно доставлять в город почти сто миллионов тонн воды, которая в значительной мере шла в уличные водоразборные колонки, — в наземной своей части эти колонки полностью сохранили облик колодцев. Те же четыре каменные плоскости, сходясь под прямыми углами, образовывали невысокий каменный ящик. Вода, однако, поступала теперь в него не снизу, из земли, а подводилась по трубам, и на один из бортов ящика (обычно на длинный) стали ставить поэтому небольшую каменную стелу, внутри которой проходила труба, соединявшаяся с водопроводной сетью и изливавшая воду непрерывно — точно так же, как изливал ее некогда источник или родник. Внешняя сторона стелы была украшена рельефом, и вода лилась прямо из какой-либо его детали, наиболее для этого подходившей по сюжету, — из горла кувшина, который опрокинул тут же изображенный петух, или из пасти зайца, изо рта ослика и т. д. В сущности, только этими рельефами уличные колонки и отличались друг от друга.

Перед нами особый тип отношений между устройством сооружения и развитием той сферы действительности, к которой оно относится. В позднереспубликанскую и раннеимператорскую эпоху условия жизни граждан и их быт изменились до неузнаваемости. Источники уступили место деревянным колодцам, деревянные — каменным, колодцы — водопроводным колонкам. Но на устройстве наземных водоразборных сооружений эта многовековая эволюция почти не отразилась. В результате длительного опыта оказалась отобрана и закреплена некоторая оптимальная конструкция, которая в дальнейшем не реагировала как конструкция на изменение окружающих условий. Оно сказалось лишь во внешнем добавлении к исконной основе некоторой приставки, «аппликации» — декорированной каменной стелы, наглядно выражавшей и изменение технических условий, и рост эстетических потребностей.

Римская мебель, как известно, была обильно украшена накладным декором. Он не только характеризовал облик мебели, но выражал также принцип и тенденции ее развития. Переломные моменты в истории Рима всегда совпадали с распространением богатства и усложнением быта. Первый такой перелом приходится на начало II века до н. э., второй — на эпоху Юлиев — Клавдиев, и оба были временем резкого обогащения и изощрения предметной среды, что, однако, непосредственно выражалось в распространении, разнообразии и удорожании накладок и аппликаций. «Вернувшееся из Азии войско (в

187 г. до н. э.) занесло в Рим первые ростки чужеземной роскоши; тогда-то в столице появились лежа, обитые медью или бронзой, и покрывавшие их дорогие декоративные ткани»<sup>1</sup>. Ход времени отражался в накладном декоре, конструкция же вещей тяготела к полной стабильности, к закреплению в их неизменности раз навсегда найденных, веками отработанных схем. С III века до н. э. Рим знал два вида лож — *lectus*, каменный лежак, и *grabatus*, кровать с рамой, затянутой ременной или веревочной сеткой. Прошло три самых бурных века римской истории, перевернувших вверх дном весь античный мир, и мы обнаруживаем точно те же два вида лож: помпейский кабатчик Ситий вывешивает объявление о сдаче внаем своей харчевни *cum tribus lectis*, а Марциал сообщает, что на его кровати «и оборвавшись, и сгнив все перетяжки висят»<sup>2</sup>. Ни конструктивные изменения этих типов, ни какой-либо третий, новый вид лож (если говорить о реально распространенных) в источниках не отмечаются — Цицерон рассказывал о каком-то скряге, который «свозил отовсюду не только *lectos*, но и *grabatos*»<sup>3</sup>. Если изделие менялось, в подавляющем большинстве случаев это лишь значило, что менялись накладки. В XI сатире Ювенал описывает, как изменилась жизнь римлян в его дни сравнительно с республиканской стариной: лежа стали облицовывать черепахой, и именно это сделало их отличными от лож предков, ибо «медное в те времена изголовие скромной кровати лишь головою осла в веночке украшено было»<sup>4</sup>; конская сбруя, продолжает поэт, прежде тоже была иной, поскольку иными, не такими, как сейчас, были наложенные на нее украшения — ее обкладывали бляхами, выломанными из трофейных кубков. В области бытовых вещей смена времен была сменой не конструкций и не принципов, а декора.

Меняясь почти исключительно благодаря декору и за его счет, мебель отражала в своей эволюции не столько сдвиги в реальной жизни, сколько внешнюю и на поверхности произвольную игру престижа и моды. С определенного времени, например, кровати начинают делать целиком из бронзы, хотя при этом они почти не отличаются от обитых бронзой. Облицовочный материал обрабатывается так, чтобы создавать впечатление облицовки иной природы — черепаха «под дерево» или стукко «под мрамор»; «дорогим деревом одевают как корой дешевое»<sup>5</sup>. Прimitивная и архаичная в своей основе вещь — ложе, шкапулка, дверь — становится «престижной» и «современной» за счет накладок, инкрустаций, филенок из неожиданных и странных дорогих материалов. В подобных приемах обычно видят отличительную черту мебели Ранней империи. Это очень неточно. В I веке накладной декор, действительно, усложняется и удорожается, становится капризнее и произвольнее, но сам принцип развития за счет разного рода аппли-



каций при сохранении неизменной конструктивной основы характеризует римский предметный мир в целом<sup>6</sup>.

Архитектура римлян представляет собой ту область, в которой «аппликация» выступает как универсальный принцип технологии, художественной практики и эстетического мышления. Многоцветные стукковые покрытия обволакивали в Помпеях все элементы здания — стены, колонны, капители, своды. С начала Империи в этой функции распространяется также мрамор. Ступени, на которых рассаживались зрители в большом театре в Помпеях, были построены во II веке до н. э. из туфа; в начале нашей эры театр обновили — практически это выразилось в том, что туф обложили мрамором. Кроме стукко и мрамора, использовалась терракота — даже в скромных помпейских домах ею чаще всего были отделаны края комплювиума.

Архитектура здания воспринималась как стилистически нейтральная; актуальная эстетическая программа и заложенная в здании семантика находили свое выражение в облицовках. Огромный дворец Нерона, отстроенный им с вызывающей роскошью в самом центре Рима в 64–68 годах, с точки зрения собственно архитектурной был поразительно незатейлив и традиционен, воспроизводя в увеличенном виде обычную римскую виллу с портиком. Недаром унаследовавший дворец император Вителлий, транжира и фат, считал его бедным, неэlegantным и плохо построенным. Но для Нерона и его архитекторов суть дела заключалась в том, что фасад главного здания был закрыт позолотой, и именно это покрытие выражало символический смысл сооружения. «Золотой», *ауреус*, было официальной характеристикой «Неронова века», повторявшейся на монетах, в стихотворных словословиях, в льстивых речах ораторов. «Годы златые на нас веселой грядут чередой», — писал Сенека при вступлении Нерона на престол<sup>7</sup>. Представление о празднике и блеске никак не было воплощено в архитектуре дворца, но оно целиком обуславливало наложенный на архитектуру декор. Строения виллы тонули под покровом позолоты, перламутра, драгоценных аппликаций; в триклиний главного здания потолок состоял из пластин слоновой кости; в залах правого крыла стены были выложены мрамором. Внутренние, непарадные комнаты архитектурно ничем от них не отличались; их бытовой, утилитарный характер выражался в смене облицовок — место позолоты и мрамора заняло стукко. Можно было бы показать, что воплощенное в «Золотом доме» соотношение архитектуры и накладного декора не составляло частной его особенности, а выражало общий принцип архитектурного мышления эпохи.

Сочетание консервативных строительных форм с облицовкой, подверженной колебаниям моды и экономики, было внутренним, нацио-

нальным принципом римского зодчества. Когда римский поэт хотел рассказать, например, о египетской архитектуре и объяснить своим соотечественникам, чем она отличалась от привычной им римской, он писал так:

*Не облицован был дом блестящим, распиленным в плиты  
Мрамором: высился там агат массивный, чередуясь  
С камнем порфирным; везде, во всех дворцовых палатах  
Был под ногами оникс, и обшит Мареотиис черным  
Деревом не был косяк: оно вместо дуба простого  
Не украшеньем дворца, но опорой служило...<sup>8</sup>*

Представление о том, что в других странах здание строится из монолитов дерева или камня, которые в Риме распиливаются на пластины и используются как облицовка, опиралось на многовековой опыт. Уже крыша и колонны Капитолийского храма, датируемого по традиции 509 годом до н. э., были из дерева, обшитого расписанными терракотовыми пластинами, а целла и цоколь — из облицованного камня. Сколько-нибудь значительные здания республиканского периода имели облицовку из туфа или тразертина, реже из кирпича и снаружи еще были покрыты стукко. Как и в мебели, ход времени отражался прежде всего в смене облицовок. Известные слова императора Августа о том, что он «принял Рим кирпичным, а оставляет его мраморным»<sup>9</sup>, в обоих случаях имеют в виду не строительный материал, а облицовку. Один из героев «Диалога об ораторах» Тацита Марк Анр говорит о преимуществе современных ему храмов, которые «сияют мрамором и блестят золотом», перед древними, «обложенными необработанным камнем и безобразным кирпичом»<sup>10</sup>.

Роль облицовки становится непосредственно очевидной в связи с основной и главной, всемирно-исторического значения, особенностью римской архитектуры — с массовым использованием в ней так называемого «римского бетона». Как известно, римляне первыми стали применять эту смесь извести, особого «путеоланского» песка и заполнителя не в качестве связующего раствора, а в качестве самостоятельного строительного материала: залитый в пустое пространство между двумя стенками из кирпича или тесаного камня, он вскоре соединялся с ними в монолит несокрушимой прочности. Своего рода облицовка предполагалась, таким образом, самим существом этого строительного метода, поскольку стены, внутренней стороной сливаясь с раствором, внешней были обращены в помещение или на улицу и требовали некоторого эстетического оформления. Между концом II века до н. э. и I веком н. э. вырабатываются определенные схемы этого оформления,

отличавшегося высокой степенью технического совершенства и художественной изощренности. Но будучи частью конструктивного косяка здания, оформленная таким образом стена не воспринималась как законченная, а ее внешний облик — как эстетически или идеологически значимый. Сейчас очень трудно себе представить, что полностью обработанная, заглаженная, покрытая изящными архитектурными рельефами северная внутренняя стена форумной базилики в Помпеях, например, или столь же совершенные и законченные внешние стены храма Веспасиана там же создавались для того, чтобы их никто никогда не видел, поскольку они были навечно скрыты под накладным декором. Нужно вспомнить весь размах строительства в Римской империи, все бесчисленные города, покрывавшие ее территорию от Пальмиры до Мерида и от Британии до Сахары, вспомнить, что строительство в них велось в основном «на бетоне» и неизбежно предполагало последующую облицовку, дабы представить себе весь масштаб и историческое значение этого метода: «декоративное и конструктивное решения в римской архитектуре стали почти независимыми друг от друга; в своем развитии и упадке они подчинялись разным, а подчас и противоположным законам»<sup>11</sup>.

Острое ощущение разницы между внешним подвижно-многообразным обликом и внутренне устойчивой основой обнаруживается в Риме также и в других сферах, от дизайна, казалось бы, предельно далеких, — в философии, историографии, в общественном самосознании.

Философия римлян неотделима от греческой и образует вместе с ней единую античную философию, главное содержание которой уже Аристотель полагал в диалектике многообразия и единства<sup>12</sup>. За внешним многообразием мира античные мыслители, действительно, постоянно стремились различить его общую первооснову. Она могла представляться разным философам по-разному: мыслителям милетской школы — в виде исходной для всего сущего материальной субстанции, воды, огня или не поддающегося чувственному восприятию «апейрона»; мудрецы-элеаты воображали себе ее в виде единственной подлинной реальности, пребывающей по ту сторону вещей и имеющей абсолютно совершенную форму — шара; она была воплощена для Эмпедокла в вечном ритме сменяющих друг друга жизненных фаз — Любви и Вражды, а для пифагорейцев — в числе; по учению Платона, ее составляла совокупность неизменных прообразов тленных и преходящих вещей. Сам факт ее существования, однако, не вызывал сомнения ни у кого. В полной силе дожило это убеждение до времен Римской империи, и еще Сенека учил, что «не может быть субстанцией то, что переходит и живет, дабы погибнуть»<sup>13</sup>. Независимо от школ и

направлений субстанция бытия всегда обладала обязательной чертой — постоянством. Именно как постоянная она была противоречиво слита с непосредственно данным чувственным миром — всегда и очевидно изменчивым, дробным, состоящим из вещей и явлений, которые представлялись извне наложенными на эту первооснову и, облекая ее своей пестрой сменой, снижали, огрубляли, но и расцвечивали ее.

**История**, по убеждению римлян, обладала той же двуединой структурой, что и бытие: реальные обстоятельства общественной жизни, изменчивые и во многом случайные, составляли в их глазах внешнюю, часто произвольного рисунка оболочку — «аппликацию», которая скрывала внутреннюю неизменную суть исторического процесса. Конкретный образ этой глубинной первоосновы, как и в философии, мог быть разным. Так, историк Полибий (ок. 202 — 120 гг. до н. э.) постоянно и настойчиво подчеркивал, что исход событий, происходящих в данное время и в данном месте, непосредственно зависит от людей. Их долг — каждый раз понять положение, оценить и взвесить его, думать, бороться и действовать. Жизнь, однако, не исчерпывается тем, что происходит здесь и сейчас. Последовательные события складываются в бесконечные цепи, время каждого сливается с временем предыдущего и последующего, и местная, частная, и именно в силу этого человекосоразмерная история оказывается лишь случайным фрагментом иной, которую Полибий называет «историей всемирной и всеобщей». Она составляет историческую реальность иного порядка, которая в своей безграничности и вечности регулируется не человеческими действиями, всегда ориентированными на «здесь» и «сейчас», а соотносительной с ними, но в принципе иной силой — Судьбой. «Понять общий ход событий из отдельных историй невозможно»<sup>14</sup>, и потому каждому отдельному человеку действия Судьбы, «капризные и неотвратимые», представляются иррациональными. Лишь в общем течении мировых событий раскрывается их глубокий и постоянный смысл: дело Судьбы — отделять людей серьезных, мужественных и верных долгу от легкомысленных и слабых; последних она предоставляет самим себе, а в жизни и трудах первых реализует свои предначертания<sup>15</sup>. Тем самым она вносит в историю нравственное начало, подчиняет ее божественной справедливости, включает в разумно устроенный миропорядок и образует всеобщую и единую первооснову исторической жизни, скрытую в каждый данный момент за яркой завесой частных и отдельных событий, поступков и страстей. Полибиево учение о судьбе, несмотря на свое греческое происхождение, отражает чисто римское восприятие общественной действительности. Свойства существования в полисе вообще, в Риме в частности, оставались теми же из столетия в столетие: земля как основа собственности и общест-

венного положения, преобладание натурального хозяйства над денежным и всяческого консерватизма над динамикой, община, семья и род, вообще принадлежность к целому как условие человеческой полноценности. Значительное историческое развитие не могло вестись в такую общественную форму, разлагало ее, ввергало периодически в жесточайшие кризисы, порождало войны, внешние и гражданские, создавало огромные и рыхлые монархии, вызывало к жизни чудеса патриотизма или злодейства, самоотвержение и алчность, подвиги и преступления. Но ограниченность производительных сил общества и соответствовавший им характер полиса определялись самой природой античного мира, его местом в истории человечества, и потому полис вечно погибал и вечно возрождался с теми же своими неизменными свойствами. Легионер, отшагавший тысячи миль, повидавший десятки городов и стран, награбивший кучу золота, добивался от полководца всегда одного и того же — демобилизоваться, пока жив, получить надел, осесть на землю, влиться в местную общину, зажить так, как жили прадеды, и какие бы разные страны ни покорила армия императоров, демобилизованные ветераны основывали свои города — всегда те же, в Африке или в Британии, с теми же магистралями север — юг и запад — восток, с тем же форумом, храмом и базиликой у их скреста, с той же системой управления, копировавшей единый для всех, неподвластный времени эталон — систему управления города Рима. За мельканием жизненных перемен действительно ощущались глубинные и недвижные пласты бытия.

Принципы дизайна, категории теоретической мысли и отложившийся в народном сознании образ общественной действительности обнаруживают в Древнем Риме определенную изоморфность. Их объединяет общее представление об изменчивой поверхности, облекающей постоянную основу, — полупонятие, полубраз, который, однако, имел бесспорные основания в объективной действительности и реализовался в ней.

Является ли принцип восприятия различных сторон жизни через некоторый общий образ-понятие единичным, чисто римским явлением или в нем открывается какая-то более универсальная тенденция культуры? Есть основания думать, что последнее из этих предположений правильно, а первое — нет.

...XVII век в Европе был временем бурного развития атомистики. «Все состоит из атомов или неделимых», — говорилось в одном из научных манифестов начала века<sup>16</sup>. Природа элементарных частиц и источник их движения могли мыслиться различно, но само убеждение в том, что мир и жизнь дискретны, то есть представляют собой поле

взаимодействия разобщенных единиц, обладающих индивидуальностью и энергией — «неукротимых корпускул», по выражению Лейбница<sup>17</sup>, — было всеобщим. Столкновение и борьба, гибель и выживание «неукротимых корпускул» составляли содержание далеко не только физико-теоретической картины мира. Тот же образ лежит в основе определяющего художественного явления эпохи — французской классицистической трагедии, где герои, заряженные страстью и одушевленные стремлением к собственной цели, гибнут в борьбе друг с другом и с гармонизирующей надличной силой исторически закономерного и потому представляющегося разумным миропорядка — точно так же, как частицы материи у Декарта, первоначально «склонные двигаться или не двигаться, и притом всячески и по всем направлениям», постепенно обивают свои острые углы друг о друга, располагаются «в хорошем порядке» и, наконец, принимают «весьма совершенную форму Мира»<sup>18</sup>. Тот же тип мировосприятия отчетливо обнаруживается в теории естественного права — главном направлении этико-правового мышления времени. Людям от природы присущи страсти, учил Спиноза, сталкивающие их друг с другом и «выражающие ту естественную силу, которой каждый человек стремится утвердиться в своем бытии»; чтобы не погибнуть в хаотическом движении, сталкивающем всех со всеми, люди образуют государство и подчиняются верховной власти — «право же верховной власти есть не что иное, как естественное право, но определяемое не мощью каждого в отдельности, а мощью народа, руководимого как бы единым духом»<sup>19</sup>. Вряд ли можно отделить это мироощущение и от политической практики эпохи — от бесконечных комбинаций, перегруппировок и войн между составлявшими Европу небольшими, тянущими каждое в свою сторону государствами и от стремления политических мыслителей найти силу, которая могла бы гармонизовать этот хаос. XVII век есть классическая пора трактатов о мире, от Декарта до Гуго Гроция. «Корпускулярная философия», как можно было бы обозначить на языке времени совокупность этих воззрений, была не просто общим принципом художественного и теоретического мышления; она была и массовым мироощущением. «Робинзон Крузо» Дефо — рассказ об изолированном человеке-атоме, своей энергией воссоздающем вокруг себя свой мир, или монадология Лейбница — учение о заполняющих жизнь «зернах субстанции», каждое из которых «есть живое зеркало, наделенное внутренней деятельностью, способное представлять вселенную сообразно своей особой точке зрения и столь же упорядоченное, как сама вселенная»<sup>20</sup>, — пользовались таким массовым, таким ошеломляющим успехом, который вряд ли выпадал на долю художественных или теоретических построений когда-либо раньше или позже. Можно ли избежать вывода, что образ

корпускулы играет для XVII века ту же роль, что образ изменчивого покрова, облекающего неизменную основу, для античного Рима?

Другой пример. В последней трети прошлого века складывается и быстро приобретает универсальный характер представление, согласно которому мир состоит не только из предметов, людей, фактов, атомов, вообще не только дискретен, но может быть более глубоко и адекватно описан как своеобразное поле напряжения; что самое важное и интересное в нем — не событие или предмет, вообще не замкнутая единичность, а заполняющая пространство между ними, их связывающая и приводящая в движение среда, которая ощущается теперь не как пустота, а как энергия, поле, свет, воля, настроение. Представление это обнаруживается в основе столь далеких друг от друга явлений, как импрессионизм в живописи или поэзии, Максвеллова теория поля, драматургия Ибсена или Чехова или возникающая в те же годы теория «фонемы» — языковой единицы, которая реализуется в звуках речи, но сама по себе существует лишь как некоторый идеальный тип, за пределами своих конкретных и разнообразных вариантов.

Такие представления не исчерпываются своей логической структурой и носят в большей или меньшей степени образный характер. Они близки в этом смысле тому, что в языкознании называется *внутренней формой* — образу, лежащему в основе значения слова, ясно воспринимающемуся в своем единстве, но плохо поддающемуся логическому анализу. Так, слова «расторгать», «восторг» и «терзать» имеют общую внутреннюю форму, которая строится на сильно окрашенном эмоционально и трудноопределимом ощущении разъединения, слома, разрыва с непосредственно существующим. Разобранные представления в области культуры можно, по-видимому, по аналогии обозначить как ее внутренние формы<sup>21</sup>.

Механизм формирования и передачи таких внутренних форм совершенно неясен. Очевидно, что объяснять их совпадение в разных областях науки или искусства как осознанное заимствование нельзя. Полибий едва ли задумывался над тем, обладает ли философски-историческим смыслом декор на его мебели, Дефо не читал Спинозу, Максвелл не размышлял над категориями звукового строя языка.

Если такое знакомство и имело место — Расин, по всему судя, знал работы Декарта, — все же нет оснований думать, что художник или ученый мог воспринять его как имеющее отношение к его творческой работе. Вряд ли можно также, не впадая в крайнюю вульгарность, видеть во внутренней форме культуры прямое отражение экономических процессов и полагать, будто монадология Лейбница порождена без дальнейших околичностей развитием конкуренции в торговле и промышленности. Дело обстоит гораздо сложнее, оно требует разду-

мий и конкретных исследований. Пока что приходится просто признать, что в отдельные периоды истории культуры различные формы общественного сознания и весьма удаленные друг от друга направления в науке, искусстве, материальном производстве подчас обнаруживают очевидную связь с некоторым единым для них образом действительности и что такой образ составляет малоизвестную характеристику целостного культурного бытия данного народа и данной эпохи.

1980

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Тит Ливий*, 39, 6.

<sup>2</sup> *Марциал*, 5, 62.

<sup>3</sup> Цитата приведена в авторитетном словаре латинского языка Штовассера (1900) под словом *grabatus*. Установить, из какого именно сочинения Цицерона она заимствована, мне не удалось. Данное словопотребление подтверждается одним пассажем в сочинении Цицерона «О претварении» (LXIII, 129), где говорится, что не боги насылают сновидения, ибо «ведь не могут бессмертные владыки, превосходящие своим совершенством все в мире, обегать по ночам смертных, храпящих не только на своих ложах (*lectos*), но и на простых кроватях (*grabatos*)».

<sup>4</sup> *Ювенал*, II, 93 сл. Как явствует из латинского текста, речь идет об изголовье, обитом медью, а не сделанном из нее.

<sup>5</sup> *Плиний Старший*, 16, 232. Цит. по: *Сергеенко М. Е.* Жизнь Древнего Рима. М.; Л., 1964, с. 93.

<sup>6</sup> См. точную характеристику этого положения в кн.: *A. Koepen, C. Breuer. Geschichte des Möbels.* Berlin; New York, 1904, с. 169.

<sup>7</sup> *Сенека*. Отыквление, 4, 9.

<sup>8</sup> *Лукап*. Фарсалия, 10, 114—119.

<sup>9</sup> *Светоний*. Божественный Август, 28, 3.

<sup>10</sup> *Тацит*. Диалог об ораторах, 20, II. Опубликованные русские переводы в этом месте неточны, так как не принимают во внимание основного значения глагола *exstruo* — 'накладывать сверху, настилать'.

<sup>11</sup> *Шуази О.* Строительное искусство древних римлян. М., 1938, с. 137.

<sup>12</sup> *Аристотель*. Метафизика, гл. 3, 983 б.

<sup>13</sup> *Сенека*. О блаженной жизни, 7.

<sup>14</sup> *Полибий*. Всеобщая история, VIII, 4, 2.

<sup>15</sup> Там же, XV, 34—35, ср. VIII, 4.



<sup>16</sup> Цит. по кн.: *Зубов В. П.* Развитие атомистических представлений до начала XIX в. М., 1965, с. 181.

<sup>17</sup> Письмо Ремону от июля 1714 г.

<sup>18</sup> *Декарт Р.* О мире // *Декарт Р.* Избр. произв. М., 1950, с. 205.

<sup>19</sup> *Спиноза Б.* Политический трактат // *Спиноза Б.* Избр. произв., т. II. М., 1957, с. 291; 299—300.

<sup>20</sup> Цит. по кн.: *Зубов В. П.* Развитие атомистических представлений..., с. 274—275. Ср.: *Лейбниц.* Монадология, § 56.

<sup>21</sup> Более подробно о внутренней форме слова см.: *Гумбольдт В.* О различии строения человеческих языков // *Хрестоматия по истории языкознания XIX—XX вв.* М., 1956, с. 76; *Потебня А.* Мысль и язык. 3-е изд. Харьков, 1913, с. 84; *он же.* Из записок по русской грамматике, т. I—II. М., 1958, с. 13—20; *Виноградов В. В.* Русский язык. М., 1947, с. 17 и след.

---

## ЭНТЕЛЕХИЯ КУЛЬТУРЫ

Обсуждение проблемы энтелехии культуры целесообразно начать с нескольких выписок из известной статьи П. А. Флоренского «Троице-Сергиева лавра и Россия» (1921): «Лавра и есть осуществление или явление русской идеи — энтелехия, скажем с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к Лавре! Ведь только тут, у ноуменального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное — ее провинция и окраина... Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией преподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удастся найти себе выражение. Это слово — *античность* (курсив автора. — Г. К.). Вжившийся в это сердце России, единственной законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также — и непосредственно — Древней Эллады, вжившийся в это сердце, говорю, здесь, в Лавре, неутомимо пронизывается мыслью о перекличках, в самых сокровенных недрах культуры, того, что он видит перед собою, с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации и тембра голосов, которое может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства»<sup>1</sup>. «В стремлении понять и познать душу России мы не можем не собрать своей мысли на этом Ангеле земли Русской — Сергии, а ведь народная, церковная мысль об ангелах-хранителях весьма близко подходит к философским понятиям: платоновской идее, аристотелевской форме, или, скорее, энтелехии, к позднему, хотя и искаженному, понятию идеала как сверхэмпирической, выше-умной духовной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая тем из жизни — культуру»<sup>2</sup>.

Мысль, заключенная в этом тексте, сводится к следующему. Наследуя духовную культуру Византии, а через нее — эллинской античности, Россия «перекликается» с ними, т. е. находится в отношениях диалога<sup>3</sup>; та-

кой диалог реализуется на разных уровнях — в подражании, в исторических воздействиях и «в самом духе культуры»; отношения между этими уровнями иерархичны — подражания носят характер поверхностно-случайный, исторические воздействия — реально-содержательный, но подлинно глубокая связь, «священнейшие вздохи наших собственных глубин», происходит в акте энтелехии — там, где дух эллинской античности «осуществляется» в ноуменальном центре России, воплощающем ее идею, — в Лавре; энтелехия такого рода не столько эксплицируется, сколько непосредственно внятна «вжившимся в нее».

Энтелехия — одно из самых глубоких философских прозрений в единую сущность бытия и познания. Она происходит везде, где материя, физическая или духовная, принимает облик и форму, где потенция становится воплощенной реальностью, а общее обретает индивидуальность, где происходит — вспомним — «осуществление или явление» идеи, принципа, общего свойства. Так, сила тяжести, присущая любому предмету, и воздействие ее на опору, препятствующую падению предмета, представляют собой общие свойства материи, и каждый знает их из собственного опыта и из школьного курса физики. Энтелехия этих свойств материи наступает там, где такое знание конкретно воплощается и становится переживанием, где, например, возникает архитектурный ордер, и данная, вот эта колонна, слегка рассевшись, держит огромную тяжесть данного, вот этого перекрытия. Сила тяжести и сопротивление ей из потенции стали формой; мы воочию постигаем воплощенную в камне силу человеческой воли, поставившей препятствие закону природы и застывшей в напряжении неразрешимой борьбы с ним, причем постигаем это не только в единичности тут происходящего, но и как реализованный пластически самый принцип воплощения и формы.

Первоисточники философской мысли, в которых обосновывается, анализируется и разъясняется понятие энтелехии, редки, коротки и странно расплывчаты. Суть замечаний, которые посвятил этой теме Аристотель, состоит в выявлении внутренней энергии, заложенной в бытии, почуждающей его к обретению формы<sup>4</sup> и тем самым к реализации своей сущности и смысла. «Материя есть возможность, сущность же — энтелехия»<sup>5</sup> точно так же, как душа есть энтелехия тела, ибо в ней «о», «одушевляясь», обретает смысл и выражает сущность<sup>6</sup>. Для дальнейших рассуждений нам важно обратить внимание и на еще одну сторону энтелехии, выделенную и подчеркнутую Аристотелем: «Когда же нечто, благодаря тому, что оно имеет начало в самом себе, оказывается способным перейти в действительность, оно уже таково в возможности»<sup>7</sup>. В Новое время понятие энтелехии составило предмет одного из самых темных и трудных рассуждений Лейбница в его на

редкость трудной «Монадологии» (§ 18 и 19). В отличие от Аристотеля Лейбниц четко различает «душу» и «энтелехию». Последняя для него не столько обретенное состояние бытия и результат воплощения бесформенного (или, скорее, до-форменного) начала, сколько самостоятельно существующая дискретная реальность. Энтелехия здесь, таким образом, обретает исчисляемость, их становится много. Души более сложны, обладают памятью и имеют свое содержание в виде вполне отчетливых представлений, в то время как энтелехии несут в себе совокупность лишь самых простых «восприятий и стремлений», достаточных, однако, чтобы обеспечить каждой энтелехии «известную совершенную полноту» и «самодовление».

Последняя по времени интерпретация понятия энтелехии в рамках значительной философской системы содержится в корпусе поздних сочинений Эдмунда Гуссерля, которые принято рассматривать как часть его «Кризиса европейских наук». Построение автора носит исторический характер. В Греции VII—VI веков до н. э. «складывается неизвестная ранее установка индивида по отношению к действительности»<sup>8</sup>. Эта установка — постижение действительности на основе философии и науки, философии как науки, и именно она образует «прафеномен духовной Европы». С тех пор вся история европейской культуры представляет собой разворачивающуюся во времени энтелехию открытых в Греции идей и принципа: в духовном смысле Европа есть энтелехия идеи философии как науки. В отличие от всех предшественников Гуссерль рассматривает энтелехию не как акт или его результат, а как процесс, не как воплощенную идею, а как бесконечно разворачивающуюся энергию ее воплощения. «Духовный телос<sup>9</sup> европейского человечества, заключающий в себе самостоятельный телос каждой отдельной нации и отдельной личности, имеет характер бесконечности; он представляет собой бесконечную идею, в которую стремится облечься тающий в глубине общий им всем дух становления»<sup>10</sup>.

Из этих основополагающих интерпретаций следуют по крайней мере два примечательных вывода. В энтелехии осуществляется принцип диалога: более общее, исходное и как бы рассеянное начало обретает пластическую завершенность и самодостаточную самостоятельную данность таким образом, что исходное начало в акте энтелехии не исчерпывается, оно продолжает действовать, и между ним и его воплощением устанавливается определенное двуголосие. Оно выступает вполне отчетливо, например, в гуссерлианском взаимодействии эллинской исходной материи европейской мысли и ее исторически конкретных проявлений. Кроме того — и в этом состоит второй вывод, — с энтелехией связана некая неполная проясненность, ускользание от логической ясности и четкой однозначности, ставящие восприятие этого феномена

на грань аналитического познания и внутреннего переживания<sup>11</sup> и придающие диалогу между изначально всеобщим и воплощенно конкретным особые черты.

Эти черты вызваны определенными свойствами человеческого познания в их неразрывной связи со свойствами самой действительности. Ясность в познании появляется там, где обнажена структурно логическая и потому адекватная аналитическому восприятию сторона самого явления. Существуют, однако, и другие тональности восприятия, в которых обнаруживаются другие стороны и более глубокие горизонты действительности. В познающем переживании эпохе, коллективу, отдельной личности здесь открывается та же объективность бытия, но выступившая в своих аналитически неочевидных и рационально до конца неразложимых чертах. Нет, по-видимому, оснований объяснять в этом случае текучую зыбкость возникающей в процессе познания картины недостаточностью интеллектуального усилия познающего, якобы просто не сумевшего или оказавшегося неспособным довести эту картину до необходимой очевидности. Некоторая «ноосферическая туманность»<sup>12</sup> заложена здесь в самой природе познаваемого, и задача состоит не в наложении на него рационально-аналитической сетки, ему в принципе неадекватной, а в обнаружении таких форм научного познания, которые были бы соизмеримы с этой многоликой текучей глубиной. Она раскрывается, например, в так называемой «картине мира» — том образе, в котором видит мир каждая эпоха<sup>13</sup>, во внутренней форме, объединяющей разнородные культурные представления определенного времени<sup>14</sup>, в знаке, объективный общественный смысл которого реализуется в никогда до конца неисчерпаемом герменевтическом фонде личности и коллектива<sup>15</sup>, в экзистенциальном срезе общественно-исторического процесса<sup>16</sup>. Здесь не приходится говорить о четко проведенном разделении объективного бытия и познающего сознания; известный афоризм: «Быть — значит быть для сознания» — характеризует в данном случае ситуацию наиболее полно и точно. Эпистемология как приоткрывавшаяся сознанию энергия тяготения сущего к форме входит в тот же ряд.

На протяжении двенадцати лет, с 1766-го по 1778 год, в Петербурге работал над памятником Петру Первому скульптор Этьен Морис Фальконе. Мало какое произведение искусства той эпохи имеет столь полно документированную творческую историю, как этот монумент. Переписка скульптора с Дидро и с Екатериной II, разъяснения по поводу замысла памятника, представлявшиеся автором русскому правительству, сочинения Фальконе с изложением его общих эстетических воззрений, документированные реакции первых зрителей дают нам возможность отчетливо представить себе движение мысли скульптора

и в этом смысле процесс его творчества. Но только до определенного момента. С весны 1770 года Фальконе начинает обтачивать грандиозный валун, доставленный ему из окрестностей столицы, для будущего постамента. Ни одно из действий скульптора ни до, ни после этого времени, ни в процессе работы, ни, особенно, впоследствии при оценке ее результатов не вызывало столько ожесточенной критики. Во многом именно сокращение размеров постамента явилось последней каплей, переполнившей чашу терпения русского правительства и вынудившей художника оставить накануне завершения работу, с которой были связаны все его расчеты на общеевропейскую славу, почет, богатство и имя в потомстве. Упорно, не слушая никого и ничего, как бы подчиняясь внутреннему, ему одному внятному голосу, он сокращал высоту и ширину постамента, наращивая за этот счет его длину. Куски скалы, отпиленные от верхней части, приставлялись к основанию спереди и сзади, отчетливо придавая камню силуэт волны. Гребень ее, на котором высилась конная статуя императора, устремлялся вперед — туда, где «река неслася». Мифология Петербурга, в основе которой лежало пророчество о грядущей гибели преступного, вопреки природе и совести, на костях и трупах основанного города под натиском взбунтовавшейся против гранитного ига водной стихии, в эту пору еще не существовала. Возникшие сразу после создания города образы ее жили до поры, до времени лишь в подсознании культуры и если материализовались, то в глухом полуподпольном старообрядческом фольклоре<sup>17</sup>. Фальконе они, безусловно, известны не были, а если бы даже каким-нибудь чудом и стали известны, у него просто не было органа для восприятия информации такого рода, как не было его и у всей культуры Просвещения. Ни в одном из документов времени об этой теме, насколько можно судить, нет ни слова<sup>18</sup>. Как, чтобы стать явным фактом культуры, эта стихия, потаенно ждавшая, пока ей откроют путь Пушкин, Лермонтов<sup>19</sup>, В. Ф. Одоевский, М. А. Дмитриев, Достоевский, Андрей Белый<sup>20</sup>, реально в эту пору в культуре еще не существовавшая, проникла в сознание — или, точнее, в подсознание — французского скульптора, автора рокайных «Амура и Психеи» или страстно католических изображений святых в парижской церкви святого Рока, совершенно неясно. Как вообще неясен механизм реализации того внутреннего, сокрытого импульса, который, по Аристотелю<sup>21</sup>, заложен в бытии и в культуре и «оказывается способным перейти в действительность» в акте энтелехии.

Сказанного мало. Царь, опоясанный мечом, «верный конь, копытом топчущий змею» и сам змей, издыхающий под копытами, совершенно ясно воплощают образ богатыря-змееборца, образ, известный из мифологии и фольклора многих стран, но известный нам после по-

лутора веков интенсивной работы географов, этнографов, антропологов, специалистов по религии и мифам или древним народам, непосредственно этот миф пережившим, но, по всему судя, решительно не могший быть известным французскому скульптору эпохи Просвещения. Если только не приписать слову «известный» некоторого дополнительного значения — что-то вроде: «ощущаемый художником через те глубины культурного подсознания, к которым человек, по видимому, всегда прикосновенен и которые ведут непрерывный диалог с конкретными и явными вполне «дневными» и «здесьними» порождениями его духа»<sup>22</sup>.

Идя по той же линии, в связи с Медным всадником можно сказать и еще больше. Тема водной стихии, неожиданно возникшая у скульптора без опоры на актуальный культурный опыт, внутренне закономерно увязывается с темой змея, но увязывается опять-таки не в идеологическом горизонте — здесь змеем был лишь эмблемой «ненависти и злобы, противодействующих предприятиям великих мужей»<sup>23</sup>, — а на основе архаического представления, распространенного у самых разных народов мира, о связи змея с дождем, потоком, разделением тверди и хляби. Даже если Фальконе знал об этой связи (по некоторым античным или ветхозаветным текстам), и переписка его на эту тему с Екатериной II, и общий характер культуры Просвещения, и личный склад мышления и таланта скульптора полностью исключают версию о сознательном введении им в памятник этого мотива. Перед нами все та же странная энтелехия мирового архаического видения, обретшего специфический смысл, форму, образное воплощение в конкретных исторических условиях, но так, что за непосредственно данными смыслом и формой, за дневным горизонтом современной культуры угадывается ноосферическая глубина.

Такого рода объяснения соблазнительно отвести, сказав, что перед нами очередная универсалия — явление, давным-давно известное этнографам и никаких новых дополнительных толкований не требующее. Под универсалиями в этнографии (в отличие от философии) понимаются, как известно, образно-мифологические структуры, возникающие в сходном виде в различных этносах в силу их стадильной близости и потому не предполагающие ни контактной и никакой иной связи — вроде мифа об умирающем и воскресающем боге или мифа о мировом потопе. В ответ можно было бы сказать, что и универсалии сами по себе представляют весьма непростую проблему, но главное состоит даже не в этом, а в том, что явление энтелехии культуры выступает в разных сферах, и если одна из них, вроде обнаружившейся выше в связи с Медным всадником, действительно имеет отношение к реализации в духовных структурах Нового времени архетипического

содержания, то другая, не менее очевидная, связана с рецепциями высоких письменных культур в позднейшем историческом развитии, с проблемой наследия и в первую очередь с функционированием античной классической традиции в культуре Европы. Это все тот же механизм энтелехии культуры, но к архаике, к архетипам сознания и универсалиям если и имеющий, то, скорее всего, лишь весьма опосредованное касательство. Примеры, связанные с этой стороной дела, составляют заключительную часть настоящей работы, и к ним нам вскоре предстоит перейти.

Если приведенные выше соображения в определенной мере убедительны, то, по-видимому, имеются основания 1) признать существование такого явления, как энтелехия культуры; 2) убедиться в распространении его на разные сферы духовной жизни, среди которых обращают на себя внимание по крайней мере две — «архетипическая» и, как мы вскоре надеемся подтвердить, «античная»; 3) констатировать, что явление энтелехии культуры не только выражает установку воспринимającego сознания, но и отражает определенные объективные свойства самой исходной материи — заложенную в ней «возможность перейти в действительность», по Аристотелю; 4) отметить «музыкальный», логико-аналитически и объективно-рационально не полностью объяснимый характер разбираемого явления.

Последнее обстоятельство не только не исключает необходимости научного уяснения энтелехии этого типа, но, напротив, предполагает его и делает такое объяснение особенно актуальным. Дело в том, что происходящая на наших глазах переориентация общественно-исторического познания от исследования закономерностей общественного развития в их преимущественно социально-экономических и политико-идеологических основаниях и, главное, в их отвлеченности от неупорядоченного гула жизни, в их непреложности и чистоте к познанию тех же закономерностей в их реальном воплощении в бесконечно многообразной подвижности жизни, людей, привычек, навыков мышления и поведения привела к тому, что история и культура предстали перед исследователем в ином свете — в виде «истории *неявного, имплицитного... истории диффузного и размытого*, истории, хронологические рамки которой неопределенны» (курсив автора. — Г. К.)<sup>24</sup>. Положение это нередко воспринимается как основание для отказа от научной строгости исследования, поскольку неявное и имплицитное, диффузное и размытое неадекватно традиционным методам научного познания, основанным на логике и анализе. Такой вывод неверен прежде всего потому, что сама наука даже в своих наиболее строгих естественно-научных формах столкнулась с той же проблемой и все активнее и успешнее вырабатывает сегодня собственно научные — хотя



далеко не традиционные — методы ее решения<sup>25</sup>. Если они в принципе возможны, то почему не в интересующей нас сфере? Такой вывод недопустим, далее, потому, что верификация как обязательная черта науки есть единственный путь к утверждению общезначимости истины, а без этого принципа человеческое общество перестает функционировать как общество и познание лишается смысла, утрачивает критерии и ориентиры. Наука, наконец, как известно, была и остается основой европейского типа культуры и важнейшим отличительным признаком этой культурной традиции. Нигилизм по отношению к ней есть «пораженчество гуманизма»<sup>26</sup> и равносильен духовному самоубийству. Разбор избранной нами темы предполагает поиск путей распространения на проблему энтелехии культуры научных, верифицируемых, методов исследования, хотя бы пока что на уровне предварительной классификации и анализа примеров.

Для начала обратим внимание на то, как конкретно-исторически входит энтелехия культуры в трехчастную классификацию культурных взаимодействий («диалогов культур»), содержащуюся в исходной для нашего анализа статье П. Флоренского: «поверхностно-случайное подражание» — «исторические взаимодействия» — «дух культуры» и «веяние музыки ее». Примером может послужить одно существенное обстоятельство жизни и творчества Пушкина. 29 или 30 сентября 1836 г. поэт вместе с женой посетил петербургскую Академию художеств. Знакомясь со студенческими работами, он обратил внимание на скульптуры Н. С. Пименова «Юноша, играющий в бабки» и А. В. Логановского «Юноша, играющий в свайку», воскликнув: «Слава Богу! Наконец и скульптура в России явилась народная». Свое впечатление Пушкин отразил в двух известных четверостишиях. Оба они написаны в элегических дистихах, что сообщает им (вместе с некоторыми лексическими и образными особенностями) античный колорит, на уровне восприятия времени никак не сочетавшийся с колоритом народно-русским, выглядевший как дань многочисленным античным стилизациям, столь характерным для литературы начала XIX в., и в этом смысле — как «случайное подражание».

За ним, однако, легко угадывается углубляющее и дополняющее его «историческое взаимодействие» — следующая ступень в движении культурных смыслов. В последние годы жизни Пушкин так глубоко, как никогда ранее, погружается в атмосферу античности. Если за пять лет с 1827-го по 1831-й из 185 написанных им в эти годы текстов с античностью связаны 4, т. е. 2%, то за следующее, последнее, пятилетие 1832–1836-го процент этот возрастает более чем десятикратно и составляет 25% (21 текст из 87). В их числе такие жизненно важные для Пушкина стихотворения, как «Я памятник себе воз-

двиг...» с двумя первыми строфами, варьирующими оду Горация III, 30, и «Из Пиндемонти»<sup>27</sup>. Это погружение в античность происходит на фоне общеевропейского процесса переориентации художественного творчества и общественно-философской мысли от антично-риторической, наднациональной и «надэкзистенциальной» тональности, столь характерной для двух-трех предшествующих столетий, к художественному, философскому и научному исследованию народно-национальных начал исторического процесса, жизни и труда простых людей. Пушкин, как известно, был целиком включен и в этот процесс, так что противоречие между народно-национальным содержанием обоих четверостиший и их антично-антологической формой начинает выражать «историческое взаимодействие» между двумя кардинальными тенденциями культуры времени, в зримой психологически и человечески конкретной форме воплощенное в творчестве Пушкина 30-х годов и объясняющее в нем очень многое.

Возможно, однако, и дальнейшее углубление рассматриваемой ситуации. Р. Якобсон в своей известной работе о статуях у Пушкина<sup>28</sup> убедительно показал, что в последние годы жизни у поэта начинает явственно проступать отношение к статуе как к идолу, своеобразному истукану, соотносённому с колдовскими потусторонними силами, враждебному живому человеку и в конечном счете губящему его. Таков Каменный гость, таковы Медный всадник и, в известном смысле, Золотой петушок. Подобное отношение к статуеросло из православной традиции. «Именно православная традиция, которая сурово осуждала искусство скульптуры, не допускала его в храмы и понимала его как языческий или сатанинский порок (эти два понятия для церкви были равнозначны), внушила Пушкину прочную ассоциацию статуй с идолопоклонством, с сатанинскими силами, с колдовством»<sup>29</sup>. В некоторых отношениях суждение это требует ограничений: «сатанинская сила» Золотого петушка воспринимается поэтом с явной иронией, а в «Медном всаднике» Петр живет не только в финальных сценах, но и во введении, представляющем собой подлинный светлый и живописный гимн Петербургу и его создателю. Но в самом своем существе приведенное наблюдение справедливо. Только важно понять, что импульсы отношения к скульптуре в духе ортодоксального православия возникали не из конкретных влияний конкретных произведений или событий, не представляли собой сознательно выработанную стройную теорию — для такого заключения как будто нет документальных оснований: античные увлечения Пушкина, о которых упомянуто выше, его связи с мировой культурой вообще («Маленькие трагедии», терцины, «Сцены из рыцарских времен») и с «безбожным» XVIII веком в частности («К вельможе»), его тонкая ирония по отношению к мистиче-

ским веяниям всякого рода (эпиграфы к «Пиковой даме») не только оставались свойствами его таланта и творчества, но кое в чем, как мы видели, и усилились, — а как бы сгушались из духовной атмосферы этих лет, в которой вызревал новый язык нескольких грядущих поколений: религиозный православный пафос ранних славянофилов, Гоголя и Достоевского, религиозно-философского ренессанса рубежа века. Перед нами третья форма диалога культур — энтелехия духовно-исторической субстанции, как бы зримо осуществляющаяся в творческом подсознании поэта.

Кроме способности занимать определенное место в градации форм культурного взаимодействия энтелехии культуры присуще еще по крайней мере три свойства, дающие, по-видимому, возможность описать ее как более или менее устойчивую объективную структуру.

*Первое* состоит в том, что культурный импульс, поступающий извне в духовную субстанцию времени и обретающий в ней конкретно-историческую форму, не имеет определенного, точно выявляемого источника (в отличие от первых двух форм культурного взаимодействия, от подражаний и «исторических воздействий», где такой источник, как правило, есть). Вернее, такой источник (или такие источники) может иногда быть указан, но сохраняется явственное ощущение, что суть дела не в нем. Так, неоклассицизм, образующий тонкую пряную субстанцию русского модерна в первый период его существования, может быть, разумеется, связан, если речь идет об архитектуре, с определенной линией в эклектике 1860–1880-х годов, если речь идет о музыке — с определенными тенденциями, выявившимися уже в рамках романтизма у Франка и постромантизма — хотя бы у Дебюсси, если речь идет о поэзии — с французским Парнасом. Но вполне очевидно, что существо возникающего явления несравненно шире, лежит в какой-то другой плоскости и такого рода генетикой удовлетворительно объяснено быть не может. Здесь приходится иметь дело, скорее, с «чувством античности», жившим всегда в недрах европейской культуры, которое, сгустившись в умонастроение времени и обрета в нем конкретно-историческую форму, переживает свою очередную энтелехию. Возвести это чувство в его общекультурной значимости непосредственно и прямо к Парфенону или Колизею, Поликлету или Скопасу, к Цицерону или Горацию не представляется возможным. «Широкий путь аполлонизма, — писал в эти годы Н. Гумилев, — не может совпасть с легкой, утоптанной школьными учителями всех веков дорожкой, ведущей к Парнасу и в холодные академические кумирни»<sup>39</sup>.

*Вторая* отличительная черта культурных феноменов, возникающих из энтелехии более широких и длительных культурных состояний, заключается в том, что они характеризуют не столько мировоззрение

и творчество художника, мыслителя, общественного деятеля, сколько мироощущение круга, социума, времени, настроение и тон, сквозящие в фактах культуры, скорее, чем сами эти факты. То же «чувство античности», ожившее в России на рубеже XIX–XX вв., отлилось в явления, в реальной жизни мало друг с другом связанные или не связанные совсем, не образующие общего идеологического течения, а как бы просвечивающие в единой ткани культуры. Новое открытие екатеринински-александровско-пушкинского антично-классического Петербурга в статьях А. Бенуа или в книгах Г. Лукомского — и мемуары близкой к круту Бердяева Е. К. Герцык, озаглавленные «Мой Рим»; «Камень» О. Мандельштама, в котором пресса сразу различила «медь торжественной латыни» и «идею Вечно о города, цезарского и папского Рима»<sup>31</sup>, — и стилизованно «античные» усадебные постройки И. Фомина, московские особняки И. Желтовского или братьев Весниных; оживление старинной контрверзы «классический Петербург — православная Москва» — и античные ассоциации у сергиев-посадских авторов от В. Эрн<sup>32</sup> до, как мы видели, П. Флоренского — все это явления, на уровне формо- или даже стилеобразования не имеющие между собой почти ничего общего, глубоко различные по типу людей, сферам их общения, их происхождению, социально-политическим ориентациям — и тем не менее равно соотносящиеся с реминисцентно эгегическим, антично-классическим и классицистическим веянием, разлившимся в эти годы по русской культуре.

Характер этих веяний выступает особенно отчетливо при сопоставлении с явлениями иного плана, также связанными с античностью, также распространенными в те годы и также существенными для атмосферы времени, но основанными на специальных познаниях, возводимыми к определенным источникам и в принципе допускающими верификацию — такими, как посвященные дионисийской теме работы Вяч. Иванова или «Кризис искусства» Н. Бердяева, а в области искусства — полотна К. Богаевского или «Киммерийские сумерки» М. Волошина. Здесь перед нами форма отражения и познания прошлого, научная или художественная, тогда как энтелехия античного начала в духовной жизни эпохи есть форма переживания настоящего, которое впитало в себя, по себе ее модифицировав, античную субстанцию культуры, окрасилось ею и сделало ее собой.

Для понимания такой природы культурной и художественной энтелехии много даст посвященное этой теме и написанное в те же годы письмо известного австрийского композитора Густава Малера<sup>33</sup>. В произведениях искусства автор различает их рационально постижимый, могущий быть описанным и словесно выраженным, элемент, который при этом «почти всегда не основное, но, скорее, лишь покров,

окутывающий их подлинный облик». Этот элемент может составить — и обычно составляет — предмет разъяснений, комментариев и толкований, ибо здесь «рациональное преобладает над художественно-бессознательным», и художник «не достиг еще ясности или, вернее, *полноты* постижения» (курсив Малера. — Г. К.). Между тем эта полнота есть то ядро, та сущность и конечная цель художественного произведения, которая раскрывается после «освобождения от плоти земной приблизительности» как «непреходящее, что пребывает за всеми явлениями... но чего описать нельзя», и достигается она, эта полнота, «через многочисленные энтелехии низшего и высшего порядка». Сущность искусства, таким образом, представляет собой конечную энтелехию постепенно ведущих к ней энтелехий низшего порядка, в которых все рациональное, словесно выразимое и тем самым «приблизительное» мало-помалу переплавляется в некую «полноту», переживаемую, непреложную и невыговариваемую, и в ней обретает форму, которая, вопреки привычным ассоциациям, что связываются у нас с этим словом, живет не в рационально-конечном, а в художественном и потому «неописуемом» спектре сознания<sup>34</sup>.

Наконец, *третья* особенность, которая отличает феномены культуры, возникшие из энтелехии более широких и как бы разреженных культурных субстанций, состоит в том, что эти феномены очень скоро перестают восприниматься в качестве изначально инородных, полностью усваиваются данной национальной традицией и становятся ее органической составной частью, в противном же случае утрачивают черты и характер энтелехии и не могут рассматриваться в качестве таковой. Так, дальнейшая эволюция антично-классицистического начала, столь глубоко, полно и ярко жившего в русском искусстве на самом рубеже веков и еще несколько лет спустя, вскоре приводит к утрате живой связи русской культуры с собственно античной или антично-петербургской тональностью как целым и к превращению ее элементов в некоторый художественный инвентарь времени — выразительный, точный, научно обоснованный, но используемый для создания произведений, с былой энтелехией античной атмосферы имеющий мало общего. Особенно отчетливо предстает этот процесс в области архитектуры. Специалисты давно уже пришли к необходимости различать в истории архитектурного неоклассицизма Серебряного века два по внутреннему смыслу совсем разных периода<sup>35</sup>. Граница между ними ощущается где-то около 1908—1910 гг.<sup>36</sup>, хотя, как всегда в искусстве, она не может быть абсолютно жесткой. Элементов ордера, арок, своим повторением создающих определенный ритм, классических фронтонов после этой границы становится не меньше, а, пожалуй, даже и больше; ассоциации с конкретными мотивами древнеримских или паллади-

евских сооружений выступают отчетливее. Перед нами определенный стиль — стиль времени, живущего в своих ритмах, своими образами и масштабами и внутренне, в культурной глубине не испытывающего потребности в новом переживании античной простоты, человекообразности и эстетической ясности. И «классикой» (или «неоклассикой», «неоклассицизмом») этот стиль называется лишь потому и лишь в той мере, в какой он использует *элементы* классической архитектурной традиции для своих целей. Если ограничиться только Москвой, то сказанное хорошо иллюстрируют такие, например, здания, как торговый дом на Кузнецком мосту (№ 12, арх. А. Эрихсон, 1912 г.), дом товарищества «Треугольник» на Маросейке (№ 12, арх. М. Лелявич, 1916 г.) или Киевский вокзал (арх. И. Рерберг и др., 1917 г.). Ни о какой энтелехии античного чувства формы здесь говорить не приходится.

Напротив того, в системе раннего модерна, с его романтизацией былых эпох, элегическим переживанием утонченной и духовно аристократической русской старины, с ее особым эстетизмом, античные мотивы получают живой, ясный и историко-культурно актуальный смысл. В атмосфере все громче заявляющего о себе купечески-капиталистического стиля существования, на фоне распада и ухода в ретроспекции все поэтичнее выглядевшего дворянски-усадебного быта античная форма, полностью внеположенная всему буржуазному и промышленному, всему хищно напряженному или духовно переусложненному, пронизанная отлившимися в пластику воспоминаниями о ее былых энтелехиях — палладиевских, россиевских, казаковских, — становилась отчетливым и внутренне мотивированным выражением наступавшего Серебряного века в самой ранней и самой интеллигентски утонченной его фазе. Здесь еще нет «неоклассического стиля»; есть стилизация — зримое, почти физически ощутимое вхождение одной культурной сущности — традиции античности, в другую — в исторически определенный образ времени, сущностей, наглядно переживающих энтелехию — одна через другую и одна в другой.

С этой точки зрения очень показателен характерный для архитектуры данного типа мотив ротонды — угловой, но нередко отмечающей также центр фасада. Косвенно восходя к круглым храмам и некоторым надгробным сооружениям Древнего Рима, такие ротонды ассоциировались не столько с самой античностью либо с ее ренессансными или классицистическими отражениями, сколько с ее образом, переработанным в национальной традиции, — «с русской античностью» и представленным в таких сооружениях, как дом Шереметьевых на Воздвиженке в Москве, казаковский Архиерейский дом в Кремле или так называемая «Уткина дача» на Малой Охте в Петербурге. Особый

колорит придавало этому образу то обстоятельство, что в ту же аристократически-усадебную эру ротонды особенно широко использовались в парковых и расположенных на лоне природы загородных сооружениях (павильоны Аничкова дворца или Елагина дворца в Петербурге, Нескучного, Горок или Быкова под Москвой). В результате просвечивавшая сквозь такую архитектуру античность оказывалась осложненной не только ассоциациями с историей западноевропейской культуры, но, прежде всего, с элегически пережитыми воспоминаниями о русской классике как о воплощении гармонии, спокойствия, человеко-размерной красоты и культуры. Таковы хрестоматийные произведения «антикизирующего модерна» в Москве: особняк Миндовского на углу Мертвого и Староконюшенного переулков (арх. Н. Лазарев, 1906 г.), замечательная городская усадьба Второвых за Спасопесковским сквером (арх. В. Адамович и В. Маят, 1913 г.), поднятая над первым этажом угловая ротонда Высших женских курсов на Малой Пироговской улице (арх. С. Соловьев, 1913 г.) и даже миниатюрная ротонда, наложенная братьями Весниными на фасад особняка, построенного ими все в том же 1913 году в начале Первой Мещанской улицы. Явление органически вошло в национальную традицию и культурный контекст времени, стало модификацией античности без воспроизведения чего бы то ни было буквально античного, что и заставляет видеть в нем нечто иное, чем заимствование или результат непосредственных исторических контактов, — заставляет видеть в нем собственно эллексию культуры.

Тем более показательно дальнейшее развитие этого мотива. Во втором десятилетии двадцатого века, как отмечалось выше, культурное умоностроение общества меняется, на первый план выходят такие ценности, как созидательная мощь миропреобразующей деятельности, рациональная ясность, энергия и воля. Архитектурно-строительный опыт отобрал и закрепил ряд приемов и мотивов, в числе которых оказались и античные реминисценции. Но в изменившейся атмосфере они утрачивают былой денотат, не обретая нового, то есть перестают быть знаком и становятся приемом. Фасад здания Азовско-Донского банка, например, построенного в 1908–1909 гг. на Большой Морской улице в Петербурге таким выдающимся мастером, как Ф. Лидваль, представляет собой подлинный каталог приемов и форм античной (и антикизирующей) архитектуры. Но никакого «переживания античности» этот фасад не вызывает и, по замыслу архитектора, явно и не должен вызывать. Соответственно и ротонда полностью утрачивает свой былой знаковый смысл, поднимается на верхние этажи огромных доходных домов и, несмотря на сохранение ордерных полуколонн, модулонов и других античных аксессуаров, превращается в обыкновен-

ный, культурно-исторически нейтральный эркер. Примеры такого рода сооружений бесчисленны — хотя бы дом в конце Большой Дмитровки напротив Университетской типографии, построенный в 1911 г. архитектором Барковым.

Такого рода энтелехии, полностью амальгамированные местной культурной традицией, встречаются в истории неоднократно. Значение их для культуры и для ее познания состоит между прочим в том, что они позволяют ограничить поле так называемых заимствований, уточнить их характер и не преувеличивать их роль в диалоге культур. В энтелехии мировое непосредственно обретается в национальном; материальный контакт того и другого на уровне влияний и заимствований возможен, но не является ни обязательным, ни главным; диалог культур оказывается здесь снятым — он есть, раз происходит взаимодействие разнородных сущностей, и его уже нет, поскольку их разнородность уступает место единству.

1993

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Флоренский П. Троице-Сергиева лавра и Россия // Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991, с. 275.

<sup>2</sup> Там же, с. 276.

<sup>3</sup> Понятие диалога, «вечной безмолвной беседы», распространяется автором также на икону Троицы Андрея Рублева и вообще является одним из ключевых понятий разбираемой статьи.

<sup>4</sup> См.: Аристотель. Метафизика, IX, 2.

<sup>5</sup> Он же. О душе, II, I, 412 а.

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Он же. Метафизика, IX, 7, 1049 а.

<sup>8</sup> Husserl E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transcendentale Phänomenologie // Husserliana, Bd VI. Haag, 1954, S. 321.

<sup>9</sup> Телос (греч. τέλος) — цель как предмет и предел стремлений, как свершение и завершение.

<sup>10</sup> Husserl E. Die Krisis..., S. 321.

<sup>11</sup> У Аристотеля не до конца ясными остаются отношения между энтелехией и энергией (Метафизика, IX, 3, 1047 а). Лейбниц явно и не ставит своей задачей перевод обсуждаемых им в «Монадологии» величин в рационально-логическую очевидность. Гуссерль, некогда сказавший: «Мы никогда не допустим, что психологически возможно то, что логически или геометрически является нелепым» (см.:



Шестов Л. Памяти великого философа. Эдмунд Гуссерль // Вопросы философии, 1989, № 1, с. 149), обосновывает свое понимание энтелехии ссылками на чисто психологическое переживание — на «чувство» и к тому же «смутное» (*Husserl E. Die Krisis...*, S. 320). Особенно остро ощущал «музыкальную» природу энтелехии П. А. Флоренский, определивший ее, в частности (в цитированном выше тексте), как «сверхэмпирическую, выше-умную духовную сущность».

<sup>12</sup> Выражение В. Н. Топорова.

<sup>13</sup> «Метафизика обосновывает эпоху определенным истолкованием сущего и определенной концепцией истины, подводя основание под ее сущностный образ» (курсив мой. — Г. К.). М. Хайдеггер. Время картины мира // Новая технократическая волна на Западе. АН СССР, Ин-т философии. М., 1986, с. 93.

<sup>14</sup> Кнабе Г. С. Внутренние формы культуры // ДИ, 1980, № 1.

<sup>15</sup> Барт Р. Воображение знака // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.

<sup>16</sup> Marcel G. Essai de philosophie concrète. Paris, 1967.

<sup>17</sup> См. один из рассказов у М. И. Пыляева («Старый Петербург». СПб., 1889, с. 110—111).

<sup>18</sup> Дидро предлагал скульптору соорудить постамент так, чтобы из его «трещин изливалась прозрачная вода», но смысл этого предложения не имел ничего общего с «бунтом стихий»; Фальконе его сразу же отверг и никогда больше к этой идее не возвращался.

<sup>19</sup> Имеется в виду рассказ В. А. Соллогуба о том, что Лермонтов неоднократно рисовал вид бушующих морских волн, из которых поднимается ангел, венчающий Александровскую колонну. См.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1964, с. 277.

<sup>20</sup> Материал этот суммирован в «Душе Петербурга» Н. П. Анциферова. См.: Анциферов Н. П. Непостижимый город... [Л.]: Лениздат, 1991, с. 64 и след.

<sup>21</sup> См. примеч. 7.

<sup>22</sup> Нет оснований воспринимать это положение в духе Юнга — как доказательство сосуществования «сознания» и «архетипических» слоев психики, поскольку для Юнга архетип всегда связан с разрушительным антикультурным началом, демоническую сущность которого призван вуалировать миф как феномен культуры (см., например, его программную работу «Об архетипах коллективного бессознательного» (1934) в кн.: Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991, с. 97—128). К проблеме, обсуждаемой на данных страницах, такая постановка вопроса явно никакого отношения не имеет. Если уж нужны указания на прецеденты, то их роль, скорее, может сыграть известная работа Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского «Миф — имя — культура»: «Именно гетерогенный характер нашего мышле-

ния помогает нам в конструировании мифологического сознания опереться на наш внутренний опыт. В некотором смысле понимание мифологии равносильно припоминанию» (Труды по знаковым системам, вып. VI. Тарту, 1973, с. 293).

<sup>23</sup> Из современного отзыва. См.: *Каганович А.* «Медный всадник». История создания монумента. Л., 1975, с. 90.

<sup>24</sup> Из программной статьи Ж. Ле Гоффа «С небес на землю». См.: *Одиссей. — Человек в истории. Культурно-антропологическая история сегодня.* М., 1991, с. 30. Этот выпуск «Одиссея» в целом посвящен описанному нами современному направлению исторической науки и содержит ряд программных материалов, его касающихся. Необходимость научной «строгой верификации всех действий историка» в рамках этого направления подчеркнута в материалах сборника, и в частности в передовой статье: *Ю. Л. Бессмертный.* «Анналы»: переломный этап // там же, с. 12.

<sup>25</sup> См. *Пригожин И.* Новый союз науки и культуры // *Курьер ЮНЕСКО*, 1988, № 6; *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. М., 1986, с. 11—66.

<sup>26</sup> Этим выражением — *ein Defaitist der Humanität* — Томас Манн охарактеризовал Освальда Шпенглера, познакомившись с его «Закатом Европы». См.: *Манн Т.* Собр. соч. т. IX. М., 1960, с. 613. Гораздо выразительнее — в немецком подлиннике: *Manu Th. Gesammelte Werke*, Bd XI. Berlin, 1955, S. 168.

<sup>27</sup> О связи этого стихотворения с одой Горация I, I см.: *Кибальник С. А.* О стихотворении «Из Пиндемонти» (Пушкин и Гораций) // *Временник Пушкинской комиссии* 1979. Л., 1982, с. 147—156.

<sup>28</sup> *Якобсон Р.* Статуя в поэтической мифологии Пушкина (1937) // *Роман Якобсон.* Работы по поэтике. М., 1987, с. 145—180.

<sup>29</sup> *Якобсон Р.* Статуя в поэтической мифологии..., с. 173.

<sup>30</sup> Аполлон, 1909, № 1, с. 3. Цит. по кн.: *Левая Т.* Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. М., 1991, с. 74.

<sup>31</sup> Рецензии на издание «Камня» 1915 г. собраны в кн.: *Осип Мандельштам.* Камень. Л., 1990, с. 218—240. См. с. 219, 222.

<sup>32</sup> Имеются в виду «Письма о христианском Риме» В. Эрнэ, печатавшиеся в 1912—1913 гг. в сергиево-посадском «Богословском вестнике». Некоторые из них были недавно воспроизведены в журнале «Наше наследие», 1991, № 2, с. 117—135.

<sup>33</sup> Альме Малер, июнь 1909 г. *Малер Г.* Письма. Воспоминания. М., 1964, с. 300—303. Указанием на это письмо я обязан известному исследователю творчества Малера И. А. Барсовой.

<sup>34</sup> Надо сказать, что это понимание интересующего нас термина, высказанное Малером в связи с толкованием заключительных стихов «Фауста» и потому как бы в виде комментария к гётевскому пониманию энтелехии, с восприятием энтелехии самим Гёте ничего об-

щего не имеет. См. *Эккерман И. П.* Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М.; Л., 1934, с. 474, 503, 759 и классический комментарий А. Бельшовского: *Bielschowsky A.* Goethe. Sein Leben und seine Werke, Bd 2. München, 1907, S. 91.

<sup>35</sup> Противоположность раннего, «романтического», и позднего, «классицистического» («индустриального», «авангардистского»), этапов в культуре модерна самоочевидна. Ср. статьи А. Блока «О современном состоянии русского символизма» и «Без божества, без вдохновенья» — *Турков А.* Александр Блок. М., 1969, с. 177—183; *Левая Т.* Русская музыка..., с. 3—14 и мн. др. Нижеследующий анализ исходит из той же противоположности. Недавно она была еще раз обстоятельно проанализирована в книге: *Ревзин Г. И.* Неоклассицизм в русской архитектуре начала XX века. М., 1992, с. 69 и след. Из этой работы заимствованы многие приводимые ниже примеры.

<sup>36</sup> См., в частности: *Борисова Е. А., Каждан Т. П.* Русская архитектура конца XIX — начала XX века. М., 1971.

---

# ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА И НАУКА О КУЛЬТУРЕ

## Проблемы, перспективы и трудности

В первые послевоенные десятилетия в изучении общественной и исторической жизни сложились многочисленные направления, принципиально отличные от тех, что определяли практику исторических исследований и теорию исторического процесса на протяжении предшествующего столетия. Направления эти взаимосвязаны, дополняют друг друга и имеют общий исток, что дает основания рассматривать их как части единой системы — специфической системы общественно-исторического познания второй половины XX века. Примечательная черта этой системы состоит, в частности, в том, что познание истории в большой степени превращается здесь в познание культуры в особом, необычно широком значении этого последнего слова — значении, о котором подробно чуть ниже. Как любая система научных взглядов, данная система — двойственного происхождения: диахронного, ибо порождена предшествующим развитием знаний в данной специальной области, и синхронного, поскольку обусловлена своим культурным и жизненным контекстом.

Проблема, составившая основу *диахронного развития* общественно-исторического познания, начиная примерно с 1850 г. вплоть до примерно 1950 г., и переданная нашему времени, когда она приобрела особые контуры и особую актуальность, впервые обозначилась во второй четверти прошлого столетия. Она состояла, как известно, в том, чтобы сделать предметом научного, философского, художественного исследования не одни лишь крупномасштабные события, войны и революции, деятельность правителей и героев, а в первую очередь — жизнь общественных классов, групп, отдельных обычных людей — их социально-историческое поведение и утверждение собственных ценностей (от историков Реставрации до социологов школы Э. Дюркгейма), их хозяйственную и производственную деятельность (от К. Маркса до С. Булгакова), условия труда и быта (от И. Забелина до Ю. Кучинского), их экзистенцию и отношения с Богом (от С. Кьеркегора до Г. Марселя). Не случайно XIX столетие заканчивается распространением в обществе и в науке особой духовной атмосферы, неточно, но выразительно обозначаемой обычно как философия жизни (или даже «философия Жизни»).

Независимо от научной ценности каждого из указанных направлений и весомости достигнутых результатов в этом движении в целом реализовалось главное содержание поступательного развития науки — неуклонное приближение познающего мышления к объекту, рассмотрение дейст-

вительности во все большей ее конкретности, дифференцированности, индивидуальности. Эволюция общественно-исторического познания, начавшаяся во второй четверти прошлого века и приведшая в конечном счете к особым, трансформированным формам этого познания, характерным для нашей современности, порождена поступательным развитием науки, принадлежит ему и подлежит оценке по его критериям.

В определенных выше хронологических рамках, однако, эта эволюция не могла развернуть все заложенные в ней возможности: человеческая деятельность во всех ее разновидностях и жизнь народов, личностей и масс стала предметом внимания, интереса и изучения, но рассматривалась она в ее экономических, политических, духовных результатах и обобщениях и описывалась в широких социально-классовых, идеологических, культурно-национальных категориях, человек же как таковой либо растворялся в этих категориях, либо, взятый вне их, представлял в художественном сознании времени как аутсайдер и одиночка, романтический чужак или непонятый художник, бунтарь и бродяга. Описанная выше эволюция смогла дойти до своего логического конца, породить новое состояние культуры и новые формы общественного познания лишь в атмосфере послевоенного мира XX века.

Эта атмосфера, образующая *синхронный контекст* современного общественно-исторического познания, сложилась в 1950-е и главным образом в 1960-е годы, когда в ходе послевоенной реконструкции народного хозяйства был достигнут неслыханный ранее уровень производительных сил, позволивший создать новые формы жизни и культуры: легко сменяемую и знаково выразительную среду обитания, во многом автоматизированный труд, технически тиражируемое искусство, повышенную социальную подвижность — вертикальную и горизонтальную. Непосредственные импульсы к возникновению новой культурной атмосферы пришли из среды молодежи, составившей к этому времени небывало многочисленную часть общества и сознательно противопоставившей себя нормам жизни, ценностям и культуре «отцов». Противопоставление это, вскоре утратившее свой возрастной смысл и приобретшее смысл социокультурный, шло по многим линиям, но все они объединялись одной коренной глубинной дихотомией — Культуры и повседневности.

Обнаруженная мыслителями XIX века «Жизнь» перестала быть императивом и тезисом и воплотилась в материальной, осязаемой технико-экономической и политико-демографической реальности миллионов людей из плоти и крови, короче — стала жизнью «как она есть», еще короче — повседневностью. Соответственно, традиционная культура, всегда оперирующая обобщенными художественными образами и научными идеями и потому всегда возвышающаяся над эмпирической действительностью, была воспринята теперь как абстракция и результат отчужде-

ния, как часть истеблишмента и, следовательно, как противоположность главной ценностной сфере — неотчужденной духовности, воплощенной в повседневном существовании личностей и масс с растворенными в нем человекосоразмерными, простыми бытовыми культурными смыслами.

Эти перемены означали реабилитацию огромной области исторической действительности, бывшей и раньше частью этой действительности, но в эпоху монополизации культуры аристократическими кружками и респектабельными учеными, университетами и гимназиями, музеями и консерваториями в качестве таковой не осознававшейся, — реабилитацию повседневности для культуры. Выяснилось, что она тоже обладает духовным содержанием, тоже влияет на общественно-историческое поведение людей, что в этом смысле она тоже культура, хотя и не тождественная высокой культуре университетов и гимназий, музеев и консерваторий, но и неотделимая от нее. Грань между культурой и повседневностью, а тем самым между культурой общества и его текущей, «низовой» историей стала расплываться. Понадобилась наука о культуре как об особом модусе общественно-исторического бытия, охватывающем в их взаимопереплетении высокую Культуру, научную и художественную, с одной стороны, повседневность, привычки и верования, вкусы и убеждения, мифы и стереотипы, ее регулирующие, — с другой, во всей их противоречивости и нераздельности. И такая наука сложилась. Основы ее в американских университетах стали преподавать в виде особой учебной дисциплины, названной «современная цивилизация», в европейских ее чаще всего принято обозначать как культурную антропологию, у нас она получила наименование теории и истории культуры или культурологии.

Содержание этой науки и частные направления знания, ее образующие, во многом обусловлены ее выше отмеченным происхождением. Дело в том, что шестидесятнический пафос неотчужденной культуры сосредоточил внимание общества на неотчужденных сторонах и проявлениях истории и породила науку, направленную на описание и объяснение именно таких сторон и проявлений. Теоретические первоначала такой науки начали складываться еще в первой половине века в публикациях французского журнала «Анналы социальной и экономической истории», в теоретических разработках и конкретных исследованиях Л. П. Карсавина, у социологов, развивавших мысли Э. Гуссерля, переданные им потомству в предсмертных работах, объединяемых вокруг его «Кризиса европейских наук», в сочинениях упоминавшегося выше французского христианского экзистенциалиста Габриэля Марселя. Однако подлинный расцвет общественно-исторического и, соответственно, культурологического познания нового типа смог наступить лишь в описанной выше атмосфере шестидесятых годов.

Вначале — о школе «Анналов». Сегодня она представляет одно из самых влиятельных направлений в области теории исторического процесса и культуры. Не так давно в Москве состоялась международная конференция, ей посвященная. Первоначально несколько талантливых французских историков (преимущественно медиевистов), сгруппировавшихся вокруг журнала с этим названием: «Анналы: экономика—общества—цивилизации», видели свою задачу прежде всего в интердисциплинарном подходе к историческому материалу. Они хотели по-прежнему изучать историю с точки зрения социальной структуры общества, но ныне понимая эту структуру сквозь психологию участников событий; по-прежнему — с точки зрения экономики, но теперь неотрывно от влияния промышленного и технического развития на жизнь людей; семейные отношения и нравы — как и раньше, с учетом отражения исторического материала в культуре и искусстве, однако по-новому, через преломление его не столько в книгах, научных теориях, картинах или симфониях, сколько в массовом обыденном восприятии. Интердисциплинарность с необходимостью порождала принцип, который можно назвать «антропологическим». Целью становилось познание исторического процесса не извне, путем наложения сетки выработанных научных категорий на жизнь былых эпох, а изнутри — через человека, через проникновение в самосознание изучаемого времени, в его непосредственную фактуру, в повседневные условия существования.

«Ныне в центре исследовательской деятельности „Анналов“, — говорил один из участников московской конференции, — человек, его ментальность, повседневность, малые социально-психологические группы, причем все это рассматривается в историческом движении, в „смене парадигм“».

Необходимость взглянуть на мир былых эпох не только через современные научные теории, но и представить себе его в том виде, в каком он реально жил в сознании человека прошлого, породил понятие исторически изменчивой «картины мира». Рассмотрение такой «картины мира», то есть категорий времени, пространства, собственности, власти, права, семьи, дружбы, какими они существовали для людей определенной эпохи, посвящена теперь огромная литература.

В силу же общей «антропологической» тенденции возник и вопрос об изучении истории через реалии быта. Но легко было сказать: исследовать общественно-исторический процесс в его бытовой повседневности. А как? На основе каких источников? Быт — это вещи, привычки, пестрый сор повседневного существования. Что могут сказать стол и ботинки, обеденное меню или карточная игра в компании вечером о великих и грозных сдвигах в истории мира? Да и на каком языке они это скажут? Из необходимости обнаружить их «язык» родилась и наука о знаковой об-

щественно-исторической семантике бытовых реалий — семиотика материально-пространственной, предметной среды.

Если пытаться исследовать историю в человеке и через человека, то нельзя обойтись и без социальной психологии, без учета того, какую роль играли и до сих пор играют малые социальные коллективы, в которых живет человек. Именно они обуславливают его психологический тонус и тем самым формируют его общественные реакции; некогда то были община, цех, приход, сегодня — производственный коллектив, приятельский круг, семья, соседское окружение... Классовые, социальные импульсы — вовсе не абстракции, они становятся привычками, вкусами, полусознанными притяжениями и отталкиваниями, нормами и традициями, вошедшими в плоть и кровь, становятся, другими словами, историческим поведением, лишь преломившись в непосредственно окружающей людей микросреде.

«Антропологический» подход принимает сегодня всё новые формы. Стремительный взлет переживает историческая демография, и в первую очередь — наука о демографическом поведении, то есть о том, как неприметно складываются в узоры «большой истории» интимнейшие детали семейного быта — интенсивность супружеских отношений, ограничение рождаемости, детская смертность, разводы и измены. Все в большем числе возникают центры «устной истории»: из рассказов людей складывается стереоскопический образ времени, в котором случившееся предстает одновременно и как объективное событие, и как субъективное переживание каждого, дополняя и объясняя друг друга.

Вот вкратце комплекс идей и представлений, совершивших подлинный переворот в исторической науке.

Если на протяжении веков культура рассматривалась только как совокупность достижений в области искусства, науки и просвещения и, соответственно, виделась как бы написанной с большой буквы, то теперь, в охарактеризованном выше контексте, слово «культура» стало видется «с маленькой буквы», означать пеструю совокупность перечисленных сторон повседневной действительности, переживание этих сторон отдельными людьми, коллективами и социальными группами, общественно-историческое же познание все явственнее превращается в науку об исторической жизни «как она есть», включающей в себя культуру как ее порождение, ее язык и форму.

В описанных условиях новую актуальность приобретает то принципиальное противоречие между жизнью как объектом познания и наукой как средством познания, которое знали уже античные философы, над которым так долго билась философская мысль Нового времени от Декарта до Канта, а в более актуальной ныне форме — со времен Бергсона, Гус-



серля, Хайдеггера. Если употреблять слова не произвольно, а терминологически, под наукой приходится понимать вид познавательной деятельности, удовлетворяющий вполне определенным условиям. К ним относится, в частности, рассмотрение познаваемых объектов в их ряду, ибо только повторяемость позволяет выделить объединяющую их закономерность и проверить приложимость полученных выводов к новым случаям, т. е. эти выводы верифицировать; к ним относится, далее, упорядоченность объектов и рассмотрение их в системе, ибо логика, дискурсия и анализ как средства науки принципиально неадекватны самопроизвольно изменчивому, в каждое мгновение иному и потому неуловимому течению действительности; к ним относится, наконец, целевая установка на обнаружение истины, т. е. на объективную значимость выводов: момент ценности и, следовательно, субъективности исследователя здесь, по-видимому, неизбежен, но наука остается наукой до тех пор, пока забота о самовыражении и ценности отступает перед стремлением к объективности и истине.

Вполне очевидно, что там, где предметом познания становится индивид в его неповторимости, общественный человек во всей бесконечности его связей с окружающим, среда обитания и культуры в их непрестанной изменчивости — короче, «жизнь как она есть», выполнение означенных условий делается невозможным. Мыслители конца прошлого и начала нынешнего века, связанные с «философией жизни», могли справиться с этим противоречием потому, что «жизнь» была для них особой внебытовой сферой эмоционального самочувствия и художественной интуиции и неспособность науки адекватно познать эту сферу не мешала самой науке выполнять свои функции по обслуживанию реальной жизни общества. В послевоенном мире положение иное. Познанию подлежит та жизнь, которую реально ведут миллионы (если не миллиарды) людей, и результаты познания могут сказываться на этой жизни самым непосредственным, самым радикальным образом. Практическая обращенность современной социологии очевидна и общеизвестна; от проникновения в семиотические механизмы материально-пространственной среды зависят облик огромных городов, мемориальных зон и зон отдыха, прямо влияющих на самочувствие масс, а от адекватного понимания культурного смысла среды обитания — современная архитектура; культурное самочувствие целых народов и их политическое поведение связаны с тем, объективная истина или субъективная ценность преобладают в исследовании родной истории, не говоря уже о той роли, которую играют в век телевидения и видео конструируемые в соответствии с выводами научных исследований престиж, мода и имидж лидеров.

Наука, другими словами, подчиняясь внутренней логике своего развития от абстракции и обобщения к непосредственности и конкретности,

ощущает необходимость в ходе осуществления своих же задач признать ограниченность своих возможностей, выйти за собственные пределы, из верности самой себе отказываться от своих традиционных основоположений. Противоречие между наукой как средством исследования и «жизнью как она есть» как объектом исследования образует коренную апорию современного общественно-исторического и культурологического познания. Предошутив ее, Гегель тем не менее еще исходил из возможности разрешения ее в пределах «лишь разума», т. е. рационально-теоретическим путем: «Сама скука наук... — писал он в 1802 году, — должна была бы сделать невыносимой поверхностную экспансию и пробудить тоску мертвого богатства по капле живого огня, по сгустку живого созерцания и после того, как все мертвое давным-давно познано, тоску по познанию живого, доступного лишь разуму»<sup>1</sup>. В наши дни в силу отмеченных выше причин положение в корне изменилось, и, говоря о необходимости исследования жизни как потока и разомкнутой системы, о неуловимости экзистенции, самые значительные мыслители послевоенной эры откровенно или внутренне признают существование этой апории и исходят из нее. «То, чем является человек, лежит за пределами всякого исследования... Человек находит в себе то, что он нигде в мире не находит, нечто непознаваемое, недоказуемое, непредметное, нечто ускользающее от исследующих наук: свободу и все, что с ней связано»<sup>2</sup>.

Наука об обществе и ее работники сплошь да рядом оказываются перед выбором — либо отказываться от попыток соединения научного познания и реальной, текучей и зыбкой, повседневной жизни в качестве ее объекта, причем отказываться в пользу то одного, то другого из указанных полюсов, либо нащупать все-таки возможность их соединения, неизбежно жертвуя при этом целостностью и строгостью научного познания, но сохраняя верность его основам — прежде всего ответственности перед объективностью истины.

Первый, альтернативный, подход к указанной апории проявляется сегодня трояко.

В одном случае выход обнаруживается в том, чтобы из верности жизни в ее неуловимости и индивиду в его неповторимости в принципе отказаться от верифицируемости полученных выводов, а тем самым и вообще от критерия объективной истины. Роль теоретического обоснования и исходного тезиса при этом играет известное положение философии жизни: «истину нельзя доказать, истину можно только пережить». Результатом является особый тип научной активности, при котором процесс самовыражения и стилистическая убедительность становятся важнее аргументации и который обозначается иногда как «эстрадная наука». Недооценивать его не следует: обращаясь к широчайшим аудиториям, опираясь на их очень сильный сегодня интерес к теоретическим проблемам, такой

лектор восстанавливает давно утраченную академическими кругами прямую связь научной деятельности с состоянием общества, с его заботами и чаяниями, хотя жертвует при этом очень многим — незаинтересованностью в успехе и внутренней свободой ученого, спокойной самодостаточностью научных выводов, вообще серьезной научностью как таковой.

Один из крупнейших теоретиков описанного выше нового подхода к изучению культуры, с которым нам еще неоднократно придется встретиться в последующих материалах этой книги, Х. Г. Гадамер писал об этом так: «Насколько безусловно и однозначно владеет идея истины жизнью исследователя, настолько же ограничена и многозначна откровенность его выступлений. Исследователь обязан знать о воздействии своих слов и отвечать за него. Но демоническая оборотная сторона этой связи состоит в том, что, оглядываясь на воздействие своих слов, он впадает в искушение говорить и даже внушать самому себе как истину то, что в действительности диктует ему общественное мнение или интересы государственной власти»<sup>3</sup>.

В другом случае жизнь определяет научную деятельность таким образом, что постановка проблемы и подходы к ее решению целиком обусловлены прямой включенностью автора в непосредственные идеологические конфликты действительности в форме, ему субъективно наиболее близкой. В этом случае исследование (если его можно так назвать) начинается с установления исходного тезиса и состоит далее в подборе фактов, способных его подтвердить. Проблема верификации, а тем самым и научности здесь просто упраздняется, хотя у автора может сохраняться иллюзия, что упразднения здесь нет, а есть граждански достойное подчинение отвлеченной академической науки требованиям жизни.

Оба указанных подхода никак не решают основную апорию современного культурологического и — шире — общественно-исторического познания, поскольку означают, в сущности, отказ от принципа науки. Отказ же от него во имя погружения «в живую жизнь», выглядящий столь естественным и соблазнительным, категорически и абсолютно недопустим ни с какой точки зрения. Прежде всего — с точки зрения познания как определенной общественной потребности: указанная апория возникла из закономерного прогресса самой науки, составляет сегодня одно из его движущих противоречий, и отказ от принципа объективной науки, от объективности и обоснованности выводов, просто игнорирует проблему, вместо того чтобы ее решать. Отказ от верификации и тем самым от доказательности формулируемых положений недопустим, далее, с общественной точки зрения, так как делает любое объяснение общественных процессов, а следовательно, и основанные на таком объяснении нормы, эти процессы регулирующие, субъективными, произвольными и потому необязательными. Легкомысленно-нигилистическое отношение к

научной истине, наконец, убеждение в допустимости производить с ней любые манипуляции ради придания ей повышенной оригинальности, остроты и интереса, не говоря уже об извлечении из нее практической или идеологической выгоды, делает бесполезным и развращающим само существование научного сообщества и его структур, проведение обсуждений, дискуссий, вынесение заключений и оценок и т. д.

Не намного лучше, однако, и еще один, последний, из альтернативных подходов к проблеме апории. Он как бы противоположен первым двум и состоит в устранении из исследования всего, что не допускает прямой и четкой верификации, следовательно, всего определяющего столь многое, но трудно уловимого «воздуха» истории — чувств людей, атмосферы времени, подсознательных стимулов общественного поведения и т. д. Это — вариант позитивизма XIX века, который, однако, в поле современной культуры приобретает особый смысл: демонстративная верность прямым и очевидно доказуемым научным констатациям оплачивается отказом от выполнения задачи, диктуемой ходом развития самой науки, — отказом от проникновения в живую жизнь истории.

Кроме этих альтернативных подходов, которые, по-видимому, способны лишь подтвердить принципиальную неразрешимость описанной апории, современное общественно-историческое познание, в той мере, в какой оно представляет собой движение науки, не может не нащупывать свои выходы: апория действительно неразрешима, совмещение ее полюсов действительно невозможно, но возможно их сближение и превращение апории в одно из тех противоречий, без которых, как известно, нет вообще никакого развития. Таких нащупываемых выходов можно указать четыре. Не исключено, правда, что можно указать и гораздо больше.

**1. Историческая проза.** Прошлое дано нашему сознанию в виде очень редкого пунктира, где каждый штрих — событие или обстоятельство, зафиксированное в источниках, а промежутки между ними — та непосредственная повседневная жизнь, в которой реализуются наши мысли, чувства, реакции подсознания и которая сливает эти события и обстоятельства в единую непрерывную человеческую историю. Восстановление ее в виде точного слепок прошлого невозможно из-за сиюминутности этой «соединяющей» жизни и, значит, ее неуловимости. Можно попытаться найти такой исторический источник, в котором нашли бы себе отражение не только события, не только действия, поступки, высказывания персонажей, но сквозь них также запечатлевшаяся в этих действиях, поступках и высказываниях атмосфера исторической жизни, те внутренние ее параметры, которые связаны с переживанием социальной действительности или с моделями мировосприятия. О таком типе исторического исследования фактически идет речь в работе Б. Н. Миронова «Историк и социология» (Л., 1984), так написана одна из самых широко из-

вестных книг, вышедших из школы «Анналов», — «Монтайу» Эмманюэля Леруа-Ладюри, очерк жизни средневековой французской деревни.

Необходимые для такого исследования источники, однако, обнаруживаются чрезвычайно редко, только как исключение, и поиски выхода из апории направляются иногда в другую сторону. В силу той же неизбежной необходимости дополнять данные источников, «вчитывать» в них информацию, прямо и непосредственно в них не выраженную, в деятельности историка всегда есть не только реконструкция, но и частичное конструирование прошлого, а в его работе неизбежно присутствует элемент интуиции и воображения. Там, где этот элемент становится осознанным и приобретает самостоятельную ценность, результаты проделанной работы начинают тяготеть к форме исторического романа. Сегодняшняя установка на воссоздание повседневности и растворенных в ней культурных смыслов актуализует эту тягу, и наверное не случайно мы присутствуем при расцвете исторического романа, со времен Вальтера Скотта невиданном. Тенденция эта реализуется, однако, не столько в историческом романе как таковом, но прежде всего в особом виде научной исторической реконструкции, все шире распространяющемся и обозначаемом обычно как «историческая проза». Автор, глубоко и по-настоящему переживший общественный и культурный опыт второй половины XX века, несет в себе потребность видеть историю в ее человекосоразмерной повседневности, и потребность эта при тщательной, квалифицированной и добросовестной работе над источниками позволяет найти в них многое ранее незамеченное, проливающее свет на эту повседневность, и экстраполировать их данные на те сферы, куда свет не доходит. Грань между художественно создаваемой пластикой истории и научно воссоздаваемой ее структурой становится расплывчатой, а познание приближается к синтезу аналитического знания и целостного переживания. Так написано недавно изданное по-русски исследование американского историка Н. Дэвис «Возвращение Мартина Герра», так написаны страницы о морозном дне на Сенатской площади в художественном исследовании Н. Эйдельмана, посвященном И. И. Пущину, страницы о Нечаеве в романе Ю. Давыдова «Две связки писем».

**2. Метафора как прием исследования.** Та же «пунктирная» природа исторического материала неизменно ставит историка перед необходимостью характеризовать целое по весьма ограниченной его части. Считается, что это противоречие можно устранить, делая такую часть более объемной. Так, в жизни Древнего Рима на первую половину I в. до н. э. приходится культурный переворот, состоявший в переходе от староримской системы ценностей к общеантичной классике, окрашенной в эллинистические тона. Его можно характеризовать на основе сочинений Цицерона. Такая характеристика, однако, будет воспринята и самим иссле-

дователем, и критикой как слишком выборочная, односторонняя и потому недостаточная. Надо расширить круг источников, сделать «пунктир» более частым. Это можно (и нужно) сделать. Число источников можно довести до нескольких десятков. Но ведь людей, втянутых в этот переворот, видевших его на свой лад и раскрывавших определенные его стороны, были тысячи и десятки тысяч, то есть в основе научного построения все равно всегда остается метафора, логически необоснованная, — экстраполяция нескольких частных случаев на целое. В системе категориального знания этим живым многообразием можно было пренебречь и исходить из некоторой усредненно-равнодействующей общей закономерности. Но если жизнь, пережитая нами, направляет наш взгляд на жизнь, пережитую этими тысячами и десятками тысяч римских граждан, и в соответствии с ней строим мы свои исследовательские приемы, то не лучше ли, не естественнее ли, скажем прямо: не честнее ли выбрать одного человека, одну судьбу, одно происшествие, достаточно емкое, чтобы отразить суть времени, и, описавши, разработавши его во всей его жизненности, во всей доступной пластической непосредственности и полноте, представить его как метафорическое выражение сути эпохи? Так одна из самых общих проблем средневековой культуры рассмотрена через отношения Абеляра и Элоизы в работе Л. М. Баткина «Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и его культурное опосредование» (сборник «Человек и культура». М., 1990), а одна из самых важных переломных эпох ранней Римской империи — через судьбу и облик Нерона в монографии, которую посвятил ему румынский историк Э. Чизек.

**3. Изучение демографического поведения** рассматривается специалистами в данной области как ключевое и сегодня наиболее перспективное направление исторической демографии. Такое положение объясняется не в последнюю очередь тем, что демографическое поведение — это в большой степени сексуальное поведение, сексуальное же поведение связано, с одной стороны, с самыми внутренними, самыми интимными и в этом смысле неповторимо индивидуальными проявлениями личности, а с другой — отражается на общих исторических процессах — стабилизации или дестабилизации семьи, перенаселения, миграций, на нравственных воззрениях и системе ценностей, на характеристических особенностях значительных персонажей, влияя через них на некоторые, подчас ключевые, исторические ситуации. Противоречие между интимным переживанием и объективным ходом истории неустранимо и, естественно, сохраняется и здесь, но между его полюсами устанавливаются те сложные отношения притяжения и отталкивания, которые историку, может быть, и не всегда удается уловить, но которые раскрывают в былых обществах многое, от его предшественников в предыдущих поколениях скрытое. И удаchi на этом пути, и подстерегающие здесь опасности хорошо видны на

примере книги принстонского профессора П. Брауна о сексуальном воздержании в поздней античности и раннем христианстве. Вообще создается впечатление, что в Принстоне и в Колумбийском университете в Нью-Йорке складывается определенная группа ученых, весьма успешно работающих в этом направлении (в частности, и над проблемами русской истории XIX века).

**4. Устная история** непосредственно и сознательно направлена на максимально возможное смягчение обсуждаемого противоречия: запись на магнитную ленту живых рассказов участников событий подчас значительной давности сохраняет живой человеческий компонент исследования даже после сведения и обработки полученных результатов. Возникновение в нашей стране Общества устной истории и его энергичная деятельность (состоялось уже два съезда) объясняется, по-видимому, повсеместным ощущением актуальности и важности проблем, которым посвящены данные заметки<sup>4</sup>.

1991

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Гегель Г. В. Ф. О сущности философской критики... // Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет, т. I. М., 1970, с. 387.

<sup>2</sup> Jaspers K. Der philosophische Glaube. München, 1962, S. 47—48. То же признание разомкнутости системы социальных отношений (и, следовательно, неприменимости к ней понятия объективной истины) принадлежит одному из крупнейших феноменологических социологов первого поколения: «Социальная реальность — это общая сумма объектов и явлений этого мира, каким он предстает обыденному сознанию людей, живущих среди других людей и связанных с ними многообразными отношениями взаимодействия» (Schutz A. The Problem of Social Reality. The Hague, 1962, p. 79). Как сводки такого рода признаний могут быть использованы: Новые направления в социологической теории. М., 1978; Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Обзорная информация. Общие проблемы культуры. Выпуск I: «Культура повседневности» в новейших социологических теориях. М., 1988; Бутенко И. А. Социальное познание и мир повседневности. М., 1987. (Цитата из работы А. Шутца дана нами в переводе этого автора.)

<sup>3</sup> Гадамер Х. Г. Что есть ИСТИНА? // Логос, 1991, № 1, с. 30. / Пер. М. А. Кондратьевой, Н. С. Плотникова.

<sup>4</sup> Это впечатление подтверждается и международным интересом: интернациональная конференция по проблеме устной истории состоялась осенью 1993 г. в США.

## АНТИЧНЫЙ ТИП КУЛЬТУРЫ



---

## ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ АНТИЧНОГО ТИПА КУЛЬТУРЫ

Античная культура строится вокруг единой, основной и исходной общественной формы античного мира — самостоятельного города-государства. Эта исходная форма обозначалась в греческом языке словом «полис», в латинском языке — словом «цивитас»; первое из этих слов переводится как «город», второе — как «гражданская община», оба перевода верны, но сущность самого явления не исчерпывается ни тем, ни другим наименованием. Полис (давайте пользоваться этим словом условно — для обозначения как греческой, так и римской разновидности города-государства) — это, разумеется, город, т. е. определенная застроенная территория с определенным количеством жителей, определенной административной структурой и производственным потенциалом. Но для грека или римлянина этим дело не исчерпывалось. Полис был тем единственным местом на земле, где он чувствовал себя человеком, где он находился под покровительством богов или бога, именем и изволением которого город создан, — Юпитера в Риме, Афины Паллады в Афинах. Боги принимают свои меры к тому, чтобы город был сохранен, процветал, развивался, и за пределами полиса человек лишается связей с богами как духовной субстанцией существования. В стенах города он может не бояться врагов; в городе он член гражданского коллектива, жизнь которого регулируется законами; он защищен от произвола, входя в гражданскую правовую структуру, идея которой неотделима от идеи справедливости. Аристотель говорил, что «полис есть общность людей, сошедшихся ради справедливой жизни». Поэтому ничего не может быть страшнее, чем изгнание из родного города, страшнее, чем то, что римляне называли «лишением огня и воды», то есть отнятие гражданских прав. И поэтому же античные авторы как к неповторимой, высшей, не только общественной, но и сакральной ценности относятся к полису. Вергилий говорил, что гражданская община — это «законы и стены», «дома и право», «пенаты и святыни». Для Горация гражданская община — это «Верность и Мир, Честь и Доблесть, Стыдливость старинная». Цицерон в своем сочинении «О государстве» утверждал, что «уничтожение, распад и смерть гражданской общины как бы подобны упадку и гибели мироздания».

В чем причины такого положения и такого отношения?

Полис есть общественная форма, наиболее полно соответствующая уровню развития производительных сил античного мира. Основой производства в нем остается земля, сельское натуральное хозяйство, которое

само себя кормит. Соответственно, гражданин полиса — это в принципе всегда землевладелец; лишь тот, у кого есть участок земли, — полноценный гражданин города. Землю обрабатывает семейный коллектив, полатыни «фамилия». У фамилии есть ядро, состоящее из кровных родственников, есть периферия, в которую входят клиенты, то есть лица, зависящие от главы семьи. У семьи есть божества-покровители, живущие в доме, и семейный культ делает эту группу самостоятельной. Взаимодействуя между собой, такие группы образуют государство. Гражданина делает гражданином, и даже больше — человека человеком лишь принадлежность к фамилии или к другой малой группе, к своему городу — вообще к некоторому ограниченному множеству. Нельзя ни к чему не принадлежать и быть просто человеком. Если в городском коллективе в силу тех или иных причин оказался посторонний, он должен немедленно закатиться в какую-то лунку, стать членом какой-либо фамилии или как клиент, или как раб. В каждую историческую эпоху производство развито ровно настолько, насколько допускает тот этап общего развития человечества, к которому эпоха принадлежит. Связь с землей, натуральное хозяйство, иерархичность замкнутого гражданского коллектива и другие черты полиса — весь этот строй местной, неторопливой, замкнутой в себе, охраняемой богами жизни воспринимался как единственно естественный, как обусловленный самой структурой бытия. Его можно было только хранить и ценить, изменение его представлялось действительно как «упадок и гибель мироздания». *Античность — это полис.*

В Рейнской области, например, до появления римлян городов вообще не было. Отсутствие городов — отличительный признак варварства. Города там «отстроили» римляне. Города могли возникать из военных поселений, из местных поселений, которые римляне застали, придя в ту или иную провинцию, могли возникать путем вывода колоний; так образовался Марсель — колония греков-фокейцев, так образовались некоторые города на южном побережье Черного моря. Но удивительно, что возникающие таким образом полисы все воспроизводят одну и ту же модель: та же примыкающая к городу земельная территория, где находятся участки граждан, тот же иерархизированный гражданский коллектив с выборным самоуправлением, те же боги-покровители, от которых зависит существование города. В Римской империи на бесконечных просторах от Шотландии до порогов Нила, от Португалии до Двуречья возникают одни и те же города, с одной и той же магистралью север-юг, которую в центре пересекает магистраль запад-восток; у их скрещения одна и та же площадь, на которой стоят одни и те же здания: базилика, храм Капитолийской триады, обычно рынок, храм императора. Они окружены стеной или валом, неподалеку от центральной площади находятся термы, неподалеку от нее же — амфитеатр, или театр, или цирк, какое-то место

для зрелищ, тоже носивших сакральный характер; в определенное время проходят во всех них выборы, в результате которых образуется руководство гражданского коллектива. Жить по-другому нельзя, жить — это значит быть гражданином, жить — значит жить в полисе, в городе, ценить его и хранить.

Но сохранение того, что унаследовано и ценно, может составить лишь одну сторону жизни и не может быть ее единственным содержанием. Как правило, не все, что человек произвел, он потребляет, остаток он обменивает. Обмен порождает, с одной стороны, товарные отношения и в конечном счете — «товар товаров», деньги; с другой — неуклонное расширение сферы обмена, то есть выход за пределы полиса, знакомство с новыми странами, нравами, формами жизни и разрушение автаркии; с третьей — обнаружение продуктов, производство которых более удобно и выгодно для обмена, чем плоды обработки земли, то есть прежде всего ремесло, ремесло же уничтожает основной критерий полисного гражданства — жизнь за счет земли; наконец, концентрация прибавочного продукта, а затем и денег в некоторых более удачливых семьях не оставляет камня на камне от бывшего имущественного равенства граждан. Идеальное соответствие полиса исходному уровню развития производительных сил приходит в противоречие с потребностями развития этих сил, с движением жизни, с развитием, которое образует столь же неотъемлемое свойство бытия, что и сохранение. Развитие, обогащение жизни, распространение на этой основе досуга, искусства и культуры не укладываются в жесткие рамки полиса. Развитие оказывается двухголовой гидрой: без него нельзя жить, но оно же уничтожает ценности, придававшие жизни смысл.

Нарушение хозяйственной самодостаточности приводит к бесконечной инфильтрации иноземных элементов. «Взгляни на массы людей, которых огромный город едва в состоянии вместить, — пишет Сенека в середине I века нашей эры. — Из муниципиев и колоний, со всех концов земли стеклись они в Рим и теперь в большинстве своем лишены родины. Одних привело сюда тщеславное искательство, другие выполняют поручение сограждан или прибыли в качестве послов, третьи ищут, где можно промотать деньги и дать волю вожделениям, иных влечет любовь к наукам и искусствам, иных — к театральным зрелищам, некоторые приехали ради друзей; есть такие, кого сжигает жажда деятельности, они находят здесь поприще для своих талантов; кто-то привез на продажу свою красоту, кто-то — свое красноречие, нет ни одной породы людей, которые бы не сбегались в этот город, готовый так щедро оплачивать и добродетели и пороки». О какой же первоначальной простоте, о суровой строгости нравов, об ориентации на земельное производство, на гражданскую солидарность, общее равенство, на семейный замкнутый культ с его нравствен-

ной взыскательностью, на полное и добровольное подчинение власти гражданских законов может идти речь в такого рода городе? Полис живет в постоянном нарушении живой нормы, живет, как печень Прометея, которую орел постоянно выклеывает и которая постоянно возрождается, живет, как говорит Платон, одновременно в состоянии «справедливости и несправедливости». Поэтому центральной проблемой античной культуры, центральным пунктом того наследия, которое античность передает Европе, является соотношение идеала и жизни.

Соотношение полисного идеала и реальной практики существования полиса — центральная проблема античной культуры, производным от которой являются все остальные. Отличительная особенность античной культуры и античного полиса состоит в том, что это противоречие не находит себе разрешения. Исторический процесс, как правило, строится так, что в рамках одного общества возникают какие-то силы, ориентированные на прогресс, на развитие, на движение вперед; они вступают в конфликт с силами, обращенными назад, более консервативными, и рано или поздно их побеждают. Античность составляет исключение из этой общей логики развития. В ней имманентное полису противоречие между развитием и сохранением пребывает в состоянии неустойчивого равновесия, в состоянии некоторой неразрешенности, что и сообщает всему обществу и его культуре *классический* характер, если употреблять слово «классический» не как оценку, а как термин. Именно так определяет классическое Гегель в своей «Эстетике» — как такое общественное состояние, при котором цели и ценности коллектива находятся в равновесии с целями и ценностями личности, то есть как некоторое гармоническое состояние, при котором обе эти крайности уравнивают друг друга. Тут, правда, необходимо одно очень существенное разъяснение и уточнение. Если бы Гегель писал эти строки двадцатью годами раньше, когда создавал свою «Феноменологию», он, наверное, написал бы их совершенно по-другому. Он поставил бы акцент не на гармонии как итоговом состоянии, а на самом процессе — на неустойчивом динамическом равновесии обеих сил в их напряженном противоборстве. Есть разница между равновесием борющихся сил и гармонией, в которой они примиряются. Восприятие диалектики идеала и действительности как гармонии, пронизывающей античную жизнь и античное искусство, характерно для европейской культуры эпохи Возрождения и Просвещения. В нем акцентирован лишь один элемент эпохи — ее исторический итог. В повседневной реальности же античное общество предстает перед нами как раздираемое глубочайшими, жесточайшими противоречиями, знающее такие формы общественной вражды и розни, которые позднейшие эпохи даже не представляли себе. И суть дела не в примирении противоборствующих сил, то есть прежде всего сил, ориентированных на ценности полиса, и сил, ори-

ентированных на развитие, а в том, что они находятся в некотором динамическом равновесии, не вытесняют одна другую, но по причинам, о которых было сказано выше, постоянно регенерируются.

Как это выглядело конкретно?

Греческий полис — в первую очередь Афины — возник в VII — начале VI в. до н. э., и демократия восторжествовала в нем, в частности, потому, что удалось сокрушить власть родовой земельной аристократии, ввести ее в гражданский коллектив и подчинить законам и установлениям полиса. Частный интерес стал неотделим от общего, и постоянное их взаимодействие было обеспечено властью народного собрания и строгими законами. Возник как бы идеальный эталон античной демократии. Его возвышенными словами описал первый и самый авторитетный среди афинских граждан своего времени — Перикл в речи над павшими афинскими воинами, которую сохранил для нас греческий историк Фукидид. Так же характеризовал полисную демократию крупнейший философ Древнего мира Аристотель. «Полис, — писал он, — есть совокупность семей, территории, имуществ, способная сама обеспечить себе благую жизнь». В Новое время мыслители, революционеры, государственные деятели, желавшие добра своему народу, рассматривали республиканское устройство древнегреческих полисов как норму и образец. Все это была чистая правда — нигде в Древнем мире права народа не были так полно гарантированы, как в Греции. Но правда эта жила больше в душах и убеждениях граждан, в их мифологии, в общенародных театральных и спортивных празднествах; она пронизывала жизнь и составляла ее норму, но ее не исчерпывала. В пределах гражданского единства, как его изнанка, с высшей точки зрения как бы и несущественная, но в повседневной жизни бесспорно существовавшая, разворачивались и социальный антагонизм верхов и низов, и борьба демократии с непрестанно возникавшими олигархиями, и подозрительность по отношению к каждому, кто выделялся и стал выше массы, хотя бы он даже выделялся своими подвигами и самоотверженным служением полису. Перикл последние годы жизни был под следствием; его друг, величайший скульптор античной эпохи Фидий, кончил свои дни в тюрьме: нашлись люди, доказавшие, что на щите изваянной им Афины Паллады один представленный там персонаж похож на Перикла, другой на самого Фидия — кощунство требовало оргвыводов; в изгнании умер Фемистокл, выигравший для афинян определившую всю их дальнейшую историю морскую битву у Саламина; известна клятва, которую приносили в некоторых полисах олигархи: «и буду я враждебно настроен к простому народу и замышлять против него самое что ни на есть худое»; в Аргосе тридцать аристократов составили заговор, он был раскрыт, и простой народ дубинами перебил 1200 человек — всех зажиточных и родовитых граждан города, не имевших к заговору никакого

отношения и ни в чем не повинных. Такие примеры можно приводить долго — и из греческой истории, и из римской. Идеал полисного общежития с его нормами героизма, гармоничности развития, гражданской солидарности, консервативной морали и спокойного подчинения личности целому оказывается транспонированным в особую сферу мифологизированного бытия. Она активно воздействует на человеческую практику, утверждает в ней свои нормы, но никогда этой практикой не исчерпывается.

Такова историческая основа, на которой складываются общие и коренные, всемирно-исторического значения черты античного искусства и античной культуры в целом. Таких черт, как известно, три: понятие *высокой гражданской нормы*, с точки зрения которой оценивается всякое проявление человеческой деятельности и творчества; понятие *классики*, то есть динамического живого равновесия, в котором в античном мире всегда находятся высокая норма и повседневная практика, интересы общественного целого и интересы отдельного гражданина, идеал и жизнь; понятие *эстетической формы*, в которую должно облечься любое жизненное и творческое содержание, ибо только ясная, эстетически совершенная форма делает это содержание не просто личным самовыражением, а и общественно значимым, внятным согражданам и потому для римлянина или грека единственным подлинно реальным. С каждой из этих черт вы знакомились (или вам предстоит знакомиться) на конкретном материале лекционных курсов по истории литературы, истории изобразительного искусства, истории философии. Здесь нам остается лишь пояснить их примерами.

Воспитание и образование юношества в античном мире включало в себя рассказы в стихах и прозе о примечательных событиях родной истории. В Греции для этого использовались чаще всего поэмы Гомера, в Риме — специальные сборники так называемых *exempla*, «примеров». Речь в них чаще всего шла о подвигах во имя отчизны, и мысль о самоотверженном служении родному полису как о главном жизненном долге входила в сознание каждого поколения, становилась убеждением и чувством. «Надо сначала о благе отчизны подумать, — писал в I в. до н. э. римский поэт Луцилий. — После о благе семьи и потом уже только о нашем». Проявления и отблески этого чувства окружали человека и во взрослом состоянии. В греческих полисах государство обеспечивало гражданам возможность посещать театральные представления, где шли драмы из жизни героев, в Риме подвиги минувших поколений воспевались на пирах, где подчас исполнялись и отрывки из героического эпоса — переводного с греческого или собственного, латинского. Герой одного из стихотворений Ювенала, приглашая друга на обед, обещает ему: «Пенье услышим творца „Илиады“ и звучные песни / Первенства пальму делищего с ним род-

ного Марона». Частью художественной литературы греков и римлян были исторические сочинения. Цель их, как разъяснял знаменитый римский историк Корнелий Тацит, состояла в том, чтобы «сохранить память о проявлениях доблести и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в потомстве». Соответственно крупнейший историк Древней Греции Фукидид сохранил в своей «Истории» речь вождя афинян Перикла, прославляющую величие родного города, а крупнейший историк Древнего Рима Тит Ливий рассказывал о полководцах и руководителях государства, казнивших собственных сыновей за нарушение воинской дисциплины или за измену республике.

Противоречивость отношений между этой героико-патриотической нормой и реальной жизнью подчас проявлялась в такой форме, что повседневная действительность выступала как низменная альтернатива высокому героизму, как сосуществующая с ним его изнанка. Греческий полис, прославленный Периклом за демократическое равенство его граждан, нередко становился, как мы только что видели, ареной самых неистовых и жестоких социальных конфликтов. Герои римской истории, как, например, Катон Старший, странно соединяли в себе непреклонную верность нравственным заветам предков и весьма сомнительные действия, направленные на собственное обогащение любой ценой. Это не значило, что одна, героическая, сторона такого поведения была лицемерной и ложной, а другая, малоаппетитная, подлинной, или наоборот. Просто грек и римлянин жили в атмосфере постоянного соприсутствия и взаимодействия нормы и эмпирии, и культура общества характеризовалась и противоречием между ними, и их сочетанием, проникновением друг в друга. Формами такого сочетания были, например, малые плотные человеческие группы, в которых реально протекала жизнь и деятельность рядового грека или римлянина. В фамилии, в местной общине, в профессиональной или религиозной коллегии, в землячестве человек жил в коллективе, принимал его нормы, не мыслил себя в отрыве от него, и в то же время коллектив этот существовал не как подавляющее человека огромное государственное целое, а как интимное, близкое его окружение, как нечто свое и привычное. Не случайно Цицерон посвятил один из лучших своих диалогов — «Лелий» — дружбе, которая, с одной стороны, соединяет граждан в их служении отечеству (дружба без связывающей друзей гражданской доблести кажется Цицерону невозможной), а с другой, представляет собой порождение любви и взаимной приязни, заключает в себе чувство удовольствия от дружеского общения. «Не след нам прислушиваться к тем, кому гражданская доблесть представляется бесчеловечной и жестокой, как железо. Как в разных других обстоятельствах, так и в дружбе бывает она и легкой и податливой, то как бы растворяется в удачах друга, то как бы твердеет от его бед».

Это классическое равновесие общего и частного, гражданского и личного сообщает культурно-историческую ценность и непреходящую привлекательность и римскому скульптурному портрету, где всегда представлен национальный тип и в то же время — данный неповторимый человек, и многим произведениям античной архитектуры, соединяющим монументальность с человекообразностью и учением греческих философов о том, что отдельные вещи становятся понятны лишь в связи с их идеальным типом, как и сам этот тип существует только в отдельных реальных вещах.

Наконец, установка на то, что человек реализует себя если не всегда в *служении* общественному целому, то, во всяком случае, всегда в *соотнесении* с ним, причем это общественное целое может выступать в своей непосредственной реальности, как гражданский коллектив полиса, но может представлять и в других, более сублимированных формах, как идеализованный свод консервативных нравственных ценностей, как полисная мифология, как целокупный образ мира у греческих философов-доксратиков, — вот эта-то установка порождает и третью коренную черту античного типа культуры: в такой культуре «быть» значит обрести эстетически завершенную форму (или по крайней мере к ней стремиться). Положение это имеет два истока. Один из них связан с понятием риторики и представлен в Риме полнее, чем в Греции (хотя родилась риторика в Греции), другой связан с введенным Аристотелем понятием энтелехии и более характерен для греческой философской мысли.

Начнем с первого. Достоинство человека, учил Цицерон, обнаруживается «в достигнутых почестях, в доблестью заслуженных наградах, в суждениях людей, одобряющих содеянные подвиги». Нравственная ценность каждого человека или его поступка определяется, таким образом, не внутренними убеждениями личности, не тем, что мы сегодня назвали бы «совестью», а одобрением общества. Соответственно и творческое самовыражение человека, произведения, им создаваемые, вообще все, им сделанное — изделие в самом широком смысле слова, — ценны тогда, когда они вняты, восприняты и одобрены народом, обращены к согражданам и убеждают их. Формы самовыражения, наиболее внутренние, непосредственные, лирические, которые сегодня представляются нам особенно ценными, — спонтанное творчество, схваченная на лету мысль или образ, фрагмент, набросок — не имели для грека или римлянина классической поры никакой цены: все это выражало внутреннюю жизнь создателя, а им было важно в этой внутренней жизни лишь то, что было обращено наружу, к ним.

Наиболее полно этому требованию отвечало публичное красноречие, всегда обращенное к широкой аудитории — к народному собранию, сходке, к сенату, призванное убедить их принять то или иное отстаиваемое



оратором решение. Красота речи, ее формальное совершенство, ее апелляция не только к логике, но и к эстетическому чувству немало способствовали достижению этой цели. Вся история античного красноречия есть история превращения делового высказывания в данных условиях и по данному поводу в яркое художественное произведение. Поскольку же главное в нем была не оригинальность лирического самовыражения, а убедительность для слушающих, то строилась речь с помощью испытанных, на опыте проверенных и закреплённых в традиции приемов, способных такую убедительность обеспечить. Их совокупность и называлась риторикой. Риторическими были все самые знаменитые речи древних ораторов — «О венке» Демосфена, «Против Катилины» или «В защиту Целия Руфа» Цицерона, речи, вложенные историками в уста своих персонажей, — например, речь трибуна Канулея к народу у Ливия или речь полководца Петилия Цериала к старшинам галльских племен в «Истории» Тацита.

Чтобы понять, какого эффекта можно было достигнуть с помощью риторики, стоит задуматься над следующим примером. Речь римского императора Клавдия, обращенная им к сенату в 48 г. н. э., сохранилась в том виде, в каком она была произнесена, на двух мраморных плитах, установленных еще при жизни императора в римской колонии Лугдунуме (ныне — Лион). Текст этот переводился на русский язык и публиковался в составе разного рода хрестоматий по древней истории. Полвека спустя Тацит включил эту речь в состав своего произведения, названного «Анналы» (кн. XI, гл. 24), подвергнув ее риторической обработке. Содержание и ход мысли здесь сохранены, но вместо довольно отрывочной речи, сохранившей запинки, обрывы логического движения мысли, неточность некоторых формулировок, то есть в какой-то мере человеческого документа, перед нами оказывается стройное, с четко уравновешенной композицией, с заостренными эффектными формулировками произведение ораторского искусства. Живой голос оратора и штрихи, наложенные условиями и временем, исчезают, уступая место монументальной, изложенной на века, нравственно-философской доктрине римского принципата.

Так строилось не только словесное искусство, но и весь материально-предметный мир, окружавший античного человека. Любое изделие, с каким бы совершенством ни было оно создано, представлялось не более чем полуфабрикатом, ибо выражало лишь замысел мастера и соответствовало лишь практическим потребностям заказчика. И то и другое было для античного сознания слишком конкретно и слишком субъективно. Изделием в собственном смысле слова вещь становилась, лишь одевшись декоративным покровом, так как только художественная форма вписывала эту вещь в сферу надличного и всеобщего, в эстетическую структуру дей-

ствительности. Дом в Риме становился домом лишь после того, как полностью готовая конструкция покрывалась декоративным покровом и снаружи, и изнутри, причем внутренние стены еще и расписывались фресками или панно. Вода подавалась в город из отдаленных источников по трубам, но трубы эти шли по ритмически повторяющимся и рассчитанным на эстетический эффект аркам водопроводов; в городе труба выводилась в уличное водоразборное устройство, представлявшее собой обыкновенный каменный ящик, но конец трубы был вправлен в стоявшую на борту ящика декоративную стелу с изображением того или иного бога, героя, рога изобилия, животного. Весь домашний инвентарь состоял из предметов, украшенных узорами или изображениями, даже у крытой хозяйственной повозки на ступицах колес стояли миниатюрные изображения богов.

Этот строй жизни нашел себе наиболее высокое и полное выражение в учении Аристотеля об энтелехии — одном из самых глубоких философских прозрений, завещанных античностью европейскому человечеству. Суть энтелехии состоит в том, что общие понятия, которыми мы пользуемся в жизни, — это одновременно и умственные представления, и объективная реальность. Если я говорю, например: «В глазах грека или римлянина гражданская доблесть — одно из самых важных достоинств человека», то фраза моя почти сплошь состоит из общих понятий. Грека или римлянина, здесь упомянутых, реально, в плоти и крови, в живой индивидуальности, на свете не существует, как и «гражданская доблесть» и «человек», здесь упомянутые, известны нам не в этом своем обобщенном качестве, а лишь в своих конкретных проявлениях. В то же время существуют ведь греки или римляне как определенный народ, живший в определенное время и в определенном месте, переживший определенные события, то есть как объективная реальность. Как же соотносятся между собой эта мыслимая и в то же время объективная реальность, но существующая лишь в своем обобщении, и конкретный, данный, имеющий имя и облик грек или римлянин, конкретный, данный поступок, выражающий гражданскую доблесть? Общие свойства и процессы, отвечает Аристотель, стремятся во-плотиться, стать чем-то непосредственно данным, то есть обрести форму, ибо лишь через нее общий принцип становится конкретностью и индивидуальностью. Общие начала — материя, жизнь, творчество, любовь, ум и т. д. — несут в себе не только возможность, но и потребность воплощения и необходимую для этого энергию, они внутренне динамичны и, обретши форму, обретают свое *подлинное* бытие. «Материя, — писал он, — есть возможность, форма же — энтелехия», человек имеет своей энтелехией душу: «она есть его сущность как форма».

---

# ЛИЧНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

## Античная биография и античное письмо

«Личность» и «индивидуальность» — это две стороны каждого человека и две из самых существенных характеристик его как субъекта культуры.

«Личность» есть характеристика человека с точки зрения его участия в общественной жизни и значительности роли, которую он в этой жизни играет. «Индивидуальность» определяет внутренний мир человека, его духовный потенциал, выражающийся обычно в формах, не имеющих прямого и непосредственного общественного содержания. В этом смысле «индивидуальность» можно рассматривать как «остаток» (термин Л. Я. Гинзбург) от всех непосредственно общественных проявлений личности. Оба термина для обозначения этих двух сторон человеческой духовности во многом носят объективный характер и потому обоснованны. На это указывают как повседневные контексты слова «личность» («выдающаяся личность», «межличностные отношения», «удостоверение личности», «личное дело» — как совокупность документов и т. д.), так и его иноязычные аналоги: фр. *personne* (и в еще более отчетливой форме *personnalité*), англ. *personality* означают именно личность в аспекте ее общественных проявлений и достижений. Вся эта семья слов восходит к латинскому слову этрусского происхождения *persona*, изначально означавшему 'маска актера', 'личина', 'совокупность внешних, общезвестных проявлений человека'. Существуют специальные исследования, посвященные феномену «persona» в римской культуре.

Слово «индивидуальность» состоит из основы латинского глагола *divido* («разделяю») и отрицательного префикса *in-* и этимологизируется, таким образом, как «не-раздельность», т. е. не поддающееся дальнейшему делению ядро, остающееся после всех внешних манифестаций и характеризующее человека в его неповторимости, интимной сущности. Но суть проблемы, разумеется, не в терминологии, а в самом кардинальном историко-культурном факте — в биполярности человека, в постоянной нераздельности и неслиянности его внешне ориентированной, непосредственно общественной стороны и стороны, ориентированной внутренне.

Развитие этого противоречия, во многом определяющее эволюцию культуры, происходит по двум направлениям или в двух формах — линейно-поступательной, объемлющей всю историю человечества, и цик-

лической, характерной для каждой культурной эпохи, и каждое явление культуры одновременно принадлежит обеим формам развития.

В пределах первого из указанных направлений на протяжении многих веков шло постепенное накопление элементов индивидуализации, чтобы разрешиться той романтической революцией, которая приходится на первую половину XIX в. и которая отделяет эпоху объективного искусства, риторического самовыражения, абсолютного преобладания «гражданина» над «человеком» и т. д. от эпохи обостренно индивидуальных форм самовыражения в искусстве, экзистенциального переживания действительности вместо отвлеченно теоретического осмысления и т. д.

Это общее движение повторяется в специфической форме в каждую эпоху. Так, оставаясь в пределах доромантического регистра общественной жизни, средневековые знают ту же в принципе эволюцию от эпической растворенности человека в объективности мира и общественного целого к острейшему индивидуальному переживанию этой объективности хотя бы, например, в западноевропейском францисканстве или в византийском исихазме.

Живая плоть культуры и общественного бытия проявляется, однако, не в этих общих закономерностях, а в тех обусловленных своим временем и потому неповторимых взаимодействиях «личности» и «индивида», которые характерны для каждой конкретной историко-культурной эпохи. Попытаемся проследить, например, как нарастающая кристаллизация «индивидуальности» у древних римлян вступает в конфликт с их «личностью», никогда, однако, не переступая пределов последней — базой оценки и (самооценки) человека здесь остаются его общественные проявления. Материалом нам послужат созданные древними римлянами литературные памятники того жанра, где жизнь человека и параметры, в которых она воспринимается и оценивается, выступают яснее всего — жанр жизнеописания или биографии, понимаемой в данном случае в самом широком смысле слова. Жанр этот усиленно развивался в римской литературе и прошел в ходе своего развития ряд этапов. Мысль о том, что история и успехи Рима — не просто выражение роевой силы общины, а результат деятельности отдельных людей и что поэтому о таких людях можно и нужно рассказывать, дабы прославить ту же общину, складывается в III в. до н. э. К этой эпохе относятся первые известные нам документы, отражающие подобное представление, — эпитафии, хвалебные песнопения (Cic., Tusc. IV, 3), похоронные плачи<sup>1</sup>, надгробные речи. Вряд ли дело обстоит так, что более ранние произведения биографического характера существовали, но не сохранились: представление о том, что в истории города, кроме общины, есть еще и человек, зарождается, складыва-

ется и крепнет именно в документах конца III и начала II в. до н. э., т. е. фактически со времен Второй Пунической войны<sup>2</sup>.

Наиболее ясно видно, как формируется это представление, на примере эпитафий патрицианского рода Сципионов. Две самые ранние из них — Луция Корнелия Сципиона, консула 259 г. до н. э., цензора 258 г., и его отца Луция Сципиона Бородатого, консула 296 г., цензора 290 г., еще целиком строятся по единой, как видно, канонической схеме: имя, род, общая оценка, почетные должности, деяния. Ни для неповторимых особенностей покойного, ни для чувств, ни для чего личного здесь еще места нет. В двух следующих надписях — Публия Корнелия, сына Сципиона Африканского Старшего, и Гнея Сципиона, — относящихся, скорее всего, к 60-м гг. II в. до н. э., тип характеристики несколько меняется. Речь уже идет, например, не о подвигах, совершенных во имя отечества, и не о талантах, проявленных на службе ему, а о подвигах, которые человек *мог бы* совершить, о талантах, которые он *мог бы* проявить, если бы смерть не настигла его так рано. Такие эпитафии говорят уже о человеке, а не только о его деяниях.

Следы подобной эволюции можно подметить и в похвальных надгробных речах той же эпохи. В традиционную их схему входило восхваление заслуг и подвигов покойного, а затем — заслуг и подвигов его предков (Polyb., VI, 53, 2; 54, 1). Под заслугами и подвигами понимались только деяния, совершенные на службе государству, почему рассказ о них, видимо, практически совпадал с последовательным перечислением почетных должностей. Именно так, например, выглядела похвальная речь на похоронах дважды консула Луция Цецилия Метелла, произнесенная его сыном Квинтом в 221 г. до н. э., если судить о ней по изложению у Плиния Старшего (Plin., N. h. VII, 43, 139). В ходе Второй Пунической войны, однако, положение, по-видимому, менялось — в речах, как и в эпитафиях, появились моменты индивидуализации. Сын пятикратного консула Клавдия Марцелла, погибшего в 211 г., счел возможным не просто перечислить в своей речи должности и подвиги отца, но и подробно описать реальные обстоятельства его гибели.

Этот этап развития римской биографической литературы характеризуется тем, что личность уже признается существенным элементом истории, но еще такая личность, которая выражает себя и свою ценность — в начале периода исключительно, в конце преимущественно — в деяниях на пользу государства и которая практически, в глазах народа и в собственных глазах, исчерпывается ими. Когда Катон, рассказывая в своем историческом сочинении «Начала» историю Второй Пунической и последующих войн, «не называл полководцев, а излагал

ход дела без имен» (Corn. Nep., Cato, III, 3), это выражало еще вполне живые нормы мышления. Его современник Сципион Африканский Старший был человеком прямо противоположного склада, но ощущение неправомерности усложненной, слишком яркой личности было присуще и ему. Этот своеобразный, гениально одаренный человек явно испытывал неудобство за свою столь непривычную индивидуальность и то бравировал ею, то ее стыдился. Он искал оправдания своим поступкам, которые были непонятны современникам, в том, что он лишь выполняет открывшуюся ему волю богов (Liv., XXVI, 19). Он никогда ничего не писал (Cic., De off. III, 4), чтобы не претендовать на увековечение своих взглядов и мыслей. Он ушел от дел и из жизни полным сил пятидесятилетним человеком не потому, что стал жертвой клеветнических обвинений (это было ему не впервой, и он сумел от них отбиться), а потому, что понял свою неспособность раствориться в массе граждан, отождествиться с ее сегодняшними интересами. Нормой же для времени и для него оставалось именно такое отношение тождества.

Следующий этап в развитии представлений о роли человека в истории и жизни города относится к последним десятилетиям Республики. Всеобщий кризис, охвативший в эти годы Римское государство, выражался, помимо всего прочего, в том, что римское гражданство распространилось на тысячи людей, по своему происхождению, связям, традициям общественного поведения не имевшим ничего общего с прежней тесной гражданской общиной. Моральные и социально-психологические нормы последней, и в частности положение об абсолютном примате интересов *res publica* над интересами личности, о том, что гражданские проблемы исчерпывают духовный мир и круг интересов гражданина, распадалась, утрачивали свой былой смысл, превращались в старомодную риторическую абстракцию. Яркая, резко очерченная личность, не смиряющаяся перед традицией и общим мнением, действующая на свой страх и риск, становится знаменем времени. Галерея таких образов бесконечна — Тиберий Гракх, его брат Гай, Ливий Друз, Гай Марий, Сулла и Цинна, Серторий, Катилина, Помпей, Клодий и Анний Милон, венчающий этот ряд Юлий Цезарь. А сколько мы не знаем... А сколько людей остались в тени, во втором ряду — Марк Октавий, Гай Антоний, Красс, Корнелий Долабелла, Гай Курион... Процесс этот не мог не отразиться на самосознании времени. Появляются люди, верящие в свое предназначение, иррациональную обреченность успеху, не зависящую от предусмотрительности, реальных обстоятельств, логики. Таким был Сулла, таким стал к концу жизни Цезарь, есть эти черты в облике молодого Октавиана. «После долгих раздумий, — писал в эти годы Саллюстий, — мне стало ясно,

что все было достигнуто редкой доблестью немногих граждан» (Sall., Cat. 53, 3).

В этих условиях иными становятся литературные документы, призванные рассказать о жизненном пути человека. Характерные изменения претерпевает римская эпитафия. С одной стороны, у представителей нобилитета она остается (хотя в более развитом и полном виде) формой посмертной оценки государственной деятельности: смысл прожитой жизни — в магистратурах, которые занимал покойный, в его продвижении по дороге почестей, т. е. в его службе республике; характеристика личных особенностей и свойств встречается здесь по-прежнему редко. С другой стороны, усложнение внутреннего мира и усиление роли личности в общественной жизни приводит к тому, что в исторических трудах появляются целостные характеристики, в которых анализ государственной деятельности приводится в связь с биографией человека, с его неповторимыми особенностями. Приурочение подобных «литературных портретов» к сообщению о смерти заставляет видеть в них результат своеобразного развития той же эпитафии. «Всякий раз, когда историки рассказывают о смерти кого-либо из великих мужей, они подводят итог всей его жизни и как бы излагают хвалебную речь на его похоронах. Фукидид делал это лишь от случая к случаю, Саллюстий — по отношению к очень немногим, зато добрейший Тит Ливий заключал так рассказы о всех выдающихся людях, а последующие историки стали пользоваться этим приемом уж без всякого удержу» (Sen., Suas. 6, 21). Показательно, что сообщение это очень неточно: в 35 дошедших до нас книгах Ливия встречается всего пять таких литературных эпитафий<sup>3</sup>. Старший Сенека не передавал здесь точно подсчитанные конкретные данные. Он выражал жившее в нем ощущение того, что между Саллюстием и Ливием историописание изменилось, изменилась роль, отводившаяся личности, и об отдельных выдающихся людях стали говорить чаще и полнее, чем раньше.

Ощущение его не обманывало. В 40–30-е гг. I в. до н. э. зарождается и расцветает литературный жанр, знаменующий перелом в понимании отношений между человеком и историей, — жанр, которому суждено было сыграть важную роль в литературе и который принято называть «исторической монографией». Жанр этот подробно охарактеризовал Цицерон в письме к Луцию Луккею (Ad fam. V, 12; июнь 56 г.). Интересующий нас пассаж сводится к тому, что Лукцей пишет историю Рима своего времени, дошел уже до диктатуры Суллы и намеревается продолжать свое повествование дальше в порядке событий, Цицерон же его просит отступить от хронологического принципа и рассказать отдельно о заговоре Катилины и роли самого Цицерона в его подавлении. Такой развернутый эпизод исторического повествова-

ния, как явствует из письма, должен представлять собой самостоятельное произведение и концентрировать рассказ о времени в рассказе о человеке. «Ведь самый порядок летописей не особенно удерживает наше внимание — это как бы перечисление должностных лиц; но изменчивая и пестрая жизнь человека — тем более человека выдающегося — вызывает изумление, чувство ожидания, радость, огорчение, надежду, страх, а если они завершаются примечательным концом, то от чтения испытываешь приятнейшее наслаждение» (§ 5).

Как видим, речь идет не просто о кратком посмертном восхвалении или об эпитафии — жанрах, типичных для предшествующего периода, — а о развернутом рассказе о выдающейся личности и ее деяниях на фоне событий времени и в связи с ними. Именно такими должны были быть столь многочисленные в 40-е гг. не дошедшие до нас сочинения, в которых сторонники того или иного государственного деятеля апологетически разбирали его жизнь, чтобы защитить его память и свести счеты с его противниками. Орывки биографического содержания сохранились от книг, в которых прославляли Цезаря Корнелий Бальб и Гай Оппий. Полемика между Цицероном, выпустившим «Похвалу Катону», и Цезарем, ответившим своим «Антикатоном», поддержанным Гирцием, так что пришлось вмешаться Бруту и написать еще один энкомий, показывает, что в этих книгах рассказ о человеке был неотделим от обсуждения жгучих общественных вопросов и потому выходил далеко за рамки восхваления или фактической справки.

Рост внимания к человеку как субъекту исторического процесса приводит в эти же годы и к оформлению биографии в собственном смысле слова. Отличие ее от «исторической монографии» состояло в том, что последняя представляла собой документ общественной борьбы времени, созданный, как правило, одним из ее участников и направленный на прославление или осуждение описываемого лица — биографические данные, подчас весьма развернутые, призваны были служить лишь материалом для реализации этого замысла. В жизнеописании, напротив того, рассказ о событиях и обстоятельствах жизни приобретал самоценный характер, становился занимательным чтением. Неудивительно поэтому, что первые биографии создавались подчас отпущенниками, которые еще были полны желания прославить патрона, но уже в силу самого своего положения больше были склонны говорить о семье, доме, привычках, повседневных делах, поступках и суждениях. Первым, по-видимому, в этом ряду было жизнеописание Суллы, начатое им самим, но оконченное и изданное его отпущенником Корнелием Эпикадом (Suet., De gramm. 12). Вскоре последовали биографии Помпея Страбона и Помпея Великого, составленные их отпущенником



Питолаем (там же, 27), и биография Цицерона в четырех книгах, написанная его отпущенником и долголетним сотрудником Тираном. Ясное представление о том, чем стала в эту эпоху биография, дает сочинение Корнелия Непота «О знаменитых мужах», вышедшее первым изданием около 35 г. и вторым около 29 г. до н. э. Здесь мало истории и много *mots*, анекдотов, назидания. Тип биографического очерка еще не выработался — повествование то идет от события к событию, как в «Агесилае», то следует изложенной в начале жесткой схеме, как в «Эпаминонде». Но здесь уже есть главное, чего прежде не бывало, — живой интерес к человеку, которого Непот видит в каждом государственном деятеле и полководце.

Какой же тип отношений между человеком и гражданской общиной отразился в литературных эпитафиях, «исторических монографиях», жизнеописаниях середины I в. до н. э.? Предельно кратко на этот вопрос можно ответить так: тождество уступило место единству. В глазах окружающих человек не исчерпывается больше своей службой общине. Он обладает особенностями, личными свойствами, неповторимой индивидуальностью, которые воспринимаются сами по себе и вызывают определенное к себе отношение. Фабий Максим в изображении Тита Ливия (XXX, 26) неповоротлив, медлителен, упрям, осторожен, не выносит новшеств; младший Леллий, такой, каким он представлен в диалоге, носящем его имя у Цицерона, вдумчив, широко образован, верный и любящий друг; Катон у Непота энергичен, напорист, делен во всем и всегда. Этими или сходными качествами отличались, наверное, многие люди и в те времена, и до них, но только теперь они стали предметом интереса, разбора и изображения. Изображения, однако, особого, направленного прежде всего на выявление той пользы или того вреда, который эти осознанные личные качества приносят государству. Человек выделился из общины, но рассматривается еще с точки зрения ее интересов, и именно они образуют единственное существенное содержание его новообретенной индивидуальности.

Фабий Максим, действительно, и упрям, и медлителен, и осторожен, но органические это его черты или же это принципы поведения, усвоенные им по тактическим соображениям, исходя из характера войны, в которой он участвует, неясно и в конечном счете неважно. Характеристика его у Ливия завершается стихом Энния: «Он промедленьем своим из праха республику поднял». В цicerоновском Леллии главное — что он друг, преданный, самоотверженный, не по-римски нежный. Но сочинение, героем которого он является, посвящено не только и, может быть, даже не столько теме друга, а и теме дружбы. Дружба же — это «спутница гражданской доблести» (Lael. 83), на

гражданской доблести она основана (20; 37), и дружба со Сципионом дорога Лелию прежде всего тем, что «благодаря ей одинаково смотрели мы на дела государства» (103). Биография Катона у Корнелия Непота, а тем более посвященное ему сочинение Цицерона строятся точно так же: перед нами интересный и сложный человек, но мерилом его ценности остается служение государству; все остальные его черты неотделимы от этой и подчинены ей.

Третий и заключительный период в развитии римской биографической литературы приходится на вторую половину I и начало II в. Если сущность первого из периодов, намеченных выше, состояла в тождестве человека и гражданской общины, сущность второго — в их диалектическом, противоречивом единстве, то для третьего можно говорить об их наметившемся разрыве.

Корреспондент Плиния Младшего Воконий Роман был всадник испанского происхождения, рано перебравшийся в Италию; Плиний добился для него сенаторского статуса и всю жизнь продвигал его дальше и выше, но так ничего и не достиг — по письмам складывается впечатление, что Роман любил комфорт и неподвижность больше, чем государство и магистратуры<sup>4</sup>. Так же жил и историк Светоний Транквилл. Сравнительно недавно обнаруженная в Алжире на месте римского города Гиппона надпись его представляет неровный, короткий и странный *cursus*<sup>5</sup>, загадочно контрастирующий с теми возможностями карьеры, которыми располагал Транквилл: всадник, сын заслуженного воина — трибуна алы, протееже консулария Плиния, префекта претория Септиция Клары и лично Адриана. Причины этого надо искать в самом, прежде столь редком, а в его время столь распространенном типе человека, ясно отразившемся в «Письмах» Плиния. Он готовился стать юристом, но, увидев дурной сон, уклонился от первого выступления; в 101 г. Плиний добыл ему военный трибунат — Транквилл от него тут же отказался и, даже не вступая в должность, передал ее одному из своих родственников; он написал литературный труд, но бесконечно тянул с его изданием. Ему, по-видимому, как и многим другим, не хватало того, что называется энергией («Он лишен способностей происками добиваться своего и потому предпочел остаться в рядах всадников, хотя легко мог бы достичь высших почестей», — писал в эти годы Плиний еще об одном своем знакомом — Ер. III, 2, 4). Неожиданный и недолгий взлет карьеры Светония в конце его жизни имел особые причины и не противоречит тому образу, который складывается на основе писем Плиния. Показательно, что этот тип жизненного поведения встречается не только среди интеллигенции и «новых людей», но также среди всадников и даже сенаторов, вплоть до самых видных<sup>6</sup>.

Человек оценивался отныне не по своему политическому поведению и тем более не по отразившемуся в *cursus*'е признанию, а по тому содержанию личности, которое получалось в остатке, за вычетом этого поведения и этого признания. Такой «остаток», который был неведом эпохе Сципионов и лишь угадывался в облике некоторых современников Цицерона (например, «то друга и корреспондента Помпония Атика»), теперь становился основой оценки и самооценки человека. У Сенеки, и в частности в его «Нравственных письмах», составленных в 64–65 гг., это понятие ощущается как только что открытое автором и потому обсуждаемое и защищаемое с особой энергией. Им книга открывается: *Vindica te tibi* — «отвоюй себя для себя самого» (I, 1); им она продолжается: *introrsus bona tua spectant* — «вовнутрь обращены твои достоинства» (VII, 12); им она завершается: «Считай себя счастливым тогда, когда сам станешь источником всех своих радостей... Ты тогда будешь истинно принадлежать самому себе, когда поймешь, что только обделенные счастливы» (*tunc habebis tuum cum intelleges infelicitissimos esse felices* — CXXIV, 24).

Все эти новые явления общественной жизни определили новый облик римской биографии.

Из биографической литературы эпохи Нерона, Флавиев и первых Антонинов нам известны, помимо «Агриколы» Тацита, лишь «Жизнеописание двенадцати цезарей» Светония и, в некоторой мере, мартирологи вождей сенатской оппозиции. Книга Светония была в последние десятилетия предметом особого интереса и внимания. Старый взгляд на биографа цезарей как на скучного и аполитичного компилятора, собирающего без разбора любые сведения и старательно распределяющего их по стандартным рубрикам, на наших глазах уступил место восприятию Светония как человека своего времени, пронизательного и талантливого писателя, сумевшего, благодаря гибкой и тщательно разработанной системе композиционных и стилистических приемов, дать под внешней оболочкой суховатого рубрицированного единообразия глубокую оценку политической деятельности своих героев<sup>7</sup>. По всей своей научной обоснованности эта точка зрения мало связана с историческим существом римской биографии конца I — начала II в. н. э. Усилия современных защитников Светония направлены на то, чтобы доказать, во-первых, что он отрешился от греческих образцов и создал собственно римскую, прагматическую и политическую биографию; во-вторых, что за внешним схематизмом в ней стоит такая компоновка фактов и такая нюансировка формулировок, которая сообщает каждой биографии самостоятельное цельное идейное содержание; в-третьих, что это идейное содержание отражает позицию придворных Адриана, стремившихся, хоть в последний момент, спасти

принципат от возвращения к эксцессам цезарей I в. Первые два из этих положений во всяком случае не вызывают сомнений. Только они не отменяют того факта, что в эпоху окончательного распада римской полисной аксиологии, массового распространения всякого рода *inertia* и *desidia*, поисков того, чем человеку жить, когда он остается «наедине с собой», Светоний рассказывал лишь о *действующих*, реализующих свои *политические* цели, правителях *государства*. От того стилистического совершенства, с которым выписаны характеристики героев Светония, эти характеристики не перестают быть плоскостными, а герои — статичными. Рассказ о них — всегда рассказ о том, какие были люди и как было дело, и никогда — о том, какими люди стали и куда дело идет. Давно уже было замечено, что, хотя у Светония несравненно больше подробно описанных зверств, ужасов и мерзостей, чем у Тацита, «Жизнеописания двенадцати цезарей» никогда не оставляют у читателя того тяжкого трагического чувства, с каким он откладывает «Анналы». Там связь с временем — в рассказанных фактах, здесь — во внутреннем ощущении его переломного характера. Поэтому как только это время кончилось и прошла острота, с которой переживали его современники, Тацит, органически с этим временем связанный и именно его проблемы выразивший, был забыт, и забыт надолго; Светонию, который это время прожил, но не пережил и который укоренен в нем не был, возносили хвалы и подражали на протяжении всей поздней античности. Поэтому не так уж были не правы старые исследователи, полагавшие, что при всем богатстве и выразительности книги Светония он не обладал ни чувством исторического развития, ни пониманием движущих сил истории. В том, что касается типа человека данной эпохи и путей его становления, это во всяком случае верно.

Совсем по-другому обстоит дело с распространенными в конце I в. биографиями-мартирологами<sup>8</sup>. Ни одна из них до нас не дошла, но мы знаем многих из тех, чьи жизни были здесь рассказаны, знаем обычно авторов, знаем кое-что об условиях создания этих книг и их судьбе и можем составить о них некоторое представление. Как правило, речь в них идет о людях, прошедших *cursus honorum*, но им не исчерпывавшихся. Психологический портрет Остория Скапулы, например, проступающий из глубины рассказа о британской кампании 47/48 г. (Ann. XII, 31–39), — один из шедевров Тацита. Перед нами блестящий государственный деятель и полководец. Консул в середине 40-х гг., он почти тут же, в 47 г., назначается на трудную и почетную должность префекта еще не замиренной Британии, сменив первого наместника этой провинции в консульском ранге, влиятельнейшего Авла Плавтия. Действия его против британских племен изобличают в

нем опытного и талантливого военачальника. Успехи его тут же вознаграждены: сенат присваивает ему триумфальные знаки отличия и, что было особенно почетно, тем же актом постановляет возвести в связи с его победами триумфальную арку императору (ILS, 216; 222). Но успехи и победы давались ему непросто, и чем дальше, тем острее чувствовалось, что они — результат дисциплины, опыта и воли, которые вступают во все углубляющееся противоречие с душевным состоянием командующего. Уже перед решающей битвой «римский полководец стоял, ошеломленный видом бушующего варварского войска. Преграждавшая путь река, еще выросший за ночь вал, ухидившие в небо кряжи гор — все было усыпано врагами, все внушало ему ужас» (Тас., Апп. XII, 35, 1). Осторий овладел собой, вдумался в положение и на этот раз еще добился победы. Но она была последней. Чем дальше, тем более явно занимался он войной вплотную, солдаты забирали все больше воли, и Осторий не мог или не хотел с ними справиться, пока, наконец, неожиданно для окружающих не умер *taedio curagum fessus* — «измученный заботами, от которых ему стало невыносимо тошно» (там же, 39, 3). Он был не одинок — то же ощущение испытывал несколькими годами позже прокуратор провинции Сицилии Луцилий — адресат «Нравственных писем» Сенеки, который провел жизнь в успешной военной службе и дальних путешествиях<sup>9</sup>, но постепенно пришел к решению, «забросив все, только о том и стараться, чтобы с каждым днем становиться лучше» (Sen., *Ad Lucil.* V, 1. — Пер. С. А. Ошерова). Чувствуя, по-видимому, столь же непреодолимое желание «забросить все», но так и не решившись на это, умер в разгар походов предшественник Веспасиана в Иудее Цезенний Галл: *qui... fato aut taedio occidit* (Тас., *Hist.* V, 10, 1) — «то ли такая уж была его судьба, то ли овладело им отвращение к жизни».

Это отвращение к жизни — *taedium* — стало проявляться столь часто именно в ту эпоху, так как было связано с характерным для времени ощущением необязательности традиционных государственно-политических форм реализации себя. В нем поэтому в той или иной мере всегда ощущалась независимость от всякой «официальности», а следовательно, потенциально и несогласие с ней. «Остаток» личности становился неотделимым от общественной позиции и тем самым от жизненной судьбы, внутреннего биография переплеталась с внешней, и потому весь этот синдром должен был находить себе отражение в жизнеописаниях подобных людей. Только при этом условии становится понятно, почему сочинение «О происхождении и жизни Остория Скапулы» (внешне ведь, в конце концов, вполне благополучного полководца, умершего на театре военных действий, никогда, кажется, ни в чем не замешанного и ничем не скомпрометированного) могло явиться

поводом для обвинения автора в стремлении к захвату власти (Тас., Апп. XVI, 14). Должен был наличествовать тот же «синдром» и в составленной Аруленом Рустиком (и приведшей автора к гибели) биографии Тразея Пета, который то исправно занимался всеми, самыми мелкими, делами, поступавшими на рассмотрение сената, то обсуждал в кружке друзей «вопрос о природе души и о раздельном существовании духовного и телесного начал» (Тас., Апп. XVI, 34, 1), пока, наконец, не перестал посещать заседания сената и именно на этом основании был обвинен в «обособлении себя и опасной независимости» (там же, 22, 1). В том, что в сборниках биографий, составленных Гаем Фаннием и Титинием Капитоном, должны были фигурировать и Сенека, и сын Остория Скапулы Марк, и Геренний Сенецион, и Арулен Рустик — все люди с тем же «синдромом», — сомневаться не приходится. То была форма римской биографии, в которой ясно отразились как общественные и духовные проблемы данной эпохи, так и невозможность найти для них в пределах этой эпохи удовлетворительное, исторически перспективное решение.

Вакуум требовал заполнения. Формула Сенеки «отвоюй себя для себя самого» оставалась пустой риторикой, пока не было выяснено, чем ты способен заполнить отвоеванное, ради чего, другими словами, ты должен себя отвоевывать. Ответа на этот вопрос не было — утрата былого единства гражданина и гражданской общины еще не означала, что вместо старых ценностей возникли новые. Стоики стремились сделать из этого отсутствия ответа принцип: «Ты спрашиваешь, что я ищу в добродетели, — ее самое, ибо ничего нет лучше ее и ценность ее в ней самой» (Sen., *De vita beata*, 9). Мода на киризм, не случайно осмеянная Петронием и Ювеном, выражала то же состояние: массовое разочарование в старых ценностях и отсутствие новых (экзацем которых и казались нечесаная борода, грубошерстный плащ и бранчливая неуживчивость). Расхождение с практикой Римского государства, возникшее в связи с этим стремление утвердить свое достоинство, отделив себя от этой практики, поиски новых ценностей или хотя бы нового подхода к старым характеризовали на рубеже века множество людей. Целое поколение (если не два и не три) жило этой проблемой.

Дальнейшее движение коллизии, нас интересующей, — соотношение «личности» и «индивидуальности», характерное для античного Рима и меняющееся по мере его исторического развития, — лучше прослеживается на другом литературном материале — не биографическом, а эпистолярном.

Письма в Риме писали давно и много; к I веку н. э. они сложились в определенный жанр, и общая его эволюция отражала то же

видоизменение человеческой личности, которое отразилось в биографических сочинениях. Завершают ряд старых римских эпистографов философ Сенека, автор «Нравственных писем к Луцилию» (64–65 гг.), и друг Тацит, сенатор, государственный деятель и литератор Плиний Младший, чьи «Письма» выходили отдельными выпусками между 96-м и 108 гг. С точки зрения исторической оба сборника подводили к тому рубежу, который обозначился уже в эволюции римской биографии, — к исчерпанию классического единства человека и государства, то есть, другими словами, к исчерпанию аксиологического смысла полисного принципа античного мира, — подводили, но оставались по сю его сторону. С точки же зрения литературной в обоих сборниках отчетливо сопresentовались нарастающий неповторимо личный элемент и инвеляровавший его элемент риторический, — сопresentовались, но так, что первый никогда не мог стать вполне неза-висящим от второго. Положение это было обусловлено полисным характером предшествующей римской культуры.

Связь риторической эстетики с атмосферой и культурой полиса очевидна: если главное в человеке — то, что его объединяет с согражданами, его общественная личность, а не его неповторимая индивидуальность, то и для самовыражения он ищет не особые, неповторимые, только *его* слова, а стремится выразить себя в соответствии с более или менее общими правилами. Не только по этическому и культурному самоощущению автора, но и по своей эстетике античное письмо было порождением полисного мира и в своем традиционном виде жило до тех пор, пока жив был этот мир.

Исторические рубежи, перемены, даже катастрофы — всегда процесс, всегда происходят исподволь, путем медленного накопления новых элементов и отмирания старых. Но есть даты-символы и символы-события; они знаменуют акме и слом, прерывают течение процесса и представляют глазам потомков как бы мгновенный его снимок, наглядный образ. Летний день 235 года н. э., когда в глухой галльской деревушке несколько солдат-германцев из охраны императора ворвались в шатер своего полководца Александра Севера и через несколько минут вышли оттуда, оставив за собой трупы самого принцепса и его матери, был такой датой-символом. Она открыла полувековую эру хозяйственной анархии, распада административной системы, солдатских бунтов и междоусобных войн, непрерывно сменявшихся императоров (22 за 50 лет!), гонений и казней; торжества по поводу тысячелетия Рима в 252 году потонули в крови. И когда империя вынырнула наконец из океана страданий и разрушения, оказалось, что полисного мира больше нет. По-прежнему покрывали бесчисленные города гре-

ческие, римские земли и земли провинций, по-прежнему во главе их стояли выборные магистраты, а к городским стенам примыкали сельские угодья граждан, своим чередом шли празднества и пиры. Но исчезло главное — вошедшее в плоть и кровь бесчисленных поколений, с молоком матери выпитное ощущение, что твой город — единственный на свете, начало и конец твоего бытия, что только здесь ты защищен наследственными правами гражданства, родней и друзьями, законами и стенами, вне которых, в чужом внешнем мире можно бывать, но нельзя жить. Стены оказались ненадежны, законы издавались теперь за тридцать земель, в столице империи, а права гражданства каждый, у кого были деньги, мог отныне купить вместе с землей — некогда неотчуждаемым священным достоянием гражданского коллектива. Полис стал Космополисом, город — вселенским Вертоградом Божиим, гражданская община, или *civitas*, — *civitas Dei*, и это значило, что античный мир, античность как особая фаза в духовном развитии человечества кончилась. Ибо античность — это полис: прямая демократия, суверенитет народа, свобода в рамках закона, ответственность каждого за родной город, единство частной и государственной собственности, особое место каждого полиса, его героев и богов в мире, единство Я и народного целого, существующих лишь одно через другое и одно в другом. Эти черты слагались в возвышенный образ, который никогда полностью в жизни воплощен не был, но и никогда не был ей полностью чужд, который опровергался общественной практикой и мощно воздействовал на нее — короче, который представлял собой то единство идеала и действительности, что мы называем мифом высокой классики. Это идеально равновесное состояние постоянно разрушалось, чем дальше, тем больше, но и постоянно сохранялось, и когда распад его определился окончательно, начался тот предсмертный кризис, который заполняет целую эпоху в истории Европы, — переходное состояние от античности к Средним векам. Оно начало складываться на рубеже I и II вв., чтобы установиться повсеместно на рубеже III и IV.

Переворот этот был связан с распространением христианства, но далеко не сводился к нему (к началу IV в. христиане составляли не более одной десятой населения империи). Христианство лишь усилило ощущение, что человек вообще не принадлежит полисному миру, что он оставлен наедине с чем-то всеобщим и абсолютным, как бы его ни называть — историей, судьбой или Богом. У скульптурных портретов, всегда столь распространенных в Риме, теперь появился взгляд, обращенный в бесконечность, появилось выражение сосредоточенности, сомнения и слабости, страдания или отчаяния. Такой человек все меньше мог выразить себя в государственной сфере, в общей тональности с согражданами, уложить жгущее душу чувство в универсально впитанные риторические формулы. Ему надо было найти возможность



высказать другому свою неповторимую индивидуальность, высказать искренне и до конца. Письмо давало такую возможность в большей мере, чем другие виды словесного творчества.

...Перед нами стихотворное послание, одно из вошедших в «Письма с Понта» Овидия. Оно написано в ссылке глубоко удрученным человеком, стремящимся поделиться своей скорбью, выразить искренне переживаемое им глубокое страдание. Скорбь и страдание, однако, выступают здесь в том облике, в каком только и мог их переживать подлинно античный человек Публий Овидий Назон — римский всадник по происхождению, ритор и судебный оратор по образованию, входящий в круг императора Августа.

*Но в одиночестве, что мне начать? Чем досуг мой печальный  
Стану я тешить и как долгие дни коротать?  
Я не привержен вину, ни игре обманчивой в кости —  
То, в чем обычно дают времени тихо уйти.  
Не привлекает меня (даже если бы вечные войны  
И не мешали тому) новь поднимать сошником.  
Вот и осталась одна холодная эта улада,  
Дар Пиэрид — богинь, мне услуживших во зло<sup>10</sup>.*

Все здесь очень по-античному, по-римски, в рамках того человеческого типа, который в своем развитии отразился в разобранных нами выше биографических памятниках: скорбь вызвана насильственной разлукой с родной гражданской общиной; путь к утешению — совершенствование поэтического мастерства, с которым автор слагает свои письма в Рим, к властителям государства и покровителям-друзьям; страдания и скорби общественно мотивированы, в этом смысле внешни, экстравертны. А теперь заглянем в письмо человека, стоящего уже по другую сторону рубежа, — отца церкви, блаженного Иеронима (348—420 гг.). Так же как Овидий, чувствовал Иероним обаяние античной культуры, так же как он, был переполнен ее мыслями и образами; и в то же время — все другое, другой человек, другой смысл письма.

«О, сколько раз, уже будучи отшельником и находясь в обширной пустыне, выжженной лучами солнца и служащей мрачным жилищем для монахов, я воображал себя среди удовольствий Рима! Я пребывал в уединении, потому что был преисполнен горести... И все-таки я — тот самый, который из страха перед геенной осудил себя на такое заточение в обществе только зверей и скорпионов, — я часто был мысленно в хороводе девиц. Бледнело лицо от поста, а мысль кипела страстными желаниями в хладном теле, и огонь похоти пылал в человеке, который заранее умер в своей плоти. Лишенный всякой помо-

щи, я припадал к ногам Иисусовым, орошал их слезами, отирал вла-  
сами и враждебную плоть укрощал воздержанием от пищи по целым  
неделям. Я не стыжусь передавать повесть о моем бедственном поло-  
жении, а, напротив, сокрушаюсь о том, что теперь я уже не таков»<sup>11</sup>.  
Главное здесь — даже не столь необычное для античного человека опи-  
сание собственных интимных страданий, а стремление автора расска-  
зать о себе все, раскрыть самые внутренние движения души даже вопреки  
принятым приличиям, сознание их духовной значительности. Но  
сколько-нибудь устойчивую форму самовыражения эти чувства в пре-  
делах античности, то есть того регистра культуры, в котором вопреки  
своему христианству во многом остается еще Иероним, найти себе не  
могут. Иероним знает только один принцип художественной вырази-  
тельности — риторический, а риторика справедливо представляется  
ему чем-то лишь внешне мотивированным, ненужным и оскорбитель-  
ным. «Здесь не будет риторических преувеличений», — пишет он в том  
же письме<sup>12</sup>.

Снять это противоречие между рождающимся индивидуальным пре-  
реживанием и обращенной к обществу художественной формой, найти  
средства словесного выражения подлинных чувств во всей их непо-  
средственности античности не было дано до самого конца. В начале  
III века возникло собрание писем, созданных, скорее всего, греческим  
писателем Филостратом Вторым. Под его именем сохранилось 73  
письма; их подлинность и первоначальное расположение вызывали  
сомнения. Несколько более, чем в других случаях, эти сомнения оп-  
равданы тогда, когда речь заходит о первых 64 письмах, отчетливо  
образующих в пределах сохранившейся книги как бы самостоятель-  
ный сборник. Вошедшие в него письма все сплошь любовного содер-  
жания. Не стесненный никакой точной исторической реальностью, ни-  
какой документальностью и подлинностью писем, автор варьирует в  
них мотивы эллинистической эпиграммы и того полуфантастического-  
полубуколического жанра, который принято обозначать как поздний  
греческий роман. В подавляющем большинстве это краткие зарисов-  
ки, любовные признания, красивые выражения красивых чувств. В  
них нет уже ни событий, ни объективной истории, ни реального фак-  
турного бытия, но нет и реальных человеческих чувств, которые могли  
бы найти соответствующую литературную форму, соответствующий  
орган самовыражения. Перед нами бесспорно художественная литера-  
тура, но в которой художественность еще понимается каквершенство  
стилизации, а творческая фантазия — как свобода игры. «Глаза  
твои прозрачнее стеклянных кубков — сквозь них видно душу, багря-  
нец щек цветом милее вина, льняные одежды отражают твой лик, гу-  
бы смочены кровью роз, из источников глаз твоих словно струится

влага, и поэтому ты мне кажешься нимфой. Сколько спешащих ты заставляешь остановиться, сколько торопливо идущих мимо удержи-  
ваешь, сколько, не произнося ни слова, призываешь. Я первый,  
лишь только завиджу тебя, мучимый жаждой, против воли замедляю  
шаги и беру кубок, но не притрагиваюсь к вину, потому что привык  
впивать тебя»<sup>13</sup>.

Здесь предел иже не преjdeши античного письма, его автора — ан-  
тичного человека, всего античного типа культуры. Как бы ни измени-  
лось соотношение личности, то есть характеристики человека с точки  
зрения его общественных проявлений, и индивидуальности, то есть ха-  
рактеристики внутреннего духовного потенциала, который не сводится  
к непосредственно общественным манифестациям человека, нормой до  
конца остаются внятность и выразимость чувств личности, а альтерна-  
тивой — эрзац лирического самовыражения, стилизация, условная иг-  
ра или лишь изредка, уже на грани иной традиции прорывающийся  
воплъ страдания. Своего способа самовыражения, а тем самым и свое-  
го подлинного самосознающего бытия человеческая индивидуальность  
здесь не достигает.

1980; 1990

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Naevius, 129. — В кн.: *Ribbeck O. Comitorum Romanorum fragmenta*, 3. Aufl. Leipzig, 1898, S. 343; ср. Cic., Brut. 75—76.

<sup>2</sup> Birt Th. *Römische Charakterköpfe*, 4. Aufl. Leipzig, 1918, S. 12—13.

<sup>3</sup> Сервия Тулия (I, 1, 48, 8—9), Камилла (VII, 1, 8—10), Фабия Мак-  
сима (XXX, 26, 7—9), Сципиона Африканского Старшего  
(XXXVIII, 53), Аттала (XXXIII, 21, 1—5).

<sup>4</sup> «Perhaps Voconius didn't care», — *Syme R. Pliny's Less Successful Friends // Historia*, Bd IX, 1960, Nr. 3, p. 367.

<sup>5</sup> «Гаю Светонию Транквиллу, фламину, введенному божественным  
Траяном в число выборных (судей по уголовным делам. — Г. К.),  
понтифику Вулкана, хранителю писем (a studiis) императора Цеза-  
ря Траяна Адриана Августа, хранителю его библиотек (a bybliothecis)  
и распорядителю канцелярии (ab epistulis) поставлено по ре-  
шению декурионов города» (CRAI, 1952, p. 76—86).

<sup>6</sup> Плиний (I, 14, 5) рассказывает о всаднике из Бриксии, отказавшем-  
ся войти в сенат, несмотря на настояния Веспасиана; известен ма-  
гистрат одного из галльских городов (ILS, 6998), поступивший так  
же по отношению к Адриану, — «некоторые из богачей в провин-  
циях и в Италии, — пишет современный исследователь, — должно

быть, предпочитали *otium* в своих муниципиях государственной службе» (*Duncan-Jones R. P. The Procurator as Civis Benefactor // JRS*, 64, 1974, p. 84). С истолкованием, которое дает этим данным А. Н. Шервин-Уайт в своем комментарии к цитированному письму Плиния, согласиться едва ли возможно. О сенаторах см. подробно: ВДИ, 1977, № 1, с. 143.

<sup>7</sup> Этот поворот во взглядах на Светония связан с работами В. Штайдле (*Steidle W. Sueton und die antike Biographie. München, 1951*) и Э. Чизека (*Cizek E. Structures et idéologie dans «Les Vies de Douze Césars» de Suétone. București; Paris, 1977*).

<sup>8</sup> *Cn. Octavius Capito*. Exitus illustrium virorum (Plin. Ep., VIII, 12); *C. Fannius*. Exitus occisorum et relegatorum a Nerone (ibid., V, 5; контекст, равно как и синтаксические соображения, указывает на то, что «а Nerone» означает не «убитых и сосланных Нероном», а «начиная со времени Нерона» — по типу *ab urbe condita*, *ab excessu divi Augusti* и т. п.); *Herennius Senecio*. Prisci Helvidii vita (Dio Cass., 67, 13, 2; Tac. Agr., 2, 1; Plin. Ep., VII, 19, 5); *Iunius Arulenus Rusticus*. Laus Paeti Thraseae (Dio Cass. ibid.; Suet. Dom., 10, где Рустикю ошибочно приписано авторство составленной Гереннием Сенеционом биографии Гельвидия); *P. Antei*. De ortu vitaeque P. Ostorii Scapulae (Tac., Ann. XVI, 14) — включение книги Антея в этот ряд основано на том, что она фигурировала в доносе Антистия Созиана как одно из доказательств оппозиционности автора Нерону.

<sup>9</sup> *Pflaum H.-G. Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire Romain, I. Paris, 1960, p. 70—73, № 30.*

<sup>10</sup> То есть сочинение стихов. Пизриды — музы. Поэт говорит, что они «услужили ему во зло», так как считает, что причиной ссылки его явились стихи, некогда им написанные.

<sup>11</sup> К Евстохии, 7, пер. И. П. Стрельниковой.

<sup>12</sup> Ср. в другом письме (к Паммахию, 6): «Пусть же другие занимаются словами и буквами, ты заботься о мыслях».

<sup>13</sup> *Флавий Филострат*. Письма, 32 / Пер. С. В. Поляковой.

---

## ЧЕЛОВЕК И ГРУППА В АНТИЧНОСТИ

### Обзор новой зарубежной литературы

В последние годы за рубежом вышло несколько книг по истории Древних Греции и Рима, в большей или меньшей мере связанных с одной из самых существенных, как выясняется, проблем изучения античного общества. Речь идет о монографии профессора Бухарестского университета Э. Чизека, посвященной Нерону, о коллективной работе трех ученых из ГДР по римскому колонату, о «Разысканиях об обществах откупщиков» (также на римском материале) итальянской исследовательницы М. Р. Чиммы и о книге оксфордского преподавателя О. Мэррея «Ранняя Греция»<sup>1</sup>. К ним примыкает статья Р. Макмаллена (США) «Легион как общество»<sup>2</sup>. Исследования эти не имеют между собой, в сущности, ничего общего. Кроме одного пункта: в разной мере в них всех встает вопрос об объединениях или союзах, сообществах или содружествах из тех, что специалисты по социальной психологии называют «реальными», «малыми» (или «контактными») группами. Явление, обнаруживаемое в столь разных сферах общественной деятельности античного мира, должно указывать на некоторые общие и устойчивые черты этого мира.

В науке об античности подобные социальные микрообщности<sup>3</sup> были описаны неоднократно и весьма детально<sup>4</sup>. Рассматривались они при этом, однако, с точки зрения их правового положения, места в общественной структуре и их внутренней организации без внимания к социологической проблематике, к межличностным отношениям и вообще культуре<sup>5</sup>. Важность этой стороны дела начинает подчеркиваться в исследованиях последнего времени. «Тема, мною избранная, — заканчивает Клод Николе введение к своей широко известной книге «Гражданин республиканского Рима», — должна была бы иметь необходимое продолжение: исследование неофициальных и внегосударственных сообществ граждан — содалийцев, всевозможных коллегий (может быть, при учете просопографических данных) и политических «партий». Независимо от того, более древнего или более позднего они происхождения, они говорят о поведении римлян в обществе не меньше, чем принадлежность человека к трибе или чем его участие в народных собраниях. Я полностью отдаю себе в этом отчет. Но объем книги не дал мне такой возможности»<sup>6</sup>.

Материалы настоящего обзора отражают эту, по всему судя, нарастающую тенденцию. С точки зрения развития исторической науки она важна тем, что в ней конкретно и наглядно проявляется один из общих законов познания, в том числе и общественно-исторического, — неуклонное

приближение мышления к объекту во всей его живой полноте. Когда речь идет о познании исторического процесса, это означает, что категории, его характеризующие, познаются глубже, если рассматриваются, во-первых, во все более тесной связи с их реальным субъектом — живым человеком и, во-вторых, рассматриваются через его повседневную деятельность, во всем многообразии и осязаемости связей, в которые он включен, и условий, которые его окружают. В число этих обстоятельств входят формы повседневной жизни, межличностные отношения, настроения и эмоции, в которых общие социально-экономические закономерности конкретизируются, проявляются не только *в конечном счете*, но и *непосредственно*. Малые социальные единства, создающие особый психологический климат, мобилизующие, стимулирующие и ориентирующие общественные эмоции своих членов, стоят в том же ряду, и стремление рассмотреть социальные микрообщности античной эпохи как одно из конкретных проявлений исторических процессов, стремление проанализировать их воздействие на общественное поведение людей соответствует объективной логике развития исторического познания.

Показательна в этом смысле эволюция взглядов Э. Чизека. В его докторской диссертации 1972 г., также посвященной эпохе Нерона<sup>7</sup>, социальные микрообщности рассматривались еще весьма бегло и совершенно локально. Речь шла лишь об аристократических кружках, оппозиционных по отношению к режиму первых принцев<sup>8</sup>; никакого стремления рассмотреть этот частный и далеко не самый важный вид микромножеств как одно из проявлений некоторого общего свойства римской действительности автор не обнаруживал. Углубленное изучение эпохи Ранней империи, однако, вскоре привело его к более широкой постановке вопроса. В монографии об эпохе Траяна<sup>9</sup> он характеризует литературно-политические и философские кружки как модификацию в условиях империи былых клиентельных и соседско-общинных группировок и ставит эти кружки в связь с коллегиями<sup>10</sup>. Его книга о Нероне знаменует следующий шаг в том же направлении. В предисловии к ней автор отмечает, что в отличие от предыдущих его исследований по данной теме, где «преобладала тенденция все сводить к политической стратегии Нерона либо его противников», в данной работе такой подход дополнен анализом социокультурной сферы и системы ценностных ориентаций<sup>11</sup>. Обширная глава, посвященная социальным микромножествам (с. 173–256), подчинена решению этой задачи.

Их распространение в I в. Э. Чизек объясняет специфическими условиями общественной жизни эпохи Ранней империи: «Привыкшие на протяжении веков жить в стенах города, римляне ощущали в его пределах свою солидарность и свою причастность ко всему, здесь происходящему. Теперь эти стены рушились, гражданская община гибла, и жители ее

оказывались одинокими в бескрайнем мире. Ощущение зыбкого, лишённого устойчивости, сотрясаемого политического мира заставляло римлян искать убежища в группках, где все им было уже знакомо, заставляло крепче братья за руки» (с. 216). Автор отмечает, что «в обществе сосуществовали многочисленные социально активные группы, выражавшие непреодолимую потребность римлян объединяться вокруг одного или нескольких вожakov» и что «расцвет их во многом был подготовлен республиканскими традициями клиентелы и многовековой привычкой к общинной жизни» (там же). В книге, как представляется, точно охарактеризованы основные признаки римских социальных микрообщностей: потребность в микрогрупповом общении — устойчивая черта общественной жизни римлян, проявление исторически обусловленных социально-психологических особенностей их народа; социальные микрогруппы восходят к традициям гражданской общины и к клиентеле; они меняют свой характер при империи, становясь компенсацией распавшейся в новых условиях общинной солидарности. В книге содержатся указания и еще на некоторые черты социальных микрообщностей, проявившиеся особенно ясно в эпоху Империи; несмотря на единство их происхождения, они существовали в двух сильно разнившихся видах — народном (коллегии) и аристократическом (литературно-философские кружки); в первых люди стремились укрыться в дружеском общении от официальной жизни все более чуждого им государства, последние сохраняли прямую связь с общественно-политической жизнью и обычно представляли собой что-то вроде политических клубов<sup>12</sup>.

Отступления от собственной схемы приводят автора к неточностям, которые, однако, по контрасту помогают обнаружить некоторые существенные свойства исследуемого им явления. Понятие социальной микрообщности, например, неправомерно распространяется на такие вполне институционализированные звенья аппарата власти, как «августаны» (особая лейб-гвардия, созданная Нероном из недоверия к преторианцам: число ее членов доходило до пяти тысяч человек) или как своеобразный «кабинет министров», состоявший из императорских отпущенников, управлявших дворцовыми ведомствами, и рабов, входивших в их штат. Противоречие с материалом, как приводимым исследователем, так и известным из других источников, заставляет отдать себе отчет в том, что как раз неполная принадлежность к общественно-государственной структуре, контактность, ограниченность числа членов и были, по-видимому, обязательной чертой античных микрообщностей.

Вызывает сомнения и метод автора, объединяющего в одну микрогруппу людей абсолютно разного происхождения, традиций, интересов на одном лишь основании совместного упоминания их в источниках. Так, членами одной микрогруппы оказываются Лукан — поэт, в первый, «ро-

зовый», период правления Нерона вошедший было в его ближайшее окружение, но впоследствии республиканец, погибший в репрессиях 65 г., и Юлий Африкан — судебный оратор, не чуждый доноительства, кажется, не вхожий ко двору, происходивший из Галлии, как Лукан — из Испании, и, следовательно, человек совсем другого окружения и связей. Таких странных сочетаний в книге немало: префект претория, галл по происхождению, вполне придворный человек Афраний Бурр и адресат «Нравственных писем» Сенеки прокуратор Сицилии Луцилий; потомственный аристократ Публий Суллий и отпущенник Антоний Феликс и др. Эти люди могли преследовать на определенном этапе общие политические цели, могли отдаляться и сближаться<sup>13</sup>, но соединение их в одну устойчивую микрогруппу явно противоречит всему, что сказано автором о происхождении и характере таких микрогрупп, и лишь заставляет почувствовать, что в качестве одного из существенных своих признаков они обязательно предполагали определенную социокультурную однородность и личную близость, предполагали атмосферу, хотя бы временно затухавшую остроту социальных, политических и личных противоречий.

В целом, однако, книга Э. Чизека представляет собой важный вклад в разработку обсуждаемой проблемы. Значение ее состоит в том, что режим Нерона не исчерпывается в ней своим политическим фасадом и характеризуется как форма жизни, набор человеческих типов, духовная атмосфера, система жизненных и ценностных ориентаций. Соответственно и массовое тяготение к микромножествам едва ли не впервые предстает здесь как важный элемент социальной психологии и общественной действительности эпохи. «Изобилие групп, кружков и кланов, — заключает автор свой анализ, — составляет поразительную черту римской жизни первых двух столетий принципата».

Если рассмотреть этот материал в более широком контексте, выясняется, что такая черта присуща не только эпохе раннего принципата. «В Риме любая возможность общественного продвижения, хотя и основанная на личных и, так сказать, технических данных... могла реализоваться лишь через принадлежность — пусть фиктивную — к определенной социологической группе, будь то арханческая gens, в самом широком смысле familia, сенат или любое другое социорелигиозное или политико-религиозное множество»<sup>14</sup>. Данные источников подтверждают это суждение. Римляне верили, что занятие магистратуры зависит от двух условий — от studia amicorum, т. е. рвення друзей, и от voluntas popularis, т. е. воли народа (Qu. Cic., Comm. pet. cons., 16), и если роль второго из этих условий впоследствии неизменно сокращалась, то роль первого сохранялась постоянной и даже росла, как то видно, например, из данных Плиния Младшего (Plin., Ep. 1, 19; Paneg. 70, 9). Роль соседско-общинных, амикальных («дружеских») и клиентельных сообществ в образовании



так называемых «партий» в разные периоды политической жизни Рима общеизвестна и вряд ли нуждается в пояснениях или примерах <sup>15</sup>.

Положение это существовало не только в тот или иной период жизни Древнего Рима. Оно характеризует его историю в целом. Профессиональные коллегии упоминаются в связи с деятельностью первых царей (Plut., Numa, 17), но просуществовали они во всяком случае до конца принципата (Dig. 50, 6, 12, 7); совещаться с кружком «друзей» при принятии ответственных решений было морально обязательно уже при царях (Liv., I, 49, 4), но об обязательности подобных совещаний Цицерон говорил в конце Республики (Cic., In Verr. Actio Sec. II, 17, 41; V, 9, 23; pro Balb. 8, 19; I Phil. 1, 2), и они же неукоснительно проводились еще в эпоху Флавиев (Tac., Hist. II, 1, 3). Э. Чизек рассказывает о кружке Нерона, но такие же по своей структуре кружки собирались двумя столетиями раньше вокруг Сципионов и тремя столетиями позже вокруг Симмахов. Микросообщества разных видов могут быть засвидетельствованы на всех социальных уровнях: культовые собрания, упоминаемые Цицероном в начале его «Лелия», или сообщества «юных», распространенные в эпоху Ранней империи в городах Италии, состояли из столичной и муниципальной знати <sup>16</sup>; культовые собрания компитальных союзов или сообщества «юных» в некоторых сельских общинах Италии I в.н.э. — из самых разных слоев, в том числе из отпущенников и рабов <sup>17</sup>.

Принято выделять несколько устойчивых типов таких микрогрупп: профессиональные; дружески-застольные; религиозные, т. е. почитателей того или иного божества, обычно не входившего в официальный государственный пантеон; похоронные, т. е. складчины бедняков, совместно приобретающих места на кладбище или в колумбарии; политические <sup>18</sup>. Такие классификации стремятся зафиксировать определенные типы микрообщностей в их раздельности, и прежде всего отделить частные сообщества от официальных — учрежденных, как сказано в «Дигестах», «чтобы служить своей деятельностью потребностям общества» (Dig. 50. 6. 6(5), 12). Между тем суть дела — во всяком случае, социологическая и социально-психологическая — состоит как раз в том, что частные и общественные функции были в них обычно неразделены.

Так, в эпоху Республики, а во многих слоях и значительно позже, каждый римлянин принадлежал своей «фамилии». Помимо членов семьи как таковых она охватывала отпущенников, в известном смысле рабов и не была резко обособлена от примыкавших к ней представителей младших ветвей рода, от клиентов, покровительствуемых земляков, друзей и т. д. Не случайно само это слово в обиходном языке было столь неопределенным и широким по значению. «За многозначностью термина „фамилия“, без сомнения, изначально стояло нерасчлененное единство всех и всего, что входило в состав дома, которым властвовал

отец семейства»<sup>19</sup>. В одном из поздних источников термином «фамилия» объединены все вообще сторонники Гая Гракха, сплотившиеся вокруг него в день его гибели<sup>20</sup>. Подобное нерасчлененное единство представляло собой плотную, контактную группу, члены которой были связаны отчасти генетической традицией, отчасти ритуальными трапезами и почти всегда хозяйственными или политическими интересами и разными формами взаимопомощи. Такое сообщество было частным, но в то же время составляло единицу и общественной жизни, ибо участвовало в ней как единое целое, а ее превратности распространялись на всех ее членов. Так было при Республике, когда после убийства Тиберия Гракха сенатская комиссия «самым свирепым образом допрашивала друзей и клиентов Гракхов» (Vell. Pat., II, 7, 3), так было при принципате, когда после смерти Нерона «воспрянули духом честные люди из простонародья, связанные со знатными семьями, клиенты и вольноотпущенники осужденных и сосланных» (Tac., Hist. I, 4, 3).

То же положение наблюдается и во многих других сообществах, например в амикальных группах. Римлянин, как уже отмечалось, всегда был окружен «когортой друзей», без совещания с которыми он не принимал ни одного ответственного решения. Друзей выбирали на основе соседства, родства, семейных традиций, но также на основе личных вкусов, как Сципион Старший выбрал Лелия, а Август — Агриппу; императора Вителлия упрекали за неумение выбирать друзей (Tac., Hist. III, 86, 2). Круг друзей мог меняться, но случаи размолвок были редки, и амикальная группа выступает обычно как устойчивая микрообщность. Она объединяла людей в застолье, в беседах, в совместных увлечениях, но все это не было отделено от жизни общества и государства, и в центре того, что римляне называли политическими «партиями», всегда обнаруживается амикальное сообщество. Группа советников и помощников, сопровождавших римского магистрата в провинцию, составлялась в значительной части из людей, лично ему близких, была институционализирована далеко не полностью, но решение, принятое без совещания с ними, могло быть не признано действительным (Cic., In Verr. Actio Sec. V, 9, 23; ср. Liv., 29, 20, 4). Даже так называемый Совет принцепса, рассматривавший все основные вопросы жизни империи и обеспечивавший политическую преемственность при смене властителей, на протяжении всего первого столетия принципата сохранял свой частный, неофициальный, квазидружеский характер<sup>21</sup>.

Подобные примеры могут быть значительно умножены. Хозяйственная и общественно-политическая деятельность, семейная жизнь, развлечения и отдых, отправление религиозных обрядов, даже вступление в армию осуществлялось в Риме в рамках микромножеств, в течение дня римлянин переходил из одного микромножественного кон-

текста в другой, жить — значило жить в сообществах, и реализовать себя как общественное существо человек мог прежде всего в них. Пронизывая общественную действительность, они придавали ей в целом микромножественный характер.

Этот принцип раскрывается в исследованиях последнего времени во все новых и подчас неожиданных своих проявлениях. Показателен в этом отношении материал, собранный в книге М. Р. Чиммы. Он заставляет по-новому взглянуть на римские компании откупщиков и увидеть в них не только финансовые и хозяйственные организации, но и образования иного порядка. Цицерон, например, как обратил внимание автор, употреблял слова «компания откупщиков» в одном контексте со словами «коллегии» (Cic., In Vat. 3, 8), «коллегии и общественные группы» (Cic., In Pis. 18, 41), «коллегии, содружества и сообщества» (Cic., Pro Sest. 14, 32). Такое словоупотребление показывает, что компании публиканов воспринимались в Риме не только как учреждения, но и как ассоциации, объединения, предполагавшие, подобно коллегиям, определенный тип межличностных отношений и определенную структуру. Как «фамии» или политические содружества объединялись вокруг старейшины, вожака или патрона, так и откупная компания выступала перед внешним миром как целостная группа, объединенная вокруг магистра и как бы продолжавшая его, — он от собственного имени заключал контракт на откуп с государственными властями, и лица, сотрудничавшие в компании, лишь реализовывали сделку, им заключенную, и от него получали вознаграждение. При этом, однако, люди, использовавшие компанию как банк, доверяли деньги не магистру или его представителю, а компании в целом.

Данные М. Р. Чиммы не означают, разумеется, что в компаниях публиканов можно усматривать разновидность дружеских кружков или религиозных коллегий. Но они показывают, как широко был распространен в Риме принцип, согласно которому всякое дело, государственное или личное, хозяйственное или политическое, осуществлялось с помощью группы лиц, объединенных вокруг руководителя и связанных с ним отношениями фамилиальной, амикальной, местной, общинной или любой другой солидарности, — отношениями, не носившими официально-отчужденного характера или, во всяком случае, не исчерпывавшимися им. Так командующий подбирал себе квесторов, так наместник в провинциях создавал себе опору из местной знати, так преуспевший и сделавший карьеру в Риме выходец из италийского или провинциального городка окружал себя земляками, постоянно опираясь на эту группу в политических, хозяйственных и личных делах, и в этом же ряду должна, по-видимому, восприниматься структура откупных компаний.

В особом своем преломлении обнаруживается принцип микрогруппы в колонатной организации, пока она еще не до конца обособилась от отношений, на которых зиждился весь собственно античный мир, — общинных. В названной выше книге К. П. Йоне и его коллег колонат описан не столько в своих классических формах, сколько в становлении, т. е. до рубежа I и II веков, когда на фоне образования латифундий, экспроприации средств производства у разорившихся крестьян, прикрепления их к земле и натурализации арендной платы во многом еще продолжали господствовать арендные отношения старого типа. Переход от этого так называемого «предколоната» к классическому колонату связан с двумя моментами, равно не исчерпывающимися своим экономическим содержанием, но имеющими также отчетливый социально-психологический и историко-культурный аспект — с изменением численного состава группы, занятой работой в поместье, и с разрушением норм трудового права собственности.

Авторы напоминают известные данные о том, что среднее поместье в Италии имело площадь от 100 до 200 югеров (25–50 га) и, соответственно, от 16 до 30 рабов, занятых в его обработке. В малых поместьях (10–80 югеров = 2,5–20 га) эта цифра должна была, естественно, сокращаться. Число колонов в такого рода виллах в точности не известно, но оно не могло не вписываться в тот же порядок величин. Латифундии, начавшие распространяться в I в. до н. э., но особенно энергично вытеснявшие мелкое и среднее землевладение во второй половине I в. н. э., характеризуются совершенно иными цифрами. За минимум авторы принимают (с. 108–109) площадь в 500 югеров, что предполагало, по их расчетам, от 20 до 50 работников. Римские писатели этой эпохи, однако, в один голос говорят о поместьях площадью в 15, 25, 50, даже 90 тысяч гектаров, где трудились сотни и тысячи рабов. Скопление таких масс рабов было опасным, работа их скованными или связанными — нерентабельной; их труд поэтому все больше вытеснялся трудом арендаторов-колонов, число которых таким образом тоже возрастало до сотен и тысяч. Разница этих двух рядов цифр принципиальна. Группа свободных и юридически равноправных сельских хозяев, которую составляли на малых и отчасти на средних виллах патрон и арендаторы, как бы ни были *разнонаправлены* их конкретные интересы, если число их было ограничено тремя-четырьмя десятками человек, могла обнаруживать в конечном счете и осознанную *итоговую* общность интересов и целей, и определенный тип межличностных отношений, и определенный положительный психологический климат, без которого вообще нет эффективного труда, — обнаруживать все те черты, которые начисто уничтожались в латифундиях с их армиями рабов и колонов, полным отчуждением интере-

сов и целей хозяйства от интересов и целей отдельных работников, с их атмосферой прямого и жесткого насилия, окончательного забвения общинных начал, — черты, ярко воссозданные в произведениях римских писателей, обильно цитируемых в книге.

Понять характерный для малых и средних вилл тип межличностных отношений и психологический климат (речь, разумеется, идет только об отношениях патрона с колонами, а не о рабах) можно лишь при учете того, что на подобных виллах вплоть до конца I в. продолжало сохраняться, отчасти как юридическая норма, отчасти как моральная заповедь, трудовое право собственности. Все формы обработки земли должны были строиться так, чтобы она, это исходное и главное достояние общины, не понесла никакого ущерба, и владеть ею в принципе мог лишь человек, способный обеспечить ее плодonoшение, при нехватке своих возможностей — с помощью арендаторов. Владелец земли и арендатор в этих условиях были оба, хотя и по-разному, заинтересованы в обработке земли и оба, хотя в разной степени, ответственны за ее сохранность. Тексты из «Дигест», собранные и прокомментированные на страницах 208 и следующих разбираемого сочинения, подтверждают сказанное. «Получение арендной платы, — пишет К. П. Йоне, — нельзя сводить лишь к материальной заинтересованности землевладельца. Систематической прибыли от участка можно было ожидать лишь в том случае, если сохранилась хозяйственная полноценность сданной в аренду собственности. В извлечении же прибыли такого рода был заинтересован не только он один, но и община в целом, ибо она ожидала от землевладельца, что его участок принесет прибыли, часть которых пойдет на воспроизводство общины и, соответственно, города» (с. 208).

Этим положением объясняется многое в арендных отношениях эпохи «предколоната». Приводимое в книге (с. 42) известное замечание Катона о том, что при выборе поместья необходимо учитывать возможность обеспечить налаженные, уважительные отношения с окружающими крестьянами, ибо только в этом случае можно будет найти работников и арендаторов, показывает, что отношения с колонами на виллах такого типа были еще неотделимы от отношений внутри общины и от характерного для них принципа взаимопомощи. О том же говорит ответственность патрона за сохранность инвентаря, принесенного с собой колоном для обработки арендованного участка, и за снабжение арендатора необходимым для его работы хозяйским инвентарем (Cato, Agr. 16; 137; Dig. 19, 2). Не случайно, по-видимому, отношения патрона и арендатора, довольно долго подчинявшиеся обычно-правовым нормам общинной жизни, лишь позднее втягиваются в сферу формально-правового регулирования (см. с. 177 и далее); в той же мере, в какой они

в нее втягиваются, они оформляются вплоть до II в. как отношения равноправных членов общины; см. материал и анализ на с. 86, 94–95, 140, 168 (примеч.), 180 и сл.

Связь арендатора с патроном на малых и средних виллах в период, предшествующий интенсивному образованию латифундий, выражалась в этих условиях, в частности, в том, что колон входил в ограниченную, плотную, связанную односторонней зависимостью, но двусторонними обязательствами группу, которая, как говорилось, всегда окружала в Риме сколько-нибудь значительного или даже просто зажиточного человека и которая строилась по общинному, клиентельно-амикальному, фамилиальному типу. Катон Старший, как известно, женился вторым браком на дочери зависимого от него крестьянина по имени Салоний. Примечательно, что одни источники (Sen., Controv. 7, 16, 7) называют этого крестьянина колоном, другие (Plin., NH, 7, 14, (12), 61; Plut., Cato Mai. 24, 3–6) — клиентом. «Непоследовательность источников, — пишет по этому поводу автор, — еще раз подтверждает, что определенный слой колонов не отличался ясно от клиентов. Сенека Старший, в свою очередь, не видит существенной разницы между этими клиентами-колонами и отпущенниками» (с. 88). Это мнение подтверждается отмеченным в источниках приравниванием колона к другим членам группы указанного типа<sup>22</sup>, а также многочисленными свидетельствами Горация, Сенеки Философа, Плиниев Старшего и Младшего. Нельзя забывать, что концентрация земельной собственности в Риме в течение долгого времени протекала не в виде образования латифундий, а в виде приобретения одним владельцем ряда имений среднего размера, как обстояло дело с земельными владениями Цицерона, Варрона, Колумеллы, Плиния Младшего и др., где в разных вариантах и в разной мере должна была сохраняться разрушавшаяся в латифундиях групповой связи, взаимной ответственности и известной солидарности, т. е. атмосфера, характерная вообще для описанных ранее социальных микромножеств. Они, таким образом, играли в Риме роль своеобразной модели, к которой тяготела как повседневно-бытовая и общественная действительность, так и хозяйственная сфера.

Другой пример универсальности микромножественного принципа — разного рода содружества, возникавшие в рамках римского легиона, а подчас и продолжавшие объединять легионеров после демобилизации. Именно с этой последней разновидности начинается рассмотрение данных групп Р. Макмаллен в названной выше статье. Изученные им надписи показывают, по словам исследователя, что демобилизованные ветераны — иногда сами по себе, иногда вместе с солдатами, остававшимися еще в легионе, — сохраняли «ощущение совместной службы и братской солидарности» (the sense of place and fraternity — p. 442). В подтвержде-

ние автор приводит эпитафии, в которых говорится, например, о могиле, находящейся под совместной охраной группы ветеранов (ILS, 7311); об установке надгробия умершему товарищу от лица *veterani morantes Simittu*<sup>23</sup> (CIL, VIII, 14608); об установлении *locus sepulturae gentilium veteranorum* (CIL, V, 884). С той же целью в работе цитируются и некоторые votивные надписи — от «*sacerdos*», центуриона, новобранцев и семи ветеранов XI Клавдиева легиона (AE, 1974, № 570) или просто от лица *commilitones*, по обету поставивших вместе и на свои средства посвяtitельную надпись Юпитеру Сильнейшему и Величайшему (IRG, IV, 1968, p. 72, № 66).

Из статьи Макмаллена следует, что существование подобных содружеств объяснялось двумя причинами — стремлением ветеранов сплотиться перед лицом чуждого им гражданского населения, среди которого они оказались после демобилизации и после отъезда из мест, где располагался лагерь, и привычкой к жизни в малых социальных группах, сложившейся еще в легионе. Служба в римской армии была, как известно, очень длительной — при Империи до 25 лет. Вступив в нее обычно юношей 18–20 лет, человек оставлял ее после сорока, а в ряде случаев легионера задерживали в армии и дольше, вплоть до очень пожилого возраста (Тас., *Ann.* I, 17, 5; 34, 2; XIV, 35). Воспитавшись в армии, усвоив ее специфические нормы и привычки, «солдаты составляли особый, отдельный мир»<sup>24</sup>, где «гражданские ценности и образ жизни под столь длительным воздействием неизбежно разрушались» (с. 440). К тому же легионы обычно стояли на границах; проведя основную часть жизни в нецивилизованных условиях, среди варваров, солдаты постепенно все больше отличались от обычных жителей империи также по языку, одежде, манерам. «Дикие по внешности, с путающей речью, грубые в общении», — приводит автор отзыв Диона Кассия (Dio Cass., 75, 2, 6). Почти полутора столетиями раньше, добавим, такими же видел их уже Тацит<sup>25</sup>. Когда такие люди оказывались выбитыми из привычной колее, не защищенными более силой оружия и армейской организацией, они, естественно, стремились к объединению и взаимной поддержке, образуя, пишет автор, в провинциальных городках «местные сообщества со своими руководителями и общей казной» (с. 443).

В таких *collegia veteranorum* Макмаллен склонен видеть «простое продолжение общественных группировок, существовавших в лагерях, где, как выясняется, с самых первых лет II в. абсолютно все, за исключением самого низшего персонала, сплачивались в своеобразные содружества с целью взаимопомощи, и в первую очередь организации похоронных складчин. Члены их называли друг друга «братьями», как бы составляя одну большую семью» (там же). Легион, таким образом, сохраняясь как основная организационно-административная и боевая

единица римской армии, «внутри имел еще дополнительные деления, благодаря которым люди могли втягиваться в сообщества более интимные и менее официальные» (с. 445). Солдаты объединялись в них отчасти с целями, только что указанными, отчасти — особенно во вспомогательных когортах и алах — по принципу землячества. В статье приведены посвященные надписи из Белгики, установленные, например, «воинами из пага Веллавы, служащими во второй Тунгроской когорте», или «воинами из Кондустрийского пага».

Материал о распространении подобных микрообщностей в армии и об атмосфере, в них царившей, контрастирует в работе Макмаллена с другим, казалось бы, данному противоречащим. Автор отмечает, в частности, широко известное положение, согласно которому в римских легионах после реформы Мария быстро рос удельный вес деклассированных элементов. Марий набирал прежде всего людей, лишенных прочного общественного положения и стремившихся в армию, дабы разжиться возможно быстрее и любым способом, принимал «всякого, кто к этому стремился, и большей частью неимущих» (Sall., Jug. 86, 2). Это были не те пролетарии *capite censi*, которые в чрезвычайных обстоятельствах призывались в армию в эпоху Пунических войн и своей доблестью неоднократно оказывали Риму величайшие услуги, а по большей части давно уже отвыкшая от труда и привыкшая к паразитарному существованию разложившаяся масса. Так характеризовал атмосферу в легионах Цицерон (VIII Phil. 9), такой оставалась она во времена Тацита (Ann. IV, 4, 2; XIV, 18), с нею вынужден был считаться Ульпиан, принимавший специальные меры против проникновения в армию преступников, которые стремились укрыться здесь от преследования властей (Dig. 49, 16, 4). Солдаты в походах и особенно во время гражданских войн грабили все и вся, выжимали деньги из населения и пленных, не останавливались перед самыми чудовищными жестокостями<sup>26</sup>. Центурионы изводили новобранцев наказаниями за вымышленные преступления и бесконечными поборами, те вынуждены были откупаться, добывая деньги разбоем или унижительной поденщиной, и становились настоящими солдатами, лишь «растратив все, привыкнув к безделью, развращенные нищетой и распутством»<sup>27</sup>. «Мерзкая алчность и таковая же небрежность» царили всюду (Plin., Ep. VII, 31, 2): командующие, стремясь восстановить «старинную дисциплину», зверствовали как угодно (Tac., Ann. XIII, 35), и солдаты платили им тем же всякий раз, когда накапывавшиеся годами обиды и ярость прорывались восстаниями и мятежами<sup>28</sup>. Жизнь в легионе в этих условиях представляется сплошным адом, а царившие здесь межличностные отношения — вечной дракой за добычу и войной всех со всеми<sup>29</sup>.



И тенденция к микромножественной солидарности, и противоположная ей тенденция к взаимному отчуждению выявлены автором равно убедительно, аргументированы весьма детально и отражают, по-видимому, объективную реальность. Как же в таком случае совмещались весь этот тон и стиль, с одной стороны, и *sense of place and fraternity*, с другой? Макмаллен этого вопроса не ставит, и, соответственно, ответа на него в статье нет. Между тем возникающее здесь противоречие важно для понимания сущности разбираемого явления. Соединение тенденции к групповой солидарности и атмосферы разложения и разобщенности обнаруживается не только в легионах. В бесчисленных харчевнях Рима, Италии и провинций, например, безраздельно царили грубость, воровство, антисанитария, сводничество, драки<sup>30</sup>. И тем не менее люди здесь собирались весьма охотно, как правило, одни и те же, образуя устойчивые микрогруппы, спаянные взаимной приязнью, единством интересов, а иногда и мировоззрения<sup>31</sup>. С этой точки зрения заслуживают внимания также столь характерные для городов империи скученность и теснота — в Римском государстве они были показателем не только повышенной плотности населения, но и определенной формой общественного самочувствия. В историческом центре Рима площадью около двух квадратных километров скапливались в дневные часы несколько сот тысяч человек. Общественные здания были переполнены, инсульты набиты как ульи, шум уже в преддверии светлой мглы не давал спать, стычки и скандалы на улицах случались постоянно, перед носилками знатного богатея надо было разбегаться, чтобы не получить шестом по затылку. В сочетании с жарой и удушающими запахами все это делало пребывание здесь невыносимым, о чем в один голос говорят Сенека, Марциал, Ювенал. И тем не менее жизнь в тесноте, «среди своих», неизменно воспринималась как нечто желанное и как ценность — именно потому, что она воссоздавала атмосферу групповой близости и общинного равенства<sup>32</sup>.

Как показывают исследование Макмаллена и только что высказанные замечания, отмечаемое в разобранных книгах и статьях «стремление римлян искать убежища в группах» (по цитированному уже выражению Э. Чпэка) коренилось, по-видимому, настолько глубоко в их общественном мироощущении, было настолько властным и сильным, что оно реализовывалось даже в окружении, казалось бы, мало для этого подходящем. Те же материалы наводят на мысль, что постоянная борьба за существование, привычка сильного помыкать слабым, стремление обогатиться за счет ближнего были для римлян не противоположностью взаимной приязни и солидарности в кружках и группах, а двумя сторонами общественной жизни, естественно сочетавшимися друг с другом. Нет никаких оснований полагать, будто межлич-

ностные отношения в группах целиком сводились к проявлениям равенства и взаимной приязни, и нет ничего более ошибочного, как воспринимать эту область общественной жизни Древнего Рима в идиллическом регистре. Отношения господства и подчинения, социальное и имущественное неравенство, зависимость слабого и бедного от сильного и богатого пронизывали всю римскую общественную структуру и полностью распространялись на межличностные отношения внутри социальных микрообщностей. Фамилия группировалась вокруг «отца семейства», чья власть над членами этой группы была неограниченной и проявлялась подчас с крайней жестокостью; зависимость клиента от патрона была полной и ежеминутно оборачивалась унижением; политические сообщества возникали для поддержки определенной знатной и богатой семьи и выполняли ее распоряжения; «коллегии малых людей» постоянно и в самой сервильной форме прославляли своих зажиточных покровителей; в пределах гражданской общины, сельской общины, виллы шла постоянная и нередко весьма свирепая борьба между все более обогащавшимися и все более нищавшими ее членами. Все это было как бы вмуровано в здание римского общества, представлялось нормальным строем жизни и определяло межличностные отношения в пределах традиционных социальных микромножеств. Здесь, как всегда и везде, внутригрупповые и межгрупповые отношения были лишь непосредственно жизненным, конкретным отражением отношений общественных — социальных и классовых.

На чем же в таком случае были основаны столь частые у Цицерона, Плиния Младшего, Ювенала протесты против нарушения солидарности в рамках таких микромножеств, против самодурства патрона, унижения клиентов, ограбления общинников? Почему распространение латифундий с их закованными рабами и обобранными колонатами вызывало возмущение и гнев у писателей I и начала II в.? Потому, очевидно, что неравенство коренных и пришлых, подчинение бедных богатым, а слабых сильным и зависимость одних от других могли представляться необходимыми и, следовательно, более или менее естественными, пока они вполне очевидно выступали как залог и условие укрепления и целостности города-государства, общины, фамилии. Их выживание убеждало в том, что иерархичность неотделима от сплоченности, следовательно, оправдана и в этом смысле справедлива. Как всеобщее, это убеждение естественно распространялось и на отношения в пределах любой микрогруппы. Там же, где иерархичность и неравенство утрачивали свою связь со сплочением коллектива, переставали восприниматься как условие его самосохранения, усиления и роста его как целого, они становились хищничеством, откровенным насилием, высокомерным эгоизмом, становились угрозой тому кон-

кретному, осязаемому, удобообозримому, внутренне контактному миру, от которого была неотделима жизнь индивида и где связь односторонней зависимости с взаимной ответственностью воспринимались как закон мироздания — *fas*, закон моральный и юридический — *ius*. Неуклонное обострение этой коллизии отражало специфическую, характерную для античного мира резко дисгармоничную форму роста производительных сил и развития общественных отношений. Поскольку, однако, исторически заданной нормой существования оставалось общинное бытие, сосредоточенное в относительно ограниченных, без конца регенерирующих группах, то сохранение этой модели существования воспринималось как потребность и благо, а поведение, активно его разлагавшее, казалось и было разрушительной аморальной силой, которую римляне называли словом *audacia*, а греки — ὕβρις — 'дерзкая самонадеянность, наглость', 'оскорбительная грубость', 'глумление, насилие'. Критика прогресса, столь характерная для античной общественной мысли вообще и римской в особенности, всегда выступала как критика нравственного упадка, а последний все чаще реализовывался в распаде традиционных микромножеств, на смену которым, однако, возникали новые, компенсаторные и вторичные, сложно взаимодействовавшие с первичными.

Что делал, например, римлянин, став объектом судебного преследования? Он одевался в темные одежды, запуская бороду и, окруженный детьми, обходил дома друзей, клиентов, родственников — апеллировал к солидарности амикально-фамилиальной группы. В решающий день группа эта в сколь возможно полном составе являлась в суд для оказания ответчику моральной поддержки, для того чтобы он в любом случае чувствовал себя не одиноким, не один на один с законом, а в кругу. В древности защиту на суде вел старейшина такой группы. Это было с его стороны выражением групповой солидарности, как бы его ответная обязанность — воздаяние за подчинение и служение, ранее проявленные человеком, ныне попавшим в беду. В этих условиях требование вознаграждения за такие выступления рассматривались как кощунство, как протупирование общинно-фамилиальных связей и запрещалось особым законом — Цинциевым, принятым еще в 204 г. до н. э. и подтвержденным Августом в 17 г. до н. э. (Cic., Cato Mai. 10; Dio Cass., 54, 18, 2). «Стыдно в суде защищать бедняка оплаченной речью», — писал Овидий (Am. I, 10, 39). Но чем больше становилось в Риме новых граждан, чем сложнее делались связи внутри исторических традиционных групп, чем более усложнялись законодательство и судопроизводство, тем меньше мог отец семейства справиться со своими обязанностями и тем чаще его должен был заменить профессиональный юрист. Показательно, что такой специалист считал для себя обязательной консервативную фикцию групповой соли-

дарности: он рядился в одежды отца семейства и выступал как бы от его имени — называл себя «патроном», произносил свои речи от лица «мы», объединяя им себя, подеудимого и его родственников, друзей, клиентов. Постепенно, однако, профессиональные юристы порывают всякие связи с подобными группами и начинают выступать с защитой только за деньги. Мотивировалось это интересами демократии: «новые люди» из народа обеспечивали себе квалифицированную защиту в суде, «новые люди» из судебных ораторов получали возможность выдвинуться без поддержки родовитых свойственников, за счет собственного таланта, красноречия и знаний (Тас., Апп. XI, 5). Но, выведенная из сферы групповой солидарности, такая практика утрачивала вообще моральный смысл, перерождалась в вымогательство, была одним из ярких признаков социального и морального кризиса. Развитие общества, моральная деградация и распад групповой солидарности выступали как проявление единого процесса.

Проблема происхождения античных социальных микромножеств, их эволюции и выявившихся в ходе этой эволюции их исторических разновидностей поставлена на древнегреческом материале в названной выше книге О. Мэррея<sup>33</sup>. Изложенная здесь концепция была развита и дополнена в посвященных той же теме других работах автора, где О. Мэррей рассматривает греческие социальные микрообщности главным образом в связи с одной, больше всего его интересующей проблемой — проблемой совместной трапезы, пира<sup>34</sup>. Схема, предлагаемая оксфордским ученым, сводится к следующему.

Античные социальные микрогруппы вообще и те, что собирались на пирах в частности, бывали двух видов — родственного, семейно-родового происхождения и восходившие к дружине военного вождя, а через нее — к архаическим, доантичным «мужским союзам». Первые более характерны для Рима, вторые — для Греции, где пир выступает как форма подкармливания вождем дружинников и повышения их социального статуса, где пир, собственно, и создает социальную микрогруппу. Раз возникнув, такие группы включаются в историческое развитие, предстают во все новых своих разновидностях и к V–IV вв. принимают новую, характерную для этой эпохи, но продолжающую прежние объединения форму фиасов, гетерий и др. Социальные микрогруппы существовали в разных общественных слоях, но, главным образом, и они сами, и пиры, от них неотделимые, были формой организации аристократии. По мере превращения последней из аристократии военной, какой она оставалась еще в VII в. до н. э., в «аристократию досуга», начинающую преобладать с VI в., их бывшие дружины, прежде служившие общине, все больше противопоставляются ей. Соответственно, все более антидемократическими сборищами стано-

вятся и аристократические пиры, перерастающие в пьяные дебоши, участники которых преследовали прохожих на улицах и нападали на них. С конца V в. до н. э. государство все отчетливее видело в таком поведении проявление *ῥβρις* и очень сурово ее карало, квалифицируя ее как форму аристократического террора, а застольные содружества — как опасные для демократии ударные группировки аристократов и зависимых от них лиц.

По крайней мере два элемента этой схемы находят себе полное подтверждение в известных сегодня фактах. Бесспорен, во-первых, сам факт существования в Греции, как и в Риме, наряду с прочими социальными микромножествами также сообществ, которые собирались вокруг аристократических лидеров и оказывали им помощь в достижении их политических целей. Демосфен сравнивал политические группировки в Афинах с симмориями, в каждой из которых господствует «гегемон», т. е. самый богатый и сильный, а «еще триста человек готовы кричать ему в лад»<sup>35</sup>, в Риме такие группировки начинают играть значительную роль в связи с движением Гракхов и в последующую эпоху<sup>36</sup>, а ко времени Катилины и Клодия приобретают настолько агрессивный и чисто политический характер, что сенат принимает постановление о запрещении вообще всех сообществ за самым незначительным исключением. Есть много оснований полагать, во-вторых, что подобные сообщества Греции и Рима находятся в типологической — хотя конкретно-исторически отнюдь не всегда ясной — преемственности по отношению к тайным (или мужским) союзам стадильно предшествующих обществ<sup>37</sup>.

Создается впечатление, что социальные микромножества порождались в бесконечно разнообразных формах на каждом новом этапе исторического развития и связаны тем самым с коренными, непреходящими свойствами античного общества. Постоянное тяготение античного человека к микросообществам есть, по-видимому, особое проявление определявшего всю его жизнь — или, во всяком случае, все его мироощущение — общинного принципа. Община предполагала не только тип хозяйственной или общественной организации, но также тип человека и мировосприятия, систему общественных потребностей и ценностных ориентаций, бытовых форм и привычек, определенную модель межличностных отношений. Общинный уклад, всегда сохранявшийся в недрах собственно античного мира, порождал, питал и актуализировал потребность не в равенстве обособленных друг от друга взаимно независимых индивидов, а в их сплочении в малых очагах существования, либо устроенных иерархически на основе традиций общины, либо возникших из ее кризиса и потому ориентированных на ценности никак не официализованного общения. Все это постоянно

подрывалось, в первом случае — развитием рабовладельческих отношений, усложнением, а потом и склерозированием государства, во втором — проникновением социальных антагонизмов во все ячейки общества, но все это в силу самой природы античного мира также и постоянно регенерировалось, вновь и вновь порождая массовую потребность в микрогрупповом бытии.

Материалы проведенного обзора наводят на мысль о том, что здесь обнаруживается одна из самых существенных особенностей античного мира. Это подтверждается и контрастным материалом — данными по социальным микромножествам иных эпох и регионов<sup>38</sup>, и в частности древнего Ближнего Востока. Они были совсем недавно проанализированы И. П. Вейнбергом, рассмотревшим под этим углом зрения ветхозаветные Книги Хроник<sup>39</sup>. Из проведенного анализа следует, что социальные микромножества были весьма распространены и составляли почти такую же характерную черту ветхозаветного общества разбираемой эпохи, как и общества античного. Как и в античном мире, они были многообразны и охватывали разные стороны жизни общества. На этом, однако, сходство кончается и начинаются несравненно более существенные различия. Как явствует из материалов настоящего обзора, в Греции и Риме микромножества играли роль продуктивной модели, порождались обществом на всем протяжении его развития, потребность в групповом общении удовлетворялась не только в формализованных сообществах, но и в самодеятельных, свободных, и отмирание одной, старой их разновидности влекло за собой компенсаторный рост другой. Именно эта-то спонтанность и энергия в образовании содружеств, опосредованное ими официальных делений и государственно-го регулирования, реализация в первую очередь в них настоятельной потребности в межличностном общении отсутствовали почти начисто в ветхозаветном мире эпохи Хроник. Абсолютно преобладают сообщества, которые И. П. Вейнберг называет первичными, т. е. прямо связанные еще с доклассовыми отношениями, — семейно-родовые, возрастные, местные, и почти никакой роли не играет самодеятельное, спонтанное группообразование. «Чрезвычайно малый удельный вес слов, означающих неинституционализированные группы, редкость их употребления, отсутствие таких важнейших для этого типа лексем, как «гость», и лишь спорадическое упоминание других, вроде «друг», совершенно отчетливо указывают на то, что это явление лежит на периферии интересов и самого хрониста, и его аудитории» (с. 93). Все отличие от положения в античном мире и тем самым специфика последнего выступают здесь совершенно отчетливо.

В объективной структуре античного общества и в субъективном сознании греков и римлян постоянно и повседневно сосуществовали

две взаимоисключающие тенденции. Чем радикальнее разрушало движение истории патриархально-общинные нормы существования, чем важнее было, чтобы выжить и утвердиться, развивать в себе сметку, хватку, хищную энергию, искусство и волю отстаивать свои интересы в ущерб чужим, тем более острой становилась потребность либо в паллиативном сохранении этих норм, либо в компенсаторном их восстановлении, пусть временном, пусть искусственном, — потребность, диктовавшаяся как раз тем, что в глубине общественного организма общинные начала жизни и производства сохранялись на протяжении всей античной истории и создавали присущие им иллюзии и стремления. Действительность равно порождала и обострение противоречий в обществе, и необходимость упразднить их — не на форуме, так в коллегии, не на агоре, так в фиасе, не в обществе, так в кружке. Постоянное проникновение одной из этих сфер в другую, постоянная потребность увидеть за свирепостью жизненной борьбы некоторый целостный идеал, который при этом не только уничтожался жизненной эмпирией, но и входил в нее, — отличительная черта античной цивилизации и культуры.

1985

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Cizek E. Néron. Paris, 1982; Johne K.-P., Kohn J., Weber V. Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des römischen Reiches. Eine Untersuchung der literarischen, juristischen und epigraphischen Quellen vom 2. Jahrhundert v. u. Z. bis zu den Severern. Berlin, 1983; Cimma M. R. Ricerche sulle società di publicani. Milano, 1981; Murray O. Early Greece. Glasgow, 1980.

<sup>2</sup> Macmullen R. The Legion as a Society // Historia, 1984, Bd XXXIII, Ht. 4, S. 440—456.

<sup>3</sup> В исследовательской литературе по истории античности они не имеют общепринятого наименования. Их называют иногда «объединениями» или «сообществами», иногда «ассоциациями», «социальными микроединицами» или «микроколлективами». В настоящем обзоре они названы «социальные микрообщности», причем обозначение это не рассматривается как термин, носит описательный характер и употребляется наряду с другими — «социальные микрогруппы», «социальные микромножества» и т. п.

<sup>4</sup> Ziebarth E. Das griechische Vereinwesen. Leipzig, 1896; Poland F. Geschichte des griechischen Vereinwesens. Leipzig, 1909; De Robertis M. Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo Romano. V. I—II. Bari s.d. [1971].

- <sup>5</sup> В старой литературе одно из немногих исключений: *Буассье Г.* Римская религия от времен Августа до Антонинов. М., 1914, с. 582—642.
- <sup>6</sup> *Nicolet C.* Le métier de citoyen dans la Rome républicaine. Paris, 1976, p. 22.
- <sup>7</sup> *Cizek E.* L'époque de Néron et ses controverses idéologiques. Leiden, 1972.
- <sup>8</sup> *Ibid.*, p. 55—69.
- <sup>9</sup> *Cizek E.* Епока lui Traian. București, 1980.
- <sup>10</sup> *Ibid.*, p. 124—127. Эта постановка вопроса была подготовлена некоторыми более ранними работами других исследователей, в первую очередь: *Gagé J.* Les classes sociales dans l'Empire Romain, Paris, 1964; и особенно: *Gillemain A. M.* Pline et la vie littéraire de son temps. Paris, 1929. Э. Чизек на них ссылается.
- <sup>11</sup> *Cizek E.* Néron..., p. 9.
- <sup>12</sup> На с. 416—417 автор помещает сводную таблицу такого рода кружков середины I в., где указаны политическая, философская и художественно-эстетическая ориентация каждого из них.
- <sup>13</sup> Подобно, например, опальному потомственному аристократу Пизону Лициниану и префекту претория Корнелию Лакону осенью 68 г. — *Тас.*, *Hist.* I, 14, 2.
- <sup>14</sup> *Meslin M.* L'homme romain des origines au I<sup>er</sup> siècle de notre ère. Essai d'anthropologie. Paris, 1978, p. 114.
- <sup>15</sup> *Koestermann E.* Tacitus und die Transpadana // *Athenaeum*, 1965, vol. 43, fasc. 1—2; *Meier Chr.* Res publica amissa. Wiesbaden, 1966, S. 15 ff.; *Утченко С. Л.* Юлий Цезарь. М., 1976, с. 50, 58, 65, 90.
- <sup>16</sup> *Ростовцев М. И.* Римские свинцовые тессеры. СПб., 1903, с. 140; *Della Corte M.* Juventus. Argino, 1924, p. 7; *Jaczynowska M.* Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire. Wroc aw, 1978, p. 28—29.
- <sup>17</sup> *Штаерман Е. М.* Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978, с. 33.
- <sup>18</sup> *De Robertis M.* Storia delle corporazioni..., p. 9.
- <sup>19</sup> *Смирин В. М.* Историк, источник, принцип историзма // *ВДИ*, 1980, № 4, с. 90.
- <sup>20</sup> (*Sc. C. Gracchus*) «armata familia Aventinum occupavit» (*De vir. ill.* 65). При описании тех же событий эпитоматор Ливия в том же контексте употребляет как синоним слова familia слово multitudo: *C. Gracchus* seditioiso tribunatu acto, cum Aventinum quoque armata multitudine occupavit... etc. (*Liv.*, *Epit.* 61).
- <sup>21</sup> *Crook J.* Consilium principis. Cambridge, 1955.
- <sup>22</sup> «С правовой точки зрения совершенно все равно, изгнал ли меня прокуратор, которому законным путем переданы дела человека, уехавшего из Италии либо отсутствующего в связи с государственным поручением, то есть доверенное лицо, представляющее чужое



право... или меня изгнал твой колон, сосед, клиент или отпущенник или вообще кто-нибудь, действовавший по твоей просьбе или от твоего имени» (Cic., Pro Caes. 57).

<sup>23</sup> Городок в провинции Африке.

<sup>24</sup> Макмаллен цитирует здесь книгу: *Veyne P. Le pain et le cirque. Paris, 1976, p. 610.*

<sup>25</sup> Солдаты германских легионов в Риме, «одетые в звериные шкуры», с огромными дротами, наводившими ужас на окружающих, представляли дикое зрелище. Непривычные к городской жизни, они то попадали в самую гущу толпы и никак не могли выбраться, то скользили на мостовой, падали, если кто-нибудь с ними сталкивался, тут же разражались руганью, лезли в драку и, наконец, хватались за оружие. Даже трибуны и префекты носились по городу во главе вооруженных банд, наводя повсюду страх и трепет» (Тас., Hist. II, 88, 3).

<sup>26</sup> Тас., Hist. II, 13; III, 34, 2. Сцены того же характера встречаются на колонне Траяна и, особенно выразительные, на так называемом саркофаге Людовизи. См., например: *Corbett R. Roman Art. New-York, 1980, ill. 59.*

<sup>27</sup> Тас., Hist. I, 46, 3. Слова Тацита относятся к преторианцам, но порядки эти господствовали и в легионах. См.: *Connolly P. Greece and Rome at War. London, 1981, p. 220.*

<sup>28</sup> Тас., Hist. II, 29, 1; III, 11; Ann. I, 16 sq. etc. Cp.: *Engel G. M. Tacite et l'étude du comportement collectif. Thèse. Lille, 1972.*

<sup>29</sup> См. очень показательное с этой точки зрения описание взятия Кремоны — Тас., Hist. III, 33, 1.

<sup>30</sup> *Amm. Marc., 28, 4, 4; Mart., III, 56; Front., Aquaed. 76; Buecheler F. Carmina Latina Epigraphica, T. I—II. Lipsiae, 1895—1897; T. III. Lipsiae, 1926, Nr. 930, 932; Friedländer L. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Teil 2. Leipzig, 1881, S. 38.*

<sup>31</sup> *Iuv., VIII, 176 sq.; SHA, Hadr. 16, 3; Epict., Diss. XI, 23, 36; Dio Cass., 60, 6, 6; CIL, IV, 575—576; Kleberg T. In den Wirtshäusern und Weinstuben des antiken Rom. B., 1963, S.32.*

<sup>32</sup> См. об этом более подробно в статьях автора: Теснота и история // Декоративное искусство СССР, 1979, № 4; Теснота и история в Древнем Риме // Культура и искусство античного мира. М., 1980. Там же указания на источники.

<sup>33</sup> См. примеч. 1. Книга эта рецензировалась во ВДИ (1983, № 2), но как раз разделы, связанные с нашей темой, и другие работы автора, к ней относящиеся, в этой рецензии отражения не нашли.

<sup>34</sup> *Murray O. Symposium and Männerbund // Concilium Eirene XVI. Proceedings of the 16th International Eirene Conference. Prague 31.8—4.9, 1982, p. 47—52; idem. The Greek Symposium in History // Tria Corda. Scritti in onore di Arnaldo Momigliano. Como, 1983,*

р. 257—272. Мне осталась недоступной работа того же названия в Times Literary Supplement, LXXX, 1981, p. 1307—1308.

- <sup>35</sup> Dem., II Olynth. 29. Смысл сравнения раскрыт в комментарии С. И. Радцига: см. *Демосфен*. Речи. М., 1954, с. 493. О распространности этих группировок в Афинах IV в. и зависимости их от геремона см.: *Pearlman S. The Politicians in the Athenian Democracy of the Fourth Century B. C.* // *Athenaeum*, 1963, 41.
- <sup>36</sup> Именно в эти годы nobilitas factione magis pollebat: plebis vis soluta atque dispersa in multitudine minus poterat. — Sall., Jug. 41,6. («Знать, сплотясь в сообщества, брала верх, силы же народа, разрозненные, раздробленные меж многими, преимущества этого не имели».) Ср.: *ibid.*, 31, 15; то, что «между честными людьми — дружба, между дурными — преступное сообщество (factio)» (пер. В. О. Горенштейна). В обоих случаях имеются в виду сенатские клики, которые их лидеры использовали для достижения своих политических целей. Как отмечалось выше, однако, такие клики не были жестко обособлены от социальных микромножеств других типов: слово «factio» не случайно имело также значение «шайка», «сговор клакеров в театре или цирке».
- <sup>37</sup> *Jaczynowska M. Les associations...*, p. 5 s.; *Токарев С. А.* Ранние формы религии. М., 1964, гл. 12: Культ тайных союзов, с. 322—335.
- <sup>38</sup> Если упоминать только отечественные и переводные публикации последнего времени, то см., например: *Миронов Б. Н.* К вопросу об особенностях социальной психологии русского крестьянства // Проблемы развития социально-экономических формаций в странах Балтики. Таллин, 1978, с. 33—43; *он же*. Историк и социология. Л., 1984, раздел: Община — социальная группа, с. 72—80; *Блок М.* Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957, с. 223 и сл.; *Абрамсон М. Л.* Крестьянские сообщества в Южной Италии в X—XIII вв. // Европа в Средние века: экономика, политика, культура. М., 1971, с. 47—61. Контраст собственно античного и восточного понимания смысла малых групп и их роли в жизни государства хорошо виден при сопоставлении римских сообществ друзей вообще и «друзей Цезаря» в частности с институтом «друзей» и «родственников» восточноэллинистических монархов. См.: *Бикерман Э.* Государство Селевкидов. М., 1985, с. 41—49.
- <sup>39</sup> *Weinberg J. P. Die soziale Gruppe im Weltbild des Chronisten* // *Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft*, 1986, Bd 98, Ht. 1, S. 72—94.

---

## ЖИЗНЬ В РИМЕ

### Эпоха Ранней империи

В основе ранней Римской империи как исторического явления лежит противоречие между созданным Римом огромным единым государством и полисным укладом, продолжавшим жить в недрах этого государства. Оба были обусловлены социально-экономической природой античного мира, который, по замечанию Маркса, не строил свое производство на развязывании и развертывании материальных производительных сил и состоял из, в сущности, бедных наций. На протяжении всей своей истории он в различной мере и форме сохранял черты, естественные для относительно ранней и относительно примитивной стадии общественного развития: земля как основа собственности и состояния; тяготение к натуральному хозяйству, возделываемому трудом «фамилии» и кормящему ее; община, семья и род — вообще принадлежность к целому как условие человеческой полноценности; гражданская община как наиболее естественная и совершенная форма такой целостности; острое ощущение различия между собственно общиной и необщиной, гражданами и негражданами. Город-государство — будь то римская гражданская община или греческий полис — и представлял собой социальную, политическую и культурную форму, неразрывно связанную с таким уровнем развития производительных сил и миропорядком, который этому уровню соответствовал.

Сколько-нибудь значительное историческое развитие поэтому не могло вписаться в тесные рамки полиса, разлагало его, ввергало в жесточайшие кризисы и приводило к периодическому созданию надполисных структур — огромных государственных образований вроде эллинистических монархий; в известном смысле Римская империя представляла собой явление того же порядка. Но ограниченность производительных сил всех этих, в сущности, бедных наций приводила не только к постоянным кризисам полисного мирка, но и к постоянному сохранению гражданской общины как формы, наиболее адекватной обществу с относительно низким уровнем и темпом хозяйственного развития, с вечно присущими ему элементами патриархальности и застоя. В эпоху ранней Римской империи производительные силы рабовладельческого общества достигают своего высшего развития, и поэтому надполисная государственность именно в этот период становится наиболее исторически необходимой и оправданной. Но поэтому же взаимодействие ее с имманентным этому обществу полисным укладом становится предельно напряженным и

разрешается крушением всей системы. Ранняя Римская империя — последняя стадия собственно античной истории.

Полюсы описанного противоречия располагались в разных исторических уровнях. Создание и утверждение империи осуществлялось прежде всего военно-политическими мерами и находило себе выражение в эдиктах и законах, походах и усмирениях, интригах и заговорах. Элементы общественной жизни, непосредственно восходящие к общине, образовывали, напротив того, стихию народного бытия и выражались в консервативных формах труда и быта, в традиционных нормах поведения, в сакральной и культовой архаике. Неповторимый облик эпохи связан с этим контрапунктом глубины и поверхности, с сосуществованием стремительных наглядных перемен и едва ощутимых сдвигов в подземных слоях, с внутренней перестройкой последних под влиянием первых.

Наша задача будет состоять в том, чтобы рассмотреть оба полюса и их взаимодействие с преимущественным вниманием к той сфере, в которой оно реально протекало, — к повседневной жизни широких масс.

### 1. Принципат и община

Римская действительность эпохи принципата была насыщена пережитками общинного уклада. Подчас то были даже не пережитки, а органические элементы жизни, растворенные в ней воззрения, привычки, традиции. Они находили себе выражение в отношениях собственности, в политике императоров, в нормах общественного поведения.

Деревня (по крайней мере италийская) и в I в. н. э. по-прежнему была не только поселением, но и организацией со своим выборным руководством, своими религиозными верованиями и церемониями. Здесь сохранялись многие пережитки общинной собственности на землю, и имущественная рознь не была столь обнаженной и безжалостной, как в больших городах, приглушалась традициями общинного равенства и солидарности. В списках юношеской коллегии того или иного поселения фигурируют на равных основаниях свободнорожденные крестьяне, рабы, отпущенники и сыновья сенаторов-аристократов. Поместья последних, выделенные из общины, сохраняли с ней связи, судя по тому хотя бы, что владельцы их сооружали на общинной территории святилища для всеобщего пользования. Помощь соседу, чьи посевы или посадки пострадали от стихийных бедствий, считалась обязательной. Жители поселения на общие средства не только возводили хозяйственные постройки, но и устраивали театральные представления, а по торжественным дням — совместные трапезы. Все это постоянно гибло под напором имущественной дифференциации и растущего государственного принуждения, но в то же время и как-то выживало, и постоянно возрождалось — надписи, где содержат-

ся данные о перечисленных особенностях сельских общин, обнаруживаются на протяжении периода от конца Республики до конца правления Антонинов.

В городе также основой существования полноправного гражданина, как и некогда, оставалась земля. В собственности такого человека на землю был ряд особенностей, указывавших на живучесть общинных норм и представлений. «Каждый, — писал Цицерон, — владеет как собственным тем, что по природе было общим, и пусть держится того, что у него есть, не пытаясь захватить больше, ибо этим он нарушит законы человеческого общежития». За таким восприятием собственности стояла жизненная практика, закрепленная в юридических актах и этого, и последующего периодов. Если человек купил землю, то по римским законам власть его над нею меньше, чем власть того, кто владеет ею по праву наследования, ибо последнее восходит к изначальной, общинной оккупации некогда ничьей земли, а первое — нет. Если человек владеет землей как собственностью, но приобрел ее как бы впрок и не возделывает, он не приносит пользы обществу, и поэтому земля может быть у него отнята. Критерием и санкцией частной собственности на землю продолжает оставаться, таким образом, вложенный в нее труд и извлеченный из нее продукт, т. е. соответствие интересам общины.

Связь принципата в ранний период его существования с доимперскими, традиционными и местными, общественными формами обнаруживалась не только в Риме и Италии, но и в провинциях, в первую очередь западных. Раздел земли после римского завоевания производился здесь таким образом, что известная ее часть оставалась в коллективном владении племени, а это определяло общинные формы ее эксплуатации и укрепляло общину. В провинциях правовые нормы, регулировавшие жизнь общества, не исчерпывались римскими законами; рядом с ними и под ними продолжали жить исконные, сложившиеся в недрах общинного уклада местные установления. В III в., когда кризис империи обострился до предела, а аппарат подавления ослабел, в некоторых провинциях выступил на поверхность целый ряд этнических особенностей, казалось давным-давно поглощенных романизацией. Законную силу получают завещания, составленные не только по-латински, но и на местных языках; в лагерях легионов звучит туземная речь; в изобразительном искусстве вновь распространяются орнаментальные мотивы и сюжеты доримского времени. Отгесненная от больших городов, в глубине провинций веками продолжала исподволь течь своя история, укорененная в здешней почве и здешней старине.

Императоры последовательно принимали меры, направленные на поддержку общины, прежде всего сельской. Так называемый пастбищный *сервитут*, т. е. ограничение права частной собственности на землю,

используемую членами общины для выпаса скота, появляется именно при Империи. Домициан отказался в пользу общин от своего права императора на участки, оставшиеся после распределения земли между ветеранами. На протяжении II в. нежелательность дробления общинной земли становится все более очевидной, и вскоре появляется ряд актов, это подтверждающих. В течение периода Ранней империи принимаются также законы, направленные на поддержку и укрепление среднего и мелкого крестьянства, в частности италийского. Они, разумеется, имели прежде всего экономический смысл, но служили и сохранению социального слоя, бывшего носителем наиболее консервативных сторон староримского мирозерцания, наиболее непосредственно связанного с общинными традициями и формами жизни.

Чем объяснялась такая политика принцепсов, главная задача которых состояла, казалось бы, в обратном — в растворении местных, в частности общинных, форм жизни в бесконечности и единообразии империи? Она объяснялась тем, что империя создавалась под руководством Рима и принцепсам было важно утвердить римские порядки и римские традиции. В пределах же последних императорам необходимо было противопоставить свой режим хищнической и предельно непопулярной власти сенаторской олигархии последних десятилетий Республики. «Римским» в этих условиях становилось в первую очередь все патриархально-народное, все, что было призвано воссоздать и утвердить образ Рима — гражданской общины.

Власть Августа основывалась на военной силе и юридически оформленных полномочиях, но он постоянно и усиленно заботился о том, чтобы в массовом сознании она опиралась на представления иного порядка, лишённые четкого правового содержания, в которых легенда стала народным чувством, а традиция — общественной психологией: власть отца семьи над членами фамилии, право вождя племени вершить суд, круговую поруку, соединявшую полководца и солдат, покровительство патрона клиентам, авторитетность в общественных делах, первое место в списке сенаторов. Императоры вообще изображали свой строй не в виде противоположности гражданской общине и городской республике как ее политической форме, а в виде их продолжения. При них сохранился республиканский аппарат государственного управления. В своем политическом завещании Август писал, что он «вернул свободу республике, угнетенной заговорами и распрями», и что сам он никогда не принимал никаких должностей, «противоречащих обычаям предков». Слова «восстановленная республика» или близкие им по смыслу повторяются на монетах ряда императоров I в. В определенных условиях почти все они подчеркивали, что считают себя не монархами, а гражданами республиканского государства, лишь получившими от сената и народа особенно широкие пол-

номочия. Выше говорилось о том, что полисному миру была органически свойственна противоположность граждан и неграждан, а в пределах самой общины — собственно граждан и плебса. Императоры I в. проводят ряд мер, направленных на укрепление этого принципа. Август не одобрял широкий отпуск рабов на волю, ограничил права отпущенников, очень скупно даровал римское гражданство. Тиберий запретил чужеземные культы и отказывался признавать правовое значение постановлений, принятых его уполномоченными отпущенниками. При Клавдии были усилены наказания за сожительство свободных женщин с рабами, так как это открывало последним или их детям возможность войти в число граждан.

Звание патриция, устанавливавшее, хотя и номинально, связь данной семьи с легендарными основателями римской гражданской общины, было окружено величайшим почетом; Август, Клавдий, Веспасиан присваивали его ограниченному кругу самых верных своих сторонников.

Было бы наивно видеть в таком поведении императоров одно лишь «лицемерие». Дело тут было не в лицемерии. Уходящая в глубь гражданской общины вековая вязь традиций, верований, полусознанных убеждений и укоренившихся навыков так плотно охватывала жизнь, что первые императоры видели свою задачу не в том, чтобы ее поправить, а в том, чтобы вращать в нее создаваемый ими режим.

«Связь между людьми, принадлежащими к одной и той же гражданской общине, — писал Цицерон, — особенно крепка, поскольку сограждан объединяет многое: форум, святилища, портики, улицы, законы, права и обязанности, совместно принимаемые решения, участие в выборах, а сверх всего этого еще и привычки, дружеские и родственные связи, дела, предпринимаемые сообща, и выгоды, из них проистекающие». Здесь дана сводка тех черт, в которых проявлялись традиции бывшей солидарности членов гражданской общины. Нам остается проиллюстрировать их материалом, показывающим, что они сохранялись на протяжении по крайней мере еще двух столетий, что они были крепкими и всеобщими, что, используя их, принцепсы лишь доказывали, как хорошо они понимали свое время.

**Форумы, святилища и портики** были, по свидетельству Марциала, теми местами, где постоянно собирались люди, рождались слухи, передавались новости. Жизнь римлянина включала в себя огромное количество обрядов и церемоний, участие в которых представлялось обязательным, и протекали такие церемонии чаще всего на форуме, в портиках, на улицах. Подобный характер общественной жизни делал людей особенно чувствительными к оформлению постоянно их окружавшей материально-пространственной среды города, и вкладывание частных средств в ее усовершенствование, в создание и украшение общественных сооружений

остается вплоть до середины II в. повсеместной формой выражения чувств гражданина к гражданской общине. «По побуждению Августа самые видные мужи старались украшать город», — пишет историк I в. Веллей Патеркул. В Риме это обыкновение вскоре вывелось, но в городах Италии и провинций удержалось еще надолго. В своем родном Комуме, на севере Италии, Плиний Младший отстроил в 90-х годах I в. библиотеку, а несколько раньше его отец — храм. Сенатор Юлий Целз Полемеан, родом из Эфеса в Малой Азии, в начале II в. соорудил знаменитую в древности эфесскую библиотеку. Император Элий Адриан подарил испанскому городу Италике, откуда происходила его семья, множество роскошных зданий.

Улицы в Риме были не столько артерией, соединяющей два района, сколько сама представляла собой район, русло, в которое впадали прилегающие улочки и вместе с которыми она образовывала микропоселение, городок в городе. Такое микропоселение еще и в эпоху Ранней империи имело свое летосчисление, в котором год обозначался по имени его главы — так называемого магистрата. Последнего сопровождали два ликтора, чьи фасцы напоминали всем о праве вождя распоряжаться жизнью и смертью соплеменников. Два раза в год, 1 мая и 1 августа, квартал торжественно отмечал праздники своих богов-покровителей. Новая, имперская действительность была здесь сплавлена с бесконечными пережитками седой старины, с тем же духом дробности, стяжения жизни в мельчайшие самостоятельные ячейки, который был присущ всему античному миру и постоянно жил в его глубинах.

Святыни в городах империи существовали самые разные, но особенно важное значение имели религиозные представления, связанные с отдельными кварталами города. В основе их лежало почитание ларов — местный, интимный культ, объединявший мелкий люд квартала. Такие лары были покровителями отдельных улиц и почитались на их перекрестках. Святыни этих культов оформлялись по-разному, но всегда незатейливо. В лучшем случае это были часовенки — тесные, открытые на улицу комнатки частного дома, где умещались лишь каменная скамья, алтарь и ниша с изображением ларов и гения-покровителя хозяина; иногда — просто ниша, куда складывались жертвенные дары, а чаще — маленькие алтари, вделанные в стену дома или прислоненные к ней, с нарисованными рядом змеями или с изображением жертвоприносителей.

Совместно принимаемые решения были особенностью жизни римлян, просуществовавшей всю тысячу лет их истории. Обыкновение это полностью сохраняло свою силу и в I и во II вв. н. э. Ни один человек, от императора до крестьянина, не принимал сколько-нибудь серьезного решения единолично. Советовались обо всем — продолжать ли лечиться или, если болезнь неизлечима, покончить с собой; женить ли сына или до поры



до времени воздержаться; приветствовать ли очередного императора или сохранить верность старому. Архитектор Витрувий в начале I в. писал, что, проектируя большие дома, необходимо предусматривать специальные комнаты для совещаний с друзьями. Состав друзей, с которыми надлежало советоваться, был разнообразен, но преобладали среди них земляки. Дружеские и родственные связи, о которых говорит Цицерон, были главным образом местными; их сила и крепость показывают живучесть территориальной организации и ее общинных черт, которые продолжали пронизывать всю государственную систему. Эти связи обуславливали продвижение человека по службе и его политическую ориентацию. «Ты мой земляк, — писал в самом конце I в. н. э. одному из своих корреспондентов Плиний Младший, — мы вместе учились и с детства жили вместе; отец твой был другом и матери моей, и моему дяде... Все это важные и веские причины, чтобы мне заботиться о твоём общественном положении...» Группировки земляков представляли собой политические союзы, игравшие важную роль в общественной жизни Рима. Они вырастали из родовых, семейных, местных связей, из общности хозяйственных интересов и делали политическую жизнь их непосредственным продолжением. Эволюция принципата на протяжении I в. шла по линии замены родственных и местных связей более формальными, деловыми и служебными, но Веспасиан ещё предпочитал замещать ключевые государственные должности своими сыновьями и родственниками, а Адриан никогда не стал бы принцепсом, не будь он земляком и свойственником Траяна. Существует точка зрения, согласно которой наиболее активная группа противников Нерона и Флавиев в сенате — Тразея, Гельвидии, Рустик, о которых так много и ярко рассказывает Тацит, представляла собой не что иное, как союз сенаторов из Патавия и прилегающих городов, связанных общностью происхождения, соседством имений, родственными отношениями.

Жизнь людей в империи не обособилась от своего нетеропливого — натурально-хозяйственного, общинного, полисного, местного — прошлого. На протяжении всей эпохи именно оно образовывало атмосферу и фон их существования.

## 2. Pax Romana

Все сказанное выше составляло лишь одну сторону дела. Непосредственной предпосылкой возникновения принципата явился кризис полиса, вызванный несоответствием его политического механизма изменившемуся характеру Римской державы. Главной целью политики принцепсов было устранение такого несоответствия. Суть ее выражалась в формуле *pax Romana*.

В первом своем значении слово *pac* выражает «мир» как противоположность *bellum* — «войне». Императоры с самого начала подчеркивали, что целью их политики является не столько покорение новых территорий, сколько освоение и романизация уже занятых, отказ от грандиозных и непрерывных завоевательных походов республиканского времени. Двери храма Януса, которые по римскому обряду полагалось держать открытыми, пока государство находится в состоянии войны, и которые стояли распахнутыми более двухсот лет, при Августе закрывались трижды. Август отстроил грандиозный Алтарь мира, и, явно подражая ему, соорудил свой Форум мира Веспасиан. Монеты с легендой «мир», «Августов мир», «мир во всем мире» представлены многочисленными сериями на протяжении всего I века. Связь принцепата с идеей мира подчеркивали римские историки самых разных направлений — от Веллея Патеркула до Тацита.

Политика отказа от новых широких завоеваний была обусловлена объективно: захват новых рабов и богатств перестал быть условием развития римской экономики; империя достигла предельных размеров, и дальнейшее ее расширение могло оказаться несовместимым с самим принципом управления из единого центра; рост завоеваний предполагал рост и усиление армии, которые империя могла не выдержать ни экономически, ни политически; между римским и внеримским миром установилось то равновесие сил, нарушать которое было нецелесообразно и — как показал парфянский поход Траяна — чрезвычайно опасно. Поэтому политика *pac Romana*, несмотря на ряд более или менее значительных походов и почти непрерывные боевые действия на границах, в общем оставалась стабильной и осуществлялась успешно — для большинства областей Римской державы период от рубежа нашей эры до середины II в. действительно представляется эпохой мира.

Но кроме «войны» понятию *pac* могло противопоставляться и еще одно — *discordia* — «вражда, распря, смута». В эпоху кризиса Республики социальные и общественно-политические противоречия в Риме обострились до предела и превратили государство в арену борьбы знатных родов, соперничества сенатских кланов, междоусобных войн. Обеспечение «гражданского мира» было главным лозунгом Августа в его борьбе за власть, и созданный им строй оказался столь прочен еще и потому, что он удовлетворял эту общую потребность. В основе Августова «умиротворения» лежал принцип личной диктатуры императора, призванного не столько учитывать интересы той или иной местной группы, сколько обеспечивать развитие империи в целом. На практике такое «умиротворение» означало широко и глубоко проведенную монополизацию политических решений принцепсом и его ближайшим окружением и, соответственно, отделение народа от политики, переставшей быть близким и жизненно важным для

него делом. Как следствие этого центром сопротивления императорскому «умиротворению» явились общественные группы, сам смысл существования которых состоял в политическом руководстве, т. е. раньше всего сенаторы; и реализация политики *pax Romana* потребовала осторожного, но неуклонного ограничения роли сената и постепенного создания внесенатского аппарата управления империей.

На первых порах императоры пытались создать такой аппарат из своих вольноотпущенников. При Тиберии, а особенно при Клавдии и Нероне эти люди много сделали для налаживания имперской администрации, независимой от сенатских страстей и интриг. Из них состоял своеобразный «кабинет министров» при императоре, где каждый отпущенник руководил отдельным ведомством, финансами, прошениями, деловой перепиской и пр., из них же комплектовался штат каждого такого ведомства — помощники, поверенные, писцы, счетоводы. Уже очень рано, однако, рядом с внесенатской отпущеннической администрацией начинает складываться внесенатская администрация из всадников. Август назначил в каждую провинцию помимо наместника из сенаторов так называемого *прокуратора* из всадников. Задача его состояла в сборе налогов в императорскую казну — фискс, но в не меньшей степени и в наблюдении за наместником вплоть до — если понадобится — его устранения. Соответственно прокураторы чаще всего находились с наместниками в лютой вражде, которая вызывалась разницей в их происхождении, традициях, психологическом облике. Наместником, как правило, был пожилой или средних лет сенатор, в I в. н. э. еще обычно из старого римского рода, относившийся к императору опасливо и настороженно, выше всего ставивший свои привилегии и независимость и ненавидевший самую мысль о том, чтобы стать винтиком в безликой государственной машине. Прокуратором почти всегда — провинциал, десятилетиями тянувший лямку в легионах, дослужившийся до средних командных должностей, после демобилизации, уже старым человеком, получивший прокуратуру (и солидное жалованье) прямо от императора и ответственный только перед ним, не привыкший иметь собственное мнение по вопросам, его не касающимся, готовый выполнить любой приказ своего государя. Люди этого последнего типа столь же явно подходили для создания единого, чуждого всему местному и традиционному аппарата управления империей, сколь люди первого типа были для него малопригодны.

На протяжении I и начала II в. прокураторская администрация складывается, упорядочивается, растет вширь и вглубь. При Августе прокураторов было 25, при Веспасиане уже 55. В 53 г. Клавдий приравнял прокураторов к магистратам и дал им право юрисдикции и военного командования. В 69 г. правивший всего несколько месяцев император Вителлий стал замещать всадниками также и те посты в имперской админи-

страции, которые до тех пор занимали отпущенники. Полувеком позже Адриан дополнил и развил эти меры. Внесенатская администрация становилась единой системой государственного управления.

В главную политическую формулу Ранней империи входило кроме слова *pax* и другое — *Romana*. Оно означало прежде всего, что земли, образующие империю, «римские», т. е. находятся в прямом подчинении Риму, управляющему ими на основе военной силы. Но вместе с тем слово *Romana* передавало и то общее качество, которое на протяжении эпохи принципата постепенно приобретали все земли империи в результате романизации.

Забота о превращении империи в единообразную систему пронизывает деятельность римской администрации на протяжении всей эпохи. Империя организована вокруг единого центра — Рима. Рим разделен на 14 районов: во главе каждого — свой прокуратор, все прокураторы подчинены префекту столицы; в его руках когорты городской стражи, пожарные, тайные агенты, которые вместе обеспечивают беспрекословное выполнение его указаний. В империи множество городов, каждому из которых подчинена определенная территория с определенным населением — как Риму вся империя. Города делятся на разряды. Есть колонии, с самого начала заселенные полноправными римскими гражданами; есть муниципии, в провинциях обычно существовавшие до прихода римлян и лишь постепенно добившиеся гражданского полноправия. Повторяя деление Рима на районы, империя делится на провинции. Во главе каждой из них стоит римская администрация, которая обеспечивает сбор налогов, контролирует выполнение законов, следит за денежно-финансовым положением, строит дороги и города. Деньги, дороги, градостроительство — все направлено к единой цели: созданию механизма, стирающего местную самостоятельность и подчиняющего жизнь господству римлян.

Трудно представить себе то бесконечное многообразие монет и денежных систем, которое царило в отдельных областях средиземноморского мира в доримскую эпоху. С установлением империи города и области, сохранившие право на собственные эмиссии, чеканят только медную монету местного обращения. Над этими многообразными, местными и потому в массовом сознании не совсем полноценными деньгами стоят единственные подлинные, всеобщие деньги: римский серебряный *сестерций*, серебряный *денарий* (4 сестерция), золотой *аурес* (100 сестерциев). Право на их чеканку — монополия императора, и его изображение всегда и всюду украшает их лицевую сторону. Содержание благородных металлов в них на протяжении описываемого периода до середины II в. меняется мало, и люди воспринимают их как единый и неизменный эталон ценности. Зримо и конкретно вопло-

щают они единство жизни в империи — сделки с уплатой в денариях засвидетельствованы документами из самых отдаленных уголков Сирии и Испании, Италии и Дакии.

Столь же простым и непреложным выражением единства империи и постоянной взаимосвязи всех ее частей были знаменитые римские дороги. Общая протяженность их составляет 150 тыс. км (при расстоянии между крайними точками империи 5 тыс. км), и все они как бы расходятся от единого центра — позолоченного дорожного столба, расположенного в северо-западном углу римского Форума. Построены дороги одинаково — на основании из больших каменных плит лежит толстый слой гравия, косо поставленные боковые плиты образуют кювет. Они имеют примерно одинаковую ширину — 4–5 м; одинаково оформлены — дорожными столбами с указанием имени императора, года его правления, в который столб был установлен, расстояния до ближайшего города; служат единой цели — максимально быстрой переброске войск, товаров, почты; подчинены единому режиму эксплуатации — размещенные вдоль них станции по стандартно оформленным подорожным предоставляют государственным чиновникам и курьерам лошадей и носилки. Такие дороги вызваны практической необходимостью, но есть в них и некоторое символическое значение: проложенные раз и навсегда, неподвластные времени (многие из них используются до сих пор), идущие через горы, реки, болота, пустыни, они завершают и скрепляют завоевание, накладывают на пеструю аморфность этнографии и природы каркас и контур империи. Римляне долго пытались покорить воинственные племена лигуров, населявших приальпийские территории на северо-западе Италии и востоке Галлии; сочтя, что покорение лигуров наконец завершено, Август в 7 г. н. э. проложил через их земли дорогу, которую назвал «Юлиевой—Августовой» и где установил трофей — символ завоевания. Юго-восточная граница римских владений стала считаться окончательной лишь со 137 г., когда по северному берегу Красного моря прошла 800-километровая Адрианова дорога.

Основание новых городов было самой массовой и самой радикальной формой романизации. Число городов в империи составляло несколько десятков тысяч, в одной Италии при Флавиях их было 1200. Непрерывно возраставшее городское население достигало цифр по античным масштабам огромных: в Риме жило никак не менее миллиона человек, в Карфагене к концу II в. — 700 тыс., в Александрии — 300 тыс. уже на рубеже нашей эры, в Антиохии эта последняя цифра должна была быть превзойдена к концу I в., население Эфеса составляло 225 тыс. человек, Пергама — 200 тыс., в Великой Галлии существовало не менее 15 городов с населением от 40 тыс. до 200 тыс. человек.

Формы урбанизации отличались значительным многообразием. Одной из самых распространенных во все времена было выведение колоний ветеранов, превращавшихся позже в такие значительные города, как Лугдунум (Лион), Агриппинова колония (Кёльн), Колония тревиров (Трир), Эмерита Августа (Мерида). Наряду с этими новыми городами бурно развивались, притягивая массы пришлого населения, древние культурные центры, сложившиеся задолго до римского завоевания, вроде Массилии в Галлии (Марсель), Гадеса в Испании (Кадис), Милета в Малой Азии. Города возникали естественно, из разросшихся небольших селений или из поселков, складывавшихся вокруг лагерей легионов, а также создавались искусственно — закладывались наместниками и полководцами в честь императора. Достаточно взглянуть на карту империи и обратить внимание на многочисленные города, в названиях которых фигурируют слова Августа, Флавия, Ульпия, Элия, чтобы в этом убедиться.

Формы муниципализации были многообразны, сущность ее одна. В городах концентрировались наиболее зажиточные и влиятельные люди из местных народов и племен. Раздача прав римского гражданства и других привилегий привлекала их на сторону империи, открывала пути продвижения и карьеры, сливалась с местными римлянами. В силу своего положения эти люди образовывали социальную базу раннего принципата, резерв местной администрации, низших и средних командных кадров армии. Город представлял собой четко организованную местную общественную структуру, включенную в столь же четкую всеобщую структуру империи. Если в городах Востока с их вековыми традициями положение это осложнялось многими обстоятельствами, то в западной половине империи оно реализовывалось совершенно ясно. Во главе города стоял сенат, избиравшийся из местных богачей собранием граждан, воспроизводивший в местном масштабе сенат римский. Подобием римских консулов были два *дуовира*, возглавлявшие исполнительную власть в городе, тогда как местные *эдилы*, ответственные за порядок и снабжение, и местные *квесторы*, ведавшие хозяйственными вопросами и сбором налогов, копировали соответствующих римских магистратов.

Завершением и самым непосредственным воплощением муниципального единства огромной империи были те специфические для этой эпохи общие формы, которые принимали градостроительство, быт, повседневная жизнь. Здесь опять-таки города, сосредоточенные в Греции и на востоке империи, нередко сохраняли свою индивидуальность, но подавляющее большинство их в западных провинциях, как и в Италии, обнаруживает множество общих черт. План города в целом совпадает с планом римского военного лагеря: одна главная магистраль пересекает его с севера на юг, другая — с запада на восток; в преде-

лах образованных ими квадратов — более мелкие квадраты кварталов; у перекрестка основных магистралей расположена центральная площадь — форум. По периметру прямоугольного форума почти всегда размещаются общественные здания — базилика, курия, храмы, вся площадь окружена портиком, проход на нее оформлен одними или несколькими воротами. Неподалеку от форума возведены сооружения, предназначенные для зрелищ, — амфитеатр для гладиаторских боев и травли диких зверей, цирк, где происходят ристания, театр. Близ форума находятся и бани, без которых римляне, а вслед за ними и провинциалы не мыслили себе жизни. «В банях жизнь тратится, да без них ее и нет», — говорилось в одном популярном стихе. Наконец, жилые кварталы, занятые многоквартирными *инсулами* или особняками, которые при всех местных отличиях также обнаруживают множество общих черт. Больше всего поражает массовость, вездесущность этого римского уклада жизни. Между современными Тулузой и Бордо, например, лежит группа мелких городков, сравнительно недавно раскопанных французскими археологами. В римские времена то было глухое галльское захолустье, и тем не менее почти в каждом из них обнаруживаются водопроводы, бани, базилики для городских властей, форумы, декоративные мозаики, статуи на площадях и произведения местного искусства в жилых домах.

Отсутствие опустошительных войн на протяжении жизни многих поколений, постепенное укрепление правовых норм, налаживание ответственного аппарата управления, установление торговых связей между отдаленными районами империи, интенсификация и изошрение ремесленного производства, распространение цивилизации — все это сообщало ранней Римской империи определенное положительное историческое содержание. *Pax Romana* была жизненной реальностью, оправдывала себя, приносила плоды — по крайней мере, до середины II в.

### 3. Бремя империи

Тенденция к членению жизни на относительно замкнутые ячейки — общинные, полисные, племенные — была обусловлена объективно уровнем развития производительных сил. Производство в Древнем мире — консервативное, в большей мере ориентированное на обмен и потребление, чем на самообновление, не заинтересованное в использовании данных науки, не знающее подлинного технического прогресса, с экстенсивным ростом рынков, преобладающим над интенсивным, — могло быть расширенным лишь в ограниченной степени — достаточной для выживания и развития сравнительно небольших и замкнутых коллективов, с относительно простой и укорененной в производстве военно-политической

надстройкой, но недостаточной для существования больших единых государств со сложным и разветвленным аппаратом управления, профессиональной армией, с обособившимися от непосредственного участия в производстве огромными контингентами людей, занятых в бюрократии, судопроизводстве, культе и культуре. Под влиянием условий, рассмотренных нами вначале, такие обширные государственные образования периодически возникали и под влиянием обстоятельств, описанных только что, столь же периодически рассыпались. Тяготение к дробности, к человеческой конкретности хозяйственной, политической и духовной жизни, к сохранению семейно-родовых, общинных, полисных связей и обязательств было не проявлением чьей-то ретроградной волн, а инстинктом самосохранения тогдашнего человечества. Поэтому, хотя ранняя Римская империя с ее всеобщностью и единообразием обеспечила народам, в нее включенным, определенный хозяйственный прогресс и избавила их от истребительных междоусобных войн, тем не менее в той мере, в какой она несла с собой разрушение этого непреложного органического принципа бытия, она была неотделима от массового постоянного насилия и от ощущения ее враждебной противостоительности.

Империя состояла из покоренных стран, превращенных в провинции. Тот факт, что это завоеванные области, не забывался ни на мгновение. После установления римской власти лучшая земля изымалась в пользу победителей. Как это делалось, ясно видно, например, из недавно обнаруженного земельного кадастра владений города Араузиона в Галлии. План указывает на разделение всей территории — около 700 кв. км — на равные прямоугольники по 200 югеров, или 50 га, каждый; такой прямоугольник состоял из одного или нескольких участков. Лучшая земля принадлежала ветеранам; та, которую они не смогли или не захотели освоить, отдавалась галлам; обрезки после этого геометрического разделения предоставлялись общине, в свою очередь сдававшей их в аренду. Колония, основанная при Августе, пополнялась ветеранами на протяжении всего I века н. э., т. е. конфискация земель местных жителей продолжалась. Раз земля больше не являлась собственностью провинциала, то за пользование ею он должен был платить ее полными хозяевам, римлянам, прямой налог — деньгами, а чаще — плодами этой же земли. Единый для всей империи налог дополнялся налогами косвенными, также общими для большинства провинций: 1% на товары, продаваемые внутри провинции, 2,5% на товары, ввозимые в провинцию или вывозимые из нее, 5% на наследство, 5% за отпуск раба на волю.

В зависимости от отношения к римлянам в период завоевания города новообразованные провинции получали тот или иной статус: союзных Риму, свободных, податных, и так же иерархически строились категории



личного гражданства. Принадлежность города или человека к той или иной из этих категорий могла меняться по решению римских властей. Это создавало постоянную зависимость провинциалов не столько от закона, сколько от данного представителя римской власти, что, в свою очередь, порождало скрытые и явные подкупы, интриги, подхалимство, доносы. Непрерывные и подчас совершенно произвольные изменения статуса городов были излюбленной римлянами формой укрепления их господства в Греции. Взятничество и произвол наместников и их подчиненных отмечаются на протяжении I в. многократно. В таких случаях провинциалы имели право привлечь наместника после завершения им своей магистратуры к суду. В 57 г., например, в сенате слушалось несколько таких дел, дающих ясное представление об их характере и обычном исходе. Провинция Азия предъявила ряд обвинений своему бывшему наместнику Публию Целеру, настолько обоснованных, что опровергнуть их было невозможно. Но Целер незадолго перед тем оказал ряд важных услуг Нерону и его матери — принцепс сумел так затянуть процесс, что обвиняемый, бывший уже в весьма пожилом возрасте, умер до осуждения и сохранил тем самым семейное имя незапятнанным, а награбленное состояние нетронутым. От Эприя Марцелла жители Ликии добивались возмещения незаконно присвоенных им сумм. Однако, как пишет Тацит, «давление покровительствовавших ему оказалось столь могущественным, что некоторые из его обвинителей были наказаны ссылкой как вознамерившиеся погубить ни в чем не повинного человека». Такое положение не было исключительным — оно сильно выправилось при Доминциане, но начало правления Траяна вновь ознаменовано несколькими скандальными процессами того же рода.

Подчеркивание военного характера оккупации неизменно было направлено на унижение племенной или племенной гордости доримского населения. В Южной Галлии над морем на упоминавшейся уже оживленной Юлиевой—Августовой дороге высился 40-метровый трофей с надписями, где перечислялись «усмиренные» Августом местные племена; в Пиренеях стояла огромная статуя покоренной Галлии; в Араузионе на триумфальной арке были воспроизведены в камне отрезанные головы побежденных галлов. Немедленно после оккупации римляне или уничтожали старые племенные центры, или переводили их на равнину, где они оказывались беззащитными. Города умирали мучительно и долго — в Герговии, центре могучего племенного союза арвернов, замененном сразу после завоевания Галлии галло-римским городом Августонемом, следы местного ремесленного производства обнаруживаются еще в конце правления Тиберия.

Та же тенденция проявлялась и во многих мерах, проводившихся римлянами по административно-политической и социальной организа-

ции империи. В Галлии они осуществляли своеобразную перетасовку племен, расчленяя их слишком большие, на взгляд завоевателей, и потому опасные, исторически сложившиеся союзы и, напротив, сливая мелкие племена, издавна существовавшие отдельно, в единые административные единицы. В малоазийских провинциях учреждались судебные округа, полностью игнорировавшие былое политическое и этническое разделение. С приходом римлян здесь начинался распад прежней системы гражданских статусов: храмовые рабы нередко превращались в рабочих — уже не рабов, но еще не граждан; из жреческих семей, некогда хранивших секреты местного производства, выходят ремесленники, использующие эти секреты для личного обогащения. В города Греции и Азии с начала II в. начинают назначаться особые римские «кураторы». Задача их состояла в том, чтобы, взимая значительные штрафы, ограничить непроизводительные расходы полисов и подчинять их общенимперской финансовой политике. Но именно потому, что она была ориентирована на интересы империи в целом, деятельность кураторов приводила к принижению инициативы и роли местных властей и воспринималась как форма гнета, вызывавшего раздражение и протест. Сохранилась любопытная надпись из города Апамеи во Фригии, где жители с ликованием сообщают, что город получил в дар крупную сумму и на проценты с нее сможет выплачивать ежегодные штрафы в имперскую казну, «так что впредь не будет больше кураторов согласно постановлению полиса во веки всков». Та же реакция на римскую политику унификации видна в том, что свое куцее право чеканки мелкой медной монеты греческие города используют для прославления своих героев, своих святынь. На монетах Эфеса видны изображения архаической Артемиды Эфесской, на монетах Книды — шедевр Праксителя Афродита Книдская, на монетах Самоса — Пифагор, Коса — Гиппократ, Приены — Биант.

Разрушительно действовало на общественную структуру в провинциях, особенно восточных, римское обыкновение опираться на местную аристократию и богачей, что приводило к удвоению гнета, ложившегося на плечи неимущих, обостряло социальные противоречия, окончательно уничтожало бытую полисную и общинную солидарность. До нас дошли сведения о том, какую ненависть неимущих сограждан вызвал, например, философ и оратор Дион Хрисостом, близкий римлянам, входивший в окружение Веспасиана, Тита, Нервы, в своем родном городе Прусе в Малой Азии. Несмотря на богатство малоазийских провинций, в них с конца I в. отмечаются многочисленные голодные бунты; ненависть сограждан к Диону проявилась как раз во время одного из них. Несколькоми годами позже начался голод в соседней Апамее; в Аспенде, в Памфилии, богачи прятали зерно, чтобы

вздувать на него цену, и это неоднократно приводило к волнениям. Социальные конфликты раздирали Смирну, где, как сообщают источники, дело дошло до подлинной войны между «верхним городом», районом богачей, поддерживаемых римлянами, «людьми с побережья», т. е. рыбаками и ремесленниками; такая же вражда разделяла жителей города Тарса, в Киликии.

В описанных условиях римская власть не могла не вызывать протест со стороны постоянных живых сил общества, связанных с исконными и неизбывными формами общественной организации. Поверхность империи все время сотрясается от глухих подземных ударов, редко достигающих очень большой силы, не слишком частых, но сливающихся в постоянный, ясно различимый гул.

Восстания в провинциях отмечаются на протяжении всей эпохи Ранней империи. Напомним лишь о самых крупных: Галлия — в 21, 69, 70 гг.; Британия — в 50, 61 гг.; Иудея — грандиозная война 66–72 гг. и не менее грандиозное восстание Бар Кохбы в 132–135 гг. Во всех случаях явно заметно стремление защититься от римской унификации, отстоять право быть самими собой и жить по своим представлениям и обычаям. В восстании галлов, возглавленном неким Марикком (69 г.), судя по тому, как оно описано у Тацита во второй книге «Истории» (глава 61), моменты идеологические и социально-психологические преобладали над собственно практическими. Лозунги свободы и галльского самоуправления были основными в начавшемся почти одновременно, но гораздо более широком движении Классика (Галлия, 70 г.). Иудеи относительно спокойно терпели римское господство, пока Гай Калигула не приказал установить в главной святыне народа свое изображение — тогда началась серия восстаний, не затихавших до 135 г.

Разумеется, идеологические моменты нигде и никогда не существовали в изоляции от моментов социально-экономических — практических и непосредственно жизненных. Разрушение римлянами местных традиций и норм выступало обычно как многосторонний процесс, в котором тяжесть взимаемых империей налогов, произвол и алчность чиновников, колонистов, торговцев, оскорбительное пренебрежение к исторически сложившимся местным верованиям и убеждениям сливались в единое ощущение бремени империи, нестерпимого и морально и материально. Именно так (в вольном изложении древнего историка) говорил о римлянах вождь восставших бриттанцев, обращаясь к своему народу перед решительным сражением у горы Гравиний в 83 г. «Расхитителям всего мира, им уже мало земли: опустошив ее, они теперь рыщут по морю; если враг богат — они алчны; если беден — спесивы, и ни Восток, ни Запад их не насытит; они единственные, кто с одинаковой страстью жаждут помыкать и богатством и нищетой; отнимать,

резать, грабить на их лживом языке зовется господством, и, создав пустыню, они говорят, что принесли мир. Природа устроила так, что самое дорогое для каждого — его дети и родные; но их у нас отнимают наборами в войско, чтобы превратить в рабов где-нибудь на чужбине, а нашим женам и сестрам и тогда, когда они избегли насилия, враги приносят бесчестье, присваивая себе имя наших друзей и гостей. А между тем имущество и богатства британцев уничтожаются податями, ежегодные урожаи — обязательными поставками хлеба, самые силы телесные — дорогами, которые они своими руками, осыпавшие побоями и поношениями, прокладывают сквозь леса и болота».

Чем разветвленное, чем отдаленней от всего местного и особенного становилось Римское государство, тем более делалось оно громоздким и дорогостоящим, тем больше оно должно было извлекать из населения и тем меньше могло ему вернуть. Империя, огромная и единая, с ее бюрократией, финансами, дорогами, муниципальной организацией, с ее форумами и амфитеатрами, оказывалась все менее по силам и по средствам этому обществу, еще прикованному к ограниченным, замкнутым и местным формам производства, обмена, жизни, и приходила во все углубляющееся противоречие с ними.

#### 4. Изменения в социальной структуре

Рим и покоренные им народы находились не только в противоречии друг с другом. Постепенно в их отношениях все большую роль начинают играть взаимодействие, взаимовлияние и, наконец, взаимопропихивание.

Между рабами и свободными во времена расцвета Республики существовала пропасть. Свободный пользовался всей полнотой гражданских прав или мог ее добиваться, раб не обладал ни одним из них. С первых же десятилетий империи это положение начинает меняться. С одной стороны, Август, а за ним и последующие принцепсы, осуществляя политику укрепления традиций гражданской общины и старых рабовладельческих порядков, принимают меры к ужесточению рабского статуса. К ним относятся Силанов сенатус-консульт 9 г. н. э., подтвержденный при Нероне, о казни всех рабов, находившихся вместе с господином под одной кровлей или в путешествии, в случае убийства кем-либо их господина, законы о казни рабов, проникших на военную службу, законы последних Антонинов о преследовании беглых рабов и т. п. С другой стороны, в порядке унификации империи принцепсы стремятся подчинить рабовладельцев общим правовым нормам и тем самым ограничить бесконтрольное использование ими рабов. В обоих случаях раб становится объектом закона, и положение его определял

уже не полностью хозяин, а в растущей мере и государственная власть. При Республике раб принадлежал *фамелии* как ее инвентарю: только она образывала его мир и его общество; членом государственно-правовой структуры он не являлся. Теперь в качестве объекта закона, благоприятного для них или направленного против них, рабы так или иначе втягиваются в общество.

Введение раба в систему общественных связей начиналось с того, что он включался в имущественные отношения. Его *пекулий*, в принципе считавшийся безусловной собственностью господина, открывал тем не менее перед рабом ряд возможностей накопления денег, а к концу рассматриваемой эпохи появляются и законы, защищающие *пекулий* от чрезмерных претензий хозяина. Раб теперь мог приобретать своих рабов; в этом случае он назывался *ординарием*, а его рабы — *викариями*, и собственность господина, которому принадлежал раб-ординарий, на викариев последнего не была ни прямой, ни безусловной. Признавая собственность рабов, законы мало-помалу начинают признавать и их семьи, оговаривая возможные случаи сохранения рабом приданого сожительницы, недопустимость продажи в разные руки детей и родителей, распространяя на раба ответственность за отцеубийство.

Сходную эволюцию переживают и отпущенники. Принцепсы усиленно и постоянно заботятся об ограждении гражданских общин от проникновения в них вчерашних рабов. При Августе принимаются законы, ограничивающие отпуск рабов на волю и расширяющие права патронов на имущество отпущенников; Клавдий карал тех из них, кто пытался окружить себя не подобавшим их сословию престижем; при Антонинах отработкам, которыми отпущенник был обязан патрону, придается форма своеобразного денежного оброка. Но, как и в случае с рабами, меры эти оказывались в противоречии с тенденцией, более соответствовавшей общему ходу исторического развития.

Рабов и отпущенников в Риме всегда было много, но с начала империи их количество начинает придавать всему обществу иное, новое качество. Интересные данные об этом процессе можно найти в сохранившемся большом отрывке из бытового сатирического романа, созданного в середине I в. н. э. римским писателем Петронием и известного под названием «Сатирикон». Действие в этом отрывке происходит в городках Южной Италии, а центральный эпизод составляет пир в доме местного богача Трималхиона — хотя и шаржированная, но в деталях вполне реалистическая зарисовка римской провинциальной жизни середины I в. Из этого описания встает целый мир отпущенников. Как отпущенный на волю раб начинал свою карьеру сам хозяин дома, ныне архимиллионер, занимающий почетные должности в своем городе. Отпущенники составляют добрую часть его приглашенных, и в пышественном зале для них от-

ведены особые постоянные места. Они чувствуют себя уверенно не только в своем кругу, но и при встрече с людьми из господствующих общественных слоев — один из них обрушивается с резкими нападками на римского всадника. Их уверенность в себе основана на том, что почти все они выбились из нищеты, обрели положение, даже власть. Отпущенник — казначей Тримальхиона имеет своих клиентов, носит платье, окрашенное тирским пурпуром, помыкает рабами. Он не одинок — из рассказов гостей мы узнаем о семьях обычных торговцев, где также всем правят отпущенники. Противоположного общественного полюса — двора, сената — Петроний не касается. О нем рассказывают другие источники, но картина остается сходной. Политику Клавдия делают его отпущенники; Нерон, уезжая в Грецию, оставляет править Римом своего отпущенника Геллия; при Вителлии огромная власть сосредоточивается в руках его отпущенника Икела; большей частью из отпущенников состоит римская интеллигенция — от секретаря и биографа Цицерона, Тирона, до философа и наставника римского аристократического юношества Эпиктета. Древние видели в Риме Антонинов «империю отпущенников», современные исследователи той же эпохи утверждают, что «большинство римского населения было потомством рабов».

Отпущенник, как и раб, в принципе не мог быть по происхождению римлянином и почти никогда не мог быть италикком. Нарушение статусных делений имело своим следствием космополитизацию римского общества: три четверти отпущенников этой поры, известных по надписям, имеют иелатинские имена. В том же направлении действовали другие, более общие причины — политика *pax Romana*, муниципализация, развитие общеперского торгового обмена. На могильных надписях г. Рима времени Ранней империи 75% имен италийского происхождения, в Медиолане, Патавии, Беневенте их больше 50%, даже в маленьких городках около 40%. Из 1854 римских ремесленников, известных по прямым данным надписей, лишь 65 — определенные италийцы, из 300 владельцев кораблей в Остии — 4. Из 14 районов Рима один почти сплошь еврейский, очень значительны поселения сирийцев, финикийцев, каппадокийцев. Могильные и иные надписи Великой Галлии указывают на засилье и в провинциях чужеземцев — италиков, греков, сирийцев, евреев, африканцев. В Лугдунуме засвидетельствованы помимо них дунайские кельты и представители местностей почти всей Галлии. Председатель коллегии, ведущей торговлю по обе стороны Альп, происходит из города Августа Тревиров на Рейне; один судовладелец является жрецом-августалом одновременно у себя в Лугдунуме и в Путолах, в Южной Италии. А ведь западная часть империи была несравненно патриархальней и консервативней, чем восточная, в городах которой смешивались люди всех племен, стран и континентов.

Вливавшиеся в римскую общественную организацию внеимские силы, и прежде всего рабы и отпущенники, обнаруживают значительную имущественную дифференциацию, от которой зависели и формы их включения в структуру государства, и социальный уровень, на который они попадали, и результаты всего процесса. Чтобы нагляднее представить себе эту картину, расскажем вкратце о двух отпущенниках. Одного из них звали Марк Антоний Паллант, другого просто Эхион. Паллант происходил из знатного греческого рода, и в рабах он оказался у Антонии, племянницы императора Августа и жены его пасынка Друза. Отпущенный ею на волю, он рано втягивается в дворцовые интриги, а вскоре обнаруживает не только хитрость и решительность, но и ясный ум, трезвое понимание государственных интересов, талант организатора и руководителя. При Клавдии он становится *a rationibus*, т. е. своего рода министром финансов, и в этой должности подготавливает упоминавшийся выше закон, запрещавший сожительство свободных женщин с рабами. На том самом заседании, на котором этот законопроект был принят, сенат постановил присвоить Палланту преторские знаки отличия, наградить его 15 млн. сестерциев и официально выразить благодарность от лица государства. При Нероне он впал в немилость, был отставлен от управления финансами и, сопровождаемый целой толпой приближенных, навсегда покинул дворец. Он умер в 62 г., как предполагали, отравленный Нероном, глубоким стариком и обладателем несметных богатств.

Две черты примечательны в этой биографии. Во-первых, могущество и власть, сосредоточенные в руках этого грека-отпущенника. Среди членов сената он входил в почетный разряд *преториев*, чего, как правило, не удавалось добиться большинству римских сенаторов, располагал состоянием в 300 млн. сестерциев — вдвое большим, чем личное имущество императора Августа, в течение 10 лет единолично ведал финансами Римской державы, которыми сенаторы-квесторы ведали лишь в ограниченной мере, только коллегиально и только в течение года. Пользуясь внемагистратским характером своей власти, он сумел добиться того, что было совершенно немыслимо для любого коренного римлянина, — обязательства принцепса никогда не вменять ему в вину ни одно из его действий, т. е. фактически неподотчетности перед государством. Управление империей переставало быть делом только римлян — в Палланте лишь наиболее ярко и резко выразились черты, присущие деятельности бесчисленных отпущенников и провинциалов в имперской администрации.

Но не менее важно в рассказанной биографии и другое. Неумное честолюбие Палланта состояло в том, чтобы влиться в исторически сложившуюся структуру римского государства, добиться успеха по

его критериям, и смысл своей деятельности соответственно он видел в укреплении этого государства. Он начинает свою карьеру с того, что предупреждает Тиберия о заговоре начальника преторианцев Элия Сеяна, т. е., рискуя жизнью, срывает планы авантюриста, угрожавшего существованию строя. Вершиной его законодательной деятельности был законопроект, призванный предохранить римское гражданство от растворения его в пришлых и отпущенниках, т. е. в таких, как он сам. Преторские знаки отличия и премия были вотированы ему по предложению патриция Корнелия Сципиона и оппозиционного сенатора-стойка Барей Сорана — очевидно, деятельность отпущенника шла в направлении, их устраивавшем.

На протяжении всего I века отпущенники и провинциалы, попадавшие в верхние социальные слои, не разрушали традиционную структуру римского общества, а заполняли ее изнутри, принимая сложившуюся систему ее ценностей и престижных представлений. Коллега Палланта Нарцисс сорвал заговор Мессалины, жены императора Клавдия, угрожавшей последнему, за что получил квесторские знаки отличия, и погиб, не сумев справиться с влиянием Агриппины. Тацит рассказывает, что в связи с политическими переменами после свержения Нерона «воспрянули духом клиенты и вольноотпущенники осужденных и сосланных». Провинциалы, объективно игравшие по отношению к римской гражданской общине ту же роль, что отпущенники, в сходном положении вели себя так же. Испанец Сенека Старший — отец знаменитого философа Сенеки и сам видный ритор и историк — скорбел о падении республиканских нравов; популярные в Риме второй половины I в. философы-греки Деметрий, Аполлоний, Артемидор были связаны с сенатскими семьями и участвовали в их конфликтах с принцепсами; первый дважды консул из галлов Валерий Азиатик принимал участие в устранении Гая Калигулы, Сенека Младший (испанец) и Афраний Бурр (галл) руководили Нероном на протяжении первых, наиболее «просенатских», лет его правления, и реквием по уходящей гражданской общине Рима создал сын прокуратора из галлов, сенатор и консул Корнелий Тацит.

В отличие от Палланта, Эхион, казалось бы, не слишком преуспел в жизни. На пиру у Тримальхиона (откуда мы только его и знаем) он фигурирует как *centonarius*, т. е. портной, латающий и перешивающий старую одежду. Грек по национальности, он, очевидно, сравнительно недавно был отпущен на волю и сохраняет еще полностью зависимость от патрона. Он вступает в разговор, чтобы возразить собеседнику, рассуждающему в духе древних римских моралистов или оппозиционных сенаторов: было-де хорошее время, да прошло; в старину были граждане, преданные интересам города, прямые, резкие, вы-



ступавшие на форуме и в суде как настоящие ораторы и настоящие люди дела, чтившие богов, а теперь крутом одно воровство да безбожие, и скоро боги голодом покарают нашу колонию. Эхиону все это кажется напыщенным вздором: «Часом густо, часом пусто, как сказал мужик, когда у него пропала пестрая свинья. Нынче не повезло — повезет завтра, в жизни так уж заведено. А ворчать ни к чему — небо везде с тучками». Критерий в общественных делах у него один — хорошо то, что приносит ему пользу, и потому сам крут этих дел ограничивается для него зрелищами и раздачами. Традиционные римские установления не интересуют его совершенно. Красноречие, это искусство искусств древней Республики, для него профессия, как любая другая, оправдываемая лишь заработком: «Если сын не захочет заниматься по дому, пусть обучится какому-нибудь полезному ремеслу, станет цирюльником, глашатаем, на худой конец судебным оратором». При всей скромности своего положения он далеко не нищ — у него есть «дача», где всегда найдется чем закусить, «не курочкой, так ягчком», к сыну ходят два учителя, отец не жалеет денег ему на книги. За Эхионом, как и за Паллантом, стоит целый социальный слой, только несравненно более широкий. Он органический член общества Ранней империи, но принадлежит к той его части, для которой республиканские традиции римской государственности и вся ценностная структура, унаследованная от гражданской общины, просто не существуют. Поскольку же приток таких «пришлых элементов» был, как мы видели, очень мощен — и в низах, естественно, несравненно более мощен, чем в верхах, — поскольку Рим на протяжении I и особенно II в. действительно превращался из общины граждан в «империю отпущенников», то всё официально римское, по традиции ориентированное на полис и характерный для него набор добродетелей, превращалось в сферу отдельной от масс, от простых людей и их дел, абстрактной государственности со своей отчужденной ортодоксией и своей столь же отчужденной оппозицией. Самые глубокомысленные из сенаторов, вышедшие из этой среды моралисты и историки, остро и трагично ощущали упадок агонизировавшего, но еще живого полисного мира, думали и писали о падении политической свободы, о влиянии разлагающей провинциальной новизны на старый Рим. В их страстных печалях оглядывался на себя и приходил к самосознанию духовный опыт векового города-государства. Недооценивать все созданное Сенекой, Лукианом, Тацитом нельзя. Но чем глубже пролегал описанные выше перемены, тем глуше доносились в их особняки и библиотеки нарастающий шум живой и изменившейся народной жизни, тем слабее — запах очага и хлеба. Жизнь искала себе других, не столь величественных и далеких, более соразмерных человеку форм и ценностей.

### 5. Среди простых людей

Для широких масс населения империи единство замкнутой гражданской общины существовать переставало, но принцип концентрации жизни в ограниченных самостоятельных ячейках оставался незыблемым. Прогрессировавший распад полисной макрообщины вел не к созданию социальной взвеси изолированных человеческих атомов, а к развитию компенсаторной системы микрообщностей. В Помпеях, как известно, за месяц до катастрофы, уничтожившей город, проходили выборы местных магистратов, и на стенах домов сохранились самые разнообразные избирательные призывы. Среди них очень немногие выражают пожелания отдельных лиц, подавляющее же большинство выглядит так: «Гая Куспия Пансу предлагают в эдилы все мастера-ювелиры совокупно», «Прошу вас — сделайте эдилом Требия, его выдвигают кондитеры»; «Марка Голкония Приска и Гая Гавия Руфа предлагают в дуумвиры Феб со своими постоянными покупателями». Приznak, объединяющий авторов надписей, мог быть самым странным: «Ватию предлагают в эдилы, объединившись, все любители поспать» или: «Гая Юлия Полибия — в дуумвиры. Любитель ученых занятий, а вместе с ним булочник».

Эти избирательные союзы — лишь одно из частных проявлений характерного для времени более общего процесса — идущей снизу, из гущи жизни, тенденции к сплочению людей в своеобразные микроколлективы. Главное в самосознании таких групп — ощущение своей противоположности мертвеющим традиционным добродетелям, ритуалам, словам. «Битвы и мужа пою...» — сказано в первой строке «Энеиды». «Вальяльщикова шерсти пою и сову, а не битвы и мужа», — написал местный остроумец на стене в Помпеях. Единой производственной основы у таких групп не было, во всяком случае, не совместный общественный труд был главной силой, которая сводила в них людей. Скорее наоборот, здесь искали отдыха от трудных и жестоких условий жизни и объединяли силы, чтобы как-то с ними справиться, но чаще — чтобы от них уйти, искали ту простоту и человечность отношений, которой уже не было ни в военно-бюрократическом единообразии империи, ни в искусственном элитарном общежитии полиса, ни во все более изнурительном труде ради поддержания и одной и другого. В некоторых из них преобладали простота и человечность, в других — острое ощущение распада всех органических связей, который, в сущности, и порождал подобные новообразования. Примером последних может служить харчевня, первых — исподволь складывающаяся рабская семья, а также «коллегия простых людей», как их официально именовали римские законодатели.

Харчевни и постоянные дворы в I–II вв. резко растут числом. К середине I в. в Помпеях, например, на 10–12 тыс. населения было около 120 таких заведений. Если даже предположить, что половина жителей в них не ходила, получается, что на каждые 40–50 человек имелся кабачок. Поскольку население города и размещение его по кварталам было относительно стабильно, встречаться в каждом таком кабачке должны были в основном одни и те же люди. В этих условиях подобные заведения перестают обслуживать одних лишь приезжих, становятся местами скопления и сплочения тех, кто выпал из традиционных общественных связей. В царившей здесь особой атмосфере главным было забвение социальных перегородок: «Все там вольны равно и кубок общий. Особых кресел нет никому, и стол ни к кому не придвинут», — писал Ювенал. Многие жили при харчевнях постоянно. Сохранилась стихотворная полемика поэта Флора с императором Адрианом, показывающая, что люди, ведущие такое существование, ясно понимали, что они делают и чему себя противопоставляют. Тиберий специально засылал в харчевни своих соглядатаев, Домициан распорядился вообще снести большую их часть. Префекты Рима и дуумвиры городов периодически запрещали приготовление здесь горячей пищи, за которой люди могли засиживаться и вступать в нежелательные разговоры.

Оборотную сторону кабацкой оппозиционности составляли случайность встреч и связей, грубость и неуважительность, цинизм и распутство. Харчевня почти всегда представляла собой также публичный дом, и кабатчик тем самым выступал и как сводник. В «Дигестах» есть целый раздел, говорящий о наказании хозяев харчевен за пронажу имущества постояльцев. В поквартальных списках городского населения содержатели харчевен записывались рядом с ворами. Продажа недоброкачественной пищи и разбавленного вина считалась чем-то само собой разумеющимся — Трималхион уверял, что кабатчики родятся «под знаком Водолея». Возникали и укреплялись, однако, в эту эпоху и человеческие объединения иного характера.

Семья в старом Риме была величиной хозяйственной, гражданской, биологической — какой уютно, но не эмоциональной и лирической. «Если бы мы могли жить без жен, — говорил в 131 г. до н. э. цензор Метелл, — то все охотно обошлись бы без этой тяготы». Отцы, собственноручно казнившие своих детей, и жены, неизвестно почему изгоняемые из дома, заполняют страницы истории республиканского Рима. Это положение имело определенный смысл, пока человек исчерпывался своими обязанностями члена гражданской общины, а абсолютное единоначалие было условием выживания семейного хозяйства. К началу нашей эры этот смысл исчезает, но еще законы Августа о

семье и браке, принятые между 18 г. до н. э. и 9 г. н. э., во многом ориентированы на эту модель. Поскольку, однако, реальных условий для выполнения этих норм в жизни не было, а они оставались тем не менее обязательными, семья в господствующих слоях римского общества погружается в глубочайший кризис. Тацит и Светоний, Марциал и Ювенал в один голос рассказывают о тайных отцеубийствах с целью поскорей овладеть наследством, о сожительстве мачех с пасынками, бесконечных предательствах женой мужа и мужем жены, о полном отсутствии эмоционально-нравственной основы брака. Импульсы к формированию семьи нового типа идут в эту эпоху из слоев, не связанных с традициями римской гражданской общины. Интересные свидетельства тому дает римская эпиграфика. Есть ряд надгробных надписей, показывающих, что зачастую, отпуская раба на волю, хозяин рассчитывал на его готовность принести самые большие жертвы ради выкупа жены и детей. В одной из них рассказано, как раб, по завещанию отпущенный господином на волю с небольшой суммой денег, «не захотел взять ничего, кроме единственной величайшей награды — свободы своей жены». Рабский брак не оформлялся по закону, и поэтому ничто не препятствовало его расторжению — тем более показательным, когда он длился всю жизнь: «Меркуриал Сильвинне, разделявшей с ним рабство, с которой он прожил 45 лет и от которой имел 7 детей».

Не нужно ни идеализировать эти отношения в целом, ни противопоставлять их чистоту и искренность всеобщему якобы разврату, царившему в рабовладельческой верхушке. Дело не в статистике удачных и прочных браков среди свободных или среди рабов и отпущенников. Распад традиционных групп и приток новых людей исподволь создавали новый тип общности, где связи гражданской общины играли все меньшую роль и выбор спутников все больше определялся мыслями и чувствами каждого человека. Возникнув в среде, раньше всего и дальше всего отошедшей от племенного устройства, этот принцип распространился вверх и вниз. Он сказывался не только в сфере семьи, но также в дружбе, приобретающей в эту пору для многих особенное значение, в тесных сообществах поклонников какого-либо божества. Особенно ярко проявился он в так называемых *collegia tenuiorum* — «коллегиях простых людей».

Коллегии, изначально представлявшие собой свободные союзы граждан, объединившихся по признаку принадлежности к одной ремесленной профессии или для совместного отправления какого-либо религиозного культа, сложились в Риме еще при царях и просуществовали почти до конца его истории. Независимо от своих прямых функций коллегии привлекали людей царившей в них атмосферой неформальной солидарности и признания. Рассказывая о собраниях коллегий,

учрежденных в Риме в конце III в. до н. э. для почитания Великой Матери, Старший Катон даже не упоминает о культовом их назначении и говорит, что «очарование этих трапез состояло для меня не столько в еде и питье, сколько в общении с друзьями и беседе с ними». Сохранив некоторые свои древние черты и утратив другие, пережив сложные перипетии отношений с властью, такие коллегии широко распространились в период Ранней империи, и к концу его их деятельность была регламентирована рядом законов. Главное требование этих законов — разграничение коллегий, которые «дозволены решением сената или цезаря», и коллегий, такого дозволения не имеющих. Деятельность товариществ последнего рода объявлялась категорически запрещенной, и за нее полагались предельно тяжелые наказания. Коллегии первого рода предусматривались только для лиц малоимущих или имеющих низкий социальный статус. С согласия хозяев в коллегии разрешалось принимать рабов. Предусмотренная законом деятельность коллегий состояла в сборе денег на общие нужды членов, в ежемесячных совместных трапезах и в отправлении признанных государством культов.

Чем же стали древние коллегии к этому времени, т. е. к концу II — началу III в.? Они были разнообразны по числу членов — от 3 до 2000 человек — и особенно по мотивам, сведшим их воедино. В число коллегий входили и профессиональные объединения ремесленников — портных, лодочников, зеленичников, шерстобитов, погонщиков мулов и др.; и землячества, охватывавшие как просто соседей (известно, например, общество жителей римского района Велабра), так и людей, проживающих в данном городе, но происходящих из другой части империи — в Путеолах имелась коллегия выходцев из финикийского города Беритта, в Малаге — две коллегии азиатских торговцев и т. д.: почитатели различных божеств, и особенно союзы лиц, в складчину обеспечивающих себе место на кладбище или в колумбарии. Они обычно располагали своим помещением для собраний, храмиком при нем, кое-каким другим имуществом, приобретавшимся на взносы членов, а чаще на пожертвования какого-нибудь видного лица, считавшегося патроном коллегии и получавшего от нее знаки внимания и почта. Такие коллегии объединяли в эту эпоху действительно «простых людей» — известны, например, союзы, состоявшие только из отпущенников и рабов. Дела, которыми они занимались совместно, — выборы руководителей, сбор денег, религиозные церемонии, обсуждение расходов, совместные трапезы — были связаны с чисто местными вопросами. Выбирали «старшину трапезы», который обязан был обеспечить, как говорится в сохранившемся уставе одной из коллегий, чтобы перед каждым сотрапезником стояла бутылка «доброго вина», хлеба на 2

асса и 4 сардинки, а если кто будет с ним непочтителен, то заплатит штраф в 12 сестерциев. Приходиливали (как, например, коллегия почтитателей Сильвана в Филиппах Македонских) пожертвования членов храмику коллегии: статую ценой в 25 денариев или картину, стоившую 15 денариев. Без конца выражали восторженную покорность — богам, императорам, патронам. Разрешения на такие коллегии выдавались, судя по их числу, легко и широко.

Чтобы понять исторический смысл этих коллегий, надо представить себе пережитую ими эволюцию. При Республике они существовали 600 лет, в течение которых никто их не закрывал, и тем не менее распространены они были мало. В первые полтора века принципата с ними боролись ожесточенно и непрерывно — запрещение при Юлии Цезаре, запрещение при Августе, запрещение при Клавдии; Нерон объявил себя патроном всех коллегий, рассчитывая, что такой контроль будет эффективнее любых запретов; Траян давал разрешения на создание коллегий необычайно скупой и всячески старался их ограничить. И тем не менее к середине II в. подобных объединений насчитывалось множество даже в пределах одного провинциального города. Лишь в этих условиях Антонины и Северы отказываются от борьбы с коллегиями и оформляют их существование упоминавшимися выше законами. Движущие силы этой эволюции очевидны. Пока уклад Древнего Рима сохранял прямые связи с гражданской общиной, хозяйственная и частная жизнь человека была переплетена с его политическим и тем самым общественным, государственным существованием. Потребность в солидарности с себе подобными он естественно реализовывал в рамках гражданской общины, в повседневном обсуждении дел, в народном собрании, на форуме и сходках. Частные объединения граждан в этих условиях либо растворялись в государстве (как произошло с древними жреческими коллегиями или с ремесленными центуриями), либо погружались в борьбу с ним (например, в рамках движения Клодия в 50-х годах I в. до н. э.), либо, наконец, на их долю оставались дела, периферийные для такого строя жизни, — вопросы профессиональной конъюнктуры и ремесленного опыта, а то и просто приятельское общение. Стремительный рост коллегий в первые два века империи при одновременном сосредоточении деятельности многих из них на внеполитических полубытовых вопросах выражал забвение традиций гражданской общины и распад, если можно так выразиться, самой полисной структуры сознания. Государственная общность стала настолько абстрактной и искусственной, что потребность античного человека в местной конкретности существования, в повседневной солидарности с тесным кругом других людей должна была реализовываться вне имперских институтов. Правительство, продолжавшее в политике

и пропаганде отстаивать культ римской государственности, всячески укреплять и развивать ее, требовать от подданных империи постоянной готовности служить и чтить, постаралось покончить с этим опасным для него партикуляризмом. Там, где труд объединенных в коллегии ремесленников имел значение для обороны и строительства, их закрепили за городами, а сами коллегии сделали полувоенными формированиями; там, где заложенный в них партикуляризм прямо обращался против государства, он был объявлен тягчайшим преступлением; там, где он безобидно и послушно сосуществовал с ним, его законодательно замкнули в сферу внеполитической повседневности и решили как ни для кого не опасный. Но, как стало постепенно выясняться, главная опасность крылась именно здесь, в этих невинных и послушных группах обывателей.

Положение коллегий в конце II — начале III в. показывало, что развитие шло в сторону, противоположную запланированной: реально человеческого, а потому и общественного смысла постепенно лишались не повседневность, а официальная государственность. Именно она оказывалась все менее адекватной потребностям и чаяниям масс, и, напротив, находившее себе выражение в коллегиях неприметное бытие неприметных людей зримо становилось той сферой, в которой все реальнее и полнее сосредоточивалась жизнь народа, лишенная более глубоких и ярких форм выражения. Это проявлялось прежде всего в бурном распространении коллегий вширь и количественном их росте. За исключением, пожалуй, Африки, нет ни одной области римского мира, где их существование не было бы засвидетельствовано многочисленными надписями. Уже в переписке Плиния с Траяном о них идет речь как о важной и привычной составной части имперской действительности, опасной именно своей распространенностью. «Они наполняли Рим, — пишет про середину II в. один старый их исследователь, — прокрадывались в самые маленькие городки, проникали в лагерь, откуда их более всего старались изгнать, и покрывали собой богатейшие провинции». Секрет и причины роста коллегий состояли в том, что в этом в общем еще античном мире они единственные удовлетворяли потребность в человеческой солидарности — вполне на античный лад. Официальные формы общественного самовыражения становились настолько парадными и пустыми, что обрести и выразить себя в них никто не мог, а расходы на участие в них росли и утрачивали смысл. С середины II в. массовыми становятся случаи отказа от почетных выборных должностей в городах. Закон, направленный на борьбу с этим явлением, характеризует его достаточно ярко: «Те, кто хочет обмануть совет города и, чтобы избавиться от отправления выборных должностей... перешел в число колонов в имениях, дабы под-

лежать меньшим тяготам, не достигают этим освобождения» (Ульпиан. Дигесты, 50, 4, 4, 2). В отличие от Римского государства полнокровное, насыщенное бытие которого отодвигалось все дальше в прошлое, социальная и духовная среда, заполнявшая коллегии простых людей, жила непосредственной сегодняшней жизнью, достаточно напряженной, несмотря на всю свою скудость. Здесь цвел культ дружбы и взаимной выручки «маленьких людей», о котором мы бегло упоминали выше. Здесь складывались новые религиозные представления, далекие от традиций греко-римской мифологии. Множество коллегий исповедовало культ Геракла, Приапа, особенно Сильвана — богов, воплощавших в их единстве животворную силу природы и оплодотворяющий эту природу человеческий труд. Из подобного отношения к природе развилось особое направление изобразительного искусства, охватывающее период с середины I до начала III в. Ярче всего оно представлено провинциальными мозаиками, где красота людей, цветущая сила растений и хищная энергия животных сливаются в единую картину природной жизненной мощи, свободной и в то же время дружественной человеку. Само техническое несовершенство этого искусства подчас лишь усиливает впечатление его простоты и искренности.

Полнее всего, однако, органическая связь этих сообществ с движением жизни и истории выражалась в том, что элементы античного строя здесь не только сохранялись, но и подвергались внутреннему изменению. Возникнув из чисто античного, полисного принципа локальной конкретно-человеческой общности, коллегии в то же время строили солидарность своих членов на упразднении основных, конститутивных противоположностей полисной жизни: граждане — неграждане, свободные — несвободные, свои — чужие. Поэтому в них яснее, чем во многих других областях, выявлялось внутреннее омертвление исходного зерна античного мира, прообраза всех его частных структур — гражданской общины, а вместе с ней и основной оппозиции всей исторической эпохи — империи и полиса.



**ДРЕВНИЙ РИМ.  
КАРТИНА МИРА  
И КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ**

---

## ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ДРЕВНЕГО РИМА

Вопрос о восприятии пространства и времени в различные эпохи привлекал в последние годы усиленное внимание отечественных и зарубежных исследователей<sup>1</sup>. При всем разнообразии как объективных данных, так и обнаружившихся точек зрения два положения, по-видимому, могут считаться установленными: формы восприятия пространства и времени специфичны для каждого культурного круга и потому составляют важную, глубинную характеристику той или иной культуры; для древнего сознания пространство и время существуют не как абстрактные, лишь количественно исчисляемые расстояние и длительность, а в неразрывной связи с заполняющим их содержанием. Для историка, изучающего культуру Древнего Рима, отсюда следуют также два вывода: формы восприятия пространства и времени в Древнем Риме связаны с сущностью его культуры и представляют поэтому значительный интерес и важность для ее понимания; исследовать их целесообразно в связи с их общественным содержанием, т. е. как *историческое* пространство и *историческое* время.

Проблема исторического пространства, т. е. меняющегося во времени пространственного взаимодействия с окружающими народами и территориями, всегда занимала существенное место в мировоззрении римлян. На ранних стадиях исторического развития ограниченные, этнически относительно однородные коллективы обычно воспринимают противостоящие им иные коллективы и все вообще лежащее за пределами освоенной ими территории географическое пространство как нечто неизведанное и потому опасное, как угрозу своему существованию и целостности, как царство враждебных сил. Рим принадлежал в своих истоках той же ранней фазе человеческой культуры. Чтобы понять отношение римлян к окружающему пространству, важно отметить, в чем они разделяли эти общестадийные воззрения, а в чем принципиально и далеко отходили от них. Их город был для римлян отграниченным от всей вселенной и противопоставленным ей единственным местом на земле. Положение его было не выбрано людьми, а предопределено богами. При основании Рима Ромул кривым жреческим посохом очертил в небе квадрат, ориентированный по странам света, так называемый *templum*, и когда в нем

как доброе предзнаменование и доказательство благорасположения богов появились двенадцать коршунов, он был спроецирован на землю и определил территорию города. На ней вырыли круглую яму, mundus, бросили туда все, что олицетворяло силу и богатство народа, — первины урожая, куски сырой руды, оружие, влили вино и кровь жертвенных животных, закрыли ее ульевидным сводом и замковым камнем. Так земля соединилась с преисподней, мир живых с миром мертвых, и пуповину, навечно связавшую сегодняшний город с погрузившимися здесь в подземный мир былыми поколениями, нельзя было ни оборвать, ни создать заново. Город враста́л в ту землю, в которую уходило его прошлое. Его окружала проведенная плугом борозда, земля из которой образовала шедший вокруг города вал. Так возник pomerium — граница, неодолимая для враждебных, нечистых, извне подступающих сил, очерчивавшая территорию, в ней заключенную, как бы магическим кругом и делавшая ее священной.

Дабы поселение в пределах померия оставалось священным, важно было предупредить всякое его осквернение, как утражающее изнутри, так и могущее быть занесенным снаружи. Вплоть до Второй Пунической войны (218–201 до н. э.) культы чужеземных богов (о них см. ниже) не могли отправляться в пределах померия, первоначально охватывавшего только Палатинский холм с окрестностями, — их святилища располагались на Марсовом поле или на Авентине. Город был местом вечной жизни, и потому его оскверняло бы всякое соприкосновение со смертью. Внутри померия было запрещено не только хоронить мертвых, но и появляться вооруженным солдатам. Вооруженная армия сеет разрушение и сама подвержена ему. Ее задача — сражаться с темными силами внешнего мира, от которых город как раз и стремится укрыться за своими стенами. Фламин Юпитера был обязан проводить всю жизнь в пределах померия и тем самым не имел ни возможности, ни права приближаться к могиле, касаться трупа и видеть вооруженную армию.

Это отношение к армии, войне и смерти в высшей степени существенно для анализа интересующей нас проблемы. Распространенное среди древних народов представление о внешнем мире как арене демонического зла преломлялось у римлян таким образом, что злобным и демоническим выступал не мир вне померия сам по себе, а разворачивавшаяся в нем борьба своих с чужими, разрушение, жестокость и смерть, ее сопровождавшие, т. е. война.

Марс был не столько богом войны как таковым, сколько богом мужской и мужественной силы<sup>2</sup>. В пределах земельного участка он обеспечивал его плодоносящее цветение, в пределах города — его изю-

билие, многолюдство и мощь; лишь на границе, их окружавшей, он становился защитником им же созданного изобилия и лишь за этими границами — грозным и жестоким мстителем, карающим и уничтожающим каждого, кто на них покусился. Поэтому в деревне приносили жертвы Марсу, лишь обойдя предварительно в торжественной процессии границы владения — один раз (Cato. Agr., 141) или даже трижды (Verg. Georg., I, 345). Поэтому в Риме в весенний праздник амбарваллий процессия граждан в белых одеждах и венках из листьев обходила город, вознося молитву Марсу. Поэтому же древнейшие храмы Марсу возводились у границы померия, но вне ее — на Марсовом поле и за Капенскими воротами, у северного и у южного входа в город. Марс связан с Термином, богом рубежей, а через него и с его «отцом» Янусом, богом превращения и перехода. Отправляясь в поход, римляне пересекали границу Рима, и это знаменовало их превращение из законопослушных и благочестивых граждан, какими они предполагались в пределах померия, в исполненных злобы грабителей, насильников и убийц.

Принципиальная разница между человеком внутри померия и вне его выражалась, в частности, в том, что, возвращаясь из похода, он должен был каждый раз как бы снова войти в оболочку нормального мирного гражданина, а для этого очиститься от бешеного неистовства, *furor*, владевшего им на войне. Возвращаясь из похода, воины проходили под *Sororium Tigillum* — поддержанной двумя опорами балкой, возле которой находился алтарь Януса и под которой некогда должен был пройти последний из Горациев, дабы очиститься после убийства сестры. Очистительный смысл имели изначально все вообще триумфальные арки и ворота, через которые армия входила в город. 19 октября, по завершении ежегодных летних походов, на Авегтине, т. е. перед входом в померий, под звуки священных труб совершалась церемония *Armilustrum*, очищения оружия, запятнанного вражеской кровью. Многие из этих ритуалов свято соблюдались и в более поздние времена, когда войска годами находились вдали от Рима и дата 19 октября уже не имела никаких реальных оснований, что еще раз доказывает, насколько живым было в сознании римлян отделение военной деятельности от функционирования гражданской общины и от ее внутренней жизни.

В свете всего сказанного становятся понятными истоки специфического римского «шовинизма». Сознание того, что Рим есть особое, неповторимое и в этом смысле замкнутое в себе явление, отделенное от окружающего мира, как бы стоящее иерархически несравненно выше его, а народы этого мира более или менее неполноценны и созданы для подчинения, проявляется в истории города неод-

нократно и в самых разных формах. Кружок Сципионов во II в. до н. э. вызывал раздражение и осуждение именно за свой интерес и переимчивость ко всему эллинскому; в эпоху Ранней империи в сенате элегически вспоминали о том времени, когда «целые народы трепетали перед приговором, выносимым даже и одним римским гражданином» (Тас. Апп., XV, 21, 1); хищно-шовинистическое отношение к неримским народам образует один из явственно различных обертонів творчества Тацита. Особенно ярко все это выражено у Цицерона.

«Мы поняли, — говорил он в сенате (*De har. resp.*, 9), — что все на свете подчинено воле богов и направляется ею, и именно поэтому оказались выше всех племен и народов». Верность богам их общины делает римлян носителями единственно подлинных духовных ценностей — благочестия, права, гражданской доблести, другие же народы, как не ведающие этих богов, а следовательно, и этих ценностей, лишены нравственных достоинств и органически порочны. «Иудеи и сирийцы — народы, рожденные для рабского состояния» (*De prov. cons.*, 10); греки отличаются «врожденным умением лгать» (*Ad Quint. fr.*, I, 2, 4); Цицерона не могут тронуть «жалобы какого-то Пакония, даже не грека, а, скорее, мисийца или фригийца» (*ibid.*, I, 1, 19). Поэтому римляне созданы для господства, и им само «благоразумие (*sapientia*) велит умножать свое достояние, увеличивать свои богатства, расширять границы» (*De r. p.*, III, 24), подавляя другие народы «так, как наилучшая часть души, т. е. мудрость, подавляет порочные и слабые части той же души» (*ibid.*, III, 37). Перед смертью Цицерон повторил еще раз мысль, которая была близка столь многим римлянам и до, и после него: «Превращение римлян в чужих бы то ни было слуг есть нарушение закона мироздания (*fas non est*), ибо по воле богов они созданы, чтобы повелевать всем другим народами» (*In M. Ant.*, IV, 19).

В высшей степени примечательно, что вся эта архаически-«шовинистическая» линия оказалась в культурном и художественном отношении бесплодной. Римские полководцы и солдаты грабили и убивали чужеземцев, истребляли целые племена «варваров», магистраты обирали провинциалов. В непосредственной политической и жизненной практике все это обосновывалось провиденциальной миссией римлян, их само собой разумеющейся привилегированностью, их беспримерной, всеподавляющей военной силой. В самосознание и самооценку народа, в парадигму его ценностей, однако, в складывавшуюся в историческую пору классическую римскую культуру все это входило плохо. Узкий и агрессивный чисто местный ромоцентризм мог оживлять некоторые древние легенды, сохранные Титом Ливи-

ем или Валерием Максимом, мог сказываться в бытовых и национальных антагонизмах, в специфически римском чванстве, столь ярко проявившемся в цитированных выше суждениях Цицерона, порождать стилизованный под архаику нарочито кровожадный тон, которым считал необходимым иногда говорить Тацит (*German.*, 33, 1). Ни одного великого произведения римской литературы или искусства, ни одной великой идеи из завещанных Римом Европе эта идеологическая установка не дала.

Столь же малоплодотворной явилась и установка противоположная — односторонний и последовательный космополитизм, в той мере, в какой он вообще обнаруживается в духовной истории Рима. Идея о том, что человек принадлежит не своему городу, а миру в целом, вообще чужда классической античности. Она появляется в Греции только в IV в. до н. э., в философии стоиков и киников, знаменовавшей глубокий кризис полноты и всего строя жизни, на нем основанного. Само слово «космополит» впервые, кажется, употребил знаменитый греческий философ-киник Диоген Синопский (*Diog. Laert.*, VI, 63). На римскую почву эта мысль была принесена греками, в частности Посидонием, развил же ее уже в I в. н. э. Сенека. Мир и человечество представлялись ему единым телом: «...мы — только члены огромного тела. Природа, из одного и того же нас сотворившая и к одному предназначившая, родила нас братьями»<sup>3</sup>. Поэтому все лучшее в человеке, его дух, чувства, разум, в соответствии с этим воззрением не вмещается в тесный мирок полисного согражданства. «Душа не согласна, чтобы родиной ее были ничтожный Эфес, или тесная Александрия, или другое место, еще обильнее населенное и гуще застроенное» (*Ad. Lucil.*, 102, 21). Истинный мудрец — лишь тот, кто сумел разорвать эти границы, и единственное «государство, достойное его, — весь мир» (*ibid.*, 68, 2); «Я знаю, что моя родина — мир» (*De vita beata*, 20, 5).

Такое забвение исходных полисных начал в восприятии действительности, лежащей за стенами города-государства, со второй половины I в. н. э. становится характерным для широких слоев общества. В составе сборника декламаций Псевдо-Квинтилиана сохранилась речь, которую произносит рядовой римский гражданин, изгоняющий из дома своего сына. Причина, как он объясняет судьям, состоит в том, что сам он «ставит выше всего дела на форуме и достоинство нашей гражданской общины», сын же усвоил космополитическое учение киников и нравы, «гражданской общине чуждые» (*Ps.-Quint.*, 283). Со страниц Ювенала люди, которым можно было предъявить это обвинение, встают в неисчислимом множестве.

Несовместимость подобного космополитизма с антично-римским мировосприятием проявлялось двояко. С одной стороны, он все отчетливее входил в особую социально-психологическую и религиозно-философскую атмосферу, которая царила в поздней, греко-римской, «синкретической» империи, разрушала рамки собственно античной культуры и нашла себе окончательное выражение в христианстве. Именно для христианства было прежде всего характерно противопоставление царства земного — одного из многих, и царства небесного — единого для «иудеев и эллинов», местного города-общины, *civitas*, и вселенского вертограда божия, *civitas Dei*. Противопоставление это характеризовало историческое существо обеих систем, и есть все основания, как это делается в последнее время, проводить границу между античностью и средневековьем по водоразделу между собственно античным мировоззрением, основанным на полисе, на ответственности перед ним, и мировоззрением христиански-теологическим, знающим лишь ответственность перед единым для всех людей богом и космополисом<sup>4</sup>. Не приходится говорить, что такого рода космополитизм, постепенно все яснее обнаруживавший свои протохристианские потенции, не мог явиться почвой для формирования античных, собственно римских культурных и художественных ценностей. Такое существенное явление позднего римского мира, как космополитизм Сенеки, тем и примечательно, что в нем эти потенции ощущались совершенно ясно — не случайно творчество этого автора столь часто рассматривалось в виде своеобразного посредствующего звена между римской античностью и христианством.

С другой стороны, в той мере, в какой стоицизм оставался в круге собственно римской культуры, он, вопреки своим исходным началам, неизбежно возвращался в русло местной римской традиции и снова связывался с полисной системой ценностей. В I в. он был философией оппозиции принципам, отстававшей в борьбе с ними старинные римские нормы государственного управления и общественной морали. Особенно показательно с этой точки зрения развитие на римской почве стоической теории двух родин. Старые греческие стоики учили, что у человека две родины — полис и мир, причем «земное государство есть лишь слепок вселенского „града“, управляемого мировым разумом», «важно не государственное устройство как таковое, а соответствие его мировому разуму». Уже у Цицерона это учение радикально преобразуется. Для него тоже человек принадлежит двум родинам, но обе они — земные, политические, государственные и обе представляют собой гражданскую общину: одна, малая, — местную, где находится дом и земля семьи, откуда она происходит, которой служит своей повседневной практической деятельностью,

другая, большая, — римскую, которая вобрала в себя первую и перед которой человек ответствен как гражданин, магистрат и воин (Cic. Leg., II, 5). Мир вне гражданского коллектива для Цицерона, о какой бы родине ни шла речь, не существует, а в той мере, в какой существует, несуществен. Даже у Сенеки учение стоиков о двух родинах характерно преобразуется и во многом утрачивает свой космополитический пафос. Родине всеобщей, «протяженность которой измеряется лишь ходом солнца», человек служит «на досуге», пытаясь проникнуть в общие вопросы бытия: дробна или непрерывна материя? рождается человек честным или становится им? что есть доблесть? (Sen. De ot., 4(31)). Своему же городу-государству он служит практически и деятельно, своей жизнью и кровью, и здесь уже вопрос о том, что такое доблесть, вообще не возникает: «ты найдешь ее в храме, на форуме, в курии, защищающей стены города» (Sen. De vita beata, 7). Синкретическая, стоическая, протохристианская мысль Сенеки уживалась и взаимодействовала в нем с чисто римским мироощущением ответственности гражданина перед своим городом-государством, и именно с этим синтезом связаны лучшие его создания — «О милосердии», «О гневе», хоры некоторых трагедий.

Однако ничто, может быть, не доказывает столь непреложно постоянную обреченность римлянина полному восприятию мира, противоестественность для него всякого последовательного космополитизма, как поэма Лукреция «О природе вещей». Автор видел ее цель в том, чтобы познакомить своих соотечественников с философией Эпикура — «учения темные греков ясно в латинских стихах изложить» (I, 136–137). Если Цицерон, его современник, решая сходную задачу, непременно подчеркивал, что в ходе такого изложения греческое любознательное подлежит обогащению римским опытом (Tusc., I, 1, 1; Lael., (IV), 16–18), то Лукреций не помышлял ни о чем подобном: Эпикур для него «бог» (V, 8), учение его есть истина в конечной инстанции, единственное, что остается римлянам, — «поглощать слова золотые» (III, 12–13). Действительность, из которой поэт черпает материал для сравнений и метафор, на первый взгляд, не принадлежит ни Риму, ни иному конкретному городу-государству. Бытовых или пейзажных реалий в книге почти нет, римские мифологические образы перемежаются с греческими, перечень великих людей состоит из имен Анка Марция, Ксеркса, Сципиона, Гомера, Демокрита и Эпикура (III, 1025–1041). Изображенный здесь мир вненационален, бесконечен, космичен; ощущение родины, своего неповторимого места человека во вселенной ему неизвестно:



*Нет и краев у нее, и нет ни конца, ни предела.  
И безразлично, в какой ты находишься части вселенной.*

(I, 964—965.

Пер. Ф. Петровского.)

Лукреций в общем точно следует Эпикуру, красиво, талантливо и ярко излагая его натурфилософское учение. Есть, однако, в его поэме смысловые лишнии, разрабатывая которые он заметно отклоняется от своего источника. Мысль сама по себе остается той же, но меняется тон, темперамент, чувство, за ней стоящее. Первая из линий — антирелигиозная. Эпикуру, судя по дошедшим до нас его сочинениям, антирелигиозный пыл в общем чужд. Просто в его вселенной, которая живет и движется, исходя из собственных начал, богам не остается большого места. В той же ограниченной мере, в какой эти боги есть, Эпикур относится к ним с уважением и порицает не поклонение им как таковое, а то содержание, которое вкладывает в него непросвещенная толпа<sup>5</sup>. «Мы, по крайней мере, будем приносить жертвы благочестиво и правильно, там, где подобает, и будем исполнять все правильно, по законам, нисколько не тревожа себя (обычными) мнениями относительно существ самых лучших и самых уважаемых (т. е. богов)» (Отрывки, 57. Пер. С. Соболевского).

В отличие от своего учителя Лукреций, говоря о богах и религии, буквально задыхается от ненависти и презрения. Вкратце передав представление Эпикура о богах (II, 646—658), он тут же добавляет, что люди волены называть море Нептуном, а хлеб Церерой, если только они при этом «не питают душу религией гнусной» (II, 680). Религия по сути своей нечестива и преступна (I, 83), боги — «надменные хозяева», претендующие на власть над природой (II, 1092), вера в них — результат невежества (VI, 54—55).

Дабы понять смысл этой позиции, необходимо учитывать, чем были религиозные обряды в повседневной жизни римлян современников Лукреция. Официальное благочестие и вера в общеримских богов таили на глазах, но суть религиозности составляли не они. Ее составляли фамильный культ, обряды, сопровождавшие любое сколько-нибудь значительное событие в жизни гражданина или его семьи, *dies festi*, посвященные богам и занимавшие почти треть всех дней года, компитальные культы — весь круг представлений, который связывал богов с местной почвой, делал их гарантами процветания *моего* дома, *нашего* рода, *здешней* общины. Последовательная и яростная антирелигиозность Лукреция оказывалась внутренне связанной с всеобщим, бескорыстным, над-национальным характером его поэтически-

го космоса, делала его человеком без *civitas*. Принадлежность к гражданской общине предполагала верность земле, в которую вложен труд бесчисленных прошлых поколений, уважение в делах и словах к их наследию, к установлениям, освященным давностью, обычаем и богами. Все это представляется Лукрецию вздором и ложью — полагать, будто

*...нечестиво все то, что божественным промыслом древле  
Было для рода людей устаноелено твердо навеки,  
Как-нибудь нам колебать, потрясая в самих основаниях,  
Или словами дерзать окончательно все ниспровергнуть, —  
Все эти вымыслы, Меммий, и все измышленья такие —  
Только безумье одно.*

(V, 160—165.)

Все ценности и устои полисной жизни в поэме упраздняются. Участие в общественных трудах (*munia*) было ее законом; единственная настоящая ценность для Лукреция — духовное наслаждение «чувством приятным вдали от заботы» (II, 19). Община столетиями жила войной, и главная доблесть гражданина — воинская доблесть; Лукрецию: «Сладко смотреть на войска на поле сраженья в жестокой / Битве, когда самому не грозит никакая опасность» (II, 5—6). Подчиненность личности воле общественного целого была для римлян аксиомой, для Лукреция столь же аксиоматична онтологическая свобода индивидуальной воли (II, 251 и след.). Такие сопоставления можно продолжать долго. И становится ясно, как далеко ушел Лукреций от ограниченного, замкнутого рамками гражданской общины полисного взгляда на жизнь, как красиво и привольно раскинулся его мир, не знающий границ, племенной розни и мелких местных забот.

Увы, за все в жизни надо платить. Лукреций слишком яростно отвергает и проклинает богов, покровителей общинного строя существования, чтобы можно было поверить, будто это для него естественно и дается ему легко. Его второе отличие от Эпикура заключается в переполняющем поэму чувстве страха.

Мысль греческого философа состоит в том, что человек страдает от незнания истины и порожденных этим незнанием ложных страхов; если понять ее, страх и страдание прекращаются. «Кто знает пределы жизни, тот знает, как легко добыть то, что устраняет страдание, происходящее от недостатка, и что делает всю жизнь совершенной; поэтому он нисколько не нуждается в действиях, заключающих в себе борьбу» (Главные мысли, XXI). Акцент у Эпикура лежит на естественности, природосообразности истины и потому на той простоте, с которой

человек может избавляться от своих страданий. Альтернативой спокойной мудрости является даже не страх перед страданиями как таковой, а, скорее, тревожения, суета, путаница, смятение, которых исполнено повседневное существование. Описывая их, Эпикур неизменно употребляет слово *ταραχή*, схожее с русским «тарахтеть», или его производные; слово, непосредственно обозначающее страх, ужас — *φόβος*, встречается у него очень редко.

У Лукреция все обстоит наоборот. Теоретически он принимает мысль Эпикура, но при изложении ее главным оказывается не легкость и естественность избавления от страданий, от суетной пустяковости бездумного существования, а острая необходимость забыть ужас бытия, избавиться от постоянно порождаемого им страха. Синонимика страха в поэме широка и обильна. Так, в II, 44–61 на протяжении неполных двадцати строк следуют друг за другом: *timefactae, pavidae, timores, metus, metuunt, in tenebris, in tenebris metuunt, timemus, metuenda, pavitant, terror animi, tenebras*. Ощущение страха в поэме навязчиво — полностью или по частям приведенный пассаж повторяется на протяжении ее еще три раза (I, 146–148; III, 87–93; VI, 35–41). Слова *terror, horror, metus, timor* встречаются почти всякий раз, когда автор говорит о том, от чего должно избавить людей проповедуемое им учение и что составляет жизнь каждого, кто этого учения еще не принял.

Источник разлитого в поэме чувства страха — в распадае *civitas* и основанных на ней чувств безопасности, сплоченности, законосообразности существования. Нельзя забывать, что в отрочестве Лукреций был современником и, по всему судя, свидетелем гражданских войн 80-х годов, марианской резни и сулланских проскрипций, в зрелости — аграрных проектов Сервилия Рулла, заговора Катилины, нависающей над Римом диктатуры Помпея, в последние годы жизни — клodianской смуты, возраставшего могущества Цезаря, первого триумвирата. Поэма открывается обращением к Венере и мольбой примирить любовью царящую в мире вражду. Восприятие жизни как арены вечной борьбы этих двух сил навечно Эмпедоклом, но вненациональная, греческая общеполитическая схема насыщается жгуче актуальным чисто римским содержанием — слова о «жестоких распрях и войнах и на земле, и в морях», о даровании, наконец, мира римлянам, о *salus commune* (I, 27–43) не оставляют сомнения в том, что господствующее в поэме настроение шло из римской общественной практики — из гражданских войн, в которых гибла городская республика.

Герой Лукреция на первый взгляд, действительно, как бы парит в мире, лишенном примет времени и места. Но вчитаемся повнима-

тельное в текст, и постепенно становится очевидно, что поэт ни на мгновение не отрывается от родного Рима. Он всецело в курсе римской духовной жизни своей эпохи — происхождение общества изображает очень близко к Цицерону (V, 1100 и след.)<sup>6</sup>, нравственный упадок Рима под влиянием роста богатств — близко к Саллюстию (V, 1113–1114, 1273–1275; II, 1171–1172); он видит в стремлении к высшей личной власти реальную опасность (II, 12–13; V, 1141–1142), как видели ее на основе пережитого опыта многие современники Суллы, Катилины, Клодия, Цезаря, Помпея; слова о «твоих легионах» в обращении к полководцу (II, 40) указывают на то, что римская армия представляется ему в том облике, который она приняла после реформ Мария; он упоминает исконных, народных римских богов — Либера (V, 14), Суммана (V, 521), Матуту (V, 656). Поэтому если для него «всюду крутом бесконечно пространство зияет» и нет ни традиции, ни корня, ни богов общины, то это не исконное и естественное его состояние. Оно наступило потому, что все им виденное и пережитое наводило на мысль о конце римского мира — его собственного мира.

Жизнь и духовная свобода человека, освободившегося от патриархальных, на обычае и местной религии основанных связей, его гордое и умное одиночество среди бесконечной вселенной, где нет ничего, кроме пустоты да безликих в своем пестром многообразии *primordia rerum*, мыслились Лукрецию как форма высшего существования и высшего спокойствия, как освобождение от унижительного плена традиции и богопочитания. Оказалось, что такая позиция, может быть, и хороша где-нибудь на Самосе, в распавшемся и нивелированном мире эллинистических полисов, но в Риме никакие просторы вселенной не способны возместить и заменить Город и неотделимые от него опоры бытия — *moenia* и *leges*, *pietas* и *amicitia*, *fas* и *jus*. Лишенная этих опор, жизнь начинает проваливаться в бездну страха.

Взаимосвязь всех этих идей хорошо видна в стихах 31–94 третьей книги. Мир находится в состоянии распада. Хотя Лукреций говорит о «людях» вообще, содержание стихов не оставляет сомнений в том, что речь идет о Риме: распад вызван «алчностью денег», «почестей жаждой слепой», коллекционированием сокровищ, насилием, проникшим во все поры общественной жизни, — теми явлениями, о которых в один голос говорили писатели, поэты, мыслители этой эпохи, размышляя о причинах упадка Римской республики. Люди неразумны и повсюду, «куда ни придут», ищут выхода в сохранении и восстановлении ее обычаев, в первую очередь религиозных; только поэт берется указать им истинный выход — жизнь в соответствии с при-

родой и учением Эпикура. Почему они могут избавить людей от бедствий? Потому что избавляют их от страха гибели, корень же всех страданий не в конкретных общественных несовершенствах, не в судьбах государства, а именно в этом инстинктивном, всеобщем страхе: «Язвы глубокие жизни / Пищу находят себе немалую в ужасе смерти». Освободившись от страха, человек одновременно освобождается и от забот, семейных, материальных, государственных, общественных, обретет блаженство природного спокойствия и отвлеченного знания. Но только верит ли до конца сам Лукреций в такое блаженство? Вряд ли, ибо все ценности, которые он перечисляет (III, 83–85), утрату которых он оплакивает и без которых жизнь становится невыносимой, — это все те же исторические, традиционные ценности римской общины — *pudor*, *amicitia*, *pietas*, *patria*, а их не вернут, как он внутренне чувствует, ни Эпикур, ни природное спокойствие, ни отвлеченное знание. К ним нельзя вернуться, на что наивно надеется погрязший в религиозных иллюзиях народ, но без них и нельзя жить, как явствует из вступления к поэме, и из только что разобранных эпизода, и из своеобразного его перифраза в ст. 1281–1349 пятой книги, и из той грандиозной картины всеобщей гибели, которой заканчивается поэма. Если нет больше в мире места своим, римским, общинным, корневым ценностям, то в глубине души, хочешь не хочешь, постоянно шевелится «отвращение и к жизни, и к свету дневному» и бесконечный страх.

В древности существовало мнение, что Лукреций в конце жизни сошел с ума, что поэма его писалась в светлые промежутки между приступами безумия и что кончил он самоубийством. Источником этих сведений для нас является поздняя «Хроника» Иеронима (340–420 гг.)<sup>7</sup>, но восходит она, по всей видимости, к сочинению Светония «О достойных мужах», т. е. к началу II в., что значительно повышает их надежность. Отдельные места поэмы (в частности, рассуждение о сновидениях — IV, 777–826) действительно производят впечатление написанных человеком с очевидным и значительным галлюцинаторным опытом. В Новое время ученые, внимательно вычитывавшиеся в Лукреция, относя сообщение о приворотном зелье к числу распространенных в римской литературе фольклорных мотивов, полагали, что облик автора, встающий из текста поэмы, подтверждает версию о его безумии; к числу их относится и лучший переводчик Лукреция на русский язык Ф. А. Петровский<sup>8</sup>. Проведенный выше анализ не противоречит этому выводу.

Наиболее реально-жизненным началом классической римской культуры оказались не односторонняя ориентация на традиции замкнутой и архаической местной гражданской общины города Рима и уж тем

более не растворение этих традиций в «космополисе», а противоречивое единство обоих принципов. Особенность римлян, которая отличала их от многих других народов, стоявших на ранней стадии исторического развития, заключалась, в частности, в том, что абсолютизация традиций и ценностей замкнутого мирка общины, его враждебное противопоставление остальному миру и вытекавший отсюда «шовинизм» очень редко выступали в чистом виде. «Шовинизм» здесь, как правило, осложнен своей противоположностью, уникальность общинного мирка — чувством его открытости большому миру, вера в провиденциальную миссию Рима — усвоением духовного и практического опыта других народов, исключительность римского государственного строя и римского гражданства — распространением их на бесчисленные города и страны.

В восприятии римлян освоенное ими пространство обладало, помимо отмеченных выше, еще двумя взаимосвязанными свойствами: оно было динамичным, мыслилось как постоянно расширяющееся, и расширение это было основано не только на завоевании, но на сакральном праве. Поскольку города основывались по указаниям богов, представлялись как бы их земными отражениями и воплощениями, то каждый город имел своих богов, и борьба между городами была борьбой между их богами, в которой побеждал тот, чьи боги оказывались сильнее. «Есть боги свои у обеих сторон, а в согласье / С ними и доблесть души» (Ovid. Met., XIV, 568). Поэтому победа в войне — не просто результат таланта полководца и мужества солдат; она предполагает расширение зоны могущества своих богов и тем самым — подведомственного им пространства. Существовал «древний обычай, согласно которому тот, кто расширил область военного господства римлян, получал право и раздвинуть померий Рима» (Тас. Ann., XII, 23, 2); в покоренных городах, включенных в состав Римской империи, в большинстве случаев сохранялись культы местных богов, но в центре их непременно располагался храм трех высших богов города Рима.

Положение это обуславливало ряд следствий. Разнузданное безумие, *furor*, подстергавшее воинов, когда они выходили за священные границы померия, должно было быть нейтрализовано, «снято» не только обрядами очищения, но и подчинением всей войны определенным религиозно-правовым нормам. Они могли бесконечно нарушаться на практике, но из сознания римлян они, кажется, никогда не исчезали до конца и объясняют многое в их истории. В принципе захват никогда не мог быть объявленной целью войны, ею могло явиться только возмездие — возвращение присвоенного имущества римского народа, искупление нанесенной ему обиды, восстановление

права. «Не может быть справедливой война, — писал Цицерон, — которая ведется не ради возмездия или ради отражения врагов» (De г. р., III, 35).

Рим в пределах померия, таким образом, не только и даже не столько противостоял всей бесконечности земель и стран, сколько как бы взаимодействовал и сливался с ними, втягивая их в себя, обнаруживая подведомственность и их самих, и их богов богам и праву Рима. Это положение ярко сказывалось в так называемой *evocatio* — совокупности приемов, с помощью которых римляне лишали вражеский город покровительства его богов и переманивали их на свою сторону. Одна такая *evocatio*, с которой в 396 г. до н. э. перед взятием Вей диктатор Фурий Камилл обратился к Юноне, покровительствовавшей этому городу, приведена у Тита Ливия (V, 21, 3); другая — *evocatio* Сципиона Эмилиана перед взятием Карфагена в 149 г. до н. э. — сохранилась в «Сатурналиях» Макробия (III, 9, 7). Она настолько выразительна, что ее стоит привести целиком. «Если есть бог или богиня, которые покровительствуют жителям и республике Карфагена, и ты, великий бог, взявший на себя защиту этого города и его народа, прошу, заклинаю и молю вас покинуть их, оставить их жилища, храмы, священные места и удалиться от них, вдохнуть в этот город и в народ его страх и ужас, обречь их на забвение, а после того, как вы покинете их, прийти в Рим, ко мне и к моим близким, и убедиться в том, насколько приманчивее наши жилища, наши храмы, наши святыни и наш город, дабы мы поверили, что отныне вы нас принимаете под свою защиту — меня, моих солдат и народ Рима. Если поступите вы так, я даю обет построить вам храм и учредить игры в вашу честь». После этого римляне приносили в жертву барана или овцу и по их внутренностям пытались определить, принята ли молитва. Если знамения были благоприятны, они переходили к боевым действиям, и их успех доказывал, что чужие боги вняли *evocatio*, т. е. согласились влиться в римский пантеон. Между Римом и миром протягивалась еще одна нить, стиралась еще одна грань.

Практика *evocatio* была известна многим древним народам. Действиями, входящими в ее сферу, объясняли иногда появление в Египте культа Сераписа (Tac. Hist., IV, 83–84); она систематически использовалась персами Кира II и Камбиса при покорении ими государств Ближнего Востока. Тем яснее, однако, выступает на этом фоне своеобразие римлян. Только у них, насколько можно судить, импорт чужих богов и связь с ними составили постоянное, неизменно усиливавшееся направление официальной, государственно контролируемой идеологической деятельности гражданской общины. Дейтель-

ность эта была доверена одной из трех «высочайших» жреческих коллегий — коллегии квиндецемвиров, в которой как раз и обращает на себя внимание сочетание исконности, архаичности, заботы о сохранности и процветании римской общины с усвоением вне Римских обычаев, с расширением римского пантеона за счет богов других народов — между одним и другим здесь, вероятно, не видели противоречия.

Коллегия была основана еще при Тарквиниях (Dion. Hal., IV, 62, 5), и задача ее жрецов состояла в том, чтобы находить в доверенных им священных книгах указания на те очистительные обряды, которые надлежало совершать в пору бедствий, если они становились грандиозными и разрушительными, угрожали «здоровой силе» (*valetudo*) и «неиссякаемости» (*perpetuitas*) римского народа (Liv., IV, 25, 3; VII, 6, 3). Так было, например, в пору землетрясения в 461 г. до н. э., моровой язвы в 399-м и 293-м, разрушения городских стен молнией в 249 г., военного разгрома в 217-м. Но книги, где приводились спасительные для Рима обряды, написаны были по-гречески: выбор жертвы, умерщвление животного, облачение жрецов были оформлены на греческий лад: «Квиндецемвиры, — утверждал Варрон, — совершают священнодействия по греческому, а не по римскому обряду» (L. I., VII, 99); пророчества нередко указывали на необходимость обращения к неримским богам — Асклепию, Прозерпине, Великой Матери, этрусской Юноне. Культ последних двух был введен в Риме по указанию квиндецемвиров. По сведениям Дионисия Галикарнасского (IV, 62, 5), в технический штат коллегии входили переводчики. Обряды во спасение народа, содержание которых уславливается через переводчиков, — такое, кажется, можно было встретить только в Риме!

В позднейшее время иноземные, в частности восточные, культы еще шире проникают в Рим. При Тиберии лица, их неповедовавшие, были высланы из столицы — полувеком позже, в 70 г., они среди бела дня отправляли их на самом Капитолии (Tac. Ann., II, 85; ср.: Hist., III, 74, 1). В сатирах Ювенала город предстает уже всецело погруженным в бесконечные культы восточного происхождения — Иисды, Алуписы, Амона и др. (Juv., VI, 514–555).

При всем своем «шовинизме» римляне широко и охотно заимствовали опыт, усваивали культуру и обычаи других народов. Их жречество, искусство узнавать волю богов и толковать знаменья были этрусского происхождения, и у этрусков они заимствовали на заре своей истории ведущие формы архитектуры — арку, своды, храм с пронаосом. Их быт уже со II в. до н. э. все более устранился на греческий лад — внутренний дворик дома, находившаяся в нем прох-



ладная ниша с фонтаном, большая столовая, сосуды для разливания вина, рабочая туника и многие бытовые вещи носили греческие имена — перистиль, нимфей, ойкус, ойнохойя, экомиды и т. д. Вся армия ходила в сагумах — грубошерстных плащах, проникших в Рим из Галлии.

Противоречие между исключительностью и превосходством Рима над остальным миром, с одной стороны, и широкой открытостью его культурному опыту внеиталийских народов — с другой, находило себе разрешение также и в том, что между Римом и варварством лежали для римлян не только пропасть, но и обширный спектр переходных состояний, и границы между этими состояниями были подвижны. За чертой Рима начинались земли италийских городов, с которыми он столетиями вел ожесточенные войны, но с которыми же был связан союзами, деловыми и брачными отношениями между гражданами, языком и из которых выходили выдающиеся деятели его государства и искусства, шли технические, лингвистические, культурные заимствования. Дальше начиналась зона старых средиземноморских цивилизаций. Их языковая и культурная чужеродность Риму с течением времени все дальше отступала перед тем, что их с ним роднило, — перед полисным принципом общественной организации. Римляне находили здесь политические формы, социальную структуру, систему гражданства, правовые нормы, в общем сходные с их собственными. Поэтому, хотя жили здесь народы чужие и потенциально враждебные, хотя они могли вызывать презрение, насмешки и то высокомерие, которое мы видели у Цицерона, они объединялись с римлянами в единый полисный мир, в пределах которого свободно перемещались, заимствовались, усваивались культурные представления, образы богов, художественные ценности. Массовый вывоз из городов Восточного Средиземноморья библиотек, картин, статуй, художественной посуды, которым занимались римские магистраты и купцы начиная со II в. до н. э., был, конечно, проявлением военно-политического и культурного империализма, формой грабежа. Но он свидетельствовал о готовности Рима оценить и сделать своим весь этот художественный опыт — римский архитектурный классицизм августовской поры так же немислим вне прямого греческого влияния, как помпейская настенная живопись — вне влияния египетского.

Основной рубеж, рассекавший все ведомое римлянам земное пространство, пролегал еще дальше и отделял общества с полисной структурой в целом от варваров — также в целом. Эксплицитное или имплицитное сопоставление варваров с античными народами образует внутреннее содержание основных известных нам сочинений, в которых отразилось отношение римлян к структуре окружавшего их про-

странства, — «Географии» Страбона<sup>9</sup>, «Галльской войны» Цезаря, «Германии» Тацита.

Сопоставление это, разумеется, прежде всего контрастно. Характеризуя, например, кельтиберов, Страбон подчеркивает, что «тысяча городов», которыми так славится их земля, не πόλεις, города в греко-римском смысле слова, а κῶμαι, поселки; мысль его вообще состоит в том, что народы, не знающие διαγωγή, организованной, налаженной жизни полисного типа, всегда ἑκτολισμοί — странствующие и странные, далекие и чужие. В центре «Германии» Тацита — вековое противоборство двух взаимоисключающих укладов жизни, где сталкиваются imperium (гл. 33), специфически римский государственный организм, подчиненный опирающейся на военную силу центральной власти, и barbarorum libertas (гл. 37) — хаос местных интересов и эгоистического своеволия.

И тем не менее даже и эта радикальная противоположность не была для римского сознания абсолютной. Варварство — не врожденное свойство периферийных народов ойкумены, так же как строй жизни, основанный на гражданской общине, отнюдь не присущ римлянам исключительно и монопольно. Горцы испанской Лузитании для Страбона — дикари, так как живут вне τὸ κοινὸν — общности, предполагающей взаимную помощь и доброжелательность (III, 3, 8(155)), питаются хлебом, водой и пивом, спят на земле в одежде, вскрывают черепа военнопленных. Но такие же испанцы, живущие в Бетике, сумели измениться, использовать преимущества своей почвы, своего географического положения и под влиянием римлян развить у себя τὸ πολιτικόν — гражданскую общность (III, 2, 153 (151)). «Они полностью усвоили римский образ жизни, не помнят своего родного языка и стали народом, одетым в тогу»<sup>10</sup>. Кельтиберы далеки от такой романизации, но контакт с римлянами, по мнению Страбона, может изменить и их (III, 3, 8 (156)) — еще недавно они были настоящими варварами, а теперь многие из них выглядят вполне по-римски (III, 2, 15 (151); 4, 20 (167)). Циркумпаданская Галлия, освоенная римлянами в III в. до н. э., к I в. н. э. превратилась в цитадель старинных, наиболее чистых римских прав и форм жизни (Mart., XI, 16, 8; Plin. Ерр., I, 14, 6; ср.: Tac. Ann., XVI, 5, 1); южная часть Галлии Трансальпинской, покоренная в 122 г. до н. э., за полтора столетия стала, по словам Плиния, Италией больше, чем провинцией; в Британии уже через несколько десятилетий после завоевания (43 г. н. э.) местные жители, «кому латинский язык совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за изучение латинского красноречия, за этим последовало и желание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу» (Tac. Agr., 21, 2). Быстро облеклись в тогу, тем са-

мым став частью Рима, по свидетельству Тертуллиана, и его соотечественники — жители римской Африки (Tert. De pallio, I, 5–6). Повсеместное распространение в эпоху Ранней империи римского гражданства, римских культов, слившихся во многих случаях с местными, по-римски устроенных городов, форумов, амфитеатров, базилик, бань, школ свидетельствуется бесчисленными источниками, как литературными, так и археологическими. Обращаясь к античному Риму на исходе его существования, поэт Рутилий Намациан мог сказать (De red., I, 63–66):

*Для разноликих племен ты единую создал отчизну:  
Тем, кто закона не знал, в пользу господство твое.  
Ты предложил побежденным участие в собственном праве:  
То, что миром звалось, городом стало теперь.*

(Пер. М. Грабарь-Пассек.)

Лишь описанное сочетание ромоцентризма с широкой открытостью духовному опыту других народов оказалось по-настоящему плодотворным для римской культуры. Величайшие создания римского гения никогда не возникают на основе его узкой национальной исключительности или космополитизма, а всегда и только на основе этого широкого живого синтеза. Лучшим примером сказанного является поэзия Горация.

Гораций всем своим творчеством связан с Римом. Рим для него — мера вечности: он верит, что слава его как поэта будет жить всегда — т. е. до тех пор, пока ежегодно будет подниматься на Капитолий верховный жрец в сопровождении безмолвной девы-весталки (Satm., III, 30, 8–9). Горацию дорог Рим, находящийся под покровительством своих, создавших его, богов, во всем с ними связанный и обреченный на гибель, когда и если они от него отвернутся: «Рим — владыка, если богов почтит: от них начало, в них и конец найдем» (Satm., III, 6, 5–6). Один из постоянных мотивов его поэзии — ужас перед тем, что ждет Город, если он будет упорствовать в забвении отчих нравов: «Не то заповедали нам Ромул и Катон Суровый — / Предки другой нам пример давали» (Satm., II, 15, 11–12). Военное и государственное величие Рима — источник постоянной гордости Горация: «...пусть Капитолия не меркнет блеск и пусть победный Рим покоряет парфян законам! Вселяя страх, он пусть простирает власть до граней дальних» (Satm., III, 3, 42–46). Упоминание о законах, которым Рим учит подчиняться парфян, здесь далеко не случайно: в полном соответствии с разобранной выше доктриной предестинированного господства Рима над другими народами Гораций верит во всемирную цивилизаторскую

миссию своего города. Он неоднократно и по самым разным поводам осуждает планы перенесения столицы империи на Восток, утверждая, что Рим может и должен существовать только на той священной земле, где его создали боги и где ему суждены величие и слава. Даже и в лирике, чуждой гражданских тем, он подчас ясно разграничивает свое, римско-итальянское, и чужое:

*Пусть, кто хочет, поет дивный Родос, поет Митилену,  
Или Эфес, иль Коринф у двуморья,  
Вакховы Фивы поет, иль поет Аполлоновы Дельфы...  
Мне же не по сердцу стойкая Спарта  
Иль фессалийский простор полей многоплодной Лариссы:  
Мне по душе Альбуней журчанье,  
Быстрый Анио ток, и Тибурна роица, и влажный  
Берег зыбуций в садах плодovitых.*

(Сарм., I, 7, 1—3; 10—14.

Пер. Г. Церетели.)

С таким отношением к Риму в поэзии Горация сосуществуют мотивы и темы, которые представляются с ним несовместимыми и даже прямо его отрицающими. Боги — создатели и покровители Рима, столь важные Горацию с исторической точки зрения (Epist., II, 1, 5—8), в поэтическом его космосе постоянно взаимодействуют с божествами греческими и как бы растворяются в единой греко-римской мифологии, где Марс соседствует с Палладой (Сарм., I, 6, 13—15), а Либер с музами (Сарм., I, 32, 9). Его восхищение вызывает старинное римское крестьянство — «народ и крепкий, и малым счастливый» (Epist., II, 1, 139), которое, однако, обрело духовность и культуру лишь под влиянием греков: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила, / В Лаций суровый внеся искусства» (ibid., 156—157).

Идее цивилизаторской миссии Рима и его провиденциального господства (см. еще одно очень ясное ее выражение, например: Сарм., I, 12, 49—60) противостоит в поэзии Горация убеждение в своеобразии каждого народа, его форм жизни, образов, вещей. Он готов цеть и про парфян, и про скифов, и только верность прославлению любимой заставляет его на время от этого отказаться (ibid., I, 19, 11—12). Его приятель Икций отправляется путешествовать в дальние страны, и поэт верит, что там он встретит и «ужасного мидянина», и «счастливого аравийца», и отрока-китайца, «стрелы привыкшего метать из лука царского» (ibid., I, 29), а поскольку в дороге Икция могут ждать немалые опасности, то он, как предполагает Гораций, продаст свою биб-

лиотеку из сочинений греческих философов, дабы на вырученные деньги купить испанский панцирь. Такие примеры можно легко продолжить — мир Горация полон самых разных народов, каждый из которых отнюдь не просто ждет римского завоевания, а отличается своим лицом, своими занятиями, продуктами своего труда.

Верность высокой гражданственности, озабоченность судьбами Рима и искренняя скорбь по поводу терзающих его внутренних братоубийственных войн сочетаются у Горация с постоянными призывами к бегству от общественных дел и забот, к уединению, к наслаждению каждым данным мгновением столь ненадолго нам отпущенной жизни. Магистратские почести, военное служение, победы в сакральных играх, возделывание земли, богатство — все традиционные ценности римского общества ему безразличны, признается он в оде I, 1, открывающей собрание его стихотворений и выражающей его жизненное и поэтическое кредо:

*...меня только плющ, славных отличие,  
к вышним близит; меня роцца прохладная,  
Там, где Нимф хоровод легкий с Сатирами,  
Ставит выше толпы, — только б Естерна лишь  
В руки флейты взяла, и Полигимния  
Мне наладить припила лиру лесбийскую.*

Соединение в мировосприятии Горация верности Риму и его традиции с гедонистическим безразличием к ним, с широкой открытостью большому, и прежде всего греческому, миру можно во многом объяснить субъективными причинами — обстоятельствами биографии, личными вкусами, особенностями творчества. Сын вольноотпущенника, т. е. человека, стоявшего, строго говоря, вне римской гражданской общины, он, по собственному признанию, начал писать стихи по-гречески раньше, чем по-латыни (Sat., I, 10, 30), и рано сделался «эллинофилом», которым оставался всю жизнь. По окончании школы он едет в Афины, где усердно занимается греческой философией. В 44 г. в Афинах появляется Брут, собирающий армию для борьбы с цезарианцами, постоянно толпившаяся здесь римская аристократическая молодежь массами устремляется под его знамена. Гораций попадает в их число и даже становится военным трибуном. Однако «призрак свободы», за которым «Брут отчаянный водил» своих воинов, был слишком аристократическим, слишком коренным римским, чтобы сын вольноотпущенника мог сколько-нибудь надолго и серьезно связать с ним свою судьбу. После разгрома при Филиппах он дезертирует из армии республиканцев, поселяется в Риме,

входит в окружение Мecenата, а через него попадает и ко двору Августа, которого восхваляет в своих одах и по поручению которого слагает в 17 г. до н. э. «Юбилейный гимн», призванный прославить новый строй — принципат.

Воспитанный на греческой культуре, Гораций явно ориентировался и в своей поэзии на греческие образы. Это касается как ее стихотворной формы, так и лежащей в ее основе системы образов. В «Памятнике» он обосновывает свое право на бессмертие тем, что внес «эолийский лад» в итальянские стихи, неоднократно называет свои лирические произведения эолийской или лесбийской песнью (Сарм., I, 26, 11; IV, 3, 12; 6, 35), прямо подражает греческим образцам — Пиндару, Сапфо, Мимнерму; все используемые им размеры в принципе восходят к ритмическим формам греческого стиха, греческие мифы и имена греческих героев переполняют оды, встречаясь в каждом стихотворении, чуть ли не в каждой строфе; даже о таком внутренне пережитом событии своей жизни, как бегство из-под Филипп, Гораций рассказывает (Сарм., II, 7, 10), заимствуя из греческой лирики мотив «потери щита», встречавшийся у Архилоха, Алкея, Анакреонта.

Точно так же и широту географического горизонта Горация можно объяснить личными впечатлениями от окружающей его действительности. Рим к его времени давно уже стал средиземноморской державой, владения которой захватили Малую Азию, Грецию, Галлию, Испанию, Северную Африку. Но пока они были только «покоренными территориями», где стояли войска, правили магистраты, обогащались купцы и авантюристы, они образовывали для римлян в Риме скорее отдаленный фон существования, чем источник личных впечатлений. Во время гражданских войн положение в корне меняется. В 50-е годы весь почти римский поблиститет перебивал у Цезаря в Галлии, многие следовали за ним в Испанию, Грецию, Африку, а после его смерти — за Марком Антонием в Малую Азию и Египет. Те, кто примкнул к республиканской партии, окружали Катона в Африке, Брута в Македонии, Кассия в Сирии. Многоплеменная, разноязыкая действительность вошла в непосредственный опыт тех, кто впоследствии стал другом Горация, проникла в дома и семьи, где он бывал. Не в последнюю очередь отсюда могли попадать в его стихи бури Босфора, раскаленные пески, которые покрывают ассирийский берег, негостеприимство бриттанцев, кровь лошадей, которую привыкли добавлять к молоку не только скифы<sup>11</sup>, но, как слышал Гораций, также и люди испанского племени конканов (Сарм., III, 4, 29–34).

Смысл биографического объяснения того, как примиряется у Горация верность исконной римской государственно-религиозной аксиоло-

гии с широкой открытостью его внеримскому миру, состоит, следовательно, в том, что это противоречие преодолевается прежде всего в личном опыте поэта — в его сознании и творчестве. Постоянные мысли о бренности бытия, индивидуализм, гедонистическая жизненная позиция, демонстративный уход от общественно-политической борьбы и ответственности, *pulvis et umbra sumus, scire nefas, carpe diem* и *vina liques*<sup>12</sup> превращали автономную духовно-ценностную традицию римской гражданской общины, с одной стороны, и культурный опыт вне-римских народов — с другой, из объективно противостоявших друг другу величин истории в величины поэзии, в прихотливо комбинируемые и свободно, по воле художника, примиряемые представления высоко развитого творческого сознания.

Это творческое сознание, однако, обладает одной отличительной чертой: индивидуальность его никогда не перерастает в общественный и нравственный нигилизм, субъективность — в произвол, гедонизм — в разнузданность. Нигилизм, произвол и разнузданность — проявления варварства. Гораций относился с интересом и даже с симпатией к персам и скифам, арабам и испанцам, пока они выступали как носители отдельных и разных обычаев и форм жизни, воплощали живое многообразие окружающей Рим ойкумены. Они же не вызывают ничего, кроме ненависти и осуждения, когда объединяются понятием варварства в обозначенном выше смысле, когда разрушают высшее для Горация ценностное понятие культуры — понятие меры. «Кончайте ссору! Тяжелыми кубками пускай дерутся в варварской Фракии!» (Carm., I, 27, 1–2); богам «противна сила, / Что беззаконье в душе питает» (ibid., III, 4, 67–68); жить надо, «выбрав золотой середины меру», «пролагая путь не в открытом море, / где опасен вихрь, и не слишком близко / К скалам прибрежным» (ibid., II, 10, 2–4).

Непосредственно понятие меры имеет чисто личное, гедонистическое, зыбко-поэтическое содержание:

*Ненавистна, мальчик, мне роскошь персов,  
Не хочу венков, заплетенных лыком*<sup>13</sup>.  
*Перестань искать, где еще осталась  
Поздняя роза.  
Мирт простой ни с чем не свивай прилежно,  
Я прошу. Тебе он идет, прислужник,  
Также мне пристал он, когда под сенью  
Пью виноградной.*

(Carm., I, 38.

Пер. С. Шервинского.)

Но то же понятие меры, неуклонно разрастаясь, приобретает в поэзии Горация значение универсального принципа жизни и культуры:

*Мера должна быть во всем, и всему есть такие пределы,  
Дальше и ближе которых не может добра быть на свете.*

(Sat., I, 1, 106—107.

Пер. М. Дмитриева.)

Это двузначное, субъективное и объективное, поэтически гедонистическое и гражданственно нравственное, обращенное к себе и обращенное вовне содержание понятия меры у Горация устанавливает связь между его индивидуалистической независимостью от времени, государства и политики и самим этим временем, включает его в исторический и государственно-политический контекст.

Творчество Горация приходится в основном на 20-е и 10-е годы I в. до н. э. и совпадает по времени с приходом к власти Октавиана Августа (31 г.), оформлением принципата (27 г.), утверждением его основ в ряде военно-политических решений, государственно-правовых актов, культурно-идеологических мероприятий. Август всячески подчеркивал, что задача его самого и смысл созданного им строя состоит в том, чтобы обеспечить мир государству, истерзанному двадцатью годами гражданских войн, примирить враждующие крайности и противоречия, в том числе между Римом и провинциальным внешним миром. Это была не только пропагандистская фикция. Август действительно создал строй, основанный на компромиссе — между старой римской аристократией и новыми людьми из разных социальных слоев, пришедших к власти при его поддержке, между олигархией города Рима и рабовладельцами провинций, между личной диктатурой и правовым государством, между традиционными республиканскими нормами общественной жизни и перестройкой ее на монархический лад. В этом смысле горацянское искусство пролагать путь не в открытом море, но и не слишком близко к прибрежным скалам, придерживаясь середины и меры было основой политики Августа и содержанием общественного идеала, который он стремился внедрить в массовое сознание. Поэтому, когда Гораций славословил Августа и его государство, это было отнюдь не всегда и не только вынужденное выполнение монаршего заказа, но и уловление в складывающихся формах жизни отзвука собственных мыслей.

При подобном положении объективный смысл обнаруживался и в двойственной трактовке Горацием проблемы «Рим и мир». В этой области еще больше, чем во многих других, Август стремился стабилизировать



ровать и примирить противоречия, лавировать между ними вместо того, чтобы их обострять. С одной стороны, сохранялось архаическое убеждение, что Рим — центр мира, его порядок — норма для остальных народов, а римлянин — существо, стоящее иерархически выше всех остальных. Август насаждал в провинциях культ обожествленного Рима — богини Ромы, очень неохотно присваивал римское гражданство, принимал меры, ограничивавшие проникновение отпущенников в структуру римского общества. Соответственно продолжались грабительские эксцессы сенаторов-наместников в провинциях: Квинтилий Вар вел себя в 7 г. до н. э. в Сирии, а Мессала Волез в 11 г. н. э. в Азии ничуть не лучше Верреса. Сохранились в принципе откупа налогов. В то же время именно с мероприятий Августа начинается процесс, которому и предстояло в конечном счете привести к уравниванию Рима и провинций. При нем провинциалы получили право жаловаться принцепсу не только на поведение римлян в провинциях, но и на злоупотребления магистратов, дела которых отныне разбирались в подобных случаях судом сената под наблюдением принцепса. Во многих провинциях Август провел перепись и определил тем самым нормы и суммы налогообложения, что в принципе должно было положить предел вымогательствам. Деление провинций на сенатские и императорские и взимание налогов в последних через императорских прокураторов также ограничивало возможности сенаторов-наместников бесчинствовать в провинциях и демонстрировать свое презрение к их жителям. Своеобразной формой сближения провинций и их населения с римлянами явились во многих случаях так называемые *concilia* — регулярно собиравшиеся объединения вождей местных племен, которые выступали здесь в качестве жрецов императорского культа, демонстрируя единство народа данной провинции как части империи. Двойственность во взгляде на соотношение Рима и внеимских народов у Горация, как видим, вызывалась, но не исчерпывалась личными особенностями поэта: в его субъективном подходе проступали объективные черты времени.

Связь поэтического мировоззрения Горация с культурной и политической атмосферой Августова принципата давно выяснена историками римской литературы и вряд ли может вызывать сомнения; указывалось также и на связь с этой атмосферой гораццианской философии «золотой середины»<sup>14</sup>. Диалектика субъективного и объективного в творчестве Горация, однако, может быть понята и шире. Горациево отношение к проблеме «Рим и мир» не только отражает соответствующие стороны политического курса Августа. В них обоих узнается единый принцип, *Geist des Römertums*, — сочетающее противоположности, двуликое, как Янус, глубинное начало римской культуры. В конце

III — начале II в. до н. э. «шовинизм» и «ксенофилия» соприисутствовали в деятельности Сципиона и Катона. В начале I в. до н. э. Рим вел войну с союзными ему городами Италии, которые не хотели больше терпеть его своекорыстную политику; война кончилась фактической победой союзников; Рим уступил им право римского гражданства, открыл дорогу к магистратурам, но — сумел сохранить политическую гегемонию, престиж своих институтов и, вместо того чтобы раствориться в италийской традиции, обогатил ею свою, где очень долго еще, «обнявшись, будто две сестры», тянутся эти явственно разные струи. В середине I в. н. э. император Клавдий констатировал, что римляне открыли дорогу к своему гражданству, почетным должностям и культуре «наиболее достойным провинциалам, оказав тем самым существенную поддержку нашей истомленной империи» (Тас. *Ann.*, XI, 24, 2). Примеры можно было бы приводить и далее. Анализ проблемы исторического пространства у Горация, как видим, не столько иллюстрирует политико-пропагандистские установки Августа, сколько подтверждает двустороннее решение ее в истории Рима и римской культуры.

1984

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> См., в частности: *Гуревич А. Я.* Пространственно-временной «континуум» «Песни о нибелунгах» // *Традиции в истории культуры.* М., 1978; *Истребицкая А. Л.* Западная Европа XI—XIII вв.: эпоха, быт, костюм. М., 1978; *Клочков И. С.* Духовная культура Вавилонии. Человек, судьба, время. М., 1983; *Meslin M.* L'homme romain. Paris, 1979, см. также библиографический раздел в конце книги.
- <sup>2</sup> «Марсу был посвящен первый месяц, второй же — Венере: / Рода начало она, он — зачинатель его» (Ovid. *Fast.*, I, 39—40. Пер. Ф. Петровского).
- <sup>3</sup> Sen. *Ad. Lucil.*, 95, 52; ср. 9, 17; *De ira*, I, 5, 2.
- <sup>4</sup> *Майоров Г. Г.* Формирование средневековой философии. М., 1979, с. 5 и след.
- <sup>5</sup> «Да, боги существуют: признание их — факт очевидный. Но они не таковы, какими их представляет себе толпа» (Письмо к Менекее, 123).
- <sup>6</sup> См.: *Машкин Н. А.* Время Лукреция // *Лукреций.* О природе вещей. М., 1947, т. II, с. 255 и след.
- <sup>7</sup> Под 1923 (= 94 до н. э.) годом: «Родился поэт Тит Лукреций. Впоследствии от приворотного зелья он впал в безумие (*amatorio poculo in furorem versus*) и, хотя составил в перерывах между приступами

сумасшествия (*per intervalla insaniae*) некоторые книги, которые впоследствии привел в порядок (*emendavit*) Цицерон, убил себя собственной рукой в возрасте сорока четырех лет».

<sup>8</sup> Петровский Ф. А. Лукреций // История римской литературы. М., 1959, т. I, с. 294—295.

<sup>9</sup> Книга эта, как известно, написана по-гречески, и в ней в качестве главного источника использованы сочинения греческого писателя Посидония. Однако основу ее составляют личные впечатления автора, обошедшего при Августе северные провинции империи, и выражена в ней официально римская, а не греческая точка зрения на романизацию.

<sup>10</sup> Там же. В цитате не помечены пропуски.

<sup>11</sup> Этот обычай как скифский отмечает Вергилий. См.: *Georg.*, III, 461.

<sup>12</sup> Вошедшие в поговорки выражения из од Горация — «мы все лишь тени и прах» (IV, 7, 16); «нам наперед знать не дозволено», «пользуйся днем», «вина цеди» (I, 11).

<sup>13</sup> Т. е. сделанных по греческому образцу искусными ремесленниками и продававшихся за большие деньги, в отличие от простых венков, сплетенных каждым из зелени, случившейся под рукой.

<sup>14</sup> Гаспаров М. Л. Поэзия Горация // *Квинт Гораций Флакк*. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970, с. 22 и след.

---

## ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

В Риме жило два представления о времени — мифологическое и историческое, отношения между которыми были далеко не просты.

Мифологическое время воспринимается как таковое лишь в ретроспекции, в свете позднейшей привычки мыслить себе линейно протекающую расчлененную длительность как неотъемлемое структурное свойство жизни. Для древних же оно было не столько временем, сколько отсутствием времени, которое именно этим своим отсутствием, пребыванием вне изменения, движения, развития, вообще вне акциденций, и характеризовало особое, неподвижное и ценное состояние действительности.

Примером такого восприятия времени могут служить *feriae* — распределенные на протяжении всего года дни обязательного досуга, посвященного богам. В эти дни подвергались табу все виды деятельности, связанные с цивилизацией, т. е. *возникшие*, порожденные движением времени. Разрешалось лишь ловить птиц, собирать хворост и желуди; запрещалось пахать, сеять, косить, виноградарствовать, орошать поля и огораживать их, мыть баранов и стричь овец, запрягать быков и касаться земли железом, жениться, устраивать собрания и проводить военные наборы. Другими словами, табуировалось всякое изменение природной данности, неотделимые от него преобразование, организация и насилие. *Feriae* были символом некоторого архаичнейшего, изначального прошлого — докультурного и довременного, образом действительности, не знавшей неравенства и вражды, бедности и богатства, частной собственности.

Это последнее обстоятельство имеет капитальную важность при исследовании истории социально-экономических отношений в Древнем мире. Именно оно заставляет иногда разграничивать идеализацию дособственнических отношений, ощущаемую в *feriae*, и идеализацию права собственности как гарантии от несправедливостей и насилия, проявлявшуюся в культе межей и границ, их покровителя Термина, первых царей — устроителей и освященных «правильного» землеустройства, гарантов всякой, прежде всего мелкой, земельной собственности. С точки зрения психологии культуры и восприятия времени, однако, это разграничение вряд ли играло существенную роль. Праздник сельских компиталий, учрежденный Сервием Туллем как праздник межи, в историческое время протекал в тональности, весьма близкой к той, что характеризовала *feriae*. Он отмечался в начале января, в момент отдыха природы и людей после завершения сельских работ, у священного, отмеченного часовен-

кой, перекрестка, где сходятся границы нескольких владений; высшей точкой праздника была трапеза, на время которой восстанавливались отношения социального равенства — жертву приносил не хозяин, а вилик, рабы получали двойную порцию вина и участвовали в застолье наряду с хозяевами, за столом сходились на равных зажиточные и бедные крестьяне-соседи. Земельная собственность и границы не воспринимались, по всему судя, как результат исторического развития и не препятствовали ощущению возродимости в определенные дни и в определенных условиях блаженного состояния, которое не знало вражды, насилия и напряженно деятельной погони за временем.

Это народное представление о «золотом веке» нашло широкое отражение в римской литературе. Овидий перечисляет его признаки с предельной четкостью: отсутствие судов и письменных законов, войн, труда, мореплавания и неотделимого от него общения с иноземцами. Важнейшей чертой этого состояния является то, что оно не меняется, а пребывает, выключено из времени, включено в неподвижную вечность и именно потому так прекрасно.

*Вечно стояла весна; приятный, прохладный дыханьем  
Ласково нежил зефир цветы, не знавшие сева...  
Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях.*

(Ovid. Met., I, 107—110.

Пер. С. Шервинского.)

Все те же признаки «золотого века» перечислены у Тибулла (II, 3, 35—48) и в «Георгиках» Вергилия (II, 536 и след.). Сенека (со ссылкой на Посидония) допускает для «золотого века» существование власти, но такой, которая заботилась лишь об общем достатке, защищала слабейших от сильных, действовала не силой, а убеждением (Sen. Ad Lucil., 90, 4—5). Люди «золотого века» и для Сенеки также жили в блаженной неподвижности до-истории — *naturam incorrupti sequebantur* («еще не зная испорченности, следовали природе»). То же ощущение, согласно которому «золотой век» лежит вне собственно исторического развития и потому как бы до времени, кончается там, где оно начинается, ясно выражено в рассказе Тацита (Ann., III, 26).

Движение времени, однако, непосредственно задано в опыте каждого человека и каждого народа. Представление о том, что время не только пребывает, но и преходит, не могло поэтому не проникнуть и в римское народно-мифологическое сознание. Как бы жестко ни была в нем проведена исходная установка на противопоставление идеального, неподвижного и реально развивающегося времени, тем не менее оба

эти образа нашли отражение в народных верованиях и обычаях с той непоследовательностью и внешней нелогичностью, которая столь характерна вообще для архаических пластов культуры.

С этой точки зрения показательны римские обряды изгнания или уничтожения прожитого времени. С ними связан, например, праздник Анны Перенны. В этот день на берегу Тибра ставили шалаши из молодой зелени, и, располагаясь в них или под открытым небом, люди обнимались, много пили, пели смешные и непристойные песенки. В литературе классической поры образ самой Анны Перенны перекрыт таким количеством позднейших наслоений и входит в такое число контаминаций, что уже Овидий говорил о его многозначности (Ovid. Fast., III, 543).

Праздник Анны Перенны отмечался 15 марта, т. е., по древнему римскому счету, в первые дни начинающегося года, завершая зимнюю паузу перед возобновлением сельскохозяйственного цикла. Обряд праздника требовал от каждого предрекать другому долгую грядущую жизнь, «стольких желая годов, сколько кто чаш осушил» (Ovid. Fast., III, 532). По распространенному мнению, Анна Перенна считалась одним из аватаров Луны, ибо она mensibus impleat annum (ibid., III, 657), т. е. членит время, наполняя год отмеренными его отрезками — месяцами, Луна же, или Диана, воспринималась как женская ипостась Януса (Macrobius Sat., I, 9, 8; Varro. R. g., I, 37, 3). Естественно предположить, что Анна Перенна — лишь персонифицированная феминизованная форма от annus peregrinus, т. е. неиссякающий, вечно длящийся год. Не случайно с этой точки зрения, что в большинстве мифов Анна выступает как глубокая старуха. В разделе «Фаст», посвященном Анне Перенне, есть и рассказ о том, как она, будучи дряхлой старухой, притворилась юной красавицей, возбудившей страсть Марса, и о том, как смешно и нелепо выглядел могучий бог-воитель, обнаружив в последний момент свою ошибку.

*С этих-то пор и поют в честь Анны нескромные шутки:  
Весело вспомнить, как бог мощный был так проведен.*

(Ovid. Fast., III, 695—696.

Пер. Ф. Петровского.)

Мысль о том, что противная старуха, прикинувшаяся было юной красавицей, но в последний момент разоблаченная, символизирует изжитой год, а насмешки над Марсом — это насмешки над теми, кто нелепо держится за старое вместо того, чтобы любить крепнущую юность природы и года, подтверждает обряд сожжения Анны Перенны, сохранившийся в древних городах Италии. В конце зимы здесь и поныне раскладывают огромные костры из всякого старья, на кото-

рых торжественно сжигают чучело старухи Анны, сопровождая все это песнями, плясками, незатейливой пиротехникой.

Так или иначе, легенда об Анне Перенне — один из признаков того, что в римском народно-мифологическом мировосприятии наряду с представлением о неподвижно сохраняющемся времени существовало и представление о его движении, сломах, об изживании прошлого и становлении нового.

Это острое ощущение рубежа, где прошлое исчезает и открывается будущее, находило выражение также в отношении римлян к январским календам — первым после зимнего солнцестояния, знаменовавшим начало нарастания дня. День январских календ должен был быть заполнен деятельностью, указывавшей на то, чем человек будет заниматься и в чем будет пожинать успех в течение всего наступающего года: ремесленник символически совершал основные трудовые операции своего ремесла, крестьянин — основные акты обработки земли, суды проводили для формы заседание, в котором претор принимал несколько жалоб, так и не вынося по ним решения. Наконец, консулы поднимались на Капитолий, чтобы официально вступить в должность<sup>1</sup>. В эпоху принципата в январские календы войска принимали присягу императору, тем самым беря на себя обязательство на наступающий год. В этот день лавровыми венками и ветками украшали притолоки дверей дома: порог дома был внутренне связан с порогом года, который переступало стремящееся вперед время — и та, и другая границы находились под покровительством Януса. Не случайно существовало обыкновение в январские календы дарить друг другу медные монеты с изображением этого божества. День первого января вообще считался его днем:

*Янус двуглавый, ты год начинаешь, безмолвно скользящий;  
Ты лишь один из богов видишь все сзади себя.*

(Ovid. Fast., I, 65—66.)

В образе этого бога стихийная диалектика народно-мифологического восприятия времени у римлян получала наиболее полное выражение. Он имел огромное количество аватаров охватывавших самые разные стороны действительности, выступал то как бог небесных явлений, то как покровитель дорог и улиц, но доминантой его образа, бесспорно, было представление о единстве концов и начал как в пространстве, так и во времени. Он был привратником солнца, выпускавшим его в дневной путь по небу и впускавшим обратно на вечерней заре, и он же был самым солнцем, проделывавшим этот путь и тем самым отмерявшим время и циклически двигавшим его вперед<sup>2</sup>. Он — *Pater Matutinus*, «раннего утра отец», и тем самым покровитель всякого созидания, «которым все человек

жизни труды начинают» (Hor. Sat., II, 6, 20–23), т. е. опять-таки бог времени, но не неподвижного и лишённого энергии, каким оно было в «золотом веке», а времени заполненного и содержательного. Само время и деятельное, мирозозидающее движение его в образе Януса нераздельны — он «достолавный отец годов и прекрасного мира» (Anno<sup>rum</sup> nitidique sator pulcherrime mundi. — Mart., X, 28, 1), причем само это движение идет по кругу, соединяя концы и начало: *ius vertendi cardinis omnis meum*, — говорит у Овидия Янус о себе самом, — «круговращением всего мира заведу я» (Ovid. Fast., I, 120).

Краткий обзор народно-мифологических представлений о времени приводит к нескольким существенным умозаключениям. В этих представлениях выступают вполне сложившимися и оба основных движения времени, и их диалектика: в них есть идеализация прошлого, исходного состояния общества и восприятие истории как его порчи, есть понимание непреложности и благотворности развития и деятельности, есть, наконец, ощущение неразрывности того и другого — переломных точек, где изживание и становление конкретно и зримо переходят друг в друга. Эта система воззрений характеризует не столько тот или иной период истории Рима, сколько его культуру в целом. С одной стороны, она отчетливо связана с древнейшими формами общественного производства, в частности с обработкой земли и сельскохозяйственным циклом; в ней идеализовано состояние общества, предшествующее развитию товарных отношений; ряд реально-исторических моментов связан с эпохой и законодательством царей; есть множество свидетельств того, что Янус со всем присущим ему кругом представлений — исконное, древнейшее верховное божество римлян. В то же время многие отразившиеся здесь воззрения описаны как вполне живые авторами не только классической поры, но и Поздней империи, а отразившиеся здесь обычаи просуществовали на протяжении всей истории Рима — до конца принципата (январские празднества, сельские компиталии, фериальные дни, культ Януса). При всей распространенности многих охарактеризованных особенностей понимания времени другими народами Древнего мира некоторые из них, и притом весьма важные, засвидетельствованы только у римлян. Таков прежде всего сам Янус и круг диалектических представлений о времени, с ним связанных; таков обычай новогодних подарков.

Можно сказать, таким образом, что в рамках описанной системы мифологических воззрений складываются формы восприятия времени, которые специфичны для римской культуры в целом.

Этот вывод подлежит учету при анализе римских представлений об историческом времени. Размышляя о движении родной истории, римские авторы, разумеется, исходили из актуального опыта общественно-политического развития своей эпохи, из усвоенных ими греческих, а



иногда и восточных учений, создавали построения философски рефлексированные, отмеченные печатью авторской индивидуальности и глубоко отличные поэтому от народно-мифологических форм мировосприятия. Но на более глубоком уровне созданные ими концепции римской истории и исторического времени обнаруживают с этими народными формами мировосприятия неразрывную, органическую связь. Если у Саллюстия и Цицерона, Овидия и Горация, Вергилия и Тацита мы находим ту же идеализацию прошлого и осуждение новизны, или, напротив, те же насмешки над привязанностью к грубой старине и апологию деятельности и развития, или, главное, то же стремление обнаружить динамическое равновесие между этими противоположными движениями времени, то мы вправе предположить, что их сочинения принадлежат не только их периоду или их кругу, а и римской культуре в целом, что народно-мифологическая и литературно-философская традиции восприятия времени — это две стороны единого культурно-исторического феномена.

Главный принцип отношения римских писателей к времени — глубокий, органический консерватизм. «Характерные черты римской идеологии, — утверждает современный исследователь, — элементы консерватизма и враждебности ко всяким новшествам... Древнеримская мораль была целиком ориентирована в прошлое»<sup>3</sup>. «Нравы предков» действительно были для римлян наставлением, идеалом и нормой, а движение времени вперед — соответствием нарушением идеала и нормы и, следовательно, утратой, разложением, порчей. Материал источников целиком подтверждает это широко известное положение.

*Где же ваши умы, что шли путями прямыми  
В годы былые? Куда, обезумев, они уклонились?*

(Cic. De sen., 16.

Пер. В. О. Горенштейна)<sup>4</sup>.

«Меры, которые принимались в старину в любой области, были лучше и мудрее, а те, что впоследствии менялись, менялись к худшему»<sup>5</sup>. Между этими суждениями промежуток в 400 лет, и все 400 лет уверенность, здесь высказанная, оставалась неколебимой. «Новшества, противные обычаям и нравам наших предков, нам не нравятся и не представляются правильными», — говорилось в сенатском постановлении 92 г. до н. э. (Gell., N. A., XV, 11). Веком позже ему вторил Гораций:

*Чего не портит пагубный бег времени?  
Ведь хуже дедов наши родители,  
Мы хуже их, а наши будут  
Дети и внуки еще порочнее.*

(Hor. Carm., III, 6, 46, 49.

Пер. Н. Шатерникова.)

Ощущение того, что время содержательно, а движение его соотносено с определенными ценностями и нормами, причем соотносено так, что они сосредоточены в прошлом и задача потомков состоит в сохранении их, в постоянном корректировании по ним своего поведения, проявляется и в праве, и в общественной психологии римлян. Чтобы убедиться в этом, возьмем в качестве примера административно-правовое и социально-психологическое регулирование такой существенной сферы повседневной жизни римлян, как обеспечение их водой.

К концу I в. н. э. римское население было обеспечено водой полностью (Front. De aqu., II, 88). В следующие годы на каждого жителя столицы ее приходилось в сутки от 600 до 900 литров. Укажем для сравнения, что в начале XX в. в Петербурге на каждого жителя приходилось 200 литров, а в середине века в Нью-Йорке — 520<sup>6</sup>. Водоснабжением ведал специальный магистрат, *curator aquarum*, располагавший техническим штатом в 700 человек. С инженерной точки зрения водопроводы, доставлявшие в Рим воду, представляли собой в высшей степени совершенные сооружения, тянувшиеся на десятки километров и обеспечивавшие высокое качество воды. Мастера-водопроводчики знали краны, умели подкачивать воду на любой нужный им уровень, широко пользовались законом сообщающихся сосудов. Тем более примечательно, что вся эта потенциально столь совершенная система регулировалась нормами, ориентированными не на реальные современные условия жизни столицы, а на условия архаические, давным-давно исчезнувшие из римской действительности, но сохранявшие, вопреки опыту, всю свою власть над мышлением и администрации и народа.

Когда-то вся поступавшая в город вода представляла собой только *aqua publica*, т. е. воду для общественных нужд, шедшую в защитные сооружения города, для городского строительства и в уличные водоразборные колонки. Жителям разрешалось пользоваться лишь той водой, которая переливалась за края уличных бассейнов; отведение воды в частные дома было привилегией немногих, самых видных граждан; водопроводная вода, предоставленная отдельным лицам, в принципе предназначалась для орошения земельных участков, и использование ее для нужд общественного комфорта и массовых развлечений жестко ограничивалось. Система эта, таким образом, была ориентирована на обеспечение жизнедеятельности общины как целого и создание постоянного запаса воды, что имело смысл при угрозе военного нападения или зависимости города от стихийных бедствий. В эпоху Поздней республики и Ранней империи условия эти давно перестали существовать. Вражеские войска действовали на далеких границах, в сотнях, а то и тысячах километров от столицы, общественная жизнь протекала в роскошных портиках, базиликах, нимфеях, термах, где вода изливалась мощными непрерывными потоками,

каждая кухня каждого дома легко могла быть обеспечена водой за счет городских водопроводов. И тем не менее...

Водоснабжением Рима еще в конце Республики продолжали ведать высшие сакральные магистраты-цензоры, а при Империи *curator aquarum* назначался принцепсом из числа самых доверенных сенаторов; с конца I в. н. э. он по положению входил в императорский совет. Никакой необходимости в руководителях такого ранга римское водоснабжение, давно ставшее обычным участком коммунального хозяйства, не испытывало, и на Востоке и в Греции им ведали самые обычные муниципальные чиновники. Взгляд на сенатора, обеспечивающего город водой, как на одну из ключевых фигур общины был в Риме чистой данью архаической традиции, но взгляд этот упорно сохранялся — время остановилось, генетическая память выступала как корректор реальной жизненной практики.

Такой же характер носили и все другие нормы и правила, регулировавшие римское водоснабжение. В головном сооружении каждого водопровода водораспределительное устройство было сконструировано так, что при сокращении дебита страдали жилые дома и фонтаны, обеспечивавшие прохладу и комфорт в городе, уровень же *aqua publica* оставался неизменным, хотя в реальной жизни города она играла теперь не главную роль. Больше половины поступавшей в столицу воду в I в. н. э. шло в частные дома, а еще большее число домовладельцев отводило ее самовольно; пропускная способность водопроводов, как говорилось, давала возможность обеспечить водой вообще все особняки — тем не менее разрешение на нее давалось, как в IV или III вв. до н. э., весьма жестко, только персонально, учитывая общественное и имущественное положение домовладельца. По наследству «право домашней воды» не передавалось. В сенатском постановлении, принятом по этим вопросам в II г. до н. э., содержалась примечательная формулировка: «Хозяева сохраняют право на воду до тех пор, пока они владеют землей, ради которой вода была им дана» (ар. *Front. De aqu.*, II, 108). Другими словами, в порядке консервативной юридической фикции просьба о предоставлении домашней воды мотивировалась необходимостью орошать земельный участок при доме. Типичный римлянин флавианской поры, персонаж Марциала или Ювенала — отпущенник, только вчера получивший гражданство, меняла, халуга ростовщик, которому вода нужна была для купален и фонтанов, соприкасаясь с системой водоснабжения, должен был предстать как старозаветный земледелец, заботящийся об орошении земли, представленной ему общиной. Самовольное отведение воды также рассматривалось не на уровне сегодняшних отношений, т. е. как обычное и весьма распространенное нарушение правил, а как покушение на жиз-

ненные интересы общины, т. е. как государственное преступление, и каралось конфискацией земли и штрафом до 10 тыс. сестерциев.

Положение с римским водоснабжением показывает, что на «остановленное время», т. е. на консервативную, в реальной действительности как бы и изжитую норму, в Риме ориентировались не только правовые установления, но и формы массового сознания. Как упоминалось выше, римские гидротехники умели пользоваться кранами. Один кран, например, дошел до наших дней из дворца Тиберия на Капри, о кранах идет речь в письмах Сенеки (Sen. Ad Lucil., 86, 6). В городском водоразборе, однако, ими парадоксальным образом почти не пользовались, и поступающая в город вода текла непрерывным потоком из домашних водопроводов, из уличных колонок и фонтанов, переполняла бассейны, лилась на землю, ежедневно тысячами тонн уходила без всякой пользы в канализацию и реки. Это было не упущение, а принцип: в цитированном выше сенатском постановлении 11 г. до н. э. говорилось, что главная задача сенатора, ответственного за римские водопроводы, — «прилагать величайшее тщание к тому, чтобы в уличных бассейнах вода изливалась днем и ночью».

На уровне технических представлений раннеимператорской эпохи, рациональной организации городского хозяйства и повседневного быта такое обращение с водой представляется совершенно непонятным. Оно находит себе объяснение все в той же логике «остановленного времени» или даже «времени, обращенного вспять». На заре своей истории римляне видели в родниках и реках либо богов, либо их обиталища. Сакральное отношение к источникам воды отражало характерное для замкнутой маленькой древней общины обожествление не природы вообще, а именно своей, местной природы. В самом Риме богами были внутренние или пограничные водоемы — Тибр, его приток Аннио, источник Ютурна на форуме и еще одна Ютурна на Марсовом поле и др.; древний алтарь бога источников Фонта находился рядом с основанным Анком Марцием храмом Януса и храмом царя Нумы на Яникуле, т. е. на границе, замыкавшей некогда владения римской общины; также и вне Рима храмы, строившиеся по берегам рек и источников, посвящались *genii loci* и возводились местными общинами<sup>7</sup>. Соответственно, по мере отмирания автаркичной общинной экономики, общинной системы институтов и общинной идеологии источники проточной воды вроде бы и десакрализывались, в них, хотя и с некоторыми ограничениями, стало разрешено купаться, на реках появились плотины, ирригационные сооружения, а главное, священные источники стали заключать в трубы и превращать в водопроводы.

Дело в том, однако, что в римской мифологии в основе каждого культа обычно лежал некоторый исходный образ-понятие. Когда речь

шла о культе источников и рек, таким образом-понятием была энергия, с которой вода, подчиняясь неведомой силе, вечным током устремлялась из тьмы, где дотоле пребывала, на белый свет. Фонт был аватаром Януса — бога границы и перехода; другим аватаром Януса и, следовательно, «братом» Фонта был Термин — покровитель межей и границ; непосредственным предметом почитания в культе источника было именно само не подчиняющееся никакой внешней силе вечное и свободное истечение: «Fons — unde funditur e terra aqua viva», — объяснял этимологию слова «источник» Варрон (L. I., V, 123); «источник — оттого что истекает из земли живая вода». Римляне строили свои водопроводы, рассчитывая длину и высоту акведуков, строили и ремонтировали водоразборные сооружения, торговали водопроводной водой и даже крали ее, но неповторимая особенность их сознания состояла в том, что очевидная рукотворность и повседневная прозаичность водопроводов не противоречили для них их священному происхождению и священному характеру. В сегодняшний опыт как в амальгаму входили архаические пласты религиозного сознания, в опыте актуального времени жило остановленное время древней общины. Поэтому водопровод был инженерно-техническим сооружением и никогда не был им до конца, ибо и в нем происходил все тот же сакральный акт — выход из недр земли aqua viva — «живой воды». И при Цицероне, и при Августе, и при Флавиях единый строй восприятия продолжал охватывать в общем сакральном представлении не только источники и реки, но также водопроводы, колодцы, фонтаны, уличные колонки. Они имели свой культ, как и питавшие их родники. Ежегодно 13 октября отмечался праздник фонтаналий, посвященный главному богу источников Фонту, — в этот день в его честь украшали цветами равно и родники, и колодцы (Varro. L. I., VI, 22). В одном из своих стихотворений Стаций славит нимф, что «в Лации и на семи Рима холмах обитают»; но они же живут в водах рек, которые питают римские водопроводы, и, «сжатые камня громадой, по аркам высоким стремятся» (Stat. Silv., I, 5, 25–29). Проперций включал в число священных источников наряду с Тибурном и Клитумном также и Марциев водопровод (III, 22, 25–26). В нимфеях, заполнявших Рим и города империи, совершались обряды, связанные с культом местных источников; водораспределительные устройства, соорудившиеся на глазах у всех, продолжали восприниматься в то же время как природные источники воды, занимать свое место в архаической сакральной действительности местной общины, и потому пресечение их свободного тока все еще представлялось таким же кощунственным, как насилие над богом, обитавшим в источнике и дававшим живую воду земле, посевам, людям.

Остановленное время господствовало не только в сфере быта, но и в сфере общественно-политической. Это видно хотя бы из той грандиозной консервативной фикции, которой была республиканская форма принципата I в. и которая продолжала сохранять свои жизненные основания в сознании и правителей, и масс на протяжении по крайней мере века или полутора. Ограничимся лишь одним примером в подтверждение сказанного.

Власть принцепса, как известно, основывалась фактически на военной силе, юридически — на сосредоточении в его руках всех основных магистратур. И то и другое представляло собой явный и полный разрыв с республиканскими традициями и означало создание нового строя — по сути дела, монархического. Верховная власть монарха была несовместима с верховной властью основного носителя государственного суверенитета при Республике — народного собрания, или комиций. В первый же период императорского правления они начинают исчезать из жизни государства. Отмирает, в частности, одна из главных функций комиций — выборы магистратов. Процесс этот, однако, шел негладко, с характерными задержками и противоречиями.

В 5 г. н. э. по Валериеву — Корнелиеву закону были созданы две избирательные центурии из сенаторов и всадников, которые в предварительном порядке рассматривали кандидатуры лиц, претендовавших на магистратские должности, и затем рекомендовали их центуриатным комициям. Голосование в народном собрании утрачивало, таким образом, всякий реальный смысл. Август, когда-то начавший с того, что «восстановил исконные права комиций» (Suet. Aug., 40, 2), к концу жизни, по-видимому, понял их несовместимость с принципатом и в завещании своем предусмотрел меры к их «упорядочению» (Vell. Pat., II, 124, 3). Однако Тиберий, унаследовав власть, не стал заниматься «упорядочением» комиций и в 14 г. попросту перенес выборы магистратов в сенат. Правомерность этого шага, казалось бы, ощущали все: «И народ, если не считать легкого ропота, не жаловался на то, что у него отняли исконное право, да и сенаторы, избавленные от щедрых раздач и унижительных домогательств, охотно приняли это новшество» (App., I, 15, 1. Пер. А. Бобовича). По справедливому замечанию современного исследователя, этот акт «знаменовал конец республики с государственно-правовой точки зрения»<sup>8</sup>.

Сложность состоит в том, однако, что эта мера, столь естественная и всеми ожидавшаяся, подготовленная всем предшествующим развитием событий, на протяжении более ста лет никак не могла внедриться в жизнь. Так, по логике вещей реформа Тиберия должна была отменять все иные избирательные процедуры, и в частности половинчатый закон Валерия — Корнелия. Тем не менее в 19 г. среди почестей,

посмертно возданных Германику, фигурирует создание в соответствии с этим законом еще одной избирательной центурии из сенаторов и всадников, которой было присвоено имя покойного героя. Решение сенаторов имело своей целью увековечить память о Германике — они, по-видимому, были уверены, что и после реформы Тиберия и вопреки ей народные комиции сохранятся, хотя бы и в урезанном виде. Предположение их на первый взгляд оказалось ошибочным: их решение отразилось в одной-единственной надписи и было, скорее всего, тут же отменено вместе со многими другими почестями, декретированными Германику в эти дни (Тас. Апп., II, 83, 4). И тем не менее, по весьма обоснованному предположению, аналогичная мера была повторена еще раз в 23 г., когда была создана сенаторско-всадническая центурия в память только что скончавшегося сына Тиберия Друза. Сохранилось и еще более позднее свидетельство, от 30 г., о каких-то *inprobae comitiae*, состоявшихся на Авентине и избравших в консулы временщика Тиберия Сеяна (ILS, 6044). Периодически возрождались не только собрания, предусмотренные Валериевым — Корнелиевым законом, но и центуриатные комиции в их старом, республиканском облике, как явствует из сообщения Светония (Suet. Gai., 16, 2) о том, что в 38 г. Гай Калигула «вернул народу выборы должностных лиц, восстановив народные собрания (*suffragia comitiorum*)». На следующий же год, однако, и это решение было пересмотрено и комиции снова упразднены. Тем не менее много позже, рассказывая о правлении Вителлия (69 г.), Тацит упоминал про то, что этот принцепс «как простой гражданин отстаивал на консульских комициях своих кандидатов» (Тас. Hist., II, 91, 2). Плиний Младший еще в 100 г. сочувствовал Траяну, что тому пришлось, становясь консулом, выслушивать долгие разглагольствования в комициях (*longum illud carmen comitiorum*), хотя сам Траян производил сенаторов в консулы простым назначением (Plin. Pap., 63, 2). Даже Дион Кассий при Северах видел какие-то собрания, бывшие «как бы призраком» народных комиций (Dio Cass., 58.20.4).

Что это были за собрания? Уже Тацит отказывался ответить на подобный вопрос, «до того, — утверждал он, — разноречивы сведения не только у писавших о них», но и у свидетелей таких комиций (Тас. Апп., I, 81, 1). Ясно, что это не были реальные выборы, так как консулы назначались принцепсами. Ясно в то же время, что это не были пустые, чисто декоративные церемонии, раз Тиберий, Калигула и даже еще Траян усматривали в них определенное политическое содержание. Бесспорно явствует из всех упоминаний только одно: принцепсы стремились уничтожить комиции и в то же время сохраняли их. Необходимость их ликвидации диктовалась административными и правовы-

ми соображениями; необходимость их сохранения, следовательно, вытекала не из актуальных и прагматических обстоятельств. Она коренилась не в структуре империи, а в структуре массового сознания, которую императоры должны были постоянно учитывать и в пределах которой порядки и установления должны были сохраняться неизменными, а время неподвижным.

Консерватизм, однако, никогда не может быть полным и последовательным, поскольку движение времени, перемены в жизни и ее обновление заданы каждому народу объективным развитием его производительных сил и каждому человеку его непосредственным опытом. Положение это уже очень рано начинает осознаваться в Риме и вызывать к жизни концепции динамического исторического времени, противоположные разобранным выше. Надо сказать, правда, что исходными и определяющими, фоновыми в Риме всегда оставались концепции консервативные, основанные на представлении о неподвижном или обратимом времени, и лишь в контрасте с ними своеобразным контрапунктом проходят через римскую историю и римскую культуру те восприятия времени, которые очень условно можно назвать «прогрессистскими». Они росли из нескольких источников и соответственно проявлялись в различных формах.

Первая из таких форм носит отчетливо политический характер, связана с демократическим движением социальных низов, стремившихся изменить сложившиеся порядки в свою пользу, а для этой цели доказать, что обновление есть закон жизни общества. Этот ход мысли обнаруживается в Риме уже очень рано. Он представлен, в частности, в речи народного трибуна Гая Канулея в 442 г. до н. э. «Что же из того, — говорил он, — что после изгнания царей не было еще ни одного консула-плебея? Разве не следует создавать ничего нового? Не следует вводить чего-либо, сколь бы полезным оно ни оказалось, лишь оттого, что такого не бывало ранее? — у нового народа много чего никогда не бывало ранее. В правление Ромула не было ни понтификов, ни авгуров — они созданы Нумой Помпилием. Не было в нашем государстве ни цензов, ни распределения граждан по центуриям и классам — их ввел Сервий Туллий. Не бывало у нас и консулов — они возникли после изгнания царей. Мы не знали ни власти диктаторов, ни самого этого слова — они появились при наших отцах. Народные трибуны, эдилы, квесторы — ничего этого прежде не бывало, но они были введены и будут существовать в дальнейшем. Менее чем за десять последних лет мы и создали коллегию децемвиров, которые бы дали нам письменные законы, и уничтожили ее, не оставив им места в нашей республике. Можно ли усомниться в том, что в городе, созданном на века и стремительно растущем, предстоит создавать и новые фор-



мы власти, и новые виды жречества, и новые законы, определяющие права народов и граждан?» (Liv., IV, 4, 1–2).

При обсуждении большинства реформ, проводившихся в Риме за долгие века его существования, как правило, фигурировали попеременно две мотивировки: данная реформа должна быть принята, поскольку она соответствует традиции и нравам предков, или: данная реформа должна быть принята, так как она соответствует новым условиям и новым потребностям, интересам развития нашего государства. Консервативная логика и принцип остановленного времени, как ни глубоко они были вкоренены в римском сознании, не могли быть универсальными и в силу самой своей неуниверсальности с необходимостью порождали в политической сфере иную логику и обратный принцип. Аграрная реформа Гракхов мотивировалась необходимостью преодолеть *развившееся* имущественное неравенство, *вернуть* относительную соизмеримость земельных владений, *восстановить* справедливость. Но уже закон о союзниках Гая Гракха полностью порывал с традицией, вытекал из нужд сегодняшнего дня и вместо того, чтобы апеллировать к прошлому, предвещал будущее. Аграрная реформа, предложенная в 64 г. до н. э. Сервилием Руллом, должна была стать одним из тех «новых законов», неизбежность которых предвещал Гай Канулей. Цицерон противодействовал ей с позиций *mos maiorum*, но, обосновывая свои взгляды перед народом, он начал с пространного рассуждения о том, что его избрание в консулы есть благотворное новшество, порывающее с исконной традицией избирать на высшие должности лишь выходцев из древних аристократических семейств. Такого рода примеры можно умножать до бесконечности. Канулей был прав: в развивающемся государстве новшества, отражающие стремительный бег времени, были неизбежны.

В области политики, однако, «прогрессизм» выступал чаще всего как обоснование конкретных прагматических мероприятий и не возвышался до самосознания, до теоретического осмысления — теоретические обобщения, содержащиеся в речи Канулея, были введены в нее, по всему судя, изложившим ее Титом Ливием.

Теоретическая концепция динамического времени и развития как блага складывалась преимущественно в спорах о том, что предпочтительнее: ограничивать частное богатство и не допускать рост уровня жизни ради сохранения суровой простоты и патриархальной бедности — этих источников боевой силы предков, либо поощрять рост и обогащение государства, использовать его для обогащения граждан и для придания их жизни большей обеспеченности и культуры, утонченности и эстетизма, неведомых людям древнего, героического, но в то же время нищего и примитивного Рима. Эта дилемма была вполне

осознана уже Сципионом и Катонем, и именно старый Цензорий в полном противоречии со своим постоянным консерватизмом отстаивал право каждого стремиться к наживе ради своеобразно понятого «прогресса» (ORF<sup>3</sup>, Cato, fr. 167). Столетием позже этот его взгляд был развит знаменитым другом-врагом Цицерона Гортензием (Dio Cass., 39, 37, 3), а еще несколько позже, уже при Тиберии, консулярием Азинием Галлом (Tac. Ann., II, 33). И в том и в другом случае ораторы утверждали, что выражают мнение подавляющего большинства сенаторов. «Прогрессизм» рос и креп прямо пропорционально забвению общинных норм и становлению принципата. В эпоху Клавдия, Нерона и Флавиев на авансцене общественной жизни Рима все заметнее становятся люди, которым родовитость, принадлежность к римской традиции, верность старинным нормам поведения и старинным вкусам представляются заслуживающими лишь ненависти и презрения и которые, напротив того, стремятся утвердить ценность современности и развития. В области политики такие люди выступали часто в роли *delatores* — «доносчиков», пытаясь запугать, скомпрометировать, политически или физически уничтожить людей старой консервативной знати. Принцепсы, видевшие в них союзников по борьбе с сенатской аристократией и республиканской идеологией и, кроме того, заинтересованные в прославлении своего режима в противовес прошлым, всячески поддерживали *delatores*, вступив с ними в своеобразный союз. Роль *delatores*, однако, не исчерпывалась политикой. Многие из них были так или иначе связаны с культурой и искусством. Фабриций Вейнтон и Аквиллий Регул выступали с литературными произведениями, Эприй Марцелл был покровителем наук, и Колумелла посвятил ему свой трактат «О земледелии», Юлий Африкан преподавал ораторское искусство. Их политическая практика связывалась для них с определенной творческой позицией и определенным пониманием жизни, истории, общественного развития, движения времени. В 47 г. они доказывали в сенате, что их деятельность служит интересам выдвигающихся «людей из народа» и подчинена «реальному ходу вещей» (Tac. Ann., XI, 7). В 70 г. один из самых ярких людей этого типа, Эприй Марцелл, доказывал: «Я прекрасно понимаю, что за государство создавали наши предки, но помню и то, в какое время родились мы. Древностью должно восхищаться, однако сообразовываться лучше с нынешними условиями» (Tac. Hist., IV, 8). Презентистское жизнеощущение распространялось на область искусства, и прежде всего красноречия. Сенека, находившийся с *delatores* в сложных и противоречивых отношениях, безусловно, разделял их презентизм и потешался над архаизирующими стилистами, которые «ищут слова в отдаленных веках, говорят языком Двенадцати таблиц» (Ad Lucil., 114, 13). Лу-

кан, создавая «Фарсалию», избегал упоминаний о своем предшественнике Вергилии и полагал, что его собственные стихи, равно как и стихи Нерона, ничем не хуже Гомеровых (Phars., IX, 980–986). Для Марциала современный *delator* значительнее Цицерона (IV, 16, 5–6), предпочитать прошлое настоящему может только завистник (V, 10), Катон – смешной педагог, ничего не понимающий в настоящей, современной, поэзии (I, рг.).

Наиболее ярко и полно резюмировал все это направление в римской культуре раннеимператорской поры Тацит, выведя в своем «Диалоге об ораторах» фигуру Марка Апра. Апр – судебный оратор, обобщенный образ *delatores*, которые также были чаще всего крупными ораторами, политическими и судебными. Его красноречие отличалось «мощью и пылом» (Tac. Dial., 24, 1), как красноречие Эприя Марцелла, он отстаивает тот тип речей (19–20), которыми славился Аквиллий Регул (Plin. Ep., I, 20, 14), он весел и шутлив, как знаменитейший *delator* Вибий Крисп (Quint., X, 1, 119). Подобно большинству из них, Апр прокладывает путь в жизни в обход людей родовитых, противопоставляя себя староримской традиции и системе ценностей (Tac. Dial., 8, 3). Как и *delatores*, он презирает старину, отвергает консерватизм, эстетизирует исторический динамизм, развитие, стремительное движение времени. Он прославляет деятельность судебного оратора за связь ее с живой жизнью сегодняшнего дня, за то, что она обеспечивает непосредственное участие в конфликтах и спорах современников (10). Перед таким человеком раскрывается вся несущественность, вся мертвенность старины и традиции. «Признаюсь вам откровенно, что при чтении одних древних ораторов я едва подавляю смех, а при чтении других – сон» (21, 1). Высшая ценность – не прошлое, а настоящее (20, 7; 21, 2). Критерий красоты – сила, здоровье и напор жизни (21, 8), соответствие требованиям сегодняшнего дня (21, 9).

Как поздний римский космополитизм не мог явиться основой для сколь-нибудь значительных достижений искусства и культуры, подобно этому и «презентизм» Апра, его предшественников и коллег был, скорее, формой жизненной практики и общественным умонастроением, был в большей мере определенной стороной римского отношения к времени, чем целостным выражением такого отношения, и потому так же не мог явиться почвой для национальной философии культуры или художественных достижений всемирно-исторического значения. Единственное, кажется, но зато весьма показательное исключение – творчество Овидия, и в первую очередь его «Метаморфозы».

Восприятие времени, присущее поэме, ясно выражено в 15-й ее песни словами Пифагора:

*Время само утекает всегда в постоянном движенье,  
Уподобляясь реке; ни реке, ни летучему часу  
Остановиться нельзя. Как волна на волну набегают,  
Гонит волну пред собой, нагоняема сзади волною, —  
Так же бегут и часы, вослед возникая друг другу,  
Новые вечно, затем что бывшее раньше пропало,  
Сущего не было, — все обновляются вечно мгновенья.*

(Ovid. Met., XV, 179—185.

Пер. С. Шервинского.)

Бесконечное движение времени, однако, обладает своим содержанием. Оно состоит в перемещении духовного начала из одного существа в другое, в постоянной смене им форм и оболочек — словом, в метаморфозе.

*Так: изменяется все, но не гибнет ничто и, блуждая,  
Входит туда и сюда; тела занимает любые  
Дух; из животных он тел переходит в людские, из наших  
Снова в животных, а сам во веки веков не исчезнет.*

(Там же, 165—168.)

В этой постоянной смене в общем и целом господствует движение от низшего к высшему, так что в конечном счете она представляет собой определенное развитие, прогресс, сама же поэма — «непрерывную песнь» «от начала вселенной до наступивших времен» (I, 3—4). Рассказ начинается с изначального хаоса, который сменяется космосом (I, 5—72), живая природа, сначала воплощенная только в рыбах, животных и птицах, находит свое завершение и высшее выражение в человеке (I, 76—88).

Несмотря на пессимистический рассказ об эволюции человеческого общества от «золотого века» к железному (I, 89—150), несмотря на многообразие и, так сказать, разнонаправленность описанных в поэме метаморфоз, было бы неправильно не видеть этот «прогрессизм» Овидия, выходящий далеко за рамки поэмы и составляющий основу его мироощущения в целом. К его времени учение греческих стоиков о развитии мира от изначальной дикости и хаоса к цивилизации и культуре было воспринято в Риме (Cic. De inv., I sqq.), и Овидий полностью его усвоил, насытив его чисто римским содержанием.

*Век простоты миновал. В золотом обитаем мы Риме,  
Сжавшем в мощной руке все изобилье земли.  
На Капитолий взгляни; подумай, чем был он, чем стал он:  
Право, как будто над ним новый Юпитер царит!*

*Курия стала впервые достойной такого сената, —  
А когда Татий царил, хижиной уткой была;  
Фебу и нашим вождям засверкали дворцы Палатина  
Там, где прежде поля пахотных ждали волов.  
Пусть другие поют старицу, я счастлив родиться  
Ныне, и мне по душе время, в котором живу.*

(Ovid. Ars am., III, 113–122.

Пер. М. Гаспарова.)

Отрывок этот очень характерен для Овидия. Атмосфера легкого изящества, фривольного остроумия, пресыщенности культурой и достатком, разлитая во многих его произведениях, была неотделима от чувства превосходства утонченной современности над примитивной стариной, другими словами, от восприятия поступательного движения времени как величины положительной. Даже в «Фастах», смысл которых состоял в прославлении исконных римских обычаев и тем самым старины, Овидий подчас не удерживается от иронии над грубым невежеством великих предков (Ovid. Fast., I, 27–30).

В «Метаморфозах» концепция поступательного времени трактуется как бы в двух планах. Один связан с прямо объявленным сюжетом поэмы — рассказом о том, как в бесконечной смене столетий раскрывается смысл мировой истории, состоящей в реализации провиденциальной миссии Рима. Время движется линейно, прямо и только вперед, от изначального хаоса, через бесконечные превращения, приближаясь к нашим дням — дням торжества Рима, римской цивилизации и римского полубога-императора. С этого поэма начинается (I, 250–252), этим она кончается (XV, 420 и след.; 745 и след.).

Нетрудно заметить, однако, что между этими двумя крайними точками объявленный сюжет почти не проявляется, а связанная с ним удобная и простая концепция линейно-поступательного времени осложняется и углубляется. Художественная сила поэмы связана не с произнесенными скороговоркой, хотя и весьма патетичными славословиями Рима и императоров в начале и в конце ее, а с превращениями бесчисленных существ, любящих, верящих, ошибающихся, страдающих, составляющими ее плоть. Художественная сила производна от художественной правды, а она в свою очередь — от глубины отражения чувств и верований, особенностей мировосприятия народа. В основной части поэмы раскрывается несколько иное, чем только что проанализированное, ощущение времени, несравненно более характерное для римского эпоса и римской культуры.

«Метаморфозы» Овидия строятся на противопоставлении хаоса и космоса, грубого бесформия и оформленного существования, составля-

ющего суть культуры. Эта противоположность носит диахронный характер: хаос изначален, космос возникает из его преодоления, культура есть венец развития, итог пути. Но на протяжении поэмы эти два начала гораздо чаще выступают в ином соотношении: изначальное бесформие уже преодолено, Прометей совершил свой подвиг, создан людской род, «во всяком труде закаленный» (I 414), но вот тогда-то разогретая солнцем земля снова стала порождать бесформенные чудовища — «одних в зачаточном виде, при самом

*Миге рожденья, других еще при начале развития,*

*Вовсе без членов, и часть единого тела нередко*

*Жизнь проявляет, а часть остается землей первобытной».*

(Ovid. Met., I, 427—429.)

Это было отчасти возрождение старых чудовищ, отчасти создание новых (см. I, 437) — поступательный ритм развития здесь сбигт, и итогом этой тератологии является невиданный ранее монстр, Пифон. Бесформенный хаос не только уступает место гармонии культуры, но и, постоянно возрождаясь, вечно существует рядом с ней, как угроза и альтернатива. Пифон погибает под ударами Феба, бога полезных злаков и врачеванья, разумной истории и музыкального лада — бога культуры (I, 518—523), но чудовищное, архаическое, бесформенное или оформленное противоестественно сохраняется как изживаемая, но непреходящая антитеза культуры. Метаморфозы, при которых низшие формы существования трансформируются в высшие, т. е. такие, которые соответствуют логике оптимистического, поступательного движения времени, вроде превращения камней в людей (I, 400—415) или Цезаря в звезду (XV, 845 и след.), встречаются в поэме редко. Подавляющее большинство метаморфоз осуществляется в обратном направлении. Нимфа становится деревом, девушка телкой, моряки рыбами и т. д. Одно из главных изменений, сопутствующих таким превращениям, состоит в том, что человек утрачивает речь — голос разума, утрачивает способность к целесообразной деятельности, так как руки его становятся ветвями, плавниками, лапами, и погружается в немое беспомощное доразумное страдание, возвращается в тератологию докультурной архаики.

Линейно-поступательное движение времени с его оптимизмом оказалось рационалистической абстракцией. Как человек, Овидий очень хотел отстоять его и прославить. Оно соответствовало его темпераменту, эстетической утонченности его натуры, его вкусу к игровому началу жизни. Овидий, однако, был не только великим жизнелюбцем, но и честным художником, и он не мог не выразить то, что различал в

породившей его действительности, что слышал в глубине римской традиции и народного сознания. А в этой традиции и в этом сознании время воспринималось именно так, как в конечном счете и ощутил его автор «Метаморфоз», — в движении от примитивности к культуре и в неизбежной осложненности этой культуры своей противоположностью, в постоянном взаимодействии арханчески консервативного и динамического начал — словом, в его живой диалектике.

1984

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> По крайней мере с 153 г. до н. э.

<sup>2</sup> Macrobi. Sat., I, 9: «Янус, как полагают, — это солнце, и двумя лицами он обладает потому, что ему подвластны обоим врата неба — возникающая из одних, он начинает день, уходя в другие, оканчивает его».

<sup>3</sup> Утченко С. Л. Идеино-политическая борьба в Риме накануне падения республики. М., 1952, с. 54, 56.

<sup>4</sup> Слова эти приписываются Аппию Клавдию Слепцу, консулу 307 и 296 гг. до н. э., цензору 316—311 гг. Стихотворную форму, в которой они только и дошли до нас, им придал поэт Квинт Энний (239—169 гг. до н. э.).

<sup>5</sup> Tac. Ann., XIV, 43, 1. Тацит передает слова знаменитого правоведа эпохи Ранней империи Гая Кассия Лонгина.

<sup>6</sup> Сергеенко М. Е. Жизнь Древнего Рима: Очерки быта. М.; Л., 1964, с. 58; Fietz W. Vom Aquädukt zum Staudamm. Eine Geschichte der Wasserversorgung. Leipzig, 1966, S. 58. Плиний Старший полагал, что водопроводы приносят в Рим столько же воды, сколько получает Тибр от всех 40 своих притоков (N. H., 3, 54).

<sup>7</sup> Plin. Ep., VIII, 8, 5 и комментарий к этому месту в кн.: Sherwin-White A. N. The Letters of Pliny. Oxford, 1966, p. 457. См. также передаваемое Тацитом в «Анналах» (I, 79, 3) мнение о том, что «необходимо уважать неровности италийских союзных общин, которые обрядами, священными родами и алтарями чтят реки родного края».

<sup>8</sup> Syme R. Roman Revolution. Oxford, 1974 (reprint), p. 374.

## РИМСКИЙ ОБЕД

Трехкратный прием пищи — утром, в середине дня и ближе к его концу — обусловлен, насколько можно судить, биологически и распространен повсеместно у самых разных народов, по крайней мере европейских. Характер этих трапез, однако, подвержен значительным вариациям и колеблется не только от одного народа к другому, но и по социальным слоям. В современной Англии, например, для большинства населения и особенно для работников физического труда характерен ранний очень плотный завтрак, менее плотный ленч и несводимый к строгим правилам ужин, иногда очень легкий, иногда обильный, в то время как у интеллигенции и людей свободных профессий питание строится во многом по иной, так называемой «континентальной» схеме: легкий первый завтрак, более плотный второй и обильный поздний обед<sup>1</sup>. Этот же порядок распространен во Франции, но только северной; на юге пик составляет обед, приходящийся на середину дня, тогда как ужин более скромн<sup>2</sup>. Древний Рим таких вариаций не знал. Каковы бы ни были индивидуальные отклонения<sup>3</sup>, как бы ни колебалось в зависимости от достатка и социально-культурной традиции обеденное меню, принципиальная схема была общей и единой: по исстари заведенному порядку вся Италия легко закусывала утром<sup>4</sup>, перехватывала кое-что по завершении дневных дел и во второй половине дня собиралась на обед. Утренняя закуска (*jentaculum*) и дневной завтрак (*prandium*) не предполагали ни точного времени, ни определенного меню. Они только удовлетворяли голод в то время и в тех условиях, когда он возникал<sup>5</sup>. Одни, особенно крестьяне, приступали к приготовлению первого завтрака сразу же после пробуждения от сна и, лишь поев, выходили из дому. В Риме клиенты богатых и знатных семей шли утром приветствовать патрона часто натощак и только здесь получали спортулу — корзиночку с едой. На рассвете натощак отправлялся работать с императором Веспасианом его помощник и консультант Плиний Старший, съедавший свой «простой и легкий» *jentaculum* лишь по возвращении из дворца домой<sup>6</sup>.

Время второго завтрака было столь же неопределенным. Плиний Младший, помнивший по минутам роковой день, когда извержение Везувия уничтожило Помпеи, писал, что к полудню<sup>7</sup> его дядя, только что нами упомянутый Плиний Старший, успел уже искупаться и позавтракать<sup>8</sup>. Сенека завтракал позже, перед самой предобеденной ба-



ней<sup>9</sup>. Император Август «закусывал в предобеденные часы, когда и где угодно, если только чувствовал голод»<sup>10</sup>.

Меню обоих первых завтраков складывалось случайно и произвольно. Если клиент завтракал остатками обеда, унесенными накануне из дома патрона или полученными тем же утром в виде спортулы, то такой завтрак мог состоять из чего угодно. Бедные клиенты ели все подряд, относительно зажиточные были более разборчивы. Марциал очень сердился на свою покровительницу,

*Если в подарок ты мне дрозда, пирога ли кусочек,  
Бедрышко ль зайца пришлешь, или еще что-нибудь*<sup>11</sup>.

Подчас оба завтрака бывали совсем скудными. Следуя своим привычкам, император Август ел на завтрак «грубый хлеб, мелкую рыбешку, влажный сыр, отжатый вручную, зеленые фиги второго сбора»<sup>12</sup>, а Сенека и вовсе «завтракал сухим хлебом, не подходя к столу, так что после завтрака незачем было мыть руки»<sup>13</sup>. Обычный завтрак, однако, располагался между этими двумя крайностями и состоял из хлеба, смоченного в вине или слабом растворе уксуса, сыра, фиников, иногда — холодного мяса или ветчины. Прекрасная картина утреннего завтрака крестьянина дана в приписываемой Вергилию небольшой поэме «Moretum». Герой ее, Сими́л, «пахарь малого поля», встав, размолв зерно и замесив хлеб, сажает его в печь, «глиняной миской поверх накрывает и жар насыпает». Приправой к хлебу, однако, у него оказывается только кружок сыра, поскольку он человек бедный и

*Близ очага у него не висели на крючьях для мяса  
Окороча или туша свиньи, прокопченная с солью.*

Тогда Сими́л находит другую приправу. Он выходит в огород, набирает там чеснок, сельдерей, руту, кориандр и, подлив немного масла, стирает их в каменной ступке в единую плотную массу.

*Он собирает спряжку и комок из месива лепит:  
По завершенье оно справедливо зовется «толченой».*

Вместе с толстым хлебом и сыром эта «толченка» — moretum — и составляет его завтрак, съев который Сими́л запрягает быков в iugum и идет в поле. «На сегодня голод не страшен ему»<sup>14</sup>.

Главное в ientaculum и prandium состояло в том, что их человек съедал в одиночку. Все же, что римлянин делал один, было для него необходимостью, данью природе, скучной повседневной прозой, ли-

шенной подлинного, то есть общественного, содержания. Этим содержанием обладал обед (сена), и из всех видов приема пищи только он был трапезой в собственном смысле слова.

Если приемы пищи, предшествовавшие обеду, не занимали определенного места в распорядке дня римлянина, то обед начинался всегда точно и неизменно — около половины второго зимой и около половины третьего летом<sup>15</sup>. Несколько сложнее ответить на вопрос о том, когда он кончался. Лишь человек аскетического образа жизни, вроде Плиния Старшего, «летом вставал из-за обеда засветло, зимой в сумерки»<sup>16</sup>, то есть проводил за столом около трех часов. Август, тоже весьма неприхотливый в своих привычках, шел после обеда заниматься государственными делами, но эту работу его биограф называет «ночной»<sup>17</sup>. До полуночи пировал Нерон<sup>18</sup>; некоторые гости Тримальхиона уходят от него в полночь, так и не дождавшись окончания трапезы<sup>19</sup>; обеды, продолжающиеся затемно, отмечаются в источниках неоднократно<sup>20</sup>. Переходить от обеда к ночному сну, по-видимому, считалось нормой. Во всех случаях, таким образом, римская сена была не просто формой насыщения, а важным элементом жизни. Она повторялась ежедневно, охватывала всю вторую половину дня и вечер, то есть длилась от трех до шести или восьми часов и хотя бы уже по одному этому должна была обладать достаточно сложным и разнообразным содержанием.

Содержание это обуславливалось прежде всего тем, что обед всегда предполагал приглашенных гостей и общение сотрапезников; обеды в одиночку упоминаются у римских писателей в виде редчайшего исключения. Главное в обеде — беседа. Хотя в Риме I в. н. э., особенно у императоров и их вельмож, бывали пиры с огромным числом приглашенных, единого, общего стола, по всему судя, не существовало, так что реальной единицей собравшегося общества оставалась все равно малая, довольно тесная группа, легко и постоянно поддерживавшая общий разговор. Римляне любили говорить, что количество людей в застолье должно начинаться с числа граций (то есть с трех) и достигать до числа муз (то есть до девяти).

Благодаря обильным литературным свидетельствам и археологическим данным мы можем довольно полно представить себе, как протекала римская сена. Обычным местом обеда был триклиний — небольшая комната, чаще всего выходившая на перистиль. Если трапеза носила интимный, чисто семейный характер, она устраивалась на втором этаже дома над атрием, фактически на чердаке, который и назывался поэтому «сепасиум». Напротив того, большой парадный обед протекал в специальном пиршественном зале, который располагался в задней, примыкавшей к саду части богатых особняков и назывался «оесус» — «экус», или, в более

распространенном греческом произношении, «ойкос». Независимо от размеров помещения и числа обедающих центром, вокруг которого организовывалась трапеза, был небольшой стол, с трех сторон окруженный массивными, обычно каменными, ложами, на которых, по трое на каждом, и возлежали обедающие. Эта группа, собственно, и называлась «триклиний», и она повторялась в данном помещении столько раз, сколько нужно было, чтобы принять всех гостей. С четвертой стороны стола открывался доступ для тех, кто обслуживал трапезу, менял блюда и приборы, разрезал мясо, подливал вино. Верхняя поверхность ложа располагалась слегка наклонно (само слово «три-клин-ий» родственно русскому «клон-ить») и повышалась в сторону стола. На нее набрасывали много тканей и подушек, которыми выкладывали верхний край ложа и отделяли место одного сотрапезника от места другого. При таком расположении лож и столов в триклинии должна была царить страшная теснота. Скученные люди, разогретые едой и вином, непрестанно потели и, чтобы не простужаться, укрывались специальными цветными накидками, наборы которых назывались синтезами. Марциал бывал у одного богача, который в течение обеда менял такие накидки до одиннадцати раз,

*Чтобы в одежде сырой не мог твой пот застояться,  
Чтобы не мог простудить кожи горячей сквозняк* <sup>21</sup>.

Не меньшая теснота царила и на столе, очень небольшом по размеру и потому не способном вместить блюда с едой. Ее приходилось приносить и либо ставить на стол, разложивши на тарелки, либо подносить каждому отдельно. Поэтому в том же помещении рядом с триклинием ставились вспомогательные столики-серванты. Один такой изящный сервант в виде ослика с корзинками по бокам, в которых размещались закуски, описан, например, в главе 31-й «Сатирикона» Петрония. Точно так же и вино сначала разливали по большим сосудам — у богатых людей они бывали из стекла или даже хрусталя, — которые располагались неподалеку от столов, и уже оттуда разливали его специальным черпаком (ойнохоей) по бокалам. Если в определенные моменты затянувшегося пира нужно было сменить всю сервировку, то убирали не отдельные приборы, а сами столы <sup>22</sup>.

Если отвлечься пока что от чудовищных пиров римских богатеев раннеимператорской поры и говорить об обычном хорошем обеде, который устраивал для друзей радушный хозяин, то меню его состояло, чаще всего из четырех перемен, включало рыбу, мясо, разнообразные закуски и фрукты. Супы в источниках не упоминаются. Вот, например, как выглядел хороший обед в маленьком городке Южной Италии в середине I в. н. э.: поросенок, «увенчанный колбасами», с птичьими потрохами и тык-

вой; сырнй пирог, холодный, но политый горячим медом, обложенный фасолью, горохом, орехами и персиками; по куску медвежатины; последняя перемена состояла из мягкого сыра, виноградного сока, улиток (по одной на каждого из пирующих), рубленых кишок, печенки, яиц, сваренных «в мешочек», репы, горлинки, тунца. В заключение обеда вкруговую было пущено глубокое блюдо с маринованными оливками <sup>23</sup>.

Многие часы, которые длился римский обед, были заполнены не только едой; обед предполагал также и «культурную программу». В большинстве случаев цель ее состояла в том, чтобы развеселить сотрапезников. В триклинии появлялись шуты или комические актеры, иногда танцоры <sup>24</sup>. Если хозяин не хотел тратиться на такие представления, то он сам мог импровизировать какие-либо развлечения — например, аукцион картин, повернутых изображением к стене, или просто играть с приглашенными в кости. Нередко были и развлечения более высокого уровня — выступления музыкантов, исполнение стихов, чтение вслух.

Римская сена в основе своей имела также и определенный сакральный смысл, и для культурно-исторического анализа эта сторона дела важнее других. «Наши предки, — сообщает Валерий Максим, — учредили ежегодную торжественную трапезу, которую они называли «харистия», куда допускались лишь родные и свойственники с тем, чтобы, если возникло в семейном кругу какое-либо взаимное недовольство, уладить распрю под влиянием настроенных благожелательно людей и святости застолья, среди общего душевного веселья» <sup>25</sup>. Несколько вещей обращают на себя внимание в этом тексте. Во-первых, устранение распрей, восстановление мира и приязни связано с застольем; совместная еда есть форма выявления солидарности членов коллектива, ее знаковый смысл состоит именно в этом. Во-вторых, объединившиеся за совместной трапезой люди сошлись за ней не случайно или временно, а представляют собой устойчивую группу, определенную общественную единицу. Словам «в семейном кругу» соответствует в латинском тексте выражение *inter necessarias personas*, то есть харистии объединяли кровных родственников, лиц, примкнувших к семье в результате брачных союзов, усыновленных и их родню, клиентов, друзей, а в более позднее время также и отпущенников — всех тех, но только тех, кто составлял «фамилию», основную хозяйственную, общественную и социально-психологическую ячейку древнеримского общества. В-третьих, такой коллектив был объединен общим фамильным культом, и совместное принятие пищи было одной из его форм, как на то указывают слова о «святости застолья» (*sacra mensae*).

Формула *sacra mensae* предполагала не только жертвенное возмещение перед трапезой <sup>26</sup>, но и делала религиозно обязательной за столом атмосферу доверия и чистоты помыслов. Так, Тит Ливий, рассказав

об убийстве на пиру у римского полководца знатного галла, явившегося к римлянам с предложением союза, добавляет: самое «зверское и чудовищное» заключалось в том, что все это происходило «во время еды и питья, где принято возлияниями посвящать пищу богам и желать друг другу добра»<sup>27</sup>.

Совместная трапеза была неременной чертой тех общинных, коллегальных, культовых, дружеских организаций и кружков, в которых протекал досуг римского гражданина, а во многом также его общественная и повседневно-практическая деятельность. В повседневной жизни римлянин мог обедать и один, и с ближайшими членами своей семьи — женой, родителями, детьми; но в принципе и как факт культуры римская сепа — всегда форма общения и консолидации малой социальной группы, всегда совместная трапеза членов некоторого относительно устойчивого микрообщества<sup>28</sup>. Такие микрообщности образовывали непосредственную фактуру жизни римлянина. Ни один из них никогда не принадлежал прямо и только обществу в целом, а всегда сначала какому-либо ограниченному множеству, микрогруппе, обязательно имевшей свой культ и, соответственно, свои застолья, свои *sacra mensae*. Подобные объединения могли входить в административно-правовую структуру государства — фамилия, сельская община, квартальные и компитальные коллегии в городах, коллегии, объединявшие жрецов официальных государственных культов. Помимо них в Риме были также чрезвычайно распространены и коллегии иного типа — ремесленные, культовые, похоронные, земляческие. Все они были организационно оформлены, зарегистрированы и при Империи собирались на свои застольные собрания с правительственного разрешения; без него коллегия считалась недозволенной (*illicitum*) и принадлежность к ней сурово каралась.

Нельзя, однако, переоценивать четкость и универсальность этих делений. На протяжении всего республиканского периода истории Рима создание сообществ рассматривалось как частное дело граждан, вообще не подвергалось никаким ограничениям<sup>29</sup>, и когда императоры поставили их под жесткий государственный контроль, этот контроль столкнулся с неодолимой традицией, с вековыми привычками народной жизни и никогда не смог стать полным, а необходимость его — очевидной и общепризнанной. Содружества, кружки, застольные компании были столь обильны, возникали столь повсеместно, что провести границу между ними и сообществами с относительно устойчивой организацией, требовавшими поэтому официального статуса, было сплошь да рядом невозможно. На этой неясной грани долгое время просуществовали, например, раннехристианские общины, которые имели совместные трапезы, свое руководство, практику материальной взаимопомощи, но все это настолько мало отличалось от повседневно-бытового общения едино-

верцев, что ни правительство, ни они сами подчас не знали, можно ли рассматривать их как недозволенные коллегии<sup>30</sup>. А как можно было определить специфически римский институт «друзей» (*amici*), которые, с одной стороны, собирались вокруг каждого сколько-нибудь значительного лица по принципу личной приязни, совместного времяпрепровождения, совместных застолий и совместного участия в *officia* — общественно значимых проявлениях повседневной жизни, на основе общего происхождения, родства и свойства, а с другой — могли оказаться в решающий момент плотными, хорошо организованными отрядами, игравшими роль ударной силы определенной государственно-политической группировки? Первое в римской истории запрещение некоторых видов сообществ последовало именно тогда, когда правительство отдало себе отчет в возможности подобного их развития<sup>31</sup>. Не приходится поэтому удивляться, что подчас правительственные комиссии, расследовавшие на месте те или иные скандальные происшествия, обнаруживали в основе их действия каких-либо компаний и квалифицировали эти компании как «недозволенные коллегии», которые, следовательно, либо спокойно существовали до расследования наряду с дозволенными, либо настолько мало отличались от обычных содружеств или землячеств, что их лишь задним числом можно было счесть коллегиями<sup>32</sup>. Все это показывает, что в Риме было трудно, а подчас и невозможно провести границу между оформленными и неоформленными микрогруппами, так что общественная действительность в целом тяготела к микромножественной структуре.

Положение это объяснялось тем, что коллегиальность, сообщество и содружество были в Риме не столько правовым принципом, сколько социально-психологической потребностью, универсальной стихией существования, которую постоянно и многообразно источали из себя социально-экономические и политико-идеологические условия жизни общества. Сама же микромножественность общественного бытия была прямым и необходимым следствием общинного уклада, постоянно жившего в недрах античного общества, прямым и необходимым выражением исходного и универсального принципа этого уклада — дробности, относительной замкнутости и внутренней сплоченности ограниченных первичных ячеек существования. Не случайно в Древней Греции, росшей из тех же общинно-родовых начал, положение с микромножествами было во многом аналогично римскому<sup>33</sup>. Община и социальная микрогруппа, с ее обязательной совместной трапезой, образовывали два разных проявления единого начала, и судьба последней раскрывает очень многое в судьбе первой. Эволюция разных социальных микрогрупп, рассмотренная в связи с эволюцией их застольных нравов, дает для понимания как кризиса римской гражданской общи-

ны, так и поисков выхода из нее подчас больше, чем хозяйственные подсчеты или анализ политических программ<sup>34</sup>.

Поскольку микрогруппы были почти всегда также и культовыми объединениями, то совместные трапезы включали и обязательный ритуальный элемент; но шли люди за общий стол не столько ради богов, сколько прежде всего ради забвения общественных антагонизмов, в поисках человеческой солидарности и взаимной приязни, которые они ассоциировали с легендарным «золотым» прошлым общины, которые нужны были им как воздух и которые они все реже находили в неуклонно отчуждающемся огромном государстве, в раздираемой обостряющимися противоречиями римской повседневности. Еда и питье, благочестивая благодарность богам за их покровительство и человеческая солидарность составляли или обязательно должны были составлять в их идеализирующем сознании единство, имя которому было «сена» — совместная трапеза членов фамилии, общины, коллегии, кружка. Во время ежегодного праздника богов-покровителей участков, межей и перекрестков, так называемых сельских компиталий, в местах, где сходились границы нескольких владений, ставились столы, за которыми принимали пищу на равных рабы и хозяева, и сам этот праздник по первоначальному своему смыслу был праздником согласия между владельцами земли и их родами<sup>35</sup>. Очарование совместных трапез, которые регулярно устраивали члены религиозной коллегии Великой Матери, измерялось, по признанию одного из их участников, «не столько телесными наслаждениями, сколько приятностью беседы в кругу друзей»<sup>36</sup>. Сохранились многочисленные надписи людей, отказывавших по завещанию деньги на то, чтобы их односельчане или члены их коллегий устраивали регулярно совместные трапезы<sup>37</sup>.

Таковы были общественная психологическая потребность, идеал и норма, и тем более резким контрастом по отношению к ним представляла сплюсн да рядом повседневная реальность. Совместные трапезы вызывались потребностью сохранить или восстановить, пусть на несколько часов, пусть в иллюзорной форме, атмосферу идеализированной демократической солидарности членов общинной, семейно-родовой, патрональной организации. Потребность эту во всей ее остроте и непреложности постоянно порождала сама окружающая жизнь, которая несла в себе бесчисленные пережитки общинного уклада. Но та же жизнь несла в себе и прямо противоположные тенденции, столь же непреложно предполагая распад общинной солидарности, осквернение традиций и иллюзий гражданского равенства, их мучительное изживание и постоянное оскорбление. Это противоречие пронизывало всю римскую действительность, и, соответственно, в той или иной форме речь о нем заходила в предыдущих очерках и будет заходить в последующих. Особенно наглядно и ярко про-

являлось оно, однако, в совместных трапезах, которые по самой своей природе предполагали дружескую солидарность собравшихся за столом людей и где поэтому особенно болезненно сказывались профанация и распад этой солидарности.

Остановимся на том, как протекал в эпоху Ранней империи римский обед на двух полюсах общественной иерархии, в предельно неформальных или в относительно мало формализованных и потому особенно показательных микрогруппах — в харчевне и в обществе клиентов и друзей, собиравшихся за столом высокопоставленного патрона.

Есть основания думать, что харчевни в Древнем Риме были не просто местом времяпрепровождения, а именно микрообщностью. Во-первых, харчевен было очень много. Речь о них идет почти у всех авторов, самых разных и отражающих самые разные стороны римской действительности, — у Цицерона, Цезаря, Вергилия, Горация, Петрония, Марциала, Светония, Ювенала, даже Тацита. В описаниях путешествий постоянные дворы упоминаются повсеместно, вплоть до самых глухих уголков империи, причем в пределах даже небольшого города их можно менять много раз<sup>38</sup>. К середине I в. в Помпеях на 10 тысяч населения<sup>39</sup> было около 120 таких заведений; одна из главных улиц города, Стабиева, имела 770 м длины — археологи обнаружили на ней 20 харчевен; если даже предположить, что лишь половина жителей проводила здесь время, это значит, что на каждые 40 человек имелся кабачок.

Во-вторых, размещение харчевен и особенности древнеримского быта указывают на то, что они обслуживали не столько проезжающих, сколько местных жителей. Если картографировать харчевни Помпей, окажется, что у ворот их действительно много, но еще больше в VII, VIII, IX районах и по улице Изобилия на территории так называемых Новых раскопок, то есть во внутренних кварталах. На настенных изображениях в Помпеях и Остии сидят обычно люди в дорожном платье; постоянные дворы для проезжающих, таким образом, являли собой низшую категорию харчевен, входя в число так называемых «сидячих распивочных», по выражению Марциала<sup>40</sup>, рассчитанных на непритворливую публику — погонщиков, обозников, конюхов, матросов. Напротив того, известные из разных источников харчевни с ложами, как «Белый слон» в Помпеях или кабачок, который посещал консулярий Латеран в Риме<sup>41</sup>, предназначались не для них и были, следовательно, рассчитаны на местную публику. В харчевнях должны были также сосредоточиваться люди из околотка — жители соседних инсул, в которых приготовление горячей пищи было затруднено.

В-третьих, есть много данных, говорящих о том, что круг клиентов каждой такой харчевни был относительно устойчив и образовывал тем самым некоторое сообщество. Поскольку харчевни существовали в каж-



дом микрорайоне, а население последних было стабильно, то и круг клиентов каждого кабака должен был тяготеть к стабильности. Это подтверждается данными Петрония, который в главе 95-й и следующих «Сатириконе» рассказывает о харчевне, размещенной в нижнем этаже большой инсулы и рассчитанной тем самым прежде всего на ее стабильное население. Были люди, жившие в харчевнях постоянно. К их числу, например, относился, по утверждению императора Адриана, поэт Флор<sup>42</sup>. Такая жизнь обладала определенной привлекательностью, и бывали случаи, когда она навсегда отвлекала человека от дома и семьи<sup>43</sup>. Специально занимавшийся римскими харчевнями шведский исследователь Т. Клеберг пишет: «Создается впечатление, что на постоянных дворах и в трактирах обычно существовали клубы более или менее сомнительного свойства»<sup>44</sup>. То же впечатление создавалось у императора Веспасиана — он особым указом закрыл «харчевни, в которых люди почасту собираются за вином»<sup>45</sup>. В подтверждение своего мнения Клеберг приводит пример помпейской харчевни, где действовало нечто вроде постоянного разгульного содружества *seribibi* (позднопьющих). Они всем составом выдвигали своего кандидата в эдилы — пресловутого Марка Церриния Ваттию, того самого, которого предлагали на эту должность, «объединившись, все любители поспать»<sup>46</sup>. Надпись, следующая в «Корпусе» за надписью этих «любителей», отстаивает кандидатуру того же Ваттии от имени *fugunculi*. При всем многообразии выборных объединений в Помпеях трудно допустить, что среди бела дня могли выступить со своей избирательной платформой мелкие воры (именно таково первое и основное значение слова «*fugunculi*»). Слово «*fugunculus*» употреблено здесь (дело, напомним, происходило в окруженных виноградниками Помпеях), скорее, в своем малораспространенном значении — как винодельческий термин «боковой отпрыск на виноградной лозе», «побег, отделившийся от ствола» — и является в данном случае условным обозначением клуба эпатирующих околотов гуляк, подобного *seribibi*. Об устойчивости круга посетителей харчевен говорят и иные данные. Мессалина, если верить Ювеналу<sup>47</sup>, имела в одной из римских таверн постоянную комнату и была известна кругу завсегдатаев под именем Лициски, то есть были и свой круг гетер, и свой круг завсегдатаев. Одну и ту же харчевню с примерно одним и тем же обществом посещал, как явствует из описания того же Ювенала, и Латеран. Одна непристойная надпись из помпейской харчевни-лупанара<sup>48</sup> указывает на то, что автор ее пребывал там весьма долго или возвращался туда систематически.

Эти кабацкие сообщества находились в сложных отношениях с официальным Римом, продолжавшим сохранять (или стремившимся сохранить) исторически сложившийся облик *rei publicae Romanae*. Непосредственно они были его антиподом. В царившей здесь особой атмосфере

главным было забвение традиционных социальных перегородок: «Все там вольны равно, и кубок общий. Особых кресел нет никому, и стол ни кому не придвинут»<sup>49</sup>. Известно постановление префекта Рима (правда, уже относящееся к IV в.), согласно которому ни один «порядочный человек» (*honestus*) не имел права принимать пищу в харчевне<sup>50</sup>. Харчевня почти всегда представляла собой также и публичный дом, и кабатчик тем самым выступал и как сводник. Надписи, относящиеся к этой стороне дела, по очевидным причинам привести нельзя, но представление о царивших тут нравах они дают весьма яркое. Среди детей кабатчицы запрещено было различать законных и незаконных — очевидно, у властей не было иллюзий относительно их происхождения. В «Дигестах» есть целый раздел, говорящий о наказании хозяев постоялых дворов за пропажу имущества постояльцев. В поквартальных записях городского населения содержатели харчевен фигурируют рядом с ворами и шулерами<sup>51</sup>. Продажа недоброкачественной пищи и разбавленного вина считалась чем-то само собой разумеющимся — Марциал уверял, что кабатчики больше наживаются на дождевой воде или на соседнем водоеме, чем на собственном винограднике<sup>52</sup>. Распространенная у римлян канализация здесь почему-то нередко отсутствовала, и что из этого получалось, выразительно описано в нацарапанных на стенах стихах<sup>53</sup>. В упоминавшейся выше эпиграмме император Адриан писал, что он не хочет «подобно Флору скитаться по харчевням, вечно в кабаках таиться». Слово «таиться» (*latitare*), очевидно, правильно характеризовало определенную часть населения харчевен. Тиберий специально засылал сюда своих соглядатаев, Домитиан распорядился вообще снести большую их часть. Префекты Рима и дуумвиры городов периодически запрещали приготовление здесь горячей пищи, за которой люди могли засиживаться и вступать в нежелательные разговоры. Еда и жизнь здесь были необычно дешевы — от одного асса за кубок вина<sup>54</sup> до двух денариев, которые милосердный самаритянин оставил кабатчику на пищу, содержание и уход за раненым, ставшим жертвой разбойников<sup>55</sup>. Здесь скапливались все, кого официальный и престижный Рим презирал: беглые рабы, матросы, перегрины. Главное в самосознании таких микрообъединений — ощущение своей противоположности бывлой гражданской общине с ее набором ныне мертвеющих в официальной музейных добродетелей, ритуалов, слов. «Битвы и мужа пою...» — сказано в первой строке «Энеиды», «Вальяльщикова шерсти пою и сову, а не битвы и мужа», — написал местный остроумец на стене в Помпеях<sup>56</sup>. Попечитель римских водопроводов при Нерве Юлий Фронтин был особенно возмущен тем, что доставляемую в Рим водопроводную воду, это коллективное достояние общины, наиболее нагло расхищают владельцы таверн и лупанаров<sup>57</sup>. Черты кризисного происхождения, распад и разлом, выступали в этих микрообъединениях ясно и резко. Кабац-

кий мир был кричащим вызовом обесценивавшимся староримским нормам — вызовом в делах и поступках, в мыслях и словах.

Но в чем-то более изначальном и простом, чем поступки и мысли, он же был неосознанным продолжением этих норм, бурлескным эпилогом, входящим в текст классической эпопеи. Общественное мироощущение, некогда сложившееся в недрах гражданской общины, утратив свое социально-историческое и юридическое, этическое и культурное содержание, по-прежнему продолжало существовать, но уже не на уровне осознанной нормы, а, скорее, бессознательного общественного инстинкта: жить — значило жить вместе, в группе, среди своих. Для завсегдагата римской харчевни принадлежность к сообществу, органичность существования были еще, как мы старались показать, непременным условием жизни, и если главное, большое сообщество гражданской общины становилось все более мертвым, формальным и далеким, его надо было обязательно заменить, но чем-то тоже общим, коллективным и близким. Человек, который во времена Флавиев и Антонинов проводил свои вечера в харчевне, входил также в кружок соотчичей, перебравшихся в данный город из одних и тех же мест, был и участником похоронной складчины, и членом культовой коллегии и многих других, плотных, живых и маленьких человеческих единств, сменивших, но и продолжавших былые внутриполисные единства.

Аналогичный по своему историческому смыслу процесс, при всей крайней и очевидной противоположности его внешних форм только что описанным, протекал и в другом своеобразном микромножестве — в триклинии римского богача. За его столом теоретически должны были еще сохраняться смутные воспоминания о древних харистиях, поскольку собирались за ним соотчиичи и сородичи, друзья и коллеги, отпущенники и клиенты, то есть люди, включенные в систему связей, искони характерных для гражданской общины. Смысл такой системы состоял, в частности, в демонстрации солидарности людей, входивших в единую ячейку общины, во взаимопомощи, в оказании поддержки, моральной и материальной, со стороны «старших» и богатых членов группы «младшим» и бедным, в первую очередь со стороны патрона клиентам. За такой поддержкой клиенты и обедневшие члены рода и шли на обед к патрону, где, однако, уже с конца Республики, а тем более в начале Империи в силу описанных выше причин, чем дальше, тем чаще, тоже складывалась своего рода кабацкая атмосфера, покровительство оборачивалось грубой издевкой, наглостью и цинизмом, а зависимость — унижением:

*Ты хоть свободный и — думаешь сам — собутыльник патрону,  
Он-то считает, что ты привлечен ароматами кухни*<sup>58</sup>.

Вся пятая сатира Ювенала, посвященная клиентам, строится на этом контрасте нормы солидарности и практики разобщения. Патрон приглашает клиента отобедать труднопереводимой фразой: «Una simus, ait», которая означает и «проведем время вместе», и «мы ведь заодно», и «мы ведь одно целое, так будем вместе». Однако за обедом патрон «попивает вино времен консулов долгобородых», но никогда не подумает «чашу послать больному желудком другу». Человека пригласили на обед потому, что он, как и его отец и дед, клиент рода хозяина, то есть тоже свободный гражданин, тоже коренной римлянин. Но только осмелся хоть раз заикнуться, что ты как свободный

*Носишь три имени, — за ноги стащат тебя... 59.*

У римского обеда были некоторые особенности, которые сами по себе не обладали знаковым содержанием, но в описанной только что атмосфере приобретали его, становились выражением грубости, царившей на таких пирах и проституировавшей дружбу, приязнь и солидарность, которые номинально служили их поводом. Показательнее других среди таких особенностей были: сервировка блюд каждому из сотрапезников отдельно: пользование салфетками; дробность меню.

Ситуация, складывавшаяся во время обеда, хорошо выражена в эпиграмме Марциала (X, 49):

*В аметистовом, Котта, друг мой, кубке  
Черный допьяна пьешь опимиян ты,  
А меня молодым сабинским поишь,  
Говоря: «Золотой желаешь кубок?»  
Кто ж из золота станет пить помой?*

Пригласив бедного друга на обед, Котта усиленно выражает ему свою благожелательность, хочет почтить, предлагает драгоценный кубок. Дружеская солидарность превыше всего. Но при этом, как нечто естественное и само собой разумеющееся, меню у обоих сотрапезников остается разным. Тебе — одно, мне — другое. Словоупотребление при описаниях обедов показывает, что рабы, прислуживавшие за столом, ставили еду отдельно перед каждым<sup>60</sup>, но еда эта была неодинаковой, и хозяин руководил раздачей, говоря, кого чем потчевать: «Требию дай!... Поставь перед Требием!... Скушай же, братец»<sup>61</sup>. Плиний Младший описывает обед, где хозяину «и нескольким гостям в изобилии подавались прѣкрасные блюда, остальных угощали плохо и мало. Вино он разделил по трем сортам в маленьких бутылочках не для того, чтобы можно было выбирать, а чтобы нельзя было отказаться: од-

но предназначалось для него и для меня, другое для друзей пониже (друзья у него размещены по ступеням), третье для своих и моих отпущенников»<sup>62</sup>.

*...Он нарочно изводит тебя: интересней комедий,  
Мимов занятнее — глотка, что плачет по лакомству. Знайте:  
Вся та затея к тому, чтобы желчь ты вылил слезами,  
Чтобы принудить тебя скрежетать зубами подольше*<sup>63</sup>.

При таком поведении патрона не оставались в долгу и приглашенные, особенно клиенты. Рыба гнила и с головы, и с хвоста. Поскольку по идее совместная трапеза была выражением дружеской солидарности и, следовательно, взаимной приязни и помощи, издавна утвердился обычай посылать друзьям, не сумевшим прийти на обед, кое-какие лакомства от стола, а присутствующим раздавать часть обеда, которую они уносили с собой в специально прихваченной на этот случай салфетке — тарра. Во многих случаях это действительно было и оставалось формой дружеской любезности и вспомоществования. Биограф императора Пертинакса для доказательства его скупости пишет, что тот, «если желал уделить друзьям что-нибудь от своего завтрака, посылал им пару кусков мяса или часть бычьего потроха, иногда — филе курицы. Фазанов он на своих частных завтраках никогда не ел и никому не посылал»<sup>64</sup>. Следовательно, обычно не такие скупые люди посылали и фазанов, и мяса не «пару кусков», а значительно больше.

Но, по мере того как дружеский характер обеда становился все больше условной декорацией, а патроны превращали его в издевательство над друзьями и клиентами, распоясывались и последние. Салфетки крали, сознательно путая принесенные с собой, очевидно плохие и старые, с хозяйскими, хотя тарра обычно имела широкую цветную кайму<sup>65</sup> и отличить свою от чужой было проще простого. «Дай салфетки гостям, наши платки береги», — наставляла рабов-прислужников надпись в триклинии одного из помпейских домов<sup>66</sup>. В салфетку можно было спрятать не только то, что человеку дали, но и то, что он успел схватить с блюда сам. На некоем обеде раздавали яблоки, по штуке на каждого из сотрапезников, «ну а я, — рассказывал один из гостей, там бывших, — утащил два; вот они здесь у меня, завязанные в салфетку»<sup>67</sup>. Марциал описывает гостя, который утаскивает «в промокшей салфетке» больше половины обеда<sup>68</sup>. Раздача тарелок с едой, кусков мяса, яблок в руки каждому из приглашенных была обусловлена, очевидно, не только обычаем, но и практической необходимостью предупредить стремление клиентов урвать себе побольше за счет дру-

стояли на столах все время (описанный выше знакомец Плиния с его «маленькими бутылочками» — редкое исключение), и вот за них-то и начинались подлинная драка:

*...Как загорится вокруг сагунтинской бутылки сражение  
Между когортой отпущенников и отрядом клиентов*<sup>69</sup>.

Выше говорилось о том, что меню римских званых обедов было очень дробным — перемен могло быть четыре или пять, самое большее семь, но в каждую из них входили разные и подчас никак между собой не связанные кушанья. Там, где утрачивалось чувство меры и приличия, где хозяину важно было выставить напоказ свое богатство, а приглашенному — на даровщинку наесться за троих, эта бесконечная смена блюд приводила к тому, что обед превращался в гастрономический марафон, в бесконечное обжорство и оргию. За несколько часов непрерывной еды на таких обедах человек поглощал кабана, зайцев, камбалу, барвен, устриц, шампиньоны, колбасы, артишоки, сыр, пироги, перемежаемые разносолами, уснащенные самыми затейливыми приправами, для которых, например, «драгоценный рыбный рассол надо с фалерном смешать»<sup>70</sup>. Все это орошалось огромным количеством вина<sup>71</sup>, кому хорошего, кому плохого, но равно действующего на воображение, чувства и речь. Сопровождавшие такой обед пайгомины и песни все гуще уснащались непристойностями<sup>72</sup>, танцевали у столов все менее одетые женщины<sup>73</sup>. Вот молодой раб несет к столу *crustula* (пирожные) и облизывает их по дороге, вот другой делает вид, что что-то уронил, и, нагнувшись, пытается оторвать один из листков золотой фольги, которыми отделано пиршественное ложе. Многих из присутствующих рвет на мозаичный пол, в подставленные золотые лохани<sup>74</sup> — одних оттого, что они слишком много съели и выпили, других — потому, что им хочется еще есть и пить и они искусственно вызывают рвоту, очищая место в желудке: «*vomunt ut edant, edunt ut vomant*» («извергают пищу, чтобы есть, и поглощают ее, чтобы извергнуть») <sup>75</sup>. Беспорядочную речь прерывают непристойные звуки<sup>76</sup> ...*Neu, sacra mensae!*... О, святость застолья!...

И здесь, однако, все это распутство и распад вызывали сопротивление, исходившее отчасти от консервативных семей, преимущественно провинциального происхождения и державшихся своей провинциальной порядливости, а отчасти от своеобразной римской интеллигенции. Можно ли видеть здесь защитную реакцию сознания, не порвавшего еще связей с традициями общины и бытовыми привычками, рожденными в ее недрах? И да, и нет; это «да» и это «нет» сливались в едином понятии — стилизации.

Первым и главным признаком таких антиобедов была скромность. В отличие от ночных многочасовых пиров нуворнишей такая сеча бывала недолгой. Гораций предлагает другу коротать с ним время за столом «до вечера»<sup>77</sup>. Плиний, соглашаясь принять приглашение на такой обед, ставит условие: «он должен быть коротким»<sup>78</sup>. Меню здесь может быть сколь угодно разнообразным, но оно никогда не бывает слишком обильным, а главное, в нем необычно большую роль играет свежая зелень, только что сорванные плоды и овощи, сообщающие всей трапезе скромное изящество и естественность, близость к природе: «и дешевый латук, и лук пахучий... и капуста зеленой в черной плошке, что я только что снял со свежей грядки», на десерт — вяленый виноград, груши, каштаны, а если гость после обеда захочет еще выпить, то на закуску пойдут «отборные маслины, свежесобранные с пиценских веток»<sup>79</sup>.

Особый характер носили на таких дружеских пирушках и развлечения. То было либо музицирование на флейте, на лире, либо исполнение классических стихов:

*Пенье услышим творца «Илиады» и звучные песни  
Первенства пальму делящего с ним родного Марона*<sup>80</sup>.

Подчас подобный обед знал только один вид развлечения — так называемую «сократическую беседу», то есть разговор на философские, литературные или даже повседневные темы, но обязательно живой и остроумный, в котором собеседники состязались в находчивости. На обедах такого рода достигалось то, что декларировалось как цель совместной трапезы на буйных и неаппетитных пирах описанного ранее типа, но там никогда не получалось, — создание атмосферы искренней приязни, дружеской солидарности, духовной радости. Она царит на многочисленных пирушках, с такой любовью описанных Горацием, ее считал главным на своих обедах Плиний.

*Восемь часов возвещают жрецы фаросской Телицы,  
И копыеносцев идет новый сменить караул.  
В термах приятно теперь, а в час предыдущий в них слишком  
Душно бывает, а в шесть — в бане Нерона жара.  
Стелла, Каний, Непот, Цериалий, Флакк, вы идете?  
Ложь мое для семи: шесть нас, да Луна прибавь.  
Ключница мальв принесла, что тугой облегают желудок,  
И всевозможных приправ из огородов моих...  
Ломтики будут ящ к лацерте, приправленной руттой,  
Будет рассол из тунцов с выменем подан свиным.  
Это закуска. Обед будет скромный сразу нам подан:*

*Будет козленок у нас, волком зарезанный злым,  
И колбаса, что ножом слуге не приходится резать,  
Пища рабочих — бобы будут и свежий салат;  
Будет цыпленок потом с ветчиной, уже поданной раньше  
На три обеда. Кто сыт, яблоки тем я подам  
Спелые вместе с вином из номентской бутылки без муты,  
Что шестилетним застал, консулом бывши, Фронтин.  
Шутки без желчи пойдут и веселые вольные речи:  
Утром не станет никто каяться в том, что сказал...<sup>81</sup>.*

В многочисленных описаниях такого рода пирушек обращает на себя внимание сознательное противопоставление их богатым и безвкусным обедам, с которыми мы познакомились выше. Были даже исследователи, видевшие в «сравнении пиров» одну из устойчивых тем римской литературы<sup>82</sup>. Уже Цицерон писал о том, что его обеды строятся как контраст к пирам богатых вольноотпущенников<sup>83</sup>. У Горация горожанин, мечтающий о радостях сельской жизни, говорит, что, если есть у него домашняя трапеза, «тогда не надо ни лукринских устриц мне, ни губана, ни камбалы»<sup>84</sup>. Целая сатира Ювенала (одиннадцатая), несколько писем Плиния<sup>85</sup>, два стихотворения Марциала<sup>86</sup>, тирады Сенеки<sup>87</sup> разрабатывают ту же тему. Скромный дружеский обед переставал быть фактом гастрономии и быта. В своем противопоставлении пьяным безобразным ночным пирам он становился выражением осознанной жизненной позиции.

Смысл ее обусловлен тем, что эти простые дружеские пирушки были, по всему судя, в большей мере мечтой, игрой или позой, чем фактом повседневной действительности. Гораций описывает «пир, достойный богов», который он устроил бы в своем сельском доме для хороших друзей, где веселые рабы подавали бы простую здоровую пищу, а сотрапезники беседовали бы о добре и зле, о дружбе и добродетели, если бы... он не жил постоянно в Риме и не терял день за днем в городской суете<sup>88</sup>. У Вергилия поэтический застольный отдых под шум говорливого ручья, среди цветов в саду, где подается «вино, по смоленным кувшинам разлито», а к нему — в корзинах сыр, сочащийся влагой, сливы, каштаны и «сладкие рдеющие яблоки», — всего лишь обещание, реклама, которой заманивает распутная и пьяная трактирщица гостей в свою «дымную таверну»<sup>89</sup>. Противоречие между теплыми, простыми, дружескими «пирами, достойными богов», и реальной жизнью было настолько очевидным, что сами их защитники и участники ясно отдавали себе в нем отчет и не удерживались порой в своих описаниях от иронии. Патриархальную сельскую жизнь с ее простой и здоровой пищей прославляет ростовщик в промежутке между своими финансовыми махинациями<sup>90</sup>. Живописав прелести дружеского обеда, ревнитель римской старины под конец признается, что сам он вряд



ли мог бы выдержать подобные трапезы дольше нескольких дней<sup>91</sup>. В то же время обеды этого типа, бесспорно, происходили, и часто; нет никаких оснований видеть в бесчисленных их описаниях одни лишь выдумки, хотя противоречие их с развитием жизни, с господствующим вкусом времени очевидно. Модусом их существования и формой преодоления этого противоречия была стилизация — явление, играющее столь значительную роль в римской культуре конца Республики и Ранней империи, составляющее одну из главных их характеристик.

Мы уже неоднократно убеждались, что в том состоянии патриархальной бедности, простоты и равенства, гражданской и дружеской солидарности, которое столетиями рассматривалось в Риме как норма и высшая ценность родной истории, всегда было заключено определенное противоречие с развивающейся, исполненной напряженных социальных конфликтов жизнью. В условиях Рима I в. до н. э. — I в. н. э., пока основой всякой морали и всякой ценности оставалась верность исходным порядкам общины, а ход времени и неотделимое от него развитие наглядно разрушали их, справляться с этим противоречием можно было несколькими путями. Один из них состоял в том, чтобы его констатировать без больших раздумий.

Стилизованные дружеские пирушки были отражением другой возможной здесь позиции. В основе бытовой стилизации лежит верность норме, но такой, которая перестала или перестает ею быть, следовать которой поэтому все-таки можно и нужно, но лишь почувствовав одновременно и еще ее привлекательность, и уже ее несерьезность, то есть с известной иронией. Стилизованный быт образует особую сферу, где соединяются стремление воспроизвести ушедшие формы существования с осознанием невозвратимости их былого, подлинного смысла, ощущение всей необратимости хода времени — с попытками его задержать либо при помощи эстетической игры, либо в надежде, что все-таки, может быть, как-нибудь... Ирония и самоирония, нетвердая вера и наивная надежда звучат здесь еще единой мелодией.

Значение так понятого принципа стилизации — а вместе с ним и интересующих нас сейчас стилизованных дружеских застолий — выходит далеко за рамки быта как такового. Как оратор, как философ и государственный деятель, Цицерон к концу жизни ясно понял всю невозвратимость римской городской республики с ее набором ценностей и оплакал ее «сильнее и дольше, чем любая мать своего единственного сына»<sup>92</sup>. Но в эти же годы он для себя воссоздал ее в стилизованной атмосфере своих поздних диалогов, где проблемы государства решаются не проскрипциями, захватом власти или драками на форуме, а в беседах людей государственных и в то же время интеллигентных, порядочных, образованных, на их скромных и изящных виллах или в уютном садике городского особ-

няка. Очень много лет спустя, во II в. н. э., простые жители империи, никогда не читавшие Цицерона, собирались в своих «коллегиях простых людей» на совместные трапезы, испытывая, хотя и совсем по-другому, те же самые чувства. Их обеды не имели уже ничего общего с теми «харистиями», о которых когда-то писал Валерий Максим, но потребность в *sacra mensae*, в том, чтобы ощутить себя среди *necessariae personae*, оставалась, и они удовлетворяли эту потребность, записывая в уставе своих трапез те же правила поведения, почти теми же словами, радуясь и веря им и в то же время ясно понимая, что вряд ли окружающая действительность, разобщенная, грубая и нищая, может им соответствовать: «А если у кого есть какая жалоба или сообщение, пусть доложит об этом в собрании, дабы в мире и радости угощались мы в торжественные дни»<sup>93</sup>. Вне такого стилизованного бытия, условного, чуть грустного и чуть не все-речь, непонятны не только дружеские обеды Марциала и его сотрапезников, но и самые разные проявления всей этой культурной эпохи — многие оды Горация, весь мир римской элегии и особенно Проперция, пейзажные фрески Кампании, даже «Диалог об ораторах» Тацита, да и сама атмосфера принципата, где стилизовался под *civitas Romana* все дальше уходивший от нее Рим.

1985

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> См.: *Постгейт Р.* Меню британцев // Англия, 1963, № 2, с. 49—59.
- <sup>2</sup> Примечательно, что в Париже, например, слово *souper* 'ужин' полностью вышло из употребления, но сохранилось в Лионе и южных департаментах.
- <sup>3</sup> Так, в Светониевой биографии Гальбы (гл. 22, 1) специально оговаривалось в качестве индивидуальной его особенности, что «ел он, говорят, очень много и зимой начинал закусывать еще до света».
- <sup>4</sup> В это время даже в знатных и зажиточных семьях «подавалась, по обычаю предков, еда простая и легкая» (*Плиний Мл.* Письма, III, 5, 10).
- <sup>5</sup> Они представляли собой холодные закуски, не требовавшие особой подготовки; единственной серьезной трапезой был вечерний обед. (См.: *Carcopino J.* Daily Life in Ancient Rome. S. l. 1941 (reprint 1975)). По техническим причинам мне был доступен только данный, английский, перевод этой работы французского ученого.
- <sup>6</sup> См. примеч. 4 к данному очерку.
- <sup>7</sup> У Плиния сказано «часу в седьмом», что у римлян примерно соответствовало нашему первому часу дня. Приведем здесь для дальнейших справок таблицу соответствий римских и современных часов дня.

(По кн.: Сергеевко М. Е. Письма Плиния Младшего. М.; Л., 1950, с. 486—487, примеч. 1.)

### З и м а

1-й час	= 7 ч. 33 м. — 8 ч. 17 м.
2-й	= 8 ч. 17 м. — 9 ч. 02 м.
3-й	= 9 ч. 02 м. — 9 ч. 46 м.
4-й	= 9 ч. 46 м. — 10 ч. 31 м.
5-й	= 10 ч. 31 м. — 11 ч. 15 м.
6-й	= 11 ч. 15 м. — 12 ч. 00 м.
7-й	= 12 ч. 00 м. — 12 ч. 44 м.
8-й	= 12 ч. 44 м. — 13 ч. 29 м.
9-й	= 13 ч. 29 м. — 14 ч. 13 м.
10-й	= 14 ч. 13 м. — 14 ч. 58 м.
11-й	= 14 ч. 58 м. — 15 ч. 42 м.
12-й	= 15 ч. 42 м. — 16 ч. 27 м.

### Л е т о

1-й час	= 4 ч. 27 м. — 5 ч. 42 м.
2-й	= 5 ч. 42 м. — 6 ч. 58 м.
3-й	= 6 ч. 58 м. — 8 ч. 13 м.
4-й	= 8 ч. 13 м. — 9 ч. 29 м.
5-й	= 9 ч. 29 м. — 10 ч. 44 м.
6-й	= 10 ч. 44 м. — 12 ч. 00 м.
7-й	= 12 ч. 00 м. — 13 ч. 15 м.
8-й	= 13 ч. 15 м. — 14 ч. 31 м.
9-й	= 14 ч. 31 м. — 15 ч. 46 м.
10-й	= 15 ч. 46 м. — 17 ч. 02 м.
11-й	= 17 ч. 02 м. — 18 ч. 17 м.
12-й	= 18 ч. 17 м. — 19 ч. 33 м.

<sup>8</sup> См.: Плиний Мл. Письма, VI, 16, 5.

<sup>9</sup> См.: Сенека. Нравственные письма, 83, 5—6.

<sup>10</sup> Светоний. Божественный Август, 76, 11.

<sup>11</sup> Марциал, VI, 75.

<sup>12</sup> См. примеч. 10.

<sup>13</sup> См. примеч. 9.

<sup>14</sup> Цитаты из «Moretum» даны в переводе С. Ошерова.

<sup>15</sup> Справившись с примеч. 7, читатель может представить себе распорядок римского дня на основании стихотворения Марциала:

*Первый час и второй поутру  
посетителей мучат,  
Третий к дневному труду  
стряпчих охрипших зовет;  
С трех до пяти занимается  
Рим различной работой,  
Отдых усталым шестой  
вплоть до седьмого дает;  
Хватит с семи до восьми  
упражняться борцам умащенным,  
Час же девятый велит  
ложу застольные мять...*

(IV, 8, 1—6).

<sup>16</sup> Плиний Мл. Письма, III, 5, 13.

<sup>17</sup> См.: Светоний. Божественный Август, 78, 1.

<sup>18</sup> Светоний. Нерон, 27, 2.

<sup>19</sup> См.: Петроний, 79.

<sup>20</sup> См.: Лукреций, II, 26; Тацит. История, I, 80—81; III, 38, 1.

<sup>21</sup> Марциал, V, 79; ср. III, 82.

<sup>22</sup> «Рабы унесли все столы и принесли на их место другие» (Петроний, 68).

<sup>23</sup> Там же, 66.

<sup>24</sup> «Часто обед бывает украшен комическими представлениями» (Плиний Мл. Письма, III, 1, 9); «Шуты, балетные танцоры и дураки бродили между столами» (там же, IX, 17, 1).

<sup>25</sup> Валерий Максим, II, 1, 8.

<sup>26</sup> Как полагали, например, издатель «Анналов» Тацита А. Фюрно и их издатель и комментатор Э. Кёстерман. См.: *Cornelii Taciti Annalium ab Excessu Divi Augusti Libri / The Annals of Tacitus* edited by H. Furneaux, 2nd ed. Oxford, 1907 (reprint 1974), p. 174; *Cornelius Tacitus. Annalen. Bd III, Buch 11—13 / Erläutert und mit einer Einleitung versehen von E. Koestermann. Heidelberg, 1967, S. 267.*

<sup>27</sup> Ливий, 39, 43; ср.: Тацит. Анналы, II, 65, 4; XIII, 17, 3; XV, 52, 2.

<sup>28</sup> Для обозначения подобного рода коллективов в социальной психологии используется термин «малая группа». См.: Десев Л. Психология малых групп. М., 1979, с. 12, 23. Употребление этого чисто психологического термина в исторических работах представляется, однако, неудобным. Поэтому в последующем изложении примерно в том же смысле использованы синонимические выражения «социальная микрообщность», «микросообщество», «(социальная) микрогруппа» и др. Они носят описательный характер и не должны рассматриваться как термины. Подобное словоупотребление принято в литературе по истории античности — см. раздел о социальных микрообщностях (*microunités sociales*) в кн.: Cizek E. Néron. Paris, 1982, p. 173—256, и в работах, указанных в дальнейших примечаниях.

<sup>29</sup> Древнейший текст, относящийся к микрогруппам, содержался в законах Двенадцати таблиц (V в. до н. э.). Он известен в изложении юриста II в. н. э. Гая: «Сотоварищи — это люди, принадлежащие к одному товариществу, из тех, что греки называют *ἑταῖροι*. Закон (имеется в виду закон Двенадцати таблиц — Г. К.) разрешает им объединяться на любой основе, какая им угодна, если только они этим не нарушают законов государства» (Дигесты, 47, 22, 4).

<sup>30</sup> Как явствует из непредвзятого чтения письма Плиния Траяну (Плиний Мл. Письма, X, 96) и ответа императора (там же, 97). Эти два письма и в связи с ними общая проблема отношения римских властей к ранним христианам (до начала официальных гонений) поро-

дили огромную литературу. Ее краткая классификация, библиографические указания и современное состояние вопроса содержатся в комментарии к данному письму Шервин-Уайта (*Sherwin-White A. N. The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary. Oxford, 1966*). Насколько можно судить, из серьезных работ только в одной раннехристианские общины рассматривались как недозволенные коллегии (см.: *Merrill E. T. Essays in Early Christian History. London, 1924, ch. 7*), но этот взгляд поддержки не получил.

<sup>31</sup> Имеется в виду сенатус-консульт и, кажется, закон 64 г. до н. э. (по другим данным, 68-го), о которых идет речь в Псевдо-Аскиониевых комментариях к речи Цицерона против Пизона (IV, 8) и в защиту Корнелия Балба. См.: *F. M. de Robertis. Storia delle corporazioni e del regimo associativo nel mondo Romano. Vols I—II. Bari, 1971, p. 84 squ.*

<sup>32</sup> *Tacit.* Анналы, XIV, 17: «...сенат распустил созданные помпейцами вопреки законам товарищества». Сохранилась надпись из Лугдунума (ныне Лион), где завещатель оставляет 200 денариев «всем дозволенным сообществам» (Корпус латинских надписей, XIII, 1921), — его завещание тем самым не распространялось на недозволенные, которые, следовательно, существовали вполне явно. Ср. там же надпись 1974-ю аналогичного содержания.

<sup>33</sup> Лучшими общими обзорами до сих пор остаются обзор Ф. Поланда (*Poland F. Geschichte des griechischen Vereinswesens. Leipzig, 1909*) и особенно старая работа Э. Цибарта (*Ziebarth E. Das griechische Vereinswesen. Leipzig, 1896*). Важный конкретный материал см. в статьях Л. М. Глускиной (в кн.: *Античная Греция, т. II. Кризис полиса. М., 1983, с. 14, примеч. 27; с. 54, 59*) и О. Мэррея (*Murray O. Early Greece. London, 1980, ch. 12*).

<sup>34</sup> Развитию этой мысли на греческом материале посвящена статья: *Murray O. The Greek Symposion in History // Tria Corda. Scritti in onore di Arnaldo Momigliano. Como, 1983*. Один из выводов автора состоит в том, что «почти все отличительные черты развитой культуры архаической Греции являются выражением застольного принципа жизни (*symptotic way of life*)» (с. 264).

<sup>35</sup> См.: *Meslin M. L'homme romain. Paris, 1978, p. 45.*

<sup>36</sup> *Цицерон*. Катон, или О старости, XIII (45). Пер. В. О. Горенштейна.

<sup>37</sup> См., в частности, «Корпус латинских надписей» (IX, 1618), а также надписи, собранные в приложении к кн.: *Jaczynowska M. Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire. Wroclaw, 1978.*

<sup>38</sup> См.: *Friedländer L. Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. 2. Teil. Leipzig, 1881, S. 32 ff.*

<sup>39</sup> После всех многочисленных дискуссий эта цифра представляется все же наиболее вероятной. См.: *Eschebach H. Pompeji. Erlebte antike Welt. Leipzig, 1978, S. 6, Nr. 1.*

<sup>40</sup> *Марциал*, V, 70, 3.

<sup>41</sup> См.: *Ювенал*, VIII, 176.

- <sup>42</sup> Писатели истории императорской. Адриан, 16, 3.
- <sup>43</sup> *Флавий Арриан*. Рассуждения Эпиктета, XI, 23, 36.
- <sup>44</sup> *Kleberg T.* In den Wirtshäusern und Weinstuben des antiken Rom. Berlin, 1963, S. 32.
- <sup>45</sup> *Дион Кассий*, 60, 6, 6.
- <sup>46</sup> Корпус латинских надписей, IV, 575.
- <sup>47</sup> *Ювенал*, VI, 122.
- <sup>48</sup> См.: Корпус латинских надписей, IV, 2175.
- <sup>49</sup> *Ювенал*, VIII, 177—178.
- <sup>50</sup> См.: *Аммиан Марцеллин*, XXVIII, 4, 4.
- <sup>51</sup> *Тертуллиан*. О бегстве при гонениях, 23. См.: *Fiedländer L.* Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, S. 38.
- <sup>52</sup> III, 56, ср. I, 56 и *Bücheler F.* Carmina latina epigraphica, t. I—II. Lipsiae, 1895—1897, Nr. 930.
- <sup>53</sup> См.: *Bücheler F.* Carmina latina..., Nr. 932.
- <sup>54</sup> Ibid., Nr. 931.
- <sup>55</sup> См.: Евангелие от Луки, 10, 34—35.
- <sup>56</sup> Корпус латинских надписей. IV, 9131. Цит. По: *Krenkel W.* Pompejanische Inschriften. Leipzig, 1961, S. 36.
- <sup>57</sup> См.: *Юлий Фронтин*. О водопроводах города Рима, 76.
- <sup>58</sup> *Ювенал*, V, 161—162.
- <sup>59</sup> Там же, 125—126.
- <sup>60</sup> «Circa cicer et lupinum, calvae arbitrato, et mala singula... in summa habuimus... cochleas singulas». (Petr. 66); «Pertinax... dimidiatas lactucas et cardus in privata vita convivisis adponeret. (SHA. Pert. 12, 2).
- <sup>61</sup> *Ювенал*, V, 135—136.
- <sup>62</sup> *Плиний Мл.* Письма, II, 6, 2.
- <sup>63</sup> *Ювенал*, V, 157—160.
- <sup>64</sup> Писатели истории императорской. *Пертинакс*, 12, 6.
- <sup>65</sup> См.: *Марциал*, IV, 46, 17.
- <sup>66</sup> *Сергеенко М. Е.* Помпеи. М.; Л., 1949, с. 185.
- <sup>67</sup> *Петроний*, 66.
- <sup>68</sup> *Марциал*, II, 37, 7.
- <sup>69</sup> *Ювенал*, V, 28—29.
- <sup>70</sup> *Марциал*, VII, 27.
- <sup>71</sup> *Марциал*, I, 71; VIII, 50(51), 21; XI, 36; XIV, 170.
- <sup>72</sup> См.: *Тацит*. *Анналы*, XI, 31.
- <sup>73</sup> См.: *Ювенал*, XI, 162 и след.
- <sup>74</sup> Он же, VI, 429 и след.

правую сторону фигуры, образуя так называемый синус, и протягивали оставшуюся, последнюю треть снова на левое плечо (так называемая *contabulatio*), забросив конец за спину; правое плечо, верхняя часть правого бока и правая часть груди оставались открытыми. Дальше можно было действовать одним из трех способов: либо ткань свободно спадала по спине, конец ее подбирали и перекидывали через локоть согнутой левой руки; либо она еще раз укрывала спину, еще раз проходила под правой рукой и, смешавшись со складками синуса, выходила к *contabulatio* и засовывалась за нее несколько раз, образуя на груди толстый узел, так называемый умбон; либо, наконец, по мнению некоторых исследователей (едва ли убедительному), оставшийся конец можно было спустить по спине до щиколоток, подхватить, пропустить между ногами и засунуть за *contabulatio*, образуя умбон таким способом<sup>3</sup>.

Семантика тоги состояла, во-первых, в том, что она была торжественным, государственно обязательным и как бы сакральным одеянием именно римлян, воплощавшим их традиции, их самосознание и отличавшим их от всех других народов официальным облачением римского гражданина. Когда в 80 г. до н. э. царь Понта Митридат решил разом покончить с властью римлян в Малой Азии и истребить римлян, находившихся в городах этой провинции, он приказал своим сторонникам убивать всех, кто одет в тогу. Более верного способа отличить римлян от неримлян, по-видимому, не существовало. Будучи уже принцепсом, то есть в конце I в. до н. э. или в самом начале I в. н. э., Август увидел на римском Форуме группу граждан, стоявших без тог, в одних туниках. Он сделал им через младшего магистрата резкий выговор, настаивая на том, что нет для римлянина большей чести, чем выйти на Форум в тоге, и нет большего бесчестия, чем оказаться без нее<sup>4</sup>. Именно в правление Августа Вергилий в «Энеиде» назвал римский народ «одетое тогами племя»<sup>5</sup>. И в последние годы подлинного, собственно античного Рима христианский епископ и отец церкви Тертуллиан посвятил особое сочинение осуждению тоги как символа римского образа жизни и римской цивилизации и защите плаща, *pallium*'а, бывшего в его глазах традиционной одеждой народов, угнетаемых Римом и противостоящих ему. «Когда ты сменил, Карфаген, плащ на тогу? Тогда, когда ты и сам стал другим, подчинившись власти римлян... Тебе предложили тогу, и ты стал частью Рима»<sup>6</sup>.

Вторая семантическая характеристика тоги состояла в том, что на нее наносилась широкая алая или пурпурная полоса, которая отличала, во-первых, сенатора от лиц других сословий и, во-вторых, детей из знатных семей, носивших тогу с полосой до шестнадцатого года жизни, когда ее торжественно складывали с себя в присутствии всех

членов фамилии, перед изображением семейных божеств<sup>7</sup>, а подросток, рюг, становился *juvenis* — юношей, готовящимся к магистраторской карьере, и в ознаменование этого получал белую тогу взрослого человека — *toga pura*. Тога с полосой, таким образом, была элитарной одеждой, а сама полоса — знаком аристократии и магистратов.

На скульптурных изображениях таких лиц полосу, по-видимому, наносили краской, которая с веками стерлась, смылась, и многие детали мы и здесь представляем себе плохо. Неясно, в частности, как наносили полосу на тогу — нашивали ее сверху, окрашивали край самой ткани или полоса была воткана в край нитками другого цвета. Название такой тоги — «*praetexta*» (буквально: «затканная спереди») — заставляет предпочесть последний вариант остальным. Не вызывает, по-видимому, сомнений расположение полосы: она шла только по прямому краю тоги и никогда — по скругленному, была видна, следовательно, не на подоле, а на левом плече, на пересекавшей грудь *contabulatio* и кое-где в умбоне, придавая живописную импозантность фигурам носителей власти и резко выделяя их среди граждан.

Туника представляла собой шерстяную рубашку с короткими рукавами или вообще без них. Обычно ее носили с поясом и с довольно большим напуском; туника без пояса воспринималась, как в наше время воспринимается белье, и появляться в ней вне дома считалось неприличным. Шейного выреза у туники, как правило, не было, но кроили ее так, чтобы на переходе от груди к шее она слегка отставала от тела, образуя характерный клапан.

Знаковая роль туники сводилась на первый взгляд к тому, что на нее наносилась вертикальная полоса алого или пурпурного цвета, отличавшая представителей двух высших сословий — сенаторов и всадников — от остальных граждан. У сенаторов по тунике от ворота до подола спереди и сзади проходила одна широкая полоса, у всадников так же располагались две узкие. Эта полоса называлась «*clavus*», и, соответственно, сенаторская туника была «*laticlava*» («широкополосная»), а всадническая — «*angusticlava*» («узкополосная»). Этим, однако, семантика туники далеко не исчерпывалась. Ей был присущ, кроме того, особый, зыбкий и изменчивый, но ясно воспринимавшийся коренными римлянами знаковый смысл. Он связан с историей этого вида одежды и основан на тех воспоминаниях об этой истории, которые сохранялись в памяти народа.

Одежда вообще делилась в глазах римлян на две главные разновидности — со швами, кроеную, и без швов, драпирующую тело. Последний тип был характерен для египтян, греков, римлян и воспринимался как признак средиземноморской культуры, городской цивилизации, в отличие от сшитой одежды, распространенной у народов пери-



ферии античного мира — галлов, германцев, парфян — и считавшейся признаком варварства. Слова, обозначавшие оба главных вида кроёной одежды, штаны и рубаху, — «brassae» и «capisa» — представляли собой галльские заимствования, проникли в латинский язык довольно поздно, отмечаются на периферии римского мира и старому языку самого города Рима неизвестны. Когда Юлий Цезарь ввел в сенат некоторых представителей галльской аристократии и они облачились в претексты, римских остроумцев больше всего забавляло то, что им пришлось отказаться от штанов. В ходившей по Риму сатирической песенке вся соль состояла в соединении этих двух в принципе несовместимых видов одежды — исконно римской и варварской:

*Галлы скинули штаны —  
Тоги с красным им даны*<sup>8</sup>.

Такого рода примеры можно умножить. Они подтверждают, что, в отличие от варварской, вся исконная, собственно римская одежда, в том числе и туника, произошла из кусков ткани, драпировавших тело, и что подобный способ создания одежды в какой-то мере всегда сохранял значение нормы.

Первоначально таких кусков было два — набедренная повязка (cinctus или subligaculum) и тога. «Мужчинам изначально одеждой служила просто тога, — сообщает Авл Геллий, — без туники, позже они стали носить короткие и узкие туники, которые оставляли плечи незакрытыми»<sup>9</sup>. У нас есть основания видеть в этих упоминаемых Геллием примитивных туниках такие же простые куски ткани, обертываемые вокруг тела, но только, в отличие от тоги, скрепленные фибулами или захлестнутые один на другой. Не случайно один из древнейших дошедших до нас предметов, связанных с одеждой и изготовленных на заказ римским ремесленником для одного из сограждан, представляет собой фибулу<sup>10</sup>. Она предполагает какую-то одежду, кроме тоги и набедренной повязки, причем такую, где составные части не сшивались, а скалывались. То могли быть либо два куска ткани, один спереди, другой сзади, скреплявшиеся фибулами на плечах и по бокам (так выглядели древнейшие туники у соседей римлян — греков, называвших их «дорический хитон») <sup>11</sup>, либо один кусок, края которого как-то складывались и закреплялись на левом боку, оставляя правое плечо открытым. Такие туники видны на некоторых статуях и рельефах, представляющих людей, занятых физическим трудом.

Таким происхождением естественнее всего объясняется та семантическая двойственность, которая ощущается в тунике в конце Республики и при Ранней империи. Туника, выкроенная, тщательно подо-

гнанная и аккуратно сшитая, была в повседневной жизни повсеместно распространена и безусловно обязательна, и в то же время она, по-видимому, представлялась римлянам своеобразной уступкой безгероической современности, некоторым отказом от древнего и высокого канона. Во внебытовых условиях этот канон подлежал восстановлению, а эта уступка — осуждению. Так, были семьи, в частности из древнего аристократического рода Корнелиев Цетегов, где туники оставались запрещенными и в историческое время<sup>12</sup>; жрец (фламин) Юпитера не мог носить никакой одежды, кроме драпирующей фигуры<sup>13</sup>; римские цари изображались на статуях в одних тогах, без туник<sup>14</sup>, и статуи первых принцепсов нередко следовали этой традиции. Катон Младший, использовавший всякий повод для демонстрации своей возвышенной преданности римским героическим обычаям, ходил без туники<sup>15</sup>.

По всему этому судя, туника должна была восприниматься как одежда, разумеется, общая и необходимая, но все-таки прежде всего бедняцкая, лежащая вне исконной традиции. У Горация мелкий торговец продает *vīlia* («никчемную ветошь») *tunicato popello* («народишку в туниках») <sup>16</sup>. Обвиняя в тирании местных магистратов города Капуи, Цицерон говорил об ужасе, который они внушают простому народу — «всем этим в туниках»<sup>17</sup>. Особенно показательно словоупотребление Тацита, который различает в римской толпе «*vulgus imperitum*», то есть «чернь, несведущую в государственных делах», не имеющую отношения к самоуправлению общины, и «*tunicatus populus*», то есть народ, собственно римлян, но отличительным признаком которых является туника<sup>18</sup>.

Эта семантика туники не в последнюю очередь объяснялась, по-видимому, тем, как она была скроена и сшита. Особое раздражение поклонников и децов римской старины вызывала та часть ее, в которой крой был представлен наиболее явно, — рукава. «С лентами митры у вас, с рукавами туники ваши», — говорят у Вергилия латинские воины троянцам, упрекая их в изнеженности<sup>19</sup>. Приведя этот стих, Авл Геллий добавляет: «Также и Квинт Энний употребляет, говоря о молодых карфагенянах, слова „облаченная в туники юность“ не без осуждения»<sup>20</sup>. Контекст этих слов у Энния нам неизвестен, но, судя по ассоциации, которую они вызвали у Геллия, непосредственной причиной осуждения и здесь должны были послужить рукава<sup>21</sup>. О времени появления таких туник в Риме и об их дальнейшей эволюции будет сказано несколько позже в иной связи.

Стола играла в женской одежде такую же роль, как тога в мужской, — удостоверяла принадлежность женщины к римской гражданской общине, ее положение жены и матери (девушки и незамужние

женщины стол не носили). Она представляла собой длинную и широкую тунику, перепоясанную дважды — под грудью и ниже талии. О длине ее и рукавах судить трудно, так как столу носили всегда (по крайней мере судя по сохранившимся изображениям) вместе с паллой — большим куском ткани, окутывавшим почти всю фигуру и скрывавшим детали. На помпейской статуе Юноны, одетой как знатная римлянка, — единственном, кажется, изображении столы, где палла спущена, — рукавов нет. Так же трудно судить и о длине столы, потому что второй, нижний ее пояс прихватывал еще один кусок ткани, окутывавший бедра и ноги наподобие длинной юбки и тяжелыми, обильными складками спускавшийся до земли; из-под паллы была видна лишь эта «юбка», которую римляне называли *«instita»* («оборка»).

Независимо от того, были у столы рукава или нет, она полностью укладывалась в древнеримский канон драпирующей, а не кроёной одежды, так как непосредственно, зрительно, была неотделима от паллы и инститы и воспринималась вместе с ними как единая одежда, обволакивавшая фигуру женщины наподобие того, как тога обволакивала фигуру мужчины, с той, однако, разницей, что тога оставляла открытой по крайней мере одну руку и одну лодыжку, стола же, палла и инстита скрывали женщину целиком — видны были лишь лицо, кисти и пальцы ног. Знаковый смысл столы был связан с этим последним обстоятельством.

Римские писатели-моралисты неизменно упоминают о столе с уважением, как о символе женской чистоты: она «стыдливостью ограждает честность», в ней «тело твое не открыто ничьим вожделениям»<sup>22</sup>; насмешливое раздражение, с которым говорят о столе писатели с фривольным и озорным взглядом, лишь подтверждает такое ее значение:

*Прочь от этих стихов целомудренно узкие ленты,  
Прочь расшитый подол, спущенный ниже колен*<sup>23</sup>.

На уровне технологии одежды это назначение столы выражалось в том, что она была очень широкой и длинной и в ее бесконечных складках особенности женской фигуры скрывались полностью. Марциал говорил про старую кокетку, что у нее «больше складок на лбу, чем на собственной столе»<sup>24</sup>. На уровне общественного самосознания такой характер одежды выражал консервативную римскую мораль: «Женщины в древности носили длинные и широкие одежды, дабы скрыть от взглядов руки и ноги»<sup>25</sup>.

Попытаемся сформулировать вывод из всего вышесказанного словами одного из современных знатоков античного быта: «В жизни рим-

ляя одежда имела значение, во многих отношениях отличавшееся от того, которое придавали ей греки. В Греции одежда была чем-то личным и бытовым в собственном смысле слова, то есть в рамках общепринятой моды каждый одевался по своему вкусу и своим возможностям; когда римлянин появлялся в обществе, его одежда определялась не только весьма жестким обычаем, но и законодательными установлениями»<sup>26</sup>.

С описанными видами официальной римской одежды в особых отношениях находились собственно бытовые, или неофициальные, ее разновидности. Те и другие образовывали единую систему, дополняли и уравнивали друг друга, но в пределах этой общей системы были противоположны, образуя четко выраженный контраст.

К числу повседневных видов одежды относились лацерна, сагум, палла, пенула, камиса и, наверное, некоторые другие виды. «Наверное» потому, что повседневная одежда, в отличие от официальной, представляла собой разомкнутую систему, постоянно пополнявшуюся новыми разновидностями. Лацерна, сагум, палла (или ее мужская разновидность — паллиум) представляли собой варианты одного и того же вида одежды — плаща. То были куски ткани, как правило окрашенные, которые носили поверх тоги или туники<sup>27</sup>. Их обычно придерживали на шее или на плече с помощью аграфа, но в них можно было и просто закутываться, использовать по обстоятельствам. Когда Кассий при Филиппах, думая, что битва проиграна, решил покончить с собой, он окутал голову лацерной и лишь после этого приказал отпущеннику себя убить<sup>28</sup>. Сагум был таким же куском ткани, но обычно более толстой и грубой. Он был короче лацерны, приближался по форме к квадрату и был излюблен солдатами, особенно служившими в северных провинциях. В полосатом сагуме ходил, например, Авл Цецина, приведший из Нижней Германии в Италию легионы на поддержку Вителлия в 69 г. н. э.<sup>29</sup>. Вообще же плащ во всех его разновидностях как тип одежды отличается крайней аморфностью. Он не связан с определенным временем — в лацерне изображен на своей статуе пятикратный консул Клавдий Марцелл, погибший в стычке с передовым отрядом Ганнибала в 211 г. до н. э.; ее упоминает Цицерон<sup>30</sup>; плащ как вид одежды прославлял на рубеже II и III вв. н. э. Тертуллиан в уже упоминавшемся сочинении «De pallio». Плащ, в общем, лишен и социальной и функциональной определенности. Традиционная римская одежда, пишет Тертуллиан, «различается в зависимости от общественного положения, от состояния, от времени года, одна нужна летом, другая зимой, одна человеку знатному, другая землепашцу, одна магистрату, другая ремесленнику; плащ же во всех этих столь разных положениях остается тем же самым, и если один

отличается от другого, то лишь величиной и тем, насколько распахнутым его носят»<sup>31</sup>.

Плащ представлял собой самую общую и недифференцированную разновидность общесредиземноморской одежды — одежды-драпировки. В отличие от него и от всех многочисленных его модификаций другие предметы повседневной римской одежды — пенула и рубаха — представляют собой вариации кроёного и сшитого, то есть по происхождению своему не римского и вообще не античного платья, распространившиеся относительно поздно.

Главное, что отмечают античные авторы в пенуле, — это ее теснота. Очевидно, кроёная одежда до конца античности воспринималась как неловкая, стесняющая движения, связывающая человека. Цицерон, оправдывая Анния Миллона от обвинения в преднамеренном убийстве трибуниция Клодия, говорил, что его подзащитный не мог заранее предвидеть стычку, ибо в момент встречи с Клодием «был опутан пенулой как сетью»<sup>32</sup>. В «Диалоге об ораторах» Тацита адвокат сетует на распространившийся обычай выступать перед судьями в «пенулах, в которых мы стиснуты и как бы заперты»<sup>33</sup>. Пенула представляла собой нечто вроде пальто, обычно из толстой, а у щеголей и пушистой, материи, расстегивавшееся спереди, иногда до конца, а иногда до середины, с рукавами или прорезями для рук, чаще всего с капюшоном, который мог откидываться. Назначение его явствует из следующей фразы античного писателя Элия Лампридия, рассказывающего в биографии Александра Севера, что тот «разрешил старикам сенаторам, боявшимся холода, ходить в пенуле, ибо этот вид одежды и всегда использовался в путешествиях или для защиты от дождя»<sup>34</sup>.

Наконец, рубаха, или, иначе, туника с рукавами, появилась в Риме данно, во II в. до н. э., но, проделав сложную смысловую эволюцию, обрела права гражданства очень поздно, во II—III вв. н. э. Мы уже видели, что туника при всей ее повсеместной распространенности вызывала в Риме подчас особое отношение из-за наличных в ней элементов кроя, прежде всего рукавов. Это отношение резко обострялось и становилось раздраженно отрицательным, когда рукава становились длинными, скрывавшими руки целиком, вплоть до пальцев: к крою, всегда содержащему в себе что-то шпоземное, варварское, здесь прибавлялась забота о тепле и удобстве, воспринимавшаяся в Риме как нарушение канона мужественной простоты, как изнеженность и развращенность. Такие туники первоначально обозначались греческим словом *χειρῶδες* и, по всему судя, появились в Риме с Востока во второй четверти II в. до н. э. вместе со всеми видами удобств, комфорта и роскоши, принесенными в Рим солдатами, которые возвращались из восточных походов. Имея в виду именно это время, Сципи-

он Африканский Младший говорил об одном своем политическом противнике: «Что думать о человеке, который каждый день душится и смотрится в зеркало, подбрасывает брови, выщипывает бороду и волосы на ногах? Которого совсем еще юношей уже можно было видеть на пирах одетым в тунику с длинными рукавами...?»<sup>35</sup> Очевидно, такая *tunica manicata* вошла как обязательная составная часть в риторический образ изнеженного и развращенного богача, изменяющего заветам предков: столетием позже Цицерон описывал золотую молодежь, толпившуюся вокруг Катилины, примерно теми же словами и так же упоминал об излюбленных ими «туниках с длинными рукавами и до пят»<sup>36</sup>.

Но время шло. Туники все чаще стали надевать одна на другую. Об императоре Августе, отличавшемся слабым здоровьем, известно, например, что он носил зимами до четырех туник. При этом распространился галльский обычай выпускать из-под верхней туники рукава нижней, оторачивая их мехом или декоративными полосами. Рукав удлинялся, крой входил во всеобщий обычай, и уже император Коммод (180–192 гг. н. э.) счел возможным увековечить себя скульптурным изображением в тунике, еще подпоясанной на старый римский лад, но уже с длинными, собранными к обшлагу рукавами и, разумеется, без тоги. Один из его ближайших преемников по управлению империей, Септимий Бассиан (193–217 гг.), сделал следующий шаг. Он стал снова появляться в тунике не только с рукавами, но и длинной, почти до пят, то есть в той самой, которая некогда вызывала такое возмущение Цицерона. Теперь, однако, такую тунику носили с капюшоном, называлась она «*capasalla*», и Бассиан вошел в историю не под именем «философа на троне» Марка Аврелия, которое он принял в 196 г., а под именем Каракаллы. Эта одежда была настолько явно и демонстративно антиримской, что христианские монахи именно ее выбрали в качестве своеобразной униформы, которая выказывала всю их враждебность к традициям ненавистной им империи и которую многие из них носят до наших дней.

Отделение собственно бытовой одежды от официальной указывает на то, как отражались в народном сознании (или подсознании) определенные исторические процессы. Туника в сочетании с тогой, стола с инстинтой и паллой указывали на принадлежность к гражданской общине и ее традициям, на верность ее нормам. Но эта принадлежность и эта верность вступали в конфликт с требованиями повседневной жизни. Статус гражданина становился парадным, во внешности, ему соответствовавшей, появлялись черты декоративности и искусственности.

*Правду сказать, в большинстве областей итальянских не носят тоги, как в Риме, никто: лишь покойника кутают в тогу*<sup>37</sup>.

Тогу нельзя было надеть без посторонней помощи, то есть она предполагала слуг, что делало ее ношение затруднительным для большинства населения. Относительно столы и инситы нет сведений, но совершенство декоративных складок на античных изображениях могло бы указывать на то, что здесь положение было сходным. Парадная одежда должна была храниться не перегнутая, то есть в очепь длинных сундуках, с нарядными складками, тщательно уложенными и прихваченными специальными платяными тисками (*prela*)<sup>38</sup>. Такой способ хранения предполагал просторный дом и громоздкую мебель, то есть опять-таки был неудобен для большинства простых людей. Далеко не все римляне могли выглядеть, а потому и ощущать себя гражданами.

Главным камнем преткновения, однако, был цвет тоги. В принципе она всегда должна была быть белой: «Лилии ты и жасмины побеждаешь, еще не опавший, кости слоновой белей ты на Тибурской горе»<sup>39</sup>. Народ же в целом, в значительной части занятый физическим трудом, не мог носить белую, маркую одежду, не рискуя выглядеть постоянно грязным. У бедных людей попытки сохранить тогу белой приводили лишь к тому, что ее постоянно чистили и стирали; клиент в застиранной тоге — постоянный персонаж Марциала и Ювенала. В реальной повседневности римская толпа всегда была пестрой, цветной:

*...подходят лишь высшим эдилам*

*Белые туники — знак их достоинства и благородства*<sup>40</sup>.

Однако повседневная и официальная одежды в Риме не просто существовали в их противоположности. Они были соотносительны и потому неразрывно связаны, если не в повседневной практике, то в социально-психологической установке. Катон Цензорий ходил в тунике и плаще, но носил с собой тогу, чтобы облачиться в нее, приступая к выполнению магистратских обязанностей<sup>41</sup>. «Ты спрашиваешь, — обращался Цицерон к Марку Антонию, — как я вернулся из Галлии? Во-первых, при дневном свете, а не в ночной тьме, во-вторых, в калцеех<sup>42</sup> и тоге, а не в сандалиях и лацерне»<sup>43</sup>. Выговор, который Август сделал группе людей, стоявших на Форуме в туниках, показывает, что остальные были в тогах. В эпоху Флавиев, когда ношение лацерны распространилось очень широко, многие адвокаты стали являться в суд в накидках. По римским представлениям, однако, судебный оратор был не частным лицом, специалистом-юристом, а покровителем подзащитного, его патроном в рамках клиентельной, общинной или семейно-родовой организации, и потому, приступая к речи, адвокат как бы входил в эту свою старинную, в повседневной

практике давно уже утраченную роль: он сбрасывал лацерну и оставался в тоге <sup>44</sup>.

В результате в практической жизни один и тот же человек постоянно менял официальную одежду на повседневную и повседневную на официальную, переходя от гражданского облика к бытовому и обратно, устанавливая между ними неразрывную связь. Оба варианта лишь в своей совокупности образовывали систему одежды, которой реально пользовался римский гражданин. Его жизненное самоощущение строилось не только на описанном выше их разделении, не только предполагало омертвление официальных форм, но также взаимосвязь и взаимодействие государственной и личной сфер. Когда говорят о классическом характере антично-римской культуры, имеют в виду в ней в конечном счете подвижное равновесие между единством общественного целого и свободным многообразием граждан с их интересами. Очень важно понять, что определенный таким образом классический принцип не ограничивался общественной практикой, политико-философской теорией, областью духовной культуры и искусства, но обуславливал также повседневный строй существования, проявлялся во вкусах, привычках, атмосфере жизни, в самых повседневных вещах, в том числе в одежде. Этот принцип выражался и в неразрывной противоречивой связи официально-гражданской и повседневно-личной разновидностей одежды и, еще яснее, в индивидуальной вариативности, казалось бы, канонического и неизменного государственно значимого ее типа.

Дело в том, что в пределах четкого структурно-семантического типа каждый из перечисленных видов одежды допускал весьма значительные индивидуальные вариации. Тога была действительно официальным знаком римской гражданственности, установленным и традицией, и государственной властью, но при этом размер ее мог быть самым разным. На известной статуе Авла Метелла II в. до н. э. тога лишь прикрывает левую руку, оставляет левую ногу открытой почти до колена, более или менее лишена синуса, тогда как Цицерон говорил о единомышленниках Катилины, «закутанных вместо тог в целые паруса» <sup>45</sup>. Гораций рассказывает о вольноотпущеннике, облаченном в *bis trium ulnarum toga*, т. е. в тогу, ширина которой «вдвое три локтя», или почти три метра <sup>46</sup>, а о его покровителе Августе биограф пишет, что «тогу он носил ни тесную, ни просторную» <sup>47</sup>.

Колебался — и сильно — не только размер тоги, но и способ ее ношения. Во-первых, тогу одной и той же ширины и длины можно было носить спущенной почти до обуви и подтянутой почти до колена:

*Черной грязи грязней всегда твоя тога, но обувь,  
Цинна, белей у тебя, чем свежесывавший снег.*



*Что же ты ноги, глупец, закрываешь, спуская одежду?  
Тогу свою подбери, Цинна: испортишь башимак!*<sup>48</sup>

Оставлять, надевая тогу, правое плечо открытым было в средне- и позднереспубликанскую эпоху практически обязательным, но на могильных изображениях не только II в. до н. э. и не только молодых людей, у которых это можно рассматривать как аффектацию скромности, а и в I в. до н. э. тога целиком закрывает правое плечо и правую руку. При Ранней империи тога могла быть зимней и летней, в первом случае она делалась из ворсистой ткани, во втором — из гладкой<sup>49</sup>. В семантику тоги, как отмечалось выше, белый ее цвет входил как неременный составной элемент. Именно он в первую очередь указывал на то, что римлянин выступает как гражданин или как магистрат, как член иерархически упорядоченной системы<sup>50</sup>. В триклинии у Тримальхиона один из персонажей путается вошедшего и принимает его за претора на том единственном основании, что он в *albus vestique alba*, то есть в белой одежде<sup>51</sup>; еще при Домициане во время цирковых игр, считавшихся государственной церемонией, «народ и все всадники с сенатом со святейшим вождем сидели в белом»<sup>52</sup>. Однако, выходя из дому, каждый был волен надевать поверх тоги накидку, дабы предохранить ее от уличной пыли и грязи<sup>53</sup>, накидки же эти окрашивались<sup>54</sup>, так что один из важнейших семантических признаков тоги нейтрализовался.

То же можно сказать и о тунике. Значительно колебалась ее длина:

*...Безумный,  
Бросив один недостаток, всегда попадает в противный!  
Так, у Мальтина, вися, по земле волочитя туника;  
Ну, а другой до пупа поднимает ее, щеголяя*<sup>55</sup>.

Не менее значительно разнилась и ширина. Туника у упоминавшегося выше Авла Метелла облегает тело, на статуе Катона Младшего она несколько шире, а на относящемся в общем к той же эпохе изображении юного Камилла она широка необычайно. Объяснить последнее обстоятельство возрастом персонажа вряд ли возможно — у его ровесников с рельефов на Августовом Алтаре мира туники несравненно уже.

Особенно примечательно то, что происходит с *clavus*-ом. Казалось бы, являясь официальным символом, государственной инсигнией, он предполагает полную однозначность «прочтения» и тем самым совершенно стандартные форму и расположение. Ничего подобного, однако, не происходит. Мы уже убедились в том, что пурпурная полоса на

претексте виднелась местами, и восприятие ее зрителем зависело от индивидуальной манеры носить тогу. Сенаторская полоса на тунике, кажется, обязательно проходила от ворота до подола и по груди и спине, но ширина ее могла быть произвольной, как указывают слова Светония о том, что Август «носил полосу на тунике ни широкую, ни узкую»<sup>56</sup>. Расположение и ширина всаднических полос на тунике были, очевидно, совершенно произвольны вплоть до III в. н. э. Это является из того, во-первых, что именно в начале этого столетия Александр Север счел нужным установить их размер и форму, которые бы четко отличали их от сенаторских<sup>57</sup>, — ранее, следовательно, они упорядочены не были. Во-вторых, на помпейских фресках (*clavus* виден лишь на фигурах ларария в доме Веттиев и в сцене поклонения Венере и Марсу в доме Марка Лукреция Фронтоня) узкие полосы на туниках явно носят не смысловой, а декоративный характер: «...бесспорно, что полосы этих двух типов различались между собой только введением пурпурного цвета, а не формой»<sup>58</sup>. В-третьих, все четкие изображения двух полос, идущих параллельно от краев шейного выреза, относятся к поздней античности (они представлены, в частности, в Ватиканском кодексе Вергилия IV в.) и паличны на изображениях людей разного социального положения, в том числе и слуг; распространение таких *clavus*'ов в катакомбной живописи, и в частности на изображениях Христа, подтверждает, что если им и была присуща определенная семантика, то, во всяком случае, не имевшая отношения к римскому всадничеству классической поры.

Многообразие и индивидуальность, заключенные в стандартизованных по своему назначению видах римской одежды, образуют их специфическую черту, принципиально отличающую их от платья других народов. Если по сравнению с греческой римская одежда описанного типа действительно напоминала жестко организованный, четко семантизированный текст, то по сравнению с аналогичными материалами других, подлинно и глубоко ритуализованных цивилизаций она же воспринимается как очень свободная, в рамках типа предельно индивидуализированная и изменчивая.

Примером такой цивилизации (по крайней мере в том, что касается одежды) может служить дневнекитайская: «Халат, шапка, передник, яшмовая табличка, которую держат в руках при аудиенции, пояс, плахта, обмотки и туфли... все указывает на соблюдение установлений, соответствующих рангу»<sup>59</sup>. При этом семантика одежды задана не на уровне обязательного значимого типа, в своих пределах допускающего и даже предполагающего индивидуальные особенности, а на уровне детали, жеста, скрупулезно установленных размеров, в результате чего, по-видимому, для индивидуальности места не оставалось.

Халат кроился не из одиннадцати или тринадцати, а только из двенадцати кусков ткани, и ширина каждого составляла именно и точно «два чи четыре цуня», то есть 55 см. По длине он должен был быть «не настолько коротким, чтобы было видно тело, и не настолько длинным, чтобы волочиться по земле», а подпоясываться «не настолько низко, чтобы пояс давил на бедра, и не настолько высоко, чтобы он давил на ребра», то есть вариации, если допускались, сводились к нескольким сантиметрам. Обувь можно было надевать только сидя и обязательно укрывая ногу полкой халата. Особое значение придавалось тому, чтобы левая пола халата запахивалась поверх правой, а не правая поверх левой, как запахивали ее вечные враги китайцев — северные кочевники. О полководце, преградившем им доступ в Китай, Конфуций писал, что, если бы не он, «мы все ходили бы непричесанными и запахивали бы одежду налево».

Внесем сразу необходимое уточнение. В нашу задачу не входит характеристика древнекитайской цивилизации как таковой. Подобно любой другой она знала и развитие, и определенную дисперсию культурных типов. Нам важно иное — указать на существование систем одежды, на фоне которых становится очевидным принципиальный, определяющий характер официализованной одежды древних римлян — знаковой и четко дифференцированной, но в пределах семантического типа предполагающей значительные индивидуальные вариации.

Не только общий, классический характер римской культуры нашел отражение в одежде, обусловив соединение в ней вариабельности и единства, но и сам тип исторического развития, представленный эволюцией римской гражданской общины, тоже проявился в этой, казалось бы, столь частной и неизменной бытовой сфере. Читатель, ознакомившийся с характеристикой античного общества и его культуры в целом (см.: наст. изд., раздел II, очерк «Исторические предпосылки и главные черты античного типа культуры»), наверное, помнит, что развитие полиса протекало в жестких и архаических рамках, заданных общим низким уровнем производительных сил античного мира, и потому представляло всегда как разрушение незыблемой основы общества и морали, как «упадок нравов» — либо вследствие наглого эгоизма и стяжательства отдельных граждан, либо в результате проникновения чужеземных обычаев, разлагавших былую простоту замкнутой общины. Именно этот характер развития объясняет семантику цвета, игравшую столь большую роль в одежде римлян.

Цвет мог быть двух разновидностей, и римляне были весьма чувствительны к их разграничению. Все оттенки коричнево-желтого и серо-черного были естественным цветом овечьей шерсти и потому воспринимались как признак скромных, трудовых, бережливых, по ста-

ринке живущих граждан; все оттенки красного, фиолетового, зеленого (синий в источниках почти не упоминается), напротив того, создавались искусственно, с помощью натуральных красителей, стоивших дорого и привозившихся издалека. Одежда этих цветов указывала на две взаимосвязанные характеристики человека, ее носившего: на его богатство, притом не в земельной, а в денежной форме, и на его включенность в сферу интенсивного торгового обмена, содержанием которого в Риме всегда были в основном предметы роскоши. В III, II, даже еще в начале I в. до н. э., в пору, когда общинная уравнительность сохраняла все свое значение нормы, и то и другое делало подобного римлянина «новомодным», выпавшим из традиций, противопоставляло его тем, кто воплощал обязательный, столь любезный римскому сердцу консерватизм. Исходная противоположность естественно-го цвета и искусственной окраски реализовалась в целом ряде частных оппозиций, с их особенностями и оттенками.

Прежде всего, окрашенная одежда, которая у мужчин всегда держала в себе нечто одиозное или, во всяком случае, экстраординарное, у женщин, по крайней мере с начала Империи, рассматривалась как нормальная. На фреске I в. до н. э., известной под именем Альдобрандинской свадьбы, на знаменитой огромной фреске с Виллы Мистерий, на фреске из Стабий, изображающей Весну, все женщины в цветной одежде, причем нет никаких оснований думать, что в этом заложен какой-то осудительный, экспрессивный смысл.

Осудительный оттенок появляется там, где нарушается существовавшая для римских женщин своеобразная этика цвета. «Матронам не следует надевать материи тех цветов, какие носят продажные женщины», — писал Сенека<sup>60</sup>. «Приличными», судя по названным выше фрескам, считались различные оттенки желто-коричневого и прежде всего зеленого цвета, «неприличными» — алый и, может быть, лиловый. «Алые платья даришь и лиловые ты потаскухе»; «В пурпур окрашенное платье Филенида и днем, и ночью носит»<sup>61</sup>. Создается впечатление, однако, что непристойным считался не столько тот или иной цвет, сколько кричащая пестрота, необычность и нескромность сочетания, как, например, у Фортунаты, жены Трималхиона, которая появляется на пиру в вишневой тунике, подпоясанной бледно-зеленым (*galbinus*) пояском<sup>62</sup>. Пестрота же воспринималась как противоположность римскому вкусу, сдержанности и достоинству, как нечто чужеземное и варварское.

*Но ведь давно уж Оронт сирийский стал Тибра притоком,  
Внес свой обьчай, язык, самбуку с косыми струнами,  
Флейтищ своих, пимпаны туземные, разных девицнок:*

*Велено им возле цирка стоять. — Идите, кто любит  
Этих развратных баб в их пестрых варварских лентах!*<sup>63</sup>

Семантика цвета в мужской одежде отличалась от семантики цвета в женской в ряде случаев, но в общем подчинялась той же закономерности: яркая одежда означала афиширование богатства и, следовательно, нарушение исконно римского канона скромности, приличия, уважения к историческим нормам. Наиболее ясно выражал это чувство алый цвет — и очень дорогой, и бесстыдно намекавший на магистратский, сенаторский или всаднический пурпур. Почти все отрицательные герои Марциала, Ювенала, Петрония, наиболее наглые, отвратительные или смешные, ходят в пурпуре и в платье различных оттенков алого цвета. В лацерне тирского пурпура ходит по улицам Рима Криспин — один из наиболее отвратительных временщиков Домициана, родом, если верить Ювеналу, из египетских нищих<sup>64</sup>; даже у себя дома

*Вспомнить не может Криспин, кому тирскую отдал накидку,  
Платье когда он менял, тогу желая надеть.*

У проныры беглого раба, выбившегося в римские всадники, «плащ пропитан тирскою краской»<sup>65</sup>, на Тримальхионе *tunica russea*, то есть рыжая с красноватым отливом, и *gausara soccina* — алая одежда из шерстяной ткани с длинным ворсом<sup>66</sup>. Как отмечалось, не последнюю роль в таком восприятии красно-пурпурного цвета играло и то обстоятельство, что он позволял узурпировать инсигнии магистратов и всадников, издеваться над иерархическим строением римской жизни.

*Начал было хвалить в театре Фасис,  
Фасис в красном пурпурном одеянье  
и с лицом от надменности надутым:  
«Наконец-то сидишь теперь с удобством  
И достоинство всадников вернулось...»  
Но когда, развалившись, так болтал он,  
Этим пурпурным наглым одеяньям  
Вдруг Леит приказал убраться с места*<sup>67</sup>.

Не менее ясной отрицательной семантикой, чем алый, обладали для мужской одежды зеленый и особенно оранжевый цвета. В доме Тримальхиона, где нелепо и противостоит все, гостей встречает привратник в зеленой тунике<sup>68</sup>. Некий Босс, жуликоватый и наглый знакомец Марциала, являлся в театр «в платье цвета травы»<sup>69</sup>. При-

чины такого восприятия очевидны. Зеленый, как отмечалось выше, был «женским» цветом, и использование его в мужской одежде было признаком женственности, изнеженности, намеком на противоестественную порочность. Существовало выражение «*galbini mores*» — «зеленоватые (то есть изнеженные, извращенные) нравы». Та же семантика была заложена в оранжевом цвете. То был цвет брачного покрывала невесты, *flammeum*, и, соответственно, ношение его мужчинами выглядело как кощунственная издевка над чистотой и строгостью древних народных обычаев<sup>70</sup>. Не только структурные признаки римской гражданской общины, как видим, но и их распад, характер культуры, общественное самоощущение граждан находили себе в одежде многообразное, глубокое и точное отражение.

1985

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> См.: Дионисий Галикарнасский, III, 61, 62; Квинтилиан, XI, 139.
- <sup>2</sup> См.: Вейс Г. История одежды, вооружения, построек и утвари народов древнего мира, ч. 2. Западные народы. М., 1874, с. 263, примеч. I; решению этих споров больше всего содействовали книга Л. Эзе (*Heuzey L. Histoire du costume antique. Paris, 1922*) и исчерпывающая статья В. Шапо (*Chapot*) в кн.: *Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France, t. X, 1937, p. 37—66*.
- <sup>3</sup> См.: *Beaulieu M. Le costume antique et médiéval. Paris, 1967, p. 59—60*.
- <sup>4</sup> См.: Светоний. Божественный Август, 40, 5.
- <sup>5</sup> Вергилий. Энеида, I, 282.
- <sup>6</sup> Тертуллиан. О плаще, I, 5—6.
- <sup>7</sup> «Только ты ладанку снял золотую с ребяческой шеи / И пред богами своей матери тогу надел. (*Проперций. IV, 1, 131—132; ср.: Овидий. Фасты, III, 771*).
- <sup>8</sup> Светоний. Божественный Юлий, 80, 2.
- <sup>9</sup> Авл Геллий, VII, 12.
- <sup>10</sup> Имеется в виду известная золотая фибула из Пренесте с надписью, датируемая примерно 600 г. до н. э. См.: Корпус латинских надписей, XIV, 4123.
- <sup>11</sup> См.: *Sakkady J. Reise in das alte Athen. Budapest; Leipzig: Prisma-Verlag, 1977, S. 156*.
- <sup>12</sup> См.: Сергеев М. Е. Жизнь Древнего Рима. М.; Л., 1964, с. 109 (с непонятной ссылкой на Горация).

- <sup>13</sup> См.: *Авл Геллий*, X, 15.
- <sup>14</sup> См.: *Псевдо-Асконий*. Комментарий к речи Цицерона в защиту Скавра, 30.
- <sup>15</sup> Там же.
- <sup>16</sup> *Гораций*. Послания, I, 7, 65.
- <sup>17</sup> *Цицерон*. Об аграрном законе, II, 34.
- <sup>18</sup> См.: *Тацит*. Диалог об ораторах, 7, 5.
- <sup>19</sup> *Вергилий*. Энеида, IX, 616.
- <sup>20</sup> *Авл Геллий*, VII, 12. Квинт Энний (239—169 гг.) — древний поэт, пользовавшийся у образованных римлян особой популярностью и уважением; автор сатир, эпиграмм, трагедий и стихотворной римской «Летописи», сохранившейся в незначительных отрывках.
- <sup>21</sup> В обоих случаях — у Вергилия и, по-видимому, у Энния речь идет о рукавах как таковых, в принципе, ибо имеется в виду эпическая старина, когда нормой еще было или отсутствие туник, или примитивные, «драпирующие» туники. Нет поэтому оснований следовать за большинством комментаторов, которые, вопреки хронологии, относят эти упоминания к так называемым *tunica manicata* — туникам с длинными, доходившими до кисти рукавами, распространившимся гораздо позднее и всегда несшим на себе отпечаток «новомодности». См.: *Цицерон*. Вторая речь против Катилины, 10, 22; *Светоний*. Божественный Юлий, 45; *Калигула*, 52; *Плиний Мл.* Письма, III, 5, 15; *Стаций*. Фиваида, VII, 657.
- <sup>22</sup> *Сенека*. О блаженной жизни, 13.
- <sup>23</sup> «...Quaeque tegis medios, instita longa, pedes». (*Овидий*. Наука любви, I, 32).
- <sup>24</sup> *Марциал*, III, 93, 4.
- <sup>25</sup> *Авл Геллий*, VII, 12.
- <sup>26</sup> *Blanck H.* Einführung in das Privatleben der Griechen und Römer. Darmstadt, 1976, S. 63.
- <sup>27</sup> См.: *Ювенал*, IX, 28—29; I, 28—29.
- <sup>28</sup> См.: *Веллей Патеркул*, II, 70, 2.
- <sup>29</sup> См.: *Тацит*. История, II, 20, 1.
- <sup>30</sup> *Цицерон*. Филиппики, II, 76.
- <sup>31</sup> *Тертуллиан*. О плаще, I, 25.
- <sup>32</sup> *Цицерон*. В защиту Анния Милона, 54.
- <sup>33</sup> *Тацит*. Диалог об ораторах, 39, 2.
- <sup>34</sup> Писатели истории императорской. Александр Север, 27, 4.
- <sup>35</sup> *Авл Геллий*, VII, 12.
- <sup>36</sup> *Цицерон*. Вторая речь против Катилины, 10.
- <sup>37</sup> *Ювенал*, III, 172—173. «Требуешь ты от меня, — с раздражением ду-

маст клиент о своем патроне, — без конца чтобы в тоге потел я» (Марциал, III, 46).

<sup>38</sup> См.: Марциал, II, 46; Сенека. О спокойствии души, I, 1.

<sup>39</sup> Марциал, VIII, 28, 11—12; ср. II, 29; IV, 2; VIII, 65.

<sup>40</sup> Ювенал, III, 178—179.

<sup>41</sup> См.: Плутарх. Катон Старший, 6.

<sup>42</sup> Высокие парадные башмаки из красной кожи — официальный знак сенаторского достоинства.

<sup>43</sup> Цицерон. Филиппики, II, 76.

<sup>44</sup> См.: Ювенал, XVI, 45.

<sup>45</sup> Цицерон. Вторая речь против Катилины, 10.

<sup>46</sup> Римский локоть, *ulna*, равнялся 45 см.

<sup>47</sup> Светоний. Божественный Август, 73.

<sup>48</sup> Марциал, VII, 33; ср. X, 15.

<sup>49</sup> Там же, II, 44; 58; 85.

<sup>50</sup> Показательно, что в праздник Сатурналий, когда на несколько дней отношения иерархической зависимости в римском государстве как бы выворачивались наизнанку и карнавально отменялись, появляться в тоге на улицах считалось неприличным. См.: Марциал, VI, 24; ср. IX, 100, и XII, 18.

<sup>51</sup> Петроний, 65.

<sup>52</sup> Марциал, IV, 2, 3—4.

<sup>53</sup> См.: Марциал, VIII, 28; Ювенал, XVI, 45.

<sup>54</sup> См.: Марциал, II, 29, 46.

<sup>55</sup> Гораций. Сатиры, I, 2, 24—26.

<sup>56</sup> Светоний. Божественный Август, 33. В русском переводе (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1963, с. 63) это замечание ошибочно отнесено к полосе на тоге.

<sup>57</sup> Писатели истории императорской. Александр Север, 27, 3.

<sup>58</sup> *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft von Pauly-Wis-sowa*, s. v. *clavus* (Hula).

<sup>59</sup> Крюков М. Б., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы. М., 1978, с. 253. Все приводимые ниже цитаты из древнекитайских источников заимствованы из этой книги (с. 252—256).

<sup>60</sup> Сенека. Семь книг по вопросам изучения природы, VII, 31.

<sup>61</sup> Марциал, II, 39; I; IX, 61, 1—2.

<sup>62</sup> Петроний, 67.

<sup>63</sup> Ювенал, III, 62—66.

<sup>64</sup> Там же, I, 27—28; Марциал, VIII, 148.

<sup>65</sup> Марциал, II, 29, 3.



<sup>66</sup> См.: *Петроний*, 27—28. С алым цветом, таким образом, связывались представления о грубости, наглости, богатстве (ср.: *Ювенал*, III, 281—284) и торжествующей удачливости. Именно это, по-видимому, делало его излюбленным цветом солдат — ср., например: *Проперций*, IV, 3, 33—34, где «тирский» употреблен просто как синоним «красного».

<sup>67</sup> *Марциал*, V, 8. Леит — театральный распорядитель; ср. V, 23, 5—6.

<sup>68</sup> См.: *Петроний*, 28.

<sup>69</sup> *Марциал*, V, 23, 1.

<sup>70</sup> См.: *Ювенал*, II, 124—125.

---

## ПРЕСТИЖНОСТЬ В ЖИЗНИ И КУЛЬТУРЕ

Сохранился ряд текстов, содержащих перечень свойств, обладание которыми придавало в Древнем Риме жизни человека особое достоинство и значительность. Один из них — речь Кв. Цецилия Метелла над телом его отца Луция, консула 231 г. до н. э. и прославленного полководца времен Первой Пунической войны: «Он стремился быть в числе первых воителей, быть превосходным оратором, доблестным полководцем, под чьим руководством совершались бы величайшие подвиги, пользоваться величайшим почетом, обладать высшей мудростью, стоять по общему признанию во главе сената, приобрести честным путем большое состояние, оставить множество детей и стяжать славу среди сограждан»<sup>1</sup>. В эту эпоху надгробные речи еще не были индивидуализированы, и содержащийся здесь перечень характеризовал не столько данного деятеля, сколько римскую аксиологию в целом<sup>2</sup>.

Основные слагаемые ее были весьма стабильны. Мы находим их же столетием позже в документе другого жанра, где они прямо определяются как *regum bonarum maxima et praecipua*. Речь идет о сохранившемся в составе компиляции Авла Геллия отзыве историка Семпрония Азеллиона, касающемся его современника П. Тициния Красса Дивес Муциана, консула 131 г. до н. э. и друга Тиберия Гракха. Он «обладал, как передают, пятью первыми и главными достоинствами, ибо был человеком очень богатым, очень знатным, очень красноречивым, выдающимся знатоком права и великим понтификом» (Aul. Gell., I, 13, 10). Столетием позже возник новый своеобразный каталог того же рода — первая ода Горация. В ней повторяются многие понятия, фигурировавшие в обоих приведенных выше текстах: воинская доблесть и слава; успешная магистратская карьера; состояние, добытое прежде всего путем возделывания наследственного семейного надела.

Есть много данных, подтверждающих принадлежность перечисленных свойств к числу особенно важных и привлекательных для общественного мнения Древнего Рима. Богатство, превозносимое в числе первых добродетелей и Цецилием Метеллом, и Семпронием Азеллионом, было основой конституционного деления граждан на цензовые разряды, и чем богаче был человек, тем более видное место в обществе он занимал; зажиточность фигурирует в качестве общественно

весомой положительной характеристики почти в каждой судебной речи Цицерона. Служение государству на посту магистрата действительно составляло предмет гордости и основу высокого социального статуса — это подтверждается тысячами эпитафий. Сочинения так называемых римских агрономов — Катона, Варрона, Колумеллы — и многие положения римского права, касающиеся земельной собственности, подтверждают восприятие как морально достойного в первую очередь богатства, извлеченного из обработки земли<sup>3</sup>.

О великой общественной роли красноречия и оратора говорится не только в риторических трактатах Цицерона, но и в «Диалоге об ораторах» Тацита и, соответственно, во всей той серии сочинений о величии красноречия, которые тянутся через весь I в. н. э. и которые этот диалог увенчивает (Vell. Pat., I, 17, 6; Petr. Sat., I; Sen. Ad Lucil., 114, 1; Quint. pass.). Власть первых принцевов еще опиралась в значительной мере на их личный авторитет как государственных деятелей — в число официально признаваемых достоинств каждого из них, как правило, входили ораторский талант и опыт<sup>4</sup>. О первостепенной роли военных подвигов и воинской славы в общественной оценке римского гражданина напоминать не приходится — при Республике на магистратские должности мог претендовать только человек, проделавший не менее десяти боевых кампаний на коне или двадцати в пешем строю (Polyb., VI, 19, 4). Чтобы быть избранным, надо было добиться популярности, а она предполагала качества, связанные с военными победами, — *virtus, gloria, cupido gloriae, laus*<sup>5</sup>. Общественные сооружения Рима, от водопроводов и базилик до триумфальных колонн и арок, возводились на средства, вырученные из военной добычи, и тем самым создавался в глазах народа особый ореол, окружавший имя полководца<sup>6</sup>.

Из сказанного следует по крайней мере два вывода. Во-первых, что в Риме существовали определенные, характерные для этого общества ценности, включавшие, в частности, магистратское служение государству, военную доблесть и власть, богатство *homo modo*, красноречие как форму участия в общественной жизни и влияния на нее. Во-вторых, что такие ценности представляли собой не самодовлеющие нравственные сущности, а характеризовали прежде всего положение человека в обществе и отношение общества к нему.

Такой тип аксиологии в принципе допускал и даже предполагал возможность соединять внутреннее соответствие утверждаемой нормы с внешним, существующим в глазах сограждан и для них; предполагал, другими словами, возможность совмещения «быть» и «казаться», сущности и облика, собственно ценностного поведения и того поведения, которое принято называть *престижным*: престижность, как из-

вестно, и предполагает усвоение форм поведения и овладение вещами, обеспечивающие внешнее соответствие общественному статусу, признаваемому в данном коллективе ценностным. Престижность непосредственно реализуется в стремлении овладеть тем, чего у человека нет, но что ему очень бы хотелось, чтобы у него было. Поэтому анализ престижных представлений раскрывает в аксиологии ее динамическую сторону, ее внутренние трансформации при распространении на новые общественные слои и, кроме того, раскрывает эти процессы в их социально-психологической и эмоциональной конкретности.

Цицерон был высшим магистратом, богатейшим человеком и знаменитым оратором. Он воплощал, следовательно, основные римские общественные ценности. Но он происходил из незнатного, плебейского, ничем не примечательного рода, а ему мучительно хотелось влиться в древнюю аристократическую элиту. Эту конститутивную для Рима его эпохи общественную ценность он реально воплотить в своей жизни не мог и потому стремился к ее престижной компенсации. Если нельзя было быть, надо было выглядеть, и Цицерон покупает дом на Палатине — в древнейшем историческом центре Рима, где веками селилась знать, стремится получить право на триумф за свое мало чем примечательное наместничество в Киликии, без конца говорит о своей принадлежности к римской консервативно-аристократической и религиозной традиции. Это, разумеется, не могло изменить его происхождение, но он в какой-то мере испытывал компенсаторное удовлетворение от престижного, т. е. приобретенного и внешнего, соответствия ценностям, окруженным в его глазах и в глазах общества, к которому он принадлежал, реальным авторитетом и уважением.

Это стремление и это удовлетворение, однако, отличались не только личным эмоциональным содержанием. В них в субъективном преломлении находили себе отражение объективные процессы исторического развития — фактическое исчерпание общественной роли людей из патрицианской элиты, в то же время сохранение представлений об иерархии в пределах гражданской общины как о ценности, усилении роли новых людей в управлении государством и т. д. Эти процессы, однако, отражены здесь *in statu nascendi*, в своей психологической непосредственности, человеческой достоверности, раскрывая в исторической характеристике римской действительности все богатство особенного, индивидуального, отдельного.

Начать знакомство с системой престижных представлений Древнего Рима лучше всего с эпиграмм Марциала. Значительное их число строится по схеме: человек хочет казаться тем-то, тогда как на самом деле он, наоборот, является чем-то противоположным. Перечитаем эпigramму I, 24:

*Видишь его, Дециан: прическа его в беспорядке,  
Сам ты боишься его сдвинутых мрачно бровей;  
Только о Куриях речь, о свободолюбивых Камиллах...  
Не доверяй ты лицу: замуж он вышел вчера.*

(Пер. Ф. Петровского.)

Облик персонажа, против которого направлена эпиграмма, выступает совершенно ясно. Нежелание следовать современным нормам оформления собственной внешности, суровое выражение лица, громкое прославление героев древней Республики — все выдает в нем ревнителя римской старины. Это, однако, не позиция, а поза, — ревнителем древних добродетелей он стремится не быть, а выглядеть. Стимул к поведению такого рода может заключаться лишь в том, что оно импонирует какому-то кругу или даже обществу в целом и повышает статус персонажа в глазах этого круга или общества, — словом, что оно престижно.

К престижности такого рода стремятся герои и многих других эпиграмм, в которых постепенно раскрывается более полно ее содержание. В это содержание престижных представлений для Марциала входят: принадлежность к богатому роду (IV, 39, 1 и 8), знатность и славная генеалогия, желательность республиканского происхождения (IV, 11, 1–2), верность клиентской взаимопомощи и дружбе в ее специфическом архаически римском понимании (II, 34; IV, 85), древняя стыдливость (IV, 6). В ряде эпиграмм, посвященных эдикту Домитиана о восстановлении всаднических мест в цирке, описываются самозванцы, пытающиеся симулировать принадлежность к этому старинному сословию, члены которого славились своим богатством. В мире, окружающем Марциала, таким образом, сохраняет свое значение весь комплекс общинных и республиканских по происхождению староримских добродетелей. Сохраняются они, однако, не в виде реальных общественных ценностей, воплощенных в людях, действительно ими обладающих, а как предмет стилизации и желания казаться, как набор требующих внешнего соответствия престижных представлений. Назовем эту престижность староримских добродетелей престижностью I.

Из приведенной эпиграммы (I, 24) и многих других, ей подобных, явствует, что за престижным обликом римлянина старого закала стоял другой, более реальный и потому вызывающий большее доверие. Выражение «не доверяй ты лицу» (*nolito fronti creder(e)*), по-видимому, было чем-то вроде расхожего афоризма житейской мудрости, отражавшего широкий общественный опыт; по крайней мере, оно повторяется в сходном контексте у Ювенала: «лицам доверия нет» (*fronti nulla fides* — II, 8, ср. XIV, 56) и Квинтилиана, XII, 3, 12; ср. Ovid. *Ars am.*, I, 505–508).

Каково же содержание этого, второго, облика, связанного не с «лицом», а с сущностью? Формы поведения, альтернативные по отношению к староримским, обладали в повседневной жизни и социальной психологии римлян определенным единством. Их единство основано было на том, что они образовывали альтернативную, «вторую» престижную систему; их общее содержание было производно от одного из самых важных, сложных и малообследованных явлений римской действительности, которое римляне называли *cultus*.

Вдумаемся в эпиграмму того же Марциала (IV, 85):

*Все мы пьем из стекла, ты же, Понтик, — из мурры. Зачем же? Чтобы прозрачный бокал разницы вин не открыл.*

(Пер. Ф. Петровского.)

Совместная трапеза патрона с родственниками, друзьями, а позже и вольноотпущенниками когда-то была формой сплочения и взаимопомощи членов семейно-родового коллектива (Mart. IV, 19, 1–2). Следование этой норме придавало человеку облик отца семейства старого закала, ценилось, и, скрывая разницу вин, Понтик ей следует — неискренне, напоказ, т. е. из соображений престижности — той, которую мы условились называть престижностью I. При этом, однако, он, тут же нарушая старинное равенство застолья, сам пьет из особого кубка особое вино, явно лучшее. Зачем? Вовсе не только по гастрономическим соображениям. Мурра — полупрозрачный минерал, высоко ценившийся в Риме и очень дорогой. Драгоценные кубки были предметом особой гордости, их коллекционировали, и такая коллекция создавала человеку репутацию ценителя и знатока искусства. Демонстрация дорогой и старинной посуды была в обычае на званых обедах, и такой обычай был формой демонстрации повышенного социально-имущественного и культурного статуса хозяина (Cic. II, In Verr., IV, passim; Tac. Hist., I, 48, 3; Plin. Epp., III, 1, 9; Mart. VII, 50 (51); Juv. I, 76).

Обед у римлян был публичным актом, обедать в одиночестве считалось несчастьем, и поведение патрона во время обеда по отношению к клетиентам образовывало одно из существенных составляемых его репутации — репутации богатого и могущественного человека, который, пусть вопреки старинным установлениям, может иногда и унижить бедняков, оказавшихся за его столом. Не предусмотренное первой шкалой престижности, реальное поведение Понтика — его отдельный бокал и отдельное, лучшее вино — тоже поэтому не исчерпывалось удовлетворением личных гастрономических страстей, тоже было рассчитано на публичное восприятие, на демонстрацию и утверждение своего

статуса, тоже было престижным, только в другой шкале. Назовем ее престижностью II.

В первом приближении ее содержание, смысл и структура раскрываются в одном пассаже Цицерона из трактата «Об обязанностях» (I, 8): «Люди могущественные и видные находят наслаждение в том, чтобы их жизнь была обставлена пышно и протекала в изысканности и изобилии; но чем сильнее они к этому стремятся, тем неумереннее жаждут денег. Людей, желающих преумножить семейное достояние, презирать, разумеется, не следует, — нельзя, однако, ни при каких условиях нарушать справедливость и закон».

Есть, следовательно, два вида богатства и два пути его увеличения — неумеренная жажда денег (*pecuniae cupiditas*) и умножение семейного достояния (*rei familiaris amplificatio*); словосочетание *res familiaris* означает главным образом недвижимость — землю, дома, инвентарь, т. е. имущество старинного, традиционного типа, в увеличении которого ничего предосудительного нет. Богатство же денежное, такое, каким оно описано у Цицерона, безусловно предосудительно. Почему? Потому что оно существует в определенном комплексе и предосудителен весь этот комплекс в целом: *apparatus* — 'пышный и роскошный стиль жизни, обстановки, утвари', *elegantia* — 'утонченность, изысканность, оригинальность', *coria* — 'изобилие'; все вместе они производны от объединяющего их ключевого понятия *cultus vitae* — 'культурный образ жизни, культура'.

Понятие культуры, таким образом, оказывается у Цицерона глубоко двусмысленным: культура свидетельствует об обогащении и утонченности жизни, об изощрении вкуса, и она же есть выражение чрезмерного и нечистого богатства, чреватого *iniuria* — нарушением закона и справедливости. Именно в своей двусмысленности *cultus vitae* и составляет основу престижности II.

Связь всех этих понятий ясно очерчена Цицероном в верринах, в частности в четвертой речи — «О предметах искусства» — и в примыкающей к ней в некотором отношении речи «В защиту поэта Архия». На протяжении всей речи Цицерон, писатель, философ, юрист, образованнейший человек своего времени, настойчиво подчеркивает, что «знать толк в искусстве — дело пустое» (XIV, 33; пер. здесь и далее В. О. Горенштейна; ср. II, 4; XLIII, 94; LIX, 132). Перед нами явно не чистосердечное признание, а декларация и поза. В пределах мировоззрения, проводником которого Цицерон хочет здесь выступить, любовь к искусству допустима, лишь если она служит проявлением патриотизма и благочестия: «Сципион, понимая, насколько эти вещи красивы, считал их созданными не как предметы роскоши для жилищ людей, а для украшения храмов и городов,

чтобы наши потомки считали их священными памятниками» (XLIV, 98; ср. LVII, 127; LX, 134).

Поэтому культура и искусство в принципе не входят (или, вернее, не должны входить) в число римских ценностей, не являются (или не должны являться) предметом желаний и стремлений. Веррес похитил из храмов сицилийских греков хранившиеся там памятники искусства. «Эти произведения искусных мастеров, — говорит Цицерон, — статуи и картины несказанно милы сердцу греков. Из их жалоб мы можем понять, сколь тяжела для них эта утрата, которая нам, быть может, кажется незначительной и не заслуживающей внимания» (*quae forsitan nobis levia et contemnenda esse videantur*) (LIX, 132; ср. II, 4; XIV, 33; XLIII, 94). Единственно достойный римлянина предмет стремлений — памятники воинской славы (XXXVIII, 82), единственные подлинно римские ценности — слава и честь: «в жизни надо усиленно стремиться только к славе и почестям» (*Pro Arch.*, VI, 14). В обоих случаях формулировки не оставляют сомнения в том, что речь идет не только о внутренних ценностях и нравственных нормах, но прежде всего о престижных формах общественного поведения: П. Сервилий «усиленно занят сооружением памятников», которые увековечат его подвиги; Цицерон строит свою жизнь и практическую деятельность как «подражание бесчисленным образцам храбрейших мужей». Такого рода поведение и такого рода престижность неизбежно предполагают презрение к стяжательству: «трудно поверить, чтобы у богатого человека любовь к деньгам взяла верх над благочестием и уважением к памяти предков» (*Cic.*, II *In Verr.*, IV, VI, II, ср. IV, 8; V, 9). «Стремиться к обогащению считается недостойным сенатора», — скажет вскоре Тит Ливий (*Liv.* XXI, 53).

Вот всему этому комплексу отстаиваемых Цицероном престижных представлений и противопоставлен в речи другой, воплощенный в Верресе и основанный на *cultus* — любви к искусству, неотделимой от стяжательства и аморализма. На протяжении всей разбираемой речи повторяется, что Веррес — ценитель произведений искусства. Также на всем протяжении говорится, что он алчный стяжатель. Эти две характеристики постоянно выступают как две стороны единого целого: «Он старался не просто наслаждаться видом красивых вещей и удовлетворять не только свою прихоть, но также и безумную страсть всех самых жадных людей» (XXI, 47). Веррес действительно едва сдерживает слезы, видя, что не может приобрести взволновавшие его вазы; он действительно снимает с захваченных ваз художественные рельефы, а сами вазы возвращает владельцу.

Но любовь к произведениям искусства как к художественным ценностям и жажда обладания ими как сокровищами равно противопо-



ложны староримской системе ценностей, равно замешаны на алчности, шальных деньгах и беззаконии и потому сливаются в едином комплексе. В своем антиконсерватизме они все в целом образуют альтернативную систему предпочтений и стимулов, где *rescupiaie cupiditas* равно порождает и *apparatus*, и *cultus vitae*, и *iniuria*. Ими также можно хвалиться и самоутверждаться, они тоже престижны — но только навыворот, другой, второй престижностью. Не забудем, что после процесса Веррес сохранил свое собрание художественных сокровищ, что он им славился и широко его демонстрировал и что погиб он в проскрипциях 42 г. именно потому, что его коллекция была предметом вождения очень и очень многих.

В самом общем и конечном счете противоположность двух шкал престижности отражает основополагающую для римской истории противоположность натурального хозяйственного уклада и тозарно-денежного развития, общинной автаркии и ее разрушения под влиянием завоеваний и торговли, консерватизма и общественной динамики, римской традиции и греко-восточно-римского синкретизма, примата общественного целого над личностью и индивидуализмом, *moris maiorum* и *audaciae* — всю ту систему контрастных отношений, которая сравнительно недавно была названа противоположностью полиса и города<sup>7</sup>. Именно потому, что эта противоположность в различных своих модификациях характеризует всю историю римской гражданской общины, мы находим ее отражения в самых разных источниках II в до н. э. — II в. н. э., т. е. всей той эпохи, когда она была осознана и стала предметом рефлексии. В пределах этого периода она прodelьывает, как нам предстоит увидеть, весьма знаменательную эволюцию, но для выяснения общего исходного смысла обеих шкал престижности мы в силу сказанного можем опираться на разновременные произведения этой эпохи от Цицерона до Марциала и от Горация до Ювенала.

При рассмотрении проблемы «полис — город» в связи с понятием престижности в этой антиномии проступают существенные ее стороны, обычно остающиеся в тени. Выясняется, что денежное богатство, в его противопоставлении земельному богатству *bono modo*, — отнюдь не только факт финансово-экономический, а прежде всего факт социальной психологии, общественной морали и культуры. На протяжении I в. до н. э. — I в. н. э. *cultus* утверждается как особый престижный стиль, в котором слиты *rescupiaie cupiditas*, изощрение цивилизации и быта, тяготение к искусству, усвоение греко-восточных обычаев, интерес к греческой философии — все формы существования, объединенные своей непринадлежностью к кодексу и этикету гражданской общины, к староримской традиции, своей противоположностью ей и, явным или скрытым, осознанным или инстинктивным, от нее отталкива-

нием. Явления римской действительности, в которых находила себе выражение эта антитрадиционная престижность, или престижность II, разнообразны до бесконечности.

Широко известен, например, раздел книги Варрона «О сельском хозяйстве», посвященный рыбным садкам (III, 17). «Те садки, — начинает Варрон, — которые полнят водой речные нимфы и где живут наши местные рыбы, предназначены для простых людей и приносят им немалую выгоду; те же, что заполнены морской водой, принадлежат богачам и получают как воду, так и рыб от Нептуна. Они имеют дело скорее с глазом, чем с кошельком, и скорее опустошают, чем наполняют последний». Консулярий Гирций тратил на кормление своих рыб по 12 тыс. сестерциев зараз. Однажды он одолжил Цезарю шесть тысяч мурен из своих садков с условием, что тот их ему вернет по весу, т. е. что они не похудеют. У Квинта Гортензия под Байями были садки с хищными рыбами, для кормления которых у окрестных рыбаков скупался весь их улов. Чтобы соединить свои садки с морем, Лукулл прорыл прибрежную гору.

В распространенных рассказах о безумствах римских богачей обычно упускается из виду, что главным здесь были не траты сами по себе, а создание ореола изысканности, снобизма, демонстрация своей способности к переживаниям, недоступным толпе. В садках устраивали отделения, особые для каждой породы рыб, следуя примеру «Павсания и художников того же направления, которые делают свои большие ящики на столько отделений, сколько у них оттенков воска». Рыбы из таких садков никогда не использовались в пищу, ибо считались священными, как священны были рыбы, приплывавшие к жрецам во время жертвоприношений, в некоторых приморских городах Лидии. Вельможные богачи кормили своих рыб собственноручно, проявляя трогательную заботу об их аппетите, а когда они заболели — об их лечении. Летом принимались особые меры, чтобы избавить рыб от страданий, связанных с жарой.

Менее известен, но, пожалуй, еще более выразителен рассказ, содержащийся в той же книге в главе четвертой, «О птичниках». Они тоже делились на те, что устраивались для выгоды, и те, что должны были только доставлять удовольствие. Последние назывались греческим словом «орнитон». Лукулл устроил птичник в своем Тускуланском поместье так, чтобы «в нем же — то есть в орнитоне — находилась и столовая, где Лукулл мог изысканно обедать, одновременно наблюдая птиц, одни из которых лежали жареные у него на тарелке, а другие порхали у окон своей тюрьмы».

Прошло столетие и даже полтора, подчас другими стали некоторые внешние проявления этого комплекса, но ничто не изменилось по су-

шеству. Знаменитый оратор, доносчик, политический деятель и богач Аквиллий Регул, начинавший при Нероне и сошедший с политической арены лишь при Траяне, содержал для своего сына-подростка виварий и птичник, мало чем уступавшие орнитонам Лукулла и садкам Гортензия. Когда мальчик умер, Регул перебил у погребального костра всех животных и птиц, что отнюдь не было в римских обычаях, а, скорее, демонстративно контрастировало с ними.

Письмо Плиния Младшего, из которого мы обо всем этом узнаем, раскрывает ту систему связей, в которой описанные факты только и обнаруживают свой подлинный смысл. Как содержание животных, так и их уничтожение было прежде всего демонстративным, престижным актом: «Это уже не горе, а выставка горя» (IV, 2; пер. здесь и далее М. Сергеевко). Своеобразный этот зоопарк входил в число тех владений Регула, что выражали богатство в неразрывной связи его с искусством: «Он живет за Тибром в парке; очень большое пространство застроил огромными портиками, а берег захватил под свои статуи»<sup>8</sup>. Все эти особенности Регула характеризовали не столько его поведение, сколько особый склад личности — сложной, противоречивой, необычной, обличавшей полный разрыв с традициями римской *gravitas*. Он покровительствовал искусству, был неврастеничен и нагл, расчетлив и непоследователен, а главное — талантлив, подл, патологически тщеславен и беспредельно алчен (Plin. Epp., I, 5, 20, 14; II, 20; IV, 7; VI, 2, 1–6; Tac. Hist., IV, 42). Это был все тот же «комплекс Верреса», еще один вариант *cultus*.

Таких вариантов на протяжении I в. обнаруживается множество: строительство роскошных домашних купален, призванных доказать одновременно и в единстве богатство хозяина, его прикосновенность к греко-восточным традициям, способность к утонченным наслаждениям и грубую причудливость вкуса<sup>9</sup>, судебное красноречие так называемых *delatores*, талантливых, демонстративно аморальных, столь же демонстративно противопоставлявших себя римской традиции и старине, зарабатывавших своим продажным красноречием огромные деньги (Регул был из их числа); «новая аксиология», которую усиленно насаждал Нерон и которая предполагала насыщение жизни искусством, максимальную эллинизацию всего и вся, бешеные траты, пренебрежение ко всему исконно римскому, наглую грубость и извращенную жестокость<sup>10</sup>. Главное, что все это делалось напоказ, привлекало сотни и тысячи зрителей, задавало тон, вызывало восхищение и подражание даже при внутреннем несогласии, т. е. было престижным: к Регулу «людей приходит видимо-невидимо; все его кланят, ненавидят и устремляются к нему; толпятся у него как у человека, которого уважают и любят» (Plin. Epp. IV, 2).

Последняя фраза заслуживает внимания. Подобно марциаловскому Понтику, который и демонстрировал свое богатство в угоду престижности II, и скрывал его, отдавая дань престижности I, посетители Регула тоже воспринимали и оценивали его (а заодно и свое собственное) поведение в двух шкалах одновременно. Cultus в его описанном выше виде на протяжении всей эпохи и привлекал людей, и настораживал или отталкивал их. Престижность II все время смотрится на фоне престижности I, и реально регулируют общественное поведение лишь они обе в их зыбком равновесии.

Ситуация эта становится очевидной уже у Овидия (Ovid. Ars am., III, 113–128):

*Век простоты миновал. В золотом обитаем мы Риме,  
Сжавшем в мощной руке все изобилье земли...  
Пусть другие поют старику, я счастлив родиться  
Ныне, и мне по душе время, в котором живу!  
Не потому, что земля щедрей на ленивое золото,  
Не потому, что моря пурпуром пышным дарят...  
А потому, что народ обходительным стал и негрубым,  
И потому, что ему ведом уход за собой  
(— Sed quia cultus adest, nec nostros mansit in annos  
rusticitas, priscis illa superstes avis).*

(Пер. М. Гаспарова.)

Как только, однако, автор пытается основать на таком понимании cultus практические рецепты поведения, подлинно престижным в нем оказывается то, что учитывает нормы и вкусы этих самых priscus avi и, наоборот, противостоит внеримской новизне. Таково, например, в «Науке любви» рассуждение (I, 505–524), где говорится о необходимости выглядеть «опрятно и просто», а для этой цели ни в коем случае не завиваться, не снимать пемзой волосы с рук и ног («это оставь корибантам»), а вполне в духе той самой отвергаемой rusticitas покрыться загаром и, главное, помнить: forma viros neglecta decet — «мужу небрежность к лицу». Овидий, другими словами, хотел бы совместить «время, в котором живу», и старинные обычаи, которые cultus бы лишь облагородил, освободил от грубости, дикости и грязи. Настойчивость его пожеланий только показывает, что реальная жизнь им не соответствовала, что найти гармонию cultus и приличий на традиционный лад не удавалось. Оставалось взаимодействие и соприсутствие альтернатив: одни считают престижными во вкусе предков грязные от земли ногти, а другие «завивают себе кудри каленым железом». Эта ситуация отражена во многих местах поэмы (см. I, 608, 637–642, 672 и сл.; ср. 749).

В тяготеющем к гармонизации всех противоречий, изящном, легком и светлом мире Овидия — автора «Науки любви» — царит совсем другая атмосфера, чем в грубом, смешном и простодушном плебейском хозяйстве Тримальхиона из романа Петрония «Сатирикон». Но в основе своей ситуация остается и здесь совершенно той же — остается потому, что неизменной сохранялась она в самой жизни.

Тримальхион строит все свое поведение на основе престижности, в его доме все рассчитано на то, чтобы ошеломить, поразить, вызвать восхищение и зависть, все делается напоказ. Источник этого престижа и этих демонстраций — богатство, описываемое на каждой странице. Это богатство, однако, реализуется двумя путями, которые здесь гротескно сопоставляются, являясь именно в этом сочетании источником комизма. С одной стороны, Тримальхион стремится на основе своего богатства вписаться в традиционную римскую систему и хвастается своими успехами именно в ней: он — всадник (гл. 32), сеvir августал (гл. 30), держит в доме фасцы (гл. 30), стилизуясь под фамилиальную солидарность застолья, обращается к приглашенным «*amici*» (гл. 33), имеет клиентов. С другой стороны, его главная забота — оказаться на уровне современной изысканности и культуры, продемонстрировать свой высочайший ранг в области престижности: в его доме все происходит под звуки музыки (*ad symphonia*m — гл. 32), рабы работают, распевая мелодии, стол и все происходящее во время пира изысканно до вычурности и жеманства, на стенах дома — фрески на гомеровские сюжеты, сам он сочиняет стихи, еда на блюде расположена в виде знаков зодиака и т. д. Обе линии равно комичны и безвкусны, ни одна не всерьез. Почему? Потому что ни та ни другая не ценностны, а престижны, — здесь это выступает совершенно ясно. Тримальхион — такой же сеvir августал, как и поэт. В обоих случаях ему важна репутация, а не сущность.

Переориентация от ценностей к престижности и усиление престижности II за счет престижности I представляют собой общественный процесс, неуклонно нараставший на протяжении всей эпохи конца Республики и раннего принципата вплоть до II в. н. э. Он выражал превращение Рима из *civitas* в мировой город, что сопровождалось распадом архаических, специфически полисных принципов существования. Тот же процесс выражал, далее, сохранение за этими принципами — на фоне ширившейся плутократически-космополитической стихии — значения нормы, абстрактно-идеальной, но признанной. Он же выражал, наконец, постепенную внутреннюю диссоциацию самой этой нормы, ее движение от абсолюта к относительности, от внутреннего убеждения к «что люди скажут».

Уже на взгляд Горация староримские ценности в обществе, его окружающем, отнюдь не универсальны, служение им — форма не столько са-

мывыражения, сколько престижного самоутверждения. Магистратское служение и воинские подвиги стоят и для него самого в одном ряду с успехами циркового возницы (Satrn., I, 1), возделывание земли прославляет городской проныра ростовщик (Erod., 2), дружеская солидарность — всего лишь способ выманить деньги (Sat., II, 5), и даже главная движущая сила римлян былых времен — *cupido gloriae*, жажда славы, — лишь дань случайной популярности (I, 6, 15—17; ср. II, 3, 179—184):

*...глупый народ всегда недостойным  
Почести рад расточать, без различия рабствуя славе  
И без разбора дивясь и титлам, и образам предков...*

(Пер. М. Дмитриева.)

При этом, однако, предметом стремлений и формой самоутверждения в глазах общества является еще только то, что мы условились называть престижностью I. Стилизация как основа поведения вызывает у Горация чаще всего насмешки, иногда гнев, но стилизуются-то эти высмеиваемые им люди всегда под носителей традиционных республиканских добродетелей. Людей, бравирующих разрушением их, наглым богатством, извращенной рафинированностью, среди персонажей Горация почти нет, а там, где они появляются, они никому не импонируют и вызывают осуждение не только у самого поэта, но и у римлян его времени. Богач отпущенник, пытающийся вести себя как римский гражданин, еще воспринимается как фигура нелепая и отвратительная (Hor. Erod., 4, 7—10):

*Ты видишь, идя улицей священной,  
Одетый в тогу длинную,  
Как сторонятся все тебя прохожие,  
Полны негодования?*

(Пер. Ф. Петровского.)

За славой гнаться неразумно, почести подчас уже более престижны, чем реально ценностны. Но, говорит Гораций (Hor. Sat., I, 6, 23—24),

*Все-таки слава влечет сияньем своей колесницы  
Низкого рода людей, как и знатных.*

(Пер. Ф. Петровского.)

Престижная стилизация здесь потому и смешна, что она представляет собой отклонение от нормы, но отклонение не страшное, ибо

норма еще незыблема. Поэтому староримские ценности могут восприниматься Горацием как нечто от него отдельное и даже чуждое — «но меня только плющ, мудрых отличие, к вышним близит», — и поэтому они же могут составить почву для высших созданий его гражданской лирики, исполненных гордости за Рим и его традиции и искреннего поэтического одушевления.

Через сто лет перед нами предстает та же система аксиологических и престижных представлений, но соотношение ее компонентов изменилось в корне. В «Диалоге об ораторах» Тацита, рассказывающем о событиях 70-х гг. I в., самая яркая фигура — преуспевающий оратор Марк Апп. Речи, произносимые им в ходе описанной Тацитом беседы, представляют собой восхваление ораторского искусства. В нем для римлян всегда соединялись честолюбие индивида со служением общественному целому. Но если в начале прослеживаемого нами процесса последний из этих элементов отчетливо преобладал, то теперь смысл ораторской деятельности сводится почти исключительно к удовлетворению престижных амбиций. Общественная ценность и здесь уступает место престижности. «Истинный оратор, — писал Цицерон, — ...своим влиянием и мудростью не только себе снискивает почет, но и множеству граждан, да и всему государству в целом приносит счастье и благополучие» (Cic. De orat., I, 8, 34; пер. Ф. Петровского).

Для Аппа и его современников значение красноречия совсем в другом: «А множество ожидающих твоего выхода и затем сопровождающих тебя именитых граждан! А какое великолепное зрелище в общественном месте! Какое уважение в судьях!... Больше того! Существует ли другое искусство, известность которого, равно как и расточаемые ему похвалы могут быть сопоставлены со славой ораторов? Больше того! Не знамениты ли они в городе, и не только среди торговых и занятых другими делами людей, но и среди юношей и даже подростков, наделенных хотя бы некоторыми способностями и рассчитывающими на свои силы? А чьи имена прежде всего сообщают своим детям родители?» (Tac. Dial., 6, 4; 7, 2–3; пер. А. Бобовича).

В полном соответствии с внутренним смыслом подобной престижности на первый план и здесь выходит эстетическая сторона. По сравнению с древними мастерами красноречия, продолжает Апп, «поколение наших ораторов отличается речью, несравненно более красивой и изощренной» (20, 6). В практической жизни эта эстетика изощренности все так же превращалась в эстетику роскоши, извращенного гедонизма, наглой грубости и одновременно художественности, неотделимой от алчности. Престижность ораторского искусства, как его понимал Апп, была лишь частным выражением престижности всего этого комплекса. Не забудем, что Апп, по замыслу Тацита, представляет

знаменитых доносчиков Неронова и Флавянского времени (т. е. все того же Регула и его коллег!), в связи с красноречием которых Квинтилиан сказал (II, 5, 11): «Мы с восхищением признаем подлинно изящным лишь то, что так или иначе извращено, восторгаемся как особо изысканным всем более или менее ненормальным точно так же, как для некоторых людей тело причудливое и страшное привлекательнее, чем сохранившее обычный вид».

Перед нами, таким образом, вариант все того же *cultus*, все той же престижности II. Но место ее в жизни стало ныне совсем иным. В эпоху Варрона, Горация, Овидия она не только сосуществовала с престижностью I, но роль нормы, которую эта престижность I сохраняла, заставляла воспринимать *cultus* как аномалию, которую надлежало либо осудить, либо примирить с римской гражданской традицией. Апри над этой традицией потешается открыто и весело, талантливо и остроумно, и люди, с ним спорящие, не могут ему противопоставить ничего столь же убедительного. Не могут потому, что Апри слышал и выражал реальные жизненные процессы, состоявшие в вытеснении престижности I престижностью II. «Признаюсь вам откровенно, — говорит Апри, — что при чтении одних древних ораторов я едва подавляю смех, а при чтении других — сон» (гл. 21).

За отрицательным отношением Апри к старому красноречию стоит целая эстетическая система. Прекрасное для него — это пышность, блеск, изобилие, расцвет, наслаждение, вообще преизбыток жизни (гл. 22). Ораторское искусство конца Республики плохо тем, что ему «не хватает дарования и сил» (гл. 21), что в нем мы «не ощущаем блеск и возвышенность современного красноречия» (там же), овладевшего более красивой и изящной манерой выражаться, не став от этого менее действенным и убедительным: «ведь не сочтешь же ты современные храмы менее прочными, потому что они возводятся не из беспорядочных глыб и кирпича грубой выделки, а сияют мрамором и горят золотом?» (гл. 20). Критерий красоты — сила, здоровье и напор жизни: «как и человеческое тело, прекрасна только та речь, в которой не выпирают жилы и не пересчитываются все кости, в которой равномерно текущая и здоровая кровь заполняет собой члены и приливает к мышцам» (гл. 21). Таков же критерий и человеческой ценности в целом: «Я хочу, чтобы человек был смел, полнокровен, бодр» (гл. 23).

Не только на уровне ценности, но и на уровне престижности старинное и исконно римское становилось все менее живым, все более напыщенным, а норма, в нем воплощенная и официально по-прежнему признаваемая, — все более абстрактной и назидательной. «Диалог об ораторах» — надежный источник. Тацит писал его, одновременно



работая над «Историей», где главное состояло в том, чтобы показать, к каким трагическим последствиям приводит уход из жизни именно старинной и исконно римской системы ценностей, норм и предпочтений. Тацит отнюдь не был в восторге от торжества Апра, и если он не скрыл талант, силу и энергию, заложенные в его аргументах, если дал ощутить за ними живое движение жизни, значит, это торжество было очевидным и непреложным. Его друзья-противники, другие участники диалога тем не менее находят контраргументы, пусть не столь сильные и яркие, но за которыми тоже стояли определенные процессы действительности. За истекшие столетие или полтора чаша весов явно склонилась от престижности I к престижности II, но спор между ними продолжался. В написанных чуть позже сатирах Ювенала он уже не слышен, его нет, — есть только престижность II, которая становится универсальной стихией существования, единственной и потому невыносимой.

Цицерон, как мы помним, писал, что тяга к престижности, основанной на пышности, изысканности и изобилии, может толкнуть человека к нарушению справедливости и закона. Для Ювенала эта возможность уже полностью реализована, все другие варианты исключены и *cultus* неотделим от преступления (Tuv. Sat., I, 73–76):

*Хочешь ты кем-то прослыть? Так осмелюсь на то, что достойно  
Малых Гиар да тюрьмы: восхваляется честность, но зябнет;  
Лишь преступленьем себе наживают сады да палаты,  
Яства и старый прибор серебра и кубки с козлами.*

(Пер. Ф. Петровского.)

Но без того, что Ювенал понимал под честностью, т. е. без набора нормативных полисных староримских добродетелей, античность была немыслима, ибо стояла на полисе и была неотделима от него. На протяжении предшествующей истории римской *civitas*, как бы ни заменялись эти добродетели своими престижными эрзацами, в них сохранялся некоторый осадок реальной ценности. Поэтому их деградация до уровня престижности долгое время могла еще восприниматься как не страшная, а, скорее, комичная. «Сатириконе» Петрония и эпиграммы Марциала рассчитаны на то, чтобы вызвать смех. Даже еще «Диалог об ораторах» — единственное произведение сурового, мрачного и патетического Тацита, которое отливает весельем и юмором.

Хотя Ювенал был современником Марциала и Тацита, он отражает стадийно новую, финальную, фазу эволюции римских ценностей. Римская *civitas* себя исчерпала, и почвы для них не оставалось. Общество еще принадлежало античной стадии европейской истории, ничего нового на ее месте не возникло, и, соответственно, «честность», даже ставшая

бледной престижной тенью, все равно полагалось чтить, чисто внешне, бессмысленно лицемерно, но чтить. Сатиры Ювенала переполнены мрачными личностями, проповедующими суровость, заветы предков, верность долгу и староримские традиции. Мысль поэта, однако, состоит не только в том, что все это сплющенное лицемерие, а в том, что общество отказывается считаться с ними не только в виде ценности, но даже и в виде всерьез импонирующей престижной нормы.

Реальным стимулом поведения остается одна лишь престижность II — престижность темными путями добытого богатства, высоких должностей, приобретенных преступлением, художественных сокровищ, демонстрируемых ради их рыночной стоимости. Все уголки Рима переполнены *tristibus obscoenis* — «сурово-скорбными распутниками» (II, 8—9), все они «себя выдают за Куриев, сами ж вакханты» (II, 3), но лицемерие их уже не в силах кого-либо обмануть, нелепо, и путь к успеху открывается не благодаря их стилизациям, а только благодаря искательству (сатиры III, V), пресмыкательству (IV), распутству (VI), издевке над традицией (VIII): «лицам доверия нет».

Полис-civitas не мог существовать без своей системы ценностей, и если она, не только в ее первоначальном виде, но и пройдя через престижный уровень, распалась, то распался и основанный на ней античный уклад жизни. Первая треть II в. — время утверждения бюрократически-правового космополитического государства, в котором растворились полисы, и время оформления христианского канона<sup>11</sup>, ставившего на место многоликих *civitas* единую *Civitas Dei*. *Urgent imperii fatis*, — писал в эти годы Тацит (*Tac. Germ.*, 33, 7): «Неминующе спускаются над империей беды».

Рассмотрение прослеженного выше процесса в связи с понятием престижности приводит по крайней мере к двум выводам, дополняющим обычное о нем представление.

Во-первых, необходимо учитывать, что роль престижности существенно повышается лишь при определенных общественно-исторических условиях. В их число входит прежде всего усиление вертикальной социальной подвижности. Именно этот процесс был характерен для Рима рассматриваемой эпохи. В гражданских войнах и репрессиях первых императоров исчезли патрицианские семьи, воплощавшие преемственность римской общественной и культурной традиции. К середине I в. «уже оставалось немного родов, названных Ромулом старшими, и тех, которые Луций Брут называл младшими; утасли даже роды, причисленные к патрицианским диктатором Цезарем по закону Кассия и принцепсом Августом по закону Сенция» (*Tac. Ann.*, XI, 28, 1, пер. А. Бобовича). В сенате Флавиев оставалась лишь одна патрицианская семья республиканского происхождения<sup>12</sup>.

Судьба эта постигла не только патрициев. Ее полностью разделили древние плебейские роды, вошедшие в состав римского нобилитета в III—II вв. до н. э., — Аннии, Виниции, Габинии, Домиции, Кальпурнии Пизоны, Лицинии, Лутации и многие другие<sup>13</sup>. Место их занимали не только, а с течением времени и не столько люди из социальных низов города Рима, сколько провинциалы — и из римских колонистов, и все чаще из местных племен, а также люди, совсем уж неизвестно откуда взявшиеся, вроде консулярия Курция Руфа, о котором император Тиберий говорил, что он «родился от самого себя» (Тас. Апп., XI, 21, 2), или вроде всесильного временщика при Веспасиане Эприя Марцелла, или столь же всесильного при Домициане Криспина, происходившего, если верить Ювеналу (IV, 23—25), из египетских нищих.

Еще большим был приток отпущенников, причем здесь речь шла уже не только и даже не столько о высших слоях, сколько о неприемлемом и коренном изменении всего состава римского населения. Хотя известный, старый, но до сих пор никем не опровергнутый вывод Т. Франка о том, что «90% постоянных жителей Рима составляли люди рабского происхождения», относится в основном ко II в.<sup>14</sup>, положение, им обнаруженное, складывалось исподволь, и в I в. до н. э., а тем более в I в. н. э. оно должно было вырисовываться совершенно ясно.

Новые люди проникали и утверждались всюду, и, где бы они ни появлялись, они никогда не стремились утвердить свои, принципиально новые ценности и формы жизни, а наоборот — стремились войти в римскую традицию, усвоить ее черты, стать — а для начала прослыть и выглядеть — настоящим римлянином старой складки. Так, на прекрасном могильном рельефе, украшающем зал римской скульптуры в берлинском Пергамоне, отпущенник Аледий (конец I в. до н. э.) увековечил себя и свою жену в тогах, скрывающих руки, т. е. в самом архаичном чине, характерном для старинной римской аристократии<sup>15</sup>. Престижность представляет собой классическую форму первоначального освоения новыми общественными силами старых социокультурных ценностей.

В описанной исторической ситуации престижность выступала прежде всего в виде престижности I. Нельзя не учитывать, однако, что и престижность II, представляющая собой стадийно более позднее и принципиально противоположное явление, изначально создавалась своеобразными отступниками той же традиционной элиты — первым Апицием<sup>16</sup>, Луцием Лицинием Лукуллом<sup>17</sup>, другом-врагом Цицерона Квинтом Гортензием, Корнелием Долабеллой, его зятем и столь многими другими. В нуворишской престижности II долго еще не мог не ощущаться тот же привкус подражания старым, аристократи-

чески-бесшабашно снобистским образцам. В этих условиях все новые социокультурные слои и группы, в какой бы форме они ни приобщались к римской традиции, включались в нее с постоянной оглядкой на эталон и образец для подражания, т. е. несли в себе элемент престижной стилизации, которая становилась подлинно универсальной атмосферой жизни.

Вне учета этой всепроникающей стихии неточными и обедненными предстают самые разные явления позднереспубликанской и тем более раннеимператорской эпохи, составляющие ее плоть и ее колорит: и демонстративный, всегда несколько театральный и подражательный героизм стоической оппозиции принципсам, и вся вереница лиц и образов, которые воплощали эту эпоху, — разбогатевшие отпущенники и герои сатир Горация, владельцы изящных, стилизованных помпейских особняков и адресаты Стациевых силв, пестрое население эпиграмм Марциала и преуспевавшие в Риме провинциалы, на которых так горько жаловался Сенека, сам бывший одним из них (*Sen. Cons. ad Helv.*, 6).

Второй вывод из анализа категории престижности и ее роли в истории Рима состоит в следующем. Как отмечалось в начале настоящих заметок, собственно и исконно римские ценности были неотделимы от общественного признания и воздаяния. Главная среди них, как бы вбиравшая в себя все остальное, обозначалась словом *honos* — 'почет, слава, награда, почесть, хвала'. Подлинной ценностью могло быть лишь то, что получило санкцию общественного мнения — *iudiciis hominum comprobatum* (*Cic. De Or.*, II (85), 347). Альтернативное по отношению к общественно-политическому понятию *honos* понятие *honestum* — «честное» — было отвлеченно-философским и интроспективным: «*Honestum... etiam si nobilitatum non sit, tamen honestum est, quodque vere dicimus, etiam si a nullo laudetur, natura esse laudabile*» (*Cic. Off.*, I, 4) («Честное... даже если никак его не облагораживать, тем не менее остается честным, и если мы высказали нечто истинное, оно по природе своей достойно похвалы, хотя бы ни один человек такой похвалы не произнес») <sup>18</sup>. Понятие «честного» играло важную роль у Цицерона и в традиции римского стоицизма, но по своим истокам было чисто греческим <sup>19</sup>. Распространение его в Риме в эпоху Ранней империи означало не углубление или развитие, а кризис и исчерпание коренной староримской аксиологии, которая, пока она жила, всегда была общественной по своей природе.

Общественно же политический характер римской системы ценностей, с одной стороны, выражался в том, что содержание ценностей определялось ответственностью перед обществом, служением Риму, подвигами во имя его на гражданском и военном поприщах, и оценка

человека была неотделима от оценки его как магистрата, оратора, воина<sup>20</sup>. Но, с другой стороны, именно в силу такого своего «экстравертного» характера ценность исчерпывалась своими внешними, общественными проявлениями и никогда не могла стать внутренней, интимно-духовной категорией. Элемент внешнего, существующего для других, соответствия норме, элемент, другими словами, престижной стилизации, который сначала сопутствовал римской системе ценностей, а потом исподволь разросся и заменил ее, абсолютизировал и вульгаризировал ее внешний, не знающий интроспекции и самоуглубленности общественный характер. Престижность по самому смыслу своему всегда обращена вовне, ждет чужой оценки и потому обратно пропорциональна индивидуально-духовному содержанию культуры. Становление интроспективного, обостренно личного сознания, со своим чувством индивидуальной нравственной ответственности, своим переживанием интимных радостей и горестей, было возможно лишь при преодолении этого деградировавшего полисного наследия, этой растворенности во внешнем, нивелированном, престижном.

1987

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> См.: *Malcovati H. Oratorum romanorum fragmenta*. 2<sup>e</sup> ed. Torino, 1955, p. 10. Здесь и далее, если фамилия переводчика не указана, перевод выполнен автором статьи.

<sup>2</sup> См.: *Bruns I. Die Persönlichkeit in der Geschichtsschreibung der Alten*. Berlin, 1898, S. 7—8; *Stuart D. R. Epochs of Greek and Roman biography*. Berkeley (Cal.), 1928, p. 206; *Кнабе Г. С. Римская биография и «Жизнеописание Агриколы» Тацита* // ВДИ, 1980, № 4, с. 57.

<sup>3</sup> «А из земледельцев выходят самые верные люди и самые стойкие солдаты. И доход этот самый чистый, самый верный и вовсе не вызывает зависти» (*Катон. Земледелие*, пред. 3). «Единственный чистый и благородный способ увеличить свое состояние — сельское хозяйство» (*Колумелла. О сельском хозяйстве*, I, 4). См.: *Штаерман Е. М. Древний Рим. Проблемы экономического развития*. М., 1978, с. 49—78.

<sup>4</sup> *Bardon H. La littérature latine inconnue, v. II. L'époque impériale*. Paris, 1956, p. 154—160.

<sup>5</sup> *Harris W. V. War and imperialism in Republican Rome 327—70 B. C.* Oxford, 1979, chap. 1.

<sup>6</sup> Водопровод Старый Анио (окончен в 272 г. до н. э.) был построен на средства, полученные М'Курием Дентатом в результате разгрома Пирра; Марциев водопровод — в 144 г. до н. э. на средства, полу-

ченные после разрушения Коринфа. На добычу от галльской кампании Цезарь начал в 54 г. до н. э. реконструкцию Эмилиевой и Семпрониевой (впоследствии Юлиевой) базилик — главных общественных сооружений римского Форума. Колонна Дуилия прославляла полководца, создавшего в ходе Первой Пунической войны римский флот и одержавшего морскую победу над карфагенянами, как колонна Траяна — принцепса, победившего даков. Таковы же характер и происхождение всех триумфальных арок, украшавших римский Форум.

<sup>7</sup> См.: Кошеленко Г. А. Полис и город // ВДИ, 1980, № 1.

<sup>8</sup> Коллекционирование статуй было, по-видимому, распространено (ср. Plin. Epp., VIII, 18, 11). О коллекционировании, однако, собственных статуй, столь характерном для Регула, других упоминаний в римской литературе, кажется, нет. См.: Sherwin-White A. N. The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary. Oxford, 1966, ad. loc.

<sup>9</sup> Плиний Младший строил свою купальню так, чтобы, плавая в горячей воде, он мог видеть холодное море — идея, в точности повторяющая описанную нами выше идею орнитонов Лукулла (Plin. Epp., II, 12, 11); купальня императорского отпущенника Клавдия Этруска закрывалась стеклянной крышей, которая была «фигурами испещрена, рисунками переливалась» (Stat. Silv., I, 5, 42—43); Сенека описывает купальни «простых граждан», где «стены блистали драгоценностями», а вода текла из серебряных кранов; такие краны обозначались греческим словом «эпитонион» и были, следовательно, заимствованы вместе с другими видами комфорта с эллинистического Востока (Sen. Ad Lucil., 86, 6—7).

<sup>10</sup> См.: Cizek E. Néron. Paris, 1982.

<sup>11</sup> Это положение может, по-видимому, сейчас считаться общепризнанным. См.: Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. М., 1980, с. 19 и сл., 48 и сл., 58 и сл.; она же. От общины к церкви. М., 1985, с. 62 и сл.; Козаржевский А. Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы. М., 1985, с. 45—96; Barnikol E. Das Leben Jesu der Heilgeschichte. Halle, 1958. В последней работе вводится понятие synoptische Schwelle, относимой автором к 100 г. н. э. и непосредственно следующим годам (с. 287 и сл.).

<sup>12</sup> Семья Корнелиев (Garzetti A. Nerva. Roma, 1950, p. 15).

<sup>13</sup> Примечательно, что император Гальба, говоря о знатности своего происхождения, не делал различия между Сульпициями-патрициями и Лутациями-плебеями — между двумя родами, от которых он вел свою генеалогию (Tac. Hist., I, 15, 1).

<sup>14</sup> Frank T. Race mixture in the Roman empire // American Historical Review, v. XXI, 1915/16.

<sup>15</sup> Аледий был далеко не одинок. «Как показывает огромное число памятников, требования, которые выходцы из низов предъявляли к своим скульптурным портретам, очевидным образом продолжали

те, что предъявляли к своим изображениям богачи. Отпущенники, следовательно, стремились выглядеть так же, как люди, отпустившие их на волю» (*Schindler W. Römische Kaiser. Herrscherbild und Imperium. Leipzig, 1985, S. 16*).

- <sup>16</sup> Знаменитый «богач и мот Апиций» (Тас. Апп. IV. 1. 2.), покончивший с собой при Тиберии (Март., III, 22), лишь продолжал традицию мотовства и гастрономического гедонизма, созданную его предком (или однофамильцем?), жившим в эпоху Мария и Суллы (Аthen., IV.168). См. научный аппарат к изданиям: *Das Apicius-Kochbuch aus der römischen Kaiserzeit. Ins deutsche übersetzt und bearbeitet von R. Gollmer. Rostock, 1928 (пепринт 1985); Apicius. De re coquinaria. Paris, 1974.*
- <sup>17</sup> Луций Лициний Лукулл (до 106—56 гг. до н. э.), чье богатство и пиры вошли в поговорку, был, кроме того, коллекционером книг и произведений искусства, автором исторического сочинения, написанного на греческом языке (Plut. Luc., I).
- <sup>18</sup> Ср. Cic. De fin., II, 38; Sen. De vita beata, 4; Tac. Hist., IV, 5, 2.
- <sup>19</sup> Утченко С. Л. Еще раз о римской системе ценностей // ВДИ, 1974, № 4, с. 43.
- <sup>20</sup> Утченко С. Л. Еще раз о римской системе..., с. 43—44. В этой работе, разделенной на две публикации (ВДИ, 1972, № 4; 1974, № 4), содержится во многом исчерпывающая характеристика общественно-политической природы римской системы ценностей.

---

## ГОРОДСКАЯ ТЕСНОТА КАК ФАКТ КУЛЬТУРЫ

В конце Республики и начале Империи, то есть в I в. до н. э. и особенно в середине I в. н. э., в Риме было очень тесно и очень шумно. Население города составляло к этому времени не менее одного миллиона человек. Большинство свободных мужчин в возрасте от шестнадцати лет и многие женщины, равно как и большинство приезжих, то есть в совокупности от 200 до 300 тысяч человек, проводили утренние и дневные часы, по выражению поэта Марциала, «в храмах, портиках, лавках, на перекрестках», преимущественно в тех, что были сосредоточены в историческом центре города. Этот исторический центр представлял собой прямоугольник: со сторонами, очень приблизительно говоря, 1 км (от излучины Тибра у театра Марцелла до Виминальского холма) на 2 км (от Марсова поля до холма Целия), в котором в свою очередь выделялась еще более узкая зона, застроенная самыми роскошными общественными зданиями, окруженная наибольшим престижем и где концентрация населения в утренние и дневные часы должна была быть наибольшей; в эту зону входили: римский Форум (80×180 м)<sup>1</sup>, форумы Цезаря (43×125 м) и Августа (450 м по периметру), плотно застроенный лавками район между римским Форумом и Колизеем (80×200 м), несколько центральных улиц — Субура (около 350 м), Велабр (около 200 м), Аргилет (немногим более 100 м). Поверхность площадей, а особенно улиц, которые в эту пору имели обычно ширину пять-шесть метров и никогда, кажется, не больше девяти, существенно сокращалась из-за загромождавших их лавчонок трактирщиков, брадобреев, мясников и т. д.

Несоответствие крайне ограниченной территории исторического центра и огромного количества тех, кто стремился не только попасть на нее, но здесь расположиться, людей посмотреть и себя показать, встретиться с приятелем или деловым партнером, сделать покупки, и приводила к той невыносимой тесноте, о которой в один голос говорят римские писатели, и особенно выразительно — Ювенал:

*...мнет нам бока огромной толпою  
Сзади идущий народ: этот локтем толкнет, а тот палкой  
Крепкой, иной по башке тебе даст бревном иль бочонком;  
Ноги у нас все в грязи, наступают большие подошвы  
С разных сторон, и вонзается в пальцы военная шпора<sup>2</sup>.*



По свидетельству того же автора, носилки, в которых передвигались по городу богачи и знать, по улицам Рима приходилось нести, поднимая над головами, — возможно, отчасти потому, что иначе пронести их было невозможно. Тацит рассказывает, как присланные в Рим солдаты германской армии «стремились прежде всего на Форум... Непривычные к городской жизни, они попадали в самую гущу толпы и никак не могли выбраться, скользили на мостовой и падали, когда кто-нибудь с ними сталкивался»<sup>3</sup>.

Скученность царила не только на улицах, но и в общественных зданиях. Остановимся на одном, самом типичном и самом известном — Юлиевой базилике. Она была построена на южной стороне римского Форума Цезарем и завершившим работы Августом и представляла собой пятинефное здание, в центральной части двухэтажное, размером 60×180 м. В этом помещении постоянно заседали четыре суда по уголовным делам. Судей в каждом было 26, подсудимый приводил с собой десятки людей, призванных оказывать ему моральную поддержку. Выступавший в заседании сколько-нибудь известный адвокат привлекал сотни слушателей. Многие из них весь день сидели здесь или прогуливались по базилике и периодически устремлялись к тому трибуналу, где должен был выступать адвокат, их чем-либо интересовавший. Тут же шла бойкая торговля, и на полу до сих пор видны круги и квадраты, очерчивавшие место того или иного купца. Сохранились на полу и фигуры другого назначения — в них, играя в азартные игры, забрасывали кости или монеты; игра шла не менее бойко, чем торговля, и все это постоянно хотело есть и пить, в толпе непрерывно двигались продавцы воды и съестного, а если приезжим было трудно расплатиться, они могли обменять деньги у сидевших тут же менял. Здесь обращает на себя внимание не только теснота как таковая, но и еще одна особенность римской толпы — количество разнообразных дел, которыми люди занимались одновременно на одном и том же ограниченном пространстве. Известен случай, когда оратор Кальв выступал на римском Форуме с обвинительной речью против кого-то из семьи Брутов — как раз в это время мимо, лавируя в толпе, проходила погребальная процессия: хоронили другого члена той же семьи. В декабре 69 г. н. э., когда солдаты императора Вителлия штурмовали Капитолий, где засели флавианцы, младший сын Флавия Веспасиана и будущий император Домициан спасся, замешавшись в толпу поклонников Изиды, которые спокойно отправляли свой культ, нисколько не смущаясь сражением, идущим вплотную к ним.

И густота толпы сама по себе, и только что отмеченная ее особенность порождали невероятный шум, а голые кирпичные и каменные фасады, ограничивавшие узкие улицы, отражали и еще более усили-

вали его. Ювенал уверял, что в Риме умирают в основном от невозможности выпастся. Марциал не мог заснуть от стука телег, гомона ребятишек, еще до света бегущих в школу, оттого, что менялы, зазывая клиентов, непрерывно постукивают монетами по своим переносным столикам. Сенека, один из фактических правителей государства, жил над публичной баней и специально вырабатывал у себя нечувствительность к постоянно окружавшему его грохоту. Интенсивность запахов не уступала интенсивности шума. Из бесчисленных харчевен неслись дым и аромат дешевой пищи. «От дыхания наших дедов и прадедов разило чесноком и луком», — вспоминал Варрон<sup>4</sup>. Жара стояла большую часть года, одежда была почти исключительно шерстяной, а у бедняков и грубошерстной. Рацион состоял в основном из гороха, полбы, хлеба и пахучих приправ. Не трудно (или, скорее, очень трудно) себе представить, в какой океан запахов погружался человек, входя в эту плотную, оглушительно галдящую толпу.

Что означала вся эта атмосфера — обычное проявление южного темперамента и донные живущих в Италии бытовых традиций или нечто иное — содержательную характеристику римской гражданской общины, внутренне связанную с особенностями ее истории, общественной психологии и культуры? Есть по крайней мере три обстоятельства, заставляющие отказаться от первого из этих предположений и принять второе.

1. Публичность существования и его живая путаница были типичны не только для улиц и общественных зданий, они царили и в жилых домах — домусах и инсулах, то есть были характерны для Рима в целом.

Разница между этими двумя типами римских жилых зданий в традиционном представлении сводится, как известно, к следующему: домус — особняк, в котором живет одна семья, инсула — многоквартирный дом, заселенный множеством не связанных между собой семей: домус в основе своей одноэтажное строение, инсула — многоэтажное: домус как резиденция одной семьи представлял собой автономное архитектурное целое, имеющее самостоятельные выходы на улицу, в инсуле резиденция каждой семьи несамостоятельна, включена в сложный архитектурный комплекс и не имеет отдельных выходов на улицу: домус типичен для старого республиканского Рима, инсула распространяется преимущественно в эпоху Ранней империи. Все эти противоположности, такие реальные и обоснованные в пределах традиционного историко-архитектурного анализа, оказываются, если подойти к ним с точки зрения общей структуры материально-пространственной среды той эпохи, весьма относительными. В определенном смысле они рас-

творялись для римлянина в едином типе организации действительности — в том самом, который был немыслим без тесноты и шумной публичности каждодневного существования.

Если учесть эту сторону дела, несколько по-иному выглядит и чисто архитектурное соотношение обоих типов жилых домов. Комнаты, выходявшие на оба центральных помещения италийского домуса — на внутренний дворик-цветник, или перистиль, и на парадный зал со световым колодцем, или атрий, — почти не имели окон. Между ними и внешними стенами оставалось пустое пространство, наглухо отделенное от жилой части дома, и в нем размещались имевшие самостоятельный выход на улицу так называемые таберны. Обычно их занимали под мастерские, склады или лавки, которые хозяин либо использовал сам, либо — чаще — сдавал внаем. Домус в этом случае не был обиталищем одной семьи, а включал в себя и ряд помещений, к ней отношения не имевших. Арендовавший таберну ремесленник или торговец мог поселиться в ней на своего рода антресолях вместе со своей семьей, а бывали случаи, когда таберны и прямо сдавались под квартиры с отдельным выходом, как было, например, в роскошном доме, расположенном непосредственно за форумом в Помпеях и известном под именем «дома Пансы». Следующий шаг на этом пути состоял в том, что один человек приобретал ряд соседних домов и, либо подводя их под общую крышу, либо каким-нибудь другим способом, превращал их в своеобразный комплекс, где арендаторы таберн со своими семьями, отпущенники с их семьями, работники лавок и мастерских и семья хозяина жили в непосредственном контакте друг с другом. Таково положение, например, в домах № 8—12 на 6-м участке I района Помпей, в домах Корнелия Тегета, Кифареда или Моралиста. В последнем случае в соединенных домусах с общим атрием жили две семьи, известные нам поименно — Аррии Политы и Эпидий Гименеи.

Слияние жилых ячеек в единый улей шло не только по горизонтали, но и по вертикали. Жилой аттик домуса обычно имел выход как на первый этаж, так и на балкон, расположенный по фасаду и в ряде случаев продолжавшийся на фасад соседнего дома. Если отдельные помещения в таком аттике сдавались внаем и при этом еще соединялись с табернами, от замкнутой независимости и самостоятельности и самой семьи, и ее резиденции, которая в идеализированном историко-архитектурном представлении составляет сущность римского домуса, не оставалось и следа. Попробуем вообразить себе, например, как жилось в Помпеях в доме № 18 12-го участка VII района, часть которого занимала одна семья, в табернах расположился публичный дом, а в аттике (или, если угодно, на втором этаже) ряд помещений принадлежали каждое отдельной семье, и члены их проходили домой по балкону, имевшему выход через соседний дом № 20.

Для того чтобы представить себе реальное соотношение домуса и многоквартирного дома, необходимо вспомнить, что основной смысл слова «инсула» — это застроенный участок, ограниченный со всех сторон улицами, независимо от того, застроен он особняками или доходными домами<sup>5</sup>. Именно так этот термин употребляется систематически в своде римского права — «Дигестах». Перенесение его на многоквартирный и многоэтажный дом было возможно потому, что между тем и другим не видели принципиальной разницы. Застроенный участок — квартал по фронту, квартал в глубину — заполнялся обиталищами, соединенными между собой таким количеством переходов, внутри и по балконам, подразделенным на такое количество сдаваемых внаем лавок, сдаваемых квартир, арендаторы которых сдавали площадь еще от себя, что границы изначальных домусов и инсул во многом стирались и весь участок превращался в некоторое подобие улья<sup>6</sup>. Этот вывод вытекает, насколько можно судить, из всего материала, только что приведенного. Дополнительно можно обратить внимание, во-первых, на то, что в «Дигестах» конфликтам, возникавшим именно из подобной путаницы жилых домов и помещений<sup>7</sup>, посвящен целый раздел — если понадобилось специальное законодательство, положение это должно было существовать повсеместно; во-вторых — на словоупотребление у римских авторов<sup>8</sup>, которые подчас явно не видели четкой границы между инсулой, домусом и жилым строением вообще (*aedes*)<sup>9</sup>. Если при всех их различиях перечисленные разновидности римского жилья в сознании современников сливались, то, очевидно, существовало в этом сознании некоторое более широкое представление, охватившее жилую среду города в целом, и внутреннее единство ее воспринималось как нечто более важное и более реальное, чем внутренние различия. В римских домусах и инсулах при их очень значительных размерах было тесно, хотя и не так, как на улицах, но столь же, если не более, ощутимо: и там и тут человек не мог и не хотел изолироваться, замкнуться, отделиться. Потребность «остаться наедине с собой» император Марк Аврелий почувствовал эту лишь полтора столетия спустя. Теснота на улицах и жилища-ульи в описываемую эпоху были еще двумя слагаемыми единого ощущения жилой среды, воспринимавшегося императивно: быть всегда на людях, принадлежать к плотной живой массе сограждан, смешиваться со своими и растворяться в них.

2. Ощущение тесноты осознавалось как порождение родной истории и как ценность. Обычное мнение о том, что описанные особенности римской жизни — результат перенаселения городов в начале Империи, неточно. Перенаселенность, разумеется, была<sup>10</sup>, и, разумеется,

она разлагала традиционный быт этого общества, в основе своей оставшегося примитивным, натуральным, преимущественно сельским. Но описанные выше архитектурные и бытовые явления, в которых реализовался процесс перенаселения, существовали с глубокой древности, и сам его кризисный характер был порожден приверженностью к исторически сложившимся формам, явно себя изживавшим. Этажи существовали с незапамятных времен — еще в 218 г. до н. э., как рассказывает Тит Ливий, бык взобрался на третий этаж дома и бросился оттуда, испуганный криками встревоженных жильцов<sup>11</sup>. С самого начала были они чертой не только инсул, но и домусов — «с верхней части дома через окно» обращалась к народу Танаквиль, жена царя Тарквиния Приска<sup>12</sup>, которая, разумеется, не могла жить в доходном доме; с верхнего этажа домов своих друзей любил смотреть цирковые игры император Август. Балконы, игравшие такую значительную роль в превращении римских домов в «ульи», назывались по-латински «менианы» по имени Мения, консула 318 г. до н. э., то есть существовали с IV в., и законы против злоупотребления ими принимались, по свидетельству историка Аммиана Марцеллина, «еще в древние времена»<sup>13</sup>. Консул 186 г. до н. э. Публий Постумин развел сына с невесткой и выделил ей помещение на втором этаже своего дома, отделенное от резиденции семьи и имевшее самостоятельный выход на улицу через балкон. Взгляд на архитектурное сооружение как на совокупность относительно самостоятельных, но сложно взаимосвязанных помещений ясно чувствуется иногда в старых римских храмах — таких, например, как храм Фортуны Примигении в Пренесте (конец II в. до н. э.). Некоторые исследователи с полным основанием видят в таком подходе к зданию коренную особенность римского архитектурного мышления, с самого начала отличавшую его от греческого<sup>14</sup>. Римляне, во всяком случае, думали именно так и полагали, что на самой заре истории боги научили их

*...строить дома, сочетая жилище свое воедино  
С крышей другой; чтоб доверье взаимное нам позволяло  
Возле порога соседей заснуть*<sup>15</sup>.

Такая теснота воспринималась в интересующую нас эпоху как одно из частных, но вполне ощутимых проявлений демократической традиции полисного общежития. простоты и равенства и в этом смысле как ценность. Это видно не только в распространенных славословиях тесноте и скромности жилищ былого времени, как, например, в знаменитом 86-м письме Сенеки Луцилию или во многих местах «Естественной истории» Плиния Старшего, но и в поведении императоров I в.

Всегда рассчитанное на определенный общественный резонанс, оно в положительной или отрицательной форме учитывало народные вкусы и тем самым отражало и характеризовало их. Большинство первых императоров жили очень публично, подчас в тесноте и скученности, не только не смущаясь, но как бы даже бравируя этим. На склоне Палатинского холма, где находился комплекс императорских дворцов, размещались сыроварни, непрерывно дымившие и окутывавшие дымом и ароматами весь холм. Клавдий, прогуливаясь по Палатину, неожиданно услышал голоса и шум и, осведомившись, узнал, что это историк Сервилий Нониан публично читает в одной из комнат дворца свое новое произведение, — императора никто об этом не предупреждал, но такое обращение с его домом, по всему судя, нимало его не шокировало. В составленной Светонием биографии этого императора он не раз и по самым разным поводам изображен в толпе, которая ведет себя по отношению к нему без особого почтения. Вителлий постоянно сидел в цирке в самой гуще толпы и прислушивался к мнениям окружающих; из комментария Тацита к этому сообщению<sup>16</sup> явствует, что он считал такое поведение само по себе достойным и правильным, и только общеизвестные пороки Вителлия придавали ему иной, отрицательный смысл.

Древние авторы — Тацит, Плиний Младший, Светоний, Ювенал, Дион Кассий — были уверены, что уединения в загородной резиденции всегда искали только нарушавшие римские традиции дурные принцепсы. На Капри, изолированный от людей и погруженный в противоречивые пороки, проводит последние годы своей жизни Тиберий. Домициан, в отличие от отца и брата, живет не в Риме, а в Альбе, где собирает приближенных и вершит несправедливый суд и жестокую расправу. Показательно, что непопулярный в последние годы жизни Нерон, отстроив себе в центре Рима огромную резиденцию (так называемый «Золотой дом»), закрыл доступ в нее народу. Первое, что сделал очень популярный Веспасиан, — приказал срыть здания дворца и построить на их месте открытый десяткам тысяч посетителей Колизей, где он постоянно бывал и сам. Первый император, полностью порвавший с патриархально-римскими, августовскими традициями принципата, Адриан, построил себе резиденцию в уединенном Тибуре. Напротив, верные римской традиции «хорошие» принцепсы изображаются теми же авторами либо в толпе, как Август или Траян, либо в решающую минуту идущими в толпу, как Гальба. Показательно, что в возвращении к народу, в физическом погружении в его массу, искали в роковую минуту если не спасения, то облегчения даже такие люди, в обычное время весьма далекие от традиций римской демократии, как Вителлий. «Облаченный в черные одежды, окруженный плачущими

родными, клиентами и рабами, спустился он с Палатина. За ним, как на похоронах, несли в носилках его маленького сына. Не было ни одного, даже самого бесчувственного человека, которого не потрясла бы эта картина: римский принцепс, еще так недавно повелевавший миром, покидал свою резиденцию и шел по улицам города, сквозь заполнившую их толпу, — шел, дабы сложить с себя верховную власть. Протягивая ребенка окружавшей толпе, он обращался то к одному, то к другому, то ко всем вместе, рыдания душили его. Вителлий двинулся к храму Согласия с намерением там сложить с себя знаки верховной власти и затем укрыться в доме брата. Вокруг кричали еще громче, требуя, чтобы он отказался от мысли поселиться в частном доме и вернулся на Палатин. Пройти по улицам, забитым народом, оказалось невозможно. Вителлий поколебался и вернулся на Палатин»<sup>17</sup>.

Представление о связи между человеческой теснотой и сущностью римского мира прямо и ярко выражено в рельефах колонны Траяна<sup>18</sup>. Лента, которую они образуют, тянется, как известно, на 200 м, разделенных на 124 эпизода. Первый изображает римский «лимес» — засечную черту укреплений по берегу Дуная, обращенных в сторону неримского и внеримского мира варваров. Укрепления расставлены редко, так что создается острое ощущение пустынности, безжизненности страны перед ними и вокруг них. В двух следующих эпизодах появляются люди и архитектура, но все это по-прежнему как-то тонет в угадывающейся вокруг пустыне. Но вот в 4-м и 5-м кадрах по наплавному мосту пересекает Дунай римское войско, и сразу становится ясно, что разреженность первых кадров и предельная заполненность последующих — сознательный прием: в левом нижнем углу изображен бог Дунай, за ним — пустота, и из своего одиночества он взирает на живую массу римлян, плотной толпой валящихся из ворот лагеря. Кадры 10-й — 15-й, показывающие римлян в начале похода, переполнены людьми, движением, деятельностью — идет строительство лагеря, рубка леса, наведение моста. Когда людей в кадре становится меньше, заполненность его от этого не снижается — в нем появляются орудия и материалы труда, укрепления, стены. Стихия римлян — плотное и бодрое многолюдство, неотделимое от деятельности, движения, энергии. И, напротив, даки, даже когда их много, никогда не создают этого впечатления. Контрапункт римского и варварского начал, выраженный через постоянное сопоставление тесно сплоченных очагов организованной деятельности и разреженной природной пустоты, — сквозная тема всего произведения<sup>19</sup>. Но кончилась война, и кончилась лента рельефов. В двух последних кадрах даки уходят в степи, и в прежней пустоте безмятежно пасутся несколько овец и коз.

3. Теснота в обоих своих взаимосвязанных значениях — и как явление городской жизни, и как ценностное представление общественного сознания — начинает исчезать из римской действительности с середины I в. н. э. После грандиозного пожара 64 г., который уничтожил большую часть Рима и особенно губительно сказался на его историческом центре, Нерон установил новые правила городской планировки и домостроительства. Они отвечали давно назревшей потребности и потому были быстро восприняты архитектурной практикой, вступившей отныне в период коренной перестройки — настолько коренной, что ее подчас не без оснований называют римской архитектурной революцией. Она продолжалась несколько более полувека и принципиально изменила облик жилых домов и общественных сооружений, всю эстетику жилой среды. Процесс этот хорошо освещен в литературе<sup>20</sup>, и общее его направление достаточно ясно. Центральные улицы Рима, а вслед за ним и многих городов империи выравнились и расширились: единицей градостроительства стал теперь не застроенный участок — инсула, а отдельное архитектурное сооружение, «ограниченное со всех сторон собственными стенами, общими у него с другими домами»<sup>21</sup>; было запрещено застраивать дворы; этажность ограничена. Соответственно исчезло большинство предпосылок «дома-улья», а вскоре и сами дома этого типа. Освещение через внутренний световой колодец атрия или перистилия уступило место освещению через окна во внешних стенах, что наполнило комнаты светом.

Это последнее обстоятельство было связано с перестройкой всей системы эстетических представлений в данной области. В центр ее выдвигается не строение как таковое, а внутренний объем, представляющийся тем более совершенным, чем больше в нем простора, света и воздуха, чем более он открыт окружающей природе. Решению этой эстетической задачи подчинена, в частности, вся настенная живопись в помпейских домах 60–70-х гг. Растет и приобретает новый смысл тот вид общественных сооружений, который больше всего соответствует этому представлению, — термы. В их огромных залах, бесконечных галереях, прохладных нимфеях и библиотеках человек чувствовал себя в принципе по-иному, чем в портиках и базиликах республиканской поры, — предоставленным самому себе и собеседникам, соотнесенным с окружающими, а не вдавленным в их толщу.

Разумеется, смена эта не была ни мгновенной, ни линейно-четкой, обе традиции сосуществовали довольно долго, но контраст нового уклада с описанным выше тем не менее раскрывается совершенно ясно в ряде сопоставлений: инсулы, описанные в третьей сатире Ювенала, и новые жилые кварталы Остии; «ульи» в районе помпейского форума и особняки-виллы, вроде дома Лорея Тибуртина в районе новостроек



в конце улицы Изобилия; форум Цезаря и форум Траяна; Стабиевы бани в Помпеях и термы Каракаллы в Риме.

Все это вещи, широко известные, и к ним можно было бы не возвращаться, если бы не два обстоятельства, одно из которых освещается в литературе редко, а другое — никогда и без которых завершить рассмотрение римской тесноты именно как исторического явления вряд ли возможно. Первое из них состоит в том, что технические, строительные и государственно-политические предпосылки римской архитектурной революции существовали очень задолго до нее. Грандиозные сооружения флавианской (69—96 гг.) и последующей эпох были невозможны без строительного раствора, который римляне называли «opus caementicium», а мы, за неимением лучшего слова, — «римским бетоном». Но этот «бетон» применялся в Риме с III в. до н. э. и довольно широко, возможности его были известны, однако в массовом масштабе не использовались вплоть до общей перестройки материально-пространственной среды во второй половине I в. н. э. Конструктивной основой зданий, созданных римской архитектурной революцией, явились арка и свод. Они применялись в Риме всегда — с этрусских времен, были органически глубоко римскими, народными архитектурными формами, но использовались систематически до 60—70 гг. I в. н. э. лишь в некоторых типах «непрестижных» сооружений вроде мостов — в Юлиевой базилике, например, они скрыты за каноническим «ордерным» фасадом. Наконец, идея изменения принципов и характера застройки Рима была и у Цезаря, и особенно у Августа, который во многом ее осуществил и с основаниями говорил, что, «приняв Рим кирпичным, оставляет его мраморным»<sup>22</sup>, но изменения эти шли в русле традиций и не привели ни к чему подобному архитектурной революции конца века, хотя субъективных, да и объективных возможностей для ее осуществления у гениального Августа было несравненно больше, чем у Нерона и тем более у Флавиев. Очевидно, лишь в конце I в. н. э. произошло что-то, позволившее всем этим предпосылкам реализоваться, слиться воедино и из разрозненных фактов строительной технологии и политики превратиться в единый существенный факт культуры. Этим «чем-то» был окончательный распад римской гражданской общины. Вспомним вкратце то, что мы знаем о ее эволюции.

Античный город-государство, или полис, разновидностью которого была римская гражданская община, представлял собой, во-первых, хозяйственную и социально-политическую систему и, во-вторых, систему идеологическую. Они обладали известной самостоятельностью по отношению друг к другу; в Риме это проявилось, в частности, в том, что разрушение первой из них и распад второй оказались разделенными во времени интервалом в 100—150 лет. В социальных потрясениях последних

десятилетий Республики, в гражданских войнах I в. до н. э., в реформах Августа и его преемника Тиберия навсегда исчезли народное собрание как высший орган власти и, соответственно, выборы магистратов этим собранием, народное ополчение, периодические переделы земли и другие конститутивные признаки древней гражданской общины как социально-политического организма. Сменившая ее государственная организация, однако, не сумела создать собственной идеологии, и такие атрибуты города-государства, как республиканская форма власти, всемерное ограничение римского гражданства, нормативная роль консервативной полисной традиции в области морали и права, продолжают на протяжении большей части I в., исчезая постепенно из реальной жизни, сохранять значение идеальной нормы. Лишь со второй половины века противоречие это начинает утрачивать свою четкость и напряженность, римская гражданская община исчезает также и как система идеализированных архаичных идеологических норм, чтобы со времени Адриана (117–138 гг.) окончательно раствориться в пестром космополитизме и правовом единообразии мировой империи.

Развитие и гибель этих двух систем, однако, происходили на фоне и в связи с эволюцией третьей — системы трудовых навыков и бытовых привычек, полусознанных норм повседневного поведения, реакций на условия и характер окружающей материально-пространственной среды. Томас Манн назвал статью, которую он посвятил своему родному городу, «Любек как духовная форма жизни». Каждый органически развившийся город представляет собой «форму жизни» — материальную, поскольку она отражает реальные условия существования людей, и духовную, поскольку она становится необходимым элементом самосознания народа. Древний Рим представлял собой такую «форму жизни» по преимуществу.

Римская «форма жизни» обладала определенными структурными особенностями. Она была органически связана с производством, с социально-политическим строем, идеологией, и такой ее элемент, как привычка к тесноте, непосредственно выражал эту связь. Обусловленная хозяйственно и исторически, древняя римская прямая демократия предполагала физическое присутствие всех граждан при решении дел общины, они приходили со своих участков земли, розданных им государством, и стояли тесным строем, тем же строем, каким шли в поход, узнавая каждого в лицо, свои среди своих; еще Катон Старший говорил, что он знает по именам всех римлян. Поэтому чужакам народа и физически, чисто пространственно от него отделяться, отличаться не только взглядами, но даже одеждой и запахом считалось оскорблением общины<sup>23</sup>. То было традиционное обвинение, которое предъявляли высокомерным аристократам все подлинные и мнимые

защитники *res publica* — «народного дела», от того же Катона до Пизона Лициниана; ни у одного народа привычка к духам не фигурировала так часто в роли государственного обвинения. Поэтому же, продолжая традиции родовой общины, римлянин считал непристойным и кощунственным принимать сколько-нибудь ответственное решение одному, без совещания с друзьями, постоянно, дома, на форуме и в походе, плотной группой окружавшими любого видного гражданина — они не случайно назывались *cohors amicorum* — 'когорта друзей'; на рельефах своей колонны Траян ни разу не появляется без них.

Но «третья система» римской гражданской общины обнаруживает при этом по отношению к первым двум такую же самостоятельность, которую те обнаруживали по отношению друг к другу. В общем кризисе античного полиса различные элементы этой третьей системы могли, в частности, отмирать на том или ином этапе исторической эволюции и не обязательно все вместе и до конца сопутствовать истории города. Так, привычка воспринимать чужое, иноземное, пространственно отдаленное как страшное и враждебное, столь сильная у греков, в Риме никогда не была крепкой и отмерла очень рано — уже во II в. до н. э. от нее не остается и следа. И, напротив того, привычка к членению социальной действительности на микрообщности, обладавшие в массовом сознании большей реальностью, чем макрообщность республики в целом, пережила римскую гражданскую общину и в виде «коллегий простых людей», дружеских кружков, культовых объединений дожила до конца античного мира. Привычка к тесноте, как показал материал настоящего очерка, эволюционировала своим особым образом и обнаруживала наиболее тесную связь с духовно-психологическим строем римской гражданской общины. После его крушения теснота могла сохраниться как физическое явление — как «форма жизни» она существовать перестала.

1979

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> По вполне очевидным причинам цифры, определяющие размер давным-давно не существующих, подчас не до конца раскопанных площадей и улиц, сильно колеблются по отдельным историко-архитектурным работам и должны восприниматься только как приближительные.

<sup>2</sup> Ювенал, III, 244—248.

<sup>3</sup> Тацит. История, II, 88.

<sup>4</sup> Цит. по: Сергеев М. Е. Жизнь Древнего Рима. М.; Л., 1964, с. 127.

- <sup>5</sup> См.: Архитектура античного мира / Сост. В. П. Зубов и Ф. А. Петровский. М., 1940, с. 458.
- <sup>6</sup> См. там же, № 500—530, с. 149—155.
- <sup>7</sup> Дигесты, VIII, 2, 41: «Олимпику завещатель при жизни отказал жилое помещение и житницу, находившуюся в этом доме; при том же доме — сад и столовая на втором этаже, не отказанные Олимпику; в сад и в столовую доступ всегда был из дома, в котором Олимпику предоставлено жилое помещение; спрашивается, обязан ли Олимпик предоставить остальным наследникам право прохода в сад и в столовую?»
- <sup>8</sup> См., например: Цицерон. Речь в защиту Целия, 17; Об обязанностях, III (16), 66.
- <sup>9</sup> Интуиция художника часто воссоздает прошлое не менее точно, чем выкладки исследователя, подтверждая и дополняя последние. В фильме Феллини «Рим» огромный жилой дом — образ вечного обиталища Вечного города, где древнеримская действительность смешивается с современной, — представлен именно как улей, где помещения и люди в них сложно перепутаны.
- <sup>10</sup> С конца III в. до н. э. до середины I в. н. э. население Рима выросло почти в пять раз, а территория — едва ли в 2—2,5 раза.
- <sup>11</sup> См.: Тит Ливий, XXI, 62.
- <sup>12</sup> Там же, I, 41.
- <sup>13</sup> Аммиан Марцеллин, XXVII, 9, 10.
- <sup>14</sup> См.: Ward-Perkins, John B. Roman Architecture. New York, 1977, p. 35—39; 80.
- <sup>15</sup> Ювенал, XV, 153—156.
- <sup>16</sup> См.: Тацит. История, II, 91.
- <sup>17</sup> Там же, III, 67—68. Отрывок дан с пропусками, которые в настоящем тексте не отмечены.
- <sup>18</sup> См., в частности, иллюстративный материал в кн.: Miclea J. La Colonne. Cluj, 1972.
- <sup>19</sup> Показательно, что примерно в эти же годы в «обилии свободных пространств» видел одну из характеристик жизни варваров-германцев Корнелий Тацит (Германия, 26).
- <sup>20</sup> В первую очередь в классической работе: Boethius A. The Neronian «Nova Urbs» // Corolla Archaeologica. Lund, 1932.
- <sup>21</sup> Тацит. Анналы, XV, 43.
- <sup>22</sup> Светоний. Божественный Август, 28, 3.
- <sup>23</sup> Авл Геллий. Аттические ночи, X, 6: «Римское государство наказывало дерзость не только в делах, но и в словах — люди верили, что это необходимо для сохранения римских нравов в их строгости и чистоте. Дочь знаменитого Аппия Слепца (цензор 312 г. до н. э. и дважды консул, в 307 и 296 гг., строитель Аппиевой дороги. —

Г. К.), выходя из театра, попала в плотную толпу; люди устремлялись в разных направлениях и отталкивали ее то туда, то сюда. Жалуясь на свои злоключения, она сказала: «Что бы со мной стало и насколько сильнее меня бы стиснули, если бы брат мой Публий Клавдий не потерял в морском сражении целый флот, а с ним и множество граждан. Теперь их было бы столько, что они определенно задавили бы меня насмерть. О, если бы только, — продолжала она, — брат восстал из мертвых, повел бы в Сицилию еще один флот и потопил бы там и эту толпу, так измучившую меня, несчастную!» Слова этой женщины, подлые и недостойные гражданина, народные эдилы Гай Фунданий и Тиберий Семпроний наказали штрафом в двадцать тысяч старинных ассов. Случилось это, как утверждает в своем сочинении «О суждениях народных» Капитон Аттей, в пору Первой Пунической войны, в консульство Фабия Лицина и Отацилия Красса (246 г. до н. э. — Г. К.). Эта же история рассказана у Валерия Максима (VIII, I).

**ДРЕВНИЙ РИМ.  
НА ВЕРШИНАХ  
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ**

---

---

## ПРОБЛЕМА ЦИЦЕРОНА

Древний Рим играет ключевую роль в истории европейской, да и мировой культуры. На протяжении столетий вклад его в эту историю оценивался очень неоднозначно, то резко отрицательно, то восторженно положительно. Причины были и для одной, и для другой оценки, но, как бы ни рассматривать роль Древнего Рима в истории, бесспорными остаются три капитальных факта. Первый — начавшись как незначительное поселение на заболоченном левом берегу реки Тибр в Средней Италии, Рим на протяжении столетий переживал невероятные трудности, много раз оказывался на волосок от гибели, горел и восставал из пепла и тем не менее неуклонно рос, расширял свои владения и к первым векам новой эры стал величайшей державой, объединившей весь тогдашний цивилизованный мир от Гибралтара до Персидского залива и от Шотландии до порогов Нила. В ходе борьбы с интенсивностью, в истории почти не встречавшейся, проявились свойства римского племени — поразительная жизненная энергия, выносливость, великая вера в свою звезду, самоотвержение, организаторский талант. Рим навсегда остался как бы эталоном этих лучших народных свойств. Второй бесспорный факт связан с тем, что слова «завоевание» и «владение» характеризуют отношение Рима к окружающим народам односторонне и неполно. Все было — истребление целых племен, разрушение огромных материальных и культурных ценностей, бесконечные насилия, прямой грабеж. Но после завоевания на покоренные страны и народы распространялось римское гражданство; они втягивались в экономическую, административную и правовую систему империи, а это избавляло их от бесконечных междоусобных распри, приобщало к более высоким формам цивилизации и в конечном счете содействовало развитию их производительных сил. Комплекс народов и стран, который мы до сего дня обозначаем словами «Западная Европа», со всей его долгой и столь важной для всего мира историей, в исходной форме своей создан Древним Римом и реально существует в пределах былой Римской державы. Наконец, третий факт: многие основополагающие духовные представления и нормы общественной жизни, традиционные ценности, социально-психологические стереотипы, переданные Римом Европе (независимо от того, усвоил ли он их от Древней Греции или выработал самостоятельно), на протяжении более полутора тысяч лет, вплоть до XIX столетия, составляли почву и арсенал, язык и форму европейской культуры. Не только основы права и государственной организа-

ции, не только устойчивый набор сюжетов и художественных образов усвоены Европой от античности через Древний Рим, но сами первоначально ее общественного бытия — идея демократии, гражданской ответственности, разделения властей, классический принцип в искусстве, проблема соотношения внутренней жизни личности и ее внешней общественной активности — вышли из того же источника. Цицерон — один из самых крупных деятелей культуры и истории Рима, вобравший в себя и выразивший в эстетически совершенной форме его исторический опыт.

В жизни и творчестве Цицерона история Рима предстает на трагическом изломе, обнажившем ее внутренние противоречия. Рим и тот мир, который он представлял, при всем его величии, роскоши и блеске, был миром, в сущности, бедных наций, миром относительно примитивных производственных структур и сравнительно низкого уровня производительных сил. Основой производства и состояния оставалась земля и ее обработка, городское производство развивалось лишь в пределах ремесла. Масса населения жила и трудилась в рамках более или менее натурального уклада, не обеспечивала, следовательно, значительный рост внутреннего рынка и не стимулировала тем самым развитие товарного производства. Абсолютно преобладающей оставалась такая консервативная форма общественной организации, как община, а основой идеологии, морали и системы ценностей — идеализация общественной неподвижности, преклонение перед нравами предков и прежде всего автаркия, то есть замкнутость каждого очага производства, каждой ячейки народной жизни в себе.

Античная городская община называлась у римлян «цивитас», по-гречески «полис», причем это последнее название часто распространяется на все виды античных городов-государств. И цивитас, и полис были не просто местом обитания, административным центром или архитектурно оформленным пространством. Они были тем единственным местом на земле, где гражданин чувствовал себя защищенным от враждебного мира законами и стенами, чувствовал себя частью солидарного гражданского коллектива, находился под покровительством богов — мифических создателей города, его установлений и традиций. Но все живое развивается; в развитие — пусть медленное и ограниченное — был включен и консервативный организм полиса; развитие же означало создание избыточного продукта, его обмен и превращение в товар, усиление роли денег, имущественную дифференциацию и разрушение гражданской солидарности, рост торговли, импорт новых вещей, идей и форм жизни. В ходе исторического развития гражданская община оказывалась таким образом в противоречии с собственной консервативной природой, с основополагающим для нее принципом автаркии, короче — с самой собой. И чем шире раздвигал Рим границы своей державы, тем больше размывалась общин-



но-патриархальная основа *цивитас*, а реальной альтернативы ей на том этапе исторического развития не было. Деньги, рабы и сокровища потоком шли в Рим, но не поглощались полунатуральным укладом, а лишь вращались на его поверхности, обогащая многих, но и разлагая старинные установления и обычаи, общественную мораль, и чем больше стран покорялись Риму, тем интенсивнее шел этот процесс. Ко времени Цицерона кризис стал универсальным.

Выход обозначался на том пути, по которому уже некогда пытались пойти союзы греческих городов, Александр Македонский и полководцы — его преемники: по пути создания надполисных структур, способных, сохраняя общинный уклад, включить полисы в обширные государственные образования, с единым центром управления, учитывающим интересы всех частей государства, единой системой административных норм и законов и — неизбежно — единым властителем. В Риме претенденты на эту роль при жизни Цицерона сменяли один другого — Сулла, Лепид, Красс, Помпей. Последним в этом ряду был Цезарь. Он сумел не только стать диктатором, но и приступить к созданию нового государственного строя — ограниченной старинными установлениями, но в то же время им не подвластной и опирающейся на военную силу пожизненной и легализованной диктатуры. Самостоятельные общины-республики, полностью и подлинно управлявшие всеми своими делами, навсегда уходили в прошлое.

Кризис Римской республики впервые стал очевидным в первой половине II века до н. э. Выйдя в 201 году победителем из тяжелейшей в своей истории войны с Карфагеном, могучим городом-государством Северной Африки, державшим под своим контролем все Западное Средиземноморье, Рим тут же погрузился в серию войн против городов-государств Греции, господствующих в Восточном Средиземноморье, которые завершились уничтожением в 146 году богатейшего греческого города Коринфа и превращением Греции в римскую провинцию под именем Ахайи. Рим стал хозяином одного из главных мировых очагов древней цивилизации — всего античного Средиземноморья. Начался процесс интенсивного взаимодействия римского и греческого начал, которому предстояло в конечном счете привести к созданию единой синкретической культуры античности, а Римскую державу сделать мировым государством. Пока что было не взаимодействие, а насыщение Рима сокровищами, рабами и привозной роскошью, делавшее труд мелких и средних римских крестьян неконкурентоспособным, непрестижным и, следовательно, во многом бессмысленным — на протяжении II века из деревни ушли и пополнили ряды римских люмпенов 20 процентов крестьян, каждый пятый. Видя, как тает старое римское крестьянство, эта становая сила республики, поднялись на ее защиту лучшие люди из знатных и образованных. Братья

Гракхи, Тиберий в 133 году и Гай в 122-м, попытались провести ряд законов, ограничивающих хозяйственное и политическое господство богачей, но оба были убиты в сражениях на улицах Рима. Знать, объединившаяся в своеобразный блок, получивший в Риме название «оптиматов», таким образом, все больше переходила к прямому террору, все более свирепо грабила провинции — в конце века народное собрание вынуждено было принять ряд законов против вымогательства наместников; все более продажно и бездарно вела себя при столкновении с окружающими Рим народами — полностью выявив оба эти свои качества, в частности, в 111—115 годах в ходе войны с африканским царьком Югуртой; все более нагло перекладывала тяготы непрерывных войн на плечи италиков. Все это, естественно, вызывало обостряющееся сопротивление, и начиная с рубежа I века Рим погружается в состояние, когда почти постоянно и почти одновременно шли крупные внешние войны (самая тяжелая — против восточного царя Митридата в 89—84 и 74—63 годах), войны междоусобные (так называемая Союзническая война Рима против италийских городов в 91—88 годах) и гражданские («народной партии» Гая Марии против «аристократической партии» Корнелия Суллы в 83—82 годах), сопровождавшиеся взятием Рима то одной партией, то другой и резней на его улицах; восстания (Сертория в Испании в 80—72 годах, Спартак в Италии в 74—71 годах). Дальше так государство жить не могло, и после ряда попыток установления режима единоличной власти, способного покончить с войнами, развалом и распрями, Рим перешел в 40-е годы к новому государственному строю, увидеть торжество которого, весь его блеск и все его тени Цицерону суждено не было.

В этих исторических условиях и возникает некоторая всемирно-исторического значения политическая, культурная и нравственная проблема, которую можно условно назвать «проблемой Цицерона». В общем виде она может быть сформулирована весьма просто: если одной из важнейших целей государства, социальной группы или личности является выживание и самоутверждение, то в какой мере согласуется реализация этих целей с верностью нравственным нормам, возможно ли их осуществление, говоря словами Маркса, *«à la hauteur des principes»* — «на уровне высоких принципов». Или еще проще: никакое развитое общество, никакой живущий в нем человек не могут жить без соблюдения нравственных норм: следование этим нормам предполагает, если надо, отказ от успеха и выгод; но никакое развитое общество и никакой живущий в нем человек не могут также не стремиться обеспечить себе успех и выгоды. «Если полагать цель жизни в успехе, — написал однажды Жан-Жак Руссо, — то гораздо естественнее быть подлецом, чем порядочным человеком». Так ли это? Нельзя ли все-таки объединить оба императива? Как? Цицерон одним из первых в Европе всю жизнь пытался их согласовать. Важно по-

смотреть, каково найденное им — или воплощенное в его судьбе и творчестве — решение. Практическое совмещение реальной политики и нравственной ответственности в сознании и в деятельности политических руководителей — а Цицерон был оратором прежде всего политическим и в определенные моменты руководителем государства — представляет собой одну из самых трудных, самых трагических задач, известных истории. «Добродетель и власть несовместны», — утверждал римский поэт; все дело в том, однако, что длительное время оставаться «несовместны» они тоже не могут.

Нравственное сознание римлян эпохи Цицерона имело особую структуру. Их прадеды еще не относились к себе как к автономным личностям, выделенным из гражданского коллектива, и потому самостоятельно ответственным за моральный смысл своего общественного поведения. Потомки римлян Цицероновой поры, пережившие крушение полисной системы ценностей, духовный опыт позднего стоицизма, противохристианские и околехристианские настроения, уже не сомневались в том, что нравственная ответственность носит личный характер. Цицерон и его современники находятся посередине этого пути. Они уже воспринимают действия государства рефлексивно, как подлежащие нравственной апробации, но критерии такой нравственной апробации носят еще внеличный характер, принадлежат еще той же государственной сфере. В основе таких нравственных критериев лежала верность государства своему внутреннему принципу, своей идеальной норме, то есть прежде всего заветам предков и законам — как созданным людьми, так и данным Риму его богами.

В III веке до н. э. знаменитый полководец этой эпохи Клавдий Марцелл вел войны потому, что это было нужно сначала для расширения владений Рима и укрепления его могущества, потом для спасения римской общины от Ганнибала; обосновывать свои действия чем-либо, кроме практической целесообразности и выгоды государству, ему не приходило в голову. Цицерон развил целую теорию войн, которые лишь в той мере соответствуют величию Рима и подлинно полезны ему, в какой оправданы с точки зрения права и потому справедливы. «Не может быть справедливой никакая война, — утверждал он, — если она ведется не ради возмездия или отражения врагов». Величие Рима и его бесчисленные победы были в глазах Цицерона следствием таланта его руководителей и самоотвержения его народа, но могли принести свои плоды лишь «благодаря благочестию и вере, благодаря той никому больше не свойственной мудрости, что позволила нам понять: всем руководит и всем управляет воля богов; вот этим-то мы и превзошли остальные племена и народы».

Поэтому как никто, кажется, до него и мало кто после него подчеркивал Цицерон нравственные аспекты общественно-политической

деятельности, ее обязательное соответствие законам государства и законам божественным.

Обосновывая необходимость предоставления чрезвычайных полномочий Помпею, он говорит об особой божественной благодати, которая должна отличать каждого государственного руководителя, достойного этого имени. О нравственной природе власти говорится в обращенных к Цезарю речах 40-х годов «В защиту Лигария» и «В защиту царя Дейотара». Сочетание верности римской традиции, чувства ответственности перед народом и нравственного достоинства — обязательные черты того верховного правителя Рима, образ которого наметен в диалоге «О государстве» и который на последующие полтора столетия сохранит значение идеала и нормы для первых принцев от Августа до Тита. Цицерон бесконечно говорил о торжестве закона и законности, о бесстрастии, неподкупности и непреложности этой главной силы подлинной и свободной республики. Он посвятил специальное сочинение, трактат «Об обязанностях», характеристике высших моральных ценностей римского общества и обратился с этим сочинением к сыну, дабы утвердить и следующие поколения на пути добродетели. Даже римские социальные микромножества представляются Цицерону допустимыми и оправданными лишь в том случае, если в основе личных связей лежит служение государству и гражданская доблесть — об этом идет речь в позднем диалоге «Лелий, или О дружбе». Цицерон — теоретик и защитник нравственной природы государства и государственной деятельности, наверное, самый красноречивый моралист из римских политиков.

И в то же время никто, кажется, из моралистов среди римских политиков до него и мало кто после него не нарушал столь часто принципы морали, которые проповедовал, из честолюбия, ради утверждения своей политической деятельности, цель которой — победа и успех и которая даже по самым высоким соображениям отступаться от этой цели не может. Но между аморальным поведением «во имя высших целей» и аморальным поведением во имя собственных интересов граница очень зыбкая. Цицерон всю жизнь отстаивал принцип согласия сословий, ибо только в единении всех сил государства полагал возможность сохранить республику с ее традициями и ценностями, но во имя осуществления этой программы шел на политические интриги, на сомнительные, а то и просто противозаконные сделки, которые не оставляли и следа от морального содержания самой программы; так было, когда он произносил речи в защиту Фонтея или Гая Рабрия, так выглядит многое в «Филиппиках». Цицерон добровольно или вынужденно брался защищать людей, которых ранее сам же разоблачал как насильников, грабителей, подлых интриганов. как в середине 50-х годов, когда после возвращения из изгнания он выступал ад-

вокатом им же некогда заклейменных Габиния и Ватиния. Красноречивый защитник неподкупности судов и судебных ораторов, он систематически нарушал, находя для этого разнообразные и хитроумные способы, старинный Ципциев закон, запрещавший судебным ораторам получать денежные вознаграждения от подзащитных. Так было, например, в процессе Корнелия Суллы.

Какой же из двух Цицеронов подлинный — защитник высоких духовных норм государственной жизни или хитрый и трусливый интриган? Французские революционеры эпохи Конвента и якобинской диктатуры, русские декабристы видели в Цицероне воплощение исторического и нравственного величия Римской республики. «И в Цицероне мной не консул — сам он чтим / За то, что им спасен от Катилины Рим», — писал Рылеев. В ту же эпоху, однако, нравственный пафос речей и трактатов Цицерона уже начинал восприниматься как далекая от жизни или лицемерная декламация, скрывающая в лучшем случае политическую наивность, а в худшем — обыкновенное корыстолюбие. Подобный взгляд получил подтверждение и развитие в академической историографии Древнего Рима (прежде всего немецкой) и сохранял свою силу вплоть до середины нашего столетия. Перелом произошел в 1930–1950-е годы, когда сначала в коллективной статье многотомной международно авторитетной «Реальной энциклопедии классической древности», а потом в трудах ряда крупных ученых (прежде всего покойного Карла Бюхнера) акценты оказались переставленными, и на первый план снова вышли высокие духовные и нравственные достоинства самого Цицерона и дела, которое он делал, — его противостояние темным погромным силам общества, создание европейской либеральной традиции, неприязненно-настороженное отношение к единоличной власти.

Есть одно в высшей степени существенное обстоятельство, осложняющее положение: Цицерон отнюдь не только провозглашал моральные заповеди в речах и трактатах и нарушал их в практическом поведении — он неоднократно доказывал также на деле, что готов в соответствии с ними действовать. В 80 году до н. э. Римом недолго и единовластно правил диктатор Корнелий Сулла. Его приближенные и в первую очередь всемогущий вольноотпущенник Хрисогон под разными предлогами грабили граждан, убивали каждого, кто стоял на их пути, и никто не решался оказать им сопротивление. Очередной жертвой Хрисогона оказался некий Росций из городка Америк. Все попытки пострадавшего добиться справедливости были тщетны. Ни один из адвокатов Рима не брался за это дело, и только начинавший двадцатилетний Цицерон согласился защитить Росция, разоблачил козни всесильного временщика и добился восстановления справедливости. Процесс не принес Цицерону никаких материальных выгод; мало то-

го — после суда он вынужден был бежать из Рима. Ситуация повторилась в 63 году, когда на долю Цицерона-консула выпала обязанность пресечь опасные замыслы заговорщиков — Катилины и его сообщников. Необходимость такого шага была ясна всем, но брать на себя ответственность за казнь римских граждан не решался никто. Цицерон решился. Это опять-таки не принесло ему ничего, кроме преследований, опасностей, нареканий и... славы в потомстве. А ведь то были поступки в его жизни отнюдь не единичные.

Объяснение этим противоречиям можно искать — и обычно ищут — в сфере морали либо в сфере истории. Самым уязвимым оказывается чисто моральный подход. Он состоит в том, что, коль скоро личное и политическое поведение Цицерона сплошь да рядом противоречит нравственным суждениям самого оратора, оно, это поведение, заслуживает безоговорочного осуждения. Никакой внутренней связи с содержанием творчества Цицерона оно не имеет и, наоборот, является изменой проповедуемым там принципам. Многие из западных отцов церкви — Иероним, Лактанций, Августин — читали Цицерона постоянно, но никогда не могли простить ему его переменчивость и способность применяться к обстоятельствам. «Мои упрёки обращены к твоей жизни, не к твоему духу или красноречию», — писал Петрарка в созданном почти через полторы тысячи лет после смерти оратора риторическом письме, ему адресованном. На трагедию религиозных войн во Франции XVI века поэт Агриппа д'Обинье откликнулся стихами. «Катонем лучше умереть, чем жить, как Цицерон», — призывал он в одной из поэм. Создателю современной историографии Древнего Рима Теодору Моммзену (1817–1903) Цицерон был неприятен во всех своих проявлениях, но наиболее язвительные замечания историк отпускает все-таки не в связи с его философией или государственными речами, а в связи с его политическим и личным поведением, называя его «слабохарактерным», «боязливым», «политическим флюгером». Подобные упрёки не содержат ответа на коренной вопрос — как совмещались столь низменные черты в облике Цицерона с другими, прямо противоположными, и потому идут мимо проблемы, анахронистичны. В сознании Нового времени высшим критерием нравственного поведения является внутреннее согласие с самим собой, его соответствие самостоятельно добытым личным убеждениям, свобода выбора и ответственность за этот выбор, ответственность за измену этим убеждениям ради внешней необходимости. Критерии эти в эпоху Цицерона даже еще не начинали складываться; классической античности они неведомы. Римлянин I века до н. э. знал обязательства перед государством, перед родом, группой, перед семьей, ее положением и достоинством, и в той мере, в какой поведение его отвечало их интересам, оно заслуживало одобрения. С точки зрения таких норм общественного и государственного интереса поведение Цице-

рона могло быть предосудительным из-за его непоследовательности, нерешительности, тщеславия, но о морали в собственном, позднейшем смысле слова, о совести говорить не приходилось. В число ценностей, завещанных Европе античной культурой в целом и Цицероном в частности, совесть не входила. «Проблема Цицерона» к ней отношения не имеет, на этом пути она не находит себе решения.

Государственный интерес не был для римлянина абстрактной, всеобщей, чисто правовой категорией, а был, напротив того, всегда опосредован интересами той ограниченной, конкретной, на личных отношениях основанной и в этом смысле неотчужденной группы, к которой принадлежал каждый, — фамилии, «партии», дружеского кружка, коллегии, местной общины. В трактате «О законах» Цицерон писал, что у римлянина две родины — великая, требующая служения и жертв, воплощенная в римском государстве, и малая — любимая горячо и непосредственно, составляющая плоть и суть повседневной жизни — местная община. Десятью годами позже в трактате «Об обязанностях» он рассказал о связях, объединяющих людей каждой «малой родины»: «Связь между людьми, принадлежащими к одной и той же гражданской общине, особенно крепка, поскольку сограждан объединяет многое: форум, святилища, портики, улицы, законы, права и обязанности, совместно принимаемые решения, участия в выборах, а сверх всего этого еще и привычки, дружеские и родственные связи, дела, предпринимаемые сообща, и выгоды, из них проистекающие». Государственная сфера, поскольку она не была полностью отчуждена от повседневного существования граждан, от их непосредственных интересов, реализовалась в прямых, внятных каждому, очевидно мотивированных формах. Нельзя, например, представить себе в республиканском Риме государственную полицию, разгоняющую сходку граждан, или народное собрание, принимающее за спиной народа антинародные решения. Но в силу той же неотделимости государственной сферы от личных интересов и отношений всякое политическое или даже граждански-правовое действие могло быть успешным, только если оно лично кого-то устраивало, приносило выгоду семье, клану или группе, и любая успешная карьера, а подчас и судебный приговор зависели от нее же.

Противоречие между частным интересом, государственным делом и его моральной санкцией в Риме вообще и в жизни Цицерона в частности во многом объясняется этой двойной соотнесенностью и двойной ответственностью каждого гражданина. То, что нам представляется аморальным своекорыстием и изменой принципам, на самом деле было всего лишь верностью «второй морали», которая, естественно, не могла быть универсальной: то, что устраивало одних, вызывало критику других. Возвращением из изгнания Цицерон был больше всего обязан Помпею.

Это создавало между ними определенные отношения, которые в Риме назывались «дружбой» и порождали обязательства, столь же непреложные, сколь обязательства перед законом. Отсюда упоминавшиеся уже речи в защиту Габиния или Ватиния, произнесенные по настоянию Помпея. То же происхождения многие другие речи и поступки Цицерона. В классическую пору римского государства обе системы обязательств как-то уживались одна с другой (хотя всегда порождали конфликты, недоразумения, взаимные обвинения). В кризисные, предсмертные годы Республики конфликт между ними существенно обострился. Так называемый аморализм Цицерона рос из общественных условий, из органической, естественной двойственности римских нравственных норм и ценностей, и характеризовал скорее их, чем его.

Так на чем же все-таки основано значение Цицерона для многовековой европейской культуры, для наших дней? Исчерпывается ли его роль сменой «положительного» и «отрицательного» его образов? И если оба они имеют объективное основание в истории, то откуда же взяться еще одному, третьему — тому, что заключает в себе свою особую разгадку «проблемы Цицерона»? И есть ли вообще разгадка?

Центральная проблема античной культуры, античной истории и всей жизни Древних Греции и Рима — соотношение идеальной нормы гражданского общежития с реальной общественной практикой. «Я знаю, какое государство основали наши предки, — говорил в римском сенате один из весьма влиятельных его членов, — и в каком государстве живем мы. Древностью должно восхищаться, но сообразовываться приходится с нынешними условиями». Сенатор выразил жизненную коллизию, с которой повседневно сталкивался каждый римлянин. Суть античного миропорядка, однако, состояла в том, что в его пределах «древность» и «нынешние условия» не только друг другу противостояли, но и друг друга опосредовали, дополняли, друг в друге жили. Основу этой диалектики составлял, как отмечалось, общинный уклад, который с неизбежностью предполагал, с одной стороны, сохранение старинных институтов и ценностей общины и их идеализацию, а с другой — постоянное их разрушение поступательным развитием жизни. По мере углубления кризиса общины противоречие между обоими полюсами обострялось, соединение политической, хозяйственной и любой иной практики с «древностью, которой должно восхищаться» становилось все иллюзорнее, люди вели себя все менее последовательно, все более лицемерно, и Цицерон, пока он старался жить «как люди», мало чем от них отличался. Скорбел в письмах об унижительной непоследовательности своего поведения — и снова возвращался к конформизму, хитрости и интригам. Но в годы, на которые приходилась его деятельность и его творчество, община Рима продолжала сущест-



вывать — и в своих политических формах, и в своей идеологии. Кризис — это тоже форма жизни. И пока общинный уклад был жив, он регенерировал заложенные в нем ценности и нормы, возвращал их в реальность, сплетал с противоречившей им практикой, создавая тот тип истории и культуры, который мы вслед за Гегелем называем классическим. Если употреблять это последнее слово не как оценку, а как термин, то оно и означает тип истории, культуры, искусства, при котором противостоящие полюса общественных противоречий остаются в состоянии неустойчивого, динамичного, но длящегося равновесия, а идеал и жизнь неслиянны, но и нераздельны. Зайдите в музей, взгляните на статуи атлетов, изваянные Поликлетом, перечитайте «Энеиду» Вергилия или в «Истории» Фукидида речь Перикла над павшими афинскими воинами, и вы удостоверитесь в классическом характере античной культуры.

В Риме этот тип исторического развития имел реальные жизненные основания, еще сохранившиеся в эпоху Цицерона. Ограничимся в доказательство одним примером.

Идеальной нормой римского общежития была неприязательность быта, суровая и честная бедность, уравнивавшая членов общины. В государстве, накопившем несметные сокровища, где богачи владели тысячами гектаров, по сути дела, краденой земли и устраивали пиры, на которые свозились диковинные яства со всей земли, эта норма была явной бессмыслицей, а попытки миллионера Цицерона эту норму прославить и утвердить — смесью наивности и лицемерия. Но с того момента, как богатства со всего Средиземноморья обрушились на Рим, сенат упорно принимал законы против роскоши — в 215-м, 182-м, 161-м, 143-м, 131-м, 115-м, 55 годах и еще несколько раз впоследствии. Их повторяемость показывает, что они не исполнялись, но ведь что-то заставляло их систематически принимать. Моралисты, историки, школьные учителя пели хвалу героям древней Республики за их бедность, их хижины, их деревянную посуду, земельные наделы в семь югеров (1,7 га). Это выглядело не более чем олеографией. Но, как ныне подсчитано, при выводе колоний размер предоставляемых участков был ориентирован примерно на те же семь югеров, а огромные имения, если земля в них не обрабатывалась, могли быть по закону конфискованы — закон этот не применялся, но его упорно не отменяли. Сенека в I веке н. э. прославлял честную бедность и восхвалял за нее Сципиона, который, удалившись в добровольное изгнание, мылся в темной крохотной баньке, им собственноручно сложенной из камней, — звучало это как назидательная выдумка, но ведь Сенека эту баньку видел своими глазами. Противоестественное богатство Верреса фигурирует в обвинительных речах Цицерона как одна из пре-

зумпций обвинения, но речи были рассчитаны на очень широкую аудиторию — по-видимому, и в ее глазах такое богатство, независимо от его происхождения, могло быть предосудительно.

Что же заставляло сенат систематически принимать законы, которые явно противоречили практике жизни и чаще всего не выполнялись? Что заставляло Помпея, когда он в декабре 62 года после своей азиатской кампании высадился в Италии с огромной, лично ему преданной армией, отказаться от захвата власти — чего все от него ожидали — и распустить солдат по домам? Из чего исходил «политический флюгер» Цицерон, вступая в борьбу с Хрисогоном, казня сообщников Катилины, выступая — хотя это стоило ему жизни — против монархических замыслов юного Октавиана? Откуда шли стимулы такого поведения, если реальная, эмпирическая жизнь их вроде бы отнюдь не порождала? Римляне не знали, что такое совесть в ее позднейшем, христианском или современном смысле слова, но они знали другую форму нравственной ответственности — перед тем идеализированным образом своего государства, тем героическим мифом сурового простого Рима, живущего по законам и заветам предков, потребность в котором была заложена в идеологической структуре гражданской общины, в культуре греков и римлян, а следовательно, в самой природе классической античности. События и эмпирия жизни — далеко не единственное, что есть в истории. Такой же органической ее частью является отражение всех этих действительных битв в сознании времени, — отражение, которое, в свою очередь, воздействует на ход и исход действительных битв.

Где и чем живет возвышенный миф каждого общества, его идеализированное представление о самом себе, о своих ценностях, об обязательной верности им? Трудно ответить на этот вопрос четко и однозначно. Где и чем в феодальном обществе, грубом, жестоком и ленивом, жили рыцарская честь и рыцарская любовь — понятия, которые до сего дня играют для нас едва ли не важнейшую роль в наследии Средних веков? Научный критический анализ исторических процессов дает нам бесконечно много; он раскрывает их подлинную структуру — хозяйственную, социальную, политическую, идеологическую, раскрывает их движущие противоречия. Но что-то очень важное остается за его пределами. Общественный миф и общественный идеал формируются и отражаются в самосознании — в искусстве каждого времени, и прежде всего в слове; в преданиях и легендах, которые время по себе оставляет; в том образе, основанном на исторической практике и не исчерпывающемся ею, в котором видят его последующие поколения. Такое знание былых исторических эпох не хуже и не лучше научно-дискурсивного, критико-аналитического их познания — оно другое, и

лишь в совокупности их обоих восстанавливается перед нами прошлое во всей его полноте. В этом мире слова и памяти противоречие нормы и эмпирии в его повседневной конкретности перестает существовать, растворяясь, как говорили в старину, в «послании», которое время оставляет потомству.

Цицерон постоянно был связан с историей событий и эмпирии и обречен ее противоречиям, в том числе противоречию нормы и практики. Но чем дальше, тем больше погружался он в ту тональность существования, где человек реализует себя в первую очередь в размышлении и слове, где он ориентируется на образ времени, на его итоги и ценности, передаваемые в эстафете культуры, и тем самым как бы переходил в регистр существования, где эти противоречия упразднялись. В 45 году, за два года до смерти, он написал обо всем этом диалог «Гортензий» — о преимуществе философии перед политическим красноречием. В те же годы, когда он удалился от дел, жил на своих виллах и думал больше об истории, о философии и искусстве, чем о практической политике, возникли другие его поздние произведения, где эта мысль не формулируется, а как бы растворена в ткани повествования — в первую очередь диалоги «Катон Старший, или О старости» и «Лелий, или О дружбе». В обоих действия отнесено к середине II века — к эпохе, современников которой Цицерон еще застал и которая среди ужасов и конвульсий гражданских войн казалась царством традиционных римских добродетелей. В обоих выведены известные государственные деятели той эпохи — Сципион Эмилиан, Катон Цензорий, Лелий Младший. То были вполне реальные люди, знакомые знакомых Цицерона, и в то же время великие тени, уже наполовину растворившиеся в традиции римской славы. В Катоне сплавлены воедино образ уединенного мудреца греческого облика, каким он, скорее всего, никогда не был, и образ государственного деятеля, каким он действительно был. Точно так же, как соединение документальной исторической реальности и внутренней, соотнесенной с идеалом и нормой, логики развития, строится образ Сципиона в диалоге «О дружбе».

То был итог целой жизни. На всем ее протяжении для творчества Цицерона была характерна тенденция рассматривать реальную действительность на фоне действительности возвышенной и нормативной. Рядом с реальным Римом деловых писем стоял Рим диалога «О государстве»; рядом с практическим судебным красноречием — красноречие нормативное, разбираемое в трактате «Оратор»; рядом с естественной народной речью — художественная речь, которой посвящен «Брут»; рядом с довольно циничным описанием собственного общественно-политического поведения — героизированная самооценка в письме Луцию Луккею от мая 56 года; рядом с современниками, обрисо-

ванными во многих письмах со всем реализмом, — их интеллектуализированные и монументализированные образы, как, например, Лукулла в диалоге, носящем его имя. Цицерон долго верил в спасительную возможность лавировать между обоими этими рядами. Кончил он убеждением в том, что противоречие между ними снимается не в сфере практики как таковой и не в сфере идеала как такового, а в особом регистре исторической жизни, их объединяющем, но лежащем как бы вне их — в общественно-историческом мифе и в сфере эстетически «доведенной» действительности, этот миф отражающей.

Решение это было не слишком надежным и уж очень неуниверсальным. Практика, противоречия и политическая борьба оставались неотъемлемой частью жизни, уйти от них было невозможно. В ходе гражданской войны между Цезарем и Помпеем и в первые годы после Цицерон нет-нет да и делал им нехотя уступки, а после убийства Цезаря не выдержал, очертя голову бросился в огонь начинавшейся новой гражданской войны и там сгорел.

И тем не менее, если мы две тысячи лет его помним, если мы читаем о нем толстые книги, то не потому ведь, что он хорошо управлял Сицилией, был во время гражданской войны в лагере Помпея или не справился с Антонием. И не потому, что он произносил речи и писал трактаты, а в жизни подчас вел себя не так, как в них было написано или сказано. Всё это делали десятки, если не сотни людей, чьи имена навсегда канули в Лету. Помним же мы его потому, что, человек античной культуры, он одним из первых осознал и выразил урок, ею оставленный. Урок состоял в том, что поведение людей в истории определяется в не меньшей мере, чем их потребностями, их общественными идеалами, их представлениями не только о том, что есть, но и о том, что должно быть, заложенными в структуре общества и времени, отличными от его повседневной практики, но особым образом включенным в ткань исторического процесса. Образ республики римлян, ее величественный миф, встающий из речей Цицерона, из его диалогов, писем и стихов, веками вдохновлял борцов за свободу и торжество права. В душе человека, который не взгляделся в этот образ и не пережил его, остается важный пробел. Чтобы его восполнить, надо читать Ливия, читать Вергилия, но прежде всего Цицерона. «Сторонники „реальных взглядов“, — писал проницательный современный историк, — всегда стремятся разрушить метафоры истории. Дело это верное и нетрудное, но является ли подлинной реальностью то, что остается в итоге?»

---

## ЦИЦЕРОН И ИСКУССТВО КРАСНОРЕЧИЯ В РИМЕ

Древние греки и римляне воспринимали мир эстетически. Эстетическим было их представление о Вселенной как о едином гармоническом целом, подчиненном определенному ритму. Эстетическим смыслом обладал для них их город-государство — воплощение порядка, подчинившего себе хаос первозданной природы и хаос первозданного варварства. Эстетический критерий неизменно присутствовал в восприятии и оценке вещи, как и любого другого создания рук человеческих, и слово, обращенное к собранию граждан, обретало подлинную убедительность и силу, лишь воплотившись в эстетически совершенную форму.

Цицерон был государственным деятелем и одним из руководителей Римской республики, политиком, втянутым в интриги в курии и на форуме, правоведом, теоретиком красноречия, а главное — его практиком, бесконечно выступавшим в сенате, на народных сходах и в судах, знатоком философии, автором стихотворных произведений, переводчиком, эпистолографом. Во всех этих многообразных видах деятельности он оставался с головы до пят человеком античного склада и античной культуры, и, соответственно, все им написанное и сделанное обнаруживает связь с тем эстетическим целым, каким были для древних мир и государство, вещь и слово. Поэтому сочинения Цицерона, хотя в большинстве случаев они не посвящены проблемам эстетики, в особой форме отражают проблематику эстетического сознания, а его творчество — важная веха в истории эстетики.

В жизни и сочинениях Цицерона, однако, античное эстетическое миросозерцание предстает в особом историческом состоянии — пароксизмальном, остром и деформированном, обусловленном катаклизмами одной из самых драматичных, самых переломных эпох в истории Древнего мира, на которую приходится деятельность великого оратора. «Я поздно встал, и на дороге / Застигнут ночью Рима был...»<sup>1</sup> В мысли и особенно в судьбе Цицерона античное миросозерцание начинает перерастать самое себя; в уверенном спокойствии и величавом достоинстве уже различимы нервная рефлексия и слабость; гармонически целостный образ мира и общества, которым так долго жило античное культурное сознание, еще представляется единственно естественным, еще сохраняет всю свою живую привлекательность, сохраняет значение нормы, но нормы, уже все более отделяющейся от действительности и отступающей в дали идеала.

Эстетическое мировоззрение Цицерона основано целиком на опыте ораторского искусства и представляет собой результат теоретического его осмысления. Ораторское искусство было для него искусством искусств, высшей и универсальной ценностью — залогом нормального функционирования государства и выражением творческого потенциала личности. «Когда, вглядываясь в историю, восстанавливаю перед умственным взором времена давно минувшие, вижу, как мудрость, а еще более красноречие основывают города, гасят войны, заключают длительные союзы и завязывают священную дружбу между народами»<sup>2</sup>. «Спутница мира, подруга просвещенного досуга, питомица, взращенная совершенным государственным устройством, — вот что такое ораторская речь»<sup>3</sup>. Первое из этих суждений принадлежит двадцатилетнему юноше, второе — шестидесятилетнему консулярию; между ними вся жизнь, на протяжении которой Цицерон ни разу не усомнился в высказанных здесь оценках.

Он родился 3 января 106 г.\* в маленьком городке Арпине неподалеку от Рима в семье обеспеченной, старинной и порядочной, но ничем не примечательной, из которой ни один человек не занимал никогда государственных должностей — магистратур. Цицерон первый в роде вступил на этот путь и прошел его до конца. Около 90 года он перебрался на постоянное жительство в Рим, вскоре начал посещать Форум, присутствовать при судебных разбирательствах и политических спорах, прислушиваться к речам знаменитых ораторов, а с 80 г. стал выступать в судах и сам. Речи его имели шумный успех, и в 76 г. Цицерон избирается на первую магистратскую должность — квестора, которую отправляет в провинции Сицилия. Здесь он сумел завязать со многими сицилийцами добрые личные отношения, впоследствии не раз сослужившие ему хорошую службу. Летом 74 г. он возвращается в столицу и облачается в белоснежную тогу с широкой красной каймой — знак сенаторского достоинства: квесторий, то есть человек, прошедший первую магистратуру, становился по закону членом сената. До сих пор он выступал лишь как судебный оратор, теперь перед ним открывалось также поприще государственного, политического красноречия. Прохождение сенатских магистратур в эту эпоху было уже упорядочено; существовал более или менее определенный возраст для соискания каждой из них, определенная их последовательность, определенные интервалы между ними. Не отставая и не забегая вперед, не зная поражений на выборах, Цицерон прошел их все: в 69 г. он эдил, в 66 г. — претор, в 63-м — высший магистрат Римской республики — консул.

---

\* Все даты, кроме специально оговоренных, — до н. э. — *Примеч. автора.*

Такая магистратская карьера обычно представляется для сенатора нормальной; при рассмотрении ее в конкретных условиях биографии Цицерона она обнаруживает, напротив того, особенности исключительные. Первая из таких особенностей связана с происхождением нашего героя, вторая — с его авторитетом как государственного деятеля. Цицерон не происходил из аристократической элиты, веками властвовавшей в государстве, т. е. был «новым человеком», и об этом ему не давали забыть всю жизнь — карьера на основе происхождения была для него закрыта<sup>4</sup>. Не пошел он и по другому пути, которым «новым людям» чаще всего удавалось проникать в правящую элиту, — по пути военного командования, стяжания славы полководца, доставлявшего в Рим огромную добычу и потому боготворимого армией и народом. Оставался еще один проторенный путь — как бы прилипнуть к одному из высших аристократов и руководителей государства, стать его другом и помощником, его тенью, на его плечах подняться на вершины власти подобно Катону Старшему при Валерии Флакке, Лелию при Сципионе, Випсану Агриппе при Октавиане Августе. Цицерон отказался от этого. Он сделал ставку на свой талант оратора, на постоянное самоусовершенствование в этом искусстве — и победил. Признание публичного красноречия формой практического участия в жизни государства, средством воздействия на граждан и путем к успеху — исток эстетики Цицерона.

В этом истоке изначально смешивались разные струи, и их различия, их слияния, пропорции, в которых они входили в смесь, обусловили многое, а вернее, все главное в жизни и творчестве Цицерона, в его судьбе и в его эстетике. Структура римского общества порождала двойственную систему нравственных ценностей и ответственностей, двойственность критериев поведения. Выживание народа обеспечивалось городом-государством и его законами; соответственно, не было долга более универсального и обязательного, внятного каждому, не было ответственности более высокой и нравственности более чистой, чем выполнение долга перед государством, — ответственности, нравственности и долга, воплощенных в знаменитой римской *virtus*, «гражданской доблести». Подчиняясь ей, консул Брут некогда казнил собственных сыновей, замешанных в заговоре против республики, и, подчиняясь ей, в годину военных бедствий граждане отказывались от части своего имущества в пользу государства. Подвиги во имя Города славили в песнях, которые распевались на пирах, которым учили детей, и успех оратора предполагал верность интересам государства, его нравственным заповедям, предпочтение его интересов личным. Но в то же время превращение государства в полностью надличную силу, а нравственного долга перед ним, соответственно, — в свирепую тира-

нию добродетели, *saeva virtus*, всегда претило римлянам, ибо разрушало на личных связях и обязательствах, на непосредственной выгоде каждого основанный строй существования, который в не меньшей мере составлял ткань, плоть их жизни. Рядом с *virtus*, гражданской доблестью, в этической системе римлян всегда жила *pietas* — уважение к неотчужденным личным связям и обязательствам, к непреложной естественности бытия, понимание права каждого на выгоду и успех и готовность содействовать их достижению на основе преданности, но не только обществу в целом, в его всегда несколько абстрактном величии, а прежде всего конкретному человеку — патрону, родичу, другу<sup>5</sup>. Так, с военно-политической и государственно-правовой точки зрения дело Октавиана Августа, создателя империи, в борьбе против республиканцев вовсе не было чистым и бесспорным, но он представил свою кампанию как выполнение долга сыновней *pietas* — месть убийцам отца, и это во многом обеспечило ему поддержку общественного мнения. Оратор не мог добиться успеха, если бы вздумал действовать на основе одной лишь *virtus*, он жил в людской толпе, в гуще интересов, и считаться с ними был также его долг — другого ранга, как бы другой фактуры, но столь же непреложный. Беда была в том, что неотчужденность, забота о личных интересах патрона или родича, а в конечном счете и о собственных при этом неприметно превращалась в кумовство и махинации, в обыкновенное стяжательство, не оставляя ничего от высокого нравственного долга перед общиной.

Римляне старой складки, особенно аристократы, поразительно непринужденно ориентировались в этой противоречивой системе, интуитивно находя пути примирения требований, явно друг друга исключавших, хотя практически равно обязательных. «Стремиться к обогащению считается недостойным сенатора», — гласила общепризнанная заповедь, и во исполнение ее сенат периодически принимал законы против роскоши; но имущественный ценз сенатора составлял миллион сестерциев, и человек не мог не «стремиться к обогащению», если хотел сохраниться как член этого высшего и почетного сословия. Образцовый римлянин, воспетый поэтами и моралистами, Катон Старший был проповедником старинной римской морали, практически насаждавшим ее во время своей цензуры, но при этом занимался ростовщичеством, которое категорически осуждалось той же старинной римской моралью. Его правнук Катон Младший, современник Цицерона и прославленный моралист последних лет Республики, целиком подчинивший свою жизнь интересам государства, как он их понимал, развелся с женой, уступив ее старому богачу, а когда тот умер, завещав все бывшей жене Катона, последний женился на ней снова. Таких примеров сотни. Это — этос народа. «Все мы хотим иметь больше», —



признавался в одной из речей тот же Катон Старший<sup>6</sup>. Полюса противоречия разошлись и были осознаны именно как полюса. Нравственное содержание оказывалось заложенным в Цицероновой эстетике красноречия, как во всякой значительной эстетической системе, но представленным в ней с самого начала не в виде данности, а в виде противоречия, предмета размышлений и поисков.

В той же Цицероновой эстетике красноречия, однако, с самых первых ее шагов — опять-таки как во всякой значительной эстетической системе — нравственная проблема была неотделима от проблемы художественной формы; как выражались греческие философы, доброе и прекрасное — одно. Связь обоих в описанной выше ситуации реализовалась в том, что подлинной, практически существующей стихией ораторской деятельности было, по распространенному в Риме определению, «искусное красноречие, которое зовется риторикой» (*artificiosa eloquentia quam rhetoricam vocant*<sup>7</sup>), риторическая же форма красноречия оказывалась столь же двойственной, как и нравственное содержание, что она была призвана облекать: эта красивая форма могла придавать убедительность, увлекательность и яркость излагаемой истине, но могла за счет увлекательности и яркости придавать убедительность также и не-истине. Слово *artificiosa* объединяло в себе в латинском языке значения «художественный, исполненный искусства», «искусный» (в смысле «ловкий») и «искусственный» (в смысле «нароченный», «неискренний»). Выбрав красноречие как залог успеха, Цицерон оказывался во власти неразрешимых противоречий, заданных временем и пронизывающих всю его деятельность политика и оратора.

Он всегда в самых разных своих сочинениях уделял огромное внимание пластике, жестам, голосу оратора и постоянным упражнениям в этой области<sup>8</sup>; составлял для сына каталог «общих мест» — заранее заготовленных и опробованных в деле словесных блоков, из которых можно было смонтировать любую речь<sup>9</sup>; широко использовал распространенные в его время в Риме дидактические сочинения по риторическим фигурам<sup>10</sup>; разрабатывал классификацию речей в зависимости от характера судебных процессов и дел, в них рассматриваемых<sup>11</sup>. «Искусное красноречие, которое зовется риторикой» опиралось помимо природных профессиональных данных — памяти, темперамента, находчивости, сильного и красивого голоса и т. д. — на владение конкретным набором приемов и правил: «от них оратор, может быть, красоты и не наживет, зато получит возможность использовать готовые доводы для каждой разновидности дел, как использует по обстоятельствам боя свои дроты пехотинец»<sup>12</sup>.

Красноречие, основанное на владении формальными приемами, обладало одной особенностью: ему можно было обучить. Цицерон много

сделал для обучения элоквенции, соединял его с обучением общей гуманитарной культуре, и имя его с основанием занимает место в учебниках по истории педагогики. В Риме, однако, обучение красноречию очень многими воспринималось как нечто противоестественное и кощунственное; оно долго не одобрялось официально, а иногда и подпадало под правительственное запрещение. У сторонников подобного взгляда в конкретных условиях Рима I века была своя правота. В старину защитником на суде выступал отец той семьи, к которой принадлежал обвиняемый, оратором на сходке или в сенате — политик, отстаивавший свой план действий; оба доказывали соответствие своих настояний прямому смыслу законов. В обоих случаях предполагалось также, что оратор высказывает свои убеждения, а оценивается его речь на основе гражданских достоинств и авторитета говорящего. Для речи неискренней и в то же время убедительной в тех условиях оратору просто не хватило бы искусства. Речь же человека, прошедшего соответствующую школу, хорошо тренированного, речь как совокупность «готовых доводов», точно и привычно рассчитанных на определенную реакцию аудитории, могла, конечно, придать за счет искусства дополнительную убедительность аргументам вполне искренним, но, учитывая взаимоопосредованность в Риме общего и личного, нравственного и выгодного, чаще становилась средством очаровать и взволновать слушателей, истолковать закон не по прямому смыслу, а в собственных интересах, убедить суд или сенат принять решение, которое принесло бы оратору и его клиентам успех, отнюдь не обязательно покоящийся на объективных нравственных и правовых основаниях. Подобная эволюция красноречия охарактеризована в юношеском сочинении Цицерона «О нахождении материала» в общих чертах, но достаточно подробно<sup>13</sup>. Нет причин сомневаться, что в основу характеристики красноречия, данной в этом сочинении, положены впечатления от судебной и политической жизни, окружавшей автора. О том же противоречии, заложенном в искусстве и деятельности оратора, говорится и в «Бруте»<sup>14</sup>. В середине 80-х годов, когда формировались взгляды Цицерона на сущность красноречия, он берется за перевод диалога Платона «Протагор». Герой диалога, знаменитый греческий софист V в., учил, что истина всегда многолика, что каждый ее облик ничем не хуже другого и выбор того или иного из них в каждой данной ситуации зависит лишь от обстоятельств и словесного обоснования. Протагору приписывались слова о том, что он берется преподавать любому своему ученику искусство «силой слов превращать худое дело в доблестное»<sup>15</sup> — как, по-видимому, и обратно: доблестное в худое. В Риме такой подход к делу, при котором раскрывались разные его стороны и акцент мог быть перенесен на любую из них, назывался рассмотрени-

ем *in utramque partem*, «в обе стороны», и Цицерон как в произведениях среднего периода творчества, так и в поздних считал ценной и важной чертой любого хорошо подготовленного оратора умение «обсуждать всякий вопрос с противоположных точек зрения и из каждого обстоятельства извлекать доводы наиболее правдоподобные»<sup>16</sup>.

В жизни и практической деятельности Цицерона представление о многоликости истины и о свободном манипулировании ею с помощью хорошо отработанных приемов речи в целях достижения успеха и выгоды вело к нравственному релятивизму<sup>17</sup>. По завершении консульства, например, он должен был получить в управление провинцию Македонию, которая считалась весьма выгодной, ибо была богатой и предоставляла наместнику и его людям почти неограниченные возможности вымогательства и грабежа. Цицерон отказался от Македонии, уступил ее своему коллеге Антонию и обосновал свой отказ в речи к народу высокими гражданскими соображениями. Но вскоре в Македонии появился отпущенник Цицерона, наблюдавший за доходами Антония и, как догадывались в Риме, взымавший определенную их часть в пользу своего патрона. Автор возвышенно-убедительной речи, по-видимому, уступил свою провинцию коллеге не бескорыстно. Или другой пример. Цицерон с самого начала не мог не понимать, что представляет собой сенатор-султанец Катилина, дебошир, вымогатель и садист<sup>18</sup>, кончивший организацией заговора против республики, подавлять который пришлось тому же Цицерону. Но когда последний двумя годами раньше, собираясь выдвинуть свою кандидатуру в консулы, старался завоевать расположение всех и каждого, он был готов выступить защитником Катилины, обвиненного (и, по-видимому, вполне справедливо) в вымогательствах в пору своего провинциального наместничества<sup>19</sup>. К счастью для его прижизненной репутации и посмертной славы, выступить ему не пришлось.

В той же связи приходится вспомнить и о двусмысленных отношениях Цицерона со старинным Цинциевым законом, запрещавшим брать плату за защиту в суде. Закон этот имел глубокие корни в римской традиции и обладал большим моральным весом. Профессионализация красноречия и неотделимое от нее превращение оратора в специалиста, которого нанимают и который, несмотря на все запреты, берет за защиту деньги, то есть обещает выиграть дело независимо от того, виноват клиент или нет, причем берет деньги с человека, попавшего в беду и потому готового платить сколько угодно, лишало оратора морального и общественного престижа — в глазах большинства граждан его дело становилось, как выражался один из современников Цицерона, «жульническим искусством, которое предки наши называли собачьим»<sup>20</sup>. Цицерон начинал как один из двух сыновей заурядного

захолустного всадника с имущественным цензом в 400 000 сестерциев, кончил он миллионером, владельцем четырех поместий и Палатинского дома, стоившего при покупке 3,5 миллиона. Правда — и это существенно для облика нашего героя, — большая часть этих денег была взята в долг, дела семьи не раз приходили в расстроенное состояние, имущество Цицерона с женой было раздельное, и развод унес значительную долю его средств, но остается очевидным, что благосостояние было и что оно зависело от способности продавать свое «искусное красноречие» в обход Цинциева закона и моральных норм, с ним связанных. Для такого обхода в Риме был выработан ряд приемов, один из которых явствует из процесса Публия Корнелия Суллы, обвиненного в 62 г. в соучастии в заговоре Катилины. Цицерон выступал защитником, но именно у Суллы одолжил он раньше деньги на покупку Палатинского дома, и мы до сих пор не знаем, на каких условиях; судя по аналогиям, возвращены они либо не были вовсе, либо не целиком и во всяком случае без принятых в Риме больших процентов. Сулла был оправдан — «искусное красноречие» приносило свои плоды.

Все это, однако, составляло лишь одну сторону дела. Общественное положение Цицерона, его репутация, а тем самым и карьера были обеспечены не только энергией и ловкостью, с которыми он компенсировал талантливими речами собственное провинциально-плебейское происхождение, но и окружавшим его имя особым авторитетом. Авторитет этот тоже зиждился на ораторском искусстве, но на каком-то ином, нежели «искусное красноречие» в описанном выше смысле, и именно оно, это «иное красноречие», выводило жизнь и деятельность Цицерона к другим горизонтам и масштабам. В одной из речей 66 г. он перечислил признаки подлинно блестящей карьеры сенатора — не просто магистрата, а государственного деятеля исторического масштаба<sup>21</sup>. На первом месте в этом списке стоит *locus*, «положение»; его, как мы видели, можно было добиться и «искусным красноречием». Но сразу за ним идет *auctoritas* — слово, которое приходится переводить как «авторитет», хотя значение его несравненно шире и глубже: дарованное как потенция богами, но реализуемое самим человеком в его деятельности превосходство его над другими, проявляющееся в особенно значительных услугах, оказанных им общине, в уважении окружающих и в их готовности склоняться перед его мнением. Цицерон обладал *auctoritas* в высокой степени, добиться же этого лишь совершенной риторической ловкостью и интригами было, как показывает опыт всей римской истории, невозможно.

Свой консульский год, 63-й, Цицерон начал с речи против аграрного законопроекта Сервилия Рулла. Со времен Гая Гракха, то есть более полувека, не было законопроекта, на защиту которого сплоти-

лась бы, как в данном случае, вся коллегия народных трибунов, все десять человек; но после речи Цицерона трибуны отступились, и законопроект не прошел. Консульский год Цицерона завершился разгромом заговора Катилины; в ходе его сенат принял постановление о вознесении в честь консула благодарственного молебна богам — впервые за всю историю Рима в честь магистрата, не располагавшего чрезвычайным военным командованием. По завершении борьбы с Катилиной сенат присвоил Цицерону совершенно необычное звание Отца Отечества; следующим его получил лишь полвека спустя создатель принципата император Октавиан Август. Созданный в 60 г. так называемый Первый Триумвират был антиконституционным союзом трех ведущих государственных деятелей с целью захвата власти и подготовки единогодержавного режима, — союзом, опиравшимся на огромную военную силу и неограниченные деньги. Но спокойно пользоваться и тем, и другим триумвиры могли лишь при условии, что против них не поднимется общественное мнение, поднять же его против них мог в первую очередь Цицерон; был предпринят специальный маневр по его нейтрализации — изгнание, потом возвращение из изгнания под моральное обязательство вести себя тихо. Маневр был предпринят правильно: путь Цицерона из изгнания в Рим пролегал через многие города Италии, где его неизменно встречали такие народные овации, что, обратись он к этим муниципиям и колониям и не связи его триумвиры своего рода «честным словом», неизвестно, как повернулись бы события. *Auctoritas* Цицерона оставалась важным фактором внутренней политики Рима и в 40-е годы, когда Цезарь постарался привлечь его на свою сторону для придания морального авторитета и ореола законности своей узурпированной власти, и особенно после гибели Цезаря, в 44–43 г., когда Цицерон фактически оказался во главе сената и в положении руководителя государства.

Подобная *auctoritas* была основана все на том же красноречии, но представшем уже не просто как совокупность приемов, а как духовный подвиг во имя республики, во имя сохранения и защиты ее исторических ценностей, и на впечатлении от деятельности Цицерона, в которой ловкость, беспринципность и практицизм странно дополнялись преданностью своим идеалам, упорством в их осуществлении, готовностью, стоявшей подчас на грани героизма, идти ради них на любое обострение и риск.

Первое выступление на общественном поприще, привлечшее к Цицерону внимание, было его выступление в качестве защитника в процессе Росция из Америи в 80 г. Главным противником его в процессе фактически явился всемогущий отпущенник всемогущего Суллы Хрисогон. Хрисогону важно было утвердить «право» диктатуры, опираясь

на военную силу, безнаказанно грабить и убивать каждого не только в политических, но и в личных целях, всенародно обнаружить, что не право сильно, а сила права. Цицерону важно было отстоять не только римскую правовую традицию, но и сам принцип правосознания. Никаких существенных выгод процесс ему не сулил; риск был громадный; кажется, единственный из адвокатов Рима, он согласился защищать Росция — и выиграл, выиграл в разгар сулланской диктатуры, при в высшей степени неблагоприятном составе суда. Десятью годами позже состоялся процесс, принесший Цицерону теперь уже подлинную славу, — процесс бывшего наместника Сицилии Верреса, истерика и жестокого вымогателя. Речь шла все о том же — о возможностях сильным грабить слабых, только на этот раз не италийцев, а провинциалов, и не в интересах временщиков, а в интересах почтенной аристократии — древнего и знатного рода Цецилиев Метеллов, чьим ставленником был Веррес. Сицилийцы возбудили против него иск летом 70 г. Верресу и его знатым покровителям надо было протянуть всего несколько месяцев: с января 69 г. один из Метеллов становился консулом, другой — претором и тем самым председателем суда. Цицерон не дал им этих месяцев. За несколько недель он изъездил Сицилию, собрал исчерпывающий материал и бесчисленные улики, отбил от интриг Метеллов, начал процесс, доказал полную несостоятельность защиты, так что Веррес, не дожидаясь приговора, бежал из Рима, и Цицерон, не имея поэтому возможности произнести все заготовленные обвинительные речи, опубликовал их, превратив материал уголовного процесса в красноречивую правозащитную декларацию, общеполитическую, гражданскую и нравственную. И снова, в данном случае, как в предыдущем, риск несопоставимо превышал выгоду; снова речь шла о том, чтобы силой ораторского искусства защитить принципы — на этот раз достоинство римской власти в провинциях. Цицерон сам указал на эти мотивы, по которым он согласился участвовать в процессе Верреса<sup>22</sup>. Неуклонный и стремительный рост его авторитета в последующие годы говорит о том, что римляне, в отличие от многих историков Нового времени, не сомневались в данном случае в его искренности.

Таких примеров можно привести немало. Ограничимся еще одним. Поздняя осень 63 г. Цицерон — консул. Он располагает неопровержимыми доказательствами того, что Катилина готовит государственный переворот, который неизбежно повлечет за собой разнузданный террор. Катилина и его подручные должны быть уничтожены — иначе гражданская война с неясным исходом, а в перспективе — пожары, убийства и погром. Но существует закон, по которому только народное собрание может принять решение о казни римского гражданина. Созывать такое собрание нельзя — нет времени, да и неизвестно, чем

оно кончится — подручные Катилины раздают обещания и деньги направо и налево. Цицерон обеспечивает все возможные юридические оправдания подготовленной им меры — закон о чрезвычайном положении, специальное решение сената о казни заговорщиков, одобрение народной сходки. Но, опытный юрист, он не может не понимать, что все это не оправдание, что сенат не имел права принимать постановление, противоречащее фундаментальному закону государства, что ради спасения республики и граждан он, Цицерон, предпринимает шаг, который на всю жизнь сделает его уязвимым для самых тяжких обвинений. Он тем не менее принял решение, настоял на одобрении его сенатом<sup>23</sup> и взял ответственность на себя. Сообщники Катилины были казнены. Цицерону это не принесло ничего, кроме славы в веках<sup>24</sup>, сознания выполненного долга<sup>25</sup> и дальнейшего укрепления *auctoritas*. Никаких практических выгод, а через несколько лет — травля, гибель любимого дома и изгнание.

Этот тип поведения был неотделим от определенного понимания роли оратора, от назначения и характера его искусства. И снова, как при определении роли технического совершенства в деятельности оратора, суждения о государственно-правовом достоинстве публичного красноречия, о его основополагающем значении для всякого свободного и законосообразного человеческого общежития проходят через всю жизнь Цицерона. Впервые, кажется, все в том же юношеском сочинении «О нахождении материала»: «Как научить людей доверять друг другу и уважать законы, основанные на справедливости, как добровольно подчиняться другим, как ради общего блага брать на себя тяжкие труды или даже жертвовать самой жизнью, если не с помощью красноречия, основанного на разуме и потому способного убеждать?»<sup>26</sup> И точно то же за три года до смерти — в «Бруте»: самое ужасное в гибели республики и в диктатуре Цезаря — молчание форума, опустошенного, осиротелого и забывшего изысканную речь, достойную слуха римлян. «У меня самого сердце сжимается от боли, когда я думаю, что республика не чувствует больше нужды в таких средствах защиты, как разум, талант и личный авторитет; ими меня учили пользоваться, на них я привык полагаться, они единственно подобают... обществу, хранящему добрые нравы и соблюдающему законы»<sup>27</sup>.

Два эти понимания природы и смысла красноречия, два облика человека — прагматического политика, честолюбца, неразборчивого в средствах достижения своих целей, — и самоотверженного борца, отдающего талант, знания и жизнь республике римлян, бесспорно и очевидно сосуществуют в жизни и деятельности Цицерона. На этом основании научное истолкование наследия Цицерона с самого начала строилось по альтернативному принципу: пока сказывался еще унаследо-

ванный от XVIII века либерально-просветительский взгляд на римскую историю, акцент ставился на втором, «высоком», облике великого консула, а главным содержанием его наследия признавалась красноречивая защита гражданских идеалов. В позитивистскую эру с легкой руки Моммзена на первый план стали выдвигаться первые из отмеченных выше, «низкие», черты нашего героя и затухать остальные. Новый перелом наступил уже на памяти ныне здравствующего поколения. В ряде фундаментальных работ была предпринята во всеоружии современной науки попытка реабилитации «высокого» Цицерона<sup>28</sup>. Вывод, из них следовавший, однако, оказался несколько иным, чем ожидалось. Стало ясно, что суть проблемы и путь к ее решению — не в выборе одного из полюсов противоречия, а в признании их нерасторжимой связи и взаимной опосредованности. Разработка приемов «искусного красноречия», обеспечивающего любое решение, выгодное в данной ситуации, и, напротив того, обоснование высокого государственного, политико-правового нравственного содержания ораторского искусства образуют лишь два первоначала, два исходных мотива эстетики Цицерона; основное ее содержание состоит в демонстрации их единства.

О нем — в следующем очерке.

1990

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон», перефразирующая подлинную фразу оратора: «Мне горько то, что на дорогу жизни вышел я слишком поздно и что ночь республики наступила прежде, чем успел я завершить свой путь» (*Цицерон. Брут, или О знаменитых ораторах*, 330 / Пер. здесь и далее И. Стрельниковой).

<sup>2</sup> *Цицерон. О нахождении материала. I, I.*

<sup>3</sup> *Цицерон. Брут, 45.*

<sup>4</sup> Показательно, что, когда Цицерон в 63 г. в решающий момент разоблачил перед сенатором заговор Катилины, тот в защитительной речи говорил о несопоставимости доверия, которым может и должен пользоваться он, римский патриций, и Цицерон — «хотя и римский гражданин, но в Риме пришелец» (*Саллюстий. Заговор Катилины*, 31).

<sup>5</sup> Об этой важнейшей стороне античного общества см.: *Earl D. Moral and Political Tradition of Rome* // S. l., 1967 (1984); *Herman G. Ritualized Friendship and the Greek City* // Cambridge, 1987. Исходная постановка проблемы и первый опыт ее решения — в классической работе: *Münzer F. (Römische) Adelsparteien und Adelsfamilien*. Stuttgart, 1920; см. также: *De Robertis M. Storia delle corporazioni e del*



- regimo associativo nel mondo Romano, vls. I—II. Bari, 1971. Обзор новейшей литературы см.: *Кнабе Г. С.* К специфике межличностных отношений в античности // ВДИ, 1987, № 4. О роли социальных микрообщностей в Риме времен Цицерона и их значении в его жизни и деятельности много рассказано в кн.: *Грималь П.* Цицерон. М., 1991.
- <sup>6</sup> *Oratorum Romanorum fragmenta.* Torino, 1976 / Ed. H. Malcovati, 4 ed. Cato Maior, fr. 167.
- <sup>7</sup> Цицерон. О нахождении материала, 1, 5.
- <sup>8</sup> Цицерон. Брут, 110; 141—142; 272; Цицерон. Оратор, 55; 59—60; 121 и след.
- <sup>9</sup> Общим местам и их значению для ораторских выступлений посвящено позднее сочинение Цицерона «Топика».
- <sup>10</sup> Имется в виду так называемая «Риторика к Гереннию». Это сочинение, распространенное в Риме в 80-е гг. I в., долгое время считалось принадлежащим Цицерону. Сейчас такой взгляд опровергнут, но заблуждение старых филологов вполне понятно: многие положения трактата находят себе соответствие в других сочинениях, бесспорно цicerоновских. Он поэтому дает материал для характеристики общих воззрений времени, разделявшихся нашим автором. В этом смысле «Риторика к Гереннию» и используется в дальнейшем тексте.
- <sup>11</sup> См.: Риторика к Гереннию, I, 2 и след.; II, 13; 18; 30; О разделах риторики; О нахождении материала, I, 5 и след.; II, 52 и след.; Оратор, 37 и след.; 75 и след. См. также вступительную статью М. Л. Гаспарова к книге: *Марк Туллий Цицерон.* Три трактата об ораторском искусстве. М.: Наука, 1972, с. 18—25.
- <sup>12</sup> Цицерон. Брут..., 272.
- <sup>13</sup> Цицерон. О нахождении материала, I, 2—5.
- <sup>14</sup> Цицерон. Брут..., 30.
- <sup>15</sup> Авл Геллий. Аттические ночи, V, 3.
- <sup>16</sup> Цицерон. Об ораторе, 158, ср.: Оратор, 46.
- <sup>17</sup> Цицерон. В защиту Клуэнция, 139.
- <sup>18</sup> Известную характеристику Катилины у Саллюстия (Заговор Катилины, V, 1—2) следует дополнить рассказом о мучительной смерти, которой во время гражданской войны между Марием и Суллой Катилина лично предал своего политического противника Мария Гратидиана. Для оценки сказанного ниже о намерении Цицерона защищать Катилину в суде существенно, что Гратидиан был родственником и земляком оратора — сыном шурина его деда.
- <sup>19</sup> Цицерон. Письма к Аттику, I, 1, 1; 2, 1.
- <sup>20</sup> Колумелла. О сельском хозяйстве, I, предисл. 9.
- <sup>21</sup> Цицерон. В защиту Клуэнция, 154.

<sup>22</sup> Цицерон. Дивинация против Цецилия, II—IV.

<sup>23</sup> Цицерон. Письма к Аттику, XII, 21, 1 (март 45 г.).

<sup>24</sup> Образ Катилины — злодея, готового принести республику в жертву собственным корыстным и честолюбивым замыслам, и Цицерона, уничтожающего его во имя закона и гражданской ответственности, — устойчивые образы революционной риторики во Франции 1789—1794 гг., в частности в речах Мирабо, а поколением позже — в России у К. Ф. Рыльева: «...и в Цицероне мной не консул — сам он чтим / За то, что им спасен от Катилины Рим...» («К временщику», 1820).

<sup>25</sup> См. письмо Цицерона Луцию Лукцею от мая 56 г.

<sup>26</sup> Цицерон. О нахождении материала, I, 2.

<sup>27</sup> Цицерон. Брут, 7.

<sup>28</sup> Тон был задан еще накануне войны коллективной статьей M. Tullius Cicero. *Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft*. 2. Reihe, Hb. 13 a [1939]. Позднее двое из ее авторов выступили с самостоятельными монографиями: *Gelzer M. Cicero*. Wiesbaden, 1969 (репринт 1983); *Büchner K. Studien zur römischen Literatur*. Bd II: Cicero. Wiesbaden, 1962 (где автор на первой же странице признает, что «мы переживаем сейчас самый пик процесса выработки нового образа Цицерона»). Истоки всего этого направления можно обнаружить в старой (1907) статье Р. Хайнце, которая в свое время прошла незамеченной, но, будучи перепечатана в 1968 г., явилась серьезным вкладом в «выработку нового образа Цицерона» (*Heinze R. Vom Geist des Römertums*. 3. Aufl. Darmstadt, 1968, S. 87 ff). Своеобразный вариант этого «нового образа Цицерона» содержится в упомянутой выше книге П. Грималья (см. примеч. 5).

---

## ЦИЦЕРОН. ЭСТЕТИКА ИДЕАЛА И ВЫСОКОЙ НОРМЫ

Публичное красноречие, практике и теории которого Цицерон отдал свою жизнь, не исчерпывалось для него совокупностью риторических приемов. Подлинная сила красноречия, по его убеждению, была заключена в значительности мысли, в принадлежности оратора к культуре, в философском содержании речи: «Хорошим оратором может быть только тот, кто умеет мыслить; поэтому, кто посвящает себя красноречию, тот посвящает себя и мудрости»<sup>1</sup>. Тогда становится понятно, почему Цицерон, всего себя посвятивший овладению красноречием, писал, что у него «никогда ничего в жизни не было дороже философии»<sup>2</sup>, а незадолго до смерти признавался: «Меня сделали оратором — если я действительно оратор, хотя бы в малой степени — не риторские школы, но просторы Академии. Вот истинное поприще для многообразных и различных речей: недаром первый след на нем проложил Платон»<sup>3</sup>. Нормой красноречия является синтез словесного искусства и духовного философского содержания, «ибо без мускулатуры, развитой на форуме, оратор не сможет иметь достаточно силы и веса, а без всестороннего научного образования не сможет иметь достаточно знаний и вкуса»<sup>4</sup>. Упоминание в цитированных суждениях об Академии и форуме показательны: боевое, темпераментное, направленное на решение жизненно важных практических вопросов, «мускулистое» искусство слова было стихией политики и права в столице мира — Риме, отвлеченное же умозрение, углубленное и обобщенное, — делом мыслителей Греции, давно пережившей пору героических конфликтов и реальных битв. Искомый синтез и эстетическое совершенство, в нем воплощенное, представляли как союз греческого и римского начал.

Сочинения Цицерона и в первую очередь его эстетические взгляды нельзя понять, не ощущая постоянно, до какой степени мысль этого арпинского гражданина, консулярия и Отца Отечества римлян пронизана греческой культурой. Он трижды подолгу жил в Греции, в совершенстве говорил и писал на ее языке, слушал ее философов и ораторов, был дружен со многими, а один из них, стоик Диодот, годами жил у него в доме. Греческие стихи звучат в памяти Цицерона постоянно, вплетаются в его латинскую фразу, перетекают в нее. Поздние его диалоги содержат сравнительный анализ главных направлений греческой философии, обнаруживающий особое, интимное их знание, знание изнутри, с деталями и тонкостями, с упоминаниями второсте-

пенных авторов, а письма переполнены бесчисленными ссылками на Гомера, Софокла, Фукидида, Платона, Сократа, Еврипида, Антисфена. По письмам восстанавливается вообще вся его духовная генеалогия; учителя и авторитеты — сплошные греки: Аристотель, Карнеад, Посидоний, Филон, Диодот, Антиох и, разумеется, прежде всего Платон — «наше божество»<sup>5</sup>.

Вот все это духовное содержание и должно было влиться в общественную жизнь Рима, оплодотворить его красноречие, помочь ему найти художественную форму, слитую с «мудростью». Поэтому Цицерон всю жизнь переводил с греческого. Поэтому одна из его постоянных мыслей состоит в том, что занятия философией должны не просто заполнять досуг образованного римлянина — то время, что остается от государственной деятельности, а быть элементом этой деятельности и служить критерием ее оценки. Особенно полно и ясно выражена эта мысль в письме Катону из Киликии от января 50 г. Завершив наместничество в Киликии, Цицерон просит Катона употребить свое влияние, дабы выхлопотать ему триумф — не только за успешные военные действия, но также за занятия философией, немало способствовавшие той же цели: «Мы едва ли не одни перенесли ту истинную и древнюю философию (то есть греческую. — Г. К.), которая кажется кое-кому делом отдохновения и праздности, на форум и в жизнь государства и чуть ли не на поле битвы»<sup>6</sup>. Он посвящает доказательству той же мысли одну из самых ярких и своеобразных своих речей — «В защиту поэта Архия». Главный ее тезис состоит в том, что римское гражданство должно присваиваться иноземцам, и в частности выходцам из Греции, тогда, когда они обогатили Рим своей культурой, своим словесным искусством, и за то, что они перенесли на свою новую родину духовные сокровища старой. Таким перенесением занимаются, в сущности, и все подлинные римские ораторы, ибо греческое красноречие сохраняет для них значение нормы, по которой выверяется и красноречие римское. «Есть лишь одно красноречие — то, что родилось в Афинах»<sup>7</sup>. Есть лишь один «вполне совершенный оратор, свободный от любых недостатков, — Демосфен»<sup>8</sup>. Есть лишь один решающий рубеж в истории ораторского искусства — тот, что проходит по эпохе Демосфена, ибо «только до этого поколения сохранило красноречие здоровую, чистую кровь»<sup>9</sup>, а после него начало погружаться в софистику и поиски красоты слова ради красоты слова.

Все дело, однако, было в том, что искомый синтез римского и греческого, а следовательно, красноречия и философии, а следовательно, и само «подлинное ораторское искусство» существовали и только и могли существовать как эстетическая программа или как некоторая на эту программу ориентированная парадигматическая деятельность от-

дельных лиц, а не как черта римской действительности. Не говоря уже о том, что в основе античного мирозерцания лежало представление о неповторимости и богоизбранности каждого отдельного полиса, о том, что Рим оставался покорителем Греции, а римские купцы, откупщики и прокураторы вельмож выжимали из Ахайи и Македонии все, что могли, и унижали их граждан, нисколько не заботясь об эллинофильстве просвещенных ценителей искусства в Риме, — не говоря обо всем этом, презрение к умозрительной культуре, к художественной ценности как проявлению духовности, а следовательно, и к грекам как носителям этих качеств оставалось одной из основ римского народного этоса. Своим отрицательным отношением к грекам и всему греческому славился образцовый римлянин Катон Цензорий, солдаты Суллы дали себе в Греции волю и бесчинствовали, как хотели; одним из обстоятельств, положивших конец полководческой карьере Лукулла, приятеля и собеседника Цицерона, было солдатское возмущение, вызванное, в частности, демонстративным эллинофильством проконсула. Сам Цицерон, постоянно заботившийся о верности римским народным традициям, никогда не мог по-настоящему свести концы с концами в своей проповеди греко-римского синтеза. Известно немало его высокомерно-презрительных отзывов о греках; в речи Цицерона против Верреса объясняется разница между римским отношением к искусству как государственному делу и отношением греческим, на взгляд оратора пустым и несерьезным<sup>10</sup>. Многолетние размышления о соединении красноречия и философии в конце концов привели Цицерона к «Гортензию», диалогу 45 г., сохранившемуся до наших дней лишь в отрывках, но где, скорее всего, содержалась апология философии в ее противопоставлении красноречию. Критерии и нормы эстетики «подлинного ораторского искусства» могли реализоваться не столько в жизни, сколько над ней, как пожелание и цель, оставляя неизменной действительность ее противоречиям.

В философских и исторических диалогах Цицерона царит совершенно особая атмосфера, предшествующей римской литературе, кажется, неизвестная, — атмосфера избранного интеллигентного кружка, члены которого, с одной стороны, вполне реальные деятели Римского государства, магистраты, полководцы, ораторы, и в то же время — высокообразованные люди, свободно владеющие всем богатством греческой культуры. Сплав обоих этих начал воплощен здесь в неповторимом тоне — простом и изящном, ученом без педантизма и свободном без резкости, дружеском при всем сохранении различий в точках зрения. Этот тип общения, однако, и сам этот тип человека очень непросто соотносились с реальной римской действительностью. Он бесспорно существовал. Упомянувшийся выше Луций Лициний Лукулл

был римлянин старой складки с головы до пят — отличался крайней pietas по отношению к отцу, а позже к брату, обнаруживал оба традиционных таланта римского аристократа — ораторский и полководческий, умело и до конца шел по дороге магистратур. В то же время он с отрочества увлекался греческой философией, писал греческие стихи, и Цицерон имел все основания посвятить ему один из своих философских диалогов, выведя его в качестве главного действующего лица. То же соединение и, соответственно, тот же тип культуры обнаруживаются и у других современников — Марка Теренция Варрона, Марка Юния Брута, Гая Юлия Цезаря, как мы видели, у самого Цицерона, да и у многих других.

Этому типу культуры, поведения и человека сопутствовала одна особенность, на первый взгляд внешняя, но, как вскоре выяснилось, связанная с самой сутью дела, — богатство. «Люди могущественные и видные, — писал Цицерон в трактате «Об обязанностях», — находят наслаждение в том, чтобы их жизнь была обставлена пышно и протекала в изысканности и изобилии; но чем сильнее они к этому стремятся, тем неумереннее жаждут денег. Людей, желающих приумножить семейное достояние, презирать, разумеется, не следует, — нельзя, однако, ни при каких условиях нарушать справедливость и закон»<sup>11</sup>. «Семейное достояние» — это *res familiares*, старинная римская форма состояния, воплощенного прежде всего в земельной собственности, и «презирать его» не следует именно из-за его традиционного, чисто римского характера. Напротив того, «неумеренная жажда денег» дурна, ибо потенциально чревата нарушением справедливости и закона, но она же образует предпосылку того стиля жизни, который избрали в Риме I в. «люди могущественные и видные» — те самые, которые были перечислены только что как рафинированные римские интеллигенты, близкие Цицерону, участники его диалогов, те, кто формировал и воплощал подлинное красноречие. Их эллинофильство на практике выступало как принадлежность особого типа существования, который характеризовали свойства, здесь названные: *apparatus* — 'пышный и роскошный стиль жизни, обстановки, утвари', *elegantia* — 'утонченность, изысканность, оригинальность', *copia* — 'изобилие'. Все вместе они образовывали *cultus vitae* и все вместе оказывались внеположены исконно римской системе ценностей, ибо последняя была ориентирована на воинские и гражданские доблести, нестяжательство, восприятие искусства лишь как средства прославления государства и служения ему, на собственно римскую традицию. При всей своей архаичности эта последняя система ценностей была в эпоху Цицерона еще вполне живой, образовывала если не универсальную практику существования, то как бы его нормативный фон и контрастировала с противополож-

ной системой — системой *cultus* <sup>12</sup>. Поэтому соотносенными с системой *cultus* оказываются не только друзья и собеседники Цицерона, но, казалось бы парадоксальным образом, и такой негодяй, как Веррес, разоблаченный Цицероном в серии речей, специально ему посвященных. Веррес бесконечно алчен, нарушает тем самым этические заповеди римского магистрата, цинически разрушает римскую традицию, но в его нравственный нигилизм входит составной частью столь же неподобающая римскому магистрату, столь же чуждая римской традиции фанатическая любовь к произведениям искусства. И поэтому же Лукулл, Варрон, Цезарь, в диалогах Цицерона и в письмах его представляющие римско-греческими аристократами духа, в жизни не могли избавиться от своеобразных накладных расходов на *cultus*. Безумства этих богачей — огромные садки, где они лично выкармливают стаи хищных рыб, неправдоподобно изысканные виллы, пиры, не случайно вошедшие в историю под именем Лукулловых, и т. д. <sup>13</sup>, — выступая как особая форма культурного прогресса, были претензией на демонстрацию духовной сложности, необычной изысканности, от которых неотделимы были греческая образованность, способность воспринять красоту художественного слова или философского построения, но которые именно в силу этого отклонялись от укорененного в традиции, примитивного и живого народно-национального этоса, а потому несли с собой нечто противоестественное, замашки подгулявшего нувориша. Цицерон, человек глубоко, гениально одаренный, самостоятельно прокладывавший свой путь в культуре, не принадлежал, в сущности, к этому типу в его жизненной реальности, но и не был изъят из всей стихии *cultus*, неизбежно и объективно окрашивавшей греко-римский культурный синтез у людей его времени и его круга. Эстетический мир Цицероновых диалогов существовал, таким образом, лишь как часть идеализованной структуры, приподнятой над жизненными противоречиями, и только за этот счет обретал свое собственно эстетическое качество.

В реальной жизни Рима последних десятилетий Республики условность, искусственность и неполноценность *cultus* как эстетического принципа выявлялась главным образом через сопоставление его с иным принципом, также представленным в римской действительности, также выступавшим в ней в своей непоследовательной, противоречивой форме и также сублимированным в эстетически преобразованном гармонизованном виде в Цицероновой теории красноречия, — с принципом народности. Поскольку красноречие для Цицерона есть в основе своей часть практической деятельности по управлению государством <sup>14</sup>, то главное в нем — способность, возможность и умение убеждать. Если есть в Риме, как уверяют поэты, богиня красноречия, то зовут ее Свада, подобно тому, как греческого ее аналога зовут Пей-

то — оба имени производны от глаголов со значением «убеждать»<sup>15</sup>, и поэтому же «достиг оратор или не достиг желанного впечатления на слушателей — об этом можно судить сразу по согласию толпы и одобрению народа... Ибо только тот оратор велик, который кажется великим народу»<sup>16</sup>. Как бы ни были в реальной жизни люди, существующие в регистре *cultus*, отличны от народа, Цицерон конструирует мир должного, где они объединяются в идеализованно патриархальном целом — республики, традиции, Рима. Там ценна философия — но в идеале только та философия, которая свободно выражает себя в публичной речи и высказывает мысли, не слишком отличные от тех, что «приняты в общественном мнении народа»<sup>17</sup>. Утонченные ценители искусства слова судят здесь ораторов по тем же критериям, что толпа граждан, и «знатоки никогда не расходятся с народом во мнении о том, какой оратор хорош и какой нет»<sup>18</sup>. В этом мире легионеры Лукулла не взбунтовались бы против своего полководца, раздраженные его снобизмом, его преданностью философии и философам, его основанным на *cultus* стилем жизни, как взбунтовались они в 68—67 гг. в ходе Митридатовой войны, и патрицию Клавдию Пульхру не было бы необходимости, чтобы привлечь симпатии римской толпы, переименовать свое древнее имя по законам простонародной вульгарной фонетики и становиться Клодием, как стал он себя называть с 59 г.

Такого народа — народа как единой духовной субстанции, соединившей в себе исконную традицию и культурное развитие, — в Риме никогда не существовало, а уж во времена Цицерона меньше чем когда бы то ни было. С рубежа II и I вв. римская армия стала профессиональной, и сокровища, добываемые ею в дальних походах, обогащали знать, обогащали казну, но разоряли крестьян, которые веками образовывали материальную и моральную основу республики, а теперь не могли найти себе места в этом беспредельно и безответственно обогащающемся мире, разорялись и массами уходили в Рим, пополняя ряды паразитарного городского плебса. Они составили одну из опор движения Катилины, они были той социальной базой, на которую опирался Клодий, и лютую их неприязнь вызывала, в частности, рафинированная, гречески ориентированная культура богачей, тем более — неотделимая от безвкусно выставляемой напоказ роскоши. Утонченные знатоки философии и риторики платили тем же. Для обозначения народа Цицерон пользуется несколькими словами. С одной стороны, народ — *populus*, носитель суверенитета, воплощение государственности и духовного потенциала Рима; с другой — *vulgus*, «чернь», или *vulgus atque turba*, «грубая и беспорядочная толпа». Его вкусы в области искусства и культуры в корне противоположны вкусам Цицерона, как явствует, например, из письма о сценических и



цирковых представлениях во время Римских игр<sup>19</sup>. Толпа в восторге, Цицерону, «человеку цивилизованному», тошно — народ квиристов, *populus*, то и дело оборачивается толпой, орущей на цирковых играх, *vulgus atque turba*. В этих условиях двусмысленной становится и заповедь: добиваться одобрения народа — первая забота оратора. Такая забота называлась у римских мастеров красноречия «уловлением благорасположения» и означать могла самое разное — от демонстрации всеисилия подлинно художественной речи до заискивания перед невежественной толпой.

Значит ли это, что учение Цицерона о народности речи как критерии ее качества — утопия и фикция? В том-то и дело, что нет, потому что между вульгарным языком повседневного уличного общения, способным «уловить благорасположение» толпы, и насыщенным глубоким ученым содержанием, риторически обработанным языком для знатоков, разрыв не абсолютен. Они могут быть соединены и реально соединяются магическим кристаллом искусства. Очень важно «почувствовать необходимость очистить язык и пережечь его на огне неизменных правил, а не следовать искаженным обычаям общего употребления»<sup>20</sup>, и подлинны художники слова, подлинны ораторы в состоянии удовлетворить этому требованию. Может показаться, что оно утопично, поскольку таких ораторов очень и очень мало, всего несколько человек — в сущности, Гортензий, сам Цицерон да Юлий Цезарь, — но раз эти несколько человек есть, то, значит, и само требование — не утопия, а нечто иное: норма, эстетический идеал. Как всякий подлинный и живой идеал, он отличен от непосредственной действительности, но в то же время укоренен в ней и в ней проявляется; он есть реальность, но реальность эстетически преображенная и потому возвышающаяся над реальностью эмпирической, хотя и обнаруживается в ней. «Цезарь... умеет исправлять выражение обычное, но неправильное и искаженное, на выражение обычное же, но чистое и правильное. Когда же к этой отборной чистоте латинской речи — без которой нет не только оратора, но и просто настоящего римлянина — Цезарь присоединяет еще и ораторские украшения, то кажется, что этим он сообщает блеск хорошо нарисованной картине... Красноречие его блистательно и чуждо всяких хитросплетений; в его голосе, движениях, облике есть что-то величественное и благородное»<sup>21</sup>.

Соотнесенность эстетической нормы с идеалом и в то же время принципиальная воплощаемость ее в художественной — в данном случае ораторской — практике наглядно иллюстрируется позицией Цицерона в споре аттикистов и азианистов, его учением о среднем стиле речи, и произведениями, это учение воплощающими. Описанные выше процессы в жизни и культуре Рима — формирование несколько снобист-

ской эстетики *cultus*, увлечение всем эллинским, распространение риторики и связанных с ней представлений о самоценности ораторского искусства — привели к появлению в Риме двух контрастных и взаимосвязанных стилей красноречия. Один, рассчитанный на эмоциональное воздействие на слушателей больше, чем на их способность следовать логике доказательств, темпераментный, пышный и живописный, перегруженный риторическими фигурами, считался порождением греческой культуры в том ее варианте, что процветал в эллинистическую эпоху в полисах Малой Азии, и потому назывался азиатским, азийским, азианийским; в позднейшей традиции закрепилось последнее наименование. Другой, рассматривавшийся как противоположный, носил название аттического и предполагал четкую сухую речь, настолько краткую, а в устах римских ораторов еще и настолько перегруженную архаизмами, что восприятие ее требовало особых усилий и тренировки. Мы сейчас не можем вдаваться в сложный вопрос о том, в какой мере оба направления сохранили следы своего греческого происхождения, а в какой стали явлениями собственно римской культуры и каков был их идеологический смысл в общественных условиях Рима конца Республики<sup>22</sup>. Важно другое — что Цицерон почувствовал в обоих гипертрофию орнаментального начала, самолюбование оратора, отдававшегося соблазнам риторики (несущественно, какого именно из двух стилей) и забывшего об общественной ответственности оратора и о прямом прагматическом, политическом или судебном, смысле его искусства, забывшего о чистой и правильной народной речи, «без которой нет не только оратора, но и просто настоящего римлянина». Об аттицизме и азианизме Цицерон подробно говорит в «Ораторе» (§ 20–33) и в специально посвященном данной проблеме сочинении «О наилучшем виде ораторов». Только не нужно поддаваться могущему сложиться при знакомстве с ними впечатлению, будто, критикуя в первую очередь азианистов, Цицерон тем самым склоняется на сторону их противников аттикистов<sup>23</sup>. Сколько-нибудь внимательное чтение, тем более в контексте всей вообще теории риторики Цицерона, обнаруживает, что под аттическим красноречием он разумеет не римский аттицизм своих современников, а речь старых афинских ораторов, прежде всего Демосфена. Оно «аттично» не в том смысле, что противоположно азианизму, а лишь в том, что представляет в наиболее чистом виде красноречие, расцветшее в городе своего рождения, стоящее вне искусственных противоположностей краткости и пышности, архаики и моды и именно в силу этого сохраняющее значение классической нормы на все времена, в том числе и для римлян. Такая — употребим снова это слово как наиболее точное — *приподнятая* над контроверзами времени ораторская речь, соединяющая в

классическом синтезе греческий и римский культурный опыт, придающая художественную форму латинской народной языковой стихии, не порывая с живыми народными ее источниками, и представляется Цицерону его речью — живым единством судебно-политической практики и философско-эстетической нормы, единством, которое существует как цель, как стремление оратора, почти достигается, чтобы тут же снова ускользнуть и остаться недостижимым. Что бы там ни говорили рафинированные теоретики азианизма и аттицизма, «есть также расположенный между ними средний и как бы умеренный род речи, не обладающий ни изысканностью вторых, ни бурливостью первых, смежный с обоими, чуждый крайностей обоих, входящий в состав и того, и другого, а лучше сказать, ни того, ни другого; слог такого рода, как говорится, течет единым потоком, ничем не проявляясь, кроме легкости и равномерности, — разве что всплывет, как в венок, несколько бутонов, приукрашивая речь скромным убранством слов и мыслей»<sup>24</sup>. Страницы, написанные этим стилем, с художественной точки зрения лучшее, что оставила нам римская классика. Так написаны Первая катилинария и речь «В защиту Целия Руфа» самого Цицерона, так написаны особенно сильные главы в целиком ориентированной на цicerонианский стилистический канон «Истории Рима от основания Города» Тита Ливия.

Эстетика Цицерона, как мы помним, во многом возникла из острого ощущения опасности, создаваемой формализацией красноречия, сведения его к совокупности приемов, к риторике; соответственно, содержание эстетической теории Цицерона, с которой мы до сих пор имеем дело, состоит в обнаружении субстанций, долженствующих заполнить риторическую форму, овладеть ею, подчинить ее себе и тем вернуть ей изначальный, подлинный смысл; в качестве таких субстанций выступали философия, эллинская культура, знание истории, права, политики Римского государства, языка его народа, особый тип мышления и поведения, позволявших соединять греческое с латинским. В середине жизни Цицерон в особенно отчетливой формулировке подвел итог своим размышлениям на эту тему, — настолько отчетливой, что это оправдывает пространную выписку. «Клеймите насмешкой и презрением всех этих господ, которые думают, что уроки так называемых нынешних риторов открыли им *всю сущность ораторского искусства*, по которым невдомек, какое имя они принимают и за какое дело берутся. Истинный оратор должен исследовать, переслушать, перечитать, обсудить, разобрать, испробовать все, что встречается человеку в жизни, так как в ней вращается оратор и она служит ему материалом. Ибо красноречие суть одно из высших проявлений нравственной силы человека; и хотя все проявления нравственной си-

лы однородны и равноценны, но одни виды ее *превосходят другие по красоте и блеску*. Таково и красноречие: опираясь на знание предмета, оно выражает словами наш ум и волю с *такой силой, что напор его движет слушателей в любую сторону*. Но чем значительнее эта сила, тем обязательнее должны мы соединять ее с честностью и высокой мудростью; а если бы мы дали обильные средства выражения людям, лишенным этих достоинств, то не ораторами бы их сделали, а безумцам бы дали оружие»<sup>25</sup>.

Этот пассаж вводит в эстетическую теорию Цицерона еще одно понятие, понятие ключевое, с которым мы до сих пор не имели дела. Выражения, к нему относящиеся, в тексте нами подчеркнуты; речь идет о понятии красоты.

Публичное красноречие всегда представлялось Цицерону результатом взаимодействия таланта и знаний, с одной стороны, и эстетизирующей их особой ораторской техникой, с другой. Он и его современники называли эту технику *ars*, 'искусство, умение, ремесло', и говорили о различных ее сторонах, формах, приемах, которые при соединении с природными данными оратора должны были привести к созданию шедевров ораторского искусства. Исходя из этого, Цицерон и посвятил первые две книги главного своего исторического труда — «Об ораторе» — различным сторонам *ars*. Но чем дальше шла работа, тем, по видимому, становилось яснее, что при таком соединении оба взаимодействующих начала остаются каждое самым собой, что взаимодействие их носит поэтому внешний характер, что это никак не препятствует практической подготовке ораторов и может вполне обеспечить им успех в суде, но не дает принципиального, философского решения вопроса о том, в чем заключается единая «сущность ораторского искусства» как самостоятельного эстетического модуса духовного бытия. Тогда-то в поисках ответа на этот вопрос и родилось впервые, кажется, понятие красоты как особой, самостоятельной целостной сущности, и третья книга «Об ораторе» оказалась в большой степени посвященной именно ей: «Итак, красота речи состоит прежде всего как бы в некой общей ее свежести и сочности; ее важность, ее нежность, ее ученость, ее благородство, ее пленительность, ее изящество, ее чувствительность, или страстность, если нужно, — все это относится не к отдельным ее частям, а ко всей ее целокупности»<sup>26</sup>.

Тема эта в диалоге возникла, но развита не была — с ней в большей степени связаны произведения 40-х годов. Но уже при ее возникновении здесь, в диалоге «Об ораторе», обозначились два навсегда связавшихся с ней мотива. Один — исторический. Внутренне многообразное единство философии, культуры, цивилизации, гражданского опыта, права, воплощенное в красноречии как силе одновременно нрав-

ственной, общественно действенной и лишь через все это обретающее эстетическое качество, не могло быть дано римскому обществу изначально и предполагало долгий и сложный путь развития; его надлежало описать и проанализировать, раскрыть, сказали бы мы сегодня, генезис красоты как сущности красноречия. Другой мотив в диалоге «Об ораторе» еще только-только угадывается: красота в изложенном выше смысле предполагает совершенство — «только представив себе предмет в совершенном виде, можно постичь его сущность и природу»<sup>27</sup>; но достижимо ли совершенство, а тем самым и возможно ли вообще в реальной жизни искомое высшее, подлинно прекрасное красноречие? По-видимому, все-таки да, раз «совершенство — дело для человека самое трудное, самое великое, требующее для своего достижения самой большой учености»<sup>28</sup>, а люди «самой большой учености» вокруг Цицерона тем не менее бесспорно были — достаточно назвать того же Теренция Варрона. Однако, весьма возможно, что и нет, раз участники диалога признаются, что так никогда в жизни и не видывали ни одного подлинно прекрасного, совершенного оратора<sup>29</sup>. С новой настойчивостью, куда ни обратиться, возникал все тот же вопрос: что такое Красота, искусством создаваемая и в искусстве воплощенная, что такое, соответственно, совершенное красноречие и совершенный оратор — жизненная реальность или над жизнью возвышающаяся идеальная норма? Или и то, и другое?

Истории красноречия в Риме посвящен диалог 46 года «Брут, или О знаменитых ораторах». Его исходная проблема: как соотносятся *ars* и *virtus* — искусство и гражданская доблесть, совершенство художественное и совершенство нравственное. Ответ на этот вопрос в общем виде дан в § 67–69 и состоит в том, что красноречие рождается там, где продиктованная доблестью, обращенная к народу речь облекается в формы искусства и начинает использовать фигуры, тропы, «отделку». Родина этих художественных форм — в Греции, но к ним самостоятельно шли и в Риме такие люди, как, например, Катон, так что можно говорить и о красноречии, чисто римском по своему происхождению. Но «только что возникшее не может быть совершенным», а появлению подлинного красноречия, то есть красноречия как искусства, предшествовал в Риме длительный период его выработки, когда уже было воздействие словом на граждан, но еще не было «отделки». При беглом чтении создается впечатление, что этот период, деятели которого неизменно вызывают у Цицерона весьма критическое отношение, длился примерно до эпохи Гракхов (130–120-е гг.), когда появились столь прекрасные ораторы, как Красс или Антоний (участники диалога «Об ораторе»), и процесс слияния *virtus* и *ars* пришел к своему завершению. Тут, однако, Цицерон вводит новый критерий ораторского

искусства, которому не удовлетворяют и великие мастера поколения Красса и Антония, так что движение красноречия к совершенству должно вроде бы продолжаться. Этим новым критерием является культура, образованность, «более глубокие познания в философии, гражданском праве и истории»<sup>30</sup>. Из людей, сменивших на форуме Красса и Антония, этому новому критерию никто удовлетворить не в состоянии, и Цицерон продолжает писать уже об ораторах своего и последующего поколения с тем же осуждением, а подчас даже с пренебрежением и насмешкой: «большинство из них умели говорить — и только»<sup>31</sup>. Когда один из участников диалога спрашивает его, где же все-таки этот подлинно совершенный оратор — он «уже появился или еще появится?», Цицерон от ответа уклоняется: «„Не знаю“, — ответил я».

Этот обмен репликами — центр сочинения. Заявленный изначально как сухой справочник по истории красноречия в Риме, диалог на самом деле выстраивается по всем правилам сложной драматургии. Начинается с экспозиции и нарастания действия. Исконно римские добродетели, носящие патриотический, политический, гражданский характер, обогащаются под греческим влиянием искусством и формой, становятся синтезом гражданства и человечности, Рима и Греции — короче, воплощением живой красоты. Вся история римского красноречия есть движение к этому синтезу, в конце концов обретаемому. И тут — кульминация: обретенное красноречие — подлинное, но не совершенное. Для совершенства требуется еще мудрость, прежде всего философская. Этим вторичным синтезом — талант, искусство, гражданская нравственность, философия — если и владеют, то всего лишь три человека: Брут, которому диалог посвящен, Гортензий, хвалебным гимном которому сочинение открывается, и, по-настоящему, один лишь Цицерон; темпераментное, риторически организованное перечисление качеств, делающих его единственным подлинно совершенным римским оратором, содержится почти в конце диалога, в § 322. Почти в конце, но не в самом конце. В оставшиеся десять параграфов вмещается еще один поворот сюжета — решающий, тонально смыкающийся с темой пролога: переход от подлинного красноречия к высшему и совершенному осуществляется в этих трех ораторах не столько потому, что они владеют философской мудростью (о Гортензии, например, в этом отношении ничего значительного не известно), сколько потому, что их творчество и жизнь внутренне сращены с демократией, с исторической субстанцией народа, с общенародным единством языка, то есть с делом республики, той республики, которая в пору написания диалога на глазах растворялась в монархической диктатуре Цезаря и готовилась уступить свое место в истории принципату. В момент, когда ораторское искусство достигает высшего совершенства,

его почва и основа исчезают, а вместе с ними обреченным оказывается и оно само — порождение республики, от нее неотделимое, воплощающее ее дух и смысл. Развитие красноречия в Риме заканчивается тремя монументальными фигурами, которым уже уготовано место и жизнь в истории, — Антоний, Красс, из более молодых — Цезарь. Но совершенство не длится, и трем другим, пошедшим дальше и обретшим *всю* его полноту, нет смысла в живых оставаться — Гортензий уже умер, Цицерон скорбит о республике и о том, что зажился, Брут обречен — Цицерон еще этого не знает, но знают все последующие поколения читателей.

Конец диалога утрачен. Несохранившийся текст, по всему судя, был невелик. Сюжет завершен: история римского красноречия кончается вместе с его исторической основой, и столь трудно обретенное совершенство принадлежит уже не конкретной, эмпирической истории Рима, а ее наследию. Новое время породило мысль о том, что дело искусства — отражать жизнь «как она есть», породило соответствующую этому постулату практику от фламандской живописи и пикарески до реалистического романа XIX века, породило эстетические теории, согласно которым «прекрасное — это жизнь». Эстетическое мировоззрение Цицерона принадлежит к принципиально иному кругу представлений, иной эпохе в истории искусства и иной культуре. Оно принадлежит культуре и искусству, основу которых составляет понятие идеальной нормы, понятие ответственности жизни перед более высоким началом, острое чувство красоты, возникающей на той грани, где действительность и идеальная норма, оставаясь каждая самой собой, в то же время проникают друг в друга, создавая некоторую особую эстетическую реальность. Этот строй мыслей и чувств и, как частный случай, та его модификация, что представлена эстетикой Цицерона, порождены античным миром и им навсегда переданы потомкам.

1990

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Брут..., 23.

<sup>2</sup> Письма к близким, XV, 4, 16.

<sup>3</sup> Оратор, 12.

<sup>4</sup> Об ораторе, III, 81.

<sup>5</sup> Письма к Аттику, IV, 16.

<sup>6</sup> Письма к близким, XV, 4, 16.

<sup>7</sup> О наилучшем виде ораторов, 3.

- <sup>8</sup> Брут..., 35. Ср. Об ораторе, I, 260: «...взяв за образец того, кто бесспорно владел самым могучим красноречием, — афинянина Демосфена».
- <sup>9</sup> Брут..., 36.
- <sup>10</sup> Речи против Верреса. О предметах искусства, II, 4; VII, 127; IX, 132; X, 134; XIII, 94; XIV, 33, 98.
- <sup>11</sup> Об обязанностях, I, 8.
- <sup>12</sup> См.: Быт и история в античности // М., 1988, с. 151 и след.
- <sup>13</sup> Варрон. О сельском хозяйстве, III, 4, 17.
- <sup>14</sup> О наилучшем виде ораторов, 5: «Наука гражданского устройства складывается из отдельных разделов, обширных и многочисленных. Среди них есть один, особенно важный и пространный, — искусное красноречие, которое называют риторикой».
- <sup>15</sup> Брут..., 59.
- <sup>16</sup> Там же, 186.
- <sup>17</sup> Парадоксы стоиков, предисл.
- <sup>18</sup> Брут..., 185.
- <sup>19</sup> К близким, VII, 1.
- <sup>20</sup> Брут..., 258.
- <sup>21</sup> Там же, 261.
- <sup>22</sup> См. об этом в классических работах: Norden E. Die antike Kunstprosa: vom VI. Jahrhundert vor Christi bis in die Zeit der Renaissance, Bd I—II. Leipzig, 1898 (reprint 1958); Wilamowitz-Moellendorf U. von. Asianismus und Attizismus (1900) // Kleine Schriften, Bd III. Berlin, 1969.
- <sup>23</sup> «Давайте же подражать скорее тем, кто отличается нерушимым здоровьем (что свойственно аттикам), нежели тем, кто страдает нездоровой полнотой и кого в таком изобилии поставляет нам Азия» (О наилучшем виде ораторов, 3).
- <sup>24</sup> Оратор, 21.
- <sup>25</sup> Об ораторе, III, 54—55.
- <sup>26</sup> Там же, 96.
- <sup>27</sup> Там же, 85.
- <sup>28</sup> Там же, 84.
- <sup>29</sup> Там же, 54.
- <sup>30</sup> Брут..., 161.
- <sup>31</sup> Там же, 176.



---

## ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ ТИТА ЛИВИЯ И РИМ ЕГО ВРЕМЕНИ

Мировая слава Тита Ливия основана на единственном его сочинении, дошедшем (и то далеко не полностью) до наших дней и известном под условным названием «История Рима от основания Города». Ему предпослан пролог, раскрывающий цели, которые Ливий преследовал, создавая свою эпопею. Такие прологи к сочинениям древних историков в литературоведческих работах принято рассматривать как дань риторической традиции и считать, что они не столько выражают намерения и мысли автора, сколько комбинируют некоторое число общераспространенных устойчивых мотивов. В случае Тита Ливия дело обстоит сложнее. Формулируя в прологе задачи задуманного труда, он писал: «Мне бы хотелось, чтобы каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, какова была жизнь, каковы нравы, каким людям и какому образу действий — дома ли, на войне ли — обязана держава своим зарождением и ростом; пусть он, далее, последует мыслью за тем, как в нравах появился сперва разлад, как потом они зашатались и, наконец, стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах». Сформулированное здесь представление, согласно которому расширение владений и накопление богатств привели римлян к моральной деградации, все это в совокупности вызвало гражданские распри и войны и, наконец, предсмертный кризис республики, действительно может рассматриваться как общее место римской историографии. Оно было известно задолго до Ливия, десятилетием раньше его на подобной «теории упадка нравов» основывал свои сочинения Саллюстий, полустолетием позже Плиний Старший, еще столетие спустя — Тацит. Однако, если перевести рассуждение Ливия, его предшественников и преемников с языка древней риторики на язык научного анализа, перед нами окажется отнюдь не набор риторических фигур, а предельно обобщенное, но вполне объективное описание реального исторического процесса — возникновения и развития кризиса римской гражданской общины во II—I вв. до н. э. Риторический штамп, как обычно, потому и стал штампом, что выражал в специфической форме очевидные каждому римлянину черты исторической действительности, его окружавшей, и Ливий в своем труде стремился — пусть на риторический лад — эту действительность отразить.

Кроме такой задачи, однако, Ливий формулирует в том же прологе и сверхзадачу предпринимасмой эпопеи: «отвлечься от зрелища бедст-

вий, свидетелем которого столько лет было наше поколение» и «увековечить подвиги главенствующего на земле народа». Бедствия и деградация должны предстать «в обрамление величественного целого»; каков бы ни был моральный упадок, и сегодня «военная слава римского народа такова, что, назови он самого Марса своим предком и отцом своего родоначальника, племена людские и это снесут с тем же покровством, с каким сносят власть Рима», и «не было никогда государства, более великого, более благочестивого, более богатого добрыми примерами, куда алчность и роскошь проникли бы так поздно, где так долго и высоко чтили бы бедность и бережливость». Речь поэтому идет не о том — вернее, не только о том, — чтобы отразить реальный процесс — противопоставить былой расцвет нынешнему упадку; речь идет, кроме того, о создании мажорной общей, совокупной характеристики, о том, с чем Рим вправе достойно предстать перед судом истории. Противоречие между задачей и сверхзадачей было очевидно, и если решение задачи требовало освоения *хроники* государственной жизни на протяжении ряда столетий — дело грандиозное само по себе даже при самом выборочном подходе к фактам, то решение сверхзадачи предполагало иной подход, связанный с первым, но ему не тождественный, — создание единого монументального *образа* за римского народа, его государства и его истории, предполагало, помимо хроникального, эпического регистр повествования. Белинский был прав, видя в Ливии «истинного и оригинального Гомера» римлян<sup>1</sup>.

Сосуществование в «Истории Рима от основания Города» двух регистров повествования — хроникального и образного — и ориентация автора на второй из них как на внутренне ему несравненно более близкий и важный ощущается при первом же чтении. Читатель, если он не специалист по древней истории, невольно отвлекается от бесконечных перечней магистратов, от монотонно повторяющихся сообщений об очистительных молебствиях и объявленных войнах, от риторически трафаретных описаний сражений и осад. Но ведь наряду с ними книга изобилует и такими страницами, которые навсегда вошли в культуру Европы и которые и сегодня берут за душу: крупные, резко очерченные фигуры — первый консул Брут, Камилл, Сципион Старший, Фабий Максим; исполненные глубокого драматизма сцены — самоубийство Лукреции, разгром и позор римлян в Кавдинском ущелье, казнь консулом Манлием своего нарушившего воинскую дисциплину сына; надолго запоминающиеся речи — трибуна Канулея к народу, консулария Фламинина к эллинам, полководца Сципиона к легионам.

Ощущение такой как бы двусоставности повествования имеет объективные основания. Труд Тита Ливия возник на скресте двух историографических традиций — понтификального летоисчисления и младшей

анналистики, и каждый из отмеченных тонально-стилистических регистров восходит к одной из этих традиций. Жрецы-понтифики вели в Риме с незапамятных времен особые календари, в которые кратко записывались основные события, происшедшие в тот или иной день, или тексты государственных документов, в этот день обнародованных. Постепенно эти календарные записи образовали своеобразную хронику официальной — государственной и религиозной жизни города, так называемую Великую летопись, которая была опубликована целиком в 80 книгах в 123 г. до н. э. понтификом Мудием Сцеволой. До наших дней Великая летопись не сохранилась, но многие древние писатели оставили о ней более или менее подробные отзывы, дающие возможность судить о ее содержании и стиле. Главным в ней были списки должностных лиц и хроника памятных событий<sup>2</sup>; особое внимание уделялось природным явлениям как с точки зрения их влияния на урожай, так и исходя из их способности вещать волю богов<sup>3</sup>. Свои записи понтифики вели строго хронологически и только называли события, не описывая их<sup>4</sup>; стиль их был предельно деловым и жестким, без всяких литературных украшений: «Летописи великих понтификов, — писал Цицерон, — самые сухие книги из всех, какие могут быть»<sup>5</sup>.

Хроникальный регистр Ливиева рассказа ориентирован на канон Великой летописи. Этого не скрывал сам историк<sup>6</sup>, к тому же выводу привели многочисленные ученые разыскания Нового времени<sup>7</sup>.

В большинстве сохранившихся книг «Истории Рима от основания Города» описание событий каждого года заканчивается выборами магистратов и ритуальными процедурами жрецов, каждого следующего — открывается сообщением о вступлении магистратов в должность и распределении провинций, о призыве в армию, об очистительных обрядах, приеме посольств. По завершении этих дел в столице консулы отправляются в предназначенные им провинции, и повествование обращается к обстоятельствам и событиям вне Рима; в исходе года кратко характеризуется следующий цикл официальных мероприятий. Хорошим образцом подобной хроники могут служить, например, главы восьмая и девятая XXXII книги.

Но хроника жизни города сама по себе не складывалась в эпический образ «главенствующего на земле народа». Необходимое для его создания «обрамление величественного целого» не обнаруживалось в простой совокупности дел и дней — оно располагалось где-то глубже низменной эмпирии и требовало другого типа повествования. Он также был подготовлен — на этот раз некоторыми предшественниками Ливия, создавшими в Риме историографическую традицию, которая сосуществовала с летописной и постепенно вытесняла ее. Традиция эта получила в истории литературы название «анналистики». К ней от-

носились авторы исторических сочинений, сохранившихся лишь в отрывках, но известных нам, кроме того, по позднейшим многочисленным цитатам, отзывам и упоминаниям. Ливий широко использовал эти сочинения и во многом из них компилировал «Историю Рима от основания Города». Семь раз, например, ссылается он на протяжении первой декады на «Анналы» Лициния Макра, который жил в первой половине I в. до н. э. и в своем сочинении, состоявшем не менее чем из 17 книг, рассказывал о событиях римской истории от Ромула до своего времени. Еще более интенсивно использовал Ливий другого анналиста — Валерия Анциата при описании Второй Пунической войны: в посвященной ей третьей декаде содержится 35 ссылок на этого автора, жившего примерно тогда же, когда Макр, оставившего огромное сочинение, самое малое в 75 книгах, также называвшееся, скорее всего, «Анналы» и охватывавшее римскую историю от ее легендарных начал до 90 г. до н. э. Есть у Ливия ссылки и на других анналистов — Целия Антипатра (род. ок. 170 г. до н. э.), Клавдия Квадригария, «процветавшего» в 80-е и 70-е гг.), на своего старшего современника Квинта Элия Туберона. Ливий заимствовал у этих авторов много фактического материала, а сплошь да рядом и его освещение, но нам сейчас важнее другое: анналисты представляли определенный этап в развитии историографии, на котором складывалось новое, при всех внутренних противоречиях относительно целостное понимание характера и смысла исторического сочинения, и, как бы Ливий ни относился к тому или иному из них, работая над их «анналами», он проникался этим новым пониманием, ибо оно полнее соответствовало главной задаче, им перед собой поставленной.

Понимание это ясно выражено в сохранившемся отрывке из пролога к сочинению младшего анналиста Семпрония Азеллиона: «Основное различие между теми, кто предпочел оставить нам летопись, и теми, кто пытался описать деяния римлян, состоит в следующем: в летописи указывается лишь, что произошло в течение каждого года, так что автор ее пишет как бы дневник или то, что греки называют „эфмериды“. Мне же кажется, что просто сообщать о случившемся недостаточно — надо показать, каким образом оно произошло и какие намерения за этим стояли... Летопись не может побудить людей мужественных и энергичных к защите отечества, а более слабых — толкнуть на какой-то поступок, пусть даже опрометчивый. Писать же, при каком консуле началась война, а при каком кончилась, кто по окончании ее вступил в город триумфатором и что именно на войне содеяно, не упоминая ни о постановлениях, принятых тем временем сенатом, ни о внесенных законопроектах, ни о замыслах, которыми при всем этом руководствовались, — значит развлекать мальчишек занимательными побасенками, а не писать историю»<sup>8</sup>.

Программа, здесь изложенная, сводится, как видим, к нескольким пунктам. Главное в историческом сочинении — не перечисление фактов, дат и лиц, а обнаружение смысла событий и замыслов тех людей, которые их вызвали. Этот смысл и эти замыслы обнаруживаются в деятельности государства, рассмотренной как целое, а не только в связи с походами и завоеваниями. Значение возникающей таким образом картины и тем самым исторического труда в целом — не столько информативное и прикладное, сколько патриотическое и нравственное. Подобная цель не может быть достигнута посредством летописания и требует исторического повествования иного типа; важная характеристика последнего должна, по-видимому, состоять в преодолении сухости погодных записей понтификальной летописи и создании ярких, живых и волнующих литературных описаний — без них нельзя было ни представить, «каким образом оно произошло», ни «побудить людей мужественных и энергичных к защите отечества».

Большинство анналистов не во всем сумели выполнить намеченную здесь программу, особенно в том, что касалось стиля. Одни, как Валерий Анциат, в погоне за эффектом вводили явно выдуманные детали: бессовестно преувеличивали число убитых врагов и преуменьшали потери римлян; другие, как Целий Антипатр, отличались «грубой силой и необработанным языком»<sup>9</sup>; Лициний Макр «при всей своей многоречивости обладал некоторым остроумием, но черпал его не в изысканных сочинениях греков, а в книжицах латинских авторов»<sup>10</sup>. Ливий видел все эти недостатки и даже о своем излюбленном Анциате писал порой с раздражением и насмешкой, но видел он и нечто другое: как тщательно они выбирали, казалось бы, неприметные эпизоды, способные представить душевное величие римлян<sup>11</sup>, как разворачивали в небольшие яркие сценки ходившие в народе рассказы о суровых нравах, царивших в древних римских семьях<sup>12</sup>. Эти-то импульсы, шедшие из традиции анналистики, и обусловили второй регистр в повествовании Ливия — тот, который мы выше назвали образным. Наиболее явственно он реализуется в «Истории Рима от основания Города» в двух формах — в описании моментов народного подъема и в речах.

Сцен единения народа в моменты патриотического подъема или религиозного одушевления, его сплочения перед лицом опасности, нависшей над государством, в сочинении Ливия бесконечное множество. Социальные или политические конфликты отступают в такие моменты на задний план и оказываются преодоленными, «снятыми». Такова, например, сцена освобождения заключенных из долговых тюрем при приближении к Риму армии вольсков в 395 г. (II, 24) и их сплочение в единый отряд, отличавшийся особой доблестью. Таково описание магистратских мероприятий после победоносного завершения Второй

Пунической войны в 201 г., когда ветеранам были розданы земельные участки, устроены Римские театральные игры и трехдневные Плебейские игры, а «эдилы роздали народу, по четыре асса за меру, огромное количество зерна, доставленного из Африки Публием Сципионом, заслужив честной и справедливой раздачей всеобщую благодарность... а в связи с Плебейскими играми был устроен также пир во славу Юпитера» (XXXI, 4). Особенно выразительна картина избрания Корнелия Сципиона в курульные эдилы в 214 г. (XXV, 2), да и многие другие.

Той же цели служат речи, которые Ливий вкладывает в уста персонажей. В сохранившихся 35 книгах их содержится 407, во всех 142 книгах их должно было быть, следовательно, около 1650, и занимали они самое малое около 12% текста. Речи образуют непосредственно ощутимый, важный элемент повествования не только по месту, которое они в нем занимают, но прежде всего по своему значению, порождая то впечатление возвышенной, обобщенно идеализированной исторической реальности, которое Ливий стремился создать, которое «История Рима от основания Города» оставляла у всех читателей в былые времена и оставляет поныне. Чтобы пережить это восприятие и это впечатление, достаточно перечитать, например, речь Фурия Камилла к народу о недопустимости переноса столицы в Вейи (V, 51–54) или речь Фабия Максима против плана Сципиона открыть военные действия в Африке (XXVIII, 40–42).

Речи в исторических сочинениях древних авторов не воспроизводили подлинный текст речей реально произнесенных. Это явствует совершенно бесспорно из признаний самих античных писателей<sup>13</sup>; из сопоставления (там, где сохранилась такая возможность) текста речи, приводимого историком, с эпиграфическим памятником<sup>14</sup>; из физической невозможности произнести в обстоятельствах, в которых подчас находятся персонажи, те длинные и сложные монологи, что приписывает им автор<sup>15</sup>. Речи, таким образом, относятся к художественно-образной сфере творчества древнего историка. Из этого бесспорного положения постоянно делается и делается вывод, казавшийся абсолютно естественным: представляя собой «свободную композицию самого историка»<sup>16</sup>, речи должны рассматриваться не как исторический материал, а как своего рода риторическое упражнение, к исторической истине отношения не имеющее: «Все речи в „Истории“ Ливия вымышлены. Действительных речей он в свое повествование не вводил, восполняя собственным воображением недостаток документального материала»<sup>17</sup>.

Рассмотрение речей в римских исторических сочинениях вообще и в «Истории Рима от основания Города» в частности в более широком контексте не подтверждает столь прямолинейной их оценки. Противопоставление «вымышленных» речей «действительным» и «воображения» «доку-

ментальному материалу» основано на критериях академической науки Нового времени, к античности неприменимых. Государственные деятели в Риме сами записывали свои речи, которые затем широко распространялись в обществе<sup>18</sup>; так обстояло дело и во времена Ливия<sup>19</sup>, и в некоторые более ранние периоды, им описанные<sup>20</sup>. Поэтому никак нельзя допустить, чтобы историк приписывал своим персонажам речи, выражавшие лишь его, историка, воззрения и трактовавшие события по-иному, нежели в оригинальном тексте, бывшем у всех на руках. Не случайно, описывая заговор Катилины, Саллюстий не передает ни одной из речей Цицерона, сыгравших в этом историческом эпизоде первостепенную роль: взгляды консула он не разделял, а облечь в форму его «вымышленной» речи свои «личные мнения и соображения», по-видимому, даже не приходило ему в голову. В тех случаях, когда речь исторического персонажа дошла до нас и в изображении историка, и в эпиграфическом тексте, сравнение обоих вариантов помогает более полно выяснить принципы построения речей в сочинениях римских авторов. Классический случай такого рода — речь императора Клавдия о допущении галлов в сенат (см. примеч. 14). Текст ее, приведенный в «Анналах» Тацита, принадлежит, разумеется, самому Тациту, но отличается он от оригинала лишь в двух отношениях: развиты положения исходного материала, Тациту наиболее близкие, и переработан стиль источника в соответствии с литературно-эстетическими установками писателя для придания речи яркости, силы, ораторской убедительности; общая мысль, основная аргументация и (насколько можно судить по сильно поврежденному эпиграфическому тексту) построение сохранены. Переработка историком длинных речей никоим образом не была созданием «фикции» на месте «действительной речи». Дело было в чем-то совсем ином. Все создаваемое человеком становилось для античного сознания действительным, лишь обретя эстетическую форму. Это убеждение пронизывает все создания античной культуры от коринфских ваз до учения об энтелехии, и Ливий в соответствии с ним же писал речи своих персонажей. Он воссоздавал подлинные голоса прошлого, но в том единственном виде, который в глазах римлян придавал смысл самому акту сохранения, — в совершенной художественной форме<sup>21</sup>, ибо только благодаря ей образ человека или события становился «долговечнее меди»<sup>22</sup>. На то, что Ливий именно так рассматривал воссоздаваемые им речи своих персонажей, указывает хотя бы сравнение созданных им переложений с другими историками. Так, в 188 г. народный трибун Петиллий предъявил братьям Сципионам обвинение в том, что они якобы присвоили 500 талантов серебра, полученных в виде контрибуции от царя Антиоха после победы над ним римлян. Командующим в этом походе числился Луций Сципион, но цель обвинения состояла в том, чтобы скомпрометировать не столько этого весьма заурядного сенатора,

сколько его знаменитого брата Публия, победителя Ганнибала. Поэтому и с ответом на обвинение трибуна выступил в народном собрании не Луций, а Публий. По воле случая собрание пришлось на годовщину битвы при Заме, в которой римляне под командованием Публия Сципиона нанесли Ганнибалу решающее поражение. Текст речи известен по позднему изложению<sup>23</sup>, восходящему, однако, как можно по ряду данных предположить, к источнику, близкому к событиям<sup>24</sup>, и выглядит следующим образом: «Я припоминаю, квинтиты, что сегодня — тот день, в который я в крупном сражении победил на африканской земле пунийца Ганнибала, заклятого противника вашей власти, и тем даровал вам победу. Не будем же неблагодарны к богам; оставим, по-моему, этого мошенника (т. е. обвинителя — трибуна Петиллия. — Г. К.) здесь одного и пойдем скорее возблагодарить Юпитера Сильнейшего и Величайшего».

А теперь посмотрим, во что превращает этот текст Тит Ливий. «Когда вызвали обвиняемого, он прошел, сопровождаемый многочисленными друзьями и клиентами, через собравшуюся толпу, поднялся на ростры и в воцарившейся тишине заговорил так: „Ныне, народные трибуны, и вы, квинтиты, — тот самый день, в который я, сойдясь в Африке в открытом бою с Ганнибалом и карфагенянами, сражался с ними честно, умело и счастливо. Поэтому, полагаю, будет лишь справедливо, если на сегодня вы отложите разборы тяжб и обид, а я прямо отсюда, не мешкая, отправлюсь на Капитолий, дабы поклониться Юпитеру Сильнейшему и Величайшему, Юноне, Минерве, остальным богам, хранящим Капитолийский храм и крепость, и возблагодарю их за то, что они даровали мне силу ума и присутствие духа, давшие мне возможность руководить со славой делами государства и в тот день, и в столь многие другие. Если кто сейчас не слишком занят, квинтиты, идите со мной и молитесь богам ниспосылать вам и впредь вождей, которых вы могли бы на протяжении всей их жизни осыпать, как меня от семнадцати лет до старости, почестями, не дожидаясь даже, пока такой руководитель достигнет возраста, им соответствующего<sup>25</sup>, мне же пусть боги позволяют опережать такие почести делами, их достойными“. С ростр Сципион поднялся на Капитолий, и вся толпа тотчас обратилась за ним, так что под конец даже писцы и рассыльные бросили трибунов, и с ними не осталось никого, кроме сопровождающих рабов да глашатая, что продолжал с ростр тщетно вызывать обвиняемого» (XXXVIII, 51, 6–12).

Как видим, главная цель Ливия действительно состояла в том, чтобы создать монументальный, рассчитанный на века образ Римского государства в его историческом развитии. Но для понимания и оценки так ориентированного исторического сочинения важно определить, каково происхождение и каков смысл самой этой идеи — представить историю Рима



в виде образа его народа и государства. Если подобная установка отражает субъективные вкусы автора и особенности его художественного дарования, она принадлежит целиком литературно-стилистической сфере, и познание истории как таковой, фактическая точность и полнота материала принесены ей в жертву; если же установка на создание обобщенного художественного образа народа и государства обусловлена объективным характером эпохи, сформировавшей Ливия и его эпопею, обусловлена историческим опытом, пережитым им биографически, т. е. вызвана к жизни самой историей Рима, значит, образная структура книги представляет собой порождение и отражение этой истории, а следовательно, особую форму ее познания.

Тит Ливий появился на свет в 59 г. в городе Патавии (ныне Падуа) на севере Италии в семье зажиточных местных граждан. Год его рождения был ознаменован несколькими событиями, в которых обнаруживалась магистральная тенденция римской политической жизни этой эпохи. Консулом на этот год стал патриций Гай Юлий Цезарь, до того связанный с заговором Катилины — крупнейшим выступлением разнородных общественных сил, объединившихся в борьбе с сенатской республикой, ее порядками и ее системой ценностей. Заговор был сорван, руководители казнены или убиты в сражении, но не было никаких сомнений, что Цезарь будет искать более гибкие и эффективные пути, чтобы продолжить их дело. В этом убеждали те методы, которыми он добился консульства, и те люди, на которых он опирался. Победу на выборах ему обеспечил союз, который он заключил с двумя влиятельными политическими деятелями Рима — полководцем Помпеем и архимиллионером Крассом, — союз, вошедший в историю под наименованием первого триумвирата. За Помпеем стояла армия и, в частности, его ветераны, демобилизованные после восточных походов в 62 г. и теперь требовавшие награждения их земельными участками, которые сенат явно старался им не дать, тем более что свободной земли в Риме давным-давно не было. За Крассом, сказочно разбогатевшим во время гражданской войны 83—82 гг. за счет сулланских проскрипций и конфискаций и перепродажи конфискованного имущества, стояли деньги и те, в чьих руках они концентрировались, — откупщики и богачи, составлявшие в Риме особое сословие всадников. Выборы принесли победу Цезарю: Красс подкупил все и всех, а ветераны Помпея явились в народное собрание со спрятанными под одеждой кинжалами. И сам союз трех частных лиц с целью навязать государству выгодные им решения, и методы, которыми они пользовались, были бесспорно, явно и как бы даже демонстративно антиконституционными, направленными на разрушение существовавшего в Риме республиканского строя.

Каждое дело требует соответствующих ему людей. Делу триумвиров соответствовал особенно полно молодой аристократ Публий Клавдий Пульхр. В Риме его знали все и каждый после того, как в декабре 62 г. он, переодевшись женщиной, проник в дом, где римские матроны совершали обряды в честь Доброй Богини — то был чисто женский праздник, и появление на нем мужчины было величайшим оскорблением римских святынь; от судебного приговора Пульхр сумел отвертеться, подкупив одних членов суда и договорившись с другими. История с праздником Доброй Богини не была ни первой, ни единственной. За несколько лет до того Пульхр участвовал в восточном походе и входил в штаб командующего, своего шурина Лициния Лукулла, изменил ему, поднял солдатский мятеж, бежал, пытался взбунтовать население греческого города Антиохии, объявился в Цизальпинской провинции на севере Италии, где прославился вымогательствами; в довершение всего в городе косо поглядывали на противоестественную близость его с сестрой, которую оба всячески афишировали. Вот такого-то человека триумвиры решили сделать опорой своей власти в Риме, проведя его на 58 год в народные трибуны, т. е. на должность, дававшую лицу, которое ее занимало, большое влияние на низшие слои римского населения. Трибуном по закону и по смыслу этой должности не мог быть патриций, Пульхр с помощью того же Цезаря добился перехода в плебеи, стал произносить свое древнее аристократическое имя Клавдий на простонародный лад — Клодий и был избран трибуном. В качестве трибуна он превратил уличные сообщества беднейших граждан в своего рода штурмовые отряды, терроризовавшие его противников, дезорганизовавшие общественную жизнь и не оставлявшие камня на камне от некогда величественного здания римской *Res publica*, если понимать под ней, как понимали римляне, не только государственный строй, но прежде всего уклад жизни, тип отношений, систему нравственных норм. Несколькими годами позже он был убит в случайной дорожной драке рабами своего врага Анния Милона — человека противоположной, сенатской, партии, но во всем остальном мало чем отличавшегося от Клодия: распад республиканской общественной морали шел стремительно и захватывал самые разные политические силы.

Жизнь римлянина перед тем, как он достигал человеческой и гражданской зрелости, делилась на несколько семилетних циклов. На протяжении первого он считался *infans*, т. е. 'лишенным дара слова', и постоянно находился дома под присмотром матери, с 7 до 14 лет назывался *puer* — 'мальчик', приобретал трудовые навыки, закалялся физически, обучался в школе или дома; на пятнадцатом году он снимал медальон-ладанку, признак детства, надевал тогу взрослого человека и начинал именоваться непереводаемым словом *iuvenis*, смысл ко-

тогого состоял в том, что человек уже принимает участие в гражданской жизни, но еще в качестве ученика, наблюдателя, спутника и помощника кого-либо из государственных деятелей, стоит на пороге самостоятельного участия в жизни общины, но порога этого еще не переступил; по завершении третьего цикла чаще всего женились и (или) уходили в армию. Наконец, с 21 до 28 лет мужчина рассматривался как *adulescens* — 'набирающий полную силу', уже могущий занимать младшие магистратуры, хотя и не обладающий еще подлинным общественным весом и влиянием. В биографии Ливия эти периоды удивительно точно совпадают с определенными фазами исторического кризиса Римской республики, а переход от одного семилетнего цикла к другому — с решающими переломами в этом процессе. Жизнь историка Рима складывалась на фоне римской истории и в ее ритме.

По завершении консульства Цезарь получил в управление земли от реки По до Роны и использовал эту территорию как плацдарм для длившихся семь лет ежегодных походов против кельтских племен. Отношения командующего с армией в Древнем Риме строились на совершенно иной основе, чем в позднейшие эпохи, а тем более чем в наши дни. Командующий распоряжался добычей, и если он обеспечивал солдатам возможность обогатиться, а они ему — возможность победоносно завершить кампанию и справить триумф, то между ними устанавливались отношения взаимной выручки и крутовой поруки. Они не прекращались и после завершения кампании и демобилизации — командующий стремился обеспечить легионеров землей, они голосовали за него при выборах магистратов. Цезарь, талантливый, стремительный, неутомимый, поразительно умевший придавать своему аристократизму староримские простонародные черты, полно и точно реализовал те возможности, которые ему предоставляли традиции римского воинства. После семи лет походов он оказался полновластным хозяином бесконечно преданной ему огромной армии, и когда сенат отказался выполнить продиктованные им требования, Цезарь перешел пограничную речку Рубикон и ввел свои войска в Италию. Они миновали тихий патриархальный Патавий, и, когда Ливий из «лишенного дара слова» дитяти становился «мальчиком», в Риме вспыхнула гражданская война. Она завершилась через два года победой Цезаря над вожаками сената под командованием его бывшего союзника Гнея Помпея и установлением цезарианской диктатуры, которая во многих отношениях знаменовала разрыв с традициями римской республиканской государственности. Республика умирала с трудом и сопротивлялась долго. Ее сторонники составили заговор против диктатора, и вскоре после того, как в Патавии в родительском доме Ливий «ладанку снял золотую с ребяческой шеи. И пред богами своей матери тогу надел»<sup>26</sup>, города до-

стигла весть о том, что Цезарь убит заговорщиками. Шел март 44 г. В Риме начинался новый тур гражданских войн.

Они длились много лет, вожди борющихся партий сменяли друг друга, каждый из них знал успехи и поражения, но сквозь многообразие событий неуклонно и год от года яснее прорисовывалась все та же магистральная тенденция — внутреннее истощение республики как государственно-административной системы и связанного с ней уклада политической жизни. Консулом во время убийства Цезаря был Марк Антоний, объявивший себя продолжателем его дела. Но если Цезарь в общем избегал окончательно порывать с республиканскими порядками и как-то ладил с сенатом, то Антоний сразу же вступил с ним в открытое столкновение. В битве с войском Антония у североиталийского города Мутины в 43 г. сенатская армия под командованием внучатного племянника Цезаря и его официального наследника Октавиана добила, если не победы, то успеха, но заплатила за это цену в глазах римлян страшную: в бою погибли оба консула — оба верховных магистрата, не только обеспечивавших руководство государством, но и воплощавших его связь с богами, сакральную санкцию величия Рима, и погибли, убитые собственными согражданами! Крушение единства и сплоченности римской гражданской общины — основы ее бытия и залога всех ее успехов на протяжении долгих веков, воплощалось в формы символические и непреложные.

На протяжении всех 30-х годов еще шли гражданские войны, но когда Октавиан в 31 г. сумел победить Антония в морском сражении у мыса Акций на северо-западе Греции и остался, таким образом, единственным хозяином армии, а следовательно, Италии и всех владений Рима, он, наконец, как писал древний историк, «под именем принцепса принял под свою руку истомленное гражданскими раздорами государство»<sup>27</sup>. Принцепсом, т. е. «первоприсутствующим», он назывался потому, что руководил заседаниями и всей деятельностью сената, вследствие чего и установившийся отныне строй получил название принципата.

Ни у современников и участников событий, ни у римских историков, которые по свежим следам и прямым свидетельствам эти события оценивали, не было иллюзий относительно смысла происшедшего; они ясно понимали, что смысл этот сводился к исчезновению политической системы республики и к монархическому содержанию принципата. Уже Цезарь говорил, что «республика — ничто, пустое имя без тела и облика»<sup>28</sup>, и издевательски спрашивал магистратов, «не вернуть ли им республику»<sup>29</sup>, а не такой уж отдаленный преемник Августа, император Гальба, выражал желание заново создать республику, если бы характер сложившегося после Августа Римского государства это позволил<sup>30</sup>. Альтернативой республике была монархия. Цезарь, «консулов изгнавши, стал царем в конце концов», написал кто-то на постаменте

статуи диктатора<sup>31</sup>, а историк III в. н. э. Дион Кассий, подводя итоги всей эпохи принципата и оценивая ее историческое значение, не сомневался в том, что принципат с самого начала был монархией: «Вся власть народа и сената перешла к Августу, а потом образовалось в полном смысле слова единовластие»<sup>32</sup>.

Подчиняясь все тому же ритму римской биографии, примерно через семь лет после принятия мужской тоги Тит Ливий круто изменил ход своей жизни и около 38 г., оставив родной Патавий, переехал в Рим. Превращение республиканского политического устройства в «пустое имя без тела и облика», а принципата — во «в полном смысле слова единовластие» протекало на его глазах. Август расположил в Риме так называемые преторианские когорты. При Республике появление вооруженной армии в священных пределах города рассматривалось как святотатство и было категорически запрещено — теперь солдаты-преторианцы жили в домах граждан, несли вооруженный караул во дворце и бдительно следили за «врагами государства», реальными или подозреваемыми. Республика была политической формой гражданской общины города Рима, и, соответственно, у нее не было никакого аппарата для управления покоренными землями. Август создал этот аппарат в основном из собственных отпущенников, называвшихся в этом положении прокураторами, т. е. стал управлять империей как своим домашним хозяйством. Еще Цезарь в 49 г. на основании специально проведенного им закона причислил к сословию патрициев некоторые сенатские семьи — шаг этот не имел прецедентов во времена Республики: «Цезарь как бы восстановил для себя право, принадлежавшее по традиции римским царям»<sup>33</sup>; позже им снова воспользовался правнук Августа принцепс Клавдий<sup>34</sup>. Клавдий мог рассматриваться как правнук Августа потому, что тот усыновил сыновей своей жены Ливии от первого брака — Тиберия и Друза (последний и был родным дедом Клавдия). Усыновление это не осталось частным гражданским актом. Август и его семья приняли все меры, чтобы оно стало основанием для передачи после смерти императора всей полноты власти его потомкам — для утверждения, другими словами, немыслимого в республиканскую эпоху чисто монархического принципа передачи власти по наследству. Цезарь, а вслед за ним Август ввели в состав своей титулатуры слово «император», сделали его как бы неотъемлемой своей характеристикой и придали ему смысл постоянной и в то же время чрезвычайной военной власти, подобной, по разъяснению Диона Кассия, власти царя или диктатора<sup>35</sup>.

Такова была история, протекавшая на глазах Ливия и глубоко вошедшая в его общественно-политический опыт. Как же могла она сочетаться с той задачей, которую он перед собой поставил, — создать исторически единый образ «главенствующего на земле народа» и его *res publi-*

са — если и эта история, и этот опыт говорили лишь об одном — об исчерпании общественно-политического потенциала республики в реальной жизни государства, об очевидном кризисе и распаде ее организационно-административных структур, о непреложном утверждении принципиально новых, ранее ей неизвестных форм власти?

История, пережитая Ливием и всем Римом в его эпоху, могла выдвинуть такую задачу и могла обусловить ее решение потому, что события, описанные выше, составляли лишь одну ее сторону, рядом с которой существовала другая, от первой неотделимая, не менее важная и — что особенно надо подчеркнуть — не менее реальная. Революционные сломы в событийной истории осуществлялись на протяжении всей эпохи на фоне стойкой — идеологической и лишь потому организационной — преемственности по отношению к республиканским институтам и упорного консерватизма в общественном сознании, в сфере повседневных отношений подавляющей массы граждан, — преемственности столь стойкой и консерватизма сознания столь упорного, массы граждан столь подавляющей, что ни одно, самое радикальное новшество, ни одна реформа не могли с ними не считаться и ими не окрашиваться. Реформы и новшества, осуществлявшиеся или намечавшиеся вопреки им, вроде планов Цезаря и Антония перенести столицу империи на Восток или поползновений Клодия организовать римский плебс на борьбу с республикой, в конечном счете неизменно проваливались. В общественно-исторический опыт Тита Ливия не менее весомо и убедительно входило и это неизбежное сохранение республики в сознании, укладе жизни и обычаях широких масс Рима.

Античный мир принадлежал вполне определенной, ранней и довольно примитивной стадии общественного развития. Прибавочного продукта, создаваемого трудом земледельцев, ремесленников, рабов, хватало на содержание весьма ограниченного правящего слоя, простейших государственных институтов, очень небольшой по нынешним масштабам армии. Излишки только в самой незначительной мере возвращались в производство, исключали его саморазвитие за счет растущего использования техники и науки, не порождали подлинного исторического динамизма. Эти излишки можно было только потребить — проесть, пропить, «пропраздновать» или «простроить». Ограниченность производства была задана объективно, самой исторической стадией, в которую входили античные общества, и потому примитивный их уклад воспринимался как соответствующий единственно естественному устройству мира, священным нормам бытия. И потому же разрушавшее их развитие общественных сил, несшее с собой деньги, усложнение жизни, возможность существовать пусть скудно, но бездельно, за счет общественного богатства, своекорыстие и интриги, развлечения и распад строгости нравов, воспринима-

лось как поругание этих священных норм, как крушение и зло. Гражданская община Рима, как и все другие античные городские республики, была полностью включена в эту систему и несла ее противоречия в себе. В той мере, в какой она жила, трудилась, вела успешные войны — короче, развивалась, она не могла не разрушать узкие архаические рамки общинной организации, не выходить за собственные пределы, не перестраивать управление покоренными территориями, дабы обеспечивать рост и их производительных сил. Поэтому ей неизбежно была задана ломка изначальных форм общественной организации, главной среди них — самоуправляющейся городской республики, и кризис ее — на тех конкретных путях, которые были бегло представлены выше или в других возможных здесь вариантах, — отражал реальное, неукротимое движение истории. Но столь же императивно, как развитие, как выход за свои пределы и разрушение старинных норм общественной жизни, были заданы Риму консервативная идеализация этих норм, потребность сохранить традиционные порядки гражданской общины, уклад и атмосферу, им соответствующие, ибо за ними стояли сама историческая основа античного мира, тип его хозяйственного бытия, нравственный строй существования. «Когда уничтожается, разрушается, перестает существовать гражданская община, — писал Цицерон, — то это <...> как бы напоминает нам уничтожение и гибель мироздания»<sup>36</sup>. Ливий был свидетелем не только практического изживания республики, но и на этом фоне ее особого, своеобразного выживания. Люди, готовившие монархический переворот, деятели нового режима и сами принцепсы постоянно оглядываются на тот уклад жизни и систему норм, которые они же подрывают, стараются, чтобы их деяния читались не столько в новой, практически создаваемой ими реальной шкале оценок, сколько в старой — духовной, следовательно, иллюзорной, к тому же уничтожаемой и должной, казалось бы, утратить всякий смысл, не интересоваться никого.

Первым очерком принципата был режим Суллы в 82–78 гг. Стремясь создать аристократическую диктатуру, от покусился на одно из древнейших установлений, лежавших в основе всего республиканского строя, — на народный трибунат; через несколько лет после смерти Суллы институт этот был восстановлен. Закон о восстановлении народного трибуната провел в 70 г. Гней Помпей. Он был следующим после Суллы наиболее вероятным кандидатом в единоличные правители государства — талантливый полководец, кумир толпы, прошедший 20 лет в лагерях и походах и располагавший в результате армией, столь же сильной и преданной, как та, что несколькими годами позже привела к власти Цезаря. Но в Испании при разгроме армии отложившегося от Рима наместника Сертория он вел себя в строгом соответствии со старинной *virtus*<sup>37</sup>, аффектированно законопослушно выполнял обязанности гражданина<sup>38</sup> и в декаб-

ре 62 г., высадившись в Брундизии с огромной армией, распустил солдат по домам, в решающий момент сохранив верность республике и сознательно свернув с пути, который вел его прямо к личной власти.

Этот двуединый уклад жизни, несший в себе одновременно и разрушение республики-общины, и сохранение ее, получал завершение и высшую санкцию в новом строе, который Август создавал на глазах Ливия и в известном смысле при его участии. О том, что этот строй возник на развалинах республики и был немислим в ее рамках, мы уже знаем — надо понять, что он был немислим и вне этих рамок. Принципат основывался в равной мере на военной силе и на инерции республиканского мироотношения, на реальности политической и реальности социально-психологической. Власть Августа носила личный характер, но была правильной, законосообразной, потому что принадлежала ему как республиканскому магистрату: он располагал военной силой как проконсул, преторианской гвардией, потому что то была охрана (лишь существенно увеличившаяся в числе), испокон веку полагававшаяся полководцу, руководил деятельностью государства, в том числе и сакральной, как консул, т. е. носитель самой традиционной магистратуры республики, сенатом — как первоприсутствующий, т. е. первый в списке сенаторов, мог отменять решения сената как народный трибун. Последние две «должности» особенно существенны. Первоприсутствие в сенате не было магистратурой, то была дань уважения и признание авторитета, означавшего неписаное и неформализованное право на власть, присущее человеку в силу покровительства богов, заслуг перед общиной и признания сограждан — представление, которое проистекало из самых архаических глубин народного сознания. К тем же глубинам восходила и неограниченная власть отца семейства над его членами: присвоенное Августу в конце жизни звание Отец Отечества означало, что он, подобно отцу семейства, может распоряжаться жизнью, смертью и имуществом каждого гражданина, но может не только как монарх, а и потому, что такого рода власть искони лежала в основе семейного уклада римлян, правовых норм, его оформлявших и в народе никогда сомнений не вызывавших.

Трибунская власть предполагала, помимо права накладывать вето на сенатские решения, право защиты любого гражданина от приговора, вынесенного магистратом, и сакральную неприкосновенность личности трибуна. В условиях нового строя ни одно из этих прав не имело реального значения, ибо принцепс пользовался каждым из них де-факто или на основе других магистратских полномочий. Тем не менее Август, неоднократно отказывавшийся от консульства, с чисто декоративной трибунской властью, казалось бы, не расставался никогда. Объяснение может быть только одно: введенный на заре Республики, народный трибуна́т символизировал сопряжение в рамках государства и в служении ему всех со-



словий, в него входящих; он не только делал народ равноправным с патрициями компонентом республики, но и объявлял их союз священным. Без него государство утрачивало симметрию, а народ — правозащиту. В эмпирической реальности симметрия эта давным-давно (а может быть, и никогда) не существовала, ибо большинство народа было оттеснено от управления государством, правозащита же осуществлялась другими путями. Но историческая, общественная реальность, по-видимому, не исчерпывалась своей эмпирией, потребность народа ощущать себя защищенным от произвола патрициев и сенаторов, почти не находя себе удовлетворения в практической жизни, оставалась тем не менее таким мощным регулятором общественного поведения, а отношение к трибунату — таким оселком, на котором проверялась верность правительства традиционным интересам народа, что Август, при всех своих магистратурах и всех своих легионах, не мог себе позволить хотя бы на год остаться без этой опоры.

Описанные представления коренились в традициях гражданской общины города Рима. Если Август как создатель строя, в основе и, главное, в перспективе монархического, был заинтересован в освобождении своей власти от всех этих традиционных республиканских пут, он должен был стремиться сделать главной опорой режима не Рим, а провинции, особенно греко-восточные, с их давними монархическими порядками. Тем не менее он если и проводил эту линию, то очень осторожно, половинчато и компромиссно, главным же образом старался встроить новый строй, на первый взгляд, в противоположный ему республиканский уклад Рима. Боролся с проникновением отпущенников в число граждан и тем самым — с размытием гражданского коллектива, не допускал широкой сакрализации своей власти в Италии и тем более в Риме, «имени царя страшился как оскорбления и позора»<sup>39</sup> и при выборах магистратов «как простой гражданин обходил трибы, отстаивая своих кандидатов»<sup>40</sup>. Как монарху Августу был совершенно необходим свой аппарат управления, у республиканских консулов, естественно, отсутствовавший. Он тем не менее не стал его создавать, а приспособил на эту роль институты, издавна существовавшие в римских семьях, — институт доверенных домохозяев, которым в семье поручалось ведение дел, когда глава семьи был в отъезде, и институт регулярных встреч с друзьями, без которых римлянин старого закала не принимал ни одного сколько-нибудь серьезного решения. Из первого развился аппарат императорских управляющих провинциями, из второго — Совет принцепса, но, пока Август был жив, да и довольно долго еще после него, ни тот ни другой не становились департаментами, а оставались всецело в рамках семейных традиций старых республиканских родов. Август совершенно сознательно и последовательно отстаивал представление о принципате как о восстановленной из руин граж-

данских войн, подлинной и очищенной республике. «Rem publicam a dominatione factionis oppressam in libertate vindicavi», характеризовал он новый строй в своем парадном политическом завещании — «республике, освободив ее от власти клики, я вернул свободу»<sup>41</sup>. В эту же сторону ориентировал Август деятельность людей искусства, ему близких, — Вергилия, Горация и того же Ливия, хотел, чтобы даже его семья выглядела в соответствии с древними «нравами предков».

В связи со всем этим историки Нового времени очень любят говорить о лицемерии Августа. Лицемерие может характеризовать личность принцепса, но не природу созданного им строя. Лицемерить имеет смысл, только если это вписывает человека в систему ценностей, чтимых окружающими: Август должен был вести себя «по-республикански» не в силу предполагаемой лживости своей натуры, а потому, что этого ждали от него Город и народ, в другой форме, следовательно, власть себе не мыслившие. Вряд ли к тому же может лицемерить целая эпоха — мы видели, что вера в неизбежность общинно-республиканского уклада жизни на протяжении столетия дополняла у людей сознание неизбежности его крушения. Наконец, описанные политические формы во всей своей противоречивости реально функционировали в государстве, и жизнь граждан, тоже совершенно реально, регулировалась не только новыми эдиктами, но и вековыми традициями. Главное, однако, состоит в том, что описанная ситуация была обусловлена не субъективными особенностями вовлеченных в нее лиц, а объективными противоречиями той стадии исторического развития, к которой принадлежал Рим и весь античный мир, — его консервативный общинно-республиканский идеал был задан столь же объективно и характеризовал этот мир и Рим столь же правдиво, как и практика общественного развития, этот идеал разрушавшая.

Значит, Ливий представил историю римского народа в виде обобщенно-идеализированного образа не просто потому, что такой ему захотелось ее увидеть, и не только в силу особенностей своего литературного таланта. Такой она была ему задана историческим опытом эпохи, и такое ее понимание и изображение, следовательно, становилось плодотворной формой познания всего случившегося и всей эволюции, здесь нашедшей свое разрешение и завершение. Эпоха задавала и те исходные положения, на которых создаваемый образ должен был строиться: героичность и непреходящая ценность Рима, владыки вселенной, вышедшего обновленным из векового ужаса гражданских войн; связь этого торжества Рима с его переустройством и преодолением кризиса сенатского правления в принципате — республика, такая, какой она была в жизни последних поколений, есть заверченный период римской истории; смысл и оправдание нового строя — в восстановлении древнего Римского государства

в очищенном виде; республика и общинный уклад — не только завершённый период истории, но и ее актуальное содержание, не столько непосредственно практическое, сколько социально-психологическое, духовное, взыскуемое, корректирующее жизненную эмпирию, исчезающее из окружающей действительности, но и постоянно как бы присутствующее в ней.

1993

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Белинский В. Г. Сочинения Державина. Статья вторая // Белинский В. Г. Полное собр. соч., т. VI. М., 1955; с. 613.

<sup>2</sup> «На выбеленную доску великого понтифика ежегодно записывались имена консулов и других магистратов, а также, по дням, достойные памяти деяния, совершенные на суше и на море, в городе и за его пределами» (Схолии Сервия к «Энеиде» Вергилия, I, 373).

<sup>3</sup> «В таблицах великого понтифика значится, когда вздоржало зерно и когда затмился свет луны или солнца» (Cato Mai ap. Aul. Gell. II, 28, 6; ср.: Cic. R. p. I (XVI), 25).

<sup>4</sup> «В Летописи указывается лишь, что произошло в каждом году» (Sempr. Asell. ap. Aul. Gell. V, 18).

<sup>5</sup> Цицерон. О законах, I, 6. Перевод в соответствии с конъектурой Урсины: *ieiunius* вместо рукописного *iucundius*. Эта конъектура сейчас общепринята. См., впрочем, перевод В. О. Горенштейна в кн.: Цицерон. Диалоги. М., 1966, с. 90.

<sup>6</sup> См. 43, 13, 1—2.

<sup>7</sup> Nissen N. Kritische Untersuchungen über die Quellen dei 4 und 5. Dekade des Livius, 1863, Kap. 5; Kahrstedt U. Die Annalistik um Livius. Buch 31—45. Berlin, 1913; Peter H. HRR, Bd I, 1914 (reprint 1967). S. XXVII—XXVIII.

<sup>8</sup> См. примеч. 4.

<sup>9</sup> Цицерон. О законах, I, 6.

<sup>10</sup> Там же, I, 7.

<sup>11</sup> Из «Анналов» Валерия Анциата. «Когда царь Пирр был в земле италийской и одержал победу в двух сражениях и римляне находились в затруднительном положении и большая часть Италии перешла на сторону царя, тогда некто Тимэxor из Амбракии, друг царя Пирра, тайно пришел к консулу Гаю Фабрицию, просил награды и обещал, если последует соглашение о награде, отравить царя ядом, сказав, что это легко сделать, потому что его сын подает на пиру чаши царю. Фабриций написал сенату об этом. Сенат отправил послов к царю и приказал ничего не сообщать о Тимэхоре, но советовать царю быть

осторожнее и оберегать жизнь от козней близких людей» (HRR, fr. 21. Пер. С. Соболевского).

- <sup>12</sup> Из «Анналов» Клавдия Квадригария. «После этого были выбраны консулами Семпроний Гракх во второй раз и Квинт Фабий Максим, сын того, который был консулом в предшествующем году. Отец-проконсул, ехавший на лошади, встретился с консулом (сыном) и не хотел сойти с лошади, потому что был его отец. Ликторы, зная, что между ними полное согласие, не посмели приказывать ему сойти. Когда он подъехал близко, консул сказал: «Прикажи сойти!» Тот ликтор, который прислуживал, сразу понял и приказал проконсулу Максиму сойти. Фабий повиновался приказанию и похвалил сына за то, что он охраняет власть, полученную им от народа» (HRR, fr. 57. Пер. С. Соболевского).

- <sup>13</sup> Цицерон. О законах, I, 6; Ливий, XLV, 25; Квинтилиан, X, 1, 101.

- <sup>14</sup> Классический пример — речь императора Клавдия в «Анналах» Тацита (XI, 24) и в эпиграфическом тексте (см.: CIL, XIII, 1668).

- <sup>15</sup> Таковы, например, речи, которые держат полководцы, находясь на краю гибели в Кавдинском ущелье (IX, 1 и след.), или монолог Софонисбы, принимающей яд (XXX, 12), и многие другие.

- <sup>16</sup> Жебелев С. А. Римская империя. Пг., 1923, с. 24. Приведенные слова имеют в тексте книги следующее продолжение: «ими он пользуется для того, чтобы высказать в них свои личные мнения и соображения». В «Истории римской литературы» М. Шанца, где суммирован весь научный материал, полученный на протяжении XIX века, речи историков прямо характеризуются как «фиктивные» (*fingierte*), см.: Schanz M. Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesefzgebungswerk des Kaisers Justinian. 3. Aufl. München, 1909, I. Teil, S. 198.

- <sup>17</sup> Кузнецова Т. И. Римская эпическая историография // Кузнецова Т. И., Миллер Т. А. Античная эпическая историография. Геродот. Тит Ливий. М., 1984, с. 163—164.

- <sup>18</sup> Цицерон. Переписка. Письма к Аттику, IV, 2.

- <sup>19</sup> Там же, VI, 3.

- <sup>20</sup> XLV, 25, 3, где говорится о текстах речей Катона Старшего.

- <sup>21</sup> Такое понимание исторического труда изложено Цицероном во второй книге «Об ораторе» (гл. 51—64). Убедительной иллюстрацией к нему являются завершающие строки «Жизнеописания Агриколы» Корнелия Тацита (гл. 46): «Благодаря славе, возданной его деяниям, все, что мы любили в Агриколе, все, чем восхищались в нем, остается ныне в душах людских и останется в них на бесконечные времена; ведь многих, ушедших в прошлое, забвение поглотило так, будто и не были они в свое время знамениты и могущественны. Агрикола же, раз мой рассказ воссоздал его и передал потомству, пребудет вечно».

- <sup>22</sup> Гораций. Оды, III, 30, 1.

- <sup>23</sup> Авл Геллий. Аттические ночи, IV, 18, 3.

- <sup>24</sup> Mommsen Th. Die Szipionenprozesse // Hermes, Bd I, 1866, Heft 2, S. 165, Anm. 1—2.
- <sup>25</sup> Намек на избрание Сципиона в 214 г. в курульные эдилы непосредственно народом, вопреки требованиям трибунов, указывавших, что он еще не достиг возраста, установленного законом для занятия этой магистратуры.
- <sup>26</sup> Проперций, IV, 1, 131—132.
- <sup>27</sup> Тацит. Анналы, I, 1, 1.
- <sup>28</sup> Светоний. Жизнеописание двенадцати цезарей. Божественный Юлий, 77.
- <sup>29</sup> Там же, 78, 2.
- <sup>30</sup> Тацит. История, I, 16, 1.
- <sup>31</sup> Светоний. Жизнеописание двенадцати цезарей. Божественный Юлий, 80, 3.
- <sup>32</sup> Дион Кассий. Римская история, 53, 15. К сходным выводам ста годами раньше приходил Тацит: «После битвы при Акции в интересах спокойствия и безопасности всю власть пришлось сосредоточить в руках одного человека» (История, I, 1, 1), такое же свидетельство — в «Анналах» (I, 1, 1). Тонкий и глубокий анализ вводных глав «Анналов», показывающий, насколько ясно видел Тацит монархическое содержание принципата Августа, в работе: Ceaușescu P. L'image d'Auguste chez Tacite // Klio, Bd 56 [1974], p. 138—198. До сих пор, кажется, не было отмечено, что приведенная мысль, а во многом и формулировка Тацита восходят к Цицерону, то есть отражают восприятие событий современниками: «Состояние республики было таким, что ею по необходимости должен был управлять и о ней заботиться только один человек» (О природе богов, I, 7. Пер. М. Рижского).
- <sup>33</sup> Машкин Н. А. Принципат Августа. М.; Л., 1949, с. 100 — со ссылкой на Эд. Майера.
- <sup>34</sup> Тацит. Анналы, II, 25.
- <sup>35</sup> Дион Кассий. Римская история, 53, 17.
- <sup>36</sup> Цицерон. О государстве, III, 34.
- <sup>37</sup> Плутарх. Серторий, XXVII; Помпей, XX; Аппиан. Гражданские войны, I, 115. 534—538.
- <sup>38</sup> Плутарх. Помпей, XXII, 4.
- <sup>39</sup> Светоний. Жизнеописание двенадцати цезарей. Божественный Август, 53.
- <sup>40</sup> Там же, 56.
- <sup>41</sup> Деяния божественного Августа, I, 1.

---

## ОБРАЗ РИМА В СОЧИНЕНИИ ТИТА ЛИВИЯ

Эпопея, рассказанная Титом Ливием в «Истории Рима от основания Города», содержит не столько собственно историю Рима, сколько его героический образ. Читая предыдущий очерк, мы убедились, что такой характер повествования был задан историку объективно — содержанием его эпохи. Насколько был этот образ также и субъективно пережитым — обусловлен жизненным опытом Ливия, а главное — как соотносился он с исторической реальностью Древнего Рима?

По контрасту с бурями времени жизнь Ливия поражает своим внешним спокойствием. В предшествующем очерке мы видели, как трагическим сломом в ходе гражданских войн соответствовали спокойные и вполне традиционные перемещения историка из одного семилетнего биографического цикла в другой. В Риме к концу 30-х годов мы застаем его вполне устроенным семейным человеком<sup>1</sup>, которому полученное в Патавии прекрасное образование и, по-видимому, уцелевшее во всех конфискациях и проскрипциях состояние давали возможность полностью погрузиться в ученые занятия. От них он уже не отвлекался до конца своих дней. Писал философские диалоги и сочинения по риторике<sup>2</sup>, а примерно с 26 г. отдался работе над исторической эпопеей. Литературный труд поглощал Ливия целиком — ни о каких его общественных выступлениях, ни о каком участии в политической деятельности или о почетных магистратурах, которые бы он занимал, ничего не известно. В 14 г. н. э. он вернулся в родной Патавий — поступок тоже малооригинальный: проводя активную жизнь в столице, под старость возвращались на родину многие выходцы из муниципиев и колоний. Тут он продолжал работать до последнего вздоха, написал еще, полностью или частично, 22 книги и скончался в четвертый год правления императора Тиберия в возрасте 76 лет.

Эпопея, им созданная, авторского названия, кажется, не имела, или, во всяком случае, оно не сохранилось. То был труд в 142 книгах, освещавших события в Риме и на фронтах бесчисленных войн, которые он вел, начиная от времен легендарных, предшествовавших возникновению Города (согласно традиции в 753 г.), и до смерти пасынка Августа Друза в 9 г. н. э. Труд делился на тематические разделы по десять или иногда по пять книг в каждом. Такие группы книг (их принято называть соответственно декадами или пентадами) публиковались автором отдельно по мере их написания. До наших дней сохранились три полные декады — I, III, IV и одна неполная — книги 40–45. В своей совокупности они охватывают

события до 293 г. и с 218-го по 167-й. Мы, однако, имеем некоторую возможность судить и о несохранившихся книгах, т. к. почти к каждой из них была сделана еще в древности так называемая перииоха — аннотация, кратко передававшая не только основные факты, но и авторскую их оценку. От некоторых книг сохранились также более или менее пространственные фрагменты. Сочинение Ливия переписывалось (обычно по декадам) в древности вплоть до V века. К копиям именно этого столетия восходят основные рукописи; они датируются XI веком. Первоиздание появилось в Риме около 1469 г. без книг 33 и 41–45.

Жизнь Ливия производит впечатление сосредоточенной, кабинетной, мало связанной с пульсом времени. «У историка Рима нет истории», — констатировал в XIX веке автор одной из первых научных монографий о нашем авторе<sup>3</sup>. Были, однако, у этой жизни свои черты, заставляющие доверять подобному впечатлению не до конца.

Первая из таких черт связана с родиной Ливия — Патавием и с той областью — Циркумпаданой, центром которой этот город был. У римлянина, говорил Цицерон, две родины<sup>4</sup>. Одна — великая и славная республика Рима, гражданином которой он является и которой обязан беззаветно служить на поприще гражданском и военном. Другая — местная община, поселение или город, где он появился на свет, в чью почву уходят корни и традиции его рода, где веками спланивались воедино местные семьи, на поддержку которых человек будет опираться всю жизнь, и в юности, и в старости, и живя в Риме, и воюя на далеких границах. Связь с родной общиной носила не только практический характер, но и духовный, нравственный. В связях патавинцев со своей родиной этот последний элемент играл особенно значительную роль. Происхождение из Патавия ассоциировалось с нравственной чистотой<sup>5</sup>, старинной солидарностью гражданского коллектива и патриархальностью нравов, в нем царившими, с верностью традициям республиканской свободы. В проскрипциях триумвиров гибли, как мы помним, тысячи людей — жажда даровой наживы толкала на путь безнаказанных преступлений весьма многих, но прежде всего богачей из сословия всадников, стремившихся округлить и умножить свое достояние, достичь сенаторского ценза в миллион сестерциев. В Патавии в эти годы проживало 500 всадников, больше, чем в любом городе Италии, кроме Рима, но, как специально отмечали современники<sup>6</sup>, гражданские войны не пробудили здесь проскрипционных страстей и жажды шального преступного обогащения. В 41 г. легат Антония (и будущий историк и оратор) Асиний Поллион во главе значительной армии подошел к Патавию, потребовал денег и оружия и получил отказ от старейшин города. Тогда он «обратился через их головы к рабам, обещав им свободу и вознаграждение за донос на господ. Но рабы не последовали этому призыву, предпочтя верность господам свободе»<sup>7</sup>.

Город с такими правами не мог сочувствовать политике принцепсов, в которой на протяжении всего первого столетия существования нового строя столь важную роль играли террор по отношению к аристократическим семьям республиканского происхождения, подавление в сенате оппозиции, исповедовавшей стоицизм и «тайную свободу», вытеснение старых римских и италийских семей провинциальными. Отсюда, из Патавия, происходил вождь «последних республиканцев» Гай Кассий Лонгин; здесь, в своем родном городе, возрождал полузабытые древние местные обряды и культ свободы Тразей Пет — глава стоической оппозиции в сенате при Нероне<sup>8</sup>; как показали просопографические исследования последнего времени, ядро сенатской оппозиции Домициану в 80–90-е гг. I в. н. э., с ее культом героев республики, Брута и Кассия, составляла группа сенаторов из Патавия и его окрестностей<sup>9</sup>.

Ливий сформировался в этой атмосфере, она не могла не сказаться в его творчестве, как бы ни старался он держаться в стороне от политики, от борьбы цезарианцев с республиканцами, партий вообще. Он лишь дважды и мельком упоминает Цезаря (I, 19), восхваляет Брута и Кассия<sup>10</sup>, не берется решить, принес ли Цезарь Риму больше пользы, чем вреда<sup>11</sup>; император Август, не обинуясь, хотя и в шутку, называл Ливия «помпеянцем»<sup>12</sup>. Римская республика выступает в его историческом труде как благо и ценность, гражданские войны, окончательно ее разрушившие и поглотившие, — как позор и бедствие, а становящийся императорский строй, если рассматривать его в виде альтернативы республике и ее замены, — как нечто весьма сомнительное.

Тот факт, что «История Рима от основания Города» сохранилась лишь на треть и что пропали именно те книги, где должна быть идти речь о кризисе республиканского строя, не может поколебать наш взгляд на Тита Ливия как на истинного патавинца — историка и защитника республики римлян, а на его труд как на апологию этой республики, — взгляд к тому же общепринятый, господствовавший и среди римских писателей, и в культурной традиции позднейшей Европы. Пропавшие книги не могли противоречить этому взгляду. Сам Ливий говорил в предисловии — и, таким образом, имел в виду свой труд в целом, — что залогом и причиной успехов и роста Рима, его исторического величия является республиканское устройство. Историк Кремуций Корд, который жил при Тиберии и, следовательно, ссылаясь на Тита Ливия, имел в виду труд его в полном виде, оправдывал свои симпатии к защитникам республики указанием на «Историю Рима от основания Города» как на свой прецедент<sup>13</sup>.

На первый взгляд прямо противоречит этому выводу другая черта биографии Ливия — его близость к императору Августу. Такая близость свидетельствуется прямыми и косвенными данными. Среди них упоминание в «Истории Рима от основания Города» (IV, 19) о непосредственном



участии императора в работе историка; рассказ Тацита о процессе Кремуция Корда (см. примеч. 12 и 13) указывает на отношения близости и доверия между Августом и нашим автором; Светоний в биографии императора Клавдия (41, 1) говорит, что последний много занимался историей, обратившись к ней по совету Ливия: в пору жизни Ливия в Риме Клавдий, внучатый племянник принцепса, был еще подростком, жил в императорском дворце на Палатине, и если наш историк давал ему советы, значит, был он близок не только с самим Августом, но и с его семьей. Косвенным подтверждением тесной связи Ливия и рассказанной им эпопеи с императором является выразительное совпадение дат: работа начинается примерно в 27 г. до н. э., то есть в год официального провозглашения Августа правителем государства; Ливий покидает Рим и возвращается к себе в Патавий в 14 г., то есть в год смерти своего покровителя. Вряд ли можно также не обратить внимания на то, что Ливий не единственный писатель среди современников, чьей работой Август интересовался и на которую старался влиять; в том же положении находились Вергилий, Гораций, Меценат — Ливий, по-видимому, входил в дружеский кружок, члены которого общались с императором постоянно.

Близость эта существенна для понимания авторского замысла и общего характера «Истории Рима от основания Города». Благодаря ей коренное противоречие между принципатом как воссозданной и «очищенной» древней республикой Рима и принципатом как прологом к космополитической монархии, уничтожившей гражданскую общину Рима и ее ценности, оказалось перенесенным внутрь создававшейся Ливием эпопеи, в его жизнь, мышление и творчество. Известен случай, когда Август в утробу своим монархическим (скажем точнее: протомонархическим) замыслам заставил историка изменить трактовку одного из эпизодов древней истории Города<sup>14</sup>. Подчинять творчество писателей, вхожих в Палатинский дворец и, в частности, создаваемый ими образ Рима, своим политико-пропагандистским расчетам было, по-видимому, для Августа определенным принципом: несколькими годами позже он так же заставил Горация написать IV книгу од; не исключено, что сходными мотивами объясняется появление патетического рассказа о комете Юлия в заключении «Метаморфоз» Овидия. Но чем настойчивей слышались в двуедином историческом образе принципата прагматически-политические мотивы, чем решительнее требовал Август, чтобы поэты и историки, им пестуемые, работали на эстетизацию и возвеличение его единодержавия, тем более отодвигался в дали идеала, окутывался эпическими, легендарными обертонами тот второй, старореспубликанский Рим, с которым принципат был также исторически связан, прославление которого также входило в программу Августа, но который вызывал у больших художников, его окружавших, патриотизм и поэтическое одушевление не заказные, а ис-

кренные и потому далеко перераставшие прагматический «социальный заказ» принцепса, — Рим «Энеиды» Вергилия и Рим третьей книги од Горация. Риму Тита Ливия предстояло занять место в том же ряду.

В свете всего сказанного выше «штатский» характер биографии Ливия, спокойная и замкнутая размеренность его существования приобретали особое значение. Если, в отличие от предшествующих и современных ему авторов исторических сочинений, он не командовал легионами и не разоблачал политических противников на форуме, если вообще он лично не участвовал в бурных конфликтах времени, а наблюдал их из заменявшего римлянам кабинет прохладного таблина своего дома, то это знаменовало принадлежность его самого и его творчества к новой эре — к наступавшей эре отчуждения государства и политики от повседневной жизни граждан. На протяжении I в. это отчуждение становилось все более откровенным и глубоким, и Лонгину, Иосифу Флавию, Тациту предстояло осмыслить его как едва ли не главную черту своей эпохи. Ливию оно давало о себе знать еще отдаленно, но уже неопровержимо: эпопея, которую он создавал, все менее могла рассматриваться с позиций непосредственного участника политических битв, она все более отдалялась от них и над ними возвышалась.

Явное несоответствие образа, созданного Ливием, реально-повседневной действительности Древнего Рима не означает ни того, что образ этот представляет собой литературно-художественную фикцию, ни того, что, как некогда полагал Теодор Моммзен, «историческим сочинением в подлинном смысле слова летопись Тита Ливия не является»<sup>15</sup>, ни того, наконец, что летопись эта лишена объективного познавательного смысла и тем самым не отражает историческую истину.

Начать с того, что образ провиденциального Рима, растущего и набирающего силы, несмотря на все превратности судьбы, и несущего народам мира более совершенные формы общественной организации и более высокую систему ценностей, — не создание Тита Ливия, а константа культурного самосознания римского народа; уже в силу этого такой образ обладает определенным объективным, а следовательно, и познавательным значением: история — это не только то, что происходит, а и то, что люди думают о происходящем, и познать ее — значит познать эти события и эти мысли в их нераздельности. По словам Ливия (XXVII, 17), при покорении испанских племен в 211–206 гг. Сципион говорил им о том, что цель римского завоевания не захват ради захвата, а, скорее, распространение в землях, окружающих империю, гражданского мира и гражданской организации, законности и верности договорам<sup>16</sup>. Бесчисленные клиентелы, оставленные им в Испании, и переход на его сторону многих племен свидетельствуют о том, что подобным речам соответствовала определенная практика. Катон Цензорий в пору своего наместничества в

Сардинии в 198 г. строжайшим образом придерживался норм, которые прославлял как обязательные для римского магистрата<sup>17</sup>, — двумя столетиями позже именно они вошли в описанную выше Ливиеву характеристику римской системы ценностей. В 137 г. Тиберий Гракх вел себя под Нуманцией так, будто сознательно старался предвосхитить образ идеального римского полководца в изображении Тита Ливия; не случайно биограф Тиберия ссылается в этой связи на эпизод в Кавдинском ущелье, столь ярко и подробно описанный в «Истории Рима от основания Города»<sup>18</sup>. Все слагаемые Ливиева образа Рима и римлянина — хотя и в типичном для эпохи сочетании с другими чертами, прямо им противоположными, — безошибочно узнаются в жизни и деятельности некоторых известных персонажей еще и в период предсмертного кризиса Республики — в провинциальном законодательстве Цезаря или в поведении консула 74 г. Луция Лициния Лукулла<sup>19</sup>.

Те же верность законам как основа свободы гражданина, его ответственность перед общиной, почтение к богам, предугадывание их воли и следование ей как залог военных и политических успехов, готовность идти до конца ради достижения целей, намеченных государством, и превосходство римлян в этом отношении над другими народами — все эти черты образа Рима у Ливия непрерывно возвращаются при характеристике римлян, их республики и их истории в речах, письмах и сочинениях Цицерона<sup>20</sup>. Нельзя забывать также, что в Риме был крайне распространен национально-патриотический и исторический фольклор, состоявший из рассказов о подвигах героев былых времен, о сбывшихся пророчествах и чудесных знамениях, о неколебимой верности великих деятелей Рима высшим ценностям и законам республики. Такие рассказы назывались «примерами» — *exempla*, были известны каждому с детства, использовались в речах — как учебных, в риторических школах, так и реальных, публичных, и оказывали мощное воздействие на подрастающее поколение<sup>21</sup>. В утверждении нравственных принципов, лежавших в основе подобных «примеров», видел вообще смысл исторических сочинений Тацит<sup>22</sup>. Некоторые сборники *exempla* сохранились. Едва ли не самым значительным среди них был составленный Валерием Максимом во второй четверти I в. н. э. и носивший название «О достойных деяниях и изречениях» в девяти книгах<sup>23</sup>. Собранный здесь огромный материал, покрывающий всю историю Рима, явственно говорит о том, что в традицию римской славы, призванную воспитывать народ, первыми отбирались «деяния и изречения», утверждавшие в качестве главных, образцовых свойств римского племени все те же Ливиевы доблести, все те же слагаемые выписанного им образа: благочестие, веру в знамения и их толкование, в силу и строгость обрядов (книга I), преданность законам, сыновнему долгу, воинской дисциплине (книга II), выдержку и упорство в достижении по-

ставленной цели (книга III), строгость нравов, умеренность, предпочтение старинной бедности кричащему богатству (книга IV) <sup>24</sup>.

Есть и другие соображения, по которым расхождение между фактами, с одной стороны, и образом Рима, созданным Титом Ливием с опорой на нравственную и культурную традицию, с другой, не может характеризовать этот образ как субъективную фантазию историка. Факты, опровергающие эту традицию и этот образ, конкретны, локальны, непосредственно жизненны и в этом смысле точны. Но существует историческая точность и иного рода — точность итоговой характеристики, точность в определении роли, сыгранной данным народом и его государством в общем развитии человека. Как ни странно, но при таком «итоговом» подходе картина, нарисованная Ливием, оказывается весьма точной — вопреки, казалось бы, конкретным, локальным и непосредственно жизненным фактам, ее опровергающим.

Когда Европа оглядывается на римские истоки — или, скажем точнее, на римский компонент — своей государственности и культуры, три обстоятельства выступают на первый план как абсолютно очевидные и непреложные.

Прежде всего — факт, что, начавшись как незначительное поселение, где селились несколько враждующих и нищих разнородных групп, Рим веками шел к своей провиденциальной цели, втягивая в свою орбиту один за другим города, племена, народы, страны, и кончил как мировая держава, раскинувшаяся от Гибралтара до Персидского залива и от Шотландии до порогов Нила. Так что же делал Ливий, вводя эту тему в свой рассказ в качестве одной из главных, — искажал историческую истину или обнаруживал ее, раскрывая всемирно-исторический смысл описываемого процесса?

Могут ли, далее, непрестанные нарушения законов в жизни римского общества опровергнуть утверждения Ливия о законности как фундаменте этого общества, если наследники Рима, страны Западной Европы, основывали и основывают до наших дней свое правосознание и правопорядок на принципах римского права, вобравших в себя также и опыт республиканского законотворчества? Любая система права, чтобы быть действенной, должна справляться с коренным противоречием между стабильностью законов как основой их авторитета и способностью тех же законов меняться под влиянием обстоятельств как основой их жизненности и эффективности. Хищные богачи, столь часто оказывающиеся во главе республики, корыстно злоупотребляли и консерватизмом римских правовых установлений, и их зависимостью от обстоятельств. Ливий, стремясь подчеркнуть правовое совершенство республики, действительно подчас вуалировал выразительные детали подобных эпизодов <sup>25</sup>. Но ведь он же столь подробно передал речи народного трибуна Канулея, консула Марка

Катона, его противника трибуна Валерия, которыми обосновывалось принципиальное решение обозначенного выше коренного противоречия, причем решение, с одной стороны, реально воплощенное в структуре римского права с его сочетанием законов, преторских эдиктов и *disciplina maiorum*<sup>26</sup>, а с другой — отлившиеся в такие чеканные формулировки, что их как образец воспроизводили классики философии права еще в XIX столетии<sup>27</sup>.

Другое коренное противоречие права — противоречие между нормами, обеспечивающими интересы общественного целого, и защитой интересов личности. Покушения на интересы общественного целого были в Риме обычной практикой, а защита интересов личности — выборочной и непоследовательной. Но ведь нельзя забывать, что сам принцип подобного равновесия и усмотрение в нем главного смысла права были величайшим открытием античного мира, получившим теоретическое обоснование и известное практическое воплощение в Греции, но ставшее основой общественного мировосприятия в Риме и отсюда определившее теории естественного права в Европе XVII—XIX вв. Равновесие такого рода до сих пор образует основу всякой демократии, всей концепции прав человека. В Риме оно зиждилось на взаимоопосредовании божественного миропорядка, *fas*, и специфически римского понятия *jus*, которому современный исследователь дает следующее весьма точное определение. «В Риме *jus* понимали и переживали как предельно широкую область, возникшую после отграничения всех частных областей, личных или коллективных. *Jus* — это то, на что каждый может претендовать в силу и в меру своего социального положения. Он представляет собой, другими словами, совокупность прав и обязанностей, принадлежностей и ответственностей, присущих каждому человеку исходя из его социального предназначения»<sup>28</sup>. Римское право возникало из совокупности *jura* каждого гражданина и каждой группы населения, т. е. по природе своей носило, во-первых, социально равновесный характер, во-вторых, объединяло правовой принцип с принципом сакральным. Когда Ливий говорил, что «Город, основанный силой оружия, основался заново на праве, законах и обычаях» (I, 19, 1), он формулировал положение, не только несогласное с очень многим в жизни Рима, но и подтверждаемое стереотипами в мышлении его граждан и судьбой его наследия.

Наконец, последнее обстоятельство, которое нельзя не учитывать, оценивая степень соответствия описанного Ливием образа Рима объективной исторической реальности, связано с романизацией. Под романизацией принято понимать процесс создания на территориях, завоеванных Римом или подчиненных его влиянию, особой цивилизации, в которой исконные туземные элементы взаимодействовали с римскими, сливаясь с ними в двуединый хозяйственный, административно-правовой и куль-

турный организм. Одним из основных средств романизации была динамичная и многоступенчатая система римского гражданства; предоставляя право своего гражданства и привилегии, с ним связанные, в разной степени тем или иным городским общинам, племенам и провинциям, подстрекая их соревноваться на службе Риму за переход с низкой ступени гражданства на более высокую, римляне создавали решающий стимул романизации. Завоевание было лишь началом. Главное шло дальше — вживание римского в местное, с-живание покоренных и покорителей. Как принцип, как тип гражданства и цивилизации, как форма взаимодействия с окружающим миром, романизация вытекала из самой природы римской гражданской общины и проявлялась уже на ранних этапах ее истории. В образе республиканского Рима, выписанном Ливием, эти начала обнаруживаются уже совершенно ясно.

Говоря об организации римской власти в городских общинах Италии, на испанских и галльских территориях, на Востоке, историк не скрывает роли завоеваний, рассказывает о массовом истреблении побежденных, о протестах городов и народов, лишаемых своей самостоятельности, но, как обычно, акцент у него лежит на устанавливаемом в конечном счете согласии<sup>29</sup>. Расхождение между жестокой правдой и гармонизирующей тенденцией в угоду Образу налицо, но в итоговой исторической ретроспекции оно и здесь оказывается сосуществующим с уловленными Ливием самыми общими линиями развития, которые, продолжаясь все дальше и дальше в будущее, выявляли вполне реальный исторический смысл процесса. Он был изначально присущ римской гражданской общине, хотя и развернулся полностью в эпоху Ранней империи, когда стало окончательно ясно, что на одно — два столетия, вплоть до конца собственно античного Рима, превращение примыкающих к нему земель в провинции означало для населявших их народов выживание, стабилизацию и рост производительных сил. Примечательно, что положение это признавалось не только апологетами империи<sup>30</sup>, но и авторами, остро чувствовавшими все пороки Рима, весь грубо насильственный характер его владычества<sup>31</sup>.

Образ Рима, запечатленный в эпопее Тита Ливия, находится, как выясняется, в особых отношениях с действительностью: жизнь Города и повседневное его бытие рассматриваются в большей мере через его традиционную систему ценностей, чем сами по себе, в их прямой и непосредственной данности; в результате созданный образ видоизменяет представление об этой жизни и этом бытии в соответствии с идеальной нормой и на уровне непосредственной общественно-исторической эмпирии не может рассматриваться как фактически им адекватный; в исторической ретроспекции обнаруживается, однако, что сама такая норма не только отклоняется от общественной реальности, но

также отражает глубинные тенденции ее развития и в свою очередь отражается в них, а ориентированный на нее образ, созданный Титом Ливием, бесспорно представляет историческую действительность, но так, что на первый план выходят взаимосвязь и взаимодействие общественной реальности и общественного идеала.

В этих условиях предмет изображения в «Истории Рима от основания Города» приходится квалифицировать не как образ, а как общественно-исторический миф: в образе главное — творческая фантазия, формирующая его в соответствии с мировосприятием автора; в общественно-историческом мифе — идеализованное отражение реальности, отличное от непосредственной данности, но живущее в сознании коллектива и влияющее на его мироотношение. В эпопее Тита Ливия мы имеем дело не с одной лишь непосредственной римской действительностью как таковой и не с одним лишь общественным идеалом римской гражданской общины как таковым, а с объединяющим их *римским мифом*.

1993

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Кто была жена Ливия, не засвидетельствовано, но у историка было по крайней мере два сына — старший, умерший в детстве (*Inscriptiones Latinae Selectae* / Ed. H. Dessau. Berlin, 1954, 2919), и младший, известный как автор сочинений по географии. Кроме того, была замужняя дочь: зять историка Л. Магий упоминается в «Контроверсиях» Сенеки-ритора (X, пред. 2).

<sup>2</sup> См.: *Л. Анней Сенека*. Нравственные письма, 100, 9; *Сенека-ритор*. Контроверсии, IX, 24, 14, 25, 26; *Квинтилиан*. Наставление в ораторском искусстве, X, 1, 39; 2, 18.

<sup>3</sup> *Taine H.* Essai sur Tite Live. Paris, 1874, p. 1.

<sup>4</sup> *Цицерон*. О законах, II, 5.

<sup>5</sup> *Плиний Младший*. Письма, I, 14, 6; *Марциал*, XI, 16, 8.

<sup>6</sup> *Страбон*, V, 1, 7.

<sup>7</sup> *Немировский А. И.* У истоков исторической мысли. Воронеж, 1979, с. 181 со ссылкой на Макробия (*Сатурналии*, I, II, 22).

<sup>8</sup> *Тацит*. *Анналы*, XVI, 21, 1 и многочисленные комментарии к этому весьма темному месту — *Borszák St.* P. Cornelius Tacitus. Stuttgart, 1968, Sp. 380; гораздо убедительнее в издании: P. Cornelius Tacitus erklärt von Karl Nipperday. 5. Aufl., Bd II. Berlin, 1892, ad loc. Ср. также: *CIL*, V, 2787.

<sup>9</sup> *Koestermann E.* Tacitus und die Transpadana // *Athenaeum*, vol. 43 (1965), fasc. I—II, в первую очередь — S. 167—175.

<sup>10</sup> *Тацит*. *Анналы*, IV, 34.

- <sup>11</sup> *Сенека*. Вопросы изучения природы, V, 18, 4: «Как многие говорили в народе об отце Цезаря, а Тит Ливий закрепил и в письменном виде, нельзя решить, что было лучше для государства — производить ему на свет сына или нет».
- <sup>12</sup> *Тацит*. *Анналы*, IV, 34, 3.
- <sup>13</sup> Там же.
- <sup>14</sup> *Dessau H.* *Livius und Augustus* // *Hermes*, Bd 41 (1906), Н. 1.
- <sup>15</sup> *Mommsen Th.* *Die patricischen claudier* // *Römische Forschungen*, Bd I. B[erlin], 1864, S. 289.
- <sup>16</sup> Ср.: XXVI, 49—51; XXVII, 17—20; XXVIII, 1—4. С этой точки зрения весьма примечательно поведение Сципиона при обсуждении после Замы условий мирного договора с Карфагеном и его аргументация — *Аппиан*. *Римская история*, VIII, 65.
- <sup>17</sup> *Плутарх*. Катон, 6; ср. признание самого Катона: *Oratorum Romanorum Fragmenta* / Edidit H. Malcovati, ed. 4, t. I. Torino, 1976, fragm. 174. Перевод см. в кн.: *Трухина Н. Н.* *Политика и политики «золотого века» Римской республики*. М., 1986, с. 179.
- <sup>18</sup> *Плутарх*. Тиберий Гракх, 5—7.
- <sup>19</sup> О воинском таланте Лукулла и личном его участии в воинских подвигах, о его верности законам и *clementia*, благочестивой преданности старшим, говорится в таком значительном количестве источников, что сомневаться в сообщаемых сведениях не приходится. С точки зрения соответствия Ливиевой модели образцового римлянина важнее других *Веллей Патеркул*. II, 33; *Дион Кассий*. 36, 16; *Плутарх*. Лукулл, I, 2; II, 28; *Цицерон*. *Брут*..., 222.
- <sup>20</sup> Цитаты и комментарий см. в работе автора «Историческое пространство и историческое время в культуре Древнего Рима» (*Культура Древнего Рима*, т. II. М., 1985).
- <sup>21</sup> Об этом прямо говорят оба эпитоматора Валерия Максима (о нем см. ниже в тексте), чьи труды дошли до нас, — Юлий Парис (IV в. н. э.) и Януарий Непотиан (VI в. н. э.).
- <sup>22</sup> *Тацит*. *Анналы*, III, 65, 1; Ср.: *Жизнеописание Агриколы*, 1—3.
- <sup>23</sup> О популярности книги Валерия Максима говорит интенсивное использование ее позднейшими римскими авторами, необычно большое количество рукописей и, наконец, наличие эпитом, авторы которых специально рекомендуют ее в качестве пособия при составлении речей. См.: *Schanz M.* *Geschichte der römischen Literatur*, 2. Teil, 2. Hälfte. München, 1901, S. 196—201.
- <sup>24</sup> Доказательству той мысли, что, создавая свод нормативных римских доблестей, Валерий Максим крайне широко использовал Ливия, посвящена специальная работа известного знатока его творчества А. Клотца (см.: *Hermes*, Bd 44, 1909, S. 198—214).
- <sup>25</sup> Очень ясно, например, при описании поведения Сципиона Африканского (XXXVIII, 50 и след.) после предъявления ему обвинения в присвоении контрибуции царя Антиоха. Источник, отраженный у



Авла Геллия (IV, 18) и считающийся наиболее аутентичным (*Mommsen Th. Die Scipionenpiozesse* // *Hermes*, I, [1866], S. 166), содержит рассказ о сенаторском заседании, в котором Сципион порвал на глазах у всех документы своей финансовой отчетности. Ливий переносит всю сцену на форум и опускает рассказ о демонстративном своеволии героя.

- <sup>26</sup> Закон (*lex*) в Риме на практике мог быть изменен полностью или частично и мог быть отменен, но в идеале и в принципе рассматривался как волеизъявление народа, а потому как вечный и нерушимый, это явствовало из этимологии слова, восходившего к сакральному понятию *reg-* (откуда *rex* — 'царь и жрец'), из фиксации текста принятого закона на «вечном» материале — камне или бронзе, из существования определенного типа законов, не подлежавших отмене. В отличие от *leges*, принимавшихся народным собранием, *edicti* объявлялись претором в начале его магистратского года и содержали как положения предшествующих преторских эдиктов, так и те новые положения, которыми он собирался их дополнить и руководствоваться на протяжении своей магистратуры, — «совершенно оригинальный и единственный в своем роде источник права, ни в каком другом законодательстве он больше не встречается» (*Бартошек М. Римское право*. М., 1989, с. 116). Наконец, *disciplina maiorum* или *mos maiorum*, 'нравы предков', представляли собой совокупность прецедентов; они не были обязательны, но определяли подход к каждому данному случаю, наиболее соответствовавший традициям и обычаям народа. Сжатую, ясную и точную характеристику этой структуры римского права см. в книге: *Stockton D. Cicero. A Political Biography*. Oxford, 1971 (reprint 1978), p. 22. Сочетание стабильности и изменчивости римских законов у Ливия подчеркнуто (см.: VII, 17, 12; IX, 33, 9).

- <sup>27</sup> Гегель Г. В. Ф. *Философия права*. М.; Л., 1934, с. 28—29.

- <sup>28</sup> *Meslin M. L'Homme romain dès origines au 1<sup>er</sup> siècle de notre ère*. Paris, 1978, p. 23.

- <sup>29</sup> См., например, Историю покорения латинских городов (VIII, 8—14), которую Ливий завершает общей характеристикой мотивов, принципов и итогов романизации, (§ 13, 11—18); показателен рассказ о покорении и послевоенной организации Сиракуз (XXV, 31) и мн. др.

- <sup>30</sup> Прежде всего Элием Аристидом во второй четверти II в. н. э. — см. его «Римскую речь» в целом и особенно главы 59—60; в конце Империи — Рутилием Намацианом в поэме «О возвращении» (I, 63—66).

- <sup>31</sup> Тацит — см. его «Жизнеописание Агриколы» (21, 2), «Историю» (IV, 73—74), «Анналы» (XI, 24) и, что особенно примечательно, ненавидевший римскую власть отец церкви Тертуллиан — «О душе» (30).

---

## ЛИВИЙ И ИСТОРИЧЕСКИЙ МИФ

Общественно-исторические мифы представляют собой особую универсальную реальность истории. Они возникают оттого, что никакое общество не может существовать, если основная масса его граждан не готова выступить на его защиту, спокойно подчиняться его законам, следовать его нормам, традициям и обычаям, если она не испытывает удовлетворения от принадлежности к его миру как к своему. И напротив того — общество сохраняет жизнеспособность лишь там, где у граждан есть убеждение в осмысленности его норм, в наличии у него своих ценностей и потенциальной их осуществимости, в значительности его традиций. Между тем эмпирическая действительность как она есть никогда не дает для такого убеждения непосредственно очевидных и бесспорных оснований, поскольку она никогда не совпадает с той, какую хотелось бы видеть, и интересы каждого никогда не могут просто и целиком совпадать с общими. Неизбежно возникающий зазор если не исчезает, то отступает на задний план лишь там, где человек способен *верить* в свое общество и в его ценности, разумеется, исходя из жизненных обстоятельств, но в конечном счете как бы и поверх них. Содержание такой веры «поверх жизненных обстоятельств», всего подобного восприятия своего общества в целом и возникающий отсюда его облик и образуют его миф<sup>1</sup>.

Общественно-исторические мифы характеризуются рядом признаков: они возникают в связи с условиями жизни, но ими не исчерпываются, сосредоточены в общественном сознании и самосознании и в этом смысле обладают высокой степенью самостоятельности; мифы характеризуют данное общество как воплощение его ценностей, заставляя видеть в негативных сторонах действительности реальный, но допускающий и даже предполагающий преодоление фон<sup>2</sup>; как часть общественного сознания, мифы активно влияют на самочувствие и поведение личностей и масс; в отличие от пропагандистских фикций, эксплуатирующих мифы, но создаваемых искусственно и *ad hoc*, влияние такого рода основано на глубинных свойствах общества и характерных для него устойчивых социально-психологических структурах; соответственно, воздействие общественно-исторических мифов на общественную практику обнаруживается особенно очевидно в пароксизмальные моменты жизни социума или, напротив того, при рассмотрении длительных периодов в его развитии и исторических итогов этого развития.

Мифологическая материя исторического процесса одновременно и очевидна, и трудноуловима. Где, например, в повседневной, непосредственной действительности средневекового феодального общества, грубого, жестокого и невежественного, вечно полуголодного и ленивого, размещаются рыцарская честь и рыцарская любовь, пламенная христианская вера, идеал вассального служения до гроба? Казалось бы, нигде, все это красивые выдумки, существовавшие только в грезах, мистических видениях и рыцарских романах, да веками позже — в сочинениях романтиков. Так-то оно, может быть, и так, но ведь и вполне реального, доподлинного средневековья без них нет. Непонятым остается многое в крестовых походах, а значит, в их экономических и социальных последствиях, в народных ересьях, окрасивших политическую жизнь целых стран, в практических трудностях перехода от феодального мира к миру государственной централизации, да и сам миф Средних веков, воссозданный романтиками, как выясняется при ближайшем рассмотрении, не такая уж выдумка, а, скорее, сублимация реальности, и дальнейшая жизнь его в духовной традиции Европы — тоже вполне объективный факт, раз он отозвался столь многим в политических судьбах европейских стран в Новое время. Наследие каждого общества — часть его мифа, а тем самым и его истории.

Только и именно в античности, однако, миф укоренен так глубоко в исторической жизни, так сильно пронизывает все ее сферы. Причины этого были указаны в предыдущих очерках в иной связи. Припомним их. Античный мир принадлежал к тому этапу исторического развития человечества, на котором у общества еще не было возможности развиваться за пределы такого простого общественного организма, как гражданская община. Община поэтому постоянно в том или ином виде сохранялась, а нормы, на которых она была основана, играли роль сложившегося в прошлом, но неизменно актуального и непреложного образца. Хозяйственное и социально-политическое развитие, однако, как бы оно ни было ограничено, происходит неизбежно в любых условиях, и именно оно вело к усложнению и обогащению общества, требовало выхода за пределы общины, разлагало ее и подрывало ее нормы. В результате они выступали одновременно как постоянно ускользающая из жизни и постоянно в ней присутствующая и ее формирующая сила — т. е. как миф. Историческая действительность античного Рима существует лишь как живое неустойчивое противоречие эмпирии и мифа, как их пластическое, осязаемое, непосредственное единство.

Два примера в пояснение и подтверждение сказанного.

Важным слагаемым римского мифа были идеализация бедности и осуждение богатства. В государстве, ведшем непрерывные войны, накопившем неслыханные сокровища и ставившем общественное прод-

вижение человека в прямую зависимость от его ценза, т. е. от его умения обогащаться, осуждение стяжательства должно было выглядеть противоестественным вздором. Должно было, но, по-видимому, так не выглядело. Высокий ценз был не только преимуществом, но и обязанностью взысканного судьбой человека больше отдавать государству — лишение *equus publicus*, например, воспринималось не как облегчение, а как позор<sup>3</sup>. С того момента как богатство Рима стало очевидным фактором государственной жизни и до самого конца Республики, периодически принимались законы, делавшие обязательным ограничение личных расходов<sup>4</sup>. Их повторяемость показывает, что они не исполнялись, но ведь что-то заставляло их систематически принимать. Моралисты и историки прославляли героев Рима за бедность; в доказательство принято было говорить, что их земельный надел составлял семь югеров (примерно 385×500 м)<sup>5</sup>. На фоне имений, занимавших тысячи югеров<sup>6</sup>, это выглядело не более чем назидательной басней; но при выводе колоний, как выясняется, размер предоставляемых участков был действительно ориентирован примерно на те же семь югеров<sup>7</sup>, т. е. цифра эта была не выдуманной, а отражала некоторую норму — психологическую и в то же время реальную. По-видимому, бесспорны неоднократно засвидетельствованные демонстративные отказы полководцев использовать военную добычу для личного обогащения<sup>8</sup> — бессеребренничество могло, следовательно, играть роль не только идеала, но в определенных случаях также и регулятора практического поведения — одно было неотделимо от другого.

Точно так же обстоит дело и с еще одной стороной римского мифа. Войны здесь велись всегда и носили грабительский характер, договоры и право на жизнь добровольно сдавшихся сплошь да рядом не соблюдались — такие факты засвидетельствованы неоднократно и сомнений не вызывают. Да, но Сципион Старший казнил трибунов, допустивших разграбление сдавшегося города, и лишил добычи всю армию<sup>9</sup>; римский полководец, добившийся победы тем, что отравил колодцы в землях врага, до конца жизни был окружен общим презрением<sup>10</sup>, никто не стал покупать рабов, захваченных при взятии италийского города<sup>11</sup>. Удачливый полководец считал для себя обязательным построить для родного города водопровод, храм, театр или библиотеку, случаи уклонения от очень обременительных обязанностей в городском самоуправлении отмечаются лишь со II в. н. э., да и то преимущественно на грекоязычном востоке. Прославляемую республику обкрадывали, но оставляемым на века итогом жизни римлянина был *cursus*, т. е. перечень того, что он достиг на службе той же республике, и т. д. и т. п.

Благодаря особенностям биографии Ливия и эпохи, им пережитой, благодаря тому, что на его глазах республика все более явственно стано-

вилась метареальностью, лежавшей вне и над жизнью и в то же время эту жизнь пронизывавшей и формировавшей, он сумел глубже и ярче, чем кто бы то ни было из древних авторов, раскрыть внутреннюю субстанцию истории родного города, ее исток и тайну — римский миф.

Такой характер «Истории Рима от основания Города» определяет ее актуальность сегодня — актуальность прежде всего методологическую, научно-познавательную. Чтобы оценить ее, обратим внимание на существующее издавна в европейской культурной традиции противоречие двух обликов Рима — эталона гражданской доблести, героического патриотизма, преданности свободе и законам государства, и государства совсем иного свойства — агрессора, хищнически эксплуатировавшего покоренные народы, закреплявшего свое господство сложной системой законов и оправдывавшего его нравственной риторикой «после того, как захватнические аппетиты были удовлетворены»<sup>12</sup>. Первое из этих представлений, характерное для XVI–XVIII вв., опиралось на самосознание римлян, на образное восприятие их истории и ее деятелей, не предполагало исторической разноприродности изучаемого мира и мира историка, а предполагало, напротив того, способность рассматривать героев Древнего Рима, его учреждения и нравы в свете актуального общественно-политического и культурного опыта. Второе из указанных представлений, характерное для положительной науки XIX–XX вв., основывалось на анализе максимального числа объективных данных, требовало обнаружения общих закономерностей, придающих этим данным системный смысл, и предполагало критический взгляд на прошлое как на объект, — взгляд, независимый от субъективности историка и от пережитого им опыта. Традиционная точка зрения состоит в том, что подходы эти исключают друг друга, ибо только научно-дискурсивный анализ объективных данных ведет к истине, исторические же реконструкции, исходящие из самосознания прошлого и его мифов, — лишь препятствие на этом пути<sup>13</sup>.

Феномен Тита Ливия доказывает, что противопоставление это неравномерно, что историческая действительность — это всегда и эмпирия и миф, а познание ее требует проникновения в объективные закономерности, видные как бы извне, но также и во внутреннее самосознание народа в их взаимоопосредовании и единстве. Можно, конечно, объяснять их соединение как искусственное смешение исторической достоверности с химерами: законы против роскоши действительно были, но ведь не выполнялись — так стоит ли их учитывать в серьезном историческом анализе? Богатство вызывало осуждение, но ведь только моральное, награбленным же преспокойно пользовались — вот что единственно важно. Обряды очищения граждан, запятнавших себя убийствами и жестокостью на войне, в самом деле представлены у

римлян с такой полнотой и обязательностью, каких не знал ни один древний народ, но обряды обрядами, а войны все с теми же жестокостями и убийствами велись ежегодно. Верно, что некогда Сципион наказал армию за нарушение военного права, — зато сколько полководцев этого не делали... История — это лишь то, что «было на самом деле», *wie es eigentlich gewesen*<sup>14</sup>, и именно ее мы обязаны исследовать и восстановить, а не неуловимый воздух истории — мысли, нормы, стремления, репутации, привычки и вкусы — все, из чего соткан миф времени.

Строгость исторического исследования и точность выводов действительно составляют неперенменные условия работы историка, и первостепенная задача его действительно состоит в том, чтобы установить, «как было оно на самом деле». Только очень важно понять, что эти строгость и точность обеспечиваются не умением пройти сквозь сознание времени, сквозь его образы и мифы к «некоторому числу очевидных истин»<sup>15</sup>, и состоят не в том, чтобы исторических деятелей прошлого «выводить на чистую воду» и «срывать с них все и всяческие маски», изъясв их для этого из атмосферы мифа, а в том, чтобы понять самое эту атмосферу, в ней увидеть людей и события, ибо лишь так-то ведь и «было оно на самом деле». Труд Ливия актуален прежде всего потому, что соответствует этой задаче.

Актуален этот труд и еще в одном отношении — культурно-философском. В глазах каждого следующего поколения ушедшая историческая эпоха живет как амальгама собственного мифа и мифа того времени, которое на нее смотрит, ее истолковывает, вводит ее в свою культуру. Соответственно, наше время читает римский миф Тита Ливия на свой лад, и было бы важно понять, на какой именно.

Мифы XX столетия, через которые воспринимается сегодня повествование Ливия, многообразны, но все объединены одним общим решающим историческим свойством, тысячи раз описанным, миллионы раз пережитым: личность и целое (общественное, природное, мировое) в них деполяризованы, разведены; экзистенциальный, замкнутый в своей субъективности человек и отчужденный в своей всеобщности жизненный мир вечно противостоят друг другу, в то же время остро сознавая недопустимость этого противостояния и стремясь его преодолеть. Не имея опоры в глубинах действительности, в ее реальной структуре, их единство недостижимо и становится мифом. Сегодня оно предстает в формах ярких и странных, извращенных и трагических — в ревущем единстве стадионов и политических митингов, в культе вождей и звезд кино или эстрады, в погружении во все и всех сливающую воедино национальную или религиозную экстастику<sup>16</sup>. Нельзя не видеть, однако, что это лишь результат и крайнее проявление несравненно более широких процессов, уходящих корнями далеко в XIX столетие.

Именно тогда-то начал складываться единый для всего дрящегося до сих пор послеромантического периода *общий миф эпохи*.

Он с самого начала строился на том, что личность *должна* обрести себя в целом, целое *должно* воплотиться в отдельных, живых людях; но непрерывно возвращающейся реальностью оставалась все та же трихотомия: либо самоутверждающаяся давящая мощь обезличенного целого, либо самоуправство субъективности, будь то распоясавшейся и шумной, будь то самопогруженной и тихой — маргинальной, либо, наконец, прекраснотушное упование на гармоничное сочетание того и другого в идеальном и несколько придуманном единстве «поверх барьеров». Про это, в сущности, вся философия, начиная с Кьеркегора, вся литература, начиная с Достоевского, все религиозные поиски, начиная с Вл. Соловьева, вся наука об обществе, начиная с Дюркгейма, вся поэзия, начиная с символистов и Рильке. Прислушаемся... «Порой испытываешь чувства бесконечной грусти, видя, как одиноко в мире человеческое существо»<sup>17</sup>. «Разрозненность преодолевается стремлением к единству... Этот один, этот трансцендентальный субъект знания уже есть не человеческий индивид, но целокупное человечество, Душа мира»<sup>18</sup>. «Слишком свободен стал человек, слишком опустошен своей пустой свободой, слишком обессилен своей критической эпохой. И затосковал человек в своем творчестве по органичности, по синтезу»<sup>19</sup>.

Сопоставление римского мифа и мифа современного общества прежде всего выявляет по контрасту ту специфическую природу созданного Ливием образа, которую можно назвать классической. Если употреблять это слово не как оценку, а как термин, оно обозначает строй жизни и тип творчества, при котором общественные противоречия, и в частности противоречие личности и гражданского целого, остаются в состоянии неустойчивого, противоречивого единства обоих образующих его полюсов. «Субстанция государственной жизни была столь же погружена в индивидов, как и последние искали свою собственную свободу только во всеобщих задачах целого»<sup>20</sup>. Слова эти, сказанные об античной Греции, полностью приложимы к Древнему Риму, если не к его повседневной действительности, то к его мифу — мы убедились в этом, размышляя о чертах образа, созданного Титом Ливием. Единство индивида и рода задано самой природой человека как общественного животного, и сильная реализация этого единства в противоречивости и самостоятельности его полюсов составляет общую конечную норму бытия homo humanus. Поэтому при всей реальной жестокости римских нравов, при всем неравенстве граждан и грубо материальных мотивах их поведения миф, переданный Европе в «Истории Рима от основания Города» и так долго живший в ее культуре, обнаруживает на фоне мифов современного мира свой не только классический, но тем самым и гуманистический характер.

Этот же классический гуманизм Ливиева повествования, однако, в свете всего сказанного выше о современной культуре, сквозь которую мы его рассматриваем, предстает и как препятствие для восприятия — роль того синтеза, о котором сегодня «затосковал человек», ни он, ни римская античность в целом, как тип культуры, выполнить не в состоянии. Это вторая сторона созданного Ливием мифа, которую следует иметь в виду, говоря о его значении в наши дни. Прямая и простая адекватность грека или римлянина обществу в целом, которая образовывала суть античной классики в жизни и в культуре, не может вернуться в качестве основы мироощущения современного человека, слишком субъективного и самостоятельного, чтобы растворяться в гражданском коллективе и исчерпываться его интересами. Это не его вина и даже не его беда — это просто его историческое свойство. Следствие такого свойства состоит в некоторой отчужденности, которую мы чувствуем, читая книгу Тита Ливия: она скорее величественна и красива, нежели целительна, волнует нашу «тоску по органичности, по синтезу», но для утоления ее приходится искать источники, ближе расположенные. «Римская история больше не для нашего времени. Мы стали слишком гуманны, и триумфы Цезаря не могут не отталкивать нас», — сказал Гёте еще в 1824 году<sup>21</sup>.

Есть тут, однако, и еще одна сторона. В «Истории Рима от основания Города» классический принцип воплощен не только в идеализованном образе государства и его истории, не только в поведении героев. Он присутствует также в отношении автора со своим материалом — отдельного, данного, думающего и чувствующего человека с общенародной эпопеей, которую он создает, и эта сторона Ливиевой классики больше, чем какая-либо другая, сохраняет для современного читателя свое значение и обаяние.

«При описании древних событий я не знаю, каким образом и у меня образ мыслей становится древним, и какое-то чувство благоговения препятствует мне считать не стоящим занесения в мою летопись того, что те мудрейшие мужи признавали заслуживающим внимания государства» (XIII, 13, 1—2). Вдумаемся в эти строки. Сведения, которые «мудрейшие мужи признавали заслуживающими внимания государства», — это записи понтификальной Великой летописи, объективные, сухие и безличные. Ливий ценит традицию, в них закреплённую, хотел бы воспроизвести ее и потому свое сочинение называет здесь тоже «летопись», *annales*. Но он уже другой человек. Общеримское «мы», от имени которого ему так хочется вести свой рассказ, осложнено постоянно в нем живущим «я»: «моя летопись», «мой образ мыслей», «препятствует мне считать». Но это «я» не только не разрушает «мы», как будет у Сенеки, и даже не обособляется от него внутренне, как было у Саллюстия и будет у Тацита, а как бы слива-



ется с ним, гармонически и почтительно: «какое-то чувство благоговения» — это в латинском подлиннике *et quaedam religio tenet*, т. е. буквально: «...и забирает меня некая благоговейная связь».

Эта «благоговейная связь» охватывает все сочинение. Она живет в языке — уже не примитивном, жестком языке древних документов, эпитафий и сакральных текстов, говорящих от лица государства, рода или семьи и в этом смысле как бы не имеющих автора, но и не в изощренном, стилизованном, самоценном языке модных мастеров слова эпохи Цезаря и Августа, так называемых азианистов и аттикистов, у которых самовыражению авторского «я» подчинено вообще все<sup>22</sup>. Проза «Истории Рима от основания Города» ориентирована на язык Цицерона и следует его наставлениям, согласно которым стиль должен быть «ровным, плавным, текущим со спокойной размеренностью»<sup>23</sup>: «слог такого рода, как говорится, течет единым потоком, ничем не проявляясь, кроме легкости и равномерности, — разве что вплетет, как в венок, несколько бутонов, приукрашивая речь скромным убранством слов и мыслей»<sup>24</sup>.

За этот стиль, где в спокойном, объективном течении рассказа так различим авторский тон, хотя он как будто бы и «ничем не проявляется, кроме легкости и равномерности», особенно ценили Ливия в древности. Среди сохранившихся отзывов о нем римских писателей полностью преобладают те, что касаются стиля, — как правило, восторженные и, как правило, говорящие не о языке в прямом смысле слова, а о неповторимом тоне книги, сохранившем тип человека и как бы весь особый его жизненный облик. «Стиль Ливия отличается сладостной молочно-белой полнотой... И Геродот не считал бы недостойным себя равняться с Титом Ливием, настолько исполнен его рассказ удивительной, радостной и спокойной привлекательности, ясной и искренней простоты, а когда дело касается речей, в них он красноречив настолько, что и описать невозможно»<sup>25</sup>.

Та же «благоговейная связь», объемлющая личность автора и народный эпос, им излагаемый, обнаруживается в местах текста, где Ливий прерывает рассказ, чтобы высказаться прямо от себя. «Я-места» (*Ich-Stellen*) называли их старые немецкие филологи. Таких мест очень много, и читатель без труда обнаружит их на страницах книги. В большинстве случаев автор вмешивается, чтобы высказать свое отношение к использованным источникам — свое доверие к одним, неодобрение других, неуверенность в том, какому из них отдать предпочтение. Мы видели, что по критериям академической науки Нового времени такие признания, не подтверждаемые обращением к первоисточникам, должны рассматриваться как недостатки. Но мы видели также, что не стоит прилагать к Ливию академические критерии — он

стоит даже не выше их, а вне их. И в откровенности, в простоте этих признаний достойно внимания не нарушение норм университетской науки (или, во всяком случае, не только оно), а то чувство полной принадлежности историка к истории своего народа, которое позволяет ему с наивной и подкупающей естественностью делиться с читателем своими мыслями и сомнениями посреди рассказа о великих событиях и речей знаменитых героев.

Но есть в «Истории Рима от основания Города» *Ich-Stellen* и другого свойства. Не мнением о достоверности прочитанных книг доверительно делится Ливий с читателем, а чувствами и переживаниями. Они никогда не становятся сентиментальными, не противопоставляют автора историческому материалу, а к этому материалу относятся и в нем растворены. Это не лирические отступления, а отступления лиро-эпические с равным акцентом на обоих словах... «Завершив рассказ о Пунической войне, я испытываю такое же облегчение, как если бы сам перенес ее труды и опасности. Конечно, тому, кто дерзко замыслил поведать обо всех деяниях римлян, не подобало бы жаловаться на усталость, окончив рассказ лишь о части из них, но едва вспомню, что шестьдесят три года от Первой Пунической войны до исхода Второй заняли у меня столько же книг, сколько четыреста восемьдесят восемь лет от основания Города до консульства Аппия Клавдия, первого начавшего воевать с Карфагеном, я начинаю чувствовать себя подобно человеку, вступившему в море, — после первых шагов по прибрежной отмели под ногами разверзается пучина, уходит куда-то дно, все более необъятным предстает задуманное дело и непрестанно разрастается труд. на первых порах, казалось, сокращавшийся по мере продвижения вперед» (XXXI, 1, 1–2).

Ливия читают без малого две тысячи лет — римские императоры и итальянские гуманисты, герои-революционеры и старые университетские профессора. Последние нам все же ближе остальных — по времени, по интересам, по складу мысли. Да будет же нам дозволено завершить эти заметки словами одного из них. «И еще нечто должно быть положено на чашу весов, склоняя их в пользу нашего автора, — веяние его души, разлитое, подобно тонкому аромату, по страницам книги. Тепло души позволяет ему говорить о мире преданий и легенд с милой простотой, избегая всякого умничанья, позволяет ему вжиться в величественные религиозные воззрения былых времен и поведать о них набожно и скромно, позволяет обнаружить в истории не одни лишь сухие факты, а и образцы, которым мы можем следовать, и тем сообщить своему труду также нравственный смысл»<sup>26</sup>.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Такое понимание общественно-исторического мифа, с теми или иными вариациями, широко распространено в современной философской социологии. См. в первую очередь *Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse*. Paris, 1912; *Ruber M. Dialogisches Leben*. Jerusalem, 1947; *Wiener A. J. Magnificent Myth*. New York, 1978. См. также критический разбор: *Галаганова С. Учение Э. Винера о мифе как средстве массовой коммуникации // Теории, школы, концепции (критические анализы). Художественная коммуникация и семиотика*. М., 1986, а также материалы книги: *Гуревич П. С. Социальная мифология*. М., 1983.
- <sup>2</sup> Наглядной иллюстрацией к этой черте общественно-исторического мифа может служить приводимая Ливием (XLII, 34) речь пожилого крестьянина Спурия Лигустина, который, рассказав о своей крайней бедности и об усталости от двадцати двух уже проделанных боевых кампаний, тем не менее объявляет о готовности и дальше служить республике и призывает сограждан «отдать себя в распоряжение сената и консула и быть всегда там, где вы могли бы с честью защищать родину».
- <sup>3</sup> Именно с этой целью, например, Катон, будучи цензором, лишил коня Луция Сципиона, брата Корнелия Сципиона Африканского Старшего (*Илутарх*. Катон Старший, 18, 1).
- <sup>4</sup> Оппиев закон 215 г., Орхиев 182-го, Фанниев 161-го, Дидиев 143-го, Лициниев (ок. 131-го?), Эмилиев (ок. 115-го?). Обсуждение очередного закона этого типа отмечается в середине 50-х гг. до н. э.
- <sup>5</sup> Таков был размер участка Аквилія Регула, Цинцинната, Мания Курия, см. у Валерия Максима (IV, 3, 5; 4, 6; 4, 7).
- <sup>6</sup> *John K.-P., Köhn J., Weber V. Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des Römischen Reiches*. Berlin, 1983, S. 112 ff.
- <sup>7</sup> 2000 колонистов, переселенных в 183 г. до н. э. в Мутину, получили по 5 югеров, в Парме — по 8 югеров, в Пизавре в 184 г. до н. э. — по 6, в Грависках в 181 г. до н. э. — по 5. См.: *Заборовский Я. Ю. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике*. Львов, 1985, с. 97.
- <sup>8</sup> *Илутарх*. Катон Старший, 10; он же. Эмилий Павел, 28; *Авл Геллий*, XV, 12 (о Гае Гракхе).
- <sup>9</sup> *Аппиан*. Ливийская война, 15.
- <sup>10</sup> *Флор*, I, 35, 7. Речь идет о войне, которую вел в Азии консул Аквиллий против Аристоники в 129 г. до н. э.
- <sup>11</sup> Согласно сообщению Тацита о взятии Кремоны в 69 г. н. э. (История, III, 34, 2). Для более ранних периодов данные неясны, см.: *Brunt P. A. Italian Manpower*. Oxford, 1971.
- <sup>12</sup> *Harris W. War and Imperialism in Republican Rome 327—70 B. C.* Oxford, 1979 (reprint 1986).

- <sup>13</sup> Один из самых выдающихся исследователей античности в наше время М. Финли писал об историках, опирающихся на данные римского мифа: «Они внесли в науку столько от Алисы в Стране чудес, что возникает необходимость ясно высказать некоторое число очевидных истин» (*Finley M. I. Empire in the Greco-Roman World // Greece and Rome, 2nd Series, vol. XXV, No 1, April, 1978, p. 1.*
- <sup>14</sup> Знаменитый афоризм знаменитого немецкого историка Леопольда фон Ранке (1795—1886).
- <sup>15</sup> См. примеч. 13.
- <sup>16</sup> Философско-публицистическая литература последних десятилетий, так видящая наше время, необозрима. Ярче и точнее многих других работы П. Бергера; хорошее представление об общей позиции этого автора дает публикация, ему посвященная, в журнале «Социологические исследования» (1990, № 7, с. 119—141.
- <sup>17</sup> *Kierkegaard S. Either / Or., vol. I. Princeton, 1959, p. 21.*
- <sup>18</sup> *Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990, с. 98.*
- <sup>19</sup> *Бердяев Н. Кризис искусства. М., 1918 (репринт 1990), с. 4—5.*
- <sup>20</sup> *Гегель Г. В. Ф. Эстетика, т. II. М., 1969, с. 149.*
- <sup>21</sup> Из беседы с Эккерманом 24 ноября 1824 г. Несколько месяцев спустя, 9 марта 1825 г., Бестужев писал Пушкину: «Мы не греки и не римляне, и для нас другие сказки надобны».
- <sup>22</sup> Цицерон. Брут..., 325 и след.; Оратор, 25 и след.; *Квинтилиан*, XII, 10, 16—17. Классические характеристики и оценка обоих направлений и их соотношения в работах: *Norden E. Die antike Kunstprosa vom VI. Jahrhundert vor Christi bis in die Zeit der Renaissance, Bd I—II. Leipzig, 1898; Wilamowitz-Moellendorff U. von. Asianismus und Atticismus // Kleine Schriften, Bd III. Berlin, 1969, S. 223 ff.; см. также: Гаспаров М. Л. Цицерон и античная риторика // Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972.*
- <sup>23</sup> Цицерон. Об ораторе, II, 64, ср. Оратор, 66.
- <sup>24</sup> Он же. Оратор, 21.
- <sup>25</sup> *Квинтилиан*, X, 1, 32 и 101. См. также: *Тацит*. Жизнеописание Агриколы, 10; *Анналы* IV, 34; *Сенека*. О гневе, I, 20; *Квинтилиан*, VIII, 1, 3; *Сенека-ритор*. Суазории, VI, 22.
- <sup>26</sup> *Schanz M. Geschichte der römischen Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinians, 2. Teil, 1. Hälfte. München, 1899, S. 265.*

---

## РИМСКИЙ ГРАЖДАНИН КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ\*

...18 сентября 96 г. в своей спальне был убит приближенными прицепс Домициан — последний из императоров Флавиев. Верховная власть оказалась в руках престарелого сенатора Кокция Нервы — основателя династии Антонинов. Правление Домициана было временем роста и процветания империи. Он укрепил армию, много строил, «а столичных магистратов и провинциальных наместников, — как пишет современник, — держал в узде так крепко, что никогда они не были честнее и справедливее». И в то же время Домициан был извращенным чудовищем, а большая часть его правления — временем жесточайшего террора, направленного против сенаторов и полководцев, философов и писателей, против просто порядочных людей. Государственной необходимости в таком терроре не было. Борьба за власть между сенатской оппозицией и исторически прогрессивным императорским режимом была решена много десятилетий до того; новому строю никто всерьез не угрожал, и бесконечные пытки и казни, ссылки и убийства производили впечатление удручающей в своем однообразии кровавой вакханалии.

Вопрос о том, какую из этих двух сторон правления Домициана надо было считать более важной и истинной, возникал уже при его жизни и встал особенно остро после его смерти. Вопрос отнюдь не был академиче-

---

\* Мы присутствуем сейчас при новом рождении Корнелия Тацита: после IV, XVI и XVIII вв. — периодов пристального и живого внимания к римскому историку, разделенных столетиями забвения или кропотливого изучения частностей, — он вновь перерастает цеховые рамки науки о классической древности и начинает вызывать массовый интерес. Может быть, понятным поэтому покажется желание познакомиться с ним не академически, а для всех, написать не статью, а этюд, эссе, литературный портрет. В выходящих сейчас десятках книг и сотнях статей о Таците проблемы его творчества определяются по-разному; многие из высказанных точек зрения — прежде всего Ф. Клингнера и Р. Сайма — автором предлагаемого этюда учтены и использованы, но главное внимание читателя ему хотелось обратить на вопрос, который рассматривается в литературе не всегда и неполно, — Тацит и проблема исторического развития, второй — Тацит и углубляющееся отделение государства от человека в эпоху Ранней империи. Литературное эссе не может содержать детальную разработку такого рода проблем, но его свободная форма помогает представить их непосредственно, в их человеческой осязаемости, как живые вопросы, над которыми бился живой человек.

ским, ибо из него с необходимостью вытекал другой, прямой и личный, — кем же были те, кто пользовался доверием Домициана, командовал его легионами и флотами, строил дороги, управлял финансами, укреплял границы, — подлыми пособниками кровавого тирана или честными, молча делавшими свое дело солдатами и строителями империи? Большинство современников над этими проблемами не задумывалось. Одни смотрели в будущее и готовились выполнять приказы нового императора так же, как выполняли приказы старого. Другие смотрели не в будущее, а в прошлое — храбро поносили ненавистного тирана, вследствие смерти безопасного, рассказывали о своей приязни к замученным и казненным, на которых еще так недавно писали доносы.

Однако в Древнем Риме, как и во всякую эпоху, были люди, которым хочется во всем дойти до самой сути. Они не умели растворяться — ни в бездумной суете повседневных дел, ни в сладком сознании собственной оппозиционности, волнующей и безопасной. Им надо было во что бы то ни стало понять характер и смысл окружающих событий, дать им по возможности объективную оценку и, исходя из нее, найти на дальнейшее нравственно удовлетворительную линию поведения. Одного из таких людей мы знаем. Это и был Корнелий Тацит, сорокалетний сенатор, консуляр и знаменитый в ту пору судебный оратор.

Провинциал по происхождению, представитель новой знати, не за страх, а за совесть служившей императорам Флавиям, он всей своей блестящей карьерой был обязан Домициану, его отцу и брату. Долгое время Тацит принимал эту карьеру как награду за свою любовь к Риму и службу ему; теперь он мучительно старался понять, каков же все-таки был объективный смысл его политической и государственной деятельности. Чтобы ответить на этот вопрос, он написал в конце 97-го и начале 98 г. свою первую книгу — «Жизнеописание Юлия Агриколы».

Агрикола был тестем Тацита, умершим до того за четыре года. Он тоже происходил из новой провинциальной знати, был честен и деловит, в меру умен и не слишком культурен, служил всю жизнь верой и правдой своим императорам, командовал легионом, был консулом, управлял Британией и привел ее в покорность Риму. Домициан его недолюбливал и унижал, но Агрикола до самой смерти не нарушил верности своему государю — и счастливо избег преследований. Ответ, который давала жизнь такого человека на волновавший Тацита вопрос, был ясен. Тацит глубоко ненавидел Домициана, был близок со многими жертвами его террора и искренне уважал их, но он верил, что кроме отдельных людей и чувств к ним существует *res publica* — народ и государство, которому надо служить, а так как императорская власть была реальной политической формой этого государства, то надо было служить и ей. Как настоящий римский гражданин, он понимал,

что человек — часть организованного общественного целого и вне ответственности перед этим целым рушатся и утрачивают смысл все общественные ценности. Обо всем этом он сказал на последних страницах своей книги: «Пусть те, кто привык восхищаться противозаконным и недозволенным, знают, что и при дурных государях могут существовать великие люди, что послушание и скромность, в сочетании с энергией и выдержкой, заслуживают большей хвалы, чем способность эффектно умереть без всякой пользы для народа и его дела».

Найденный ответ был ясен и прост, но только он не был настоящим ответом, и Тацит это чувствовал. В самом деле, о каком решении нравственной проблемы могла идти речь, если служение государству, как выяснилось, было неотделимо от служения тирану и его порочным прихотям, если оно требовало забвения всего, что искони считалось в Риме правильным и честным. Не последовательней ли было в этих условиях отказаться вообще от всякого «служения», от всякой государственной деятельности, удалиться, как выражались в кружке Тацита, «под сень дубрав» — *inter nemora et lucos*? В 98 г. Тацит кончает свою вторую книгу, известную под названием «Германия». — очерк, посвященный общественному строю, религии и нравам древних германцев, которые, как казалось из Рима, действительно жили под сенью дубрав и не знали ни государства, ни насилия и жестокостей, с ним связанных.

В пору острого кризиса большой культурно-исторической эпохи обычно возникает мысль о порочности самой культуры, о необходимости вернуться от цивилизации к природе, от разума к интуиции, от трудной самостоятельности индивидуальной духовной жизни к здоровой примитивности массовых реакций. Именно по этой линии и шел тот значительный интерес, который вызывали в Риме эпохи Флавиев Германия и населявшие ее племена. Книга Тацита вносит в это настроение совершенно новую ноту. В ней действительно много говорится о суровой простоте германцев и их образа жизни, об их воинской доблести, о нравственности их женщин, храбрости юношей. Но по мере чтения становится все более очевидным, что все эти достоинства порождены неразвитостью общественных отношений у германцев, их бедностью, примитивностью их мыслей и чувств. Жизнь их проста потому, что они чужды всего отвлеченного и сосредоточены, как животные, лишь на удовлетворении простейших бытовых потребностей. Суров их образ жизни, так как они слишком ленивы и невежественны, чтобы создать комфорт, освобождающий время для размышления и творчества. Они доблестные воины, но прежде всего потому, что питают отвращение к труду и предпочитают грабеж. Словом, их достоинства и недостатки порождены их варварством. Идеализация же вар-

варства, а тем более капитуляция перед ним недопустимы никогда и ни при каких условиях. Тацит это понимал.

На заднем плане книги, в ее подтексте, неизменно присутствуют римляне. Тацит часто пишет о добродетелях германцев явно лишь для того, чтобы оттенить пороки своих соотечественников — лживых и коварных, развращенных деньгами, алчных и жестоких. Но пороки эти неотделимы от того, что образует главную силу римлян в их вековом конфликте с германцами, — от богатства их державы, ее развитого государственного строя, от сложной и утонченной цивилизации.

Оказывалось, что германцы хороши лишь потому, что плохи, а римляне плохи лишь потому, что хороши. Отношение между государственной цивилизацией и патриархально-родовым состоянием предстает здесь во всей его диалектической сложности, в его живых противоречиях. Среди этих противоречий было одно, имевшее особое значение для развития римской общественной мысли; глубокий и оригинальный его анализ — еще одно важное достижение Тацита в «Германии».

Германия играла по отношению к Риму роль антимира. Единственная в Европе, она в течение уже двух столетий оказывала Риму все возрастающее сопротивление, и через несколько веков ее племенам предстояло утвердиться на развалинах империи. В ней сосредоточивалось все, что римляне считали себе противоположным, и прежде всего анархическая, дикая свобода, противостоявшая римскому миру организации и государственной дисциплины. Постоянная борьба Рима с германцами и предстает у Тацита в «Германии», равно как и в позднейших произведениях, в виде борьбы двух мировых начал — империи и свободы. Свобода — величайшее благо, которым обладают германцы. Она их воодушевляет, дает силы сопротивляться угнетению, делает непобедимыми. Но она же — их величайшее несчастье, потому что их свобода — это право каждого племени преследовать лишь свою выгоду, это война всех против всех, царство произвола и грубой силы, в котором нет места безопасности и спокойствию, а следовательно, цивилизации и культуре. Свобода — это варварство.

Противостоящая германскому миру Римская империя не знает свободы; в ней царят принуждение и насилие, и вездесущая императорская власть гнетет каждого. Но этой ценой приобретается и несокрушимая военная мощь Рима, и относительный порядок внутри страны, а спокойствие и порядок — это возможность работать, думать и жить. Цивилизация — это государство. Это соотношение свободы и государственного принуждения вскоре войдет в большие исторические сочинения Тацита и образует одну из основ его философии римской истории.

Несмотря на то что по своему материалу «Германия» отличается от всех прочих сочинений Тацита, роль, которую эта книга играет в раз-



витии его мировоззрения, необычайно велика. Она показала, что «удалиться под сень дубрав» от времени и его противоречий не дано никому. Истина, говорила книга, не в том, чтобы выбрать, выбор невозможен, да его, в сущности, и нет; истина в том, чтобы понять реальные противоречия, в которых осуществляются история и жизнь.

В свете этих размышлений простая и удобная жизненная концепция, найденная, казалось бы, в «Агриколе», начинала двоиться. Уже в образе главного героя этой книги чувствуется, как его стремление служить императору для того, чтобы служить Риму, на практике оборачивалось стремлением любой ценой ладить с властями, сохраниться, выжить. Оказывалось, что политическая лояльность плохо согласовывалась с нравственным достоинством. Точно так же жертвы Домицианова террора, рассматривавшиеся с позиций безоговорочной верности императору как пустые фронтеры, при подходе к ним с нравственной точки зрения выступали как напрасно загубленные мужественные и благородные люди. Впадая в противоречие с самим собой, Тацит признает в «Агриколе» и эту их роль. Вырисовывающийся здесь конфликт между нравственным и политическим подходом к историческим проблемам находит свое полное развитие и разрешение в написанной несколькими годами позже третьей книге Тацита — в его гениальном «Диалоге об ораторах».

В разговоре, излагаемом в этом произведении, принимают участие несколько человек. Самый яркий среди них — преуспевающий судебный оратор Апр. Галл по происхождению, смолоду перебравшийся в Рим «на ловлю счастья и чинов», трезвый до цинизма, бесцеремонный, талантливый, с железной хваткой, он чужд всяких размышлений о нравственном упадке своего времени, о долге перед Римом и его великим прошлым; он жадно любит окружающую его «живую жизнь» и все блага, которые она может ему дать. Поэтому он считает высшим и лучшим видом деятельности судебное красноречие, приносящее успех, власть, почет, деньги, наслаждения, и не в состоянии понять своего собеседника Матерна, отказавшегося от карьеры адвоката и обратившегося к сочинению трагедий о республиканском Риме и его героях, — трагедий, обличающих нынешних императоров и противопоставляющих жалкой прозе современной действительности высокую идеальную норму. Аргументы, приводимые в этом споре Апром, содержат многие мысли, знакомые нам по биографии Агриколы: историческая благотворность нового строя, утопичность и бесперспективность сопротивления ему, превосходство деятелей новой формации над изжившей себя, отгородившейся от жизни и враждебной всякому развитию старой аристократией. Агрикола делал из этих мыслей вывод о необходимости беззаветного служения императорской власти, но из беззаветного служения ничего не получилось — оно, как мы видели, вело либо к опале, либо к необходимости хитрить и приспосабливать-

ся. Роль, которую люди типа Апра играли в обществе, их верность «живой жизни», весь их психический склад исключали для них возможность примириться с положением опальных. Они отбросили иллюзии честного и недалекого Агриколы и довели искусство хитрить, приспособливаться и любой ценой вырывать у жизни ее блага до логического конца; в образе Апра ясно ощущаются черты знаменитых доносчиков и всесильных временщиков флавианского времени — плотоядная веселость Вибия Криспа, разнузданное честолюбие Эприя Марцелла, хищный темперамент Аквилія Регула.

Означал ли этот вывод, что Тацит убедился в правоте противников принцепса и стал считать их линию поведения наиболее достойной и правильной? Нет. Матерн, упрямо пишущий одну оппозиционную трагедию за другой, подвергающийся за них преследованиям, но продолжающий славить никому не нужных героев древней, отмершей и умершей республики, ничего не может противопоставить аргументации Апра. Оппозиция к прогрессивной в принципе императорской власти ведет его в оппозицию к развитию истории, к интересам современного общества, к жизни в целом.

Понимание нравственного смысла исторического развития — едва ли не самое важное в творчестве Тацита. Зародившись в «Германии», окончательно сложившись в «Диалоге об ораторах», мысли, связанные с этой проблемой, развиваются им в последующих крупных произведениях. Суть размышлений сводилась к следующему.

Наблюдения Тацита над прошлым и настоящим Рима показывали, что, вопреки убеждениям консерваторов республиканской поры, прогрессивное развитие общества существует, но только оно не укладывается в рамки простого противопоставления «хорошо» и «плохо». Движение вперед есть не только приобретение, но и потеря — гибель привычных форм быта, культурных и нравственных традиций, обжитых и близких форм родной истории; не только потеря, но и приобретение — выход на историческую арену новых молодых сил, несущих с собой новые ценности, слитых с жизнью и воплощающих ее движение.

Это убеждение вытекало из всего опыта Тацита как человека и историка. Главное содержание описанного им периода состояло в переходе Рима от республики к империи. Сопоставление этих двух форм правления постоянно присутствует в его книгах. Оно ведется прежде всего по линии отношений человека с государством при Республике и при Империи. Республика для Тацита — это время, когда люди, образовывавшие господствующий слой Римского государства, относились к нему как к кровному, непосредственно личному делу — в государственной деятельности видели смысл своего существования и оценивали человека степенью и характером его участия в общественной жизни.

Но поэтому же они как свою собственную расхищали государственную казну, растрачивали силы республики в личном соперничестве, беззастенчиво грабили провинции.

В сменившей республику империи главное для Тацита и состояло в ликвидации общественного хаоса, в организации и порядке, в обеспечении относительно мирного существования граждан. Достигалось это путем сосредоточения власти в руках одного лица — императора, контролировавшего и направлявшего всю жизнь империи. Наступил порядок. Государство перестало быть чьим-либо личным делом, но не поэтому ли никто теперь и не думал о ставших всем посторонними Риме, его государстве и народе? Не поэтому ли теперь каждый заботился только о себе: купец — о своих прибылях, солдат — о том, чтобы побольше награбить, сенатор — как бы угадать, угодить, урвать? Вопрос о благе и зле, которые несет с собой историческое развитие, неизбежно вел к вопросу об отношениях личности и государства, и именно в него, в постижение подлинного характера современного государства, упирались все поиски нравственных критериев человеческого поведения. В поздних крупных произведениях Тацита проблема прогресса постепенно перерастает в проблему отчужденной империи.

С ней, с этой проблемой, мы встречаемся уже в самом начале «Истории», созданной Тацитом в первом десятилетии II в. Перед нами общее «неведение государственных дел, которые люди начали считать для себя посторонними», отсутствие серьезного, государственного отношения к императорской власти, чьи сторонники выступают как «льстецы», а противники — как «хулители», враждебное безразличие большинства общества к претендентам на престол. Теперь, однако, Тацит видит свою задачу уже не в том, чтобы выбрать среди всего этого наиболее близкую себе линию поведения; его цель — познать ход событий, «не только их внешнее течение, но также их внутренний смысл и причины, их породившие».

Внешний ход событий флавийской эпохи, изображенных Тацитом, мрачен. «История» — книга о катастрофе, о глубочайшем политическом и духовном кризисе империи. В чем же «причины, его породившие»? На этот счет не остается никаких сомнений.

...На Форуме, в центре Рима, преторианцы убивают своего императора, престарелого принцепса Гальбу. Народ, переполнивший примыкающие к площади базилики и храмы, взирает на кровавую сцену как на цирковое представление. Все происходящее его не трогает... Горит подожженный солдатами-германцами Капитолийский храм. Граждане ходят по площади, на которой он высился, делают свои дела, молятся своим богам, не обращая никакого внимания на тлеющие развалины здания, официально признанного величайшей святыней

Римского государства... Улицы города стали ареной кровавой борьбы солдат флавианской партии и войск, сохранивших верность императору Вителлию; «бушует битва, падают раненые, а рядом люди купаются в банях или пьянствуют, среди потоков крови и валяющихся мертвых тел разгуливают публичные женщины». Это расхождение повседневных интересов, лишенных всякого общественного содержания, и государственных дел, ничего не говорящих рядовым гражданам, — достояние и особенность эпохи, которой посвящена «История»: «Столкновения вооруженных войск бывали в Риме и раньше, но только теперь появилось это чудовищное равнодушие».

Причины, породившие события, описанные в книге, — здесь. Красной нитью проходит через всю «Историю» мысль о том, что императорская власть обеспечивает относительный порядок и безопасность, но достигает этого путем полного отчуждения себя от непосредственных интересов граждан, что такое разобщение личности и государства разрушает все традиции римской общественной жизни, уничтожает чувство ответственности человека перед обществом, т. е. самую основу нравственного поведения.

Ответ на вопрос, поставленный в 97 г., был, наконец, найден. Работать на *такую* империю или противиться ей — одно и то же. Там, где нельзя служить делу, остается только служение личности — императора или своей собственной, разобрать трудно, да и нет тут настоящей границы. Что же делать человеку, который все это понял, но не принял, который ясно видит, что так называемая жизнь для Рима, его народа и государства — скверное лицемерие, и который тем не менее знает, что единственно достойная форма человеческого существования — это жизнь для Рима, его народа и государства? Как минимум, постараться понять, как, когда и откуда все это взялось. Так возникло последнее произведение Тацита, его «Анналы» — рассказ об эпохе становления и первоначального развития императорского Рима от смерти первого принцепса Августа (14 г.) до падения Нерона (68 г.).

Если в «Истории» основной акцент ставился на поражениях и неудачах Рима, то в «Анналах» перед нами прежде всего могучее и торжествующее государство. Полководцы Тиберия громят противника в Германии. Клавдий налаживает финансовое управление империей и разумно расширяет права провинций, даже Нерон добивается ряда военных и политических успехов. Ни разу не пытается Тацит умалить прогрессивное значение императорского режима, ни разу не поддается соблазнам столь модной в его пору элегической романтизации «свободного» республиканского Рима. В Поздней республике он видит то, чем она была, — время кровавой смуты, соперничества честолюбивых аристократов, хищнической эксплуатации провинций алчными наместниками. Установление и

укрепление императорского строя поэтому выступает у Тацита не просто как результат обмана и насилия, а и как закономерный итог исторического процесса. Императорская власть объединяет и регламентирует жизнь провинций, подчиняя ее общегосударственным задачам, организует единый, строго подотчетный аппарат управления империей, регулирует развитие ее частей — словом, создает стройный мировой порядок — *рэх Ротана*, как называли его современники.

И здесь снова, однако, — в книге как и в самой жизни — тема исторической правомерности нового строя окутывалась характерными обертонами. Все политические представления древнего римлянина, все нормы его общественной и нравственной жизни, весь его духовный мир были ориентированы на традиции относительно небольшого замкнутого города-государства, где общественные интересы граждан были неотделимы от личных. Теперь, когда такой уклад стал анахронизмом, когда сложилась и переживала процесс оформления мировая империя, ограничение интересов собственно римлян выглядело прежде всего как уничтожение старых, овеянных славой и окруженных уважением жизненных начал, как затопление столицы провинциалами, приносившими свои, чуждые римской культуре обычаи и верования, как ликвидация староримских — а других, в сущности, и не было — моральных, культурных и художественных традиций, как деспотический произвол и торжество доносительства, как массовая ликвидация духовных ценностей. Римлянину, воспитанному в традициях своего государства, такой прогресс противостоял в виде злой абстракции, чуждой, непонятной и враждебной жизни. Ему можно было прислуживать, но вряд ли можно было сколько-нибудь долго служить.

Тацит острее своих современников ощутил эту историческую ситуацию. Жизнь как бы расщепляется. Государственное дело, требующее серьезности и ответственности, ассоциируется у правителей империи только с передвижениями легионов на границах, со сбором налогов в провинциях, с дипломатическими комбинациями при дворах союзных царей, с разбором доносов и ликвидацией «врагов Рима». Здесь ссыпаются в кладовые фиска десятки миллионов сестерциев, маршируют десятки тысяч солдат, распоряжаются — под зорким контролем сверху — командиры армий, наместники провинций, ведающие финансами прокураторы. Живых людей, делающих свое дело искренне, ведущих себя в традициях римской неотчужденной государственности, здесь почти нет; если и есть, они тут долго не удерживаются. Каждое независимое суждение о государственных делах и интересах, любая независимость вообще, всякое проявление живой, отдельной, по-своему текущей жизни, не взятой под наблюдение и контроль, представляется принципсу отпадением от безликой, регламентированной государствен-

ности и, следовательно, крамолой. Оно вызывает подозрения и должно быть немедленно подавлено. Так по этим двум руслам и течет повествование «Анналов», отражая в своей раздвоенности главную, по мнению Тацита, особенность жизни в императорском Риме I в.

Германик, племянник Тиберия и крупнейший полководец своего времени, ведет по поручению императора войну за Рейном. Он подавляет мятеж в легионах, наносит германцам одно поражение за другим, вызывает из плена некогда захваченных врагами римских солдат. Это все «первое русло», и Тиберий доволен, горд Германиком, присуждает ему триумфальные отличия. Но одержанные победы, знатность, скромность, простота в обращении привлекают к Германику любовь армии и народа, а всякие чувства, любовь, симпатии — это уже вне строгой регламентации и контроля, это, как все живое, таит неожиданность, это — «второе русло». Германика отделяют от его легионов, переводят на восток и отравляют медленно действующим ядом. Самое важное, что здесь нет пусть жестокого, но обоснованного политического расчета — освободиться от возможного претендента на власть. Тиберий знает, что Германик до конца предан императорам и их делу, что он никогда не изменит своему долгу. Подозрителен не Германик, подозрительно живое чувство, которое он испытывает к людям и люди к нему.

Германика отравил наместник Сирии Пизон. Он беспрекословно выполнил приказ императора, и это было хорошо, это было осуществление государственных предначертаний двора, это было «первое русло». Но, уничтожая Германика, Пизон служил также собственным интересам. Отпрыск одного из знатнейших родов Рима, аристократ до мозга костей, желчный и болезненно высокомерный, он ненавидел этого баловня судьбы страстной, глубоко личной ненавистью. Но палач, который действует страстно и лично, уже не просто палач, а живой человек, и это — «второе русло»: по возвращении в Рим Пизон не без посторонней помощи покончил самоубийством. И опять-таки здесь далеко не все объясняется стремлением убрать слишком много знающего агента, ибо смерть Пизона вовсе не обеспечивала сохранение тайны. Здесь было стремление уничтожить живой интерес, вложенный им в это дело, так как жизнь для римского императора всегда подозрительна.

Императоры чувствуют ответственность перед конечными, самыми общими целями своей политики; но они не чувствуют никакой ответственности перед непосредственной действительностью, перед людьми, их окружающими. Римлянин старой складки привык видеть смысл своего существования в укреплении государственного могущества родного города. Когда государственная власть обращается против него самого, и не за какие-нибудь преступления, а просто потому, что он римлянин старой складки, он осознает свою полную неспособность ак-

тивно сопротивляться и в бездейтельном оцепенении ждет неминуемой и непонятной гибели. Сколько их, этих заживо раздавленных, смотрит на нас со страниц «Анналов»...

По мере движения рассказа атмосфера становится все более мрачной, краски ступают, люди окончательно теряют человеческий облик. Последние изображенные Тацитом годы правления Нерона — это уже не политика и не репрессии. Это справляет свою кровавую оргию безразличная к своим работникам, их достоинству и убеждениям сама императорская власть. Та, что закономерно сменила изжившую себя Римскую республику.

Проникновение в трагическую диалектику прогресса — занятие, требующее серьезности и мужества. Нам, из исторического далека, оно дается сравнительно легко. Живые люди, с горячей кровью и жгучими страстями, их надежды, отчаяние, предсмертные судороги исчезают где-то за поворотами столетий, и перед глазами остается холодный параллелограмм исторических сил с пересекающей его равнодействующей. Тацит сам видел гибель Арулена Рустика и слышал смех Меттия Кара, сам жил в этой атмосфере. Но ни разу не поддался он ни утешающим сожалениям о «добрых старых» временах, ни соблазну раствориться в веселом беге времени. Он смотрел, думал — и не боялся думать до конца. Он заслужил, чтобы через две тысячи лет мы вспомнили его с уважением и благодарностью.

Самое поразительное в жизни и творчестве Тацита — это контраст между содержанием его произведений и характером времени, в которое он их создавал. К началу II в. н. э. грозные вихри предшествующей эпохи стали, как принято выражаться, достоянием истории. Задача, стоявшая перед империей I в., была решена: гегемония римской олигархии ликвидирована; упыри самодержцы исчезли так же, как и их жертвы. Императорская власть обрела широкую и относительно прочную социальную базу в лице провинциальных рабовладельцев, заполонивших и сам Рим, и перестала воспринимать всякое проявление мысли, энергии и жизни, верной традициям римской культуры и общности, как врага, подлежащего немедленному уничтожению.

Люди, на которых власть опиралась, тоже стали другими.

Ныне наместники провинций не решают самостоятельно ни одного, самого мелкого, вопроса, обо всем запрашивают императора, проводят в жизнь получаемые от него детальнейшие инструкции, а если что не так, то в конце концов не их это дело. Преторианской гвардией теперь командовал уже не кровожадный честолюбец Септ и не Бурр — трагическая жертва собственной преданности семье Клавдиев, а просвещенный покровитель изящной литературы Септиций Клар. Наслед-

ника престола воспитывал уже не Сенека, великий философ, крупный государственный деятель и неуемный сребролюбец, а Фронтон — правильный, ученый, скучный и откровенно неумный. Грек Плутарх уже пел бессмертными строками великих и слегка припорошенных музейной пылью героев навсегда кончившейся эры политических страстей. Все это вместе называлось «дух нашего времени», как любил выражаться император Ульпий Траян.

Спокойно жил теперь и Тацит. Заслуженная известность, открытый дом, охота в собственных угодьях, заседания сената, почетное проконсульство в провинции Азии. Что же заставляло пожилого усталого человека вновь и вновь возвращаться к невыносимо тяжелым впечатлениям молодости, все глубже и глубже погружаться в эпоху гнета, грязи и крови? Разве не видел он, что наступившие времена лучше прежних? Видел. Об этом говорит хотя бы первоначально составленный план его исторического труда, предполагавший, что после описания бедствий отошедшей эпохи он займется современностью, дабы показать контраст «минувшего рабства и всех благ нашего времени». План этот выполнен не был. Почему?

Чем дальше шло время, тем острее Тацит понимал, что окружавшая его атмосфера повседневных интересов и трезвого благополучия в конце концов и была торжеством того самого ненавистного ему разделения государственного и частного начал, в котором он видел причину всей пережитой римским обществом трагедии. Теперь оно выглядело не страшным, а скорее даже приятным. Верховные власти обеспечивали относительно плавный и спокойный ход государственного механизма и предоставляли людям заниматься своими делами. Но после двадцати лет раздумий и труда Тацит знал, что разница между прошлой и современной эпохами касается поверхности общественной жизни, а не ее последних глубин, что направление истории осталось прежним и в этом смысле ничего не изменилось. И содержание его исторического труда, и впечатления окружавшей жизни говорили об одном и том же: до тех пор, пока люди мыслят только о своих делах и интересах, а политическое бытие народа и ход истории представляются им отдельными от них, чуждым и безразличным делом, остается та уродливая однобокость человека и его жизни, которую Тацит считал бичом своего времени и с которой он, гражданин Рима, примириться никогда не мог.



---

## РУБЕЖ ВЕКОВ И «ИСТОРИЯ» ТАЦИТА

Конец I в. н. э. в Риме был до предела заполнен событиями. 13 сентября 81 г. в своем сабинском имении нестарым еще, сорокалетним человеком умер император Тит. Его младший брат, Домициан, при смерти его не присутствовал — не дождавшись ее, он поскакал в Рим, роздал солдатам-преторианцам денежные подарки и добился того, что они согласились поддержать его притязания на верховную власть. На следующий день сенаторам ничего не оставалось, как собраться в курии и скрепить словом то, что уже было решено мечом. Двадцативосьмилетний Тит Флавий Домициан стал одиннадцатым римским принцепсом, третьим — и последним — в династии Флавиев.

Правление его оказалось беспокойным. Не прошло и двух лет, как ему пришлось выступить во главе большой армии против хаттов — обширного союза германских племен, создававшего постоянную угрозу границе империи на Среднем Рейне. Поход окончился победоносно, хатты и поддерживавшие их племена были оттеснены, и на правом берегу Рейна появился постоянный обширный римский плацдарм, усеянный крепостями и огражденный целой системой оборонительных укреплений. Едва удалось замирить рейнскую границу, как ожила дунайская. Талантливый полководец и политик Децебал сумел объединить обитавшие по Нижнему Дунаю разрозненные племена своих соотечественников даков и научить их современным, перенятым у римлян способам ведения войны. В 85 г. даки по льду пересекли Дунай, вторглись в римскую провинцию Мёзию, разбили находившиеся здесь войска и убили наместника Оппия Сабина. Домициану пришлось снова собираться в поход. Он дал с переменным успехом несколько сражений, заключил с Децебалом не слишком почетный для Рима мирный договор и торжественно вернулся в столицу. Поэты славили его воинские подвиги, на Форуме была сооружена колоссальная конная статуя императора.

Обставляя свои подлинные и мнимые военные успехи с невиданной пышностью, Домициан знал, что делает: ему во что бы то ни стало нужны были слава полководца, популярность среди солдат, безоговорочная поддержка армии. Еще в 83 г. он значительно увеличил жалование легионерам. И хаттский поход 83 г., и дакийский 89 г. (второй по счету после первого, 85 г., упомянутого выше) завершились триумфами, после которых Домициана стали официально именовать Гер-

манским и Дакийским. В курии он постоянно появлялся в одежде триумфатора. Последнее особенно показательно: союз с армией был нужен Домициану как опора в борьбе с сенатом.

Власть римских императоров на протяжении I в. становилась все более единодержавной, но даже самый властный правитель не мог быть вездесущим. Каждой провинцией должен был управлять наместник, легионом командовать легат, порядок в Риме обеспечивать магистрат. И наместники, и легаты легионов, и городские магистраты по незыблемой традиции избирались из числа сенаторов. Но сенат был древним республиканским учреждением, а императорам нужна была единодержавная власть. Поэтому любая власть и любой почет, принадлежавшие сенату, воспринимались как отнятые у государя. Большинство императоров I в., постоянно стараясь изменить это соотношение в свою пользу, в общем мирились с тем, что какая-то часть власти оставалась и у сената. Домициан чем дальше, тем меньше был склонен следовать их примеру. Осенью 88 г. против него восстали четыре легиона Верхней Германии во главе с наместником провинции Антонием Сатурнином. Домициан счел, что за Сатурнином маячил какой-то сенатский заговор, и, когда восстание было подавлено, казни, неслыханные по размаху и жестокости, обрушились на сенаторов в Риме, в Германии и провинциях. Уже через несколько лет курия испытала новые удары. В 93 г. были казнены или сосланы сенаторы, не в меру увлекавшиеся стоической философией, — Гельвидий Младший, Геренний Сенецион, Арулен Рустик и другие. Стоическое учение о том, что только честность есть благо и только подлость есть зло, все же остальное не имеет никакого значения, помогало этим сенаторам упорствовать в своих оппозиционных настроениях и не обращать внимания на угрозы и преследования, сообщало им моральный авторитет и делало их влияние опасным для Домициана.

После разгрома «стоической оппозиции» в течение зимы 93/94 г. были высланы сначала из Рима, а потом и из Италии все вообще лица, занимавшиеся философией и преподававшие ее, в том числе знаменитый оратор, писатель и философ Дион Хрисостом. В начале 94 г. подверглась изгнанию группа сенаторов, проявлявших подозрительный интерес к греческим учениям об ответственности государя перед разлитым во Вселенной мировым нравственным законом, — есть основания думать, что в числе их находился и Кокцей Нерва, будущий принцепс. В 95 г. были казнены некоторые лица из ближайшего окружения Домициана, подозревавшиеся в связи с восточными культами, и в частности с христианством.

Непосредственный смысл этой политики состоял в придании власти императора самодержавного характера. К достижению этой цели До-

мициан стремился постоянно. Кажется, единственный и, во всяком случае, первый среди римских императоров, он был консулом 17 раз. Впервые в истории Рима он был пожизненным цензором, и притом единоличным, без коллегии, что давало ему право по собственному усмотрению исключать из сената любых неудобных ему членов и запрещать как неморальные любые неудобные ему формы общественного поведения. По всей империи в честь его возводились бесчисленные статуи и триумфальные арки.

Бурное правление Домициана завершилось столь же бурно. Чувствуя, что ярость принцепса может в любой момент обрушиться и на них, его жена и приближенные составили заговор. В сентябре 96 г. после ряда драматических перипетий Домициан был убит. Его место в тот же день занял престарелый сенатор Кокцей Нерва. Династия Флавиев кончилась. Начиналось столетнее правление императоров Антонинов.

Народ, по выражению одного из свидетелей событий, «снес равнодушно» падение последнего Флавия<sup>1</sup>. Поволновались, но вскоре вернулись к дисциплине легионы. Больше всего хлопот доставили новым властям преторианцы, которые взяли за оружие, осадили дворец, уничтожили главных участников заговора. Ульпий Траян, полководец, командовавший легионами Верхней Германии, усыновленный Нервой и вскоре сменивший его на престоле, сумел справиться и с ними. Порядок восстановился почти тотчас же, и жизнь, казалось, потекла по прежнему руслу. Однако люди, причастные к управлению империей, и самые проникательные среди мыслителей, историков, писателей сразу почувствовали, что они пережили нечто большее, чем обычную смену одного властителя другим. Кроме династии, кончилось что-то еще — пусть не всегда уловимое и не во всем поддающееся определению. Эпоха, которая ушла с Домицианом, на глазах становилась особым, еще памятным, но уже завершенным периодом истории. Именно так, как важный перелом в жизни государства, восприняли переход от Флавиев к Антонинам римские историки — Тацит и Светоний кончают свое повествование Домицианом, Аммиан Марцеллин начинает с Траяна, «Писатели истории императорской» — с Адриана.

Нерва прекратил широкий антисенатский террор, ознаменовавший последние годы правления Домициана. Едва вступив на престол, он дал клятвенное обязательство не подвергать сенаторов смертной казни, а сосланных ранее вернул в Рим. Непосредственной опорой императорской власти в Риме были преторианцы — привилегированный корпус, насчитывавший в разные периоды от 10 до 16 тыс. солдат, расположенный непосредственно в городе. Они играли роль почетного эскорта императоров, несли охрану их дворцов, выполняли их поручения, в том числе связанные с уничтожением неудобных лиц. Подобное

положение приводило к тому, что подчас и сами принцепсы попадали в зависимость от преторианцев, вынуждены были откупаться от них денежными подарками, искать их одобрения при восшествии на престол, терпеть, что они становились арбитрами в их отношениях с сенатом. Нерва устранил преторианцев из своих отношений с сенатом (чем фактически и был вызван их бунт осенью 97 г.), а Траян демонстративно и во всеуслышание заявил, что смысл их деятельности — в соблюдении и защите законности, а не в нарушении ее и не в террористических эксцессах.

Стоическая философия перестает быть гонимой идеологией сенатской оппозиции и становится умонастроением общества. Изгнанию философов при Домициане предшествовало изгнание их в 70-е годы при его отце. Занятие философией фигурировало и при Нероне, и при Домициане в числе обвинений, на основе которых сенатор мог быть осужден или убит. Отношения между принцепсами и философами были резко враждебны: один из них, Музоний Руф, был при Нероне сослан в каторжные работы, другой осужденный философ, киник Деметрий, встретив на дороге Веспасиана, по словам современника, «облаял его, как собака»<sup>2</sup>, третий, Аполлоний из Тианы, подвергся при Домициане суду за связь с антиимператорским заговором. Нерва вернул философов из ссылки, а Траян охотно слушал размышления такого возвращенного изгнанника, Диона Хрисостома, о природе императорской власти и обязанностях правителя. В 20-е и 30-е годы II в. всеобщим успехом пользовались публичные лекции по стоической философии бывшего раба Эпиктета, а в 50-е и 60-е годы в настоящей исповеди философа-стоика — книге «Наедине с собой» — излил свою душу и сам император Марк Аврелий. Размышления об ответственности человека перед нравственным долгом перестали быть государственным преступлением.

На рубеже I и II вв. утрачивают свое бывшее положение или прекращают существование семьи, десятилетиями господствовавшие при дворе и задававшие тон в обществе, — Кокцей Нервы, Ациллии Глабрионы, Сальвидиены Орфиты; исчезают многие стоявшие у власти люди, прежде всего знаменитые *delatores* — доносчики. Вибий Крисп, оратор, известный хищной веселостью своего красноречия, и автор доносов, прославившийся огромным состоянием, которое они ему принесли, умер в начале 90-х годов. Слепой сенатор Катулл Мессалин, по словам современника, «даже в наш век выдающийся изверг»<sup>3</sup>, не решился пережить Домициана. Адвокат и сенатор Аквиллий Регул, в начале своей карьеры получивший за донос на сенаторов Орфита и Красса 7 миллионов сестерциев и впоследствии ставший знаменитым политическим и судебным оратором, исчез с политической арены вскоре после прихода к власти Антонинов.

Общая смена людей в руководстве была очень значительной. За время правления трех Флавиев и двух первых Антонинов нам известны 38 членов императорского Совета. Из них переходят от одного принцепса к другому в пределах флавийской династии 11, от Флавиев к Антонинам — 4. Две трети не преодолели рубеж конца века.

Подобно тому как сменилось поколение государственных деятелей, сменилось в 90-е годы и поколение писателей. Создатели самых известных эпических поэм этой поры ушли из жизни в течение нескольких лет: Папиний Стаций около 96 г., Валерий Флакк несколькими годами раньше, Силий Италик в 103 г. Главный представитель официального флавийского историописания, Иосиф Флавий, скончался в 95 г., первый из «профессоров красноречия», Марк Фабий Квинтилиан, — в 96 г. Скабрезные эпиграммы Марциала были так же органичны в литературе ушедшей эпохи, как эпос Силия; в Риме Антонинов Марциал не ужился, вскоре после 96 г. уехал на родину и растворился в своей испанской глуши. Создается впечатление, что целая литература «не решилась пережить Домициана». Зато после его смерти сразу решилась выступить другая. Тациту в 96 г. было почти сорок лет, но к литературной деятельности он приступил лишь с 97 г.; Плиний родился в 62 г., но стал публиковать свои главные произведения тоже с 97 г.; Ювенал при Домициане был известен как декламатор чужих стихов, писать собственные он начал около 98 г.; Светоний Транквилл провел молодость при Домициане, но рассказал о том, что видел, при Адриане.

Искусство второй половины I в. и искусство времени первых Антонинов — это не только разные люди, но и разные эстетические системы. В пределах первой исходным ценностным представлением являлась яркая энергия и тяжелая беспокойная мощь, монументальность, переходящая в пышность, и пышность, переходящая в неестественность. Примерно с середины века особенно грандиозными, фантастическими и подчеркнута небытовыми, неестественными становятся строительство, архитектура, монументальная скульптура. Законченный к 52 г. Клавдиев водопровод имел 72 км длины и давал ежедневно 200 тыс. кубометров воды. Дворцовый комплекс Нерона занимал в самом центре Рима около 80 га и включал озеро, луга и виллы — противоестественная, по выражению Марциала, «деревня в городе»<sup>4</sup>, стоявшая в нем статуя Нерона возвышалась на 30 с лишним метров. При Флавиях этот недостроенный комплекс был разобран и на его месте возведен Колоссеум (он же Колизей) — четырехэтажный амфитеатр, по одним данным, на 50, по другим — на 80 тыс. зрителей. Домициан провел земляные и строительные работы такого масштаба, что они изменили естественный размер и форму Палатинского холма в

центре Рима. Конную статую этого императора на Форуме современники называли Колоссом.

Култ неестественно грандиозного легко превращался в культ неестественного самого по себе. Во второй половине века критерием эстетической ценности все отчетливее становится несходство с реальной повседневной действительностью и даже противоположность ей. «Мы с восхищением признаем подлинно изящным лишь то, что так или иначе извращено», — сетовал Квинтилиан<sup>5</sup>. Вкус к неестественному распространился теперь на самые разные стороны жизни, стал подлинным знаменем времени. В прикладном искусстве красивыми начали считать материалы, обработанные до полной утраты своих естественных цвета, формы, плотности. В кулинарии свинина ценилась, когда она после приготовления оказывалась похожей на рыбу, а окорок — на голубя. Художественный эффект помпейской живописи так называемого четвертого стиля, относящегося к 60–70-м годам, строился на том, чтобы создать в замкнутом объеме комнаты ощущение пространственной бесконечности, а архитектурные мотивы, заполнявшие плоскость стены, сплетались в фантастические сюиты, где лестницы, колонны, портики изображались в положениях, с точки зрения их естественной жизненной функции заведомо немислимых.

Эстетическая система, распространяющаяся в Риме с начала II в., носит обычно название «второго классицизма» или «неоклассицизма» и резко противоположна только что описанной. Ее исходные представления — спокойствие, чистота, соразмерная ясность частей и отношений между ними. Рядом с древним центром Вечного города — римским Форумом — с самого начала принципата стал расти ряд императорских форумов. Они строились в разное время, непохожие друг на друга, но нет среди них более яркого контраста, чем так называемый Переходный форум и форум Траяна. Первый отражал градостроительную эстетику флавийской поры. Относительно тесный (около 120 м длины на 60 м ширины), он погребен под непропорциональными его размерам, со всех сторон нависающими карнизами; ничего, кроме храма, закрывавшего почти всю его узкую северо-восточную стену, на нем не было. Ощущение тяжелой и страшноватой монументальности, которое он должен был вызывать, хорошо передано на изображающих его развалины гравюрах Пиранези.

Вплотную к нему расположенный форум Траяна был не только сам по себе просторен (280×120 м), но занимавшие его строения — базилика, две библиотеки, рынок, храм — размещались так, что своим упорядоченным симметричным многообразием усиливали это впечатление. Выступы, нарушавшие протяженность стен, были не квадратными, крепостного типа, а полуциркульными и выдавались не внутрь

форума, а наружу. Спокойную и уравновешенную центрально-симметричную композицию всего сооружения подчеркивала возвышавшаяся в середине его колонна, призванная быть одновременно подножием венчавшей ее статуи Траяна и монументом его дакийским победам. Назначение упоминавшегося выше Колосса Домициана было точно таким же, но Колосс был изображением бога; колонна — памятником полководцу; эстетическую программу Колосса (он не сохранился, но мы хорошо представляем его себе по подробным описаниям современников) составляли символика и аллегория, эстетическую программу колонны — реализм; планировавшееся впечатление — в одном случае величие императора, в другом — организованной силы Рима.

Для того чтобы понять причины и смысл всех этих событий и явлений, необходимо спуститься к более глубоким слоям исторической жизни Древнего Рима и снова взглянуть в те ее хозяйственные, социальные, духовные черты, о которых столько уже было рассказано в предшествующих материалах этой книги. Повторение здесь неизбежно: каждая эпоха римской истории представляет собой конкретную форму все того же исторического противоречия, а история Города в целом объединяет различные фазы в его развитии. Творчество Цицерона и конец Республики связаны с одной из таких фаз, рождение принципата и переданный ему Ливием грандиозный миф республики римлян — другую, флавианский кризис и выросшая из него философия истории Корнелия Тацита — последнюю фазу, нтоговую и завершающую.

Исходным и определяющим фактом истории древности является примитивность ее хозяйственного уклада. Античный мир, по замечанию Маркса, состоял из «в сущности бедных наций»<sup>6</sup>. Консервативное и в общем ленивое в своем отношении к природе и труду, ориентированное на обмен и потребление гораздо больше, чем на самообновление, не заинтересованное в использовании данных науки, не знающее подлинного технического прогресса, с экстенсивным ростом рынков, преобладающим над интенсивным, воспроизводство в древнем мире могло быть расширенным лишь в очень ограниченной степени — достаточной для выживания сравнительно небольших и сравнительно замкнутых коллективов со сравнительно простой и укорененной в производстве военно-политической надстройкой, но недостаточной для существования больших единых государств со сложным и разветвленным аппаратом управления, профессиональной армией, с обособившимися от непосредственного участия в экономике огромными контингентами людей, занятых в бюрократии, судопроизводстве, культуре и культе. Античный город-государство, так называемый полис, представлял собой форму общественной организации, идеально приспособленную к подобному хозяйственному укладу и к подобному состоянию общества.

Жизнь покоилась здесь из столетия в столетие на тех же неизменных основаниях: земля как источник собственности и состояния, ее обработка как форма освоения природы и как нравственный долг человека перед разумностью мирового устройства; натуральное, довлеющее себе хозяйство, возделываемое трудом «фамилии» и кормящее ее; принадлежность к органическому, конкретному целому — природному и общественному — как условие человеческой полноценности и гражданская община как наиболее совершенная и естественная форма такой целостности; острое ощущение различия между общиной и необщиной, гражданами и негражданами. Характерное для города-государства на протяжении всей его истории тяготение к локальности, дробности, к человеческой конкретности хозяйственной, политической и духовной жизни, к сохранению семейно-родовых, общинных, местных связей и обязательств, благоговейное уважение к прошлому не были поэтому проявлением чьей-то ретроградной воли, злонамеренным консерватизмом. Обусловленное объективными производственными возможностями, оно казалось — и было — инстинктом самосохранения тогдашнего человечества, его непреложной потребностью, естественной, как дыхание.

Пока жив был этот мир и длился этот этап человеческой истории, полис вообще и римская гражданская община в частности представлялись воплощением самой сущности жизни, ее высшим выражением и высшей ценностью. Их город был для римлян не «населенный пункт», а модель мира, уклад жизни, неповторимая система нравственных норм. «Уничтожение, распад и смерть государства-города, — писал Цицерон, — как бы подобны... упадку и гибели мироздания»<sup>7</sup>.

Но оставаться неизменным, просто сохраняться общество не могло. Город жил, а следовательно, как ни медленно, но развивался; развитие же предполагало усиление обмена, рост денежного обращения, разрушение патриархальной замкнутости, появление новых порядков и нравов, предполагало сметку и хватку, освобождение от послушного растворения в традиции, предполагало, другими словами, человеческую инициативу и самостоятельность. Наряду с консервативной ценностью целого жизнь утверждала динамическую ценность личности, обособившейся от этого целого и в этом смысле противопоставленной ему. Сами римляне верили, что это противоречие разрешимо, и видели в своей гражданской общине высшую форму общественного развития именно потому, что она, по их мнению, соединяла консерватизм общественного целого и возможность развития, «заветы предков» и выгоду потомков. Цицерон приводил строку из стихотворной «Летописи» поэта Квинта Энния: «Древним укладом крепка и мужами республика римлян» — и, поясняя ее, писал: «Стих этот ввиду его краткости



и правдивости поэт, мне кажется, изрек как бы в боговдохновении; ибо ни эти мужи, если бы гражданам не был присущ такой уклад, ни уклад, если бы подобные мужи не стояли во главе гражданской общины, не смогли бы ни создать, ни надолго сохранить наше великое государство, могущество которого столь далеко и столь широко распространилось. Поэтому до сих пор сам дедовский уклад привлекал лучших мужей к деятельности, а выдающиеся мужи хранили древний уклад и заветы предков»<sup>8</sup>.

Это была иллюзия. Патриархальность и развитие действительно составляли две нераздельные стороны жизни полиса, и он существовал и рос потому и в той мере, в какой мог их сочетать. Но соединение это происходило не в виде примирения противоположных принципов или гармонии между ними, а в виде непрестанных столкновений обеих тенденций, победы то одной, то другой из них, переходов и метаний, срывов и борьбы. По мере роста и обогащения римской гражданской общины деньги во все растущем количестве вращаются на поверхности жизни и, не проникая в глубины общественного организма, усложняют и развивают не производство, а потребление. Быт, одежда, еда, зрелища становятся все более пышными, потребность в деньгах — все более привычной и острой, тщеславие, мотовство, хищнические способы добывания предметов роскоши — все более распространенными. Это разлагало бытую простоту и патриархальность, подрывало внутреннюю сплоченность города-государства и консервативные нравственные нормы народной жизни, не внося в то же время никаких коренных изменений в сам способ производства. Энергия, воля, самостоятельность, инициатива «мужей» оказывались не только связанными с «древним укладом», но и несовместимыми с ним.

Выживание римской общины и верность ее своим историческим основам в сопоставлении с ее движением вперед всегда выступали как консерватизм и застой, а ее развитие в сопоставлении с ее неизбыточной, объективно заданной патриархальностью — как разложение, хищничество и *audacia* — 'наглость'. Римская гражданская община представляла собой систему, основанную на взаимодействии этих двух непримиримых и нераздельных тенденций — хозяйственных, политических, духовных. Победа какой-либо одной из них была немыслима, и борьба их могла прекратиться только с крушением всей системы.

В какой мере можно связывать события эпохи Флавиев с внутренними особенностями такой архаической организации, как гражданская община? Описанные особенности гражданской общины были обусловлены коренными свойствами господствовавшего способа производства, и поскольку этот способ производства сохранялся в течение всей античности, постольку сохранялись и полисные формы жизни.

Не говоря уже о сельской местности (она примыкала к городу, и там находились земельные владения граждан), сохранявшей и даже укреплявшей на протяжении всего периода Империи свои общинные институты, жизнь города как такового в I в. н. э. тоже еще во многом строилась на общинных основаниях.

Переход от республики к империи непосредственно выражался в том, что вооруженные силы государства перешли в подчинение одного человека — их главнокомандующего, императора, который благодаря этому и получил возможность проводить политику, учитывающую интересы всей бескрайней державы, а не только олигархии города Рима. В новых условиях и для решения новых задач принцепсы должны были бы разрушить некогда сложившийся в недрах городской общины и приспособленный к ее нуждам аппарат управления и уничтожить сенат, воплощавший интересы старой республиканской аристократии. В призывах и популяризациях такого рода недостатка не было, физическая возможность их осуществления тоже была очевидна всем. И тем не менее императоры ею ни разу не воспользовались. И в окружавшем их обществе, и в глубине их собственной души этому, очевидно, противостояла сила, которую не могли одолеть никакие легионы. Республиканский аппарат управления сохранился полностью. В официально идеализированном представлении император правил не потому, что располагал вооруженной силой, а потому, что его в соответствии с республиканским законом утвердил сенат и в соответствии с тем же законом вручил ему проконсульский империй, дававший командование над армиями, трибунскую власть, т. е. право приостановки и отмены сенатских решений, избрал его принцепсом, буквально: «первоприсутствующим», т. е. руководителем сената. Императорам ничего не стоило с помощью военной силы вынудить то или иное сенатское постановление. Соответственно, решение сената не имело, казалось бы, никакого значения, но те же императоры не воспринимали свою власть как подлинную, пока она не была утверждена сенатом.

Показательно в этом смысле поведение Веспасиана: он отмечал день своего прихода к власти 1 июля, когда его объявили императором войска, а не день утверждения его сенатом. Это соответствовало внутренней эволюции принципата, так как избрание императора войсками указывало на растущую независимость его от римской сенатской олигархии. Последнее было вполне очевидно и сенаторам, и Веспасиану, поскольку в декабре 69 г. он обратился к сенату как принцепс на том единственном, но ни у кого не вызывавшем сомнений основании, что войска признали его верховным правителем империи. Но одно дело очевидность, а другое — общественно значимая норма: едва появившись в Риме, Веспасиан настоял на издании закона — да-

же не простого сенатского постановления, а именно закона, принятого в комициях и утверждавшего его полномочия. И хотя сенат не мог не признать Веспасиана принцепсом, хотя комиции, как все другие виды народного собрания, давно уже, казалось, не имели никакого значения, тем не менее только такой закон делал реальную власть Веспасиана в глазах народа и в его собственных не узурпированной, а соответствовавшей старинным установлениям гражданской общины и лишь потому правильной и достойной.

Укрепление власти сената означало ослабление власти принцепса; террор против лиц, особенно рьяно отстаивавших независимость и привилегии сената, был поэтому императорам необходим, и реальных препятствий к тому, чтобы придать ему любой размах, не существовало. При всем этом, однако, с самого начала Империи встал вопрос о том, чтобы при вступлении на престол император брал на себя обязательство не приговаривать сенаторов к смерти. Неподсудность сенаторов принцепсу была провозглашена в идеальной программе Августова правления, сформулированной некогда Меценатом; клятву не казнить сенаторов приносили, по-видимому, Веспасиан и Траян, бесспорно — Тит, Нерва, Адриан. Относительно других правителей у нас нет данных, но о прямом отказе взять на себя подобное обязательство известно лишь в одном случае — в случае Домициана. Все это, конечно, не мешало принцепсам осуществлять террор против сената, который был задан объективно, самым историческим смыслом их правления. Но у них почти всегда оставалось ощущение, что они при этом вынужденно нарушают некоторую норму, которую в общем лучше соблюдать, и лишь в исключительных и крайне редких случаях террор этот продолжался сколько-нибудь долгое время.

Подобное отношение принцепсов к сенату — лишь верхняя, возвышающаяся над водой часть айсберга. Под ней явственно ощущалась та тайная, угадывающаяся в глубине громада, которая несла на себе эту всем заметную верхушку. Уходившая своими истоками в гражданскую общину, вековая вязь традиций, верований, полусознанных убеждений и вкоренившихся навыков так плотно охватывала жизнь, была такой крепкой и всеобщей, что первые императоры не только не пытались ее порвать, но стремились встроить в нее создаваемый ими режим. Власть их основывалась на военной силе и юридически оформленных полномочиях, но они постоянно и усиленно заботились о том, чтобы в массовом сознании она опиралась на представления иного порядка, лишенные четкого правового содержания, в которых легенда стала народным чувством, а традиция — общественной психологией.

К числу подобных представлений относились власть отца семьи над членами фамилии, право вождя племени вершить суд, круговая пору-

ка, соединявшая полководца и солдат, покровительство патрона клиентам, авторитетность в общественных делах, первое место в списке сенаторов. Во власти принцепсов они подчеркивали роль личных заслуг, делали ее неформальной, связывали с неписаными обычаями народа. Императоры вообще изображали свой строй не в виде противоположности гражданской общине и городской республике как ее политической форме, а в виде их продолжения. В своем политическом завещании Август писал, что он «вернул свободу республике, угнетенной заговорами и распрями», что он действовал всегда лишь «по приказанию сената и народа» и не принимал никаких должностей, «противоречащих обычаям предков»<sup>9</sup>.

Слова «восстановленная республика» или близкие им по смыслу повторяются на монетах ряда императоров I в. В определенных условиях почти все они подчеркивали, что считают себя не монархами, а гражданами республиканского государства, лишь получившими от сената и народа особенно широкие полномочия. Август «имени „государь“ страшился как оскорбления и позора»<sup>10</sup>; Тиберий категорически запретил воздавать себе в Риме божеские почести; Клавдий считал себя «таким же гражданином, как все другие»<sup>11</sup>; Вителлий заявил, что каждый сенатор при обсуждении государственных дел может разойтись с ним во мнениях; Веспасиан в письме к сенату «упоминал о себе как о простом гражданине»<sup>12</sup>. Представление о том, что Рим принцепсов — это тот же древний город-государство, лишь возросший, усовершенствованный и украшенный, а новая власть означает не ломку, но продолжение его духовных традиций, лежало в основе всего «римского мифа» Ранней империи и произведений искусства, великих и заурядных, его выражавших, — «Энеиды» Вергилия и «Римских од» Горация, музея под открытым небом, в который Август превратил римский Форум, и «Римской истории» Веллея Патеркула. Соответственно республиканское прошлое прославлялось как предмет гордости и некоторая идеальная норма римской государственности. «Если бы огромное тело государства, — говорил император Гальба, — могло устоять и сохранить равновесие без направляющей его руки единого правителя, я хотел бы быть достойным положить начало республиканскому правлению»<sup>13</sup>.

Между восхищением республиканской стариной с ее героями и верной службой принцепсу не было противоречия — республиканские симпатии Тита Ливия и Вергилия были прямой формой преданности империи, Сенека безгранично восхищался Катонам и был непреклонным сторонником и теоретиком принципата, Титиний Капитон был ближайшим помощником Домициана, а потом Траяна и коллекционировал бюсты Брутов, Кассиев и Катонов.

Наивно и несерьезно видеть во всем этом «лицемерие» императоров. Римская действительность эпохи принципата была насыщена пережитками общинного уклада, и императоры не могли не считаться с этой окружавшей их со всех сторон общественной стихией. То были даже не пережитки, а органические элементы жизни, растворенные в ней воззрения, привычки, традиции. Борьба «наглецов» и «ревнителей старины» тоже была связана с сохранением общинных начал, только условия империи, в которых она теперь велась, не меняя исходного содержания этого конфликта, ставили его в иной общественный контекст и придавали ему тем самым иной исторический и человеческий смысл. Одна из главных задач, решить которые была призвана империя, состояла в приведении государственной системы, сложившейся в ходе развития Рима как города, в соответствие с потребностями нового Рима — Рима как мировой державы. Принципат возник из необходимости решить эту задачу, представлял собой попытку примирения римской олигархии и новых социальных сил — рабовладельцев Италии и провинций — и потому носил компромиссный характер.

Такой компромисс предполагал, с одной стороны, сохранение республиканских политических форм и традиционных групп, которые обеспечивали связь власти со старыми, еще очень прочными устоями общественной жизни и морали, а с другой — опору на развивающиеся слои, враждебные закосневшему в староримском консерватизме сенатско-аристократическому Риму и неизбежно выступавшие как разрушители традиционно римских общественных норм. В структуре раннего принципата Рим, его прошлое и по-старинному понятый общественный интерес оказывались как бы противопоставленными от них же неотделимым силам внеримской, общеперской новизны. Авансцена политической жизни I в. заполнена столкновениями консервативных сил, за которыми стояли традиции и нравственные представления, одновременно необходимые принципату и неприемлемые для него, с силами антитрадиционными, за которыми не было старинных общественных устоев, но было поступательное развитие империи и которые были для принцепсов столь же необходимы и столь же неприемлемы, что и их противники.

Анализу каждого из полюсов этого противоречия посвящены были ранние произведения Тацита — «Жизнеописание Агриколы» (97–98 гг.) и «Германия» (98 г.) (о них кратко рассказано в предыдущем очерке), их диалектике — его неподражаемый «Диалог об ораторах». Последний представлял собой развернутый и, если можно так выразиться, «беллетризованный» эпизод из большой рукописи, в которой эта диалектика выступила во всем своем трагическом величии. Рукопись эта называлась просто «История».

«История», создававшаяся между 101-м и 109 гг., представляет собой рассказ о событиях в Римской империи, начиная с 69-го и кончая 96 г. До наших дней сохранилось полностью его начало — четыре книги и большой фрагмент пятой. Первая повествует о том, что происходило в Риме и в империи в январе—марте 69 г., о состоянии столицы после смерти Нерона, походе Гальбы из Испании на Рим, кратком его правлении, о захвате власти Отоном и выступлении его во главе армии навстречу германским легионам, надвигавшимся на столицу с севера с целью посадить на престол своего ставленника Вителлия. Вторая книга охватывает март — сентябрь 69 г.: мятеж восточных легионов во главе с Веспасианом, боевые действия в Северной Италии, приведшие к гибели Отона и воцарению Вителлия, выступление его полководцев навстречу армиям Флавия Веспасиана, вошедшим тем временем в Италию с северо-востока. Третья книга (август — декабрь 69 г.) посвящена почти целиком войне между вителлианцами и флавианцами в Италии и завершается описанием боевых действий на подступах к Риму и на улицах столицы, пожара Капитолийского храма, воцарения династии Флавиев. В четвертой книге (январь — июль 70 г.) много говорится о положении в сенате, спорах между отдельными группировками, первых политических мероприятиях новой власти, но главным содержанием ее является восстание галлов и германцев под руководством Цивилиса против римлян. Наконец, в сохранившейся части пятой книги (январь — сентябрь 70 г.) дано развернутое описание Иудеи, ее столицы Иерусалима и анализ военно-политического положения, сложившегося к началу осады города римлянами; книга пятая завершается рассказом о боевых действиях в Германии и переговорах римского полководца Церриала с Цивилисом накануне капитуляции последнего.

При таком содержании «Истории» вопрос о ее теме кажется странным и неправомерным. Разве она не исчерпывается хронологически последовательным рассказом о событиях, о том, «как, собственно, было дело»? Внимательное чтение ее, однако, показывает, что это впечатление обманчиво и что материал книги искусно организован, т. е. подчинен некоторой идее и утверждает ее, связан с определенной темой. В начале сочинения Тацит прямо говорит, что стремится понять и изложить «не внешнее течение событий, которое по большей части зависит от случая, но также их смысл и причины» (I, 4, 1) и ради выявления этих причин и внутренних связей группирует факты, нарушая хронологическую последовательность. «Прежде чем приступить к задуманному рассказу, нужно, я полагаю, оглянуться назад и представить себе, каково было положение дел в Риме» (там же). «В эти же дни вспыхнули волнения в Германии... О причинах и ходе этой надол-

го затянувшейся войны я вскоре расскажу особо» (III, 46, 1). Соответственно каждая книга «Истории» не просто охватывает определенный период времени, а организована как относительно замкнутое художественное целое, которое открывается особенно знаменательным событием, имеющим символический или пророческий смысл, и завершается примерно так же. В конце первой книги уходит в поход, чтобы из него не вернуться, Отон, в конце второй — полководцы Вителлия, в конце третьей «солдаты, как были после боя увешанные оружием, толпой проводили Домициана в дом отца» — начинается почти 30-летнее трагическое правление императоров Флавиев. Зарождением флавианского мятежа открывается вторая книга, вторжением флавийских войск в Италию — третья, первыми шагами Цивилиса — четвертая. Задача не в том, чтобы «изложить внешнее течение событий», а в том, чтобы ни на минуту не дать ослабеть ощущению, что речь идет «о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах, диких и неистовых даже в мирную пору» (I, 2, 1).

Раскрытие исторического смысла флавианской эпохи и составляет тему «Истории».

Решение этой темы представляется очевидным. Про свое намерение поведать о времени правления Флавиев Тацит говорил с самого начала литературной деятельности и с самого начала не скрывал, каким должен быть смысл его повествования. «Я не пожалею труда для того, чтобы создать сочинение, в котором — пусть искусным и необработанным языком — расскажу о былом нашем рабстве»<sup>14</sup>. В первых главах «Истории» и это намерение, и это отношение к пережитой эпохе и к смыслу рассказа о ней выражено автором еще более прямо и ярко. После слов о том, что он «приступает к рассказу о временах, исполненных несчастий», следует перечень всего, чем для Тацита эти времена были ознаменованы. «Поруганы древние обряды, осквернены брачные узы; море покрыто кораблями, увозящими в изгнание осужденных, утесы запятнаны кровью убитых. Еще худшая жестокость бушует в самом Риме — все вменяется в преступление: знатность, богатство, почетные должности, которые человек занимал или от которых он отказался, и неминуемая гибель вознаграждает добродетель» (I, 2, 2—3). Нет оснований сомневаться в том, что «История» не просто рассказ об эпохе Флавиев, что она посвящена разоблачению и гневному осуждению их режима. Это положение, однако, на первый взгляд столь простое и ясное, при углубленном анализе оказывается не таким уж ясным, а главное, совсем не простым.

«Не поддаваясь любви и не зная ненависти». Вернемся к той фразе в первой главе «Истории» о «восхождении» будущего историка

«по пути почестей», которая до сих пор интересовала нас с точки зрения магистратской карьеры Тацита, и к словам: «Не стану отрицать...». «После битвы при Акции... правду стали всячески искажать... из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним. До мнения потомства не стало дела ни хулителям, ни льстецам... Если же говорить обо мне, то от Гальбы, Отона и Вителлия я не видел ни хорошего, ни плохого. Не стану отрицать, что начало моему восхождению по пути почестей положил Веспасиан, Тит продолжил его, а Домициан вознес меня много выше».

Связь свою с Домицианом отрицали в эти годы все. Деятельность его были осуждена сенатом, статуи уничтожены, имя подвергнуто проклятию. Последнее постановление проводилось в жизнь на редкость последовательно, и в эпиграфике имя последнего Флавия обходится даже в тех случаях, когда близость прославляемого в надписи лица к Домициану и покровительство, оказанное ему императором, были общеизвестны<sup>15</sup>. С двумя первыми Флавиями положение было сложнее. Оба были обожествлены и до 96 г. упоминаются в надписях неизменно и повсеместно; после смены династии имена их также не подвергались никаким официальным запретам. Они фигурируют в надписях и сенаторов, и прокураторов, в том числе таких, которые пользовались покровительством первых Антонинов. Существуют, однако, и надписи, где их имена опущены<sup>16</sup>. Упоминание имен первых Флавиев или опущение их было, таким образом, делом выбора, т. е. выражением позиции.

Смысл ее можно обнаружить, обратившись к эпиграфике Плиния Младшего и к произведениям этого писателя. В главной его надписи, самой большой и красиво оформленной<sup>17</sup>, не упоминается ни один из Флавиев, хотя при них протекала добрая половина его магистратской деятельности и хотя он был жрецом культа Тита. Его «Письма» свидетельствуют о том, что это не было случайностью: во всей этой объемистой книге Веспасиан упомянут четыре раза, Тит — два (при этом первый лишь дважды назван «божественным», второй — ни разу) и все упоминания о них очень сухи. Эти внешние детали выражали определенное отношение к режиму Траяна. В «Панегирике» этому императору, составленном тем же Плинием, имена первых Флавиев почти не встречаются. Домициан тоже называется по имени относительно редко (хотя подразумевается постоянно), и это очевидным образом связано с главной задачей речи: противопоставить старый принципат в целом новой римской государственности, поглощенной в Траяне.

Обоснование особого, высшего характера Траянова правления через контраст его с предшествующим режимом носило официозный характер — оно нашло себе отражение и в обращенных к императору



(подобно тому как обращен был к нему «Панегирик» Плиния) речах Диона Хрисостома. При такой установке осуждения одного Домициана было недостаточно — Нерва и Траян оказывались бы в подобном случае лишь очередными хорошими государями, сменившими очередного плохого. Все дело было в том, что, согласно внедрявшейся схеме, Нерон и Флавии составляли единую эпоху, единый принципат — плохой и ушедший в прошлое, а Траян открывал новую эру и должен был восприниматься как воплощение нового, в основе своей иного строя, человеческого и идеального, поддерживаемого всеми порядочными людьми. Соответственно связь свою с Флавиями «отрицали» те, кто готов был видеть в становящемся режиме Антонинов идеал *res publica Romana*. Тацит не только заявил во всеуслышание, что не хочет этого делать, но не отрекся даже от связи с официально осужденным и официально не упоминаемым Домицианом.

Это было прямым нарушением общепринятого тона и почти грубостью по отношению к Траяну, который любил противопоставлять себя последнему Флавию и еще больше любил слушать, как это делают другие. Заявление Тацита ни в коей мере не означало, однако, и реабилитации, исторической или нравственной, пережитой эпохи и флавийского режима, которые он тут же назвал «временем диким и неистовым», а несколькими годами раньше — «порой рабства и нескончаемых гонений»<sup>18</sup>. Позиция, заключенная в анализируемой фразе, означала не восхваление одного режима или осуждение другого, а понимание относительности и флавийской, и антониновской государственности, относительности основных политических направлений переживаемого Тацитом времени, означало готовность понимать историю, «не поддаваясь любви и не зная ненависти». Слова эти идут у Тацита непосредственно след за словами «не стану отрицать».

Принципат для Тацита с самого начала — не заблуждение истории и не преступление кровавых злодеев. Власть, утверждает он, пришлось сосредоточить в руках одного человека «в интересах спокойствия и безопасности», и если вследствие этого «великие таланты перевелись», то отсюда лишь следует, что каждая ценность истории чревата своей противоположностью. Это надо было понять и принять: республика давала свободу, а отсюда — распри, игра необузданных честолюбив; сменивший ее принципат принес мир и спокойствие, но именно поэтому уничтожил прежний, непосредственно политический характер жизни. Продолжая упрямо и односторонне ориентироваться на величины и ценности, обнаружившие свою объективную двойственность, писатели I в. были для Тацита обречены на то, чтобы скользить по поверхности действительности и искажать сложную, развивающуюся и противоречивую правду истории.

Из редких и скудных свидетельств Тацита о своей жизни и творчестве ни одно не вызвало столько недоверия и иронии, сколько слова о том, что он описывает пережитое им время, «не поддаваясь любви и не зная ненависти», или — в позднейшей формулировке — *sine ira et studio* — «без гнева и пристрастия»<sup>19</sup>.

Указывалось на то, что заверения в собственной беспристрастности не более чем клише, характерное для римских историков вообще и потому не выражающее ни подлинной мысли, ни подлинной позиции автора. Изучение биографии Тацита и хода его мысли в «Истории» показывает, что принцип «без гнева и пристрастия» — не форма самообольщения и не риторическое клише, а внутренняя и пережитая художественно-философская установка писателя, в которой полно и точно выразились и объективный смысл римского принципата I в., и общественно-политический опыт самого историка.

Этим, однако, содержание формулы «без гнева и пристрастия» не исчерпывалось.

Слова Тацита о том, что его предшественники писали ярко, умно и вольно, пока вели речь о деяниях народа римского, и что великие эти таланты после битвы при Акции перевелись, нельзя понимать в том смысле, что почву подлинного, правдивого историописания составляет республиканская идеология, а принципат такое историописание исключает. Подобному пониманию противоречит не только общий характер «Истории», не только весь жизненный путь Тацита, но и прямой смысл разбираемого текста. В нем сказано, что принципат возник из объективной необходимости преодолеть социально-политические противоречия Поздней республики и потому должен рассматриваться как явление положительное или, во всяком случае, логичное и естественное; что принципсам Флавиям Тацит обязан всей своей государственной карьерой, а первым Антонинам — возможностью «думать, что хочешь, и говорить, что думаешь»; что антиимператорская историография романтически-республиканского толка еще хуже, чем историография официально-сервильная. Смысл противопоставления «великих талантов» «хулителям и лстецам» заключен в другом и также выражен в тексте ясно и прямо. Историки писали красноречиво, вольно и талантливо, пока «вели речь о деяниях народа римского», и талант их иссяк, когда они «стали считать государственные дела себе посторонними». Собственно, «государственные дела» — лишь очень бледный и неполный перевод слов *res publica*, за которыми в латинском языке и в римской общественной жизни стояло представление о полной и глубокой вовлеченности человека в дела общины, о личной ответственности граждан за судьбу Города, о прямом участии каждого из них в решении этих судеб и тем самым — в «деяниях народа римского». В

этом суть вопроса об отношении Тацита к Флавиям, к исторической традиции, которой он себя противопоставил, суть «Истории» как художественно-философского документа.

Интересы мира действительно потребовали сосредоточить все политические решения в руках одного человека, но именно поэтому гражданам оказались от них отстраненными, вынужденными «считать государственные дела себе посторонними», а потому и утратившими возможность не только писать свою историю, но и думать, проявлять себя в обществе, жить «красноречиво и вольно». Красноречие и вольность, полагает Тацит, свойство тех, кто живет ради «деяний народа римского» и в них. Поэтому суть не в личных свойствах мужественного и в общем справедливого Веспасиана или коварного, жестокого и подлого его младшего сына. Эти их особенности можно и нужно сносить, как «сносят недород или ливни, губящие урожай... нет-нет да и наступают лучшие времена» (IV, 74, 1–2). Суть в том, что жизнь народа и государства, их развитие и интересы стали для людей посторонним делом. Трагическая вина принципата и горькая беда Римского государства в этом, а не в пороках того или иного императора.

Теперь вернемся к вопросу о теме «Истории». Она включает в себя не только жизнь Рима в период между Нероном и Нервой, не только разоблачение и осуждение принцепсов этой поры, но и раскрытие «внутреннего смысла и причин» того, почему их режим и Римское государство под их властью стали тем, чем стали. В доблести граждан отделившееся от них государство видит теперь не опору, а угрозу своей надживизненной самостоятельности — «самую верную гибель навлекает на человека доблесть» (I, 2, 3). Безразличие к общим интересам *res publica* владеет городской чернью, которая «привыкла выказывать каждому принцепсу знаки преданности, на деле ни к чему не обязывающие» (I, 32, 1), жителями Рима в целом, которые во время уличных сражений между вителлианцами и солдатами Антония Прима, «наблюдая за борьбой, вели себя, как в цирке, — кричали, аплодировали, поощряли то тех, то других» (III, 83, 1), солдатами, «казалось, шедшими не по Италии, не по полям и селениям своей родины, а опустошавшими чужие берега, выжигавшими и грабившими вражеские города» (II, 12, 2). То же отчужденное безразличие проникло в сенат. Когда Гальба представлял усыновленного им Пизона сенаторам, «равнодушное большинство выразило ему свою благосклонность с угодливой покорностью, преследуя при этом лишь свои личные цели и нимало не заботясь об интересах государства» (I, 19, 1).

Это безразличие характеризует поведение и самих принцепсов, вроде Вителлия, который бесчувственно созерцал поле сражения при Бедриаке, где римляне убивали римлян, и «не пришел в ужас, не опустил

глаза при виде стольких тысяч своих сограждан, оставшихся без погребения» (II, 70, 4). В этом полном отчуждении правителей, сената, армии, плебса от интересов государства как целого, от традиций его бывшей солидарности и славы, от *res publica* и *virtus*, как раз и состоявшей в служении человека «государственному делу», — главная для Тацита особенность описанной им эпохи, отличающая ее от предыдущих. Многое из всего им рассказанного случалось и прежде, «но только теперь появилось это чудовищное равнодушие» (III, 83, 3).

Вина историков, описывавших годы Нерона и Флавиев, и состоит, по убеждению Тацита, во-вторых, в том, что они не заметили этой главной особенности своей эпохи и продолжали наивно полагать, будто распад изжитого исторического состояния и нарастание общественных противоречий — результат чьей-то злой воли, процесс обратимый, и ничего не стоит, если только постараться, вернуть его в бывшее русло. Именно об этом идет речь в обоих наиболее развернутых рассуждениях Тацита, посвященных критике историков принципата, — II, 37–38 и II, 101. Поверхностность взгляда и тем самым неведение правды — первая их вина. Вторая вытекает из первой: не видя глубинных движущих сил общественного развития, они сосредоточивают свое внимание на внешних причинах и думают — угодливо или с ненавистью — о принципах, вместо того чтобы думать о народе и его судьбе.

Безразличие к жизни *res publica*, которую люди стали считать себе посторонней, и лесть властителям или ненависть к ним — это две стороны и два логических этапа единого процесса искажения исторической правды. Лесть властителям, внешне прямо противоположная нападкам, потому и не отличается от них по существу, что в основе и той и других лежит «неведение государственных дел» — забвение той единственной нормы, которая позволяет видеть относительность равно извращенных общественных сил, борющихся на поверхности политической жизни, которая позволяет возвыситься над ними, над злом времени и судить его и их. «Вести свое повествование, не поддаваясь любви и не зная ненависти» — удел лишь тех, кто «объявил во всеулышание о своей непоколебимой верности» основополагающим ценностям римской гражданской общины и ее истории.

Связь римского мира с римской гражданской общиной оставалась, как мы видели, непосредственно очевидной как раз до первых десятилетий II в. — до времени, на которое приходится литературная деятельность Тацита. До этого времени поэтому могли длиться и оказывать свое влияние сложившиеся в недрах города-государства ценностные его представления: гражданская солидарность, гражданская ответственность, гражданская доблесть — весь тот круг этических норм, который искони выражался понятием *virtus*. Судьба поставила Тацита

на ту грань, на которой римская гражданская община как реальный общественно-политический и социально-психологический организм окончательно завершила свое существование, традиции же римского города-государства и его полисная аксиология объективно могли еще восприниматься как духовная ценность. Тацит относился к числу тех, для кого была жизненно важна эта исторически сложившаяся аксиология и ее центральная категория — *virtus*, и именно потому, что он видел растворение ее в утверждающемся космополитизме Алпиноновой эры и несоотнесенность с ней ни одной из реальных общественно-политических сил времени, эти силы и представлялись ему чуждыми; именно отсюда возникла возможность рассматривать их «без гнева и пристрастия». Писать и думать так — не выражение безразличия, а верность *virtus*.

Единство обоих взаимодействующих начал — относительности исчерпывающих себя противоречий римской истории и абсолютного значения ее главного принципа, состоящего в ответственности гражданина за свое государство и перед ним, — стало и итогом жизни Тацита, и сутью его творчества, их общей основой.

1981

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Светоний. Домициан, 22 (далее все ссылки на Светониевы биографии римских императоров даются по изданию: Светоний. Жизнеописание двенадцати цезарей. М., 1966).

<sup>2</sup> Светоний. Веспасиан, 13.

<sup>3</sup> Ювенал. Сатиры, IV, 115.

<sup>4</sup> Марциал. Эпиграммы, XII, 57, 21.

<sup>5</sup> Quintiliani Institutiones oratoriae, II, 5, 11.

<sup>6</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26, ч. II, с. 587.

<sup>7</sup> Цицерон. О государстве, III, 34.

<sup>8</sup> Там же, V, 1, 1.

<sup>9</sup> Надпись из Анкиры в Малой Азии, называемая «Деяния божественного Августа», I, 6, 8, 34.

<sup>10</sup> Светоний. Август, 53, 1.

<sup>11</sup> Тацит. Анналы, XII, 5, 2.

<sup>12</sup> Он же. История, IV, 3, 4.

<sup>13</sup> Там же, I, 16, 1.

<sup>14</sup> Тацит. Жизнеописание Агриколы, 3, 3.

- <sup>15</sup> Таковы, например, надписи сенаторов Лициния Суры или Глития Агриколы, прокуратора Миниция Итала. «Остальные надписи, составленные при Траяне, также обходят молчанием имя этого императора» (*Pflaum H.-G. Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire Romain. Thèse complémentaire. Lille, 1960, t. 1, p. 143*).
- <sup>16</sup> Такова, например, эпитафия Росция Элиана, консула 100 г., скорее всего, ровесника Тацита, начинавшего служить, следовательно, как и наш историк, при Веспасиане или Тите. Имена первых Флавиев не фигурируют и в надписи Титиния Капитона — секретаря Домициана, а затем Нервы; его карьера, однако, началась еще при Нероне и, во всяком случае, продолжалась при всех Флавиях. В надписи уже знакомого нам Яволена Приска также не упоминаются ни Веспасиан, давший ему сенаторское звание, ни Тит, чьим судопроизводителем в Британии он был.
- <sup>17</sup> CIL, V, 5262.
- <sup>18</sup> Тацит. Жизнеописание Агриколы, 2, 3.
- <sup>19</sup> Он же. Анналы, I, 1, 3.

---

## «АННАЛЫ» ТАЦИТА И КОНЕЦ АНТИЧНОГО МИРА

До тех пор пока деятельная ответственность гражданина перед своим государством была не просто воспоминанием и не просто иллюзией старого историка, а именно общественным идеалом, живым в сознании многих, нерушимая верность ему оставалась хоть и не политической, а духовной, но все равно живой и актуальной общественной позицией. В этой атмосфере и в этом убеждении Тацит и создал «Историю», ставшую его самым совершенным и прекрасным произведением, где трагизм и энергия жизни звучат единой мелодией. И эта атмосфера, и это убеждение изменились в годы работы над «Анналами» — последним сочинением историка.

В XI книге своего последнего сочинения Тацит ссылается на «Историю», завершенную им в конце первого десятилетия II в., — «Анналы», следовательно, создавались во втором десятилетии и, может быть, позже. Произведение это сохранилось не полностью. До нас дошли I—IV и XII—XV книги целиком, V, VI, XI и XVI с пропусками или в отрывках, VII—X неизвестны совсем. «Анналы» охватывают период с 14 по 69 г., и сохранившиеся книги рассказывают о правлении трех принцев династии Юлиев—Клавдиев: первые шесть — о царствовании Тиберия, почему и называются часто «Тибериевыми»; XI, XII — о времени Клавдия («Клавдиевы»); последние четыре — о правлении Нерона («Нероновы»).

1. **Летопись эпохи Юлиев—Клавдиев.** Слово *анналы* происходит от *annus* — 'год' и означает погодные записи событий, летопись. Хотя Тацит такого названия своему сочинению не давал, оно с легкой руки первых издателей закрепилось за его историческим трудом, закрепилось потому, что действительно есть в этой повести при всей ее субъективности, нервности, напряженном драматизме многое от летописи. Перелистаем ее страницы. «В том же году переполненный постоянными дождями Тибр затопил долины Рима, а когда вода спала, обрушилось много зданий и много погибло людей» (I, 76, 1); «Беспорядки в театре, начавшиеся в прошлом году, в это время стали еще хуже, так что были убиты некоторые из народа, а также центурион и солдаты и был ранен трибун преторианской когорты» (там же, 77, 1); «В том же году племя херусков испросило царя из Рима, так как их знать была истреблена во время междоусобных войн» (XI, 16, 1); «Немного спустя племена диких киликиян, прозывающихся клитами, часто воз-

мушавшиеся и в другие времена, теперь под предводительством Троксобора заняли лагерем крутые горы и, делая оттуда набеги на берега или города, причиняли насилие земледельцам и горожанам. Но царь этой страны Антиох лаской снискал расположение простых клитов, а их вождя обманул, внес таким образом рознь в войско варваров и, умертвив Троксобора и нескольких главарей, смирил остальных милостью» (XII, 55).

Важную роль в этой погодной повести о больших и малых делах в Риме и империи играют всякого рода отступления. Посвященные то местной мифологии, то географии и истории отдельного города или народа, то просто необычным явлениям природы, они, с одной стороны, придают рассказу занимательность, вводя в него любопытные подробности, чудеса и диковины, а с другой — создают ощущение единого еще в своем разнообразии мира, где всё связано и всё всем друг в друге любопытно. Поскольку римляне хорошо знают бронзовую статую быка у Бычьего рынка, то Тацит сообщит им, что именно отсюда Ромул начал борозду, обозначившую границу города, и скажет о том, где проходила эта граница, ибо, добавит он, «я считаю, что об этом нелишне знать» (XII, 24, 1). В связи с реформой алфавита в 49 г. он расскажет со всякими подробностями о том, как египтяне изобрели письмо, как от них переняли это искусство финикияне, а потом греки и этруски занесли его в Рим, а в связи с очередным военным столкновением с парфянами — о распространенном у них культе Геркулеса, о том, как бог является во сне их жрецам и велит приготовить на ночь оседланных коней с колчанами, полными стрел, как эти кони сами уходят в горы, а возвращаются взмыленные и с пустыми колчанами, по окрестным лесам же люди находят множество трупов животных, убитых богом во время своей ночной охоты.

Такой стиль повествования сообщает «Анналам» характер старинной городской хроники, хроники жизни, общей для автора и читателей, всем им памятной, всем равно интересной, близкой и важной: «Небесполезно всмотреться в эти незначительные на первый взгляд события, из которых нередко возникают важные изменения в государстве» (IV, 32, 3).

Непосредственное содержание книги широко известно; на ней и до сих пор основано большинство наших сведений о Римской империи. В «Анналах» рассказано о войнах, которые вел Рим на Западе и Востоке, в частности о самых крупных из них — о зарейнской кампании Германика Цезаря в 15–16 гг. с ее драматическими перипетиями, отчаянными сражениями в непролазных чащобах Германии, гибелью флота, освобождением захваченных в плен старых товарищей и т. д.; об армянских походах Корбулона в 54–62 гг., в которых проявились и великолепные бое-



вые качества римских солдат, и талант полководцев; много места занимают рассказы о провинциальных восстаниях.

Главная сюжетная линия «Анналов», однако, связана с императорским террором. В первой же книге Тацит подробно рассказывает о возрождении при Тиберии старинного закона «об оскорблении величия римского народа», которому было придано новое содержание: по этому закону теперь стало рассматриваться как преступление любое выражение непочтительности по отношению к императору. Тацит показывает, как вначале по таким обвинениям привлекались малозначительные люди и как сам Тиберий бывал раздражен несерьезным, искусственным характером выдвигаемых обвинений. Постепенно положение менялось. Появились лица, которым возбуждение такого рода дел предоставляло возможность блеснуть ораторским талантом, обратить на себя внимание, разбогатеть. Обвиняемым приписывались нападки на Цезаря все более оскорбительного свойства, и метили авторы доносов во все более видных членов сената и императорской семьи, могущества которых принцепс порой и в самом деле мог опасаться. Между принцепсом и доносчиками возникал своего рода союз, число процессов росло, и к концу «Тибериевых» книг они становятся для Тацита важнейшей темой: в VI книге интервал между описаниями дел по «оскорблению величия» никогда не превышает семи глав, т. е. 2—3 страниц. Каков же характер их изображения в «Анналах»?

Прежде всего обращает на себя внимание несоответствие между объективными данными об этих процессах, проводимыми самим же Тацитом, и тем впечатлением, которое они производят на него и которое он стремится передать читателю. Классической эпохой процессов об «оскорблении величия» является правление Тиберия. Всего за 23 года этого принципата Тацит упоминает 104 человека, привлекавшихся к судебной ответственности. 18 из них не имели отношения к оскорблению величия, 86 обвинялись по этому закону, из них были оправданы 19, в двенадцати случаях дело было прекращено, в четырех обвинительный приговор вынесен, но отменен или смягчен. Остается 51, среди которых определенно казнены были 18. В тридцати трех случаях Тацит не уточняет исход процесса, что заставляет, скорее всего, предположить относительно спокойное его окончание, ибо все смерти, трагедии и ужасы он подчеркивает и подробно описывает при каждой возможности. Если учесть, что годы Тиберия были периодом становления нового строя, что старая сенатская аристократия еще сохраняла свое могущество и отнюдь не всегда и не во всем хотела содействовать делу принцепсов, что это был период глухой политической борьбы и острой социальной ломки, в этих цифрах трудно увидеть следы особой жестокости властей, массовый террор и царство крови.

Между тем Тацит воспринимает и изображает эти годы именно подобным образом. Факты не излагаются в их полноте, достоверности и логической связи, а группируются и описываются так, что в густых светотенях тонут их реальные контуры и полувысказанные намеки заставляют предполагать нечто еще более страшное и гнетущее. Перечитаем, например, главы 17–22 IV книги. Тиберий в очень умеренной форме высказал свое недовольство жрецам-понтификам за то, что они назначили молебствия во здравие его внучатых племянников Нерона и Друза одновременно с молебствием в его честь, — он никогда не любил их отца Германика и чувствовал себя уязвленным тем, что юношей прославляют вместе с ним, стариком. В этой главе больше ничего не сказано, кроме того, что неприязнь к дому Германика в императоре разжигал временщик Сеян. Но когда непосредственно вслед за этим сообщается, что Сеян возбудил в сенате дело против полководцев Гая Силия и Тития Сабина — в прошлом, замечает Тацит мимоходом, дружных с Германиком, — и обстоятельствам этого суда уделяются три полные главы, после которых следует рассказ еще о трех сенатских процессах — Кальпурния Пизона, историка Кремуция Корда и Плавтия Сильвана, — у читателя возникает ощущение, что идут кровавые гонения на видных сенаторов, а через них — на народного героя Германика. Между тем стоит вчитаться в текст, и становится ясно, что объективных оснований для такого впечатления явно недостаточно: против сыновей Германика и понтификов, почтивших их своим постановлением, не было предпринято решительно ничего; Титий Сабин, названный вместе с Силием, в результате чего создавалось впечатление группового процесса, в дальнейшем вообще не упоминается — никакого дела против него возбуждено не было; Силий действительно преследовался по закону об оскорблении величия и «упредил неизбежный смертный приговор самоубийством», но главным обвинением против него было вымогательство, обоснованность которого признает и Тацит; два следующих из перечисленных здесь дел не имели никакого отношения ни к предыдущим, ни к семье Германика, а последнее вообще носило уголовный характер.

Главным в описании императорских репрессий в сенате становится при таком характере изложения не разбор конкретных фактов, принадлежащих своему времени и месту, а их общий исторический смысл, эмоциональный колорит, воздействие на психику читателя. Нет никаких оснований, как это часто делалось и делается, считать, будто Тацит отделяет общее впечатление от реальных данных вполне сознательно, в клеветнических целях, будто он просто подтасовывает факты, дабы очернить ненавистных ему принципсов: мы убедились, что Тацит никогда не был противником принципата и принципсов; что

морально низменные мотивы всегда были чужды его творчеству; что отношение к излагаемым фактам «без гнева и пристрастия» для него не риторическая уловка, а основа исторического поведения и мышления. Задача состоит не в том, чтобы гадать, кого и зачем Тацит пытался обмануть, рассказывая о принципате Юлиев—Клавдиев, а в том, чтобы понять, почему главным в нем историку представилась тянущаяся и крепнущая на фоне ее повседневного, все более мирного существования тема «непрестанной гибели» (VI, 29, 1).

Рассказ Тацита о сенатских процессах своим построением, намеками, стилем неизменно обращает мысль читателя к будущему и показывает, как будет дальше складываться положение, откуда возьмутся позднейшие беды, вплоть до пережитых автором и его современниками. Иногда это ощущение рождается почти неприметно, из одного слова, на которое и не сразу обратишь внимание: «Первым злодеянием нового принципата (Тиберия. — Г. К.) было убийство Агриппы Постума» (I, 6, 1); «Первой при новом принципате (Нерона. — Г. К.) была смерть Юния Силана» (XIII, 1, 1). Слово «первая» подготавливает читателя к тому, что в дальнейшем их будет много. «О Плавте на время забыли» (XIII, 22, 3); «Расправу с Сабиним на время отложили» (IV, 19, 1), т. е., читая дальше, мы будем постоянно помнить, что расправа с Сабиним или Плавтом еще впереди. Когда читатель, закрыв книгу, задумывался над прочитанным в целом, ему становилось совершенно ясно, что сообщения о процессах отражают определенную линию развития. «Анналы» начинаются с Тиберия и кончаются Нероном, так что сравнение обоих принципатов напрашивалось само собой. Две эти точки определяли описанный процесс однозначно. По контрасту с эпохой Тиберия прогрессирующий аморализм власти при Нероне виден во всем: в вульгарной ссоре матери императора Агриппины с отпущенником Нарциссом, в том, как Сенека и Бурр потакают порокам юного принцепса, в наглости отпущенников. Вырастающий из этой атмосферы образ Нерона в корне отличается от образа Тиберия — злодея, но уж никак не шута и жулика. Контраст начальных стадий прослеживаемого автором развития с дальнейшими его стадиями постепенно формулируется все определеннее: «Тогда еще сохранялись следы умиравшей свободы» (I, 74, 5); «...доблести знатных, которые в ту пору еще существовали» (XIII, 18, 2).

В процессах об оскорблении величия выражается это общее движение: «Я не поленюсь рассказать о том, как это тягчайшее зло возникло, с каким искусством Тиберий дал ему неприметно пустить ростки, как затем оно было подавлено, чтобы позже вспыхнуть снова и охватить решительно все» (I, 73, 1). Оно так важно не потому, что Тацит возлагал большие надежды на сенатскую аристократию и скорбел о

ней; о ее пассивности, алчности, сервилизме, трусости он говорит в «Анналах» не раз, а в других произведениях и еще чаще. Тема эта так важна и так мучительна для Тацита потому, что в распространении доносительства, в моральной деградации власти и ее жертв, в распаде бывшей родовой и общинной солидарности для него концентрируется и обретает человеческую конкретность весь процесс распада гражданской общины как духовного и ценностного организма.

Отличие «Анналов» от других книг историка состоит в том, что здесь этот процесс прослежен в своих исходных и общих формах, воспринят как суть и основа всего принципата, несовместимость которого с гражданской доблестью — древней римской *virtus*, с исконно римской системой норм и ценностей, со всем общинным началом римской жизни признается, таким образом, изначальной и коренной. Реальными протагонистами этого исторического процесса теперь признаются принцепсы, перечисленные поименно от Августа до Нерона, представленные каждый в пластической неповторимости, а главным в их правлении — уничтожение той свободной деятельной и нравственной энергии отдельного лица, которая с юности была для Тацита высшей нормой поведения и залогом человеческого содержания принципата, возможности достойной службы ему. Современный исследователь «Анналов» писал об этом так: «Все ресурсы своего могучего повествовательного стиля Тацит мобилизует не для того, чтобы просто поведать читателю об исторических событиях, а чтобы выразить, в чем, по его убеждению, состоит их сущность. В его истолковании смысл событий между 14 и 69 гг. может быть кратко обозначен как торжество зла в результате подавления свободы»<sup>1</sup>.

Как соотносится эта тема «Анналов» с летописным характером книги? Между тем и другим существует очевидное противоречие. Летописный, хроникальный характер изложения, столь отчетливо выраженный в «Анналах» и отличающий их от других сочинений Тацита, указывает на то, что и в авторе, и в читателе, к которому он обращался, жило еще ощущение относительно устойчивого и относительно единого мира, неторопливо и многообразно развивающегося из своих исходных начал, империи, которая не противоречит общине, корням античного бытия. «Гражданская община и народ Рима настолько сыты славой, что желают жить спокойно и чужеземным народам» (XII, II, 3). Проходящая же через все «Анналы» и усиливающаяся к их концу тема императорского террора воспринимается и Тацитом, и под его влиянием читателем прежде всего как тема распада и уничтожения именно полисных основ существования, всего векового, собственно антично-римского. Цицероном и Вергилием воспетого строя жизни. Это противоречие между идеализированной патриархальной атмосферой

городской общины и разрушающей ее силой мировой империи отражало, как мы знаем, объективную динамику эпохи, росло и обострялось на всем ее протяжении и достигло предельной остроты ко времени Траяна и особенно Адриана.

Из вопросов, связанных с творческой историей книги, проще других вопрос о том, была ли она завершена автором.

В настоящее время накопилось много данных, говорящих о том, что «Анналы» остались недописанными. Сохранившиеся книги «Истории» и первые книги «Анналов» показывают, с какой предельной тщательностью отделывал Тацит свои сочинения. Допустить поэтому, что в полностью законченном произведении остались неувязки и недоработанные детали, невозможно. Между тем в заключительных книгах «Анналов» их немало. Прежде всего эти книги короче предыдущих: в XII — 69 параграфов, в XIII — 57, в XIV — 65, тогда как среднее число параграфов в полностью сохранившихся книгах первой части — 80, в «Истории» — 91. Концы книг занимают в сочинениях Тацита особое место. Для них он оставляет наиболее ему важные размышления, описание событий либо значительных самих по себе, либо имеющих символический или пророческий смысл, самые эффектные картины и сентенции. Последние книги «Анналов» — единственные во всем корпусе исторических сочинений нашего автора, где этот принцип нарушается. В XIII книге повествование явно оборвано: после описания опустошительного пожара в земле убиев Тацит без перехода начинает рассказ о чудесном знамении на римском Форуме, посвящает ему одну фразу и на ней прекращает изложение. XIV книга кончается, казалось бы, обычным образом — фразой, призванной подготовить читателя к главному для Тацита событию последних лет Нерона, составляющему центр следующей, XV книги, — заговору Пизона. Но лежащее в основе этой фразы сообщение основано на странной фактической неувязке: обвинение Сенеки в сообщничестве с Пизоном выдвигается против него за три года до возникновения заговора.

Некоторые параграфы XVI и особенно XV книг написаны настолько конспективно, что трудно избавиться от впечатления, будто перед нами скорее план, заметки на память, чем законченный текст. Так, в главе 71 XV книги на протяжении полустраницы перечислено 22 имени лиц, подвергшихся репрессиям после разгрома заговора Пизона. Большинство из них никак не введено и не аннотировано, хотя в двенадцати случаях это имена, встречающиеся только в данном месте и читателю неизвестные. С такой же предварительно, на память сделанной и впоследствии не исправленной записью связано первое упоминание префекта претория при Нероне Офония Тигеллина (XIV, 48) и знаменитого доносчика Вибия Криспа (XIV, 28, 2) — оба этих персо-

нажа, столь важные для сюжета и смысла «Анналов», появляются в книге неожиданно, не представленные, без упоминания об их положении и роли, в случае Тигеллина даже без первого имени; обычно Тацит вводил таких людей совсем по-другому. В последних книгах «Анналов» сохранились небрежные автором неточности. О землетрясении в Кампании сообщается под 62 г., хотя оно было в 63-м; о большом пожаре в Лутдунуме — в самом конце 65 г., хотя он был или в начале его, или, скорее всего, во второй половине 64 г. Все чаще повторяемый исследователями вывод о том, что «Анналы» — произведение незавершенное, приходится, по-видимому, признать справедливым.

Менее справедливо то заключение, которое обычно делается на этом основании: если «Анналы» остались незаконченными, значит, работа над ними прекратилась в момент смерти Тацита: «Тацит, как Вергилий, умер, не успев придать своему произведению окончательный вид»<sup>2</sup>. Есть много данных, говорящих о том, что незавершенность «Анналов» не есть результат внезапного прекращения работы, катастрофы, связанной со смертью, прервавшей энергично продвигавшийся вперед труд, а представляет собой следствие длительного и постепенного отхода от проблем, в этом труде поставленных, и от решений, в нем предложенных.

В начале «Анналов» (III, 24, 3) высказано намерение автора по завершении этого труда написать сочинение об эпохе Августа; физическое состояние историка не было, очевидно, ничем омрачено и позволяло строить самые далеко идущие планы. В последних книгах есть ряд мест (речи Нерона и Сенеки в связи с просьбой последнего об отъезде из Рима, весь процесс Тразеи, гибель Агриппины и др.), написанных с энергией и силой, которые не всегда обнаруживаются и в более ранних произведениях, причем эпизоды такого рода встречаются вплоть до самого конца сохранившегося текста. В то же время известное ослабление напряженности повествования и отход от былой тщательности в обработке текста нарастают исподволь, начиная уже с XI—XII книг. Это видно и в общей «нормализации» языка, характерной для XIII—XVI книг, но по контрасту с I—VI книгами ясно ощущаемой уже в рассказе о Клавдии, и по увеличению числа нейтрально-безразличных сообщений о тех или иных поступках без обычного для ранних книг стремления указать их отрицательные, неблагоприятные мотивы, вызывавшие прежде у Тацита яростное осуждение, и из самого чередования отмеченных выше недоработанных мест с местами, выписанными с прежней силой. Все это указывает на то, что работа над «Анналами» была не внезапно оборвана, а постепенно оставлена. Выяснение причин этого станет возможно лишь после того, как будут установлены время и порядок публикации отдельных частей этого сочинения.

Основания для датировки отдельных частей его дают две особенности «Анналов» — упоминания о Парфии и отличие стиля «Нероновых» книг от стиля предшествующих. Парфия выступает в «Анналах» в двух обликах — как могучее государство, находящееся с Римом в отношениях союза или соперничества равных, и как царство, ослабленное внутренними распрями, принимающее правителей из рук римлян и едва способное выносить борьбу с ними. Образ Парфии, слабой и зависимой от Рима, возникает в «Анналах» обычно там, где речь идет о прошлом; говоря о своем времени, Тацит неоднократно характеризует Парфию как могучего и равного соперника Рима: «...находясь между могущественными державами парфян и римлян» (II, 3, 1); «...подати, взимаемые ныне с этих народов силой парфян или могуществом римлян» (II, 60, 4). Суждения такого рода встречаются только во II книге «Анналов» и, как указывает слово «ныне», отражают ситуацию, существовавшую во время ее написания; позже, по-видимому, для них уже не было оснований. Эти основания исчезли в 114—117 гг., когда римляне нанесли парфянам ряд тяжелых поражений, захватили их столицу Ктесифон и знаменитый литого золота трон Аршакидов; Траян выбил медаль с легендой «Парфия покорена», и общее мнение сходило на том, что Парфия как великая держава существовать перестала. Фразы вроде приведенных выше стали невозможны именно с этого времени. Поскольку «Тибериевы» книги «Анналов» (I—VI) совершенно отчетливо представляют собой единое, полностью законченное и внутренне однородное целое, есть все основания считать, что это целое создавалось тогда, когда еще имелись причины для оценки Парфии, содержащейся во II книге, следовательно, до побед Траяна над парфянами, т. е. до 114 г.

«Нероновские» (XIII—XVI) книги «Анналов» составляют особую часть последнего сочинения Тацита, существенно отличную от предыдущих. Отличие это начинается со стиля. Яркость и необычность языка Тацита в начале «Анналов» во многом связана с сочетанием редких или устарелых выражений со словами и оборотами «протороманского» типа, т. е. отражавших эволюцию повседневной речи. В «нероновских» книгах это характерное сочетание распадается, рассказ постепенно освобождается не только от модернизмов, но и от архаизмов, язык нормализуется и «усредняется». Стилистические особенности последних книг «Анналов» обнаруживают связь со своеобразным изменением к концу сочинения также и авторской позиции — изменением, которое удалось выявить совсем недавно в результате специального статистического исследования<sup>3</sup>. Сообщая о том или ином поступке действующих лиц своих сочинений, Тацит обычно указывает его мотивировку: «Решив, что дважды консул Валерий Азиатик был когда-то

любовником Поппеи, Мессалина подговаривает Суллию выступить обвинителем их обоих. Ее толкало на этот шаг, помимо всего прочего, желание завладеть садами, которые некогда были созданы Лукуллом» (XI, 1, 1). Всего по сочинениям Тацита отрицательно мотивируемые поступки составляют 51,7%, положительно мотивируемые — 25,3%, сообщаемые без ясной оценки — 23,0%. В «Тибериевых» книгах отрицательные мотивировки, т. е. разоблачающие и осуждающие поступки персонажей, достигают максимума — 70%, мотивировки нейтральные — минимума (14%). В «Нероновых» книгах положение прямо противоположное: соответственно 47 и 31,5%. Последние книги «Анналов», таким образом, отличаются от предыдущих снижением не только энергии и своеобразия стиля — изменение стиля отражает ослабление энергии и определенности в отношении автора к своему материалу.

Есть основания считать, что эти изменения наступили после некоторого и довольно значительного перерыва в работе и что «нероновские» книги не были для Тацита непосредственным продолжением ранее начатого труда. Так, в предшествующих им разделах он избегал называть по именам историков, чьи сочинения использовал, и ограничивался общими указаниями вроде: «в трудах историков», «согласно большинству историков» и т. п. Такое оформление ссылок повторяется в «Тибериевых» и «Клавдиевых» книгах столь систематически, что его нельзя квалифицировать иначе как сознательный прием. В начале XIII книги (20, 2) выдвигается новый принцип цитирования, что уже само по себе естественнее делать, приступая к работе, чем завершая ее. Тацит сообщает здесь о своем решении впредь называть историков поименно. Он действительно следует объявленному намерению, придавая и в этом отношении заключительной части сочинения самостоятельный облик. Там же, в начале XIII книги, пособием преступлений императоров Локуста представляется читателям так, будто она вводится впервые: «осужденная как отравительница и прославленная многими преступлениями женщина по имени Локуста»; Тацит, по-видимому, успел забыть, что в XII, 66, 2 он уже представлял ее, сказав и об ее аресте, и о предшествующих злодеяниях. Расстояние по тексту между обоими упоминаниями настолько незначительно, что, допустив последовательную и непрерывную работу над сочинением, объяснить его невозможно. Такое повторение могло возникнуть, только если между завершением XII книги и возвращением к труду был длительный перерыв. Ощущается какая-то лакуна того же характера также между XII, 5 и XIII, 34, где речь идет о положении в Армении.

С чем был этот перерыв связан и на какое время он приходится? Предположение о чисто личных его причинах психологического, бытового или творческого порядка, которое могло бы быть убедительным



для писателя Нового времени, приходится исключить, если речь идет о древнеримском историке-сенаторе: его жизнь и деятельность регулировались событиями общественно-политическими, а не интимно-личными. Важнейшими из таких событий после 114/115 г. (когда, как мы видели, была завершена первая «гексада», т. е. группа из шести книг, рассказывавших о правлении Тиберия), явились смерть Траяна и воцарение Адриана в августе 117 г. Современники очень скоро поняли, что присутствуют при политических изменениях, суливших самые глубокие и далеко идущие исторические последствия.

Тацит должен был чувствовать это острее других, так как происходившие перемены касались того, что всегда волновало его особенно сильно, — принципа перехода верховной власти после смерти очередного государя к наиболее достойному из сенаторов, победоносных войн как моральной основы римской державы, законосообразности принцепата и отказа от террористических эксцессов, признания «римской традиции» высшей общественной и моральной ценностью. Во всех этих областях Адриан вел себя, как нарочно, так, чтобы разбить все надежды и упования Тацита и людей его типа и круга. Он стал принцепсом в обход закона и сената, не исключено, что и против воли самого Траяна, в результате тайных интриг в императорской семье и свите. Он сразу же отказался от завоеваний Траяна в Азии, подумывал об отказе от результатов дакийских походов — последней крупной завоевательной кампании в римской истории — и окончательно положил предел военной экспансии римской державы. Приход его к власти был ознаменован убийством четырех выдающихся деятелей предшествующего царствования, что сразу осложнило его отношения с сенатом и заставляло вспоминать о временах Тиберия, Нерона или Домициана. Наконец, безудержное и демонстративное эллинофильство Адриана знаменовало полный отход от романоцентристской политики первых Юлиев — Клавдиев и Флавиев.

В результате этих перемен, наступивших стремительно и неожиданно, взгляды, которые Тацит излагал в своих сочинениях, оказались в противоречии с обнаружившимися тенденциями дальнейшего развития государства. Вполне естественно, что это потребовало раздумий, пересмотра многих положений и приостановило написание «Анналов». Перерыв в работе, объясняющий отличия и особенности «нероновских» книг, естественнее всего отнести, таким образом, к 117–118 гг. и признать, что последние, недоработанные части «Анналов» создавались после этого перерыва, т. е. при Адриане.

Что касается «Клавдиевых» книг, то данных для сколько-нибудь обоснованной их датировки нет. Стиль их обладает чертами как характерными для первой гексады, так и присущими рассказу о правле-

нии Нерона. Другие критерии или не обнаруживаются, или допускают подобную же двойственность истолкования. Книги XI, XII, другими словами, могли быть написаны и до 114-го, и после 118 г.

В последние два десятилетия сложился взгляд, завоевывающий все больше сторонников, согласно которому «Анналы», будучи написаны частью при Адриане, представляют собой также и документ политической борьбы Адрианова времени. Тацит, по этой теории, стремился свести счеты с современностью в своем историческом труде, где в скрытой форме содержится критика новых властителей и отстаивается иная политическая линия на будущее. Незавершенность «Анналов» объясняется при этом так, что зрелище интриг и жестокостей, сопровождавших вступление Адриана на престол, создали у историка полное впечатление, будто возвратились времена Тиберия и Нерона, и он умер от отвращения и отчаяния, оставив свою последнюю книгу недописанной. Метод исследования, позволяющий обосновать эту концепцию, сводится обычно к следующему. В тексте «Анналов» обнаруживается факт, сходный с каким-либо фактом Адрианова правления или резко контрастирующий с ним; это рассматривается как выражение сознательного намерения автора установить аналогию (или контраст) с окружающей его действительностью; такое намерение истолковывается как доказательство личного отрицательного отношения историка к Адриану и его политике.

Весьма показательно, например, как трактуют сторонники этой теории эпизод с преемниками Августа. В рассказе Тацита о сенаторах, которых Август рассматривал как своих возможных преемников (I, 13, 2–3), при большом желании можно ощутить некоторую обособленность от основной линии повествования, что могло бы указывать на позднейшее включение этого эпизода в уже готовый текст. Поскольку возможных преемников Августа названо четверо и они умерли при Тиберии насильственной смертью, смысл такого добавления состоял в установлении аналогии с четырьмя консуляриями, казненными в 117–118 гг., и, следовательно, в признании Адриана таким же коварным тираном, как и Тиберий. Но о главном из возможных преемников Августа — Луции Аррунции — Тацит неизменно говорит с уважением и симпатией, следовательно, сходные чувства должны были вызывать у него и консулярии Траяна. Симпатия же предполагает (или может предполагать) солидарность, а значит, гнев и репрессии Адриана должны были обрушиться не только на самих обвиняемых, но и на историка, который на основе изложенного признается связанным с ними и их заговором.

Этот метод и выводы, на нем основанные, вызывали возражения. Недостатки его очевидны: невнимание к фактам, противоречащим

концепции, неполадки с хронологией, произвольность в отборе и толковании тех мест, в которых усматриваются намеки, неопределенность и недоказательность самих этих намеков, игнорирование литературного контекста. Не в этих недостатках, однако, главное. Главное в том, что речь идет о последних книгах последнего исторического труда Тацита, т. е. о завершении, о подведении итогов долгого и сложного пути, и никакое истолкование «Анналов» не может быть убедительным, если оно не вытекает из содержания и внутренней логики этого развития.

Представим его себе еще раз. С самого начала своей деятельности Тацит утверждал в качестве высшей ценности гражданскую доблесть, *virtus* — противоречивое единство свободно себя выражающей энергии личности и интересов Рима как города-государства. События 80–90-х годов и отразившееся в них неуклонное движение Рима от гражданской общины к космополитической столице космополитической империи показали, что в плане практического поведения подобное единство стало невозможным. Продолжая честно и успешно служить как магистрат, Тацит все больше реализует теперь свой талант, энергию и любовь к Риму в литературной деятельности, к которой обращается в самые последние годы I в. Обращение к литературному творчеству означало, что проблема Рима и *virtus* переносилась для него отныне в другую плоскость. «Неуверенным и неокрепшим голосом»<sup>4</sup> повел он рассказ о «гражданской доблести» как о критерии истории, не воплощенной в практической деятельности того или иного принцепса, той или иной сенатской группировки, но от этого не менее реальной, хотя и другой реальностью — духовной, исторической, нравственной, — о том Риме, в политике и повседневности которого *virtus* распалась на мертвечующую исконно римскую консервативную традицию, с одной стороны, на хищную энергию и исторический динамизм «наглецов» — с другой. Тацит понял невозможность сблизить навсегда разошедшиеся полюса и не пытался никого толкнуть к подобным попыткам. Он просто рассказывал, что происходит с государством, когда из него уходит *virtus*.

Однако рассказ предполагает слушателя. Создавать книгу за книгой можно было, только чувствуя, что *virtus* и Рим — живая проблема, что независимо от ее практической неразрешимости она занимает и волнует людей, образует центр духовной жизни поколений. Тацит обратился к литературному творчеству, так как верил, что в мысли и слове *virtus* обретает большую реальность, чем в приказах полководцев и в сенатских прениях, так как решил, что его рассказ о событиях I в., о Риме, где распадается «гражданская доблесть», сделает ее навсегда живой и сохранит на века. В ту пору он еще не знал, что читатель, книга и сама их связь не меньше, чем рассказанные в книге события, принадлежат истории и в этом смысле — определенному времени, т. е.

определенной системе отношений, взглядов, вкусов, людей, мыслей, и что этой системе тоже суждено рано или поздно стать прошлым.

**2. Почему «Анналы» остались неоконченны?** Вернемся к вопросу о связи между эпизодом, где Тацит рассказывал о сенаторах, которых Август намечал себе в наследники, и судьбой казенных Адрианом консуляриев. Если такая связь в принципе не исключена, то каков все-таки ее смысл и что могло заставить Тацита ее устанавливать? Из сенаторов, им названных, один — Гней Пизон — был сыном известного врага Юлия Цезаря, сподвижника Брута и Кассия, Гнея Кальпурния Пизона, согласившегося в 23 г. до н. э. по настоянию Августа стать консулом, дабы символизировать союз нового режима со старой римской аристократией. Когда Август тяжело заболел и думал, что умирает, он доверил свой архив именно ему. Это положение сохранил и сын Кальпурния. Он 45 лет честно служил императорам, был советником Тиберия, но главным в его облике и деятельности оставалась верность старинным нравам римской знати. Скупостью, жестокостью, упрямством он больше всего напоминает обоих Катонов. «Унаследовав от отца дух строптивости, — характеризует его Тацит, — он был человеком неукротимого нрава, неспособным повиноваться». Другим человеком, но в пределах того же социально-исторического типа, был и считавшийся наиболее достойным из возможных преемников Августа Марк Лепид. Тоже выходец из древнего патрицианского рода, он пользовался большим влиянием на Тиберия, но старался поставить на службу цезарям не столько исконные недостатки старой аристократии, сколько ее новоприобретенные добродетели — «умеренность и мудрость»<sup>5</sup>. Именно в Лепиде видел Тацит то сочетание верности принципам как воплощению государства и независимости от него как личности, которая так долго была для него идеалом поведения. Как бы ни отличались от обоих названных «наследников Августа» два других — Луций Аррунций и особенно Азиний Галл, все четверо были связаны для Тацита с одной темой — с судьбой и ценностью коренной римской традиции в условиях принципата.

«Заговор консуляриев» против Адриана представляется в источниках и в исследовательской литературе как союз Авидия Нигрина, ближайшего сподвижника и советника нового императора, с полководцами, заинтересованными в продолжении воинственной политики Траяна и потому враждебными Адриану, положившему ей конец. Авидий происходил из семьи, выдвинувшейся только при Флавиях (его отец и дядя были первыми консуляриями в роде) и тесно связанной с Адрианом в ту пору, когда тот еще не был принцем. Само консульство Авидия в 110 г. с последующим ответственным назначением наместником Дакии было признаком возрастающего влияния Адриана и его лю-

дей — консулом следующего, III г., стал двоюродный брат Авидия Квиет. Есть основания думать, что в сближении Адриана с семьей Авидиев немалую роль сыграло их общее эллинофильство — дядя Авидия Нигрина Тит Авидий Квиет входил в стоическое окружение Траяна; вместе со своим братом (отцом казенного консулярия) он был покровителем и слушателем Плутарха; и оба брата, и их сыновья — все были наместниками греческой провинции Ахайи, все проявляли необычную осведомленность в греческих делах и интерес к ним. Именно в годы создания «Анналов» у Тацита нарастает раздраженно-враждебное отношение к такому эллинофильству, в торжестве которого он справедливо усматривал гибель старой римской системы ценностей. Если Авидий сопоставлялся с Пизоном, Лепидом или Арруннием, то только по контрасту.

В еще более резком контрасте ко всему миру римской традиции находились связанные с Авидием полководцы, и самый яркий среди них — Лузий Квиет. Вождь одного из диких племен внутренней Ливии, может быть чернокожий, он появился во главе отряда своих конников в армии Домициана в конце 80-х или начале 90-х годов и занял какое-то странно неопределенное, римской табели о рангах несвойственное положение. Воевал он рьяно и успешно, но Флавии были еще слишком римлянами, постоянно оглядывались на традиции и прошлое, и Лузий вскоре из армии исчезает — время, когда ливийский царек мог встать во главе легионов, еще не настало. Оно пришло с дакийскими походами Траяна. Лузий отличается в борьбе с Децебалом, в 116 г. он становится сенатором, в 117 г. — консулом и во главе самостоятельной группы войск с чудовищной жестокостью подавляет восстание в месопотамской диаспоре. Показательно, что, несмотря на блестящую карьеру, официальное положение его до конца остается неопределенным. Во время парфянского похода Траяна он командует крупным самостоятельным воинским подразделением, включавшим как союзную конницу, так и пехоту (т. е. легионеров), не являясь, однако, легатом легиона, и тем не менее попадает в сенат в ранге претория (т. е. как бы уже пройдя легионное командование). И сенатором, и консулом он становится вопреки всем обычаям, только и прямо за военные заслуги — ситуация, которая станет типичной в III–IV вв., но для начала II в. была неслыханной. После консулата или, может быть, даже одновременно с ним Лузий назначается наместником Иудеи и вводит в эту провинцию свои войска, хотя ее статусом это категорически запрещалось.

Обращение, которое такой человек мог вызывать у Тацита, очевидно. Все параллели со временем Юлиев–Клавдиев и даже Флавиев говорили не о сходстве, а о полном разрыве эпох. С наибольшей, ошеломляю-

щей ясностью, однако, проявился этот разрыв времен во взаимоотношениях греческого и римского начал в жизни и культуре империи.

Империя, объединившая в едином государственном механизме римский Запад и эллинистический Восток, с самого начала несла в себе возможность такого развития, при котором оттеснение от власти римской олигархии вело к усилению греческого элемента в жизни и культуре общества и эллинистическо-монархического элемента в поведении и положении принцепсов. На протяжении полутора столетий империя оставалась римской, доминанта культурной жизни находилась в области римской традиции, и попытки переделать империю на эллинистический лад ясно обозначились лишь дважды — при Антонии и при Нероне.

Связь монархических (и в этом смысле для консервативного римлянина всегда кощунственных и преступных) тенденций в развитии принципата с политическими традициями эллинистического мира была теоретически очевидна всегда. В жизненной практике, однако, на протяжении всего I в. греко-восточное влияние сказывалось больше в быте, искусстве, привычках, художественных вкусах, в темах разговоров, и постепенное нарастание его долгое время не вызывало серьезных опасений ни у кого, в том числе и у Тацита. Агрикола усвоил в Массилии «греческую обходительность», в «Диалоге об ораторах» влияние греческого литературного вкуса ощущается на каждой странице, и даже еще в начале «Анналов» эллинофильские привычки Германика Цезаря не вызывают у автора ни тени осуждения.

В конце правления Траяна и в последующие годы роль и положение греков в римских правящих кругах начали резко меняться. Правда, греки-отлученники, ведущие практические дела римских патронов, продолжали занимать свое прежнее положение. Зато греки-идеологи из странных чудаков, преследуемых «наставников добродетели», неоднократно выславшихся из Италии, близких к оппозиционным сенаторам, подчас нищих и гордившихся своей нищетой, с начала II в. все чаще превращаются в римских всадников, сенаторов и магистратов, в богачей, оказывающих прямое влияние на политику государства. Софист Исей Ассирийский, вызывавший своими риторическими импровизациями восхищение римских сенаторов в последние годы I в., был еще школьным учителем — его ученик Дионисий Милетский стал при Адриане римским всадником и магистратом. Дион Хрисостом в 70-е и 90-е годы подвергался в Риме гонениям, был выслан, вел жизнь бродячего нищего проповедника, а уже в самом начале II в. выступал перед Траяном со своей программой принципата; официальные должности он занимал только в своем родном городе Прусе в Вифинии; ученик же Диона Фаворин в качестве доверенного лица и советника сопровождал императора Адриана в его путешествиях по Востоку. В

20-е годы софист Полемон вернулся после длительной отлучки в родную Смирну и обнаружил, что его дом занят римским наместником. Он настоял на вселении римского магистрата, и тот подчинился. Занятельность ситуации усугублялась тем, что этим наместником был Аврелий Фульв, будущий император Антонин Пий. Греческий софист Герод Аттик, чье богатство вошло в пословицу, был в 140-е годы римским консулом, и притом ординарным. Ординарными консулами на 142 г. стали Куспий Пактумерий Руфин из Пергама и Стаций Квадрат, афинянин.

Подобные перемены стали возможны в результате политики цезарей, в частности Адриана, и на основании примера, который он подавал. Оказывая постоянную поддержку греческим городам, Адриан особое внимание уделял своим любимым Афинам. Рядом с древними «Тезевыми» Афинами возник новый город — «Афины Адриана»<sup>6</sup>; Адриан завершил заложенный еще Писистратом Олимпейон и начал строительство нового водопровода. Вся эта деятельность имела не только архитектурно-художественный, но и политический смысл. Из греческих городов был образован Общеэллинский союз, и хотя он носил больше парадный и символический, чем деловой, характер, он подчеркивал роль Греции как единого целого в жизни и культуре империи.

На духовное равноправие греков и римлян указывал и созданный Адрианом Атенией — нечто вроде академии, готовившей кадры высшей администрации. В Атение было два отделения, латинское и греческое, причем преподаватели-греки считались такими же государственными служащими, как римляне, и получали то же жалованье, что они. Вообще роль греков и выходцев из восточных — грекоязычных — провинций в высшей администрации и в сенате росла на глазах. Сенат Августа и Тиберия был в основном римским, сенат Флавиев — римско-италийским, сенат Адриана стал италийско-греко-восточным. Создавался политический климат, при котором принцепс и в собственных глазах, и для империи в целом превращался из римского магистрата в эллинистического царя-бога. Адриан не просто гордился своим званием архонта Афин. Среди города возвышался построенный им Панэллинион — храм Зевсу Всегреческому и самому Адриану. В связи с освящением Олимпейона императору было присвоено звание Олимпийского и даже Зевса Олимпийского. Безудержное увлечение Грецией неуклонно вело к монархизму восточного толка, монархия всегда была для римлянина синонимом тирании, и Адриан, казалось, повторял самых ненавистных Тациту тиранов прошлого.

Эллинофобия Тацита в «Анналах» выражена сильнее, чем в более ранних произведениях, и на протяжении книги она явно растет. В «Тибериевых» книгах греки появляются всегда для того, чтобы при-

нести с собой атмосферу никому не нужной смешноватой учености и музейной старины; римскому обществу, и особенно его правителям, эта атмосфера совершенно чужда. Положение начинает меняться при Клавдии и в начале правления Нерона. Оба они по всякому поводу торопятся проявить начитанность в греческих авторах, подчеркнуть свою принадлежность к греческой культурной традиции.

Постепенно подобные демонстрации учености приобретали для Тацита особый смысл. Увлечение греческими легендами уводит человека от римской действительности, от обязанностей и ответственности: Клавдий занимался историей греческого алфавита, «оставаясь в полном неведении своих семейных дел»<sup>7</sup>, в те самые дни, когда Мессалина устраивала свой грозивший государственным переворотом брак с Гаем Силием; под аккомпанемент речей Нерона о Трое Агриппина готовила отравление Клавдия и передачу власти своему сыну. Эта тема нарастает в рассказе о правлении Нерона. Греческие увлечения и привычки связаны с той стороной его жизни, которая превращает его из римского принцепса в развлекающегося повесу, почти шута. Переход от начального, положительно оцениваемого Тацитом периода его правления к небрежению государственными делами, к заносчивости и жестокости начинается с любви принцепса к греческой отпущеннице Акте. Следующий шаг на этом пути — увлечение игрой на кифаре, оправдываемое тем, что кифаредам покровительствовал Аполлон. Для первых своих публичных выступлений на театральных подмостках Нерон, «не решившись начать сразу с Рима, избрал Неаполь, представлявшийся ему как бы греческим городом»<sup>8</sup>.

Постепенно из формы отвлечения от государственных дел и интересов эти греческие привычки становятся формой оскорбления римских традиций: в 61 г. при освящении отстроенного им гимнасия император «с греческой непринужденностью роздал оливковое масло всадникам и сенату»<sup>9</sup>.

В последних книгах «Анналов» эллинистическая стихия — это проникающая в высшие слои общества чужеродная сила, отражающая разложение этих слоев и составляющая растущую угрозу общественным формам, ей противоположным, — Риму, его традициям и ценностям. В результате учреждения Нероний — мусических и спортивных игр, в которых должны были состязаться юноши из знатных римских семей, по мнению Тацита, «отчие нравы окончательно будут вытеснены распутством, завезенным из чужих краев, и Рим выродится, увлеченный чужеземными страстями»<sup>10</sup>.

Эти пророчества отражали впечатления Тацита от Адриановой эпохи. В реальной жизни общества, окружавшего его в последние годы, «страсть к иноземию» не угрожала больше городу-государству извне, а



упразднялась сама их противоположность. Эллинизм Адриана, в отличие от эллинизма Нерона, не вторгался в исторически сложившуюся жизнь Древнего Рима — он просто ликвидировал и эту жизнь, и этот Рим. Город от века жил по правовым нормам, выработанным некогда в пределах общины и для ее членов. Закон (*lex*) был неразрывно сопряжен со свободой римского гражданина, с его *libertas*. Эти нормы могли быть (и были) односторонними и антидемократическими, принцепсы I в. могли их систематически нарушать (и нарушали), но только Адриан просто убрал из них все связанное с особенностями Рима, с его неповторимым прошлым и влил их в систему общеимперского права, где все регулировалось едиными законами, а законы — благоусмотрением принцепса. Римом от века управляли магистраты — выборные, ежегодно сменяемые и подотчетные сенату, в принципе и в идеале всегда служившие государству, а не лицу. Адриан завершил создание нового аппарата управления империей, где главную роль играли чиновники, назначавшиеся императором на произвольный срок и получавшие от него жалованье.

Принцепсы I в. опирались на сенат. Он мог быть (и был) деморализован и сервilen, принцепсы могли с ним не считаться, — но не могли и не считаться, так как он воплощал те традиционно римские основы их власти, без которых они править еще не были в состоянии. Адриан фактически заменил сенат императорским советом, члены которого теперь стали получать жалованье. Могущество принцепсов всегда опиралось на легионы. На протяжении I в. они пополнялись римскими гражданами, и хотя звание это давно утратило свой изначальный смысл, оно связывало вооруженные силы — а тем самым и власть — с определенными и на протяжении I в. еще глубоко содержательными историческими формами. По приказу Адриана в легионы стали принимать провинциальных жителей независимо от принадлежности их к римскому гражданству. Последняя нить, связывавшая армию с ополчением города Рима, оказалась порванной.

Процессы эти зарождались при Юлиях — Клавдиях в недрах новой имперской государственности; теперь они завершались у всех на глазах. Их смысл становился очевидным каждому, кто размышлял над судьбами Рима. «Адриан понял нежизнеспособность созданного Августом разделения власти, — очень точно подытожил описанные выше процессы историк Нового времени. — ...Порвав с прошлым, он ввел новый принцип — участие всадничества в управлении империей, что привело к созданию твердых и стабильных форм власти. Ни о каком разделении ее отныне не могло быть и речи, ибо, по мысли Адриана, вся полнота ее принадлежала только принцепсу, и существование служилого сословия делало теперь императорское правление эффектив-

ным. Установление это имело, конечно, и обратную сторону. Состоящий из императорских служащих аппарат управления должен был оказать разрушительное действие на одну из главных опор всей античности — свободу самоуправляющейся городской общины. Безудержное и бессовестное развитие чиновничьего аппарата означало конец самоуправления и автономии города-государства»<sup>11</sup>. Отношения Тацита с римским обществом Адриановой поры и обусловленная ими судьба «Анналов» связаны с объективным завершением истории римской гражданской общины, а не с аналогиями между Адрианом и Нероном или жестокостями нового императора — их бывало достаточно и раньше.

Фоном существования, предпосылкой любых размышлений о народе и его истории, любого нравственного чувства для Тацита была система ценностей римского города-государства, *rei publicae Romanae*. Вся критика римской Ранней империи, вся трагедия общества, представленная в его книгах, были вызваны тем, что эта система разрушалась, что интересы государства и его традиционная общественная мораль разошлись. Но эта ситуация могла стать основой трагедии лишь потому, что нарушалась нерушимая норма, отделялись друг от друга силы, нераздельные по самой природе вещей. Рассказ о распаде римской *virtus*, «гражданской доблести», был исполнен силы и глубины потому, что историк видел в ней концентрацию и воплощение безусловной, образующей фон всякого существования, непреложной реальности — римской гражданской общины. То же видела в «гражданской доблести» аудитория, к которой Тацит обращался, и исходившие от нее понимание и сочувствие наполняли его повествование энергией, укрепляли веру в историческую справедливость его взглядов и оценок. «Предсказываю — и предчувствие меня не обманывает, — что исторические сочинения твои будут бессмертны», — писал ему один из современников<sup>12</sup>. «Гражданская доблесть» была соотносительна с «гражданской общиной» и вне последней немыслима: единство энергии гражданина и интересов государства — это и называлось *virtus*, и это же, под другим углом зрения, называлось *res publica Romana*. Поэтому, когда стерлась разница между Римом и миром и Рим не только в административно-политическом, а затем и в идеологическом отношении, но непосредственно, в повседневном сознании каждого растворился в космополитической империи, *virtus* перестала быть угрожаемой нормой, оскорбленным величием римской истории, предметом раздумий, страстей и надежд — она просто потеряла смысл, сошла на роль реликта, музейного экспоната, а вместе с ней — и вся духовная ситуация, выраженная в творчестве Тацита и его породившая.

Книги Тацита исполнены ненависти к описанным им императорам, так как каждый из них был «враждебным доблести». Но враждебным можно быть только по отношению к тому, что есть, что реально су-

существует, и сама борьба вокруг *virtus* доказывала, что в годы, Тацитом описанные, она еще была жива. Сознание это было у историка столь же ясным, как и сознание ее постоянно углубляющегося распада. «Не до конца было лишено доблестей и наше время»<sup>13</sup>. Тацит писал о том, что единство человека и традиции распадалось на хищное своекорыстие и неподвижный консерватизм, но само хищничество «наглецов» и «доносчиков» было еще заряжено энергией, выражало еще особое содержание принципа развития в городе-государстве, а сам консерватизм еще был внутренне ориентирован на «нравы предков», и потому каждый из них, своей односторонностью разлагая *virtus*, был односторонне соотнесен с ней. Неразрешимость этого противоречия сообщала мрачный кровавый колорит описанной Тацитом эпохе, но постоянное сосуществование в ней сил «враждебных доблести» и «высокой и благородной доблести» доказывало, что противоречие, разрыв и борьба оставались живой и напряженной формой существования *virtus*, как, впрочем, всякой ценности и всякой истины. Конец эпохи Юлиев-Клавдиев и Флавиев означал конец того раскола римской жизни, над которым постоянно и напряженно думал Корнелий Тацит. Но преодоление этого раскола, ради которого он взялся за свой исторический труд, было мыслимо, как теперь выяснилось, лишь ценой упразднения всей исторической ситуации, породившей проблему, лишь за счет омертвления самой *res publica Romana*.

Некогда утратили для Тацита духовный смысл попытки утвердить «гражданскую доблесть» практическим служением принципам, теперь утратил смысл и рассказ о ней, сам ее образ, в слове явленный. Нельзя было не видеть, что следующему же поколению предстояло входить в жизнь с другим общественным опытом, с другими мыслями и заботами и что *virtus Romana* не долго будет кого-либо волновать.

Тацит был последним писателем завершившейся эпохи и должен был чувствовать то же, что чувствовали и другие «последние» — Цицерон при Цезаре или Боэций при Теодорихе: как кончается мир — единственный свой мир, как разрежается воздух, как нечем жить. «Мне горько, что на дорогу жизни вышел я слишком поздно и что ночь республики наступила прежде, чем я успел завершить свой путь»<sup>14</sup>. «О, как тупеет душа в бездне глубокой, как ослепленная мысль, света не видя, в мраке крошечном себе выхода ищет»<sup>15</sup>. Положение это определялось все яснее по мере укрепления режима Адриана, и чем яснее оно определялось, тем меньше смысла имела для Тацита его работа над «Анналами», пока он, наконец, на словах, что «смерть медлит», не оставил ее совсем.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> Walker B. The «Annals» of Tacitus. Manchester, 1952, p. 78.
- <sup>2</sup> Beaujeu J. Le «mare rubrum», de Tacite et le problème de la chronologie des «Annales» // Revue des Etudes Latines, 1960, vol. 38, p. 234.
- <sup>3</sup> Robin P. L'Ironie chez Tacite. Lille, 1973, t. II, app. 110.
- <sup>4</sup> Тацит. Жизнеописание Агриколы, 3, 1.
- <sup>5</sup> Он же. Анналы, VI, 27, 4.
- <sup>6</sup> Corpus Inscriptionum Graecarum, 520.
- <sup>7</sup> Тацит. Анналы, XI, 13, 1.
- <sup>8</sup> Там же, XV, 33, 2.
- <sup>9</sup> Там же, XIV, 47, 2.
- <sup>10</sup> Там же, XIV, 20, 4.
- <sup>11</sup> Schiller H. Geschichte der römischen Kaiserzeit. Gotha, 1883, Bd I, S. 627—628.
- <sup>12</sup> Плиний Младший. Письма, VII, 33, 1.
- <sup>13</sup> Тацит. История, I, 3, 1.
- <sup>14</sup> Цицерон. Брут..., 330.
- <sup>15</sup> Бозций. Утешение философией, I, 2, 1—3.

---

---

## ОСНОВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ПОНЯТИЯ И КАТЕГОРИИ КУЛЬТУРЫ, РАЗБИРАЕМЫЕ В КНИГЕ

### Тематический указатель

- Альтернативный принцип в культуре 29—53, 71, 72, 81, 82, 160, 161
- Анналистика (в древнеримской историографии) 425—427, 501, 502, 506—507
- Античная община 213, 214, 221, 236—239, 249, 250, 436, 437, 445, 457, 467—478, городская 225—227, 242, 243, 245, 246 сельская 222—224, 485—491
- Античный полис (гражданская община; город-государство) 171—174, 183, 185, 187, 192—194, 200, 201
- Античный полис (в его отношениях с внешним миром) 123—125, 253—277, 336—339, 360, 372, 374, 375
- Архетип 113—126
- Аттикизм и азианизм 415, 416, 463
- Бани (термы) в Риме 373, 374
- Высокая культура 29, 36, 103, 104
- Герменевтика (герменевтический фонд личности) 142
- Греко-римский (греко-римско-восточный) культурный синкретизм 258, 267, 268, 518—520
- Греческое влияние в римской культуре 272, 273, 409; 410, 516
- Диалог культур 139—141, 144, 146
- Домус и инсула 373  
их связь и противоположность 367—370
- Жизнь и идеал в античности, их нераздельность и неслиянность 174—176, 306, 307, 310—316, 382, 390, 391
- Жизнь (как категория культуры и как альтернатива ей) 38, 39, 87, 106—109, 158, 162, 163, 331—333
- Знак и его свойства 41, 47, 87—98, 99—111, 142
- «Золотой век» 280, 283
- Истеблишмент 60
- Картина мира 113, 114
- Классический принцип в античности 177, 178, 180, 265, 333—336, 391, 461, 462
- Консервативная традиция в культуре 73, 74, 77—81, 284, 447
- Консервативная юридическая фикция 287
- Контркультура 58, 60—62, 66—71
- Cultus 347—352, 413, 414
- Культура — цивилизация 35, 36
- Личность и индивидуальность, их соотношение 181, 182, 192, 193—195
- Миф социально-исторический 390—394, 453, 456—464

- Молодежная культура 40—42, 44—46, 59—61
- Образ (как форма отражения и познания исторического процесса) 450—453
- Общественно-историческое познание 35, 87, 88, 93—98, 160, 162—168, 200, 202
- Отчуждение государства (в Древнем Риме) 460—464, 473—477, 495—499
- Пир в античном мире 214, 215
- Плебейский протест против культуры 24, 25
- Повседневность (как категория культуры и как альтернатива ей) 29—35, 39—53, 103—106
- Понтификальное летописание 424, 425
- Престиж  
староримских добродетелей 345, 346, 360  
успеха и богатства 346—348  
их нераздельность и неслиянность 350—354  
их историческая динамика 354—359
- Речи (в римских исторических сочинениях) 428—430
- Римская система ценностей 343—364, 397—399, 437—441, 448—450, 457, 458, 520, 521
- Риторика 21, 179, 193 и след., 399
- Рок (-культура, -музыка, -среда) 57—86
- Sacra mensae 303, 304
- Совость 388, 389
- Социальная микрогруппа 119, 122, 123, 244, 304—306, 376, 389
- Стилизация 313—316
- Тиражируемая культура 62—65
- Устная история 161
- Философия жизни 157
- Форма 296—298  
внутренняя форма культуры 82—84, 127—138, 142  
обретение формы 140, 148—150  
эстетическая форма 178—180
- Харчевни (в Древнем Риме) 307—310
- Шестидесятые годы XX века как культурная эпоха («шестидесятничество») 59—61, 158
- Энтелехия культуры 139—156, 179, 180
- Языки культуры 19, 20

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Ссылки на источники оформлены по следующим правилам: сокращенное имя автора — сокращенное название произведения — цифра (обычно римская), означающая самую крупную единицу текста (книгу, песнь), и одна или две последующие (обычно арабские), относящиеся к более дробным единицам (стихотворение или глава, строка или параграф). Например, Ног. Сагм. III, 6, 12 означает: Гораций. Оды. Книга третья, ода шестая, строка двенадцатая. Если от данного автора дошло до наших дней только одно произведение, название его не приводится. Например, Liv. VIII, 39, 1—12 означает: Тит Ливий. История Рима от основания Города (другие произведения Ливия неизвестны), книга восьмая, глава тридцать девятая, параграфы с первого по двенадцатый. Имена, встречающиеся в тексте в русской транскрипции, приводятся в настоящем указателе в традиционных латинских сокращениях с указанием в скобках русского варианта: «Метаморфозы» Овидия — см. Ovid. Met. и сопровождающую расшифровку: Ovidius, Publius Naso. Metamorphoses (Овидий. Метаморфозы). Выходные данные указываются при ссылках только на научную литературу; в ссылках на источники они не приводятся.

ВДИ	Вестник Древней истории (журнал)
ДИ	Декоративное искусство СССР (журнал)
AE	Année Epigraphique
JRS	Journal of Roman Studies
REL	Revue des Etudes Latines

**Am. Marcell.** — Ammianus Marcellinus (Аммиан Марцеллин, автор исторического сочинения, название которого не сохранилось)

**Athen.** — Athenaeus. Deipnosophistai (Атений. Пир софистов)

**Cato. Agr.** — M. Porcius Cato. De Agri Cultura (Катон, М. Порций. Земледелие)

**Cic.** — M. Tullius Cicero (Цицерон, Марк Туллий)

**Ad Fam.** — Ad familiares (Письма к близким)

**Ad Quint. fr.** — Ad Quintum fratrem (Письма брату Квинту)

**Cato Mai.** — Cato Maior sive De senectute (диалог «Катон Старший, или О старости»)

**De fin.** — De finibus bonorum et malorum (диалог «О пределах добра и зла»)

**De Har. resp.** — De haruspicum responsis (речь «Об ответе гаруспиков»)

**De Off.** — De officiis (диалог «Об обязанностях»)

**De Orat.** — De Oratore (диалог «Об ораторе»)

**De prov. cons.** — De provinciis consularibus (речь «О консульских провинциях»)

**De r. p.** — De re publica (диалог «О государстве»)

**De sen.** — см. Cato Mai

**In M. Ant.** — In Marcum Antonium Oratio Philippica (Филиппика против Марка Антония)

**In Pis.** — In L. Calpurnium Pisonem oratio (Речь против Кальпурния Пизона)

**In Vat.** — In Vatinius testem interrogatio (Речь против Ватиния)

**In Verr. actio sec.** — Actio in C. Verrem secunda (Речь против Верреса. Вторая сессия)

**Lael.** — Laelius sive De amicitia (Лелий, или О дружбе)

**Pro Arch.** — Pro Archia poeta (Речь в защиту поэта Архия)

**Pro Balb.** — Pro L. Cornelio Balbo oratio (Речь в защиту Бальбо)

- Pro Sest.** — Pro P. Sestio oratio (Речь в защиту Сестия)
- R. p.** — De re publica (О государстве)
- Tusc.** — Tusculanae Disputationes (Тускуланские беседы)
- Cic. Qu. Comm. pet. cons.** — Qu. Tullius Cicero. Commentariolum petitionis consulatus  
(Кв. Цицерон. Краткое наставление к соисканию консульства)
- CH.** — Corpus Inscriptionum Latinarum (Свод латинских надписей)
- Corn. Nep. Cato** — Cornelius Nepos. M. Portius Cato (Корнелий Непот. Жизнеописание Марка Порция Катона)
- Dig.** — Digesta (Свод гражданского права. Часть вторая: Дигесты)
- Dio Cass.** — Cassius Dio Cocceianus. Historia Romana (Дион Кассий. Римская история)
- Diog. Laert.** — Diogenes Laertius (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов)
- Dion. Hal.** — Dionysius Halicarnassensis. Archaeologia Romana (Дионисий Галикарнаасский. Древняя история Рима)
- (Aul.) Gell. N. A.** — Gellius, Aulus. Noctes Atticae (Авл Геллий. Аттические ночи)
- HRR** — Historicorum Romanorum Reliquiae, edidit Hermannus Peter (Сохранявшиеся фрагменты из сочинений римских историков. Изд. Г. Петер)
- Hor. Carm.** — Quintus Horatius Flaccus. Carmina (Квинт Гораций Флакк. Оды)
- Hor. Epod.** — Quintus Horatius Flaccus. Epodon liber (Он же. Эподы)
- Hor. Sat.** — Quintus Horatius Flaccus. Satirae (Он же. Сатиры)
- ILS** — Inscriptiones Latinae Selectae, edidit H. Dessau (Избранные латинские надписи. Изд. Г. Дессау)
- IRG** — Inscriptiones Romanas de Galicia
- Juv.** — Iuvenalis, Iunius D. Saturae (Ювенал. Сатиры)
- Liv.** — Titus Livius. Ab urbe condita (Тит Ливий. История Рима от основания Города)
- Luc. Phars.** — Lucanus, M. Annaeus. De bello civili, sive Pharsalia (Лукан. Фарсалия)
- Macrob. Sat.** — Macrobius, Ambrosius Theodosius. Saturnalium conviviorum libri septem (Макробий. Сатурналии)
- Mart.** — Martialis, Marcus Valerius (М. Валерий Марциал. Эпиграммы)
- ORF** — Oratorum Romanorum Fragmenta liberae rei publicae, edidit H. Malcovati (Фрагменты речей римских ораторов. Изд. Э. Мальковати)
- Ovid. Am.** — Ovidius, Publius Naso. Amores (Овидий Назон. Любовные элегии)
- Ars am.** — (Он же. Наука любви).
- Met.** — Metamorphoses (Он же. Метаморфозы)
- Fast.** — Fasti (Овидий. Календарь, или Фасты)
- Petr. Sat.** — Petronii Arbitri. Satyri fragmenta (Петроний. Сатириконт)
- Plin. Epp.** — C. Plinius Caecilius Secundus (sive Plinius Minor). Epistulae (Плиний Младший. Письма)
- Pan.** — Panegyricus Traiani imperatori (Он же. Панегирик Траяну)



- Plin. N. H.** — Gaius Plinius Secundus (sive Plinius Maior). *Naturalis Historia* (Плиний Старший. Естественная история)
- Plut. Numa.** — Plutarchus. *Vitae Parallelae. Numa* (Плутарх. Параллельные жизнеописания. Нума)
- Polyb.** — Polybius (Полибий. Всеобщая история)
- Ps.-Quintl.** — Quintilianus, M. Fabius. *Declamationes* (Квинтилиан. Декламации. — Сочинение, приписываемое Квинтилиану)
- Quint.** — Quintilianus, Marcus Fabius. *De institutione oratoriae* (Квинтилиан. Наставление в ораторском искусстве)
- RGDA** — *Res Gestae Divi Augusti* (Надпись из Анкиры в Малой Азии, называемая Деяния божественного Августа)
- RN** — *Rutilii Namatiani De Reditu* (Рутилий Намациан. О возвращении в Рим)
- Sall. Cat.** — C. Sallustius Crispus. *De conjuratione Catilinae* (Саллюстий. Заговор Катилины)
- Jug.** — *De bello Jugurthino* (Он же. Война с Югуртой)
- Schol. Scrvli** — *Maurus Servius Honoratus* (Сервий. Комментарий к «Энеиде» Вергилия)
- Sen. Ad Lucil.** — Lucius Annaeus Seneca. *Ad Lucilium epistulae morales* (Сенека. Нравственные письма к Луцилию)
- Cons. ad Helv.** — *Consolatio ad Helviam* (Он же. Утешение к Гельвии)
- Sen. Controv.** — Lucius Annaeus Seneca. *Oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores. Controversiae* (Сенека-ритор. Контроверсии)
- De otio.** — *De otio sapientis* (Он же. О досуге мудреца)
- De vita beata** — (Он же. О блаженной жизни)
- Sempr. Asell.** — *Sempronius Asellio* (Семпроний Азеллион)
- Stat. Silv.** — P. Papini Stati *Silvae* (Стаций. Сильвы)
- Suet. Aug.** — C. Suetonius Tranquillus. *De Vita Caesarum. Divus Augustus* (Гай Светоний Транквилл. Жизнеописание двенадцати Цезарей. Божественный Август)
- Gal.** — (Он же. Там же. Гай Калигула)
- De gram.** — *De grammaticis et rhetoribus* (Он же. О грамматиках и риторках)
- Tac. Agr.** — P. Cornelius Tacitus. *De vita Agricolae* (Корнелий Тацит. Жизнеописание Агриколы)
- Ann.** — *Ab excessu Divi Augusti (Annalium libri)* (Он же. Анналы)
- Dial.** — *Dialogus de oratoribus* (Он же. Диалог об ораторах)
- Germ.** — *De origine et situ Germanorum* (Он же. Германия)
- Hist.** — (Он же. История)
- Tert. De pallio.** — Q. Septimus Florens Tertullianus. *De pallio* (Тертуллиан. О плаще)
- Varro. L. I.** — M. Terentius Varro. *De lingua latina* (Варрон. О латинском языке)
- R. r.** — *Rerum rusticarum de agricultura* (Он же. О сельском хозяйстве)
- Vell. Pat.** — Velleius Paterculus. *Historia Romana* (Веллей Патеркул. Римская история)
- Verg. Aen.** — P. Vergilius Maro. *Aeneis* (Вергилий. Энеида)
- Georg.** — *Georgicon libri* (Он же. Георгики)

